

мастера современной прозы

ЭМИЛИЯН СТАНЕВ





**МАСТЕРА
СОВРЕМЕННОЙ
ПРОЗЫ**



**МОСКВА
"ПРОГРЕСС"
1981**

МАСТЕРА СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ. БОЛГАРИЯ

Редакционная коллегия:

**Андреев Л.Г., Барабаш Ю.Я., Засурский Я.Н., Затонский Д.В.,
Клышко А.А., Мамонтов С.П., Марков Д.Ф., Палиевский П.В.,
Чельшев Е.П.**

ЭМИЛИЯН СТАНЕВ

ПОХИТИТЕЛЬ ПЕРСИКОВ

Повесть

**КОГДА ТАЕТ ИНЕЙ
И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ**

**ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ**

Перевод с болгарского

Составление Н. Станевой
Предисловие С. Каролева
Редактор И. Марченко

Станев Э. Избранное: Сборник. Пер. с болг. - М. Прогресс, 1981. - 30 а.л. (Мастера современной прозы)

Эмилиян Станев (1907–1979) – один из крупнейших писателей Болгарии, академик, лауреат Димитровской премии.

Повести, включенные в настоящий сборник, проникнуты раздумьями о жизни и смерти, о гармонии и противоречиях человеческой души, об исторических судьбах родной страны. Рассказы Э. Станева разнообразны по тематике: здесь и антифашистская борьба болгарского народа, и сцены быта и нравов провинциального городка предреволюционных лет, и тонкие, высокохудожественные картины прекрасной природы Болгарии.

Редактор *И. Н. Марченко*
Художник *В. Г. Алексеев*
Художественный редактор *А. П. Купцов*
Технический редактор *Н. Е. Лазарева*
Корректор *М. А. Таш-Заде*

Сдано в набор 19.01.1981 г. Подписано в печать 17.04.1981 г. Формат 60×84 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура Пресс-Роман. Печать офсетная. Условн. печ. л. 25,57.

Уч.-изд. л. 33,29. Тираж 100 000 экз. Заказ № 118. Цена 3 р. 80 к. Изд. № 33319.

Издательство „Прогресс“ Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.

Москва, 119021, Зубовский бульвар, 17.

Отпечатано на Можайском полиграфкомбинате Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Можайск, 143200, ул. Мира, 93.

©Составление, предисловие и перевод на русский язык
издательство "Прогресс", 1981

С 70304 - 601
006 (01) - 81 90 - 81

4703000000

Когда я прохожу мимо уже умолкшей ныне дачи в Бояне, поселке неподалеку от Софии, где Эмилиян Станев провел последние десять лет своей жизни, мне всегда мерещится, что стоит толкнуть калитку и войти в просторный двор, как он выйдет мне навстречу – нестареющий, улыбающийся, энергичный. Мы разговоримся, и я вновь окажусь свидетелем его артистических перевоплощений, закружусь в вихре его фантазии, буду потрясенно следить за ошеломляющими выражениями его слова, охваченный ощущением, что его мозг – это огромный клокочущий родник, дающий начало бесчисленным потокам.

Не раз доводилось мне видеть, как этот общительный человек изумляет собеседников стремительными наскоками своей образной речи, своим неистощимым воображением, внезапными прозрениями беспокойной мысли, освещающей молниеносно, словно шутя, словно между прочим, сложные явления бытия.

Эмилиян Станев любил спорить, противостоять чужим высказываниям, мыслям и воззрениям. Причем не только тогда, когда считал их ошибочными. Ему нравилось показывать "оборотную сторону медали", он не терпел категоричности, ограниченности, закостелости идей и суждений, пусть даже верных в своей основе. Мог иной раз привести в замешательство и близкого друга, защищая за чашечкой кофе или рюмкой коньяку парадоксальные, странные взгляды. Совершенно убежденный в полной их несостоятельности, собеседник тем не менее вынужден был тратить в споре много усилий, потому что Станев умел раскрыть в любой концепции самые неожиданные и сильные стороны – дело в том, что за этой концепцией стоял кто-то из его героев. В подобных спорах Эмилиян Станев, усмехаясь когда украдкой, а когда и откровенно горячности своего оппонента, проверял жизнеспособность своего героя, внутреннюю, психологическую правду образа, его "идею", которая могла по-разному соотноситься с объективной действительностью.

Никогда уже не повториться этим встречам, этим вечерам, озаренным волшебством его воспоминаний о годах детства и юности, рассказам об охотничьих приключениях, о необыкновенных снах. Даже ночью, после напряженных часов работы за письменным столом, после всего, что было прочитано, продумано и высказано на протяжении дня, воображение Эмилияна Станева не угасало, не оставляло его в покое, и мы, друзья, с наслаждением слушали о его ночных "при-

ключениях”, когда стокая душа его летала в фантастических измерениях пространства и времени.

Движение, движение, непрерывное движение, вершины и пропасти, колдовская игра света и тени, магические преобразования духа... Его динамичный, многосторонний, многомерный талант неустанно раздвигал горизонты, вечно стремился к новым образам и психологическим прозрениям, к новым жанровым и стилевым формам.

Станев — по общему признанию, бескомпромиссный, беспощадный, жестокий реалист (впрочем, он и сам так называет себя в своих “Недописанных воспоминаниях”), срывающий все и всяческие покровы и маски, — вместе с тем написал, наверное, самые поэтические страницы в болгарской художественной прозе.

Эмилиян Станев — автор классических по своей завершенности рассказов (сборник “Будни и праздники”, 1945) о тихих, покойных существованиицах, об апатичных, глухих к общественным голосам людям, чье стремление к любым переменам вспыхивает и тут же гаснет, проходит, как легкий недуг (“Помолвка”, “Чужой”), — и вместе с тем его перу принадлежат такие обжигающие, драматические, современнейшие по духу и стилю произведения, как роман “Антихрист” (1970)¹, где герои — мужественные, решительные, мятущиеся. В их душах словно бы клокочат все конфликты эпохи, они как будто впитали в себя все философско-мировоззренческие тревоги и взрывы своего времени, далекий отзвук которых долетел к нам из дали столетий.

Станевым написаны глубоко самобытные анималистические рассказы (сборник “Волчьи ночи”, 1943), которые пленяют нас блестящим, виртуозным изображением чудес природы, конденсированного “разума”, инстинктов, очаровывают таинственным эпическим спокойствием — даже в картинах незатихающей борьбы за жизнь... И вместе с тем он создал блестящие философско-психологические произведения — такие, как рассказ “Скотт Рейнолдс и непостижимое” (1971). В прошлом, в более ранние годы его творчества, многие видели в Станеве только природного мастера рассказа, главным образом анималистического. Однако после “Похитителя персиков” (1948) чаша весов заметно склонилась к психологической повести. Впоследствии, когда вышел из печати роман “Иван Кондарев” (1964)², стало очевидным, что Эмилиян Станев — мастер и широкого эпического полотна. Сейчас этот роман — одно из самых любимых произведений многочисленных читателей, почитателей и ценителей творчества Станева. А когда появились “Легенда о Сибине, князе Преславском” (1968) и двумя годами позже “Антихрист”, то многие сочли их наивысшим достижением писателя и утверждали, что именно в такой сжатой, лаконичной форме, в сгущенном, конденсированном драматическом повествовании всего внушительнее выразил себя его изумительный талант.

Хотя сам Эмилиян Станев охотно соглашался с репутацией противоречивейшего человека, он проявлял необычайное постоянство в своих привязанностях. Те, кто знал его ближе, видели, какой немеркнущей была его любовь к природе, каким неизменным был его восторг перед ее красотой. Впрочем, это прекрасно известно и читателям Станева. Он не мог себе представить духовно и социально полноценного человека, если у него притупилось или — не приведи господи! — вовсе исчезло ощущение красоты. Станева часто тревожила мысль о том, что отдаленность современных людей от природы может притупить их эстетическую восприимчивость.

Станев обладал необычайными, специфически художническими, словно бы

¹ М., “Художественная литература”, 1977.

² М., “Прогресс”, 1967.

сверхчеловеческими органами чувств для восприятия вечно обновляющегося мира. Он всегда был полон яркими ощущениями, образами и видениями, и это богатство, эти сочетания линий и форм, таинственная игра света и цвета щедро изливались в его книги, покоряя и очаровывая нас. На мой взгляд, нет в болгарской литературе более яркого живописца и скульптора слова.

Для сегодняшнего, как и для завтрашнего, читателя всегда будет редким счастьем оказаться в мире станевской природы, увидеть, как в прозрачном свете утра пламенем сверкают крылья иволги, как днем в полях "по-цыгански" заливаются смехом маки, а вечерами черные поблескивающие воды реки застывают в неподвижности, будто замороженные, ощутить, как пелена теплой летней ночи колышется от стрекота кузнечиков, заметить, как утренняя звезда трепещет в небе, точно "бриллиантовая серезжа".

В книгах Станева вы насладитесь всей симфонией красок осенних болгарских лесов, просторов лазурного кроткого неба, где посверкивают серебром легкие облака и высоко реют вороны стаи, напоминающие "хлопья сажи с далекого пожара", вдохнете аромат прозрачного осеннего воздуха, последних, уже догорающих цветов.

Самая обыкновенная лужа на заснеженном мартовском поле обернется для вас чудесным зеленым зеркалом на белой шпире, а в нем с акварельной нежностью отразятся еще обнаженные ветви ив. И как прекрасен станевский лес, "когда тает иней", и капли, "отражающие все цвета радуги", падают — тяжелые, светлые, — и воздух наполняется шепотом и сверканьем искр!

Эмилиян Станев знал природу, как мало кто знает ее. Ему были открыты ее тайны, он понимал ее язык, голоса птиц, умел подражать их пенью. Вряд ли есть в наших полях, лесах и горах хоть одно животное, хоть один зверек, чьи инстинкты и повадки были бы ему неведомы. Бесконечное, неутолимое любопытство влекло его к царству животных и особенно птиц ("Если б у меня не было писательского дара, я бы стал орнитологом"), многоцветье птичьего оперения, птичьи песни доставляли ему до последних дней жизни чистую радость.

Мир природы у Станева столь же прекрасен, сколь и первичен, суров. В этой своеобразной "лесной сказке" соседствуют на одной и той же странице, в одном и том же пассаже прекрасное и поэтичное с жестоким и страшным, а зачастую они сливаются вместе в особую, никем другим не познанную амальгаму. Гармония в этом мире — это гармония противоречий. Величие этого мира — в незатихающей борьбе за жизнь, которая включает в себя и кровь и смерть. Трагическое здесь не заглушает "песни жизни", а служит как бы аккомпанементом, придающим ее звучанию еще большую полноту. Вот эта гармония противоречий, это "великое спокойствие", которое не в состоянии поколебать никакие бури и не может запятнать никакая кровь, и есть то главное, что внушают нам картины природы, анималистические картины, созданные писателем.

Торжество жизни немислимо без смерти, смерть участвует в вечном обновлении жизни — для Эмилияна Станева эта максима была не просто фразой. Он глубоко чувствовал ее исконную правду. "Для природы все равны, — говорил он, — певчая птица для нее ничуть не выше куницы. Природа — всем родная мать".

Законы природы, неизменная поступь времени, неизбежная смена лета осенью, осени зимой, неутолимое приближение старости и смерти многих угнетают. А Эмилиян Станев видел в этом мудрость и величие жизни. Его восприятие мира было в самой своей основе мужественным и жизнелюбивым. И творчество его, несмотря на весь драматизм, это эпическое прославление жизни.

Он не только понимал, что противоречия — источник вечного движения, механизм развития, что добро и зло часто сосуществуют и переходят одно в другое, что жизнь полна незатухающей борьбы, но и умел радоваться этой борьбе — глубочай-

шему источнику красоты, исконному противоречивому движению к торжеству жизни через страдания, трагедии и смерть.

Более двадцати лет имел я возможность наблюдать, с какой удивительной настойчивостью обращалась мысль Станева к трудной судьбе болгарского народа, к сложным путям и перепутьям его истории. Болгарские исторические личности едва ли не каждодневно занимали помыслы писателя, и стоило ему заговорить о каком-либо из деятелей прошлого, как образ его чудесно оживал у вас на глазах, и бесследно исчезала дистанция веков. Ибо этот удивительный человек мысленно вступал в общение с людьми, жившими даже и десять веков назад, так, словно они его современники. И дело тут не только в творческой силе писательского воображения, но и во внутренней потребности мыслящего художника.

Таким же было его общение с народом. Десятого или двадцатого века – все равно. В его устах понятие “народ” как бы полностью лишалось абстрактности, становилось живым, неподвластным времени существом. Многоликое и многогласное, оно при необходимости принимало черты конкретного характера, типа, и писатель беседовал с ним лицом к лицу, невзирая на временные или прочие какие-либо дистанции, с интонацией, в которой не было ни малейшего отголоска книжной учености.

Вероятно, многие, кто слышал Эмилияна Станева, завидовали этой его способности общаться с народом непосредственно – на протяжении столетий и тысячелетий народной жизни. А для него самого это общение нередко бывало источником душевных страданий. Он не только остро ощущал, он как бы видел воочию те тяжелые последствия, которые и византийское владычество, и пятивековое османское иго имели для национального развития Болгарии.

Интеллектуально-эстетическое соприкосновение Эмилияна Станева с болгарской историей началось еще в детские годы, проведенные им в древней болгарской столице Тырнове. Стоило подняться по деревянной лестнице на третий, недостроенный этаж отцовского дома, как перед глазами мальчика открывались “...поросшие кустарником и терном Царевец и Трапезица” – холмы, на которых некогда возвышались стены древнего города. Маленький Никола (подлинное имя писателя) вглядывался в “почерневшие руины крепостных башен и стен”, в “западные ворота, через которые некогда входил царь, чтобы помолиться в святой великой лавре, что на берегу Янтры”.

В душе ребенка жил художественный дар, хоть он сам еще не подозревал об этом. Созерцание древнего прекрасного Тырнова этот дар разбудило. Несмотря на свою нелюбовь к путешествиям, Э. Станев всегда охотно навещал родной город – вплоть до последних дней жизни. “И теперь, когда приезжаю в Тырново, я обычно останавливаюсь в той же комнате, смотрю, смотрю на развалины и мысленно брожу по старому Тырновграду. Представляю себе его старые улочки и при этом испытываю, я бы сказал, величайшее наслаждение, как оно ни печально”. В этом отношении семидесятилетний Эмилиян Станев очень схож с семилетним Николой, сыном Стояна Станева с улицы Черковна, в квартале Варуша...

Однако история – это не только прошлое, но и современность. Человек может оказаться свидетелем событий, которые принято называть историческими. Детство Станева совпало с тремя войнами: Балканскими 1912 – 1913 гг. и первой мировой. Маленький Никола не был, разумеется, свидетелем военных сражений, но эти роковые для Болгарии войны прочно врезались в его память. Голос истории донесся до будущего писателя прежде всего в барабанном бое и звоне колоколов в осенние дни 1912 года. Тогда-то и вспыхивают в его душе первые искры патриотизма. Тогда же проникается он сочувствием к трудовым людям села, которых война разорвет и гонит на смерть, к раненым, к жертвам холеры... В августе 1913 года мальчик был

свидетелем народного отчаяния, когда полки прибывали с обернутыми в траур знаменами. Спустя много лет уже известный писатель Эмилиян Станев вернется в своих воспоминаниях к этому трагическому времени и скажет, что "из-за неслыханной безответственности болгарских правителей копившаяся на протяжении пяти веков энергия болгарского народа была растрчена напрасно".

Станев смолоду набирается впечатлений, в которых его национальные чувства приходят в столкновение с чувствами гражданскими и гуманистическими. Без этих впечатлений, без того, что было пережито в годы первой мировой войны, когда он видел толпы военнопленных – истощенных, измученных людей, похожих на "страшное стадо", когда он бывал свидетелем тяжелых и постыдных сцен, которые разыгрывались в разноплеменных оккупационных войсках, не возник бы такой шедевр, как "Похититель персиков".

Мысль Эмилияна Станева неустанно изучает противоречие между биологически-плотским в человеке и психическим, между практически-рассудочным и духовно-возвышенным. Это направление мысли получило наиболее яркое выражение в его исторических произведениях – романе "Антихрист", повестях "Легенда о Сибине" и "Тихик и Назарий". Станев был убежден, что человек, лишенный идеала, утрачивает многое от своей сущности, что бытие его лишается смысла. Он мечтал о будущей решительной победе духа в человеке и человечестве, хоть ни в малейшей степени не был расположен к аскетизму.

В произведениях писателя (особенно более поздних, начиная с романа "Иван Кондарев") человек – этот "венец творения" по своей созидательно-преобразующей творческой мощи – создание столь же необыкновенное, достойное удивления, сколь и противоречивое, а часто и – при высоком самосознании и обостренном нравственном чувстве – драматическое и несчастное, ибо его раздирают противоположные силы: "С одной стороны – возвышенные стремления, любовь, моральное и эстетическое совершенствование, а с другой – темные страсти, инстинкты, голос плоти, желудка, эгоизм и пр."

Если спокойная гармония анималистических рассказов Эмилияна Станева рождена убеждением, что "природа – всем родная мать", что в ней правы все – и жертва и хищник, что здесь неприменимы нравственные принципы и критерии и все одинаково невиновны и совершенны именно потому, что лишены возможности совершенствовать себя, – то совсем иным предстает мир человеческого общества, где существуют жестокость и милосердие, правда и несправедливость, виновные и невиновные, добро и зло, где нельзя обходиться без нравственных начал и оценок. В каком же смысле и в какой мере оправданы тогда такие формы зла, как насилие, кровопролитие? И если они исторически оправданы, то не угрожают ли они нравственным устоям человека? Можно ли остаться нравственной личностью, если ты допускаешь и используешь насилие, если ты проливаешь чужую кровь? Нет ли угрозы, что, раз прибегнув к насилию, ты станешь прибегать к нему и тогда, когда оно не имеет общественного и исторического оправдания и, следовательно, превращается в безнравственность, жестокость, преступление? И как этой угрозы избежать, если учесть, что исторический процесс невозможен без борьбы, то есть той или иной формы насилия, что история не движется вперед по укатанной, гладкой дорожке?

С годами Э.Станев все больше погружался в такого рода "проклятые" вопросы и проблемы, порождаемые конфликтом между плотским в человеке и духовным, между сознанием ограниченности человеческой жизни и неограниченности его духовных устремлений, между мыслью о смерти, сопутствующей жизни, и представлением о вечности, бесконечности. А это влечет за собой и вопросы, касающиеся искусства: "Что я сделал своим искусством, за которое меня так восхваляют, чему научил человека, возвысил ли я его или наполнил сладостной болью и новыми сомнениями? Помогло ли мое искусство стать человеку нравственнее и мудрее или

же... доставляя ему художественное наслаждение, тем самым усыпляло его совесть, чтобы он не отличал зла от добра?..” В таких словах Эмилиян Станев передает сомнения своего гениального учителя Льва Николаевича Толстого, но эти же вопросы он настойчиво, почти с толстовской беспощадностью обращал к себе самому.

От книги к книге он все глубже проникал в драматизм внутренней жизни человека, в человеческую душу как единство сознательного и подсознательного, в столкновения различных “действующих сил в нашем светло-темном и темно-светлом необъятном мире...”. В сущности, уже в ранних своих произведениях Станев проявил себя типичным художником-диалектиком, который умеет распознать и выразить противоречия – их борьбу и единство – в природе, в обществе и в человеческой душе.

В своих картинах-повествованиях Эмилиян Станев прослеживает и воссоздает борьбу, смену противоположных душевных состояний, раскрывает извилистый ход человеческой мысли и чувств, движения души, которым свойственны внезапные зигзаги, подъемы, падения, ибо они обусловлены множеством различных и не всегда осознаваемых нами причин. В этом огромном художественном мире писателя нас поджидают всевозможные повороты и случайности, иногда страшные, иногда страшные. “Из самого лучшего в моей душе простекло наихудшее, из возвышенного – самое окаянное”, – говорит Теофил, герой романа “Антихрист”. И его судии, обладай они его самосознанием, его способностью аналитически мыслить, могли бы сказать о себе то же самое. Потому что во имя “правды божьей” они тиранят людей, навязывают им правила и каноны, во имя спасения обрекают на смерть тех, кто эти правила и каноны нарушает. При ограниченности, фанатизме самая гуманная идея может стать источником жестокости и всяческого насилия и зла, то есть превратиться в свою противоположность. И писатель в более поздних своих произведениях (“Антихрист”, “Легенда о Сибине”, “Тихик и Назарий”, “Лазарь и Иисус”, 1977) убедительно раскрывает ту диалектику добра и зла, в которой должен отдавать себе отчет всякий мыслящий человек.

Так, в “Легенде о Сибине, князе Преславском” мы – свидетели метаний Сиби на “между богом и дьяволом”, мы видим, как он то страстно зовёт к господу, то поддается “искушениям Сатанаиловым”... Раздвоенный, сомневающийся, Сибин порой не в силах понять, какие из голосов, звучащих в его душе, принадлежат Правде и Добру, а какие – Лжи и Злу. Но если “...доля человеческая – вечные поиски истины”, как незадолго до своей кончины писал Э.Станев, то князь Сибин, этот болгарин XIII века, истинно человек.

Столкновение с неумолимой диалектикой жизни расшатывает душевное равновесие и Тихика (“Тихик и Назарий”). Непримируемый фанатик, он становится снисходительным к “...прегрешениям христиан”, так как видит, что самые лучшие его побуждения и устремления приносят богомильской общине зло. И этот догматик, столь убежденный в том, что знает истину, под конец тоже становится ее искателем.

В образе же художника Назария воплощены некоторые из раздумий Станева относительно возможностей и пользы искусства – в гносеологическом и нравственном смысле. “Очень становится скверно, – говорит писатель в одном из своих интервью 1975 года, – когда художник начинает сознавать, что искусство бесконечно и, во-вторых, что оно не может выразить всю правду, не может раскрыть тайну бытия и сути вещей”. Еще одно сомнение писателя питается реально существующими противоречиями между эстетическим и этическим. Если искусство, как полагает Назарий, потерявший надежду преодолеть эти противоречия, “...заставляет душу устремляться и к небу и в преисподнюю”, не лучше ли – чем заниматься искусством – “...светить чистой любовью и примером собственной жизни поддерживать человека...”.

Художник Тасо ("Барсук", 1975) тоже теряет в своем творчестве нравственные критерии. Героиня повести, мадам Моран, от имени которой ведется рассказ, рассматривая рисунки Тасо, констатирует (явно в согласии с Э. Станевым!): "Все явления здесь имели одинаковую нравственную ценность, словно не человек рисовал это, а демон". В этих рисунках были стерты не только границы между добром и злом, но и критерии вечного и преходящего. Подобное исчезновение границ и критериев происходит прежде всего в душе самого Тасо. Умом он понимает, что искусство объединяет оба мира – объективный и субъективный, что "...в том и состоит его суть – в необходимости для человека найти какую-то связь и гармонию, чтобы обрести внутренний покой", но сам все реже в состоянии создавать такое искусство.

И хотя Э. Станев и выразил в образе Тасо некоторые из своих поздних раздумий, это вовсе не его двойник. Постоянное, "конечное" его мнение по этому вопросу звучит так: "Какое же это искусство, какое это художественное произведение, если оно не несет человеку свет, не рождает надежду, не доставляет наслаждение".

Творчество самого Эмилияна Станева доказывает справедливость этого утверждения. Ее доказывают даже те его произведения, которые полны сюжетного и психологического трагизма, такие, как рассказ "Лазарь и Иисус". В этом замечательном произведении убедительно раскрывается мысль о необходимости веры, идеала, духовности, лишаясь которых человек лишается человеческого и подлинное счастье становится невозможным.

Как бы глубоко ни погружался Э. Станев в сложную, часто драматическую и трагичную диалектику жизни, он всегда достигал ясности, завершенности формы, гармоничности изображения. "Садясь за письменный стол, – говорил он, – художник имеет перед собой высшую цель: совершенство".

Стремление к совершенству – постоянная черта у Станева. И она же источник вечного движения и перемен, потому что он не довольствовался достигнутым и всегда учитывал не только свой замысел, но и характер изображаемого. Отсюда, помимо всего прочего, особый ритм и тон каждого его рассказа, каждой главы романа. "Найден ли, уместен ли, верен ли этот тон?" – вот один из вопросов, которые неизменно ставил перед собой писатель, приступая к новой книге.

Станев никогда не спешил нанести на бумагу лихорадочные искания своей пылкой мысли, головокружительные взлеты своей фантазии, никогда не приступал сразу к осуществлению зародившейся идеи. Натура темпераментная, нервная, беспокойная, он умел удивительно терпеливо и мудро ждать – годы и десятилетия, – пока не оформятся его оригинальные замыслы; они, как плоды, зрели в его душе, и он никогда не срывал эти плоды раньше времени.

Эмилиян Станев писал (и бывал доволен написанным) только тогда, когда ему удавалось попасть в тон, когда он был "в форме" – на уровне своего выдающегося таланта. Он никогда не переступал порога искусства с небрежностью, потому что за этим порогом находился самый святой для него храм.

Стоян Каролев

ПОХИТИТЕЛЬ ПЕРСИКОВ



КРАДЕЦЪТ НА ПРАСКОВИ

София, 1947

Перевод М. Михелевич

Находясь в эвакуации, я продал землю, доставшуюся мне в наследство после смерти отца. То был прекрасный участок под застройку в одном из новых кварталов Тырнова, у Севлиевского шоссе, где прежде были виноградники.

Когда я приехал в этот древний город для совершения купчей, стоял жаркий летний день. Город был забит эвакуированными — в каждом доме ютились две-три семьи. Не хватало воды — в этих местах с водой всегда было плохо, — ощущался и недостаток продовольствия. В обеденное время на узких тротуарах было не протолкнуться, а в кафе и закусочных усталые кельнеры, не привыкшие к такому наплыву посетителей, с трудом пробирались между столиками.

Вечером начинали выть сирены, и тогда жители с сумками и чемоданчиками устремлялись по крутым и темным улочкам к двум городским туннелям.

В отеле "Царь Борис" жили человек десять немецких офицеров. Хмурые, молчаливые, они пили на веранде пиво, рассеянно поглядывая на старинную крепость, заросшую травой и бурьяном. Они почти не раскрывали рта, а когда встречались глазами с кем-нибудь из болгар, их холодные взгляды загорались недоверием и враждой.

Я покинул свой родной город давно, двенадцатилетним мальчишкой, в восемнадцатом году, перед самым концом первой мировой войны. И при виде памятных мне еще с тех времен зеленовато-серых мундиров, соломенных и рыжих волос, голубых глаз и усталых, вытянутых физиономий мне начинало казаться, что они так всегда здесь и были. Только нашивки с траурными свастиками отличали теперешних немцев от их отцов и дядей. Как знать, быть может, кто-нибудь из них и впрямь приходился сыном или племянником одному из тех немцев, которые выстроили тогда под городом бараки, где расположились обоз и кузница?

Было их там с десяток солдат-нестроевиков. Перед бараками стояли дощатые столы и лавки, а посередине — вбитый в землю шест с большим деревянным кругом. На этом круге сидел ястреб. Он был прикован к шесту латунной цепочкой, такой же желтой, как его длинная, голая, хищная лапа. Солдаты кормили его мясом и живыми кошками...

Вспомнился мне и Фриц, резвый, как серна, доберман, с торчащими ушами и хвостом-обрубком. Он подстерегал нас на крутой улочке, где была немецкая лавка — холодная, как погреб, с железной дверью, выкрашенной красной краской. Над лавкой жил французский еврей Жан Гранжан, владелец единственной в городе прачечной и паровой гладильни. Когда мы, босоногие мальчишки, проходили мимо, пяля глаза на жирные желто-коричневые говяжьи туши, Фриц кидался на нас с грозным рычанием...

Нет ничего тягостней, чем возвращение к собственному прошлому. Я видел над собой истомленное летнее небо, точно такое же, как тогда, и в синеватой зияющей его бездне мне снова виделась нависшая над страной неизвестность. Тырново мало переменялось: те же старые, громоздящиеся друг на друга дома без дворов, с грязной облупившейся штукатуркой и выцветшей от времени краской; дома, которые пропитались запахом чего-то кислого и трех-четырёх поколений людей, в них обитавших. Лишь изредка какое-нибудь новое здание нарушало мещанское единообразие главной улицы, а кварталы Варуши и по берегу Янтры были в точности такими же, какими я их оставил.

Я бродил по улочкам, где когда-то бегал мальчишкой, прошел мимо дома, где родился и где теперь жили незнакомые люди, увидел на площади маленькую пекарню, перед которой двадцать пять лет назад мы простаивали с карточками в очередях за куском скверного черного хлеба из ржаной муки вперемешку с куколом. Над пекарней жил тогда учитель начальной школы Андреев, или Огрызок, как называли его мы, детвора, — тщедушный седой человечек с редкими желтыми зубами, невообразимо строгий. У него было многочисленное семейство — семь душ детей. В доме вечно стояла жара, пахло дрожжами, свежеспеченным хлебом и клопами. Лазар, Петко, Сана, Лиза, Мита и Роза — кажется, чуть не все они умерли в те годы от недоедания и туберкулеза...

Как тяжело пришлось нашему поколению! Мы росли без отцов — они гибли в окопах, оборванные, полуразутые, завшивевшие; наши матери, высохшие от голода и слез, не знали, о чем думать прежде: о том ли, как нас прокормить, или о нашем воспитании. В их глазах застыло изнеможение и горе. Почти все мы стали тогда сорванцами, потому что росли на улице, среди лагерей для военнопленных, в атмосфере голода, хаоса и хищничества — порождении бессмысленной войны...

Вечером я опять прошелся по узким извилистым улочкам, тонущим во мраке и безмолвии, еле освещенным мигающими фонарями. Дома отбрасывали мрачные тени, кое-где среди тьмы блеснет оконное стекло или неожиданно выпрыгнет кошка из подвала, откуда тянет запахом укуса, плесени и старины.

Я продал свою землю, не побывав на месте, — боялся растравить боль, которую всегда испытываешь, расставаясь с чем-то дорогим твоему сердцу. Ребенком я проводил там те знойные летние месяцы, когда пересыхали колонки и в городе вспыхивали эпидемии. Однако на другой день по приезде я не выдержал и пошел проститься со своим участком: любопытно было взглянуть, как выглядят теперь бывшие виноградники.

Очень рано, с восходом солнца, я пустился по старой, знакомой дороге. Улицы были почти безлюдны. Крупные бульжники мостовой, отражая утреннюю зарю, отливали перламутром. Полчаса спустя я был уже на краю города. И тут я с удивлением заметил, что местность неузнаваемо изменилась. Целый квартал вырос там, где прежде были каких-то два-три домика, несколько печей для обжига извести да каменистая дорога, иссеченная цепкими корнями акаций — мы любили срывать их темно-коричневые стручки, чтобы полакомиться их сладкой сердцевинкой.

Акациевая рощица исчезла. Новые, ладные дома грели на утреннем солнце свои белые стены. Вытянулись в ряд кокетливые дворики, нежными облачками цвели в них японские розы. Незнакомые мне люди выглядывали из распахнутых окон, откуда свисали разложенные для проветривания постели. Где-то играло радио — музыка неслась из прохладной глубины дома. Чем дальше я шел, тем незнакомей казалась мне местность. Вместо выцветших, обросших лишайником оград, которыми были обнесены прежние виноградники, стояли дома, дачи, простиралась фруктовые сады.

Только дорога, по которой некогда проходили военнопленные, была все та же — выбитая, каменистая, неровная, как русло пересохшей реки. Я с трудом отыскивал ответвляющуюся от этой дороги узкую тропинку, которая вела за новый квартал, где немногие незастроенные участки, обозначенные пока что только на землемерной карте, терялись между садами и виноградниками. Мне пришлось пройти двором одной небольшой дачи. Густой вишневый садик скрывал ее от глаз, и только островерхая крыша торчала из-за деревьев.

Маленький благообразный старичок в ночном колпаке, сшитом из дамского чулка, по облику — учитель на пенсии, появился в дверях дачи. Он приблизился ко мне и не слишком дружелюбно спросил, что мне угодно. Когда я объяснил, что мне принадлежит один из соседних участков, он неожиданно вскинул свои лохматые брови, горько усмехнулся и крепко пожал мне руку.

— Так это ты, Колю... Скверный мальчишка, неужели ты не узнаешь меня?

Выцветшие глаза с покрасневшими веками, длинный нос, беззубый рот и костлявая рука, сжимавшая мою руку, вряд ли имели что-либо общее с моим старым учителем арифметики, которому я в свое время доставлял столько огорчений. Бедный господин Петров — Козочка, как прозвали его мы, негодники! Он прежде носил бородку, острую, как отточенный карандаш, и имел обыкновение жевать ее, когда спрашивал ученика у доски. Этой достопримечательности он лишился — очевидно,

бородка так поредела, что пришлось ее сбрить. Но выглядел он все еще бодрим, шустрым, опрятным, как опрятны все непьющие, некурящие старички. От него веяло аккуратностью и добропорядочностью, свойственной нашим отцам и дедам, ныне давно покойным, которые вели жизнь размеренную и нравственную.

— Неужели ты продал землю? — воскликнул он, когда я объяснил цель своего приезда. — Боже милостивый, кто же теперь продает?

В глазах его вспыхнуло огорчение. Он медленно, с нескрываемой досадой опустил мою руку.

Трава во дворе была мокра от росы. Недавно опрысканные виноградные лозы сушили на солнце свои широкие листья. Грядки настурций окаймляли крыльцо, на ступеньки которого роняла лепестки отцветающая роза.

Девочка лет двенадцати принесла нам стулья. И пока мы ели вишневое варенье, которым угостил меня мой старый учитель, он хвастался образцовым порядком на своем винограднике, не забыв еще раз пожурить меня за продажу участка.

Я слушал его тихий голос, где-то рядом звонко высвистывала иволга, и это напоминало мне дивные утра, проведенные здесь в детстве. Если бы не крайняя необходимость, ни за что бы я не продал этот участок. Увидев его, я убедился в том, что добрый старик справедливо бранит меня. Несколько деревьев ореха, неведомо как выросших здесь, с гладкими, отливающими серебром стволами и крупными желтовато-зелеными листьями, похожие на молодые пальмы, отбрасывали длинные утренние тени на покрытую травой лужайку. Ничто не напоминало о том, что здесь когда-то был виноградник. Неподалеку виднелась теперь чья-то дача. Толстяк в огромной соломенной шляпе стоял на террасе и с любопытством разглядывал меня. Постройка, служившая загоном для скота, была разобрана, и чуть поодаль от ее нерасчищенного фундамента поднимались кирпичные стены будущего дома.

Только дом полковника был все таким же. Как мрачная развалина, высился он среди бурьяна и чахлого кустарника. Почерневшая черепица на крыше поросла желтым мхом и серым лишайником. Квадратный каменный дом, глубоко врытый в землю, походил на старый пороховой погреб. Если подойти сзади, можно было ступить прямо на его крышу — задняя стена вся уходила в землю, а передняя возвышалась на несколько метров. Дуплистое ореховое дерево с засохшими верхними ветками бросало прозрачную зеленую тень на эту унылую громаду камня, окутанную прохладой и росой. Ни единая тропка не пролегла здесь, ничья нога не ступала.

— Помнишь полковника? — спросил учитель, когда мы с ним подошли к дому ближе.

— Дом все такой же, — заметил я.

— А историю с его женой... Неужели забыл? Весь город тогда говорил об этом.

Историю с женой полковника я действительно забыл. Что касается дома, то в моем воображении он был гораздо больше. Как мне не пом-

нить его, если в своих детских мечтаниях я всегда населял его всевозможными сказочными героями и волшебниками.

Однажды я увидел перед домом женщину. Явился я с мародерскими целями и, пробираясь к увешанному плодами старому абрикосовому дереву, неожиданно наткнулся на нее. Она сидела у двери, на низком стульчике, в голубом платье с широкими рукавами, открывавшими ослепительно белые руки. Золотые распущенные волосы волнистыми прядями сбегали ей на колени. Она сидела не шевелясь, устремив перед собой задумчивый взгляд. Среди безмолвия старого дома, в этой глуши и безлюдье она показалась мне призраком. Меня охватил ужас, сердце замерло, мысль, что передо мною существо из какого-то иного, волшебного мира, приковала меня к месту. Неожиданно она обернулась, и я увидел ее глаза — глубокие, синие, излучавшие мягкий свет и печаль. Я вскрикнул от страха и бросился наутек. И всю дорогу, пока бежал в город, думал о том, что напрасно не верил в существование этого прекрасного и жуткого мира. Несколько раз я замедлял шаг: искушало желание вернуться и снова взглянуть на нее, убедиться, что она человек, а не призрак. Дома я рассказал матери о своем приключении.

— Это жена полковника, — удивленная моим волнением, сказала мама.

Жена полковника?! Потом я еще раз видел ее, когда она проходила мимо нашего дома, и снова она показалась мне таинственно-прекрасной — в длинном темном платье, широкополой шляпе и черных перчатках, окруженная сладостным ароматом духов.

Что до самого полковника, я знал его очень хорошо. Он всем внушал страх, в особенности нам, детям, часто игравшим поблизости от его виноградника. Мы леденели от ужаса, когда он своим металлическим голосом осыпал нас проклятиями и угрозами. Он был лет пятидесяти, гучный, коренастый, с короткой шеей. Уши у него были плотно прижаты к черепу, глаза серые и колючие, седые волосы подстрижены бобриком. Все это делало его похожим на рысь.

Мы часто видели его на плацу Марно полё, куда он приезжал инспектировать военные учения. Солдаты, завидев его, цепенели, унтеры тряслись мелкой дрожью, офицеры менялись в лице, если штыковой удар получался недостаточно энергичным. Фельдфебель, вооруженный длинным шестом с тряпичным мячом на конце, становился против солдата, державшего в руке винтовку с примкнутым штыком. И если солдат неумело защищался, фельдфебель яростно тыкал его шестом в грудь или в лицо, а полковник приходил в бешенство — его короткая шея апоплексически багровела. Он набрасывался на несчастного деревенского парня с бранью, угрозами, оплеухами и, дав таким образом выход своему гневу, ставил беднягу под ружье. Дисциплина означала для него слепое, беспрекословное повиновение, а штыковой удар был вершиной воинского искусства.

Он вывез из России вместе с военными познаниями еще и все русские ругательства, чтобы понукать солдат, а также безграничное благоговение перед престолом — чувство, которое он перенес на его величество

Фердинанда Первого. В 1912 и 1913 годах он сражался против турок и сербов, которые ранили его шрапнелью в бедро. С тех пор он был инвалидом, ходил, слегка прихрамывая. Во время мировой войны его назначили комендантом Тырнова.

В то время в городе находилось множество военнопленных. На Марно полё, служившем учебным плацем для солдат, высились громадные стога соломы и сена. Продовольственные склады размещались в старых торговых подвалах и лабазах. Метали стога военнопленные, по большей части сербы и румыны. В лагере к западу от города жили русские, пользовавшиеся особым расположением и симпатией населения, а также французы, итальянцы и англичане, освобожденные от всякой работы.

Эта разноплеменная толпа была вверена полковнику. Он презирал румын и жестоко ненавидел сербов — "коварных, подлых союзников" по Балканской войне, которые его ранили и тем испортили ему военную карьеру. Инвалид, уже в годах, он вдруг стал проявлять заботу об унаследованной от отца земле, рассчитывая когда-нибудь выстроить там загородную виллу, чтобы на старости лет удалиться на покой. И стал часто ездить туда, проверяя, как идет окапывание или опрыскивание винограда. С истинно крестьянской бережливостью, даже скупостью, он вел счет каждой истраченной сотинке. Соседям уже надоело ссориться и судиться с ним. Из-за каждого нечаянно брошенного в его владения камня он затевал скандал и грозил соседу побоями.

— Для нас, простых людишек, он был недосыгаем, держался с нами, как важный барин, — рассказывал старый учитель, который напомнил мне всю эту историю.

Чтобы сделать свои владения неприступными, полковник приказал денщику протянуть между колючей проволокой, которой был обнесен виноградник, тонкую проволочку с колокольчиком, скрытым в лохмотьях пугала, поставленного на страх сорокам и дроздам.

Так как старый каменный дом на их участке был мало приспособлен для жилья, полковница предпочитала проводить лето у родных, живших неподалеку. Денщик же стерег виноградник, пока не убирали урожай. Это был тощий долговязый дядька из крестьян, незадолго до того овдовевший. Его сощуренные глаза казались незрячими, бурые усы свисали над тонкими губами, как метелки кукурузы. Замкнутый, молчаливый, он ходил точно лунатик и слепо исполнял все распоряжения полковника. Не будь он денщиком, он бы, наверно, постригся в монахи и с той же рабской преданностью служил бы настоятелю, как теперь служил полковнику.

К концу лета восемнадцатого года в городе вспыхнул брюшной тиф. Небывалая засуха сжигала землю. Раскаленный солнцем город тонул в пыли и миазмах. Скалы, на которых он стоит, даже по ночам дышали жаром, точно стены огромной печи. От наполовину высохшей реки подымался тяжелый запах тины, в старых деревянных домах развелись полчища тараканов. Воду в колонках пускали всего на несколько часов в сутки. У колонок происходили свирепые стычки между женщинами, которые с вечера оставляли там ведра и всевозможную посуду, чтобы

установить хоть какое-то подобие порядка. Город замер, оцепенел под бледно-голубым пыльным небом. К полудню его совсем заволакивало знойным маревом, сквозь которое прорывался лишь погребальный звон пяти городских церквей. Лавки отпирались на несколько часов. Люди перестали здороваться за руку, пили только кипяченую воду, мыли руки карболкой. Многие перебирались за город, на виноградники. Никто уже не думал о скором, никому не ведомом исходе войны, о голоде, о своих близких на фронте. Эпидемия принимала все более устрашающие размеры, а в лагере военнопленных были случаи холеры, занесенной пленными солдатами колониальных войск.

Тогда-то полковник и укрылся с женой здесь, на винограднике, в старом каменном домишке.

Военная подвода доставила багаж — огромную деревянную кровать, тюфяки, несколько стульев, кухонный стол, одеяла. В доме, холодном, как погреб, была всего одна комната, выбеленная известью, со шкафами и нишами в стенах. Толстая дубовая дверь, источенная червями, запиравшаяся деревянным засовом и огромным замком, вела прямо в комнату. Дневной свет проникал сюда сквозь два окна со ставнями и железными перекладинами без стекол.

С грехом пополам супруги устроились на житье. В доме убийственная жара не так ощущалась. Обедали и ужинали на крытой галерее, в тени старого ореха, на который по ночам любил садиться филин.

Денщик выполот вокруг дома бурьян, скошил траву, а возле старого абрикосового дерева, каждый год приносившего обильный урожай, поставил скамью и сложил печку.

Одна бедная женщина из Варуши по имени Мариола каждое утро приходила стряпать, а в полдень, несмотря на жару, уходила домой.

В паническом страхе перед эпидемией полковник запрещал посторонним переступать порог своего жилища. Служанка готовила в саду. Прежде чем взяться за работу, она надевала старое платье полковницы, а свою одежду вешала на ветку айвы возле печки. Что касается денщика, то он безропотно ночевал под открытым небом.

Сам полковник, слезая с пролетки, привозившей его из города, поспешно снимал под деревьями свой летний китель, мыл руки карболкой, переодевался в платье, которое ему приносила жена, и уж потом входил в дом. Стакан кипяченой воды, в которой он разводил йод, завершал этот неизменный дезинфекционный обряд. И только тогда полковник, успокоенный тем, что микробы уже умерщвлены антисептическим действием этих медикаментов — единственных ему известных, — наконец садился обедать.

О винограднике, занимавшем полгектара, полковник не переставал заботиться даже в это тревожное время. Каждый вечер в сопровождении денщика он обходил свои владения.

Через несколько дней после их переселения одно из персиковых деревьев оказалось обобраным. Похититель незаметно проник ночью в сад. Полковник страшно разгневался. Эти деревца, приносившие крупные, вкусные плоды, были его гордостью. Чтобы уберечь их от засухи,

денщик ежедневно ездил за водой на отбракованной артиллерийской кляче, навьюченной мехами, и поливал их. Персики алены издали, точно оранжевые птицы, рассеявшиеся на ветвях редколистных деревьев.

Солдат получил строжайший приказ впредь ночевать в винограднике, чтобы поймать вора.

В эти тяжкие годы набеги на виноградники случались что ни день. Стаи голодных ребятишек и просто бедный люд набрасывались на виноград и на фрукты, не желая ничего знать ни о какой эпидемии. Бездомные собаки, которых хозяева прогнали из деревень, бродили по виноградникам, питаясь ягодами. Кроме того, из лагерей часто удирали пленные. Они крали плоды, одежду, садовый инструмент. Случалось, патрули пристреливали кого-нибудь из этих несчастных, и труп потом несколько дней оставался непогребенным.

Супруги зажили уединенно, никого не навещали, и их никто не навещал. Каждое утро пролетка отвозила полковника в город, а к обеду доставляла обратно. Утолив голод и поспав в холодке, он снова ехал на службу и возвращался к вечеру, когда жаркое солнце садилось за темные вязовые рощицы возле лагеря. Потом они с женой ужинали на галерее, играли в карты и говорили о войне.

Каждый день между тремя и пятью часами денщик отправлялся за водой. Ездить приходилось далеко, потому что местность была безводная, а засуха истощила все родники и колодцы по соседству. Тогда Элисавета (так звали жену полковника) оставалась одна.

В эти ленивые послеполуденные часы деревья отбрасывали короткие тени, с неба струился сухой, режущий глаза свет, и все замирало в тоскливом забытии. Над пожелтевшими лозами порхали маленькие серые мухоловки, в безоблачной выси не пролетала ни одна птица, тяжелое безмолвие лежало вокруг, и только вдали, там, у города, где чернел силуэт вокзала, вдруг раздавался свисток паровоза, который, пуская тяжелые клубы черного дыма, волочил за собой длинный хвост вагонов, набитых солдатами, продовольствием и боеприпасами для фронта.

Элисавета проводила эти часы на галерее за чтением или шитьем. Уже не первой молодости, она была красива усталой, увядающей красотой уходящего лета. Ее большие глаза смотрели задумчиво, твердо, даже мрачно, и это придавало ее взгляду тот холодок, какой бывает в глазах бездетных, не удовлетворенных жизнью женщин.

— Я считал ее бессердечной, — говорил старьй учитель, — достойной подругой такого человека, как полковник. Однако моя жена была иного мнения, и впоследствии я убедился в ее правоте.

В супружеской жизни она не была счастлива. Полковник был человеком суровым, его резкость, вспыльчивость заставляли ее чувствовать себя особенно одинокой и состарившейся прежде времени. Ей, должно быть, не довелось испытать и малой доли того любовного счастья, какое достается молодой девушке в наши дни. Ее замужняя жизнь пришлась на пору трех войн, которые страна вела на протяжении семи лет. В памяти сохранились лишь немногие счастливые дни перед Балканской войной, когда она была первой красавицей в городе и самой желанной

дамой на балах, где тогда еще танцевали мазурку. В те времена наше офицерство подражало офицерству русской армии с его грубым тщеславием и бесшабашным мотовством. Когда полковник посватался к ней, она служила учительницей. В городе она пользовалась уважением, потому что была из хорошей, хотя и обедневшей семьи. Быть может, последнее обстоятельство и побудило ее выйти замуж за молодого капитана, на пятнадцать лет старше ее. А может быть, решили дело аксельбанты, белый китель и глупые предрассудки, не позволявшие ей выйти за человека не своего круга; в те годы офицерство представляло собой высший слой общества. Позже, когда она потеряла надежду иметь детей, ее охватило предчувствие, что отныне ей остается только доживать эту безрадостную жизнь, раз уж молодость растрочена напрасну. Мировая война заставила ее окончательно примириться со своей участью. Элисавета была довольна, что муж не на фронте и что благодаря его положению у нее в доме есть все, чего так недостает другим.

В часы одиночества, а они бывали ежедневно, она особенно сильно ощущала то безысходное отчаяние и чувство неполноценности, которое терзает бездетных женщин в преддверии старости. Единственным развлечением служили ей книги, да еще новости, которые муж и Мариола приносили из города. Они утешали ее, как утешают несчастного человека несчастья ближнего. Новости были скверные: хлеба становилось все меньше, а эпидемия каждый день уносила новые жертвы, и среди них были люди, которых Элисавета знала.

2

В один из таких послеполуденных часов, когда тень орехового дерева траурным флагом лежала на сухой, растрескавшейся земле, Элисавета отдыхала на галерее. Полковник только что уехал, и в воздухе еще чувствовался кислый запах конского пота. Мариола, испросив позволение сесть на козлы, тоже уехала в город, а денщик отправился за водой.

Раскаленная земля излучала жар. Воздух дрожал, знойная дымка затянула небо. На старой черепице кровли грелись ящерицы. Заблудившийся сверчок верещал под стрехой, и этот меланхолический стрекот напоминал о приближении вечера.

Неожиданно Элисавета услышала, как звякнул спрятанный в пугале колокольчик. Это повторилось еще два раза. Ей уже раньше приходило в голову, что, когда она остается одна, в сад могут забраться воры. Но она не была трусихой и не боялась — кто осмелится среди бела дня забраться на виноградник коменданта города? Однако, если такой смельчак сыскался, следует отчитать его, как она отчитала на прошлой неделе нескольких сорванцов. В тот раз она обратилась за помощью к старому учителю, их соседу, по отношению к которому полковник не проявлял неприязни. Сунув босые ноги в домашние туфли, Элисавета нехотя поднялась и медленно пошла к винограднику. Но там никого не было видно. Краснели персики, желтели выгоревшие на солнце листья винограда.

Тишина и покой были разлиты вокруг.

”Собака, должно быть”, — подумала она и решила ее прогнать. Эти голодные животные причиняли немалые убытки — они больше сбивали винограда, чем съедали.

Она пошла по тропинке дальше, чувствуя, как ее обдаёт жаром, а раскаленная земля обжигает ступни сквозь тонкие подошвы туфель.

Собаки, однако, тоже нигде не было видно. Ни одна лоза ни шелонулась, не качнулась ни единая веточка. В тишине слышалось только жужжание ос.

Она крикнула:

— Пошла! Пошла!

От горячего воздуха перехватило горло, и голос сразу замер. В винограднике не было никого, кроме пугала. Элисавета посмотрела на него и вздрогнула: пугало накренилось.

Старый учитель тоже услышал колокольчик, и так как с его дачи был виден виноградник полковника, он вышел, чтобы прогнать вора.

— Я видел, как полковница, — рассказывал он, — идет между рядами лоз, озираясь по сторонам. На ней было тонкое светло-зеленое платье, доходившее до колен. Волосы на ярком солнце казались золотым шлемом. Она шла медленно, но в походке ее сквозило беспокойство. Дойдя до персикового дерева, стоявшего посередине виноградника, она испуганно вскрикнула. Я подумал, что ее напугал уж — их много водится в этих местах. Потом услышал, как она кричит прерывающимся голосом:

— Кто там? Вылезай! Сейчас же вылезай!

Я пустился бегом, чтобы помочь ей справиться с вором. Когда я подбежал, за лозами кто-то зашевелился. Оттуда поднялся молодой мужчина с непокрытой головой. Свою солдатскую шапку, доверху полную только что сорванных персиков и винограда, он прижимал к груди.

Похититель был военнопленным сербом.

Несколько мгновений, пораженные, мы молча смотрели на него. Сквозь рваный офицерский френч просвечивало худое, обожженное солнцем тело. Белья на нем явно не было. Ноги босые, в ссадинах. Он был смугл и, несмотря на страшную худобу и запущенный вид, даже хорош собой. Волнистые, давно не стриженные, черные как смоль волосы и большие глаза, лихорадочно блестящие от голода, придавали ему сходство с беглым каторжником. Он в свою очередь смотрел на Элисавету с изумлением и, казалось, не в силах был оторвать от нее взгляд.

Еще не вполне оправившись от испуга, она строго спросила:

— Как вы посмели войти сюда? Вам известно, чей это виноградник?

— Ради бога, сударыня... Я был голоден.

Голос его был спокоен, вежлив и чуточку ироничен. Очевидно, он не представлял себе, какой опасности подвергался. Он даже улыбнулся, хотя и виноватой улыбкой. Тонкие губы обнажили два ряда ослепительно белых зубов, и его открытое лицо сразу стало юношески беззаботным.

Элисавета вопросительно взглянула на меня. Я понял, что она готова простить его.

— Надо было попросить меня, я бы вам сама нарвала чего хотите, — сказала она и сконфузилась, тут же поняв нелепость такого назидания.

Что знал о ней этот бедняга, мог ли он обратиться к ней с какой-либо просьбой? Его счастье, что денщика не было на месте. Иначе дело обернулось бы скверно.

Она замолчала, смущенная пристальным взглядом пленного. Потом, преодолев неловкость, решительно сказала:

— Если вы так голодны, идемте со мной.

Тут вмешался я:

— Вам известно, что патрули стреляют в каждого, кто пытается выйти за пределы лагеря?

— А я не убежал из лагеря, — беспечно ответил он. — Я только свернул с дороги.

— Пусть он пойдет со мной, я его накормлю, — настаивала Элисавета. — Пусть не стесняется. Объясните ему.

— Я понимаю, — сказал пленный.

— Тогда идемте!

Она попросила и меня пойти с ней.

Я знаком пригласил его следовать за нами. Он шел позади Элисаветы, неся под мышкой наполненную плодами шапку.

Подойдя к дому, Элисавета предложила нам подождать на скамье. Я сел возле пленного и заговорил с ним. Оказалось, что родом он откуда-то из-под Сплита, отец у него хорват, мать сербка. Он музыкант, был учителем музыки в одной из белградских гимназий. Рассказывая, он то и дело поглядывал на дом. Когда Элисавета показалась в дверях, он поспешно положил ногу на ногу, чтобы спрятать голое колено.

У нее в руках был поднос с едой. Она протянула ему поднос, и он трясущимися руками взял его, но к еде не притронулся. Очевидно, стеснялся есть при нас, боясь показать, как он голоден. Мы поняли, что нам лучше оставить его одного.

— Я могу дать ему кое-что из платья, — сказала Элисавета, когда мы отошли в сторонку и я передал ей свой разговор с сербом.

— И сделаете благое дело. Он наш коллега, учитель.

— Учитель?

— Да, музыкант, учитель музыки.

Это сообщение, по-видимому, поразило ее и тронуло. Она пошла в дом и через несколько минут появилась со свертком в руках. Мы вернулись к нашему гостю. Он уже покончил с едой и теперь сидел, задумавшись. Персики и виноград были выложены на поднос, грязная рваная шапка скомкана в кулаке. Стало быть, возвратил похищенное.

Элисавета протянула ему сверток.

— Возьмите, — сказала она. — Если вы сумеете еще раз зайти, я постараюсь чем-нибудь помочь вам. А персики возьмите тоже. Зачем вы их высыпали?

Ей следовало бы предупредить его об опасности, которой он подвергался, и вообще, на мой взгляд, незачем было его приглашать, но она не решалась ему сказать, что она жена коменданта, которого он

наверняка знал и наверняка ненавидел. К моему удивлению, она повторила, подчеркивая каждое слово:

— Приходите опять в это же время — не позже и не раньше. Когда я одна...

Будто свидание ему назначала.

Он кивнул, глаза его сверкнули, и я увидел, с каким восторгом он следит за каждым ее движением. На прощание она спросила, как его зовут.

— Иво Обретенович, — сказал он просто.

— Иво — по-нашему Иван, — сказал я.

Тут я заметил, что Элисавета тоже украдкой разглядывает его. У него было узкое лицо, мужественный подбородок и открытый умный лоб. Руки загребели, но пальцы, как у музыканта, — тонкие, длинные. Мне показалось, что Элисавета во время короткого разговора с ним очень волновалась. Мы уже дошли до каменной ограды, за которой пролегалла дорога. Она подала ему на прощанье руку, он быстрым движением взял ее и почтительно поцеловал. Его темные глаза потеплели, он задержал ее руку в своей дольше, чем полагалось, и я видел, что Элисавета не пытается ее отнять. Напротив, ей, очевидно, было приятно это, потому что она улыбнулась ему.

Когда мы остались вдвоем, она попросила меня ничего не говорить полковнику.

— Он ненавидит сербов и рассердится на меня, если узнает, что я помогла этому человеку.

Я обещал.

— Неужели пленным так худо живется? — спросила она.

— Куда хуже. Этот еще неплохо выглядит. Должно быть, пользуется некоторыми привилегиями. Если хотите увидеть их, приходите сюда под вечер, когда они возвращаются по этой дороге в лагерь.

— В какое ужасное время мы живем! — сказала она и повернула к дому.

Немного погодя я увидел, что она недвижно стоит, глядя куда-то вдаль. Задумалась о чем-то. Потом она прошлась вдоль дома, убрала поднос и села на скамью, где незадолго до того сидел пленный. Взяла книгу, но та, по-видимому, скоро ей наскучила, и она отложила ее.

Тишина становилась все более гнетущей. Обильно залитая палящим солнцем земля приуныла и поблекла. От дома тянуло прохладой и запахом карболки. Даже темная неподвижная листва ореха и та озабоченно примолкла, словно дереву тоже передалась общая грусть.

Когда денщик вернулся, Элисавета подозвала его и сказала:

— Съезди завтра в город и разыщи старые сапоги господина полковника. Привезешь их сюда, но никому об этом ни слова. Я хочу отдать их тут одному бедняку.

Солдат удивленно взглянул на нее, помолчал, потом кивнул, и в его сощуренных глазах скользнула неприятная усмешка.

Она не рассказала полковнику о дневном происшествии, но за ужином нарочно завела разговор о пленных. Полковник нахмурился.

— А каково болгарам, которые у них в плену? Ты об этом подумала? Ты знаешь, как с ними обращаются? Да лучше погибнуть в бою, чем попасть к ним в плен!

— Почему бы нам не быть более гуманными? — горячо возразила она.

— Ты что, не видишь, что нет хлеба, нет обмундирования. Солдаты босы, в бой идут голодными, а ты печешься о пленных! Выбрось из головы свои учительские бредни!

Она нахмурилась и умолкла не потому, что его доводы убедили ее, а потому, что была задета выражением "учительские бредни" и поняла, что дальнейший разговор бесплоден. Полковник презирал всякую чувствительность. Он откинулся на спинку стула, иронически посмотрел на жену и сказал с вызовом:

— Уж не ходила ли ты на дорогу смотреть на них?

— На кого?

— На пленных. Их каждый вечер проводят мимо. Не советую ходить. Тебе нет до них дела. Порядочной женщине не пристало смотреть на подобные неприличия. Ведь они потеряли всякий человеческий облик.

— А как же может быть иначе, когда они голодны, измучены?

— Голодны? Пускай радуются, что они в тылу. Будь они сыты, они стали бы бунтовать.

Он прочитал на ее лице досаду и переменял разговор.

— Приехал в отпуск Каварналиев. Привез два ящика сахара, каналья! Вот что значит быть комендантом пограничного города. Убежден, что он и соль тоже вывез контрабандой из Румынии. Деньги загребают... И это офицеры! Проходимцы!

Он возмущенно и грозно крутил свои густые усы. Хотя он и не променял бы свою комендантскую должность ни на какую фронттовую, он все-таки чувствовал себя обойденным. В отличие от большинства своих коллег — комендантов тыловых городов — он в самом деле не воровал. Он любил хвастаться, что не привез домой никакой военной добычи, кроме турецкого кавалерийского карабина, и это давало ему право возмущаться, когда кто-либо из его коллег пятнал честь мундира такого сорта делишками.

Так как Элисавета не выразила никакого сочувствия его переживаниям, он вспомнил о своей ране и стал жаловаться на боль в ноге. Обычно жена старалась угождать ему, но на этот раз безучастно сказала:

— Погода, верно, переменится, вот твоя нога и дает себя знать. У тебя ревматизм.

Он потребовал горячей воды, и вскоре денщик принес медный казанок, формой напоминавший поповскую камиллаву. Туда насыпали соли, и полковник, сняв сапоги, опустил ноги в воду. Он всегда прибегал к этому примитивному средству, когда разбалывалась нога, воображая, будто подсолненная вода обладает целебными свойствами морской. Удоб-

но развалился в шезлонге, он попеременно вынимал из казанка ноги и опускал их, морщась от горячей воды.

Когда-то это даже забавляло Элисавету. Она знала наперед всю программу этой процедуры. Вдосталь нажаловавшись на несправедливость судьбы и на боль, он становился добродушным, сентиментальным и неуклюже-ласковым. Но теперь это вызывало в ней раздражение. Она знала, что сейчас он снова скажет: "Стареем, Лиза, стареем, девочка моя", — не потому, что сознавал собственную старость, а из желания внушить ей, что она тоже состарилась.

С газетой в руке она отошла к висевшей на стене лампе, над которой висел рой мошек и ночных бабочек.

Кругом раздавался меланхоличный, похожий на прерывистый стон стрекот кузнечиков, в воздухе струились запахи трав, дыма и жареного мяса, которое денщик только что кончил готовить. С соседнего луга доносилось фырканье старого коня. Потом из города долетело медное пение солдатского горна, созывавшего новобранцев в казармы на молитву. А несколько минут спустя его сменил хор мужских голосов: "... на сопротивные даруя... царю нашему Фердинанду..."

Сотни голосов сливались в мелодичном речитативе молитвы, которая рвалась к темному звездному небу и замирала в душной ночи, точно зов, полный упования на кого-то, кто должен же быть в этом черном куполе, опрокинутом над пышущей жаром землей.

Элисавета машинально пробежала глазами газетные строчки, а мысли ее были заняты войной. Война была далеко — где-то там, на юге и на севере, — но она чувствовалась в немой печали, нависшей над страной, в солдатской молитве, даже в этой жаркой, удушливой августовской ночи. Чего-то недоставало для того, чтобы жизнь выглядела спокойной и привычной, — не было мужчин, юношей, не было самой молодости. И на фоне этих мыслей перед ней возникал образ пленного серба, пробиравшегося ползком по земле, чтобы утолить голод. Ей опять слышались его слова — "ради бога, сударыня", и он казался ей мучеником, жертвой чудовищной несправедливости. Душа кипела горечью и гневом. Разве война не разбила и ее собственную жизнь? Разве не погублены безвозвратно годы молодости? Разве не напрасно растрчивает она жизнь и сейчас?

Ее вдруг охватила ненависть к мужу, к этому старому служаке, чей багровый затылок видела она сейчас перед собой. По его вине бесцельно растрчена ее жизнь. Он обманул ее, прельстив офицерским чином, блестящей карьерой, обещаниями создать ей безмятежную, счастливую жизнь. Он становился в ее глазах олицетворением войны и главным губителем ее молодости. И она знала, что никогда ему этого не простит.

Она и прежде испытывала приступы отвращения к мужу, но всегда подавляла их. Теперь же она отдавалась этому чувству, не в силах ему противиться. Мысли увлекли ее так далеко, что она вздрогнула, ужаснувшись собственной смелости. Подняв свою золотоволосую голову, она взглянула на мужа.

Полковник закончил "морскую ванну" и теперь лежал в шезлонге, оперев красные распаренные ступни о край казанка. Видно было, что он

о чем-то глубоко задумался. Голова его была опущена на грудь, короткая шея напряглась.

— Лиза, — неожиданно проговорил он, оборачиваясь к ней. — Ты ничего не слышишь?

— А что?

— Артиллерия... Орудийные залпы.

Она вслушалась. В самом деле ухо различало — где-то на юге — глухие, едва уловимые раскаты. Они шли как будто из-под земли. Ночь была на редкость тихой.

— Да, слышу, — сказала она и почувствовала, что по телу пробежали мурашки.

— Наши ведут большие бои. Да поможет им бог! Боюсь, мы и эту войну проиграем.

— Безумие все это, — твердо сказала она.

Полковник тяжело вздохнул и не отозвался. Она удивленно взглянула на него: редко видела она мужа таким задумчивым и человечным.

"Получил дурные известия", — решила она и встала поправить лампу, в которую залетела бабочка.

Через час они легли. Прежде чем заснуть, она снова долго думала о войне, о близящемся конце ее, о безрадостной судьбе серба. Его образ всплывал в ее сознании с необыкновенной отчетливостью. Она снова видела устремленный на нее горящий взгляд красивых черных глаз, дыру на колене, покатые плечи и слышала теноровый тембр его голоса. Ей хотелось, чтобы он непременно пришел еще раз, тогда бы она отдала ему сапоги, которые денщик привезет из города...

4

На другой день пленный не пришел. Элисавета поджидала его у дороги. Она вернулась домой раздосадованная и, ощутив нестерпимую скуку, пошла к учителю, с женой которого поддерживала отношения. Она осталась у них до тех пор, пока не вернулся полковник и денщик не пришел за ней.

Разговор с учителем и его женой несколько развлек ее. Она узнала кучу новостей: среди солдат на фронте вспыхнул бунт, в городе носятся самые различные слухи, как бывает в военное время в канун катастрофы. Рассказывали о расстрелянных солдатах, об отданных под суд офицерах. В стране зрело недовольство, начались волнения. Крестьяне противились реквизициям, фронтовики отпрашивались в отпуск для того, чтобы свести счеты с каким-нибудь зарвавшимся старостой или другим представителем власти. Один их сосед, в прошлом владелец красивой мастерской, вывез из оккупированной Сербии несколько мешков трофеев, главным образом платье и множество чулок. Его дети натягивали по несколько пар сразу и носили их вместо башмаков. "Вероятно, снято с убитых", — сказала жена учителя.

Как обычно, супруги ужинали за длинным массивным столом. Пол-

ковник выглядел озабоченным. Он рассказал жене о двух случаях тифа в казармах и о каком-то хищении на складах.

Вечер был темный, душный. На дачах по ту сторону шоссе заливались лаем собаки, мерцали огоньки керосиновых ламп. Над землей навис тяжелый мрак. Стояла необыкновенная тишина. Запоздавшая луна выплыла из-за Святой Горы — громадная, кроваво-красная. Элисавете вспомнилось землетрясение во время межсоюзнической войны, когда предвестья надвигающейся катастрофы тоже носились в воздухе.

Ночью впервые за долгое время пошел дождь. Одна-единственная тучка принесла его, он с тихим шепотом окропил сухую землю и испарился, как роса, но запах влажной земли был свежим и бодрящим. Однако на следующее утро солнце пекло точно так же и на небе по-прежнему не было ни облачка. За обедом полковник сообщил еще одну новость. Ночью над местностью пролетел немецкий дирижабль и упал восточнее города. Дирижабль разбился, полковник показал кусочек алюминия и шелковый лоскут от его корпуса.

— Все погибли, — мрачно сказал он. — Сбились с курса, а бензин кончился. Говорят, они спускали канаты... Понять ничего нельзя. Черт побери, бензин теперь самое важное!

Днем, оставшись одна, Элисавета попробовала разглядеть место, где упал цеппелин. Сквозь сильные линзы полевого бинокля она различила его длинное искалеченное туловище, похожее на перезрелый огурец. Рядом суетилась пестрая толпа подростков, женщин и детей, сбжавшихся поглядеть и унести что-нибудь на память. Несколько часов спустя там уже никого не осталось. Толпа разбрелась, а возле обломков дирижабля поставили часового.

И каждый день полковник или учитель с женой передавали ей новости такого рода. Поговаривали о перемирии, однако полковник этому не верил, и Элисавета была с ним совершенно согласна.

— Немцы не позволят нам заключить сепаратный мир, — говорил он. — И я надеюсь на наших солдат.

После случая в винограднике прошло уже несколько дней, а пленный так больше и не показывался. Ей пришлось запрятать сапоги в угол, под столик, на котором лежали ее книги и тикал будильник. По вечерам Элисавета уходила к учителю, чья дача была близ дороги, по которой пленные возвращались в лагерь. Она то и дело ловила себя на том, что думает о пленном и что желание увидеть его становится все сильнее.

Она увидела оборванную толпу, от которой исходил тяжелый запах, услышала разноголосый говор на всех югославских наречиях, но его в толпе не было. Конвоиры, пожилые солдаты, мрачно шагали по бокам колонны. Элисавета вместе с женой учителя однажды начала было раздавать пленным виноград из корзин. Но тут все эти полуживые люди так жадно набросились на него, так ползали на четвереньках, точно обезумевшие от голода обезьяны, что женщины в ужасе убежали прочь. С того дня Элисавета перестала ходить к дороге. Надежда передать пленному сапоги почти исчезла.

К концу недели задул жаркий сухой ветер. Он шел как будто из пустыни, откуда-то издали, с юга, низко над землей и не пригнал на небо ни единой тучки. Длинные полосы пыли обозначали спрятавшееся между деревьями шоссе и клубами расходились вокруг. Небесная лазурь потемнела, и в знойном слепящем свете сквозило что-то болезненное и тревожное. Поникие растения приобрели какой-то пыльный, зеленовато-серый цвет, поредевшие листья на деревьях непрерывно дрожали под напором горячей волны, со свистом пронесившейся мимо, а по галерее, гонимая друг за дружкой, шуршали сорванные с ореха листья.

Элисавете нездоровилось. Мучила головная боль, нервы были напряжены до предела. По вечерам ее будоражила луна, нескончаемое движение горячего воздуха вызывало смятение и тоску.

Сейчас она лежала в полутемной комнате, пытаясь читать. Денщик поехал за водой, и она была одна. Она рассеянно пробегала глазами "Путешествие Гулливера", ее раздражал плаксивый скрип ставни, легкая тень которого скользила по белым страницам книги.

Вдруг ей показалось, что возле дома кто-то ходит. Она поднялась в кровати, прислушалась. Сквозь шум ветра ухо различило медленные, неуверенные шаги, приближавшиеся снаружи к двери. Она откинула одеяло, сунула босые ноги в туфли и села на постели.

В светлом, резко очерченном проеме двери мелькнула тень, и спустя мгновение появился пленный. Он кивнул ей, что-то проговорил... У нее оборвалось сердце. Непроизвольным движением она собрала распахнувшийся ворот тонкой блузы. Застигнутая врасплох, она смотрела на него в оцепенении. Но он тут же отпрянул назад, и в проеме двери уже не видно было ни его серовато-зеленого френча, ни смуглого лица.

Она осталась на месте, широко раскрыв глаза, с трудом переводя дыхание, все еще придерживая ворот блузы. Уж не почудилось ли ей это, подумала она, и все ее существо напряглось — не послышатся ли снова шаги. Потом, не отрывая взгляда от двери, она надела пеньюар и выбежала на галерею, боясь, что уже не застанет его. Но он сидел на садовой скамье и ждал. Увидев ее, он вздрогнул и поднялся ей навстречу.

Она пошла к нему, ветер обдал ее горячей, сладостно кружащей голову волной, и тотчас с необычайной остротой ее пронзила мысль, что она здесь одна с незнакомым мужчиной, в этом исполненном движения и шума пространстве. Ей показалось, что она движется во сне и что она уже не подвластна самой себе. Она сбивчиво сказала что-то, смущенно улыбнулась и неожиданно протянула ему маленькую белую руку. Он взял ее в свою, нагнулся и поцеловал. Его черные волнистые волосы почти касались ее груди.

— Я подумала, что вы... забыли... — сказала она, проглотив слово "меня" в самое последнее мгновение, когда оно было уже на кончике языка.

— Я хотел прийти, но не мог, — ответил он, путая ударения и растягивая согласные.

— Мы ждали вас... с женой учителя, там, у дороги, хотели вас повидать. Вы разве не возвращаетесь в лагерь вместе со всеми?

— Нет, я работаю в самом лагере, — неохотно сказал он, и его темные брови слегка нахмурились.

Наступило молчание. Они стояли друг против друга. Горячий ветер бился об них, плотно прижимал пеньюар к ее телу и распахивал полы, открывая округлые колени. Густой румянец заливал ей лицо, и она прятала глаза. Обломившаяся веточка абрикосового дерева застряла у нее в волосах.

Он смотрел на нее сияющими глазами, и она чувствовала, что его взгляд завладевает ею и кружит голову, как этот взвихренный ветром воздух. Смятение ее все росло, ей казалось, что сейчас она сгорит от стыда. Мысль, что она стоит наедине с посторонним мужчиной, вновь пронзила мозг, и в тот же миг к ней вернулось самообладание.

— Подождите, — сказала она и чуть не бегом вернулась в дом.

”Боже мой, что я делаю! — вскрикнула она про себя. — Что это со мной? Я сошла с ума! Отдам ему сапоги, и пусть уходит”.

Гордость помогла ей взять себя в руки. Она сердито вытащила сапоги из-под столика и, придав лицу спокойное и даже строгое выражение, спустилась в сад.

— Возьмите, это вам, — сухо сказала она.

Он взглянул на нее с удивлением, и ей трудно было решить, что его удивило — ее сухой и спокойный тон, перемена в выражении лица или сапоги, которые она ему протягивала.

Он взял их, посмотрел на свои жалкие коричневые полуботинки. Лишь теперь Элисавета заметила, что на этот раз на нем уже другой френч, не рваный, и поношенные, но целые бриджи, а над дырявыми башмаками аккуратно накручены зеленоватые обмотки. Он казался стройнее, выше, и платье сидело на нем ловко, хоть у него и был вид человека, одевшегося в лавке старьевщика.

— Благодарю, сердечно благодарю вас, — сказал он.

— Надеюсь, они будут вам по ноге, — проговорила она. — Это сапоги моего мужа, но он их не носит.

— А где ваш муж? — спросил он.

— В городе... Он там служит.

Пленный с усмешкой взглянул на нее, и ей показалось, что он ей не поверил.

— А почему вы одна? У вас нет детей?

— Нет, — ответила она, — у меня нет детей.

Он держал сапоги в руке, слегка помахивая ими, и пристально смотрел на нее своими большими глазами. Потом вдруг проронил:

— Я знаю, кто ваш муж. Комендант города.

— От кого вы узнали?

— Узнал. Спросил конвойных в лагере... Вы его жена. Почему вы это скрываете?

В смущении она не сразу ответила:

— Потому что он очень суров с пленными...

— Зато вы такая добрая!

— Вам нужно быть очень осторожным, когда вы приходите сюда, — заметила она. — Я не всегда одна.

— Я знаю. У вас денщик и прислуга.

— Откуда вы знаете?

— Подсматривал.

Она рассмеялась. Он смотрел на нее серьезно, с видом обиженного ребенка.

— Я приходил на другой день после того, как вы поймали меня в винограднике, но вы были не одни. Тогда-то я и увидел денщика. Он сидел на скамейке и стругал палку.

— Вы подвергаете себя большой опасности, — сказала она, уже немного успокоенная разговором. — Не хотите ли закусить?

— Не откажусь, если предложите.

Она вернулась в дом со счастливым выражением лица, избавившись от волнения и неловкости. Отрезала ломоть хлеба, взяла кусок брынзы и завернула все в газету. Денщик должен был скоро вернуться, и следовало предупредить пленного, что ему пора уходить.

“Милый юноша”, — подумала она, вспомнив его обиженный взгляд.

Она подала ему сверток и предупредила, что денщик может вернуться с минуты на минуту. Он попрощался и быстро зашагал по тропинке, которая тянулась вдоль виноградника.

Элисавета проводила его взглядом до самой ограды. Оттуда он помахал ей на прощание рукой, и она тоже махнула в ответ. Он перепрыгнул через ограду и исчез, и тут она вдруг ощутила, как одинока. Вернулась в дом, бросилась ничком на свою огромную кровать и долго лежала не шевелясь. В голове не было ни единой мысли, и отчего-то щемило сердце. Оно словно заполнило собой все ее тело, и она ощущала его теперь с какой-то странной силой. Перед нею стоял образ пленного. Он настойчиво смотрел на нее своими темными глазами, которые так волновали ее.

“Может быть, не придет больше, — подумала она, и эта мысль вывела ее из оцепенения. Она испугала и вместе с тем успокоила ее. Пленный знает, чья она жена. — Неужели у него хватит смелости снова прийти? Тем лучше, тем лучше, — твердила она про себя. — Я сегодня обезумела. Это все от погоды... От этого душного ветра...”

Но она знала, что он снова придет, и это наполняло ее радостной тревогой.

Она очнулась, заслышав лошадиный топот, и поднялась с кровати. На пороге появился денщик.

— Ну что тебе? — сердито спросила она.

— Если вам угодно свежей воды, я налью.

У нее шевельнулась мысль, уж не встретился ли ему пленный с сапогами. Солдат смотрел на нее подозрительно и, как ей показалось, с легким презрением. Потом его тощая физиономия исчезла за дверью, и было слышно, как он покрякивает на старую клячу, послушно стоявшую перед домом с полными мехами воды на спине.

“Даже если и видел, не посмеет сказать Михаилу”, — успокоила она

себя и решила пойти к жене учителя, потому что ей не хотелось видеть этого нелюдимого, мрачного человека, которому, возможно, известна ее тайна...

6

На другой день ветер утих и на землю опустилась удивительная тишина. Все как-то обнажилось, будто лето уже сменилось незаметно подкрашиваясь осенью. Холмы как бы придвинулись. В спокойном прозрачном воздухе разливался усталый мягкий свет. Дачные домики по склону холма белели вдаль на фоне легких, поредевших акациевых рощиц, горизонт расступился вширь, и свет пронизывал выцветшую серую зелень растений. Тень дома стала короче и бледнее, на дорожке валялись желтые листья, утоптанная трава на лужайке, где паслась лошадь, поредела, а небольшая горка камней, сложенная на меже у края виноградника, сухо поблескивала, напоминая груду старых, извлеченных из земли костей.

Элисавета велела денщику вынести обеденный стол в сад и теперь сидела за швейной машиной, перешивая одно из своих платьев для маленькой дочери Мариолы. Стук машины разносился далеко вокруг, и под ее торопливый ритм Элисавета мурлыкала песенку, которую знала еще от матери. Быть может, она слушала ее, когда мать вот так же строжила на машине, а она трогала материю своими детскими ручонками, упоенная запахом новой ткани. Так или иначе, эта песенка всегда вызывала в ее душе грусть, которую испытываешь, вспоминая детство.

Рядом с ней на скамье сидела Мариола, распарывая старое платье. У нее было маленькое, сморщенное личико, редкие волосы выбились из-под платка, а из воротника полинявшего платья высовывалась почерневшая от солнца шея с тонкими морщинками и зобом. Мариола осталась здесь вопреки запрету полковника и была невообразимо счастлива. Ее широкие пальцы в порезах от кухонного ножа уверенно и проворно поролли ткань.

Обе женщины торопились дошить платье в тот же день и, поглощенные работой, почти не разговаривали.

Время близилось к трем, и денщик, как обычно, уехал за водой. Элисавета проводила его озабоченным взглядом. После вчерашнего этот человек стал ей неприятен. Впервые бросились ей в глаза его вытянутая шея, сутулые плечи, длинные руки, потные желтые ладони. Особенно ее поразил его отвратительный затылок с редкими, жирными волосами. Перед тем как уехать он нагло посмотрел на нее — так по крайней мере истолковала она его тяжелый взгляд.

Она продолжала строчить, вертя за ручку колесо машины. Ее белый локоть и красивая, холеная кисть, украшенная золотым браслетом, поблескивали в мягком свете дня, а на лоб падала тень пышных волос.

Вся уйдя в работу, она сосредоточенно следила за тем, как выбегает из-под иглы материя. Вдруг она подняла голову, и взгляд ее упал на ай-

вовые деревья, стволы которых были заслонены молодыми побегами, густыми, как живая изгородь. Оттуда на нее смотрели знакомые глаза...

Элисавета опустила голову, потом снова подняла ее, желая убедить-ся, что она не обманулась, и вновь встретила тот же взгляд, исполненный немого восхищения. Она побледнела и сделала вид, будто ничего не заметила и вся поглощена работой. Но пальцы потеряли уверенность, и шов ушел из-под иглы. Она нервно дернула за нитку и оборвала ее. Нужно было вдеть ее в ушко, но она сперва посмотрела в сторону айвовых деревьев. Глаза были по-прежнему устремлены на нее.

Сердце забилося быстрее, она сознавала, что наступила решающая минута. Предстояло выбрать между желанием продолжать это неравное знакомство и собственной гордостью и стыдливостью. Она чувствовала, что сегодня он пришел для того, чтобы увидеть ее, а не ради еды.

"Я должна сказать ему, чтобы он больше не приходил", — подумала она и спросила себя, способна ли она на это. Но эта мысль вызвала в ее душе мучительное раздвоение и ощущение пустоты. Она поняла, что этот человек стал ей неожиданно близок, словно он уже встречался ей когда-то и давно жил в ее мыслях. Это удивило ее и еще больше взволновало. Одна половина ее существа тянулась к нему, другая холодно приказывала: "Оставайся на месте и притворись, будто не замечаешь его. Когда он поймет это, он уйдет". Однако она выбрала нечто среднее. Решила объяснить ему, что он не должен больше приходить. Что будет, если муж узнает об этих посещениях?

Эта мысль не на шутку испугала ее и придала решимости. Рука перестала дрожать, к Элисавете вернулось самообладание, и она сказала Мариоле:

— Кажется, колокольчик в винограднике звякнул. Пойду взгляну, не забралась ли собака.

Ее красивый низкий голос прозвучал спокойно, но ей он показался чужим, будто кто-то другой произнес эти слова. А когда она уже встала, то сама вдруг усомнилась в искренности своих намерений, но решение не переменяла.

Она обошла айвовые деревья с другой стороны, чтобы служанка не могла ее видеть. Там была небольшая ложбинка, где и притаился пленный. Элисавета увидела, что он сидит, прислонившись к стволу дерева. Он ждал ее. Она неуверенно подходила, отводя глаза, пытаясь прогнать с лица улыбку, поравнялась с ним, и не успел он понять, отчего она не остановилась, как услышал ее голос: "Идите за мной".

Он встал и, пригнувшись, под прикрытием деревьев последовал за ней.

Она поджидала его шагах в двадцати от айвы, в глухом, засаженном шелковицей уголке сада, где росла громадная липа с траурно темной, пышной листвой. Место было надежно укрыто от чужих глаз плотной стеной тутовых деревьев.

Она хотела придать лицу озабоченное, недовольное выражение, но губы улыбались против ее воли. Пленный уже стоял перед нею, и лишь теперь она поняла, как безрассудно поступила, придя сюда. Ее охватил

и страх перед самой собой, и любопытство: как он поведет себя? У нее заранее было заготовлено несколько фраз: "Чем я могу быть вам полезна?" или: "Вы забываете, какой опасности подвергаете себя", — но, увидев теплый, радостный свет в его глазах, она не отважилась произнести их. Он протянул ей руку, и Элисавета, хотя и не без колебаний, пожалала ее. От него пахло свежим бельем и карболкой, бриджи были отглажены, хотя и плохо, — должно быть, он клал их под тюфяк, — сапоги, подаренные ею, придавали ему более внушительный вид, и, когда он подходил к ней в мягком свете дня, ее поразила его легкая, ритмичная походка и благородная, мужественная осанка. Она видела перед собой расправленные, чуть покатые плечи, смуглое, гладкое лицо, слегка выступающий вперед подбородок. Что-то дрогнуло в глубинах ее души, пробудив смутную радость и неясную надежду. Это встревожило ее, и она сделала над собой усилие, чтобы заглушить поднимающийся в груди порыв.

— Я опять пришел, — запинаясь произнес он и неуверенно улыбнулся.

— Как вам удастся выходить из лагеря? — спросила она, ободренная его смущением.

— Я там прислуживаю одному французскому майору. У него больные нервы, и я слежу, чтобы он не пил. К этому времени он уже напивается и спит.

— Но ведь вы должны не допускать этого?

— Солдаты таскают ему водку. Иначе нельзя. Он не может не пить.

— Значит, вы санитар, — сказала она для того, чтобы что-то сказать.

Он покачал головой, лицо у него помрачнело.

— Майор — несчастный человек. Пятнадцать лет прослужил в колониальных войсках и там погубил здоровье. Когда у него есть водка или вино, его можно терпеть, а так он становится невыносимым.

Он сорвал с липы листок и стал вертеть между пальцами. Очевидно, не знал, как продолжить разговор, или хотел его переменить. Элисавета чувствовала, что он собирается сказать что-то приготовленное заранее, и ее снова охватило волнение. Он поднял голову, поглядел на нее и не решительно улыбнулся.

— Я причиняю вам беспокойство... не правда ли?

— Нет, отчего же...

— Я прихожу уже в третий раз. И наверно, приду еще, но не для того, чтобы попросить еды, а чтобы видеть вас.

Она почувствовала, что лицо ее залилось краской. Он продолжал неуверенным тоном, в голосе его были трепет и волнение.

— Скажите, зачем вы пришли сюда, когда увидели, что я смотрю на вас? Я целый час наблюдал, как вы шьете... Вы могли не приходите.

— Я не хотела, чтобы вас заметила служанка. И потом я думала вас попросить... не... не... подвергать себя такой опасности.

Она робко взглянула на него. Лицо его приобрело золотистый оттенок, сквозь загар проступила бледность, глаза были полны света, узкие

ноздри чуть вздрагивали. Его взгляд напугал ее. Никто никогда не смотрел на нее так пламенно, так самозабвенно, таким преданным, жаждущим и вместе с тем открытым взглядом. Ей показалось, что она в один миг узнала его, увидела всю его душу. И она поняла, что отвечает на его взгляд, сама того не желая, всем своим существом, подчиняясь какому-то необъяснимому порыву, который нахлынул, точно морская волна, и повлек ее за собой. Ей пришлось собрать всю свою волю, чтобы не поддаться этому головокружительному чувству.

Она отвела глаза. Дышать становилось все трудней, кровь бешено стучала в висках. Ей хотелось бежать от этих влюбленных глаз, которые гипнотизировали ее и заставляли трепетать каждую клеточку тела, хотелось спастись от их света, но она продолжала стоять и слушать его.

— Мне необходимо видеть вас, — слышала она его голос, проникавший ей в самое сердце. — При мысли о вас мне легче дышится. Лагерь уже не кажется таким страшным, и можно жить дальше... Эти минуты возвращают мне веру в жизнь...

Он произнес на своем родном языке несколько слов, которых она не поняла, но ощутила их страстную искренность.

— Я ничего не знаю о вас, мы еле знакомы... — прервала она его.

— А что обо мне знать? Я всего лишь военнопленный, я сам не знаю, кто я и что я.

Она услышала собственный голос, спросивший:

— Вы не женаты? — и ужаснулась себе.

Он улыбнулся и показал руки с длинными пальцами, на которых не было кольца. Она смутилась.

— Я должна идти, — сказала она, оглянувшись в сторону дома. — Служанка забеспокоится и пойдет меня разыскивать.

— Оставайтесь еще минуту.

— Нельзя. У меня сегодня много дел.

Она вспомнила о платье, которое надо было дошить. Эта мысль сразу вернула ей озабоченность, в груди что-то сжалось, свет в глазах погас. "Неужели это из-за платья? — подумала она. И сама себе ответила: — Нет, платье ни при чем, тут другое... Из-за него. Завтра он придет снова..." — И она даже задохнулась от страха.

— Вы в самом деле уже уходите? — спросил он, взяв ее за руку.

— Да, так нужно. — Голос у нее был мягкий, теплый, озабоченный.

Он неожиданно сплел свои пальцы с ее, и словно электрический ток побежал от него к ней. Она почувствовала другую его руку у себя на талии и отшатнулась, чтобы избежать этой опасной ласки. Но его рука не отпускала ее. Он притянул ее к себе и, прежде чем она успела опомниться, с жадностью поцеловал трепещущими губами...

Она вырвалась из его объятий и неловко, торопливо побежала к дому, сгорая от стыда, волнения и страха. Лицо ее пылало, в голове вихрем роились мысли. И когда она продиралась сквозь ветви шелковицы, в ушах звучали слова, которые словно гнались за ней по пятам: "Завтра в это же время..."

Жизнь ее была небогата переживаниями, и в ее сознании навеки запечатлелся жаркий день, когда случилось то, чего она страшилась и вместе с тем желала. И теперь она каждый раз снова замирала от волнения, вспоминая, как отважилась тогда пойти к липе после бессонной ночи, когда она боролась с собой, лежа рядом со спящим мужем; как его храп раздражал ее и это укрепляло ее решение; как утром она решила не ходить, не поддаваться вспыхнувшему в ней чувству. "Завтра в это же время..." Не померещились ли ей эти слова? Он ли произнес их или она сама себе их шепнула? Быть может, вчерашняя встреча возникла лишь в ее воображении, а в действительности ее и не было? Она гнала от себя эти мысли, хотела даже задержать Мариолу после обеда, чтобы предотвратить всякую возможность нового свидания. Но когда служанке пришло время уходить, она ничего не сделала, чтобы ее задержать, и, словно преступник, жаждущий поскорее избавиться от нежеланного свидетеля, с притворным равнодушием смотрела вслед шагавшей по тропинке Мариоле.

Сердце буйно колотилось у нее в груди, вдруг замирая, и тогда не хватало дыхания, а у самой липы ей пришлось сесть на траву, потому что у нее подкосились ноги. Потом, когда она увидела, что пленный подходит к ней, ее охватило безумное желание убежать, запереться на все замки. Но поздно... Тело было покорным, безвольным, все во власти желания...

С этого дня она перестала быть той Элисаветой, которую знала раньше, как будто под сенью липы, среди нежных, молодых побегов, ее душу поделили меж собой два существа: одно — смирившееся, подавленное, с холодным отчаянием и тоской ожидавшее приближения старости, и другое — доселе неведомое, охваченное надеждой и любовью, ликующее, пренебрегающее доводами разума, жаждущее свободы и счастья. Первое, с его неизменной строгостью, уже ничего не сулило ей, но зато ничем и не угрожало. Оно было слишком трезво, чтобы чего-то ждать от жизни, и желало одного: спокойствия. На его стороне были покойные отец и мать, воспитавшие Элисавету согласно собственным правилам и понятиям, и теперь оно осуждало, предостерегало ее, но она все меньше прислушивалась к его благоразумному голосу. Оно вызывало у нее то же чувство досады, какое она испытывала, возвращаясь мыслями к своей молодости — к годам войны, к долгим одиноким дням и вечерам в большом городском доме, мрачном и молчаливом, где, точно страж, следила за ней мать, высокая старуха со строгими бескровными губами, которой она не смела доверить свои горестные мысли, потому что боялась ее суровости. Мать воспитала ее в духе тогдашней, непреклонной, примитивной и жестокой морали тырновской "знати" — полумещан, полубуржуа, сохранивших нравственные устои своих предков-горцев с их аскетическим отрицанием плоти и любых радостей жизни. Теперь эти покойники были для нее тем же, что строгие лики византийских святых на иконах. Она больше не испытывала перед ними страха, потому

что то, другое существо разгадало их никчемную, наивную тайну и теперь они выглядели в ее глазах обманщиками. Это другое существо пробудило в ней все женское, что было подавлено и не находило удовлетворения в течение долгих лет, подобно подземной реке, теперь пробившейся на поверхность. Она отлично помнила, как пробудилось это второе существо, еще недавно дремавшее в глубинах ее сердца, так как помнила каждый миг его зарождения. Она противилась, восставала против него, много раз гнала от себя и отталкивала, а вместе с тем и призывала со страхом и трепетом, сгорая от стыда перед своим падением и бесчестьем. С той минуты, когда она поняла неодолимость своего чувства и убедилась, что воля ее с каждым днем слабеет, это новое существо становилось все сильнее и уверенней. Со смелостью и бесстыдством оно предьявляло свои права, отменяя все нравственные запреты, все доводы разума.

Каждый день после полудня она ждала пленного возле липы, дыхание ее прерывалось, колени слабели. В эти минуты она ощущала, как плотно обступает ее тишина, как стучит кровь в висках и пересыхают губы. И, завидев пленника, пробиравшегося через шелковицу, она переставала дышать...

Уже не было больше тех мучительных угрызений совести, которые терзали ее в первые их встречи, не было страха, колебаний, нерешительности. Ее чувство становилось все более полным, сильным, и она отдавалась ему с готовностью любящей женщины, узнавшей возрождающее волшебство любви. Можно было сказать, что она впервые отдалась мужчине душой и телом, жадно цепляясь за каждое уходящее мгновение из тех двух часов, что они проводили вдвоем под липой. Она не узнавала себя, дивясь собственной чувственности, бескрайней сложности и силе ощущений, которых она не ведала в пору первой молодости. Забыв о доме, о страхе, о муже, готовая на все, она удерживала его до последней минуты — когда денщик мог уже вот-вот возвратиться. А расставшись с ним, бежала домой счастливая, похорошевшая, ничего не видя вокруг. Она садилась на скамью, спиной к дому, и долго сидела так, заново переживая только что отлетевшие часы счастья, ослабевшая, замороженная.

Постепенно липа стала для нее одушевленным существом, и она издали весело посматривала на нее, как смотрят на молчаливого и верного союзника, или шла к ней в предвечерние часы, когда длинная могучая тень дерева протягивалась к востоку, точно черная мантия, брошенная на выгоревшую от зноя траву. Тогда в голове у нее теснился рой смелых мыслей, и она грезила, опьяненная воспоминаниями, исполненная благодарности и любви ко всему мирозданию.

Тело ее стало обостренно чутким к любым проявлениям внешнего мира — ноги сильнее ощущали жар накаленной земли, кожа стала чувствительней к воздуху, глаза — к свету, и окружающий пейзаж казался ей теперь каким-то обновленным, точно волшебная сила одухотворила и вдохнула в природу новую красоту. И только дома, который служил ей кровом, не коснулась эта возрождающая, обновляющая сила. Он ка-

зался мрачным, как опустевшая тюрьма, отжившим, тоскливым и старым. Те немногие часы, что она проводила днем в комнате, она любовалась на себя в зеркало с кокетством влюбленной женщины. На лице заиграл нежный, свежий румянец, кожа стала гладкой и чистой, с матово-золотистым налетом загара от долгих часов под открытым небом. Глаза лучезарно сияли, вокруг них лежали темные тени, отчего они казались глубже и больше, а в уголках губ таилась загадочная улыбка.

Зеркало волновало и возбуждало ее, она выходила в сад, чтобы взглянуть на липу и приветливо ей кивнуть. Иногда траурно-темный силуэт дерева навевал на нее печаль, словно напоминал ей о прежней Элисавете с ее бесцельно растроченной молодостью, и сердце сжималось от тревожного чувства, что старость уже близка. Но стоило ей подумать о своем любимом, как надежда возвращалась вновь и в который раз приходила мысль оставить мужа и без всяких угрызений совести бежать вместе с пленным, куда он только захочет. В ней росла уверенность, теперь она чаще смеялась, и в низком голосе явственно звучали кокетливые нотки, выдававшие ее тайну; движения ее были размеренны и пластичны, красивые ноги легко ступали по земле, и она уже не ходила, как прежде, потупившись. Исчез холодок в глазах, нервные жесты. Старуха служанка с удивлением смотрела на нее и однажды, не сдержавшись, сказала:

— Вы так помолодели, совсем барышня.

— Это тебе кажется, — ответила она.

— Должно быть, у вас легко на сердце. Человек всегда молодеет, когда у него душа беззаботна, — сказала старуха, и Элисавету поразила верность этих слов, в которых сквозила легкая укоризна.

8

Единственной ее связью с прошлым — крепкой, тяжелой цепью, от которой она не могла освободиться, — был муж. Он постарел в последнее время, поседел, ходил мрачный, подавленный. Вести с фронта говорили о неизбежности катастрофы; реквизиции ничего не давали, так как из крестьянских амбаров все уже выскребли, росло дезертирство, в окрестностях были случаи грабежа и разбоя. Какой-то дезертир по имени Васил убивал чуть не каждого, кто ему встречался. Попытки поймать его окончились ничем, и полковник получил строгий выговор от военного министерства за то, что не сумел обезвредить бандита. В лагерях военнопленных участились побеги, пленные умирали от дизентерии и тифа, запасы продовольствия подходили к концу, и далекие отзвуки русской революции волновали офицерство и интеллигенцию. Вдобавок ко всему немцы непрерывно требовали продовольствия, и интендантство не смело им отказать.

В глубине души полковник терпеть не мог офицеров расположенного в городе штаба фон Макензена. Он ненавидел их за надменность и делал все от него зависящее, чтобы придержать продовольствие. Каждое

утро ему приходилось выслушивать сесования интенданта, получавшего приказы отдавать немцам мясо, жиры и муку из последних запасов. Впервые в его суровую душу закралось отчаяние, злоба, неуверенность, и, когда ему случалось проезжать на пролетке мимо здания почты, по соседству с которым разместился штаб Макензена, он отворачивался, чтобы не видеть стоявших по обе стороны от входа часовых в черных блестящих касках, с застывшими лицами.

Вместе с интендантом он обходил военные склады, спускался в сырые полутемные подвалы, где его встречали пустые, заплесневелые углы, заглядывал в дощатые, оклеенные бумагой воинские канцелярии, где пахло пылью от сбрызнутых полов, дешевым табаком и чернилами, бранил ни за что ни про что кладовщиков, сердито топая ногами и угрожая расстрелом, хотя сознавал, что склады опустели не по их вине. С некоторых пор он как будто перестал бояться эпидемии, однако ежедневно самым педантичным образом выполнял свой дезинфекционный обряд и советовал подчиненным пить кипяченую воду с йодом.

За столом он говорил мало и нервно, жаловался, что пропал аппетит, неохотно делился новостями и смотрел исподлобья. А поужинав, дремал на стуле, положив ноги на перила галереи, пока Элисавета не заставляла его лечь в постель.

Она заметила, что он похудел — глаза впали, виски обтянуло кожей, щеки обвисли, и под подбородком образовались мешки, еще больше увеличив его сходство с рысью; серые глаза выцвели, стали водянистыми, безжизненными.

Элисавета была к нему внимательна, старалась угождать, как прежде, тревожилась о его здоровье. По ночам лежала и думала: "Он очень сдал, а я так счастлива". Она мучилась и упрекала себя за то, что обманывает его, что даже иногда желает его смерти, и ужасалась себе. Ей хотелось, чтобы ему тоже было хорошо. Прежде бывали минуты, когда она его ненавидела, теперь она его жалела. Каждый вечер она ждала возвращения мужа из города, и после первых свиданий с пленным это ожидание бывало особенно нетерпеливым и тревожным. Ей было нужно видеть его, чтобы успокоить свою совесть, убедиться в том, что ничего не случилось, что ей ничто не угрожает, что и у него и у нее, слава богу, все хорошо...

Несколько дней он не замечал ее предупредительности, потом это начало его раздражать. Полковник был из тех мужчин, которые любят покапризничать, но не терпят, когда с ними обращаются как с детьми. Этому вспыльчивому, своенравному человеку ее преувеличенная внимательность казалась обидной.

— Как странно! Ты удивительно помолодела, — сказал он ей как-то за ужином. — И словно переменялась. Даже походка другая.

Она поймала на себе его острый, пристальный взгляд, в котором читались укор, подозрение и страх.

— Это плохо? Тебе, быть может, хочется, чтобы я скорее составила?

Он опустил глаза в тарелку.

— Нет, но я удивлен. Ты изменилась. Даже в молодости ты не была такой... оживленной... Ведь ты не так уж молода. Что ты вообразила? Тебе скоро сорок.

Она со злостью посмотрела на него, вдруг почувствовав, что ненавидит его всей душой, но промолчала.

После ужина они, как всегда, остались на галерее. Она села у стены, он — впереди, в шезлонге. Волосы его слегка поблескивали при свете керосиновой лампы. Оба молчали. Он думал о чем-то, она старалась погасить вспыхнувшую в душе ненависть и, не отрывая взгляда от горизонта, где полоса света выдавала скрытый за холмом город, думала о своем любимом. Завтра она снова увидится с ним, будет лежать в его объятиях, сладостно растворяясь в них. Пускай муж терзается тем, что стареет, пускай хочет, чтобы она тоже угодилась ему. Разве она не отдала ему всю свою жизнь? Не так уж много лет осталось до старости, которой он так желает ей. Что может она сделать для него, ведь она и так заботится о его здоровье! За что ей упрекать себя? За счастье, которое выпало на ее долю?.. Теперь-то она знает истинную цену всему и не может отказаться от того, что принадлежит ей по праву, даже если сам господь бог будет против нее.

Она чувствовала, как растет ее уверенность в собственных силах. Нет, она ни перед чем не остановится. Когда война кончится, она пойдет за тем, кого любит, без колебаний...

И тут Элисавета невольно отдалась мечтам, глядя на звездное небо, темно-синее, почти черное, но легкое и бездонное от сияния звезд, слушающая громкую трескотню кузнечиков и легкий шепот вечернего ветра в ветвях ореха. Она не замечала, что полковник обернулся и пристальным, изумленным взглядом наблюдает за ней, стараясь прочесть ее мысли. Его поразило лицо жены, дышавшее гордой уверенностью. Выражение мечтательного блаженства ясно говорило о том, что она бесконечно далеко отсюда.

Она услышала слова, заставившие ее очнуться.

— О чем ты думаешь?

Она поглядела на него искоса, не поворачивая головы.

— Ни о чем.

— Нет, ты о чем-то задумалась, и мысли твои были далеко. О чем же? Что за секреты?

Голос его был сердитым и настойчивым, и эта настойчивость, заставляющая о его супружеских правах, разозлила ее.

— Я думаю о старости, — насмешливо ответила она.

— О чьей старости? О моей?

— Нет, о своей.

Он взглянул на нее из-под густых бровей.

— Тебе до старости еще далеко. Можешь пока еще жить беспечно.

— Беспечно? С тобой я никогда не жила беспечно, — желчно проговорила она.

— Вот как? — Он повернулся на стуле, метнув в нее сердитый взгляд.

Она сидела все так же спокойно, неподвижно глядя прямо перед собой.

— Что ты хочешь этим сказать?

Элисавета повернула голову и посмотрела на него. В ее взгляде не было и тени смущения. Глаза смотрели дерзко, и за кажущимся их спокойствием читалась готовность пойти на все. Этот взгляд словно ударил его, плечи его поникли, но уже в следующую секунду он овладел собой.

— Поздно спохватилась, надо было раньше... На тебя, видно, что-то нашло...

Она вдруг заметила, что денщик сидит на скамье и прислушивается к их разговору. Уж не сказал ли мужу про сапоги этот ненавистный ей человек?

Она встала и вошла в дом. Тишина и мрак, царившие в комнате, отпугнули ее. Ей захотелось пройтись по саду, остаться наедине со своими мыслями, подальше от мужа, который следил за ней. Она накинула на плечи шаль, торопливо пересекла галерею и пошла по тропинке, которая вела к винограднику. Полковник удивленно посмотрел ей вслед.

Она шла медленно, настороженно прислушиваясь, точно чувствуя у себя за спиной его присутствие... Рядом темнели густые шпалеры виноградных лоз, над ними черными тучами нависли кроны деревьев. В слабом сиянии звезд белела дорожка, убегая вверх, к даче учителя, где свет лампы падал в сад на плети вьющегося винограда. Элисавета видела сидящую за ужином семью, слышала их голоса, звяканье приборов.

Она свернула с дорожки, прошла тутовой рощей и очутилась возле липы.

Под деревом белела газета, оброненная днем, когда они оба сидели тут. Она подняла ее и долго комкала в руке. Пальцы нащупали внутри крошки хлеба и кость от жаркого, которое она ему приносила. Потом она опустилась на то самое место, где они сидели сегодня, и погладила примятую траву. Ладонь ощутила ее сухой глянec и упругость, и это ощущение наполнило Элисавету трепетом. Всем своим существом она радовалась и травинкам, и кустам шелковицы, каждой пяди земли здесь, под темной кроной липы, где она всегда бывала счастлива. В памяти всплывали слова, которые они говорили друг другу. Сегодня, когда она заикнулась, что готова пойти за ним, его лицо просияло от счастья. Он взял обе ее руки и в порыве радости стал шутливо описывать их будущую жизнь.

Она очнулась, услышав голос мужа.

— Лиза-а! — звал он. Голос был недовольный, рассерженный.

Она не откликнулась, и он позвал снова, на этот раз встревоженно и протяжно. Она встала и пошла к дому, а он продолжал звать ее, и его голос все приближался. Он будил в ней беспокойство и страх — за свое будущее, за свою тайну. Наконец Элисавета отозвалась.

— Где ты? — раздался его голос совсем рядом. — Где ты? Я тебя не вижу.

Кусты шелковицы заслоняли ее. Она тоже его не видела.

— Я здесь, здесь, — проговорила она.

Они, точно слепцы, искали друг друга, и это блуждание в темноте нагнало на нее ужас. Она вышла из-за деревьев, остановилась на лужайке и ласково сказала:

— Я здесь, Михаил. Иди сюда.

— Где ты пропадала, Лиза? — спросил он, вынырнув из темноты. — Почему не отвечала?

— Мне захотелось пройтись.

— Не понимаю, что с тобой происходит! Ты стала такой обидчивой, — сказал он, и по его тону она поняла, что он хочет помириться и готов просить прощения.

Она ничего не ответила, и он тем же жалобным голосом продолжал:

— Что за удвольствие бродить в темноте? Сердишься без всякой причины. Может быть, я тебя чем-то обидел, но, повторяю, ты стала какой-то другой.

Он взял ее под руку.

— Не будем говорить об этом, — сказала она.

— Все же объясни мне...

— Что?

— Ну, эту перемену... Отчего ты замкнулась в себе, стала чужой?

— Тебе кажется.

— Нет, я не ошибаюсь. Ты что-то скрываешь, — настаивал он.

— Это ты переменился! Стал раздражительным, все молчишь, глядишь исподлобья. А я все такая же.

— Нет... — проговорил он, тяжело припадая на больную ногу. — Ты теперь другая... Ты отдалилась от меня. Я это ясно вижу... Что касается меня, то не могу же я быть весел, когда дела идут как нельзя хуже. Бог весть, что нас ждет осенью. Мы с трудом удерживаем фронт...

Она не слышала, что он говорил дальше, потому что у нее тотчас мелькнула мысль: "Да, осенью... Бог весть, что будет осенью, когда он уедет!" — И снова ее охватил страх перед будущим. На мгновение ей подумалось, что у нее не хватит решимости и она так и останется здесь с этим мужем, который сейчас ковыляет за ней, уцепившись за ее руку. Сердце сжалось от дурного предчувствия. Оно вселило в нее тревогу, омрачило надежду.

— Пойдем быстрее, — сказала она. — Мне нездоровится.

— Ты простудилась, — заметил он и продолжал излагать свои опасения и прогнозы относительно исхода войны, но его слова не доходили до ее сознания. Ей хотелось поскорее очутиться дома, лечь, отдаться своим мыслям и отогнать предчувствие, от которого ныло сердце.

Ночью она долго лежала без сна, с закрытыми глазами. Не хотелось видеть мрачную комнату с низким потолком, слышать тяжелое дыхание мужа и стон сверчков, такой безнадежно-тоскливый, что ей казалось, будто она обречена навечно оставаться в этих каменных стенах, в глуши и одиночестве. Память воскрешала отрывочные эпизоды ее супружеской жизни. Она мысленно перенеслась в свой городской дом, где не была уже целый месяц. Все это связывало ее, в этом было ее прошлое, то, что

составляло до сих пор содержание ее жизни. Чтобы подавить свои колебания, Элисавета подумала о пленном. Только его образ высвобождал ее из цепких уз прошлого.

”Как я малодушна, — упрекнула она себя, засыпая. — А тяжело мне потому, что в глубине души я уже порываю с прошлым...”

9

Август подходил к концу, но жаркие дни тянулись по-прежнему, однообразно сменяя один другой. Только по утрам теперь не выпадало росы и бывало зябко, как будто к земле подкрадывался смертный холод. Над виноградником летали иволги, их отливающие солнцем перья ярко сверкали в прозрачном свете утра. В доме все сильнее тянуло холодом от каменных стен, а запах извести и карболки стал еще острее. На винограднике облетели листья, и спелые гроздья синели среди пожелтевших лоз.

Эпидемия в городе все разгоралась, и настроение у полковника было прескверное. Он приезжал злой, заглядывал в газеты и тут же с отвращением бросал их. Правительство Малинова, которое, по его расчетам, должно было исправить положение, ничем не отличалось от правительства Радославова. Офицеры, прибывшие с македонского фронта, рассказывали о безнадежном состоянии оборванной, голодной армии, о том, что неприятель после майского наступления занял выгодные позиции под Яребичной и готовится нанести оттуда решающий удар. В эти критические дни немецкое командование продолжало отводить с фронта последние батареи тяжелой артиллерии, а также оставшиеся немецкие части, без стеснения нарушая военный договор, и, пользуясь кондоминиумом, грабило Добруджу. Немецкие и австрийские эшелоны с продовольствием беспрепятственно пересекали западную границу страны, в то время как народ Болгарии и ее армия голодали. В тылу коррупция и спекуляция приняли невиданные размеры, от чудовищной дороговизны страдали даже офицеры, месячного жалованья которых теперь хватало только на десять катушек ниток или на бидон керосина. В то же время правительственные газеты пестрели ура-патриотическими статьями и призывами, министры делали успокоительные заявления, выражая надежду на скорый мир, а ставка втайне готовилась бросить в наступление истощенных, разутых, раздетых солдат, которые должны были штурмовать занятые неприятелем высоты.

Полковник не хотел допускать мысли о поражении и старался подавить поднимавшиеся в душе отчаяние и злобу. От этого вечного единоборства с самим собой он становился все суровее и ожесточенней. Его ненависть к сербам достигла апогея, он не мог хладнокровно смотреть на пленных, потому что читал на их истощенных лицах злорадство по поводу близящегося краха и надежду на избавление. Дисциплина в лагере упала, режим не соблюдался, конвоиры стали проявлять нерадивость и мягкосердечие.

Полковник не испытывал к военнопленным никакой жалости. Они должны были работать и чувствовать свое подневольное положение до последней минуты, пока болгарская армия еще держит фронт. Он выискивал для них работу на складах, на пришедших в негодность дорогах, на развалинах пострадавших от землетрясения домов в городе, и они тащились по пыльным улицам, похожие на восставших из могил мертвецов.

Зато отношение к гражданскому населению у него переменялось. На митинге протеста против кондоминиума он видел, как седовласые мужчины рыдали, точно дети, — столь глубоко было оскорблено достоинство и гордость народа. Он испытывал те же чувства, что и эти люди, ту же боль, скорбь, гнев, но, когда под конец митинга одна женщина из Варуши подстрекнула своих голодных соседей и она стали швырять камнями в окна муниципального совета, он испугался, как бы не вспыхнул бунт. Отдал распоряжение арестовать женщин, которые плакали и сыпали проклятиями, когда солдаты повели их по коридорам комендатуры, подталкивая прикладами. Издал грозный приказ по городу. Несколько днями позже часовые у железнодорожного моста задержали какого-то бродягу, пытавшегося подложить под мост динамит. С этого дня подозрительность и недоверчивость полковника усилились. Вместе со страхом росла и его вспыльчивость, достигшая крайних пределов.

Ко всему этому участились набеги на виноградник, голодные люди становились все более дерзкими, вороватыми, испытывали все меньше уважения к чужой собственности, и однажды ночью в его винограднике целиком обобрали два куста. Денщик первый заметил порванную проволоку, но не осмелился доложить полковнику, пока тот сам не заметил кражи. Полковник взъерился и в тот же день привез из города охотничье ружье.

— Стреляй в каждого, кто сунется в виноградник, — приказал он, передавая денщику ружье. — Отвечать буду я.

Солдат снова стал ночевать в винограднике, сколотив себе нары под одним из персиковых деревьев.

Одна лишь Элисавета оставалась безучастной ко всему этому. Она следила за событиями по-своему — старательно читала газеты, с жадным вниманием выслушивала новости, которые сообщал ей муж, и пыталась представить себе истинное положение дел на фронте. Близился день, когда ее жизнь должна будет перемениться. Из-за этого напряженного ожидания ей казалось теперь, что она живет только в часы свиданий, когда все сомнения исчезали, крепла надежда, возвращалась уверенность в собственных силах. Но иногда пленный не приходил, и она становилась нервной, пугливой, подавленной. В такие дни прошлое вновь обретало над нею власть, душу раздирали сомнения, и эта внутренняя борьба лишала ее сил — особенно к вечеру, когда тоска и томление были неодолимы. Она не спала по ночам, тысячи мыслей, всевозможные догадки, предчувствия не давали покоя, ее душила растущая боль, которую она с трудом подавляла.

Пять дней подряд пленный не появлялся. Напрасно поджидала она его под деревом, напрасно вслушивалась, не раздастся ли знакомый свист — условный знак, предупреждавший ее о том, что он близко. Все молчало кругом, в знойной глуши слышалось только жужжание насекомых, и рядом не было никого, кроме ее собственной тени, которая неуклонно следовала за ней.

Элисавета шла к ограде и оттуда смотрела на пыльную, выбитую дорогу — пустую и безлюдную в это время дня. Острое желание видеть его приобретало над ней все большую власть, она бродила по тутовой рошце, надеясь, что он все-таки придет, хотя час свидания давно миновал, шла к дому и опять возвращалась к липе. Все эти пять дней она в сумерки отправлялась к дому учителя и сидела там под вьющимся виноградом, с тревогой поджидая колонну пленных. Этот поток изможденных лиц переворачивал ей душу, но она мгновенно забывала о них, потому что глаза ее искали только одно лицо. Сломленная, рассеянная, мрачная, она возвращалась домой, а после ужина садилась на скамью и молча смотрела на всплывавшую над горизонтом луну.

Она твердила себе, что надо быть терпеливой. Может, его послали на работы в город? Может быть, французскому майору стало так худо, что он не может от него отойти? Ей оставалось лишь ждать и искать способ разведать, что же произошло. Больше всего она тревожилась, не заболел ли он тифом, особенно свирепствовавшим среди военнопленных. При этой мысли она вскакивала со скамьи и убегала в виноградник, где никто не мог заметить ее состояния.

На шестой день она поехала в город без какого-либо плана действий, рассчитывая просто на случай, который поможет ей что-нибудь узнать. Прошла по знакомым улицам, между пышущими жаром домами, вдыхая в себя их запахи. Тырново точно посыпали известкой — город замер под белым покровом пыли, обезлюдивший, неметеный, грязный. Бездействовавшие чугунные колонки напоминали коленопреклоненных старух, плотно закрытые двери угрюмо показывали ей спину, редкие прохожие смотрели печально и устало. То там, то тут на дверях домов виднелись извещения о кончине и черные траурные ленты. В школьных дворах и на площадях играли полуголые дети.

Утомленная жарой и нестерпимо ярким светом, она дошла до своего дома, не встретив никого из знакомых. Когда она открыла входную дверь, которая вела в переднюю с цветными стеклами, на нее дохнуло запахом вербены, спертого воздуха и пыли. Полутемные комнаты с плотно завешенными окнами встретили ее гостеприимной прохладой. Дом продолжал жить своей привычной жизнью. Напоминая о минувшем, он, казалось, звал ее остаться здесь. Элисавета прошлась по комнатам, заглянула в ящики комода, порылась в шкафу и поспешно ушла, вновь ощутив в душе смятение, потеряв уверенность в том, что найдет в себе силы распротиться с этими стенами.

Она оказалась на плацу, и первое, что увидела там, были подыжав-

шие волю, только что пригнанные с фронта. Их светлые туши казались издали белыми каменными надгробьями. Они лежали в ряд, одни уже бились в агонии, вытянув ноги и шеи, другие ждали смерти, тихо и кротко глядя перед собой. Безучастные ко всему, они не издавали ни звука, но их безмолвие было ужаснее самого страшного рева.

Между ними сновали старики, женщины и дети, которые приехали из деревень проститься со своими верными неутомимыми помощниками, голодавшими, волочившими тяжелые возы по каменистым кручам Македонии до той последней минуты, когда силы окончательно покинули их. С печальными, угрюмыми лицами, стиснув зубы, всматривались в них владельцы, и когда кто-нибудь узнавал своего Сивчо или Белчо, раздавались пронзительный женский плач, причитания, проклятия на голову тех, кто был повинен во всем этом.

Никто не стерег обессилевших животных, никто о них не заботился. Хозяевам дали знать, что они могут за ними приехать. И те либо брали с собой одну шкуру, либо взваливали умирающее животное на телегу и увозили домой.

Элисавета прошла неподалеку, и это зрелище взволновало ее. Надежда увидеть пленных у стогов сена не оправдалась. Там не было никого, кроме часовых, которые мрачно курили, укрывшись в тени караульных будок. Побродив возле больницы, она встретила знакомого врача и попыталась осторожно расспросить его. Однако он ничего не мог ей сказать, и она в отчаянии вернулась домой ни с чем.

Осталось только новости справки в самом лагере. Она решила отправиться туда на следующий же день, потому что знала от мужа, что некоторых пленных собираются перевести в другие лагеря.

11

В тот роковой вечер учитель пришел к полковнику попросить лопату, так как его лопата днем сломалась.

Он застал супругов на галерее. Они только что поужинали. На застланном белой скатертью столе лежала пачка бумаг, которые полковник просматривал, водрузив на нос пенсне. Элисавета на другом конце стола раскладывала пасьянс в кругу света от керосиновой лампы. Оба выглядели озабоченными, каждый был поглощен своим занятием.

Полковник держался весьма любезно, но задерживать гостя не стал, даже не предложил есть, пока денщик ходил за лопатой. Учитель ушел слегка обиженный.

Когда он вернулся к себе, пробило девять. Сентябрьская луна, стоявшая высоко в небе, излучала серебристый свет. Белеющая тропинка проглядывалась далеко-далеко, кое-где между лозами поблескивала проволока. На залитых лунным светом холмах по ту сторону дороги выступали белые как мел стены дач.

Жена учителя сидела под навесом из винограда. Дети дремали, девочка — склонив голову на стол, мальчик — на руках у матери. Лампу

погасили, жалея керосин — большую редкость в те годы.

— Быстро ты вернулся, — заметила жена.

— У полковника нет обыкновения удерживать гостей, — ответил учитель.

— А Элисавета не просила тебя остаться?

— Нет. Она была очень занята: раскладывала пасьянс.

Он подергал свою острую бородку и по старой привычке принялся жевать ее.

— Она выглядела сегодня очень расстроенной. Вернулась из города и даже не зашла ко мне, хотя я ее приглашала. Ты обратил внимание, что она каждый день бродит в тутовой роще? Что она там делает?

— Кто ее знает, — отозвался он тоном, который показывал, что он все еще не может забыть обиды и не желает говорить ни о полковнике, ни о его супруге.

Жена пошла укладывать детей, а он остался сидеть, устремив взгляд куда-то вдаль. Кругом стояла мягкая тишина, отчетливо слышался каждый звук, каждый шорох травы, где скакали кузнечики. Лунное небо светилось, ласковое, чистое, тени деревьев были неподвижны и легки, одиноко белела за оградой дорога, пугало в винограднике полковника было похоже на распятие.

Он подумал о том, что завтра надо будет съездить на ослике за водой, выкопать засохшую вишню, побывать в городе. Потом его мысли обратились к Элисавете. Чем она сегодня так расстроена? Молча кивнула ему, даже слова не сказала, головы не подняла от карт. Гадала, должно быть. А в самом деле, что она делает в рощице каждый день? Он видел ее там два раза, а однажды ему почудилось, что она не одна. Всегда такая спокойная, уравновешенная, в последнее время она выглядела какой-то нервной, встревоженной.

Где-то возле каменной ограды стукнул сорвавшийся камень. Учитель вздрогнул и обернулся, но ничего не было видно — в той стороне лежала плотная тень двух высоких вязов. Учитель поднялся со стула, чтобы заглянуть за ограду, и снова услышал шум. Будто кто-то шел по тропинке. Ему показалось, что какая-то тень проскользнула за острые жерди забора, блестевшие в лунном свете, точно копыя.

В такую ночь, когда светло как днем, вряд ли могут забраться воры.

Он продолжал стоять, укрытый тенью навеса, и напряженно прислушивался. За его спиной в окна дачи гляделся месяц, стены были словно освещены солнцем, на перилах крыльца темнела брошенная кем-то из детей одежда.

Ни звука, ни шороха. Тишина стала еще более глубокой, небосвод еще более сверкающим. Узкий бриллиантовый серп стоял в зените.

И вдруг учитель увидел, что по лужайке идет человек. Он двигался бесшумно, пригнувшись, прячась в тени айвовых деревьев, где бродила, пощипывая траву, лошадь. В следующее мгновение учитель потерял его из виду. Должно быть, в виноградник полковника забрался вор. Учитель хотел было крикнуть, чтобы предотвратить кражу, но вспомнил, что в винограднике спит денщик, который непременно поймает вора. Кричать

не имело смысла, и он решил подождать — из любопытства и потому, что ему хотелось посмотреть, как злоумышленника поймают.

Раздался негромкий свист. И тут же повторился тише — несколько тактов какой-то мелодии. Она звучала мягко, призывно и завершилась долгим легато. Этот свист напоминал птичье пенье и был таким мастерским и чистым, что учитель подивился. Потом с минуты стояла тишина. И снова раздался свист — уже в третий раз, но теперь он звучал медленней, громче и отчетливее, с ноткой какой-то нервной настойчивости. В то же мгновение учитель услышал сиплый голос денщика и увидел красную вспышку выстрела. Грохот разорвал тишину ночи, и с ним слился короткий, сдавленный крик...

Учителю показалось, что в лицо ему полыхнуло чем-то жарким, обжигающим. Он отшатнулся, чтобы увернуться от дробинки, которая застучала по сухим кольям виноградника.

Исполненный ужаса крик раздался со стороны дома полковника. Кто-то бежал по тропинке. Потом полковник позвал жену и что-то крикнул денщику. Громкий женский вопль заглушил сиплый голос солдата. Ночь наполнилась лихорадочно возбужденными возгласами, плачем и рыданиями. Истошно залаяли собаки с окрестных дач.

Учитель в испуге кинулся в дом, дрожа всем телом. Он принадлежал к тем малодушным людям, которые благоразумно избегают всяких происшествий. Его жена, разбуженная выстрелом и криками, выбежала в сад. Она увидела, что Элисавета отбивается от полковника, который пытается увести ее в дом...

Наутро учитель нерешительно сошел по тропинке вниз. Из дома полковника не доносилось ни звука. Даже дым не вился из трубы, как обычно.

Он заглянул в виноградник и увидел убитого. Тот лежал навзничь, откинув голову назад. Сухая земля у его обутых в сапоги ног была взрыта. Очевидно, агония продолжалась долго. Учитель заглянул в смуглое молодое лицо и узнал пленного серба, которого они с Элисаветой застали когда-то в винограднике.

Несколько минут он стоял не шевелясь, задумчиво поглаживая свою козью бородку, потом медленно двинулся к дому полковника. Дом был заперт. На галерее стоял стол, на столе — карты, разложенные Элисаветой, керосиновая лампа, блюдечко из-под варенья. Рядом — пенсне полковника.

Учитель решил вернуться к себе, удивляясь тому, что после всего случившегося полковник и его жена еще спят, но вдруг почувствовал, что кто-то наблюдает за ним. Он оглянулся и увидел, что денщик лежит на скамье, подперев голову рукой. Лицо у него было опухшее, старобразное, как у скопца.

— Спят? — спросил учитель, показав на дверь.

Денщик сделал рукой неопределенный жест.

— Нету их, — сказал он. — Ночью уехали в город.

Учитель кивнул. Солдат продолжал глядеть на него своими подслеповатыми глазами. Потом как-то неестественно глотнул воздух, словно у

него застряло что-то в горле, и добавил:

— Полковница в четыре утра застрелилась из револьвера господина полковника. Мы отвезли ее в город. Она была еще жива...

12

В конце октября оккупационные войска Франше д'Эпре вступили в древнюю столицу. Несколько батальонов сенегальцев прошли маршем по улицам Тырнова. Впереди шествовал африканский оркестр с барабанами и медными трубами, с которых свисали на шнурах французские трехцветные флажки. Высоченный, посиневший от холода негр в голубоватой шинели вышагивал во главе гремящего оркестра, и этой дикой музыке было тесно в узком коридоре примолкших от страха домов...

Шел снег. Первые редкие снежинки падали на промерзшую землю. Город замер, притих. На улицах толпились кучками мрачные, перепуганные горожане. На Марно полё вырос французский лагерь. Узколистые желтые алжирцы-пулеметчики расположились на бивак со своими мулами. Задымились наскоро расставленные походные кухни, в жестяных посудинах с кокосовым маслом жарились горы картошки. Нескончаемый галдеж на самых разных языках и наречиях поднимался к серому ноябрьскому небу.

В пекарнях не было муки. Жители голодали. Женщины не смели показаться на улице, потому что негры нападали на них и насиловали. В школах разместились победители. Французский флаг реял над красивым домом на главной улице, его охраняли часовые с длинными, точно сабля, штыками.

Бедняки из Варуши раньше всех осмелились приблизиться к победителям. Они воровали из мешков крупные царьградские рожки, которыми французы кормили мулов, и не брезговали куском конины с капустой. Голодные мальчишки тащили все, что попадалось под руку, — кокосовое масло, финики, белый хлеб, табак, веревки, брезент. Со своей стороны алжирцы и негры приставали к служанкам, совершали набеги на ювелирные лавки, толпами осаждали публичный дом и устраивали между собой потасовки. Они оставались в городе до середины лета.

Полковник был лишен должности и занесен в списки военных преступников, но суда избежал. Правительство Стамболийского не предало суду союзников ни одного из болгарских офицеров. Обедневший, страшно состарившийся, он заперся в своем городском доме. Запущенный, поросший травой виноградник был срыт, полуразвалившийся дом брошен на произвол судьбы.

— Он не осмеливался приходить сюда, — закончил свой рассказ старый учитель, — но и расстаться с этой землей не хотел. Теперь она перешла к его наследникам. Два года назад полковник скоропостижно скончался от разрыва сердца.

Учитель показал на ореховое дерево, которое нависало над домом, будто защищая его. Дупло в стволе зияло, как разверстая пасть. Дерево было очень старое.

— Когда-нибудь ветер сломает его и повалит на крышу, — заметил учитель. — Тогда дом обвалится окончательно. Никто о нем на заботится. Да он того и не стоит.

Он махнул рукой, и мы молча вернулись назад, погруженные каждый в свои думы о минувших годах, которые были не менее тревожными, чем нынешние.

Вечером, когда я вернулся в гостиницу, сирены подняли свой злобный вой и город окунулся во тьму. Улицы наполнились топотом бегущих людей, устремившихся по крутым улочкам к туннелям, ища защиты в недрах земли. Я же остался в гостинице и, возвращаясь мысленно к рассказу учителя, пытался восстановить в памяти образ Элисаветы. Стекла окон дрожали и звенели от тяжелого грозного гула налетающих с севера самолетов. Где-то там, за Дунаем, на румынском берегу, вздымались огненные языки пожаров, и край неба алел, как перед восходом солнца.

КОГДА ТАЕТ ИНЕЙ И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ



КОГДА ТАЕТ ИНЕЙ

Как мы поселились в лесной сторожке

Пятнадцать лет назад я работал в одном охотничьем хозяйстве. Там разводили оленей и серн на свободе, а в обширных лесах вокруг водилась всякая дичь. В то время найти работу в городе было нелегко, и я с большой радостью стал егерем. К счастью, служба моя оказалась очень приятной и интересной, в тысячу раз лучше службы мелкого чиновника в каком-нибудь налоговом или общинном управлении.

Я устроился в каменной сторожке с широкими сводчатыми окнами, чисто оштукатуренными комнатами и верандой, над которой повесил рога самца-оленя. Возле сторожки была поляна, окруженная вековым лесом. Летом этот лес был полон зеленого света и прохлады, а зимой, весь в инее, с ветвями, тяжелыми от снега, напоминал огромное фантастическое кружево. По ночам он высился темной стеной, деревья сплетали над поляной многосложную сеть, трепетавшую от малейшего ветерка, будто черная паутина...

В этой сторожке я прожил два года со своей охотничьей собакой Гектором и одним невероятным человеком, чью историю я расскажу потом. Говорю "невероятным", оттого что не могу найти другого слова, чтобы охарактеризовать его. Настоящее имя его было Тошо Караминков, но никто не звал его ни Тошо, ни Караминковым. Во всей округе он был известен под совсем другими именами. Одни знали его как Тошо Американца, другие как капитана Негро.

Сам он давно позабыл имя, данное ему при крещении, и, наверно, обиделся бы, если б кто-нибудь посмел назвать его Тошо. Он говорил, что двадцать лет был морским капитаном и по всем морям и океанам славился под именем капитана Негро, что по-испански значит "Черный капитан".

Я встретил его в находящемся поблизости от хозяйства городке, в то время сильно захиревшем. Капитан Негро веселил там сограждан

в одной кофейне, рассказывая им всякие небывлицы. Они смеялись, а он им врал — тем смелей, чем сильнее смеялись слушатели.

Капитан был маленького роста. Глаза у него были круглые, черные, как маслины, надо лбом свешивалось нечто вроде чуба, а над чубом лихо сидела баранья шапка. Но любопытней всего была его блуза. Благодаря ей он славился по всей округе, не меньше, чем своим морским прошлым. Она была переделана из домотканой деревенской наволочки для подушки — вся красная, вышитая какими-то иероглифическими черточками и цветами. Спереди она застегивалась молнией, а на груди имела два кармана "американского фасона", по выражению капитана.

Поселились мы в до тех пор пустовавшей сторожке и стали готовиться к встрече зимы. Нужно было нарубить дров — работа нештучная. Изрядный запас буковых дров, сложенных поленицами в южной части двора, у входа в сторожку, обеспечил нас теплом до весны. Купили лошадку, очень старую, низкорослую, рыжую; окрестили ее Алчо. Потом покрасили кухню охрой, побелили комнаты, поправили печи.

— Поработали на совесть, — сказал капитан Негро, когда все было готово. — В Америке так не работают.

— А как же? — спросил я.

— Там на все машины есть. Даже чтоб зубы чистить. Поешь, подойдешь к машине, сядешь на стул. Сидишь, подремываешь, а она свое дело делает...

Он вытащил из-под кровати с расшатанным и провисшим, как люлька, пружинным матрасом большой чемодан и принялся расставлять свои вещи в комнате.

— Я хочу тебе что-нибудь подарить, — промолвил он. — Например, вот эту морскую раковину. Приложи ее к уху, услышишь шум океана, откуда ее добыли. Видишь, какая красивая?

— Она будет служить нам пепельницей, — сказал я.

Капитан Негро продолжал вынимать из чемодана разные вещи.

Вынул две рубашки манильского хлопка и кинул их на спинку кровати. Потом достал новую синюю блузу, перешитую из прежней капитанской формы, печально осматрел ее и аккуратно расстелил на постели.

— Ежели кто в гости придет, надену, — объяснил он.

Из чемодана появлялись самые разнообразные обноски.

— Сейчас я тебе кое-что покажу, — сказал капитан, заметив в моих глазах недоумение: зачем нужно рыться во всем этом барахле? — Вот смотри! — промолвил он, найдя наконец нужный предмет.

Он был похож как две капли воды на латунные кофейные мельницы, которыми у нас до сих пор пользуются старухи. Но оказалось, что он растягивается и превращается в длинную морскую подзорную трубу.

— Антикварная штука, большая редкость, — заявил капитан Негро, протягивая ее мне. — В Париже купил, у одного старьевщика. Эта подзорная труба принадлежала одному знаменитому пирату, которого англичане повесили на мачте военного корабля, как требовали тогдашние законы.

На внешней стороне трубы сверху была выгравирована дата: 1745, а

ниже — какие-то каракули, которые невозможно было разобрать.

Капитан Негро вынул из чемодана белые капитанские ботинки и грустно отложил их в сторону.

— Распорю их, подметки использую, — пояснил он и продолжал историю подозрной трубы: — В то время эти трубы представляли большую ценность. Старьевщик рассказывал мне, что после смерти пирата труба перешла к какому-то французскому адмиралу, забыл фамилию... Потом стала собственностью адмирала Нельсона, который уничтожил при Трафальгаре французский флот. Потом — одного исследователя Тибета, которого растерзали тигры, а труба попала в руки самого далай-ламы. Далай-лама посмотрел в нее на Гималаи и ужаснулся. Он еще никогда не видел подозрных труб... Так что это настоящий антик, вещь редкая...

— Ну полно врать! Мы будем смотреть в нее на луну, — сказал я, растянув полуметровую конусообразную трубу, и посмотрел сквозь нее вдаль, где под лучами октябрьского солнца догорали огненно-красные букочные леса.

На капитане Негро лежала обязанность приготовления пищи. Иногда я называл его капитаном, иногда величал мажордомом, и это ему льстило. Но поваром он оказался отвратительным: иной раз готовил такие блюда, каких не рискнул бы приготовить самый искусный повар в мире и названия которых не найдешь ни в одной поваренной книге на земном шаре.

— Черт возьми, капитан, что это такое? — спрашивал я, с ужасом глядя на принесенное блюдо из бобов с картошкой, обильно сдобренных красным перцем.

— Это? Это мексиканское блюдо. Если тебе не понравится, я нажарю грибов, — небрежно бросал "домоправитель".

— Нам надо было завести свинью — кто станет есть такие страшные кушанья? — сердился я.

Капитан Негро заливался смехом. Его пламенное воображение не могло удовлетвориться простыми кулинарными рецептами, не прибавив к яствам чего-нибудь нового.

Весь день с утра до вечера проводил он в кухне, открывая и закрывая печку, заслон которой взвизгивал, как собака, которую пнули ногой... Через левое плечо "мажордома" вместо полотенца перекинута грязная тряпка — чтобы всегда была под рукой... Капитан Негро очень любил сидеть возле печки и греть себе спину, пока варилась еда. Тогда смуглое лицо его с немного пухлыми губами, в которых было что-то детское и в то же время гордое, принимало задумчивое, мечтательное выражение, а левая бровь многозначительно поднималась вверх. В эти блаженные минуты он говорил мне чрезвычайно озабоченно:

— Дрова у нас что-то сыроваты. Этак опять, пожалуй, хлеб недопечется.

Либо высказывал опасение, как бы весной не обнаружилось, что крышу сторожки повредили зимние бури.

Не успели мы кое-как устроиться — глядь, уж зима на дворе. Пошли метели, повалил снег. Горы будто заглохли, пересекавшее их шоссе со-

всем опустело. По вечерам на белые леса безнадежно, печально опускалась тьма. Над бескрайними холмами и темными долинами нависало тяжелое молчание, собирались густые туманы, застилая все, и только окна нашей сторожки светились, словно желто-красные глаза.

В такие глухие и мрачные ночи капитан Негро читал одну английскую книжку, которую хранил у себя в чемодане. В ней шла речь о том, что все лорды равны королям, а сам король не больше чем лорд, только что титул королевский, земля — корабль лордов, а добрый господь бог принадлежит к этому обществу милордов и тоже, так сказать, отличный джентльмен. В книжке содержались указания и советы, что нужно для того, чтоб быть джентльменом, в каком банке держать деньги, как пользоваться зубной пастой и т. п.

— Я ее читаю, чтобы не забыть язык, — оправдывался "домоправитель", когда я спрашивал его, не слишком ли эти советы устарели.

В конце концов эта книга ему надоела. Тогда он перешел на старые газеты. А когда надоели и они, принялся читать те, которыми мы покрыли стену за вешалкой, чтоб одежда не пачкалась известкой. При этом он, держа лампу в одной руке, становился вплотную к стене, стараясь разглядеть буквы...

Но выпадали зимой и веселые дни. Случалось, утро было погожее или туман вдруг разойдется, и сразу покажутся убранные инеем и снегом леса. Белые кружевные недра их и туннели наполняли наши души чистой. Обремененные ветви гнулись под тяжестью своего белого груза, исполинские буки предстали в самых разнообразных и причудливых видах, нежно-синеватые и лиловые тени лежали на снегу или окрашивали ключья снега на ветвях. В этих сложных, переменчивых оттенках, еле уловимых глазом, мхи на стволах выступали еще черней, еще ярче желтели старые дождевики и еще красней казалась не опавшая там и сям прошлогодняя листва скрытого в белых туннелях низкого букового подроста. На синем небе сияло веселое, ясное солнце, снег искрился, и тысячи отблесков дрожали на инее.

Нам случалось углубиться в кружевной лес и поднять серну. Животное вдруг выскакивало из-за какой-нибудь заваленной снегом колоды, где оно лежало на сухом месте. Уносясь на своих длинных, быстрых ногах, серна пересекала какую-нибудь солнечную поляну, сверкнув на мгновение медно-красной, искристой спиной, и со стремительной грацией исчезала в белом лесу, а мы с капитаном стояли, замерев, и долго глядели в ту сторону, где она исчезла. Словно там осталось что-то от ее быстрых, пленительных движений, что-то от плавности и изящного ритма ее скачущего тела, и это "что-то" еще стоит в воздухе. Мы ахали от восхищения, оживленно выражая свой восторг. Долго после этого не могли мы освободиться от впечатления, что мы не в лесу, а среди каких-то невиданно красивых декораций, на какой-то огромной сцене, и нам казалось, что в чистом морозном воздухе звучит тихая, нежная музыка.

— Как хорошо! — восклицал капитан.

— Даже слишком, — говорил я.

И мы, умолкнув, грустно возвращались в свою убогую хижину. В

такие дни этот лес был так невероятно прекрасен, что мы оба старались не глядеть на него и уходили в свои мысли.

По вечерам мы здорово топили. Капитан Негро очень любил спать в тепле. Печка раскалялась докрасна от громадных поленьев, горевших с буйным треском, в комнате становилось жарче, чем в бане, и капитану приходилось открывать дверь или окно. Но, несмотря на это, он спал на своей продавленной кровати с шапкой на голове.

— Я привык к теплу, — говорил он и заводил рассказ о жаре на экваторе.

В конце марта мы начали каждый день глядеть на висевший у нас на окошке барометр и ждать весны. Но весна наступала медленно. Внизу, на равнине, уже сияло теплое апрельское солнце, а возле нас леса еще спали, темно-бурые, косматые; снег лежал покрытый наледью и хрустел у нас под ногами. Когда внизу шел летний дождь, здесь проносились метели с крупными хлопьями снега. Гора опять становилась белой, словно зиме нет конца. Печи наши все топились, дрова приходили к концу, и мы, взяв топоры, шли колоть какую-нибудь сухую колоду, всю обросшую твердыми, как камни, трутовиками.

Уже токовали глухари. На ранней заре, только-только из-за ломаной линии кряжа встанет в алом сиянии день, мы слышали их клохтанье.

“Тце-тце! Кло-кло!” — доносилось с противоположного гребня, покрытого ельником.

Время от времени возле сторожки кружили стаи диких голубей, со свистом пролетали утки или ровно, тяжело махали крыльями дикие гуси, необыкновенно красивые и пестрые на коричневом фоне горы.

У ее подножия появились первые листья. Сначала они напоминали лоскутья зеленого шелкового платья, разорванные ветром и развешанные по голым черным сучьям. Но лоскутья эти не по дням, а по часам увеличивались, каждую ночь разрастались и ползли все выше в стороны и вниз, пока в один прекрасный день теплый весенний ветер не раскрыл все почки на буках. Тут леса предстали в новом золотисто-атласном наряде, весело зашумели, и воздух наполнился запахом молодости и весны. Зажужжали дикие пчелы, неизвестно откуда появились первые мотыльки. Столь любимые сернами крокусы, из которых капитан Негро приготовлял вкусные салаты, уже стали отцветать, уступая место своему собрату — синему крокусу. Дикий чеснок пустил острые, как ножи, сочно-зеленые перья. Из-под сухой коричневой листвы пробилась тысячи нежных стебельков травы: тут и там, в согревшихся уголках, где фиалки разливали свой упоительный аромат, в сладостно затихшем, струящемся от тепла воздухе слышалось басовитое гудение большого желто-черного, косматого, как дикарь, шмеля, насилуовавшего каждый цветок, сгибая его своей тяжестью. Пели горные зяблики трепещущими от восторга горлышками, с утра до вечера напоминали о себе кукушки, дрозды, витютни. Лесом сразу овладела весна.

Мы распахнули окна сторожки, комнаты наполнились солнцем; весело заблестели стекла входной двери, которую мы тоже открыли.

Красная дичь, оставив лесосеки, где она провела зиму, возвра-

щалась на высокие пастбища, и мы с капитаном пошли посмотреть, как теперь выглядят олени стада.

Возле источника, где мы брали воду, в пятистах шагах от сторожки, каждый вечер паслась большая красивая серна. Капитан Негро назвал ее Мирка. Придя на закате по воду, мы прятали кувшины и часами простаивали за каким-нибудь буком, поджидая серну.

Наступал тихий весенний вечер, гора затаивалась в ожидании, когда вечерний ветерок зашепчет, зашевелит макушки леса. На западе, где-то далеко-далеко, словно в какой-то совсем незнакомой стране, догорал закат, и там-сям на белых стволах буков виднелись алые пятна. Кусты ежевики казались маслянисто-зелеными, поваленные деревья чернели, как сраженные мором великаны, ручей бежал вниз от источника с тихим ропотом. На гладком зеркале небосклона молодая луна становилась все белей.

Серна появлялась вдруг. Сперва мы слышали треск и шорох сухой листвы под ее легкими прыжками, потом видели, как она приближалась к густому кудрявому ежевичнику. Ощипывала верхушки, легко переступая своими длинными ногами, останавливалась, слушала, перестав жевать. Иногда поворачивала морду к спине, и мы дивились гибкости ее шеи, легким прыжкам ее, когда она перескакивала какую-нибудь колоду, ее осторожности, ее трепещущему тревогой телу... Дождавшись ее ухода, мы возвращались в сторожку, бодрые, веселые. После этих встреч с серной капитан Негро долго рассматривал себя в зеркало и решал побриться.

В середине мая я сказал ему:

— Мирка скоро отелится. Ты обратил внимание, как у нее выросло брюхо? Давай подстережем ее и возьмем детеныша.

— Как возьмем? Зачем? — встревожился капитан, строго взглянув на меня своими круглыми глазами.

— Да просто так, чтобы приручить. Чтоб не быть одним.

Он подумал и с восторгом согласился.

Мы стали выслеживать серну. Она имела обыкновение проводить день на небольшой по размерам, но очень густой лесосеке возле самого источника. Ранней весной мы били там бекасов. Обширные заросли ежевики и лишь узкие, протоптанные дичью тропинки делали доступ туда очень затруднительным. Мы подумали, что Мирка отелится именно здесь. И так оно и вышло...

Однажды вечером она появилась около источника еще более встревоженная, чем всегда. Брюхо подтянуто, белое зеркало испачкано.

— Отелилась, — тихонько шепнул мне на ухо капитан.

Он лежал на животе и наблюдал серну в полуметровую морскую подзорную трубу, а я смотрел на животное в свой охотничий бинокль.

— Теперь надо не упускать ее из виду, чтобы узнать, куда она пойдет. И потом еще неизвестно: двух сернят она родила или одного, — заметил я.

— Двух, — убежденно промолвил капитан.

— А если одного? Ведь бывает... Тогда тоже возьмем?

— Говорю тебе, двух! — стоял на своем мой товарищ, растягивая и

сокращая трубу, чтоб серна попала в фокус.

— Почему ты так думаешь?

— Брюхо было очень большое.

— Это еще ничего не доказывает.

— Готов побиться об заклад... Смотри, она опять на лесосеку. Значит, детеныши там...

В самом деле, на этот раз серна скоро пошла обратно на лесосеку и пропала в вечерних сумерках.

— Послезавтра начнем осмотр, — сказал я. — Дадим ей немножко порадоваться своими отпрысками. И сернята пускай пососут побольше, прежде чем мы возьмем одного из них. Как мы его будем кормить: через соску — козьем молоком?

— Какую соску? Где мы возьмем соску? У нас молока нет, а ты о соске толкуешь, — возмутился мой товарищ.

— Я завтра поеду в город на нашем Алчо. Куплю в аптеке соску. И приведу козу с козленком. Все равно надо в город ехать — за картошкой.

— Ты поедешь? — задумчиво промолвил капитан Негро.

— Почему бы нет? — сказал я.

— Что ж, поезжай, — чуть не с сердцем ответил он, подымая большой желтый муравленный кувшин, который мы спрятали поблизости.

— Может, тебе хочется поехать? — предложил я.

— Не имею ни малейшего желания. В город я ни ногой!

Мы пошли домой по извилистой тропинке, проступавшей светлой полойкой в устилавшей землю коричневой листве. Впереди, немного выше, на другом конце посеревшей в вечерних сумерках поляны одиноко белела наша сторожка. Вечерний ветер шумел молодой листвой векового леса у нас над головами.

— Ты знаешь толк в козах? — спросил капитан.

— Да не особенно.

— Так тебя непременно надуют. Всучат какую-нибудь больную. Торговцы скотом — страшные мошенники. Я их хорошо знаю, по горькому опыту.

— Буду смотреть в оба.

— Как ни смотри, все равно! Надуют непременно!

— Ну так поезжай ты, — ответил я.

— Придется, — промолвил со вздохом капитан. — Не хочется, а придется.

— Неплохо бы купить несколько кроликов, — заметил я.

— На что они нам? Чтоб под сторожкой все разрыли?

— Они плодятся быстро, у нас будет мясо.

Капитан Негро тут же согласился.

— Ты прав. Нам нужно больше мяса. Купим кроликов бельгийской породы. Это доходно.

На другой день он начал сборы, которые отняли у него все предобеденное время. Вычистил нашего Алчо и заплел ему гриву, вымыл повозку, постелил на сиденье новое одеяло. Потом тщательно выбрился, надел

парадную блузу, совершенно не подходившую к его широким зеленоватым бридждам, подвязал себе под колени какие-то кисточки, долго морщился, рассматривая свою ветхую шапку, и попросил одолжить ему мою.

Наконец, окончив долгие переговоры и подробно перечислив свои будущие действия в городе, капитан сел в повозку и хлестнул коня. Повозка покатила вниз по поляне и потонула в величественном лесу, где оси ее звонко и сладко защебетали.

Через два дня товарищ мой вернулся в самом ужасном виде. Повозка залита керосином. Измученная коза, привязанная к дроге, бешено рвалась и верещала, козленок вторил ей, а капитан ругал ее на чем свет стоит. Мешок с картошкой пропитался керосином. Четыре кролика, якобы лучшей бельгийской породы, впоследствии оказавшиеся все самцами, испуганно топтались в грязном ящике, куда Черный капитан закинул их, как арестантов. Лошадь была вся в поту, и глаза ее были полны отчаянья и скорби. А сам капитан имел такой вид, будто сражался с бандой грабителей. От него пахло водкой, лицо было красное, волосы, потные и взлохмаченные, свисали над помутневшими глазами.

— Великую глупость я сделал, что не предоставил тебе ехать в этот проклятый город! — воскликнул он, увидев меня, и не без труда слез с повозки. — Эта подлая скотина два раза от меня убегала. Сам не знаю, как догнал. Хорошо, что был козленок.

— Кто убежал-то?

— Да коза... А тут еще Алчо — живет у нас как настоящий мустанг — взял да испугался грузовика, и вот что стало с керосином! Просто беда! И бриджи замарал. Показать не в чем, ежели гости придут.

— Соску купил?

— Понятно, купил. Да только и она порвалась. Положил я ее для верности в карман. И вот смотри: осталась одна резинка. Ничего. Я ее прилажу к какой-нибудь бутылке, ты не сердись, — промолвил он, глядя на меня блестящими и влажными глазами. — Ну, запоздал я, как же тут не запоздать. С тем повидаться надо, с этим. Что ни говори, в кафе меня не так встретили, как раньше.

— Снова речи держал? — спросил я, распрягая измученного коня, который отряхивался и фыркал.

— Ничего подобного. Меня многие расспрашивали о наших делах, но я молчал. Нарочно молчал! Можешь мне поверить! — воскликнул капитан Негро и тотчас пустился рассказывать мне, какие пришлось ему преодолеть препятствия при покупке козы, которую он решил окрестить Миссис Стейк, как его пробовали надуть и как он дешево за нее заплатил, как хороши и породисты кролики и какие блестящие откроются перед нами перспективы, если мы серьезно займемся кролиководством. Потом он пожаловался на шоферов, везших на грузовиках шпалы и уголь. Это из-за них Алчо понес, и керосин вылился из бидона. В заключение капитан Негро передал мне все городские сплетни, закруглив свой длинный доклад каким-то анекдотом, которому сам смеялся больше всего.

Глаз мистера Бетерсби

На другой день, только забрезжило, мы принялись обыскивать лесосеку. Приходилось заглядывать под каждый куст, за каждый пенек, в каждый уголок, оттого что новорожденных серняг трудно заметить — они не шевелятся, пока человек не наступит прямо на них. Капитан Негро надел свою красную блузу и на всякий случай взял подзорную трубу.

Поиски продолжались несколько часов.

Мы шагали рядом и глядели во все стороны, раздвигая непослушные, упрямые сучья и ежевичник. Черный капитан вкладывал в это занятие весь свой темперамент. Он грозно вращал глазами, распахивал кусты ногами, энергично гикал, чтобы вспугнуть серняг и заставить их выйти из своего убежища. Утро было великолепное. Тихие, ясные, открывались окружающие холмы и горы; мы вдыхали пахнувший зеленью чистый утренний воздух, и чувство молодости и счастья переполняло нам грудь. В лесу обозначились легкие тени деревьев; утренние лучи обливали его золотистым дождем, подавали голос дикие голуби, зидарки пищали: "Пи-и! Пи-и!", кукушки куковали в ложбинах, горящими рубиновыми каплями дрожала роса, а серна бродила, должно быть, по огромному лесу, и глаза ее были полны муки и страха. Я представлял себе, как она стоит неподвижно где-нибудь у лесосеки, до того неподвижно, что только звериный глаз может заметить ее. Стоит и слушает, что там внизу, не нашли ли ее детей...

— Ищи внимательно, капитан. Не надо спешить, — говорю я, тщательно осматривая сухую, желтую траву.

— Гляжу, гляжу, да нет ничего, — был печальный ответ. — Вот увидишь, я прав. Не здесь она прячет их, не здесь!

— Так где же?

— Придется с этим делом погодить, — проворчал капитан Негро, уже усталый и раздосадованный. Красная блуза его мелькала в кустах, как огонь.

Вдруг он крикнул:

— Шапку потерял! Ах, чтоб ей пусто было!

И давай шарить среди кустов.

Он долго шумел и тихонько ругался.

— Все никак не найдешь?

Капитан не ответил — должно быть, не расслышал вопроса из-за шума, поднятого им самим. Ветка ежевики, незаметная в траве, зацепилась за его ногу. Он наклонился и вдруг заорал:

— Вот он! Вот он! Держи!

— Что случилось? — спросил я.

Капитан Негро как бешеный метался в кустах, производя страшный шум.

— Шапка у тебя убежала, что ли? — воскликнул я и бросился к нему.

— Серенок! Держи! — завопил он и кинулся, растопырив руки, к высокому кусту. — Вот сюда спрятался. Скорей, а то убежит. Ах, чертенок! Беги сюда! Здесь он!

Мы обыскали куст, но от серненка — ни следа.

— Как сквозь землю провалился, — сказал капитан.

Он был без шапки, волосы свешивались на самые глаза.

— Надо было Гектора взять. Он бы сразу почуял. Пойди приведи, а я постерегу.

Это было разумное предложение.

Охотничья собака моя легко обнаружила бы серненка. Я пошел к дому и по дороге обратил внимание на один пенек. Он пустил низкие побеги, вокруг желтела трава. Я заметил в ней нечто напоминающее детскую игрушку, какого-то странного зверька, сделанного из желто-коричневого фетра. Он лежал, плотно прижавшись к земле, растопырив все четыре ножки, словно мы наступили не него и растоптали. Спинка зверька была испещрена светло-желтыми пятнышками, как будто на него каплями падал солнечный свет. Уши, довольно длинные, лежали на спине, прижатые, как у зайчонка.

— Иди сюда, капитан, — позвал я, не сводя глаз с этого солнечного зайчонка.

— Что такое?

— Сейчас поймал. Вот он.

— Где, где? Ты его видел?

— Здесь. Только тише. Обойди его снизу.

— Ах ты, дьяволенок!

Капитан старался разглядеть зверька. Он присел и пополз по траве на четвереньках, как большой красный жук.

Но серненко понял наши намерения. Только я протянул руки, чтобы схватить его за уши, он вскочил, как на пружине, и зигзагами пустился от нас наутек. Капитан Negro даже не увидел его.

— Держи-и! Держи! — кричали мы, натыкались друг на друга, падали и добились-таки наконец: Черный капитан поймал серненка.

Серненко запищал как-то в нос, писк был громкий, жалобный, и мне почудилось, что наверху, в редколесье, кто-то застонал...

Мы двинулись к сторожке. Капитан держал серненка за ноги, как держат новорожденных ягнят. Солнечный зайчик не делал никаких попыток освободиться. Голова его качалась в такт шагам капитана, в глазах было больше печали, чем страха.

— Больно нежный, слабенький. Как бы не умер! — сказал капитан, когда мы пришли в сторожку и положили серненка на одну из кроватей.

— Пусти его на пол. Может, побегае, — ответил я.

Капитан поставил солнечного зайчика на половицы. Четыре копыта серненка, маленькие, будто улиточки, тотчас расползлись. Он расставил ноги, но не упал и сейчас же спрятался под кровать моего товарища.

— Что же делать? Нельзя же, чтобы он спал на голых досках! — промолвил капитан.

— Мы уложим его в большой ящик в коридоре — пока. Постелем там сухого папоротника и сена. А завтра построим для него загон, чтоб было где побегать. Ему надо побольше двигаться.

— Познакомим его с Миссис Стейк, а? Как по-твоему?

— Мне кажется, еще рано. Пускай привыкнет к нам. Серны быстро приручаются.

— Батюшки, да ведь я шапку потерял и совсем забыл о ней, — хлопнул себя по лбу капитан.

— Не беспокойся. Найдем потом.

Мой товарищ нетерпеливо махнул рукой.

— Не будем нынче тревожить серну. Пусть она отыщет второго детеныша, — прибавил я.

— Ух, устал! — промолвил капитан, сев к столу и опершись на него.

Серненко притаился под кроватью, оттуда не слышалось ни звука.

Мы вымыли ящик, в котором держали зимой дрова, застелили дно папоротником и положили серненка туда. Когда с этим было покончено, капитан Негро сел на стул возле ящика и стал рассматривать нашего пленника.

— Теперь пора выбрать ему имя, — сказал я.

— Само собой. Давай окрестим его Додс, — предложил капитан.

— Почему Додс? Подберем ему болгарское имя.

— Додс или Браун. Одно из двух.

— Брось эти глупости.

— Знаешь, почему я так предлагаю? — спросил мой товарищ, вынув из кармана маленькое зеркальце и разглядывая в него свой глаз, слегка воспаленный, так как во время ловли его хлестнула ветка. — Потому что в Америке некоторые бедняки, безработные, продают детей бездетным богачам. Я видел как-то у одного фермера двух мальчиков — Додса и Брауна. Он купил их у одного рабочего, бедняка из Техаса. Ребятишки все время ревели, просились к родителям. И как было не реветь? Отец продал их незадолго до этого, а одному четыре года, другому — пять... В Америке некоторые продают даже глаза...

— Не ври, — сказал я.

— Говорю тебе, продают глаза! — возразил он. — В тамошних газетах встречаются такие объявления: "Продается правый или левый глаз, совершенно здоровый, голубой или черный. Такая-то улица, такой-то номер дома. Обращаться по указанному адресу".

— А потом что?

— Заключив сделку, идут к специалисту-хирургу. Тот берет глаз у продавшего и пересаживает покупателю. Понятное дело, кто глаз продает, тот бедный, весь в долгу как в шелку, безвыходное положение. Хирург вставляет ему на место прежнего стеклянный глаз, а богач через несколько дней уходит с двумя здоровыми. Я знаю один такой случай и сейчас расскажу тебе, — продолжал капитан Негро, хлопнув себя по колену. — Один такой вот богач, некий мистер Бетерсби, окривел на левый глаз и купил себе новый у одного безработного. Этому безработному, видимо, приходилось в Нью-Йорке очень туго, он провел там много мрачных дней и стал очень мрачным человеком. Мистер Бетерсби заключил с этим рабочим довольно выгодную сделку. Хирург пересадил ему чужой глаз. Операция прошла совершенно благополучно. Пролежав целый месяц в роскошной клинике, Бетерсби уехал счастливый в свой гро-

матерный богатый дом, а рабочий с искусственным глазом уже на третий день из клиники исчез. Но что получилось? Правый глаз мистера Бетерсби видел людей и предметы на один лад, а левый — на другой. Зажмурит он левый глаз — все вокруг него точно такое, какое было до операции. Жена — красивая, добрая, дочь по красоте не уступает жене, хоть и поглупей малость, сын — настоящий джентльмен, а что касается дома — так это просто великолепный, богато и со вкусом обставленный дворец.

А зажмурит правый глаз и станет смотреть левым — все наоборот. Дом кажется мрачным, страшный какой-то, с толстыми коврами и портьерами, заглушающими всякий звук, поддерживающими в многочисленных комнатах мертвую тишину. Даже глядя в венецианское зеркало на самого себя, мистер Бетерсби видел не почтенного важного директора фирмы, а настоящего крокодила.

Постепенно он раздвоился: у него появились две души, два ума — соответственно двум разным глазам. Целый день сидел он, запершись у себя в кабинете, и, зажмуривая попеременно то правый, то левый глаз, старался понять, который из них видит истину. Но из этих усилий ничего не вышло. Мистер Бетерсби мучился как проклятый, потерял двадцать три фунта в весе. Тогда он пригласил одного из лучших философов в Америке.

— Скажите мне, — спросил он его, — какой из двух разных моих глаз видит истину?

— Истину? Да она вообще не существует, — отрубил философ. — Она не для нашего жалкого человеческого ума.

— Но глаза мои показывают мне совсем разное, я не могу так жить! — простонал несчастный.

— Спокойней всего быть совсем без глаз, — ответил философ. — Выберете себе какую-нибудь философскую теорию, например, мою, если она вам по нраву, так сказать, и верьте в нее. А коли и этого не можете, так верьте тому, что пишут в газетах.

И философ ушел, а мистер Бетерсби остался в кабинете моргать то одним, то другим глазом.

На другой день он решил позвать пастора.

— Дитя мое, — сказал пастор, — в Евангелии сказано: "Если твой глаз соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе одного глаза лишиться, чем губить душу свою".

Так разрешил вопрос пастор и ушел. А мистер Бетерсби, у которого не хватало духу расстаться с пересаженным глазом, через два месяца сошел с ума...

Капитан Негро весело рассмеялся анекдоту, который он где-то слышал. Наклонился над ящиком и взял серненка в руки.

— Нам надо окрестить его, а мы не знаем, самец он или самка, — сказал он.

Оказалось, самец. Мы стали спорить, какое дать ему имя, но в конце концов сошлись на том, чтоб назвать его Май — по тому месяцу, когда он родился.

Черный капитан вынул из чемодана перламутровые морские раковинки, сделал из них маленькое ожерелье и повесил его на шею нашему крестнику.

Ночная гостья

На другой день мы занялись устройством загона для серненка. Огородили часть поляны возле сторожки жердями, переплели между ними тонкие ветви, ивовые прутья, оставили дверцу — и готово.

Через два дня Май ночевал в своем новом жилище, вместе с Миссис Стейк и ее козленком. Май успел порядочно окрепнуть. Мог бегать не хуже козленка, хотя был гораздо меньше его. Коза оказалась злая — не давала ему сосать вымя, и нам пришлось кормить серненка из рук. Мы наполняли бутылку парным молоком и всовывали горлышко Маю в рот. Он жадно пил и ходил за нами по пятам, как собачка.

Капитан Negro от всей души привязался к нашему воспитаннику и чувствовал все большую неприязнь к козе.

— Как только Май подрастет, мы ее зарежем. Вместе с козленком. Видеть не могу этих желтых глаз, — говорил он, указывая пальцем на Миссис Стейк, которая мечтательно пережевывала жвачку, изредка пофыркивая и тряся бородой.

Наше "хозяйство" сильно приумножилось. У нас были теперь лошадь, коза, козленок, серненок, куры с петухом, купленные капитаном на соседних каменноугольных шахтах, были и кролики. Они целый день прыгали по лесу. Капитан возлагал на них большие надежды: все ждал, чтоб они народили крольчат.

— Лисица их съест, — решил капитан Negro. — Разве ты не слышишь, как Гектор лает?

Он запер кроликов в конюшню, к лошади, и решил опять ехать в город, купить еще несколько штук, на этот раз одних самок.

— Нынче ночью опять приходила лисица. Взял бы ружье, покараулил бы. Засядь на веранде, пальни — и конец. Она совсем нас разорит, — сказал он однажды вечером.

Я тоже слышал, что Гектор ночью лаял. Он спал в конуре, у двери в сторожку. Лай его объяснялся очень просто: на заре совсем близко появлялись серны, лисицы бродили вокруг по лесу, на горе слышались разные звуки. Гектор ненавидел лисиц лютой ненавистью и лаял на них с величайшим ожесточением, но нынче его лай был редкий, неуверенный. Он скорее тявкал и скулил. Я решил на всякий случай следующую ночь покараулить.

После ужина капитан лег, а я взял ружье и спрятался на веранде. Оттуда была очень хорошо видна внутренность загона, где топотал Май и бегал козленок.

Малыши гонялись друг за дружкой в мягком лунном свете. Лошадь паслась внизу, в сумраке еле видная, время от времени позвякивая путами. Месяц лил свой свет на кудрявые верхушки деревьев, придавая

затихшему лесу такой вид, будто он вылит из темной бронзы. Там и сям в чаще, куда проникал лунный свет, белые стволы буков блестели, как серебряные.

Прошло два часа. Я смотрел на лес, стараясь различить каждую тень на поляне. И вот Гектор тихонько заскулил. Вдоль опушки скользнул силуэт какого-то животного.

Собака продолжала скулить и натягивать цепь. "Пусти, пусти меня!" – как будто говорила она.

Вскоре что-то затопотало. В загон прыгнуло какое-то крупное животное. Миссис Стейк недовольно зафыркала. В лунном свете блеснуло неизвестное существо.

"Волк", – подумал я и вскинул ружье.

В тот же миг Май пересек пространство загона и сунулся под брюхо неизвестного зверя...

Я поспешил опустить ружье. Мне стало ясно, кто посещает нас каждую ночь. Это серна Мирка приходила повидаться с сынком. Значит, она родила только одного серненка, а то никогда не пришла бы. Ее брал страх, но материнское сердце преодолело его. Каждую ночь подходила она к сторожке. То приблизится, то отбежит, испугавшись собаки и наших голосов... И вот наконец решилась.

Я бесшумно спустился во двор, отвязал собаку и увел ее в сторожку. Потом занял прежнее место на веранде. Мне хотелось сделать так, чтобы свидание матери с сыном протекало как можно спокойнее.

Пока оно длилось, месяц начал заходить. Тень от леса чудовищно разрослась и покрыла весь двор. Миновала полночь. Май, наверно, насосался теплого материнского молока. И Мирка чувствовала от этого облегчение. Мне стало страшно, как бы она не увела его с собой. Вдруг развалит ограду и проделает в ней проход.

Я кашлянул. Послышался глухой топот – серна убежала в лес...

Я опять привязал Гектора возле загона и вернулся в сторожку.

Черный капитан спокойно спал на своей большой железной кровати. Тело мореплавателя почти совсем исчезло в провисшем, как мешок, пружинном матрасе. Торчали только с одной стороны ноги, а с другой – шапка.

Он проснулся и спросил:

– Как на дворе? Ветер дует?

– Нет ветра. А что?

– Да мне приснилось, будто я в Ова-Раа. Там бывают такие циклоны, что поднимают людей на воздух, как соломинки. Особенно женщин – ведь они в юбках.

– Где это – Ова-Раа?

– Это островок такой, населенный канныбалами, в Тихом океане. Там меня чуть не сварили в большом глиняном котле.

– А ты знаешь, что у нас была гостья?

– Лисица, что ли?

– Нет, мать Мая – Мирка.

Я рассказал ему, как было дело. Капитан зацокал языком.

— А ты знаешь, что ему шепнула серна? — сказал он и ослабился. — ”Беги, сынок, люди тебя изжарят и съедят”. Животные считают нас каннибалами. Ведь они видят, как мы их едим.

Круглые детские глаза его лукаво блеснули в темноте. Он совсем разгулялся и приготовился врать. Я поспешно пожелал ему спокойной ночи и ушел к себе в комнату.

На дворе снова залаяла собака. Серна опять появилась на поляне. Не надо больше ее пускать, а то похитит Мая. Не успеешь оглянуться, развалит ограду и уведет...

Стекла окна, выходящего на запад, отражали далекий блеск луны, спрятавшейся за бесконечные гребни гор. Леса были безмолвны. В этот поздний час вокруг бродило зверье. На кровле сторожки гукала совка, у которой там было гнездо.

Июньский день

Внизу, у подножия, зацвели липы, а дубы стали выпускать кисленькую смолу, привлекающую белок, которые хмелели от нее. Хотя было уже начало июня, возле сторожки листья на деревьях были еще молодые, и лес имел здесь совсем весенний вид. А внизу — не так. Там леса были сочно-зеленые, вечером казались масляными, а по утрам, под первыми лучами солнца, расстиались пышными мохнатыми коврами, до того плотными, тяжелыми и кудрявыми, что меня охватывало безумное желание походить по ним. Там уже отцветали пролеска и фиалка, лесная гвоздика раскрывала длинные острые бутоны и показывала свои пестрые платяца.

Я решил обойти окрестности Соленых источников и наломать молодых веток для нашего Мая. Мне хотелось посмотреть, что там делается. В это время года у оленей особенно быстро растут новые рога и животные испытывают большую потребность в соли. Наверняка у Соленых источников собралось много оленей — купались там, а потом чесались о деревья. Много можно будет там узнать. Сколько интересного происходит в лесу!

Я повесил себе на шею бинокль и засунул его под куртку, чтоб он не болтался на ходу, взял двустволку и попрощался с капитаном. Он предпочел остаться в сторожке и готовить.

— Капитан, — сказал я перед уходом, — последи за Маем. Не пускай его на поляну с козами. Как бы мать не увела.

— Пусть только попробует: я ее застрелю, — ответил он.

— Ишь чего вздумал. Как это — ”застрелю”?! —

— Коли уведет, единственный способ снова его поймать — застрелить серну.

— Какие глупости! Чего это ты так рассвирепел?

— Я полтора месяца не ел мяса.

— Так давай зарежем козленка Миссис Стейк, — сказал я.

Он засмеялся, стоя на пороге в красной блузе, с кухонным полотен-

цем через плечо.

— Грибами этими мы с тобой отравимся в один прекрасный день. Когда будем резать?

— Козленка-то? Вот вернусь, и решим.

Я спустился вниз по крутому косогору, начинавшемуся от самой сторожки. Всюду старые стволы, обросшие губами — желтыми трутовиками и заячником. Ежевичник раскинул свои зеленые сети по гнилым пням. Муравейники обновились. Бархатом переливались мхи на гранитных глыбах, видневшихся тут и там в вековом лесу. Радостно шагал я по нашей тропинке. Очень люблю я этот лес с его могучими прямыми деревьями; порой, остановившись возле какого-нибудь великана, я прислоняюсь к его шершавому телу и ощупываю рукой его твердую кору. Так еще осязательней чувствую я могучую силу дерева, его незыблемость и всегда дивлюсь земле, питающей его.

Я сошел в овраг, на дне которого пенился поток. Здесь было тенисто и влажно. Возвышение обрывалось, дальше гребень тянулся почти горизонтально. Я дошел до того места, где он покрыт мхом. Шаги мои стали бесшумными, будто я шел по ковру. Мох — светло-желтый, а местами свинцово-серый, оттого что земля под ним каменистая, мутного, грязно-красного цвета; лес вокруг захирел. Дубки низкие и до того кривые, словно здесь прошел пожар. Я не люблю эти жалкие кусты. Они напоминают уродцев, но ходить по мху приятно и выгодно. Выгодно потому, что легко подкрасться к какой-нибудь серне. Но на этот раз я увидел в кустах только одного рябчика. Он промелькнул передо мной и тут же скрылся — серый и странно-пестрый — за каким-то камнем, где у него, наверно, были птенцы.

Миновав захиревший лес, я вышел в молодой дубняк и буковник. Мох под моими ногами стал плотный, ярко-зеленый. Тут я всегда встречал дичь. То какая-нибудь огненно-красная лисица пересечет гребень, то серна испуганно заверещит, и я увижу ее быстро удаляющийся белый зад между деревьями. В такие спокойные погожие утра дичина менее пуглива. Ни один лист не шевелится. Влажный лес дышал прохладой и утренним покоем. За спиной моей вздымалась стеной гора, такая огромная, необъятная, что, повернувшись к ней, я испытывал невольное восхищение и немного — страх.

Из одного дупла бесшумно вылетел филин, замахал широкими крыльями и скрылся в темной глубине оврага. Я продолжал свой путь радучись и дошел до одного красивого места. Тут росли дикие черешни и лозы спускали свои толстые лыковые плети с деревьев, по которым они вились. Два голубя-гривуна, всплеснув крыльями, испуганно вылетели из одной черешни: прилетали посмотреть, не созрели ли ягоды... Вдруг внизу, в долине, я услышал умоляющий клекот. Две птицы вроде ястребов гонялись одна за другой над лесом. Два канюка. Самец просил свою подругу спуститься на какое-нибудь дерево. Самка, охваченная безумным желанием летать, нарочно дразнила своего друга. Как сорвавшиеся с бечевы бумажные змеи, носились обе птицы. То спустятся низко, касаясь лесных вершин, то вдруг подымутся высоко над зеленым морем.

Тогда вопли канюка-самца становились еще более умоляющими и пронзительными. Он непрерывно следовал за подругой, все время махал крыльями, словно желая показать ей, как он измучен этой игрой. Но самка была неумолима и ничего не хотела знать. Ей так славно, так легко леталось... Так чудесно летать над этими росистыми молодыми лесами, реять в свежем, упоительно-прохладном утреннем воздухе, а под тобой пенятся потоки и овраги раскрывают свои зеленые недра!..

Я долго следил за игрой влюбленных птиц. Снял с шеи бинокль, глядел в синюю лазурь неба и завидовал их игре. Потом пошел дальше по гребню.

Прошел седловину так же крадучись. Я ходил здесь и зимой и осенью и помнил, как выглядят эти леса в те времена года. У меня было там местечко, отведенное для отдыха. На одной полянке с кривым дубком. Ствол его напоминал перевернутую букву "Ч", и я сидел на нем, как на стуле. Осенью я видел здесь самца серны. Он был комолый, так как только что скинул рога. Мне очень хотелось снова увидеть его.

Когда я сел на дубок, был полдень и солнце уже начало прилекать. Лес застыл. Тени в оврагах исчезли, исчез и утренний туман на вершинах. В это время дня я всегда испытывал легкую грусть, так же как по вечерам, когда солнце заходит за лес и на горизонте остается лиловое пятно, словно пепел под дотлевающими углями. Я думал тогда о тех, кто в городе. В такие вечера капитан Негро тоже грустил; даже Алчо переставал щипать траву на поляне, поднимал голову и погружался в раздумье.

Видимо, я сидел на дубке довольно долго. От утра уже ничего не осталось. Солнечные лучи проникали в лес повсюду. Они выпили всю росу, и в их трезвом освещении лес стал совсем обыкновенным. Зажужжали вокруг большие мухи. Зажужжит муха, сядет на лист, начнет тереть крылышки своими длинными, страшными, косматыми ногами, а потом застынет, блаженно разомлев от солнца.

Я встал, закинул ружье за плечо и стал красться дальше.

"Неужели я не увижу сегодня никакой дичи? Хоть бы того самца встретить..." — думал я, время от времени останавливаясь и оглядывая склоны. И я увидел его.

Он спал прямо передо мной, на южном склоне, возле пня, близ которого росли два-три молодых бука, высокие и прямые, как жерди. Место было довольно голое, лес редкий, вокруг синели пролески, и он спал среди них. Положил голову на переднюю ногу, вытянутую вперед. Новые рога его были покрыты пушком, серая зимняя шерсть на широкой спине местами вытерта.

Я вынул бинокль из-за пазухи, сел на мох и стал любоваться зверем. Как сладко спит, негодник! Солнце лило на него теплый дождь, падавший золотистыми каплями ему на тело. Он отдался спокойствию полудня, полного мира и тишины. Время от времени уши его вздрагивали — не оттого, что он улавливал какой-то внушающий тревогу шум, а оттого, что его начинал кусать какой-нибудь клещ, а ему не хотелось нарушать свою дремоту, чтоб почесаться. Внизу под ним, в долине, тихо шумела река, в воздухе стоял непрерывный упоительный стон, будто кто-то

все время кричал "О-о-о", а пара канюков продолжала летать и вопить...

Я встал и пошел вниз. Я уже не высматривал дичи, но ступал еще неслышней, чтоб не нарушить шумом шагов этого сладостно томительного покоя. Мне казалось, что деревья и травы делают мне знаки молчать. Я улыбался и чувствовал гордость оттого, что мирно иду по лесу и хоть и охотник, а никого не трогаю. Не потоптал ни травинки, не испугнул ни одной птицы, не прогневал ни одно лесное божество. Только канюки все вопили, и это, сам не знаю почему, мне уже не нравилось.

Я повернул к Соленым источникам. В одном из них вода была мутная, полная прядей серовато-коричневой шерсти. Видно, только что купался олень. Следы его на черной тине напоминали следы вола. Я пошел дальше, вниз по течению реки. Долина сузилась. По обоим берегам стояли густые молодые леса. От них шел особенный дух, каким пахнет лес на солнечном припеке. Ружье висело у меня на плече, а птицы продолжали канючить где-то поблизости. Я вышел из теснины. Долина снова расширилась, обнаружив красивую продолговатую поляну. Как раз в это мгновение канюки стали спускаться у меня над головой. Спускалась самка, а самец следовал за ней, и тут произошло вот что: кто-то снял ружье с моего плеча и пальнул...

Самка запицала, опустила крылья и рухнула в лес, и он поглотил ее, спрятав от моих глаз, словно желая поскорей скрыть это убийство. Гора застонала, наполнилась ропотом и долго роптала каждым своим ушелем, каждой ложбиной...

Ружье дымилось у меня в руках. В ушах гремел выстрел, протест горы разносился раскатами во всей ее громаде, в глазах моих мелькали красные и синие пятна. Горячая волна пробежала по моему телу.

Как же вздрогнул, наверно, и вскочил дремавший самец серны! Какая смертельная тревога помутила его до тех пор спокойные и блаженно-кроткие черные глаза! Как широко раздулись его ноздри, как сверкнуло белое зеркало у него на заду! Он пустился наутек по лесу, объятый паническим страхом. Паника овладела всей горой. Взметнулись сто пар длинных, как шлепанцы, косульих ушей, сто пар полных ужаса глаз широко распахнулись.

Я боялся идти назад.

Дойдя до какой-то брошенной лесопилки, я заглянул в затянутый ряской водоем, окинул взглядом посеревшее строение, полуразрушенное и словно обгоревшее. На месте разбитой дощатой крыши вздымались только две громадные балки, а над ними торчал перешибленный желоб, по которому когда-то лилась вода, вращая жестокую пилу. Какой-то дровосек разводил тут костер, и теперь пепел, серый и влажный, лежит свинцовым караваем, а рядом коровий помет и смятая коробка из-под сигарет.

Пора обратно. Только не тем же путем, не долиной. Я поднимаюсь вверх по склону, останавливаюсь на красивой седловине, обедаю, потом растягиваюсь на мягком мху, подложив ружейный приклад себе под голову, и засыпаю...

Когда я проснулся, солнце висело над сине-зеленым гребнем, боль-

шое, теплое. Наступали прекрасные июльские сумерки, тени прорезали овраги. Было весело. Только одинокий канюк все плакал и звал свою мертвую подругу...

Я вернулся в сторожку. На поляне паслась лошадь. Дверь в сторожку была закрыта. Я услышал голос капитана. Он ходил по лесу и кричал:

— Май! Май!

Серна увела сына.

Старый длинноухий заяц

Товарищ мой был в большой печали. Он даже забыл изжарить отличные грибы, которые я собрал утром. Ему не сиделось в сторожке, и он все ходил по лесу, вереща, как серна. С собой он взял Миссис Стейк и ее козленка. Надеялся с их помощью подманить нашего Мая.

К обеду он вернулся, сел за стол и кинул на него шапку.

— Далеко увела, — промолвил он, сконфуженно поглядев на меня. — Во всем виновата проклятая коза. На кой она черт нам теперь?

Я промолчал.

— Коли нет больше серненка, она нам совсем не нужна... Как ты думаешь, может Мирка уйти из этих мест и увести Мая куда-нибудь еще?

— Не знаю.

— Ох! — вздохнул капитан.

Сторожка словно опустела. Комнаты полны света, но белые оштукатуренные стены как будто примолкли.

Капитан Негро перестал говорить со мной. Он напустил на себя сердитый, мрачный вид и занялся стряпней, ожесточенно гремя кастрюлями. Время от времени он подходил к двери, глядел в лес, произносил "гм" и с гордым возмущением возвращался на кухню, откуда доносилось шипение поджариваемых грибов. Таким манером этот старый черт хитрил с самим собой и со мной, стараясь представить дело в этаким виде: "Не понимаю, что это Май до сих пор не возвращается. Я ведь велел ему быть вовремя".

Когда грибы были готовы, он молча поставил их на стол.

— Мне не хочется есть, — сокрушенно заявил он и ушел на кухню.

Я встал, тихонько подошел к кухонному окну: Черный капитан сидел спиной ко мне и с большим аппетитом уплетал жареные грибы, выложенные на алюминиевую тарелку, бормоча что-то себе под нос...

Я вернулся в комнату. Не было смысла прерывать эту комедию. Капитан отличался буйным воображением, а так ему легче было пережить свою вину.

Вечером я сказал ему:

— Налей молока в бутылку и принеси мне.

Он вздрогнул, но не решился спросить, что я собираюсь делать.

Я положил бутылку в сумку и вышел. Капитан проводил меня до самого леса. В глазах у него был вопрос: "Что ты задумал?" Но он не смел задать его вслух.

Мне стало жаль его, и я сказал:

— Пойду искать Мая. Я уверен, ты нарочно позволил серне увести его. Да, нарочно! Чтобы я согласился убить ее. Чтоб у тебя было мясо!

Он поглядел на меня с изумлением и стал клясться:

— Провалиться мне на этом месте, если это так! Во всем виновата Миссис Стейк. Она заблелая. Я привязал ее под скалой. И козленок заблел. А Май стал метаться в загоне. Тогда, думаю, дай пушу козленка. Пустил, а Май все мечется...

— Ну да, и его ты тоже пустил, — перебил я, не желая слушать его оправдания. — Ладно, пока. Сиди дома.

— Какой у тебя план? — спросил он.

— Нет у меня никаких планов.

У меня на самом деле не было никаких планов, кроме одного замысла, на успех которого я тоже не слишком рассчитывал. Май прожил с нами около двух недель. И все это время мать навещала его почти каждую ночь. С того дня, как мы узнали об этих посещениях, серна приходила много раз. Мы с капитаном решили было прекратить эти встречи, но потом отменили это решение. Почему бы серненку не пососать материнского молока? Почему бы нам не попытаться приручить серну? Так она привыкнет к нам. Теперь надо было найти их новое обиталище. Май не забыл бутылку с молоком, а Мирка не зареет его в листья, так как он уже достаточно большой и может ходить с ней.

Я пошел вдоль гребня горы. Там было нечто вроде дороги или, вернее, аллеи старого-престарого парка.

Солнце потонуло за горизонтом, и красный диск его скрылся наполовину. За тяжелой зеленой лесной завесой небо лило потоки алого света. Отроги внизу переливались, исчезая в красноватых и маслянисто-зеленых оттенках. Это вечерние сумерки. Туда вечер приходит раньше и уходит оттуда позже, чем отсюда, с вершин. Вот круглая поляна, поросшая тысячелистником, диким чесноком и зверобоем. Посреди черной колонной торчит сожженное молнией дерево. Оно все, снизу доверху, обросло твердыми серовато-белыми грибами, будто струпами.

Выбираю укромное местечко и останавливаюсь на полянке — слушаю, не бродит ли поблизости дичина. В это время серны пасутся. Потом иду на противоположную седловину. Я знаю, что там есть скалы, на которых осенью дневало стадо серн. Тропа идет понизу, опоясывая возвышенность с южной стороны. Посреди тропы торчит большой белый камень, а дальше поперек упало дерево.

Я иду не спеша, настороженно. Часто останавливаюсь и прислушиваюсь. Солнце совсем скрылось. Противоположная возвышенность, похожая на громадную лестничную ступень, залита холодным красноватым светом, словно под ней красные уголья, обливающие ее своим сиянием.

Вдруг вверху надо мной гремит оглушительный рев. Хриплый, зверино-дикий. В вековом лесу он звучит мощно и устрашающе.

Останавливаюсь на тропе и с улыбкой слушаю.

— Хаау-у?! — раздается еще раз.

В реве этом — полный ужаса вопрос.

Я по-прежнему стою неподвижно, даже дыхание затаил.

— Баф? Баф? — спрашивает самец-олень, уже спокойней.

Хоть я не вижу его, но прекрасно знаю, что он делает. Он остановился и повернул ко мне голову. Не видит меня, но чувствует мое присутствие и вот спрашивает, какие у меня намерения.

— Баф! Баф! — говорит он; это значит: "Что ты собираешься делать? Будешь меня преследовать?"

Не получив никакого ответа, он начинает сомневаться в моем существовании. Но это не только не успокаивает его, а наоборот, повергает в новый ужас. Взревев еще сильнее, он с хрустом и треском пускается наутек и вновь заводит свое "баф! баф!". Не пробежав и десяти метров, останавливается, прислушивается и опять недоумевает. Никто за ним не гонится. Новое сомнение, новый ужас, новое бегство и новый рев. Он нюхает воздух своим влажным черным храпом, осматривает каждое дерево, вслушивается, наострив уши. Ни тени человека, никакой опасности. Все как будто спокойно. В лесу погасли последние огненные стрелы заката. Небосклон опоясывается алым кушаком. Самое время пастьбы. И он решается вернуться на лесосеку. Но в это мгновение вечерний ветер доносит до него мой запах — и опять рев, опять бег, треск и "баф! баф!".

Это продолжается целых пять минут. Наконец сердце его не выдерживает, и он кидается бежать по склону возвышенности. Выбегает на тропу позади меня и останавливается. Не знает, оставлять ли ему лесосеку, где он привык пастись. Может, я ушел? Не раз случилось, что мимо него проходил человек, и почти всегда этот враг мирно удалялся, а он напрасно поднимал лай. И он решает пойти по тропе. Идет бесшумно, нюхая, как собака, влажную черную землю.

Я сижу на поваленном дереве. Одежда на мне зеленая. Если я буду сидеть неподвижно, меня трудно заметить. Ружье я положил под дерево, чтоб оно не выдало меня блеском ствола. И пока я так сижу и гляжу на лесосеку, за спиной у меня раздается новый, еще более испуганный рев. Что-то затопотало — и вот как ревет и лает, бесстыдник, как бежит и хрустит, словно хочет весь лес обрушить себе на голову. Убежал в долину, к шахтам, и оттуда еще долго доносятся его лай и хрюканье, словно он ругает меня и возмущается моим коварством.

Я с громким смехом говорю ему:

— Кто же виноват, что ты такой любопытный? Зачем тебе нужно было непременно меня увидеть? Или оттого, что ты молодой и сильный, тебе хочется поиграть с опасностью? Приятно, наверно, когда по коже пробегают мурашки, после того как целый день проскучаешь в чудной, прохладной лесной тени. Ты мне совершенно не интересен, бездельник. Знай реवेशь на всю гору, а Мирка, может, и убежала отсюда!

Я решаю идти к обгорелому дереву, на седловине по ту сторону. Какой-то грибок или дровосек когда-то развел костер у подножия бука, и теперь огромное дерево, самое высокое и старое в этой местности, торчит, с одной стороны иссохшее и почерневшее. В первую же бурю оно сломится, и тогда будет плохо деревьям вокруг него.

С северной стороны седловины идет олень. Я узнаю его по хрусту.

В лесу начинает смеркаться. Дневной свет смешивается со светом щербатого месяца, желтеющего среди ветвей.

Я возвращаюсь назад. Хочу пройти к нашему источнику. Может быть, Мирка не оставила своих любимых мест?

Мало-помалу лунный свет начинает течь по белым стволам буков, верхушки деревьев блестят, тени становятся темней, тяжелее, шевелятся, как черные кружева, от вечернего ветра, тут и там сверкают влажные от росы пни. Все изменилось в этом тусклом кротком свете, и гора стала неузнаваемой. Глаз охотника напряженно всматривается то в одном, то в другом направлении. Он караулит, и прислушивается, стараясь не дышать, и ловит, открыв рот, все подозрительные звуки. Не заяц ли там пробежал? Не серна прошумела? Не очень переступил тяжело? Какая-то ночная птица промелькнула за деревьями, листья их вздрагивают и шепчут, словно поверяя друг другу какие-то тайны.

До источника еще двести или триста шагов. Горный гребень слегка вздымается, образуя небольшую кручу, озаренную ярким светом месяца, высокое редколесье полно лунного дождя. Мягко белеют толстые стволы буков.

Что-то зашумело впереди меня, и я, замерев на мгновение с приподнятой для шага ногой, тихонько опускаю ее на землю. Большое животное, выскочившее откуда-то слева, останавливается как вкопанное. Я вижу, как блестят в лунном свете его глаза. Оно стоит в десяти метрах от меня и смотрит. Лес усеял его тело крапинками тени, словно опутав его сетью. Оно довольно крупное, серое, с длинными ушами, длинными ногами. Это серна...

Странно, что она не убегает, не верещит, а смотрит на меня в упор, как бы сомневаясь, человек ли перед ней. Проходит полминуты — и вдруг возле нее появляется маленькая тень...

Тогда я достаю из сумки бутылку. Молоко белеет у меня в руках, как мел. Вынимаю пробку из горлышка и слегка наклоняю бутылку. Молоко булькает, проливаясь на землю.

— Май, Май! — тихонько шепчу я.

Серна вздрагивает и удаляется. Мне не видно, идет ли серенок за ней, но я пускаюсь ей вслед, продолжая звать:

— Май! Май!

Дойдя до повалившегося дерева, спотыкаюсь о его сухие ветви. Тут растет бузина и высокая крапива, которая обжигает мне руки.

— Май! Май! Май! — зову я, шумя и хрустя сучьями дерева.

Мне кажется, что серна ушла в эту сторону.

Выхожу из бурьяна и прислушиваюсь. В руках моих белеет бутылка.

В лесу полная тишина. Огорченно вздохнув, я опускаю руки. Может быть, это была другая, незнакомая серна? Я поворачиваюсь и думаю уже выбираться из бурьяна. И в эту минуту что-то шелестит, по бузине проходит какое-то движение. Гляжу туда, но ничего не вижу. Бузина перестает шевелиться, но возле меня кто-то есть. Я чувствую чье-то молчаливое присутствие. Оборачиваюсь, и вот что-то мягкое, влажное дотрагивается до моей руки, в которой я держу бутылку...

У моих ног стоит наш Май и тычется в меня мордочкой. Я вынимаю пробку, и он присасывается к лакомому горлышку сосуда.

— Капита-ан! — радостно кричу я, хоть знаю, что на таком расстоянии от сторожки он не может меня услышать. Потом беру серненка на руки и быстро пускаюсь в обратный путь.

Май смиренно лежит у меня на груди. Глаза его блестят при луне, мордочка касается моего лица, и я чувствую его дыхание, пахнущее молоком и чем-то еще, свойственным дыханию ягненка. Острые копытца его время от времени царапают мою куртку. Он не пробует убежать, но все же начинает тревожиться, и я понимаю, почему он позволил мне так легко его схватить. Серна велела ему спрятаться и сидеть в бузине, так как ребятишки не должны бегать ночью по лесу...

Выхожу на склон над сторожкой. Вижу сверху длинное низкое строение, из окон которого льется яркий свет. Вокруг пахнет дымом. Черный капитан, наверно, готовит ужин или же читает свою джентльменскую книжку и мечтает о том дне, когда мы зарежем Миссис Стейк или ее козленка. Он так и не рассказал мне о своем прошлом, и я все собираюсь расспросить его.

Я решил войти в сторожку с видом человека, потерявшего всякую надежду. Запер Мая в загон и пошел к капитану.

— Ну, — промолвил он, склонившись над своей рубашкой, к которой пришивал пуговицу. — Как дела?

— Ясное дело — плохи.

— Трудненько найти серненка. Кто знает, куда его спрятала мать. Ты, наверно, голоден? Я приготовил славный ужин.

Я нарочно придал себе еще более безнадежный и усталый вид.

Поужинав, пошел к Маю. Открыл дверь загона, и он последовал за мной. В комнате ему понравилось больше, чем в загоне. Я оставил серненка перед входной дверью и, затворив ее за собой, вошел в коридор. Потом сказал капитану:

— По-моему, у нас во дворе заяц.

— Ага, я его видел еще на прошлой неделе, да забыл тебе сказать. Старый длинноухий заяц.

— Вот именно.

— Дай схожу посмотрю, — сказал капитан.

Я слышал, как он отворил дверь сторожки и вскрикнул. Потом прибежал ко мне с серненком на руках.

— Ну, разве я не говорил, что он вернется?! — торжествующе воскликнул он, блестя глазами от радости. — Вот и вышло по-моему.

Я оставил его в этом приятном заблуждении... Не стал колебать его гордой самоуверенности.

В западне

На другой день мы принялись устраивать западню для серны.

— Тоже нелегкое дело, — проворчал капитан, когда я сообщил ему о своем намерении поймать Мирку и приручить ее.

Мы довели ограду загона до такой высоты, чтобы серна не могла перескочить ее, а над дверцей устроили другую дверцу — подвижную — высотой с новую ограду. Эту вторую дверцу мы привязали веревкой так, что достаточно было дернуть веревку, чтобы загон оказался закрыт со всех сторон. Мы работали два дня, да не на шутку, а всерьез.

В первую ночь Мирка подошла к незаконченной ограде, за которой находился ее сынок, но войти внутрь не решилась. Ее испугали эти преобразования, да и Гектор был привязан слишком близко от загона.

На вторую ночь мы спрятались на веранде, держа конец веревки в руках. Предполагалось, что, как только мы поймем серну, я должен буду спуститься скорей вниз, встать у дверцы и, если в ловушке окажется какой-нибудь дефект, не дать Мирке улизнуть.

— Будет наша! — уверенно заявил капитан Негро, когда все было готово.

Он держал в руке веревку очень крепко, с таким видом, словно собирался ловить льва. Задача поглощала все его внимание, все его мысли.

— Когда-нибудь я расскажу тебе, как поймал в Индии бенгальского тигра, — тихонько сказал он, когда мы устроились на веранде.

— Наверно, это очень интересно. Но сейчас мы должны сидеть совсем тихо, — ответил я.

Мирка появилась около полуночи. Собаку мы увели в дом, чтоб не лаяла. Май затоптал в загоне, и мать опасливо приблизилась. Она несколько раз обошла высокую ограду, минуя дверцу — единственное место, где ей можно было влезть к сыночку.

Черный капитан высунул свою взъерошенную голову над перилами веранды и старался не дышать. Короткие руки его, с засученными до локтей рукавами, сжимали веревку. Серна продолжала ходить вокруг загона. Я видел, как она бродит точно тень при неясном свете месяца, скрытого за вершинами деревьев. Наконец Мирка остановилась перед дверцей. У капитана задрожали руки. Эта дрожь могла передаваться по веревке. Я хотел уже отнять у него веревку, но в это мгновение серна перепрыгнула первую, низкую дверь.

— Дергай! — скомандовал я.

Капитан Негро дернул веревку с такой силой, что дверца захлопнулась с треском, чуть не повалив всю ограду. Веревка натянулась от верха дверцы через весь загон, как телеграфный провод.

— Беги! — воскликнул капитан.

Я бросился как сумасшедший вниз по лестнице и задвинул дверцу загона заранее приготовленным для этого деревянным засовом. Товарищ мой прибежал за мной следом.

— Ну что, попалась? — спросил он.

— Здесь.

— Я говорил, поймал. Ура-а-а!

— Не кричи. Испугаешь.

— Дай погляжу на нее.

Мы приникли к щелям в грубо сколоченной из тонких жердей дверце. Испуганная мать жалась к ограде и толкалась в нее.

— Надо оставить ее в покое. А то повалит ограду и убежит.
— Не убежит, — возразил Черный капитан. — Ограда надежная. Но что нам теперь с ней делать? Оставить ее так?
— Нет, будем ее стеречь.
— Лучше всего привязать. А потом отведем в сторожку.
— Если запереть ее в комнате, она себе ноги переломает. А то разобьет окно и убежит. Ведь она дикая.

Капитан Негро задумался. Потом сказал:

— Ты стой тут и стереги. Я сию минуту вернусь.

Он сходил в сторожку и вернулся с какими-то ремнями.

— Ни в каком случае я не соглашусь оставлять серну в загоне, — заявил он тоном, не терпящим возражений.

— Что же ты хочешь сделать?

— Надеть на нее вот эту штуку!

Он показал мне ремни. Оказалось, он принес лошадиный недоуздок, привязав к нему наскоро два новых ремешка.

— Этими ремешками мы обвяжем ее под мышками, а голову всунем в недоуздок, — объяснил капитан тем же авторитетным тоном.

— Это чепуха! Так мы только загубим ее, — возразил я.

Капитан Негро не хотел отказываться от своего намерения, и мы поругались. Я и не подозревал, что в нем живет какая-то особая страсть связывать диких животных, которая позже снова дала о себе знать и привела к трагическим последствиям. Нам и прежде случалось ссориться, но никогда особенно серьезно, так как оба мы были отходчивы.

Товарищ мой, рассердившись, ушел в сторожку, а я вынес тюфяк, взял два одеяла и постелил себе прямо в загоне, у входа. Я боялся, как бы Мирка не сделала отчаянной попытки к бегству и не напоролась бы на колья ограды.

Перед тем как заснуть я долго глядел на бедное животное, беспокойно ходившее вдоль ограды и искавшее, подняв голову, какое-нибудь отверстие.

Надо мной расстилалось темно-синее небо, рассеченное широким Млечным Путем. Леса под ветром тихонько шумели. Потоки вторили им. Тусклый свет месяца обливало огромное тело горы, и она как будто дышала. Над головой моей висела сама бесконечность, а напротив меня, на противоположной стороне загона, все ходила и ходила серна. Бока у нее так и вздымались, и если б я мог видеть ее глаза, то заметил бы в них муку и ужас дикого животного, потерявшего свободу.

Ко мне подошел Май и коснулся своей влажной мордочкой моего лица. Потом лег на одеяло. Горная ночь была холодна.

Пастухи серн

Приручить Мирку оказалось нетрудно. Судя по ее зубам, она была сравнительно молодая, лет четырех.

Сначала, когда кто-нибудь из нас входил в загон, чтобы бросить

охапку веток ежевики или налить свежей воды в корыто, она начинала метаться по загону как безумная. Но Май помогал нам. Он доверчиво подходил и ел у нас из рук. Мать сперва глядела на него с ужасом, но потом начала держаться спокойней и стала не такой пугливой. Мы входили в загон с комком соли и давали маленькомулизать. Потом клали ее рядом с корытом и уходили. Мирка подходила и охотно лизала соль — большое лакомство для серн и оленей.

Когда она привыкла находить ком соли у корыта, мы стали давать соль только Маю. А мать звали, чтоб подошла и полизала ее у нас из рук. После долгих колебаний серна наконец преодолела страх — подошла, вытянув шею и нерешительно приседая на задние ноги. Мы говорили ей ласковые слова, и животное мало-помалу перестало бояться. Теперь она уже давала себя погладить, даже отвести в сторожку с помощью приготовленного на этот случай конского повода. Май покорно ходил по пятам за капитаном, так как мореплаватель любил серненка больше всего на свете и все время кормил его — ”чтобы рос быстрее”. Только Гектор был недоволен, и глаза его выражали отчаяние и грусть. ”Ты меня забыл, — говорили эти глаза. — Было время, ты заставлял меня гоняться за этими длинноногими, а теперь не позволяешь даже лаять на них. Так на что же я тебе?”

Вскоре Гектор понял, что наши серны не такие, как те, дикие, за которыми он гонялся. Его перестали волновать их запахи и близкое присутствие. И они тоже привыкли к собаке и уже не боялись ее.

Наше домашнее хозяйство немного пострадало. Капитан стал пренебрегать своими кухонными обязанностями, Миссис Стейк нам опостылела. Мы зарезали ее козленка, и она ходила одна. Все наши заботы сосредоточились на сернах. Капитан Негро пас их, и это была нелегкая работа. Мирку надо было водить за приспособленный для этой цели конский повод и все время следить, чтоб она не убежала.

Когда погода улучшилась, стало легче. Так прошли июль, август и наступил сентябрь — месяц, когда в горах созревают всякие травы. Приближалась пора рева рогачей.

Мы стали готовиться к новому делу. И пошли обходом по высоким горным полянам, где паслись олени стада. Серн на время своего отсутствия мы забирали в конюшню.

Май уже вырос. Солнечные пятна на теле у него давно исчезли. Он стал держать голову высоко, и на узком лбу его, под слегка кудреватой шерстью, обозначились бугорки будущих рогов. Он чесал их обо что попало — иногда подходил и терся ими о грубое сукно нашей одежды. Он был до того ручной, что казался уже неспособным жить на свободе со своими дикими собратьями, которых превосходил и ростом и весом, так как был прекрасно упитан. И Мирка стала крупной, необычайно красивой серной. Она весила около двадцати семи килограммов. Спина у нее была широкая, округлая. Темная полоска шла от ее белого зада до самых ушей. Над светло-серой грудью ее, с очень нежным и благородным серебристым оттенком, красиво вздымалась изогнутая длинная шея, похожая на нос древней галеры. Большие влажные глаза

напоминали глаза опечаленной женщины.

Как-то раз капитан Негро сказал:

— Давай возьмем серн с собой: и их попасем, и обход свой сделаем.

Мы сплели новые поводья, при помощи их связали серн особым способом и повели их по лесам. Никто еще не видел подобных чабанов, и если нам попадался какой-нибудь дровосек, углекоп или горец-крестьянин, он ахал от удивления.

Во время этих обходов мы не видели ни одного оленя, так как шли шумно. Зато три раза подводили серн к кормушкам. Насыплем немного овса и заставляем их есть из деревянного корыта.

Место было дикое, полное суровой красоты. Бурный поток бежал по дну долины, недоступной ветрам и наполнявшей тишину леса грохотом и плеском. Ярко-зеленые кусты ежевики и барвинка покрывали оба росистых берега. Среди вечнозеленого барвинка, похожего на лимонную рощу, выделялись расставленные нами корыта и кольца с насаженными на них комками соли.

Мы с капитаном решили построить здесь сарай, откуда можно будет наблюдать дичину на кормежке. Как-то утром принесли тесла, пилу, гвозди и, стараясь производить как можно меньше шума, принялись за работу.

Был конец сентября. Приближалось время рогачам зареветь. Погода стояла теплая и ясная. Местами в лесу виднелись желтые листья. На буках появились первые красноватые пятна. Дикий виноград созрел и вывесил свои длинные гроздья с редкими зернами, темно-синими, как мелкие ягоды терновника. На них набросились все птицы — от лесного голубя до черных дроздов, соек, длиннохвостых синиц, похожих на большие запятые и умеющих ходить вниз головой. По ночам совы кричали: "У-ху-ху-у! У-ху-ху-у!" — и это нас обоих угнетало. Мимо сторожки часто проходили олени стада, и Гектор все время лаял. Горой овладевала тревога.

В самом конце месяца олени заревели. Однажды ночью, когда ставшая тонкой, как бровь, луна лила тусклый свет на дремлющие темные леса, мы услышали первый сильный рев: "Бе-бе-бе-бе-е! Бе-бе-бе-е!"

Мы вышли наружу. Ночь была тихая и необычайно теплая, словно где-то горел пожар. Что-то давящее чувствовалось в этом теплом, душном воздухе. Сова кричала чаще и громче обычного. Гул потоков не был слышен, как прежде. Только лесные вершины чуть шумели, показывая, что высоко в небе тянет сухим и горячим ветром...

Верхом на олене

Мы настилали кровлю сарая. Наши серны мирно паслись у ручья. Капитан Негро влез наверх, а я снизу подавал ему доски. Он держал гвозди в зубах, всем своим видом давая понять, что он опытный плотник.

— Где ты научился так ловко забивать гвозди? — спросил я в надежде узнать что-нибудь из его недавнего прошлого.

— Я знаю много ремесел, — процедил он сквозь зубы, в которых тор-

чал большой гвоздь.

— Ты еще ничего не рассказывал мне о своей жизни в городе, до того как ты разорился, — промолвил я сочувственно.

Он насупился.

— Об этом никогда меня не спрашивай.

Так отвечал он каждый раз, когда я пытался заглянуть в эту темную страницу его жизни.

Было девять часов, когда из глубины долины до нас донесся сильный шум. Словно кто-то тряс дерево. Тряс неравномерно: то перестанет, то начинает опять, еще ожесточенней.

— Наверно, олень чешется, — сказал капитан, вынув гвозди изо рта и прислушиваясь.

— Может, кабан, — заметил я.

— Пойдем посмотрим, в чем дело.

Мы привязали серн под навесом и спустились вниз по берегу ручья.

Дерево стали трясти сильнее. Странные звуки, похожие на мучительные стоны, слышались справа. Там была поляна, и мы побежали туда.

На краю поляны, поднявшись на дыбы, стоял громадный олень. Он застрял передней ногой в сучьях дикой груши. Видимо, соблазнившись грушами, он взгромоздился на дерево передними ногами, и одну из них крепко заклинило в узловатых сучьях, как раз в том месте, где нога становится тоньше и начинается копыто. Животное было все в поту и в пене. Голова запрокинута на спину, язык наружу, желтые глаза налиты кровью. При виде нас олень заревел и с еще большим бешенством стал трясти дерево. Дерево закачалось, но не выпустило его. Мы оба вскрикнули от неожиданности.

Первым опомнился капитан Негро.

— Ему нипочем не вырваться! Надо его поймать!

Я подошел и осмотрел развилку, в которой застряла нога животного. Олень задергался еще отчаянней.

— Не подходи, он освободится! — закричал капитан. — Надо его скорей связать и стреножить!

— Зачем его связывать?

— Лезь на грушу и держи его за ногу, а я сбегая за веревкой! — горячился он.

— Нет, не надо.

— Да как же упустить такой случай? Мы его приручим. Почему нет? Приручили же серну.

Не было времени объяснить ему, что приручать взрослого оленя, да еще начинать это, когда он в неистовстве, — бесполезная затея.

Я встал под деревом, поднял ружье стволом кверху и, уперев дуло в копыто застрявшей ноги, попробовал поднять ее и освободить. Ничего не вышло. Ногу здорово защемило.

— Что ты делаешь? С ума сошел? Зачем ты его освобождаешь? — протестовал капитан и вырвал ружье у меня из рук.

Олень ревел все мучительней и рвался все отчаянней, так что груша вся тряслась снизу доверху. Я еще раз попробовал вытолкнуть ногу — на

этот раз с помощью жерди — и опять неудачно. Капитан старался мне помешать. Тогда я влез на дерево, вынул охотничий нож и начал срезать один из суков. Осторожно, чтобы не поранить оленю ногу.

Капитан продолжал вопить там, внизу.

— Перестань резать сук! Надо его взять! Перестань, говорю! — кричал он со свойственным ему упрямством, пуская в ход всякие угрозы.

Животное почти совсем обессилело. Оно хрипело и задыхалось. Из полуоткрытого рта шла пена. Глаза были полны ужаса и муки.

Наконец нож вошел глубоко в сук. Под тяжестью оленя сук с треском сломался, однако нога не освободилась. Надо было вынуть ее из развилки. Черный капитан, во власти своей безумной идеи, снял с себя красную блузу и накинул ее на голову животного. Блуза зацепилась за громадные рога. Капитан дернул ее, но она запуталась еще больше. В это мгновение олень освободился, передние ноги его стали на землю, животное пошатнулось и, кинув вокруг дикий взгляд, пустилось наутек.

Капитан Negro держал в руках подол своей блузы. Он не хотел выпускать ее ни за что на свете и, когда олень прыгнул, очутился у него на спине. Олень рванулся вперед...

Товарищ мой взвыл от ужаса. С оглушительным треском олень помчался по лесу. Он делал огромные скачки. Красная блуза развевалась у него на рогах подобно знамени. Крики капитана Negro оглашали долину, еще больше пугая и без того обезумевшее животное. Прилепившись к его спине, товарищ мой исчез из виду. Он звал меня по имени и даже, казалось, плакал.

Я побежал по следам оленя и тоже стал звать. Никто не ответил мне, кроме эха. Что будет, если кто-нибудь из лесной охраны увидит оленя с красной блузой на рогах? Он сейчас же донесет об этом околийскому начальнику, и нам с моим бедным товарищем придется давать объяснения. Впрочем, кто его знает, как еще вернется капитан.

Вот до чего довела его страсть связывать диких животных!

Ты... не наш ли Тошко?

Прежде чем рассказать, как вернулся капитан Negro и что за этим последовало, нужно сообщить еще кое-что о нем самом. Для этого как раз самый подходящий момент, так как после несчастного происшествия с оленем я пришел в сторожку один, а там поджидал нас низенький человечек средних лет, в потертой шапке, цвет которой невозможно было определить, в поношенном пальто, поднятый воротник которого охранял его тонкую морщинистую шею от холодного горного воздуха.

Он ходил взад и вперед перед сторожкой, горестно поглядывая на тропинку, очевидно подавленный безмолвием девственного леса.

Когда мы познакомились, оказалось, что он — земляк капитана, даже его приятель, солидный адвокат, с пожелтевшими от табака зубами, с худым, зеленовато-серым лицом, похожий на большого кузнечика. Он объяснил, что возвращается из какого-то местечка, куда ездил по делу,

и завернул сюда, "чтоб подышать горным воздухом". Однако, по его словам, воздух оказался "слишком пьянящим для его зыбкого здоровья". На шоссе его ждет бричка.

Я пригласил его в сторожку, и там, согревшись и выпив рюмку водки, он признался, что приехал сюда не только затем, чтоб подышать "здоровым воздухом", но и затем, чтобы повидать капитана, с которым должен урегулировать кое-какие старые дела.

— Капитан Негро только что поехал в город, — солгал я. — Там вам гораздо легче будет его найти.

— О, если он в городе, я, конечно, его найду, хоть он от меня и скрывается, — ответил адвокат с хитрой улыбкой. — Могу откровенно сказать вам, в чем дело. Я — поверенный одного прасола, с которым капитан Негро был в свое время компаньоном. Между ними остались неурегулированные счета.

— Я очень хотел бы узнать прошлое капитана. Оно мне совершенно неизвестно, — сказал я.

— Неизвестно? Вы ничего не знаете? — удивился адвокат, подняв густые брови, так что на его узком сухом лбу образовалось пять крупных морщин.

Я давно искал случая узнать что-нибудь о моем товарище и попросил сухопарого господина рассказать все, что он знает. Позволил себе пересказать его сообщения своими словами, допуская лишь самые незначительные изменения, как говорится — в интересах истины.

За десять лет перед тем капитан Негро неожиданно явился в своем родном городе, который покинул еще подростком. Целых двадцать пять лет он скитался по всем морям и океанам, а скопив немного денег, постарев и выйдя на пенсию, решил навсегда стать на якорь в этом маленьком городке.

Его появление было целым событием. Оно произошло жарким июльским днем, в послеобеденную пору, когда улицы городка были безлюдны.

Синяя легковая машина, нанятая за тридцать километров от городка на железнодорожной станции, возвестила гудком своим о прибытии мореплавателя. Миновав площадь, она остановилась возле оштукатуренного, белого, как шампльон, дома. Капитан Негро сидел в машине на заднем сиденье. Перед ним помещались два чемодана с наклейками разнообразнейших отелей всего света.

Автомобиль тотчас окружила ватага ребятишек, взявшихся неизвестно откуда. Шофер открыл дверцу, и капитан Негро остановился перед домом. Окинув его неуверенным взглядом, он почти строго спросил:

— Это дом семейства Караминковых?

Довольно сильный иностранный акцент, с которым были произнесены эти слова, едва не помешал ребятишкам понять их смысл.

— Да, — ответил один мальчик, не сводя глаз с пестрой жилетки капитана. Толстая золотая цепь выходила из одного ее кармана и входила в другой, образуя огромную букву "З".

Капитан Негро толкнул дверь и вошел в дом. Навстречу ему вышла маленькая старушка. Очки блестели у нее на морщинистом лбу, фартук

был мокрый, весь в мыльной пене. В руках старушка держала деревянный гребень и кусок едкого домашнего мыла. На задворках дома еще хрюкала свинья, которую старуха только что выкупала.

Ошеломленная внезапным появлением и элегантною незнакомого господина, так бесцеремонно вторгшегося к ней в дом, старушка не знала, что сказать. А капитан Негро был, видимо, слегка разочарован жалким видом своей тети, похожей на мокрую мышь. Оба глядели друг на друга минут десять, не говоря ни слова.

— Ну что? Не узнаешь? — наконец улыбнулся племянник, блеснув в холодной полутьме тесной прихожей двумя золотыми зубами.

Старушка заморгала, на лбу у нее появилась еще одна морщина. Уставившись на капитана, она неуверенно промолвила:

— Узнаю вроде бы... Ты... не наш ли Тошко?

— О'кей, я самый, — ответил мореплаватель.

— Ну как не узнать! — воскликнула тетья и, выпустив из рук мыло с гребнем, обняла племянника.

Такова была встреча капитана Негро с единственной его родственницей в городке.

Старушка отвела капитану самую лучшую комнату на верхнем этаже. Там капитан Негро открыл свои американские чемоданы. Они были полны одежды, туалетных принадлежностей и разных ненужных вещей. Среди них — японские ширмы, раковины, жевательная резинка, бутылка виски и множество всяких мелочей.

Капитан подарил тете шелковый отрез и гребень, сделанный, по его словам, из зуба бегемота. Потом он осмотрел свой родной дом и, крайне разочарованный жалким его видом, начал рассказывать старушке о своих странствиях по свету.

Убедившись, что не забыл свой родной язык, он удалился на отдых к себе в комнатку. Оттуда он слышал, как то и дело отворяется и затворяется калитка: это приходили и уходили любопытные соседи и соседки, спрашивавшие о нем тетю. Слышал, как они от изумления всплескивали руками и ахали. Слухи о приезде "американца" и его "богатствах" опутали город, как паутина.

Капитан Негро самодовольно улыбался, время от времени поглядывая на себя в зеркало.

На другой день он решил потрясти своих сограждан и вышел на улицу в ковбойском костюме. На голову надел сомбреро, короткую шею повязал зеленым платком. Вокруг пояса — револьверный патронташ, хоть и без единого патрона, так как еще на границе таможенники обезоружили его. Высокие сапоги туго облегли довольно полные икры.

Он пошел по единственной главной улице убийственно медленной и неслышанно важной походкой. Время от времени он останавливался перед какой-нибудь лавочкой со связками ременных лаптей, керосиновых горелок или жатвенных рукавиц, заглядывал в какую-нибудь шорную мастерскую и, удовлетворив свое любопытство, шел дальше с гордо поднятой головой. Он вообще любил ходить вытянувшись, как почти все люди маленького роста, но в тот раз походка его была просто величественной.

Вскоре июльское солнце начало припекать, и капитану часто приходилось, сняв сомбреро, отирать пот со лба. За ним шла толпа мальчишек. Из кофеен выходили горожане — посмотреть на "иностранца". Капитан строго встречал любопытные взгляды и делал вид, будто не слышит смеха у себя за спиной.

Наконец это ему надоело, и он подозвал самого рослого мальчишку из числа следовавших за ним. Тот подошел, оробев. Капитан Негро осведомился, на какой высоте над уровнем моря расположен его родной город, на какой параллели он находится, на какой широте.

— Ты не знаешь? — удивился он, когда дьлда смущенно повесил нос. — Чему же вас учат в гимназии? All right¹, надо будет поговорить с директором.

На лице его выразилось скорбное возмущение, и он прервал прогулку. В тот день он обедал дома — тетя зарезала двух цыплят и изжарила их с чесноком.

Уже во всем городе только и было речи, что о нем, но капитан Негро нарочно медлил появиться в обществе. Плотно пообедав, он выспался и только к вечеру снова вышел.

Теперь на нем был синий костюм, безупречно сшитый нью-йоркским портным с 456-й авеню. Рубашка манильского хлопка с белоснежными рукавами, галстук в мелких квадратиках, желтые полуботинки с белыми летними гетрами... Жилетка с цепочкой и бамбуковая трость завершили туалет.

Он направился в одно кафе, где собирались самые почтенные и солидные обитатели города. В большинстве своем это были пенсионеры: бывшие чиновники судебного ведомства, городского управления, ведомства земледелия, лесничества и налогового управления. Было среди них и несколько адвокатов.

При появлении капитана воцарилась полная тишина. Десять пар глаз устремились к нему с жадным любопытством, к которому примешивались уважение и растерянность. От этого он еще больше возгордился. Поклонившись и заняв столик у окна, он заказал кофе и в свою очередь стал рассматривать своих сограждан. В памяти его замелькали смутные воспоминания еще детских лет, и он попробовал узнать кое-кого из своих сверстников.

Молчание длилось недолго. Из-за соседнего столика поднялся высокий пенсионер с сухим чахоточным лицом; он подошел к капитану Негро и представился.

— Не вспоминаешь меня? — начал он фамильярно. — Так я тебе напомню. Янаки, Янаки Кало... Мы с тобой сидели в классе на одной парте, и учитель Георгий таскал нас за уши... Ну, добро пожаловать, Тошо!

— Yes², — ответил капитан. — Как будто что-то припоминаю. Много воды утекло с тех пор, как мы виделись. Я четверть века бродил по всему свету, и память моя забита всякой всячиной...

¹ Ладно (англ.).

² Да (англ.).

Примеру Янаки последовали почти все присутствующие, и вскоре капитан Негро был окружен целой компанией. Каждый старался сесть ближе к "американцу" и не пропустить ни одного его слова. Необычайного гостя засыпали вопросами.

Между тем кафе наполнилось новыми посетителями, среди которых выделялись крупная плотная фигура городского головы и толстое брюхо аптекаря.

Сначала капитан Негро ограничивался короткими и небрежными ответами. Вопросы были крайне простодушные и нелепые. Но, заметив, что все слушают с великим вниманием, он стал давать более пространные и подробные объяснения, даже и вовсе отклоняясь от темы.

— Среди вас, я вижу, есть люди, не выезжавшие из Болгарии, — начал он. — А я изездил весь мир — от Аляски до Огненной Земли, все побережье Африки, Мадагаскар, южные моря, Новую Гвинею, Гали-Банг, Меланезию, Таити, Филиппины, Австралию, Японию, Китай, Корею, Камчатку, Сиам...

Понятия, забытые еще на школьной скамье, неслыханные названия городов и стран, морей, племен и народов так и сыпались скороговоркой из уст Черного капитана. Большая часть этих чуждых для слушателей слов была произнесена по-английски и вследствие этого так переиначена, что все раскрыли рты от изумления. В кафе наступила полная тишина. Некоторые придвинули свои стулья поближе к капитану, другие складывали ладони воронкой и прикладывали их к ушам.

— О, — воскликнул капитан Негро, — я вижу, вы не особенно сильны по части географии!.. Перед тем как приехать сюда, я плывал в Тихом океане. В Индии, близ Калькутты, в полумиле от берега, мы подверглись нападению громадного боа. Приплыв с суши, он пробрался в камбуз. Это было после обеда. Я отдыхал в капитанской каюте и беседовал с боцманом. Вдруг мы слышим — кок кричит. Бегу туда — и что же вижу? Змея собирается его проглотить. Вынимаю револьвер и — бах! бах! бах! — укладываю на месте. Оказалось — девяносто пять стоп в длину.

— Сколько же это будет на метры? — послышался вопрос.

— Тридцать один метр четыре сантиметра! — невозмутимо ответил капитан.

— Разве есть такие огромные боа? — недоверчиво спросил аптекарь.

— Yes, бывают и больше. Но это было просто чудовище. Из кожи его один калькуттский башмачник изготовил тысячу пятьсот пар дамских туфель...

Тут, увлеченный собственным красноречием, Черный капитан поднялся. Он стал рассказывать ошеломленным слушателям такие истории, что на их лицах изобразилось сильное смущение. Описал нравы и быт австралийских дикарей племени тобая, рассказал о бедных сиамцах, продающих дочерей своих белым морякам — по пять долларов за девицу, о китайских рабочих на плантациях южных островов, о комах, о болезнях — рассказывал допоздна, пока слушатели не стали расходиться. Тут капитан Негро пересел за столик к городскому голове и аптекарю и очень быстро с ними подружился. Расспросив их обоих о

хозяйственном положении околии, он объявил, что намерен вложить часть своих средств в какое-нибудь предприятие, чтобы таким путем помочь бедному родному городу подняться на подобающую высоту.

Аптекарь и городской голова переглянулись. Черный капитан яркими словами описал им, как в душе его горит желание поднять родной город на должную высоту, какое блестящее положение ждет бедную горную околию, до тех пор славившуюся одной только вяленой козлятиной.

— Господа, мне уже хочется есть, — сказал капитан Негро, взглянув на свои золотые часы. — Прошу вас отужинать со мной в ресторане. Там мы продолжим наш разговор.

Все трое вошли в ресторан единственной гостиницы в городе. Гостиница называлась "Центральная". В ней останавливались бродячие торговцы в дни ярмарок и престольных праздников, прасолы, шоферы, искатели заработка, а случалось — и ревизор, приехавший ревизовать государственные учреждения.

В тусклом свете большой керосиновой лампы, висевшей под потолком, в ресторане с трудом можно было различить несколько литографий на стенах. На одной из них был изображен заснувший охотник, возле которого прыгают громадные зайцы с бакенбардами, на другой — Отелло возле спящей Дездемоны, а на третьей — разные возрасты человека, в виде горбатого моста со ступенями. Была там еще одна литография, изображавшая банкротство и крах торговца, продающего в кредит, и благоденствие того, кто продает за наличные.

В ресторане ужинали старый холостяк, учитель математики и два гимназиста из крестьян; они робко ютились в самом тесном углу. На восьми столиках, покрытых черной клеенкой, горели рубиновым светом пузырьки с уксусом, стояли солонки и жестяные пепельницы.

Владелец ресторана, бывший одновременно и хозяином гостиницы, подошел чрезвычайно почтительно к трем посетителям и поспешно назвал четыре блюда, составлявшие неписаное меню. При этом он по привычке сделал такое движение, будто локтем подтягивал брюки.

— Не нужно нам этих соусов да похлебок, — махнул рукой городской голова, — а изжарь ты нам что-нибудь на рашпере. Ну, скажем, вяленого мяса. Но чтоб жирный кусочек был, и нарежь потоньше. И принеси третьегодняшней полынной, которую мы с судьей тогда пили.

В ожидании заказанного все трое с удовлетворением потирали руки и, весело глядя друг другу в глаза, продолжали прерванный разговор, движимые еще большим стремлением поднять экономическое положение слабой околии. Капитан Негро познакомил своих друзей с разнообразными способами делать деньги, рассказал о том, как люди, ничего собой не представляющие, становятся в Америке богачами, объяснил, что знает разные способы находить подземные богатства, и выразил городскому голове желание сделать пожертвование в пользу общины. Но тема эта скоро ему надоела, и он пустился рассказывать о своих приключениях на всех меридианах и параллелях земного шара.

Славная полынная разгорячила его и сделала подвижным, как шимпанзе. Черные глаза его блестели, лицо как бы меняло разные маски,

руки оживленно жестикулировали. Он врал почему зря, сам смеялся над своими неблизкими, порой говорил и чистую правду, но ни городской голова, ни аптекарь не могли отличить, где у него правда, где ложь.

Все развеселились. Городской голова, говоривший внушительным басом, попробовал даже петь, отстукивая доньшком рюмки ритм какой-то песенки.

— О'кей! — воскликнул капитан. — Эта польнная великолепно! Предлагаю выпить еще по литру.

Оба его собутельника, люди порядочные и благоразумные, не согласились, и Черный капитан отменил заказ.

Проводив мореплавателя до дому, они с ним распрощались.

— Жаль, несерьезный человек, — сказал аптекарь городскому голове, когда они остались одни.

— Да, кажется, несерьезный, — подтвердил тот. — Но при деньгах. Кто-то ими поживится?

— Кто-нибудь да найдется, который вытянет, — вздохнул аптекарь. — А может, и врет: нету денег. Кто его знает!.. Но если есть, в чей они карман перейдут? — опять вздохнул он.

Табутамба

Благородные идеи об экономическом подъеме околии и намерение сделать пожертвование общине не остались тайной для горожан. Интимный разговор втроем стал достоянием всего города, особенно после того, как городской голова, сопровождаемый небольшой делегацией, нанес капитану официальный визит, чтобы выразить ему благодарность общины и принять пожертвование. Капитан Негро пожертвовал десять тысяч левов в пользу бедных и пять тысяч клубу-библиотеке. При этом он высказал скромное пожелание, чтобы в клубном зале был повешен его портрет.

— Само собой, — ответил отец города с любезной улыбкой. — Но в нашей общине нет бедных. Каждый добывает себе пропитание по мере возможности. С голоду никто еще не помирал. А вот правление общины не имеет лошадей. Так что, если вы позволите, вместо бедных мы потратим эти деньги на покупку пары хороших лошадей.

— All right, — согласился капитан.

— А что касается библиотеки, — продолжал городской голова, — то она совершенно не нуждается в деньгах. Наоборот, она богаче самой общины, так как имеет кино. Кроме того, там помещается казино, которое приносит ей еще больше дохода. Если к этому прибавить выручку от вечеров, от салона, то можно сказать — она в цветущем состоянии. Так что...

— А книги? — перебил капитан Негро.

— Их давным-давно никто не читает. Горожане — народ трудолюбивый, у них нет времени для таких занятий, — возразил голова. — Так что,

если позволите, мы употребим эти деньги на что-нибудь более полезное. Например... вот на что. Правление общины, так сказать, давно испытывает нужду в транспортных средствах. Не на чем съездить даже вон туда.

И голова показал рукой на совсем близкое местечко, видное из окна.

— Транспортных средств? — удивился капитан.

— Да, в пролетке или хоть скромной бричке, — ответил с поклоном городской голова.

— О'кей, — сказал капитан Негро, поморщившись. — Но в таком случае нельзя будет повесить мой портрет в клубном зале.

— Почему же? — смутился было голова. — Но если там, так сказать, не совсем удобно, повесим его у меня в кабинете. Разве мой кабинет не более официальное место?

— Что ж, я ничего не имею против, — нехотя промолвил капитан.

Он стал знаменит. Простой народ снимал перед ним шапки, женщины строили ему глазки. Гимназическому учителю рисования заказали его портрет.

Но вершины слава его достигла в тот момент, когда он начал изучать почву с помощью некой вилки из орехового дерева, на которую возлагал большие надежды. Вилка эта обладала чудесной способностью наклоняться в руках Черного капитана, если поблизости находились какие-нибудь руды или воды.

Самый неисправимый и страстный кладоискатель в городе, Петко Сокровище, растревоженный и заинтересованный чудотворной вилкой, предался капитану телом и душой. Он ходил за ним по всем пыльным дорогам, поверял ему тайны закопанных кладов, зарытой "турецкой казны", местонахождение "сокровища царя Шишмана" и так далее.

Горожане видели, как они шагают вдвоем по голым холмам среди оползней. Капитан держал обеими руками вилку в ожидании, что она вот-вот наклонится к земле. Но вилка вела себя спокойно. Только два раза проявила она свои магические свойства. Но когда Сокровище разрыл землю под ней, оказалось, что там — лошадиная подкова. Во второй раз вилка указала на присутствие воды в колоде — обстоятельство, которое можно было заметить и невооруженным глазом.

Немало петушков и курочек было съедено двумя исследователями по окрестным местечкам и садам. Немало сливовицы, полынной и вина было выпито за успех поисков. Но в почве на нашлось ни металлов, ни минералов, ни кладов, и капитан Негро подарил вилку своему неугоминому и верному другу.

— Бедная околия! — сокрушенно воскликнул он. — Ничего нет, кроме глины. Здесь может получить развитие одно только кирпичное производство. Но как вывозить кирпич, если нет транспорта? К тому же у каждого цыгана свое кирпичное производство.

Великое разочарование овладело населением города. Слава Черного капитана стала быстро клониться к закату. Все поняли, что у него нет никаких миллионов и что он — великий хвостун.

Потратив целый год на размышления о том, что предпринять, капи-

тан Негро решил заняться торговлей скотом. Он вспомнил, какие громадные стада видел в пампасах Мексики, представил себе, каким живописным торговцем будет он в своем ковбойском костюме, и загорелся желанием внести нечто новое и благородное в эту грубую профессию, которую в городке называли прасольством. Не имея опыта, он взял себе в компаньоны некоего Каракоча. У этого Каракоча были усы в две пяди длиной и лукавые желтые глаза.

Он посоветовал капитану купить лошадь. Капитан послушался, купил себе кобылу и назвал ее Табутамба — в честь одной своей индийской приятельницы.

Табутамба была очень интеллигентная кобыла, может быть, самая интеллигентная на свете. Она любила смотреться в зеркало, могла считать до ста, читать газету, подмаргивать одним глазом и брыкать сразу четырьмя копытами.

И вот в один прекрасный день горожане увидели, как их герой, восседающий на умной Табутамбе, скачет рядом со страшным Каракочем и с молодецкими выкриками гонит перед собой целое стадо тощих буйволиц и коров. Капитан обращался к стаду по-испански. Он владел тремя языками, но внутреннее чувство стили заставило его для скота выбрать тот, на котором говорят в Мексике.

— Аделанте, батальон! Мас пронто, мас аллегре!¹ — кричал он, размахивая длинным бичом из воловьей жилы. Кричал что есть мочи, с воодушевлением, страшно довольный своей новой профессией.

С этого дня солидные граждане начали его избегать. Черный капитан оказался среди простых и грубых душ, среди мясников, шоферов, прасолов, кладоискателей и т. п. Он разъезжал верхом на Табутамбе по всей околии и за ее пределами, скитался по ярмаркам, торгам, танцевал с продавщицами трикотажа, содержательницами тиров, пьянствовал с бродячими торговцами и рассказывал в корчмах бесконечные истории о своих приключениях под дружный хохот пестрой ярмарочной толпы.

Он уже не произносил английских слов, не говорил ни "о'кей", ни "ноу", ни "йес-йес". Этот язык казался ему теперь неподходящим. Болгарский словарь его обогатился множеством турецких, цыганских, блатных и других слов.

Содружество с Каракочем продолжалось два года. Наступил день сведения счетов. Каракоч надел свои старушечьи очки, вынул их из жестяного футляра, открыл измятую, засаленную тетрадь и, произведя сложение и вычитание каких-то непонятных для Черного капитана цифр, с тяжким вздохом вывел внизу "итогу".

— Мы потерпели убыток! — совершенно спокойно сказал он. — И большой убыток! Капитала больше нет. Банкроты!

— Ка-а-ак? — сверкнул глазами капитан. — Как убыток? Ведь мы за каждую голову выручали!

— Выручали-то выручали, да так, одну видимость. Ты погляди, что документы говорят, — возразил Каракоч и сунул засаленную тетрадь

¹ Батальон, вперед! Скорей, живей! (исп.)

под нос капитану.

Капитан Негро стал просматривать счета, спрашивал о том, о другом, но в конце концов, не в силах ничего понять, хлопнул Каракоча тетрадь по голове и пошел искать управы у адвокатов.

Процесс тянулся три года пять месяцев и кончился ничем. Оба оказались правы. Каракоч представил в суд длинный список сумм, взятых у него капитаном взаймы, рассказал, как его компаньон ел и пил на ярмарках, как сорил деньгами и гулял на торгах, и потребовал, чтобы Черный капитан присягнул, что этого не было. А капитан Негро потребовал, чтобы Каракоч присягнул, что не получил от него весьма внушительной суммы, вложенной как основной капитал в их предприятие. И так как оба присягнули, то каждый со своей стороны доказал, что прав, но ни один не доказал того, что другой в чем-либо виновен.

— Большие негодяи в этом городе! — сказал Черный капитан и перестал ходить на процесс, как его ни уговаривал адвокат, похожий на поседавшую от старости гориллу в очках.

После злополучной торговли скотом "американец" занялся огородничеством. Он узнал, что к западу от города очень много необработанной земли, и решил устроить "овощную ферму".

До осени он не появлялся в городе. Интересовавшиеся его новым начинанием долго ничего не знали о нем. Капитан Негро развел большой огород возле речки. Нанял множество работников, купил лошадей, построил из самана жилые помещения, и дела пошли отлично. Но в конце лета, как раз когда овощи были в превосходном состоянии, глупая речонка, которую петух мог вброд перейти, вздулась от дождей и за какие-нибудь два часа затопила и огород, и сараи, и саманный дом капитана. Лошади утонули в неистово бурных волнах, нахлынувших на "ферму" с ужасным ревом и сметавших все на своем пути.

Капитан Негро со своими работниками еле спасся. Испуганная разывшейся стихией Табутамба убежала куда глаза глядят и больше не вернулась, так как ее украли цыгане...

Черный капитан страшно сердился на речушку, так жестоко насмеявшуюся над ним, мореплавателем, исходившим все моря и океаны.

— До сих пор взять в толк не могу, откуда вдруг столько воды, — говорил он потом. — Как может какой-то дождь нагнать таких бед?!

Через несколько дней после этого события капитан поселился в шалаше, устроенном наскоро возле разоренной "фермы". Он ходил по вязкому илу, печально глядел на принесенные потоком камни и черные коряги, на исковерканные вербы, на остатки колеса для поливки, на развалины построек и почесывал затылок. Ему все казалось, будто речушка нарочно подшутила над ним, чтоб доказать, что не следует относиться с презрением к внутренним водам.

Он оставался в шалаше до осени, пока не продал "ферму" за бесценок.

По возвращении в город он стал носить баранью шапку и деревенский полушубок, так что выглядел теперь совсем как обыкновенный ремесленник.

В кафе его встретили с воодушевлением. Там по нем соскучились: некому было развлекать посетителей в перерывах между картами.

Капитан ничем не обнаружил своего огорчения. Наоборот, несчастье словно обогатило его новыми переживаниями и дало ему повод вспомнить кое-какие забытые истории...

В последние годы он уже не затевал никаких ферм и торговых предприятий. Сбережения подходили к концу, и капитан Негро так изменился и стал до того похож на своих сограждан, что никто на свете не мог бы догадаться, что этот маленький человечек был когда-то славным, знаменитым мореходом. Только когда в кафе заходила речь о далеких странах, о мореплавании или о политике, Черный капитан брал слово и разъяснял своим согражданам суть дела. Но теперь они относились с недоверием даже к его географическим познаниям.

— Врешь! — кричали бывшие его почитатели. — Такого города в Америке нету! Ты там не плавал и не был никаким капитаном.

"Американец" сокрушенно умолкал. Завистливые и злобные души открыто над ним смеялись. Наглость их была безгранична. Один стибрил у него часы, другой при помощи игры в кости выманил у него кольца, третий украл цепочку и т.д. Моряцкая щедрость капитана и без того ярко проявлялась в угощениях приятелей, так что в какие-нибудь пять-шесть лет он совсем разорился.

Общипав на нем все экзотическое оперение и совершив над ним, так сказать, "бытовую уравниловку", мещане оставили его в покое. Капитан брался за самые различные профессии: то опрыскивал фруктовые деревья против ржавчины и плодовой гнили, то собирал шкуры, яйца и сало диких животных для какой-то фирмы, то шатался без всякой цели по городу.

Тетка, разочарованная в своем знаменитом племяннике, вскоре умерла, и капитан оказался единственным наследником маленького домика.

Тем не менее характер его мало изменился. Капитан остался таким же веселым, компанейским, но гордым человеком. Выпивал умеренно, с аппетитом ел бобовую чорбу, когда не было денег на другое, ходил по городу, накинув пиджак на плечи и беспечно сдвинув шапку набекрень. Парадная одежда его была давно продана, манильские рубашки — безнадежно заношены. Гетры он сам кому-то подарил, а сомбреро изрешетил дробью, когда недолгое время был охотником. От прежнего богатства остался только один чемодан, облупленный и почернелый, полный всякой ерунды, да еще несколько долгов.

Вот что примерно рассказал мне тогда адвокат. Он уехал, очень довольный тем, что сумел показать мне моего товарища с дурной стороны.

Прощаясь, я спросил его:

— Вы, может быть, представитель господина Каракоча и прибыли от его лица?

— Да, да, от господина Каракоча.

— Тогда передайте ему привет и от меня. Капитан Негро, насколько мне известно, вернет деньги вашему доверителю, когда тот вернет те, что

принадлежат ему.

— О, капитан рассказал вам о процессе? — спросил адвокат. — К сожалению, он ввел вас в заблуждение. Но процесс еще не кончен.

— Собака очень злая, — сказал я и поглядел на Гектора, который мерил гостя взглядом. — Кусает молча, черт бы ее побрал, а зубы острые.

Мексиканские приключения капитана Негро

Целых три дня капитан молчал. Я не сказал ему ни слова об уполномоченном господина Каракоча, как будто и ноги его тут не было. К тому же товарищ мой был до того мрачен, что не имело смысла растревлять его еще больше. Он прикидывался больным. У него пропала всякая надежда найти знаменитую блузу, которую олень унес на рогах своих неизвестно куда. У капитана болела спина, черные глаза его были печальны. Он не хотел рассказывать о том, как слез с оленя и где ударился. Кровавый шрам на щеке придавал ему страдальческое выражение, которое он нарочно усиливал.

Наконец мы помирились. Я "признал свою вину", которая состояла в том, что я не послушался его требования связать оленя.

— Понимаешь, — сказал он, когда мир между нами установился окончательно, — если б не рога, я ездил бы на этом дьяволе, пока он не устал бы. Тогда я привел бы его, как лошадь, сюда, к сторожке!

— А чем тебе помешали рога?

— Неужели не ясно? — ответил капитан, вскидывая голову. — Ведь рога тыкались мне прямо в лицо. Он их запрокинул, а я держался за шею.

— Да, я видел. И ты, кажется, звал меня.

Капитан поморщился и прибавил с раздражением:

— Я звал тебя только затем, чтоб ты видел, как я помчался. А не то что от страха.

— Ты бы мог ухватить его за рога и править, как уздой, — заметил я.

Он засмеялся. Эта идея воодушевила его. На лице его тотчас появилось хитрое и насмешливое выражение, как всякий раз, когда он собирался соврать. Трехдневное молчание истомило его, и он решил теперь наверстать упущенное.

— А ты знаешь, как бежит олень? Кто может похвалиться, что скакал на олене? — гордо промолвил он и поглядел в зеркало на свой шрам. — Интересно, останется ли отметина?

— Если останется, так будет служить тебе наглядным доказательством, когда ты будешь рассказывать об этом случае, — сказал я.

— Ха-ха-ха, — засмеялся капитан каким-то колыхающимся раскатистым смехом, оторвался от зеркала и сел на стул. Это было признаком хорошего настроения и означало, что он собирается рассказывать историю. — Ты не слыхал о Панчо Вилье?

— Да, слышал кое-что об этом человеке.

— Во время его революции меня чуть не убили. Один мексиканец вы-

стрелил в меня. Пуля пролетела около самой щеки... Я прибыл на корабле для того, чтобы вывезти американских подданных. В Санта-Круссе был аптекарь-американец и целая дюжина торговцев. Корабль стал в гавани на якорь, взял американцев на борт, и дело было сделано, но мне захотелось сойти на берег, посмотреть, что представляют собой эти революции. В то время мексиканцы чуть не каждый год устраивали по маленькой революции, вместо того чтоб устроить сразу одну настоящую.

Я оделся по-мексикански, нахлобучил сомбреро и сошел на берег. По набережной расхаживал сам Панчо Вилья.

— Буэнос диас¹, сеньор, — поклонился я ему и объяснил, чего хочу.

— Я готов сделать для вас все, — ответил он и сообщил мне пароль, который давал возможность ходить где угодно.

На всех улицах меня встречали патрули. Они наводили на меня ружья, но как только я произносил пароль, тотчас отдавали мне честь. Так прошел я насквозь весь город и очутился за ним, в большом деревянном здании, где при иезуитах находился монастырь, а теперь был постоялый двор. В нижнем этаже были корчма и зал для танцев.

Я пил херес, танцевал, погулял на славу, а потом, уже довольно поздно, занял комнату и лег спать.

Вскоре после полуночи послышался стук в дверь.

— Кто там? — спросил я.

Сильный пьяный голос заревел:

— Выходи, американский пес!

— Сеньор, — ответил я, — вы, видимо, пьяны, прошу не беспокоить меня. Я пожалуюсь самому Панчо Вилье.

— Карамба! — вскричал мексиканец. — Как ты смеешь упоминать это имя? Панчо Вилья, мой лучший друг, борется против американских псов, таких, как ты! Сейчас же выходи, а не то я сам войду и сверну тебе шею.

— Убирайся, — ответил я. — Завтра я скажу, чтоб тебя повесили!

Ударом ноги мексиканец вышиб дверь. Не успел я вскочить с постели, как револьвер его озарил комнату красным светом. Бах! Бах! Бах! Пули, пролетев над моей головой, попали в дощатую перегородку. За нею подняли крики какие-то женщины...

Я спокойно встал, взял тяжелую керосиновую лампу и хватил ею мексиканца по башке. Он повалился замертво, а я оделся и убежал на корабль...

Ранним утром, когда я еще спал в капитанской каюте, от берега отошла лодка. В ней сидел сам владелец постоялого двора — дон Педро — с пятью дочерьми. Девушки гребли и пели. Одна из них играла на гитаре. В лодке была корзина с закусками, с бутылками хереса и других вин.

Матросы, обрадованные, помогли гостям подняться на корабль. Мы устроили настоящее пиршество. Дон Педро сказал мне:

— Капитан Негро, я сожалею о случившемся. Забудьте об этом, и милости просим опять ко мне в корчму, в виде ответа на наш визит.

На другой день я взял с собой двух своих помощников и отправился

¹ Добрый день (исп.).

на постоянный двор. Входим в корчму. Помощники мои, молодые парни, пошли танцевать с девушками, а я остался в корчме — выпить чего-нибудь у стойки. Возле меня облокотился на прилавок громадный мексиканец с забинтованной головой, черный, как цыган, удалой на вид, с бакенбардами и с двумя револьверами у пояса. Грудь его была перетянута патронташем. Он держался очень гордо. Я учтиво спросил его:

— Вы, по-видимому, с фронта, сеньор?

Он поглядел на меня сверху вниз.

— Да, сеньор. Я только что оттуда.

— Наверно, были в очень опасном месте? — продолжал я.

— Да, в самом опасном секторе. Там, где падало больше всего гранат.

— И вас ранило?

— Да-а, снарядом прямо в голову. Ужасный снаряд! — сказал он и с гордым видом направился в зал для танцев.

Тогда одна из дочерей корчмаря — донна Мария — шепнула мне на ухо:

— Не говорите с ним. Он может узнать вас по голосу. Его зовут Мигуэль Хуан Альфонсо. Он — тот самый, кого вы ночью ударили лампой.

Черный капитан засмеялся своим веселым, колышущимся смехом. Он уже вскочил со стула и, рассказывая мне эту историю, жестикулировал и руками и ногами.

— Вообще мексиканцы эти — страшные чудачки, — уверенно заявил он и тотчас приступил к другой истории — о каком-то полицейском сержанте, помешавшем славному празднеству на одном ранчо. Празднество это было устроено в честь капитана владелицей ранчо донной Жуаной дель Томас. Она была самая красивая женщина в Мексике и влюбилась в Черного капитана, а сержант ревновал и нарушил празднество. Но случилось так, что у него заболел зуб. Тогда капитан Негро предложил вырвать ему этот зуб. Сержант согласился.

— Откройте рот и закройте глаза, — скомандовал капитан.

Полицейский открыл рот и зажмурился. Капитан вынул револьвер, прицелился в больный зуб и спустил курок. Зуб выскочил изо рта, и сержант избавился от боли.

После этого капитан рассказал еще более невероятную историю об одной корове в штате Канзас, которая наелась абрикосов и разорвалась, как бомба. От сотрясения разбились все стекла в соседних фермах на две мили кругом...

Капитан был в прекрасном расположении духа. В такие минуты он сам смеялся над своими выдумками.

— Довольно! — воскликнул я, видя, что он собирается сочинить какую-то новую историю, и вышел во двор.

Капитан остался в комнате один.

— Ха-а-ха-а-ха-ха! — доносился оттуда его веселый смех.

Рогачи давно перестали реветь. Наступил октябрь, и буковые леса запламенели. От пурпурно-красного моря не оторвешь взгляда: посреди него желтели березы с поредевшими листьями, вершины елей и сосен приобрели восковой оттенок, а между ними огненными ножами торчали осины. Зеленое постепенно исчезало. Оно желтело, сгорало, пряталось глубоко в лесные недра и умирало, словно с ним бежало прочь и умирало само лето. На горном хребте осень была быстрой и короткой. Бук сгорел за несколько дней. После первых заморозков земля покрылась облетевшими листьями — толстый шумный ковер, выдававший каждый наш шаг. Лес обнажился, и свет нахлынул в него со всех сторон, сделав стволы буков еще белей, а мхи под ними — темно-синими.

Дождей еще не было. Солнце всходило и заходило на бледно-голубом, мягком, усталом небе. Сладкая тишина наполняла тенистые места, словно леса были допьяна напоены безумными красками осени.

Сторожка как будто стала просторней. Стены ее ярко белели. Длинное низкое строение словно замерло.

По шоссе, проходившему восточней сторожки, каждое утро и вечер скрипели запряженные волами и буйволами телеги горных жителей. Туда везли тяжелые кадки, грубо, но прочно сколоченные шкафы из свежеструганных буковых досок, веялки, окрашенные желтой краской или расписанные синими цветочками. А обратно везли мешки с зерном или большие бочки с молодым, сладким, еще не перебродившим вином. Эта меновая торговля шла в тех местах по обе стороны горного хребта регулярно каждую осень.

Мы дожидались первых дождей, чтобы начать приманивание дичи к кормушкам. А пока готовились к встрече зимы. Капитан часто ездил в город или на шахты за провизией, усевшись заправским возчиком на нашей тележке. Обрато он почти всегда запаздывал, особенно подолгу задерживался в городе и возвращался частенько выпивши, с целым коробом новостей.

— Никто не верит, что мы приручили двух серн, — говорил он, распрягая Алчо. — Городской народ — чистые мещане, ничему не верят! А я им нарочно: приручили, мол, не двух серн, а целое стадо, да еще в придачу пять старых оленей, и те подходят, лизут у нас в руках соль... Меня страшно злит, когда кто-нибудь не хочет верить. Я тогда прямо раззадоюсь, брешу, что только в голову взбредет. Хочешь верь, хочешь не верь! Да, забыл: все шлют тебе приветы, в город зовут. Но я не советую...

Однажды, придравшись к его наставлениям и озабоченному виду, я решил рассказать ему о посещении адвоката.

— Этот мерзавец возобновил процесс, хотя Каракоч не собирался возобновлять. Но он уговорил его, а может, и Каракоч пообещал, что коли тот выиграет дело, так пускай возьмет деньги себе... Разбойник!

— Вот как? — сказал я.

— Завтра поеду в город и встречу с адвокатом. Может, он отступится. А может, и суд не примет иск к рассмотрению.

— Не езд. Носа там не показывай, незачем тебе связываться с такими людьми. Вытянули у тебя деньги и теперь смеются над тобой, — сказал я.

— Да, пока я был при деньгах, все увивались вокруг меня.

— Дело известное.

Он глубоко вздохнул, хотел еще что-то сказать, но с презрением махнул рукой и отказался от своего намерения. В памяти его всплыло какое-то мрачное воспоминание. Я оставил капитана и вышел из комнаты: мне показалось, что у него вздрагивают плечи. У этого легкомысленного, ветреного человека, беспечного, как ребенок, была своя трагедия.

Наконец пошли дожди. Горы подернулись туманом, и близ старой забытой лесной дороги мы вспугнули стадо оленей. Их было шесть — три самки, два теленка и огромный рогач. Животные, подымая сильный шум, кинулись вверх по крутому склону холма, из-под ног их сыпались камни.

— Это был наш приятель, — сказал капитан, когда треск сучьев затих.

— Какой приятель?

— Который унес мою блузу.

— Как же ты его узнал?

— По рогам. Уж очень велики. Кроме того, левая задняя нога у него короче, — уверенно заявил капитан Негро, поглядев на меня совершенно серьезно, словно удивляясь, как я сам не заметил у оленя этот недостаток.

— Ладно, короче так короче, — сказал я, чтоб избежать нелепого спора. — А ты не думаешь, что пора пригнать наших серн?

У Мая были уже настоящие рога — два острых шипа. Он посерел, полностью сменив свою летнюю шерсть. Весил он двенадцать килограммов и уже не был похож на детеныша. Молоко его не интересовало, зато он испытывал особое пристрастие к буковым желудям. От них и он и мать его толстели. На задних ногах его, возле колен, появились два бугорка вроде громадных бородавок — второй после рогов характерный признак возмужалости.

Серна в шапке

Среди дичи, посещавшей кормушки, были теперь и олени. Первым осмелился один чесоточный рогач, за ним прошло стадо, любившее лежать возле заброшенной лесной дороги.

Каждое утро мы закладывали в ясли и корытца корм и уходили, так как сидеть в сарае теперь не имело смысла. Май уже не позволял нам трогать его. Свободная жизнь понравилась ему гораздо больше, чем мы могли предполагать, и в один прекрасный день он и Мирка, ходившие теперь свободно, не вернулись в сторожку.

Капитан Негро считал, что они совсем одичают и мы никогда их больше не увидим.

— Весной других приручим, — утешал я его. — Ведь мы для того их

поймали, чтоб они приводили к яслям своих диких сородичей.

Но капитан не хотел так легко примириться с этим фактом. Он стал делать длинные обходы — авось встретит Мая. А с другой стороны, он все еще надеялся найти свою красную блузу.

Как-то раз, вернувшись, он вынул эту знаменитую блузу из сумки. Вся в грязи и сильно пострадавшая от дождей, она была в общем целехонька. Капитан Негро выстирал ее, остался страшно доволен. Красный цвет блузы был все так же ярок, и это его обрадовало.

— Я нашел ее в одной ложбине: висит на держидереве, — сказал он.

Потом он рассказал мне, что видел на самом гребне горы серну, у которой на голове вместо рогов шапка.

— Как так — шапка? — спросил я.

— Вот так: шапка! — сердито ответил он.

— Может быть, на ней был и костюм?

— Говорю, шапка была. Вроде меховой. Ты никогда мне не веришь!

Он был готов рассердиться не на шутку. Я поглядел на него недоверчиво и сказал:

— Завтра отведешь меня на то место, где ты ее видел. Найдешь его?

— Само собой, — ответил он.

— Если у этой серны на самом деле шапка, надо будет ее убить.

— На самом деле. Я прекрасно видел.

Ночью был слабый дождь. Утро было мглистое, но теплое. Над горами чувствовалось дыхание южного ветра. Мы закусили и двинулись в путь.

Я давно не ходил на охоту, и Гектор поднял радостный лай, увидев, что я иду отвязывать его и у меня за плечом ружье. Он взвизгнул, гавкнул и уперся лапами в мою грудь.

”Ах, как я тебя люблю, — хотел он сказать. — Значит, ты меня не забыл?”

Капитан Негро взял свое короткое ружье. Мы вошли в мокрый лес, двинулись вдоль по гребню и через час были на том месте, где товарищ мой видел серну в шапке.

— Вот тут я ее встретил, — сказал он, когда мы подошли к красивой седловине с озерком, обросшим высокой травой.

Я спустил Гектора, нетерпеливо рвавшегося с цепочки.

Капитан остался сторожить на гребне, а я спустился ниже, нашел тропинку, петлявшую по крутому склону, и вскоре очутился на другой седловине. Она была покрыта молодым буковым лесом. Деревья стояли прямые и белые, словно громадные свечи белого воска. Если долго на них глядеть, начинало казаться, что от них исходит сияние. Желтовато-коричневая листва, блестящая после дождя, составляла прекрасный фон, на котором стволы выступали еще белей и чище.

Я сел на пень, но так, чтоб были видны обе стороны седловины и можно было стрелять в любом направлении.

Напротив темнели могучие недра гигантской долины, над которой вздымалась самая высокая из вершин, покрытая снегом. Скопившийся внизу, у северной подошвы горы, туман пытался подползти туда. Гоня-

мый южным ветром, он вился большими пушистыми клубами, словно тихое, беззвучное море, заливая все на своем пути.

Подстергать дичь в засаде — особенное удовольствие. Сидишь в вековом лесу, и тебе кажется, будто слышишь, как в тишине разносится непрерывный протяжный звук, отмеряющий бег времени. Этот звук наполняет сознание и слегка кружит голову. Ты что-то думаешь, но думаешь вяло, скорей созерцаешь обнаженные леса, умолкшие низины, пустынные и голые горные пики. Невыразимое чувство наполняет душу, словно ты прикоснулся к какой-то тайне, к давно минувшим векам, когда на земле не было людей. Станные, новые мысли приходят тебе в голову, и ты забываешь, что ты на охоте. Но как раз тут-то лай собаки заставляет тебя вздрогнуть.

Так было и на этот раз. Гектор поднял дичь подо мной, и горы огласились болезненным визгом, словно кто-то бил собаку палкой. Но вдруг визг превратился в басовый лай, который, прокатившись по долине, разбудил заснувшее эхо.

“Ах-ах-ах-ах!” — Лай нарастал подобно боевой трубе.

Меня охватил восторг, что Гектор гонит так широко, так отважно, таким густым уверенным голосом, с таким размахом. Бас его, заглухнув на миг, потом вдруг усилился и стал приближаться ко мне. В долине напротив, где блестела серебряная нитка водопада, откликнулось звонкое эхо.

Я мысленно следил за путем серны, а что собака гонит серну, в этом не могло быть сомнений. Вот она проходит близ соседней вершины. Потом она помчится по долине, но по которому из двух склонов? Если по тому, что напротив, я ее не увижу, а если выберет тот, на котором я стою, тогда обязательно пересечет седловину. У диких животных свои соображения, но опыт научил меня правильно их отгадывать.

Лай Гектора становился все глуше, потом неожиданно донесся из долины. А долина раскрылась прямо подо мной, как неприступная пропасть, покрытая вздыбленными, онемелыми лесами. Они казались безучастными, словно были придавлены могучей, властной силой, их сковавшей. Туда и устремилась серна.

Я сел на пень. Лай собаки, еще отчетливый, но уже далекий, стал замирать. Через несколько минут он заглох в необъятных недрах горы. Вернулась тишина, и я опять услышал тот звук, отмеряющий время. Туман успел дойти сюда. Он залил подошву горы и медленно полз все выше и выше. Пора было возвращаться к капитану и нам обоим идти домой, но я не встал с пня.

Так прошел час, а может, и больше. Ниже меня по склону что-то зашуршало. Гектор оставил серну, поняв, что бежать за ней нет смысла. Но вот он тявкнул, как на свежий след. У него был такой обычай — предупреждать меня, прежде чем поднимать дичь.

“Гав! Гав! Приготовиться!” — говорил он, и я взводил курки, щелкавшие два раза — один вслед за другим.

Однако на этот раз собака медлила. Туман подступил уже к самой седловине, и мимо меня пролетали косматые облачка его. Все сильнее

слышался шепот моросящего дождя.

Я поднялся с пня и посмотрел назад: мне показалось, будто мокрые листья зашумели.

В двадцати шагах от меня стояло серое животное с поднятой головой. Торчали два настороженных уха. Голова под ними казалась курчавой и как-то странно приподнятой...

Черная мушка впилась, как клещ, под лопатку животного. Я дернул спусковой крючок. Животное упало, брыкнув несколько раз своими длинными ногами... Передо мной лежала серна в шапке. Крупные дробинки пронзили ее тело, и мокрые листья обгарились кровью. Она была мертва. На голове у нее была шапка — безобразная, ужасающая шапка. Роговое вещество, вместо того чтоб вырасти вверх красивыми ветвистыми рогами, разлилось в виде прыщеватого гриба у нее на лбу. Оно образовало там неправильной формы шар и протекло застывшей лавой к морде, так что закрывало правый глаз.

Пока я рассматривал это уродство, Гектор прибежал по следам и стал лизать бегущую из раны серны кровь.

— Ого-го! — крикнул я, но капитан не отозвался.

Тогда я взвалил убитое животное себе на спину и пошел домой.

Туман перелился за гребень и затопил все. Деревья казались призраками. С веток капали холодные капли. По всей горе слышался шепот.

Гости

Наступило бабье лето. Небо посветлело, обнажилось, так же как обнажилась сама гора. Свет стал мягким и нежным, кроткая тишина легла на умолкшие розово-коричневые леса. По утрам на ближней вершине, сухой и блестящей, как серебро, белел иней.

Поляна перед сторожкой как будто уменьшилась — расстояния стали казаться короче, особенно в полуденные часы, когда в тишине было слышно жужжание мух. В неподвижном воздухе поблескивали нитки паутины. Остро пахли опавшие листья чем-то сладким, умирающим. Грустно было смотреть на обнаженные листопадом леса, озаренные слабым ноябрьским солнцем. Каждый уголок напоминал об ушедшем лете, о весне, и ты невольно начинал мурлыкать про себя какую-нибудь элегическую мелодию.

Порой вдалеке слышался заливистый гон охотничьих собак, и лай их доходил сюда печальной песней — то усиливающейся, как плач, то затихающей, как вздох. Над нами висело прекрасное голубое небо, громко, пронзительно кричал черный дятел, и в тишине слышалось трепетание его крыльев, пчела билась в окно сторожки, а вокруг, куда ни кинешь взгляд, всюду медная листва и там-сям среди нее зеленеют кусты ежевики. Под толстым ковром листьев еле слышится журчание какой-нибудь ручейка, чьи воды просачиваются темно-красной полосой, то исчезающей, то вновь появляющейся. Далеко к северу, на равнине,

серееют сжатые поля, повитые тонкой молочной пеленой.

Зайдет в сторожку какой-нибудь углекоп, идущий неприметными тропами из своего шалаша, с вьевшимися черными пятнами угольной пыли вокруг глаз, в грубой одежде домотканого сукна. У него большая сумка, палка и резиновые постолы, купленные в лавочке на шахтах. Попросят напиток и с жадностью схватит наш глиняный кувшин. Потом утрет рот ладонью, скинет кепку и сядет отдохнуть у большого круглого стола перед домом, посеревшего от солнца и дождя. Говорит он мало и как-то рассеянно и все озирается по сторонам, словно замороженный усталостью и тишиной горы.

В другой раз придет дровосек со страшным, тяжелым топором, с рваной сумкой через плечо, в которой у него ржаной черный хлеб, твердый как камень, да кусок соленого сала. Или лесник в оборванной выцветшей форме и потемневшей от пота фуражке. И у каждого свой запах — поля и леса, дегтя, угля. Мы оживлялись, начинали жадно спрашивать о том о сем, потчевали гостя ракией и смотрели ему вслед, пока он не исчезал в вековом лесу.

В один из таких тихих и теплых предобеденных часов капитан Негро, поглядев в окно, воскликнул:

— Вот так штука! К нам гости.

По дороге, отходившей от шоссе в нашу сторону, медленно двигалась пролетка, полная седоков. Издали, среди леса, она казалась ползущим жуком. Кучер понукал лошадей, и голос его гулко разносился по лесу.

Мы пошли встречать гостей.

Пролетка остановилась возле поляны: выше подняться она не могла. Из нее с усилием вылез околийский врач; оглянулся по сторонам, набрал воздуха в легкие и хрипло гикнул, так что усталые лошади вздрогнули и наострили уши. За ним вылез смугловатый полный брюнет с низким лбом и сильно развитыми, угловато выступающими челюстями. Третий гость был высокий, светловолосый, с красным лицом, говорившим о любви к выпивке и бражничеству.

— Как дела, капитан? — воскликнул доктор, хлопнув моего друга по плечу.

— Здравствуй, доктор! — с воодушевлением ответил капитан Негро.

Из коляски вынули две большие оплетенные бутылки, в которых звонко плескалось вино, успевшее уже окрасить пробки из кукурузных початков, потом корзину с провизией, несколько бутылок ракии, кусок вяленого мяса и сырое мясо, завернутое в платок.

Гости попросили расстелить им на поляне одеяло. Господин с мощными челюстями растянулся на нем животом вверх, надвинул на глаза шапку — от солнца — и блаженно зачмокал. Светловолосый спутник последовал его примеру, а околийский врач сел возле них по-турецки, снова гикнул, выразив этим свой восторг, и вдохновенно воскликнул:

— Красота! Вот это называется пейзаж!

Капитан Негро тотчас распорядился напитками и провизией. Он ве-

лел извозчику отнести бутылки к источнику, чтоб они там охладились, и развести на опушке костер. Извозчик, человек пожилой, седоватый и молчаливый, занялся этим делом с мрачной покорностью.

Не прошло двадцати минут с тех пор как наши гости устроились на одеяле, и на дороге показался еще один человек. Он шел не спеша, но споро, сдвинув круглую шляпу на затылок. В одной руке он вертел трость, через другую перекинул пальто. Издали было видно, что у него очень большая голова и широкое, крупное лицо.

— Ишь ты, Тинтер! Но где же его спутник? — удивился капитан.

— Кто это? — спросил я.

— Кассир земельного банка, — сказал извозчик, протирая покрасневшие от дыма глаза.

Выйдя из лесу, кассир оглянулся назад и промолвил умоляюще, тоном уже намучившегося человека:

— Ну иди-и же!

В пятидесяти шагах позади него медленно передвигал ноги его товарищ, человек в длинном черном одеянии. Он нес небольшую бутылку.

— Иду, иду! — ответил он сердито. — Чего ты несешься? Дай дух перевести.

— Ни тпру ни ну! Экий ты, право, — в отчаянии махнул рукой кассир.

Господин Тинтеров был очень странно одет. На нем были старомодные брюки клеш, штанины которых трепались и бились о щиколотки. Туфли у него были на высоких каблуках и завязывались такими длинными и толстыми тесемками, что спереди получались настоящие банты. Пиджачок был совсем короткий, так что зад господина выпирал из-под него. Приятель господина Тинтерова, Кочо, говорил глухим голосом, с трудом, как старик. Дряхлое лицо его напоминало морду старой собаки.

Завидев развалившихся на поляне сограждан, оба в смущении остановились. Мы пошли им навстречу.

— Если б мы знали, что они здесь, нипочем не пошли бы, — сказал кассир.

Он говорил быстро, как-то по-своему сокращая слова и заканчивая каждую фразу так, что надо было немного подумать, прежде чем поймешь ее смысл.

— Уедем, Никодим, — промолвил умоляюще его спутник.

— На чем ты поедешь? — отгрызнулся Никодим.

— Вы как приехали? — спросил я.

— На грузовике. Он шел на шахты за углем, — ответил Кочо.

— Это был не грузовик, а пикап, — поправил его Никодим.

— Одно и то же.

— Нет, не одно и то же.

— А я тебе говорю, что это был грузовик! — рассердился Кочо.

— Дурак ты, дурак! — сказал кассир и, повернувшись к нам, с возмущением прибавил: — Я ему по дороге говорю, что сейчас самое время грибов, а он мне начинает вздор плести, будто грибы только весной растут!

Капитан Негро предложил друзьям расположиться возле источника, и скоро второй костер задымил ниже в лесу.

Мой товарищ успел надеть свою парадную синюю блузу, прицепить кисточки к чулкам и побриться. Он был в превосходном настроении, предвкушая пирушку, и всецело предоставил себя в распоряжение гостей, с которыми когда-то, в свое счастливое семилетие, ел и пил.

Пока извозчик поворачивал на огне громадный вертел с мясом, гости занялись ракией. Господин с могучими челюстями, оказавшийся учителем гимнастики, сразу развеселился. Он отправлял в рот большие куски соленых огурцов, опорожнял рюмку за рюмкой, как наперстки, и глаза его не отрывались от стола. Его светловолосый приятель, о котором мы узнали, что он только что назначенный судья, чинно, серьезно подносил ракию ко рту и, понюхав, медленно, со вкусом выпивал. Доктор, еще более воодушевившись, все время смотрел в окно и твердил:

— Поглядите, господа, какая красота! Что может быть умней, чем поселиться на лоне природы? Все остальное — суета сует!

Никто не обращал на него внимания. Капитан Негро уже уселся на стул и приготовился взять слово, то есть начать врать.

Вдруг раздался конский топот. Приехали шахтный инженер с женой, оба верхами.

Новый судья вскочил, чтоб их встретить.

Жена инженера была в брюках и узкой куртке. Она говорила сладеньким голоском и не выговаривала "р". Болонка сердито залаяла перед дверью сторожки — там, где фыркали лошади.

— Господа! — взволнованно воскликнул судья. — Позвольте вам представить моего старого друга, инженера Котельникова, и его супругу. — И прибавил, обращаясь к гостю: — Петя...

Они обнялись.

Инженер держался вежливо, но надменно. Это был молодой человек в спортивном костюме. Узнав от судьи, что он сын одного из владельцев шахты и сам ее акционер, наши гости стали наперебой выражать ему свое почтение, особенно старался господин с могучими челюстями.

К столу придвинули еще два стула. Разговор шел между судьей и "Петей", остальные молчали. Из этого разговора стало ясно, что оба учились в одной и той же гимназии в Софии, дружили еще в детстве и что судья позвонил из города своему другу, приглашая его встретиться в сторожке.

Господин с могучими челюстями и доктор почувствовали себя отчасти оттесненными на задний план, и доктор стал еще упорней глядеть в окно, но тут извозчик внес громадный вертел и бутылки с вином.

Капитан Негро сейчас же вошел в роль настоящего мажордома. Он принес всю нашу столовую посуду, то есть пять больших тарелок и две маленькие, да несколько потемневших жестяных вилок, которые он успел наскоро вытереть кухонным полотенцем.

Обладатель мощных челюстей и доктор свирепо накинулись на жаркое, желая таким способом еще сильней выразить свое презрение к задушевной беседе инженера и судьи. Вот уже ударили друг о друга стака-

ны, и разговор сразу стал оживленной. Капитан Негро смеялся, блестя глазами, и ждал подходящего мгновения, чтобы взять слово. Это мгновение наступило самым неожиданным образом.

Инженерша повернулась к супругу и что-то сказала ему по-английски.

Товарищ мой вздрогнул. Когда-то он тщетно искал здесь партнера для бесед по-английски и так давно уже не слышал звуков этой речи.

— Миссис... Миссис! — воскликнул капитан, вскакивая со стула. — I am very happy, that you speak English¹. Давно не говорил я на этом языке.

— А откуда вы его знаете? — спросила озадаченная "миссис".

Этот необдуманный вопрос оказался роковым. Ответить на него знало для Черного капитана рассказать всю свою биографию.

— Ну, влипли! — сказал доктор, поняв, что нам грозит.

— Разрешите представиться еще раз! — продолжал капитан Негро, кланяясь "миссис" Котельниковой. — Капитан второго ранга Негро, — сказал он по-английски, подошел к инженерше и почтительно поцеловал ей руку.

— Очень приятно, — улыбнулась она.

Белая болонка сердито залаяла на капитана. Он перенес свой стул к "миссис" и, не обращая внимания на песика, тотчас начал что-то рассказывать ей по-английски.

Инженер поглядел на него насмешливо и заговорил с доктором.

— Я получил образование в Германии, но не люблю немцев, — сказал доктор.

— А я — англичан! Что ты мне будешь говорить? Они уничтожили сан-стефанскую Болгарию, — сердито вмешался преподаватель гимнастики, ожесточенно жуя.

— Отчего вам не нравятся немцы? — спросил судья.

— Я социал-демократ, — ответил доктор.

— Ведь и в Германии есть социал-демократы.

— Там гитлеровцы!

Разговор был прерван громким и звонким смехом инженерши. Капитан Негро уже успел рассказать ей какой-то случай из своей богатой приключениями жизни.

— Вы занятный человек, капитан! — сказала она, глядя на него оживившимися глазами.

— Шут! — презрительно проворчали могучие челюсти.

Капитан Негро поднял голову.

— О чем спор, господа? — воскликнул он. — Об англичанах? А вы слышали о генерал-губернаторе Индии Гастингсе? Он так ограбил бенгальцев, что, когда я туда приехал, они мне сказали: "Капитан Негро, мы построим в твою честь храм, если ты уберешь отсюда этого человека".

— О каком еще храме ты болтаешь? Только храмов нам не хватало! — возмутился учитель, который, видимо, слышал все истории капи-

¹ Я очень счастлив, что вы говорите по-английски (англ.).

тана Негро, но ни разу не слышал о храме.

— Да, храм! — гордо произнес капитан, заложив руки за спину. — Был такой губернатор в Индии. Он двадцать лет грабил бенгальских индусов. Приезжаю туда, а там стон стоит. Прошу аудиенцию. Он меня принял. Говорю: "Ваше превосходительство, так дело не пойдет. Народ просит пощады!" "Неправда, — говорит, — поезжай по реке Гангу, увидишь, сколько храмов построили они мне в благодарность". Еду по Гангу. Вижу: в самом деле построены ему храмы. Но какие? Такие, какие там строят злым божествам, вперемежку с храмами холере и чуме!

Капитан Негро первый засмеялся этой истории и поглядел на свою собеседницу. Но "миссис" не засмеялась. История ей не понравилась.

Засмеялись только учитель и я, а инженер поглядел на жену и стал громко аплодировать капитану.

— Bravo, капитан Негро! — сказал он.

Доктор поморщился, выпил одним духом целый стакан и опять выглянул наружу. Капитан Негро оживился еще больше.

— Выпьем! — воскликнул судья. — Господа, ваше здоровье!

Он захмелел уже от ракии, и теперь на красном лице его выступили капли пота.

Вдруг через открытые окна ясно слышались звуки кларнета и тонкий голос скрипки.

— Что это? — воскликнул доктор. — Откуда взялись эти инструменты?

— Господин кассир гуляет со своим приятелем, — объяснил старик извозчик, угощавшийся отдельно, за стоявшим под окном столиком.

— Вот что! Откуда же у них музыканты? — спросил учитель гимнастики.

— Случайно проходили мимо с шахт. Ходили играть по селам, — ответил старик степенно и спокойно.

— Подать их сюда! — воскликнул доктор. — Петр, походи скажи, чтоб их привели! За ценой не постоим! Скажи: я зову!

Извозчик пошел, и шаги его заглохли на поляне. Беседа еще более оживилась. Между судьей и учителем уже разгорелся спор о том, кто наши враги — немцы или англичане; инженер, пересев ближе к жене, смеялся над рассказными капитана, а доктор, повесив голову, запел какую-то песенку собственного сочинения, начинавшуюся так:

Лондон, Лондон так велик!

Все-то можно там купить,

Все-то можно там продать!..

В комнату вошел Петр и спокойно объяснил, что господин кассир не отпускает музыкантов.

— Как? — воскликнул доктор, перестав мурлыкать свою песенку. — Не желает? А завтра, когда у него будет мигрень, кто будет лечить его твердолобую голову?

— Не знаю, господин доктор, — пожал плечами Петр.

Доктор вскочил и ринулся вон из комнаты.

— Куда? — воскликнул учитель гимнастики и побежал за ним.

Капитан Негро пошел на кухню за второй бутылкой. Он напрасно старался развеселить "миссис": она не одобряла его антианглийских историй.

— Я окончила Роберт-колледж и знаю, что такое англичанин, — обиженно промолвила она.

Из леса донеслись голоса препирающихся доктора и кассира. Судья пошел посмотреть, что там происходит. Кларнет запищал было ближе и остановился.

— Идут! — промолвил судья, вернувшись в комнату.

В самом деле, музыканты шли. Господин Тинтеров шагал впереди, а доктор и учитель гимнастики вели его, держа за руки. Он сопротивлялся, старался вырваться. На нем не было шапки. Взгляд его серых глаз был растерян и дик, ворот рубашки расстегнут, а выражение лица было такое, словно вот в эту самую минуту ему предстояло принять некое роковое решение. За ним с сердитым видом шел Кочо, держа в одной руке его шапку и пальто, а в другой пустую бутылку. При этом Кочо упрямо твердил:

— Тинтер, не давай музыкантов! Откажи им, не то я знать тебя не хочу!

— Не даю! Не да-ам! — бормотал кассир, стараясь освободиться от вцепившихся в него рук.

Музыканты — два пожилых цыгана — растерянно шагали за господами, испуганные буйством кассира.

В дверях он уперся, схватился за притолоку и так завопил, будто его вели на виселицу. Но доктор и учитель гимнастики оторвали его и толкнули в прихожую, а оттуда вся группа сразу ввалилась в комнату.

— Чего рты разинули? Играйте! — крикнул доктор цыганам.

Кларнет запищал, скрипка тут же присоединилась к нему, взяв верхнее си, и в комнате, заглушая веселый гомон, торжественно зазвучали легкомысленные звуки какого-то итальянского марша.

— Садись, довольно артачиться! — воскликнул доктор, стараясь усадить кассира на стул.

Тинтеров готов уже был снова протестовать, но вдруг увидел инженершу и онемел. Присутствие "миссис" повлияло на него каким-то странным и необъяснимо внушительным образом. Он поглядел на нее испуганно и, сев на стул, безнадежно понурил свою большую, коротко стриженную голову.

— Вот тебе стакан. Пей! — сказал учитель, поставив перед ним стакан с вином.

Только Кочо не пожелал присоединиться к компании. Он остался стоять на пороге, с одеждой своего неразлучного друга и пустой бутылкой в руках. Поблекшее лицо его выражало убийственное презрение.

— Тинтер! — воскликнул он глухим басом. — Ты — овца, баран! Продался! Тьфу! — И он плюнул своим беззубым ртом.

Последние слова его заглушил кларнет. Видимо, их слышал только инженер, и в надменном взгляде его блеснуло любопытство. "Миссис"

вопросительно поглядела на мужа, и тот нахмурился.

— Прощай, я уйду! — крикнул Кочо из прихожей.

— Э, ступай, — проворчал кассир, беспокойно заерзав на стуле.

— Не уйдет, — заметил доктор. — Сиди смиренно и гуляй с людьми!

Твой святой Иероним ляжет там в лесу и будет ждать тебя, как собачонка.

— Не твое дело, — огрызнулся Тинтеров.

— Хоро! — заревел учитель гимнастики. — Хоро!

И фальшиво запел басом:

Станка, девчонка лукавая,
Подвинься и дай мне место...

Скрипка подхватила игривую насмешливую мелодию, придавая ей особенный, слегка чувственный оттенок, и, преобразуя ритм с той ленивой непринужденностью, с какой все цыгане играют народные песни, увлекла за собой кларнет.

— Пошли! — воскликнул, воодушевившись, судья. — Беритесь за руки! Петя... — обернулся он к инженеру.

Все вскочили, опрокинув несколько стульев, судья галантно подал руку "миссис", капитан Негро, ни на минуту не отдалявшийся от нее, взял ее за другую руку. Доктор и учитель гимнастики встряхнули впавшего в мрачное отчаяние кассира, и вокруг длинного стола, блестящего недопитыми рюмками, закружился нестройный хоровод.

— Живей! Живей! — командовал учитель, глядя себе на ноги.

— Го-па, го-па! — гикал судья, производя совершенно лишние движения и только нарушая ритм.

С пола поднялась пыль, оконные стекла зазвенели, из печных труб посыпалась сажа. Кларнет пищал — писк его проникал всюду, пронзая воздух, как стальное острие, и доводя подвыпившую компанию до безумия. Капитан Негро, забыв свое положение, старался изо всех сил, но он давно не плясал такого хоро и теперь никак не мог усвоить нужные па, а "миссис", его соседка, время от времени устремляла умоляющий взгляд на мужа.

Неожиданно Тинтеров оторвался от хоровода, вернулся к столу и, отхлебнув вина, трахнул стакан об пол.

— Держите его! — крикнул учитель.

Но пока его схватили, он успел разбить стакан судьи.

— Ну вот, началось, — сказал доктор. — Уберите стаканы! Он все перебьет.

Хоровод распался. Все бросились отнимать стаканы у кассира, который, выпучив глаза как одержимый, уже буянил вовсю.

В тревоге за наш бедный хозяйственный инвентарь, мы с капитаном Негро убрали все стеклянное, сняли даже зеркальце со стены, потому что у кассира была такая повадка: приди в мрачное отчаяние, крушить все вокруг. И на этот раз ему все-таки удалось опрокинуть один стул на пол и сломать его, к ужасу "миссис", которая вскрикнула и чуть не упала в обморок. В конце концов общими усилиями мы выкинули буяна вон, и

он, шатаясь, молча побрел вниз, к лесу, где его давно ждал его верный друг.

— Скотина! — задыхаясь, промолвил доктор. — Нет того, чтоб жаться да утихомириться! Ведь он из-за вас это безобразие учинил! — обернулся он к "миссис".

— Что вы хотите сказать? — испуганно спросила та.

— Да ведь вы — женщина! — объяснил учитель гимнастики. — В женском обществе он как баран на ярмарке. Наберет в рот воды и слова не может вымолвить, а потом бушевать начнет, дурак этакий! Испортил все удовольствие!

Наши гости собрались в путь. Инженер с женой сели на лошадей, остальные набились в пролетку, так что слабые рессоры ее прогнулись под их тяжестью. Извозчик терпеливо дождался, когда все усядутся, обернулся, поглядел на них через плечо и сердито дернул поводья. Пролетка тронулась. Цыгане тихонько поплелись в город, довольные, что удалось заработать еще сто левов.

Мы остались одни в сторожке, у неубранного стола, залитого вином и заваленного остатками пищи. На полу валялись осколки стаканов и разбитый стул.

— Почему же ты мне не сказал, что пригласил этих людей? — спросил я товарища.

— Кто? Я? Я никого не приглашал! — соврал он. — Они сами пригласились. Стрельнуло в голову — и приехали...

"Эх, капитан, ты, видно, все еще не можешь понять, как ты в их глазах выглядишь", — подумал я.

Короткий ноябрьский день кончался. На леса упали косые лучи заката. Свет постепенно становился холодным, устрашающе красным и тяжелым, словно от пожара. Краешек солнца скрылся за дальними хребтами гор, и равнина внизу наполнилась синевой.

Буря

— Выйди, погляди, что творится, — сказал Черный капитан, отряхивая шапку от снега. — Сто тысяч дьяволов решили вырвать лес с корнями и разнести сторожку.

Не было надобности выходить наружу, чтобы убедиться в этом. И в окошко было видно, что делается на дворе.

Ветер бешено крутил снег и туман, кидал их в окна и завывал вокруг стен. Громадный бук с обломанной верхушкой, выдержавший немало бурь, скрипел и стонал. Сторожка содрогалась, оконные стекла звенели.

Хотя наступили сумерки, в комнате было еще светло. Белый туман стоял у самых окон плотной стеной. Печь горела как-то неуверенно, и красный отблеск пламени, падавший через устье, уныло дрожал на полу.

Буря началась час тому назад и, как видно, должна была прекратиться не скоро.

— Барометр нас обманул, — сказал капитан Негро, пристраиваясь к

печке. — Какая чудная погода была позавчера! Хорошо, что мы загодя заложили в ясли сено.

Он уселся верхом на стуле, сложил руки на спинке и оперся на них подбородком.

— Кажется, я видел нашего Мая, — продолжал он. — Нынче утром пошел к источнику и увидел двух серн. Не могу сказать точно, но как будто это были Мирка и Май. Во всяком случае, они прошли мимо меня совершенно спокойно, без всякого страха.

— Дикие животные предчувствуют бурю, — сказал я. — Олени ушли сейчас в подветренное место, к долине шахт. И серны спешили за ними.

Мы замолчали, слушая вой бури. Входная дверь под непрерывными толчками воздушной волны трещала и дрожала. Снизу, под ней, пол прихожей побелел от мелких снежинок, заносимых внутрь метелью.

— Не бойся, — успокоил меня капитан. — Это ветер толкается в дверь... Знаешь, — прибавил он в раздумье, потирая подбородок о толстый рукав своей домотканой куртки. — Я вспомнил одну бурю у Огненной Земли. Ох, страшная какая была! Но благодаря этой буре я стал самым известным капитаном в Америке. Вот послушай, как это случилось!

Он весело рассмеялся. Было ясно, что он собирается рассказать новую историю.

Я тогда плавал на прескверном суденьшке в две тысячи тонн. Оно принадлежало одной пароходной компании, основанной самым крупным тогдашним филладельфийским богатеем Джорджем Лакраном. Ему принадлежали две трети акций, а сам он пользовался славой величайшего скряги. Пароход наскочил на подводную скалу возле берега и застрял. Внизу, в трюме, образовалась большая пробоина, ничем ее не заделаешь. Скала не давала воде хлынуть в машинное отделение, но ясно было, что как только буря снимет нас со скалы, так пароход — ко дну! Пассажи-ров на борту было мало. Они сидели по каютам ни живы ни мертвы: путь через Магелланов пролив мучителен. Среди них находился и мистер Джордж Лакран.

Берег был недалеко, но при помощи лодки высадиться невозможно. Буя страшная, берег скалистый — лодку разобьет в первую же минуту. Тайфун свирепствовал, и суденьшко трещало. Мы каждую минуту ждали, что волны вот-вот снимут его со скалы.

Мистер Лакран совсем потерял голову и дар речи.

— Капитан Негро, — плачет он, — ежели ты меня спасешь, я дам тебе пять тысяч долларов!

— Неужели ваша жизнь стоит всего-навсего пять тысяч долларов, мистер Лакран? — говорю.

— Ну так семь тысяч?

— Слушайте, — говорю, — я предоставляю вам оценить свою жизнь.

— Десять тысяч, — говорит, — и ни стотинкой больше!

— Нет, мистер Лакран, — говорю, — коли вы цените свою жизнь так дешево, то я не могу вам помочь; ведь чтоб спасти вашу жизнь, я должен

рисковать своей. А я ценю ее очень дорого.

— Двадцать тысяч долларов! — говорит он.

— Нет, — говорю. — Вы меня обижаете, сэр. Очень низко цените мою жизнь. Вы же понимаете, — говорю, — мы теперь с вами равны, и моя жизнь стоит столько же, сколько и ваша.

— Сколько же вы хотите?

— Двести тысяч!

По тому времени двести тысяч долларов была огромная сумма.

— Ох, — стонет мистер Лакран, — я согласен заплатить, но у меня нет при себе!

— Тогда, — говорю, — выпишите мне чек.

Мистер Лакран почувствовал, что прижат к стенке.

— Не могу я вам никакого документа выдать, — стонет, — потому что представьте себе, что вы вдруг спасетесь, а я утону. Какой же смысл сорить деньгами и вас обогащать, коли меня рыбы съедят?

— Хорошо, вы дадите мне вексель, когда выберемся на берег. А может, и не выберемся совсем. Тогда на что мне ваши деньги? — отвечаю.

Взял я длинный канат и привязал его к якорю. Потом приказал матросам вложить якорь в дуло корабельной пушки и выстрелить. Якорь вылетел, как снаряд, и вонзился в берег. Тогда я велел спустить спасательную шлюпку и предложил мистеру Лакрану сесть в нее.

— Пускай сперва переберутся другие. Посмотрим, выдержит ли канат. Может, лопнет, а может, и якорь оторвется, — сказал он.

— Вот как? — говорю. — А если якорь и канат выдержат первую партию, но оборвутся, когда в лодке будем мы? Я рискну, мистер Лакран, а вы как хотите.

Скупердяй набрался храбрости. Спустили мы его в лодку. Как только он в нее ступил, она глубоко осела, словно там очутилось двадцать человек. А мистер Лакран был совсем не тяжелый. Наоборот, он был тонкий как жердь.

Мы поплыли, держась за канат. Волны подхватили лодку, стали ее вертеть, бросать. Посредине пути она начала тонуть.

— Держитесь за канат, сэр! — кричу я. — Зачем вы сели? Встаньте прямо!

— Не могу я встать! — говорит. — Сил нет.

”Ну и влипли!” — подумал я и попробовал ему помочь. Крепко держась одной рукой за канат, другой я постарался поднять мистера Лакрана за шиворот. Но мистер Лакран был тяжелый, как мешок со свинцом. Он набил все свои карманы золотом и даже успел зашить в подкладку пиджака целый мешок долларов.

— Что вы наделали, — говорю, — бросайте скорей пиджак за борт, пока мы не утонули!

— Нет, капитан Негро, — говорит. — Пиджак не надо бросать в море, я подарю его вам в благодарность. В нем больше двухсот тысяч долларов.

— Спасибо, — говорю. — Оставь его себе. У меня нет охоты отправ-

ляться на завтрак акулам вместе с твоим пиджаком. Go to hell!¹

Волна захлестнула лодку и унесла мистера Лакрана, который камнем пошел ко дну...

Держась за канат, я дождался других спасательных лодок, на которых мои матросы и все пассажиры благополучно достигли берега.

Трое суток мы лежали в больнице. Однажды утром ко мне пришли журналисты, представители американских газетных трестов и агентств. Просят дать интервью. Я дал интервью; рассказал, как было дело, как погиб из-за своего золота сэр Джордж Лакран.

На другой день интервью мое появилось в газетах, но в искаженном виде. Я смеялся, читая о том, как мужественно погиб мистер Лакран, как он боролся с волнами и какие были его предсмертные слова, как он молился богу и какое оставил завещание, и вдруг отворяется дверь и в комнату ко мне входит адвокат компании мистер Браун.

— Вы капитан Негро?

— Я.

— Как вы смеете, — говорит, — давать интервью, не уведомив об этом компанию? Известно вам, что компания возбудит против вас дело за искажение истины и вчинит вам иск в размере пятисот тысяч долларов? Знаете, какой вы нанесли нам вред? I am terrified!²

— Погодите, мистер Браун, — говорю. — С какой стати вы на меня накидываетесь? Объясните мне, что я такого сделал.

— I am terrified! Вы еще спрашиваете? Но ведь несчастный директор, мистер Лакран, имел при себе полмиллиона долларов, то есть две трети капитала нашей компании, и она теперь на грани банкротства!

— Э-э, мистер Браун, — говорю, — откуда мне было знать, что так обстоят дела?

— Вы уволены. Компания считает вас ответственным за гибель парохода!

— Ладно, — говорю. — Коли так, предъявляйте иск. Пускай. А сейчас — go to hell!

— Нет, — говорит. — Я вас не оставлю, пока вы не опровергнете свою бессовестную ложь!

— Как же я ее опровергну? — спрашиваю.

— Садитесь и пишите! — воскликнул мистер Браун. — Я вам продиктую. Если вы хотите сохранить свое место в нашей компании и вообще избавиться от ужасных для вас последствий, садитесь и пишите!

Он вынул из кармана лист бумаги, сунул мне в руки свое стило и начал диктовать:

”Я, капитан Негро, письменно подтверждаю, что газетное сообщение о происшедшем с многоуважаемым директором пароходной компании ”Джордж Лакран компани” не соответствует действительности. Мистер Джордж не только не утонул, но именно теперь здоров как никогда и не потерял ни одного цента из своих денег. Опубликовано в печати — не

¹ Иди к чертям! (англ.)

² Я в ужасе! (англ.)

что иное как низкопробная сенсация, рассчитанная на то, чтобы лишить пароходную компанию кредита, которым она пользуется. Публикация эта основана на непродуманном интервью, которое я дал представителям газетных трестов, не желая открыть истину, вследствие необычности и, если можно так выразиться, феноменальности того, что произошло с мистером Лакраном, так что я предпочел ввести их в заблуждение.

Теперь, видя свою ошибку, я вынужден сказать правду.

Уважаемый мистер Лакран, возвращавшийся со своих чилийских копей, имел при себе довольно значительную сумму денег. На третий день плавания мистер Лакран позвал меня в свою роскошную каюту и пожаловался на плохое самочувствие.

— А в то же время, — сказал он мне, — у меня сейчас необыкновенный аппетит, который я ничем не могу удовлетворить. Прошу вас позаботиться о том, чтобы на обед мне подали побольше мяса.

Я велел коку зажарить телячий окорок и подать его мистеру Лакрану к обеду. Но стюард пришел и сообщил мне, что уважаемый директор не насытился телячьим окороком, хотя этого окорока хватило бы на десятерых голодных. Я тотчас распорядился приготовить огромный бифштекс. Он все время хотел есть, есть. Изумленный до глубины души и опасаясь, как бы уважаемый директор не съел все имеющиеся на пароходе запасы мяса и консервов, осложнив таким образом задачу питания пассажиров, я пошел навестить его. Это было на пятый день нашего плавания, когда половина мясных запасов была мистером Лакраном уже поглочена.

Многоуважаемый директор лежал в постели, покрытый одеялом из верблюжьей шерсти. И в этот момент он тоже жевал жаркое. Выражение лица у него было довольно смущенное.

На мой вопрос о причине этого смущения мистер Лакран благоволил мне ответить так:

— Капитан Негро, я открою вам одну тайну. Со мной творится что-то необыкновенное и весьма странное для трезвого и практического американского ума. Посмотрите!

Тут он приподнял край одеяла, обнажив свои ноги.

Ноги его больше не были похожи на человеческие. С ними в самом деле произошло что-то необычайное. Они слиплись и утончились, кожа стала иссиня-черной, как у больших морских рыб; одним словом, они начали превращаться в рыбий хвост.

Удивленный и испуганный, я попросил мистера Лакрана, чтоб он разрешил пароходному врачу осмотреть его. Но мистер Лакран решительно отказался допустить к себе врача.

— Ничто на свете, — сказал он, — не в силах остановить это превращение.

— Но, сэр, — возразил я, — что я скажу моим людям и пассажирам насчет всего этого?

— Скажите им, — говорит, — что я занят размышлениями, направленными на благо всего человечества.

Через два дня аппетит мистера Джорджа приобрел неслыханные раз-

меры. В пароходном камбузе круглые сутки варились и жарились кушанья, которые подносились ему одно за другим. Питание пассажиров уменьшилось на одну треть, и мне приходилось успокаивать их уверениями, что все это временно, и придумывать самые разнообразные объяснения.

На третье утро ко мне пришел перепуганный стюард и сообщил, что ночью с мистером Лакраном произошли новые изменения. Благодарное, хотя несколько тощее, лицо его превратилось в морду акулы...”

Капитан громко рассмеялся, хлопнул ладонью по спинке стула и продолжал...

Когда он мне это продиктовал, я стал смеяться.

— Как же я это напишу? — говорю. — Кто этому поверит? Ведь это вранье.

— You must do it! ¹

— Нет, не могу! — говорю.

Мистер Браун посмотрел на меня, прищурившись.

— You must do it! В противном случае... я отдам вас в руки гангстеров, и они с вас живого кожу сдерут!

Что было делать? Мне грозила беда. Я продолжал писать дальше:

”Я сейчас же пошел проверить, правду ли говорит стюард. Мне было страшно входить в каюту многоуважаемого директора, и я посмотрел в замочную скважину. Сообщение подтвердилось. Мистер Лакран был вылитая акула. Он лежал в постели и, открывая чудовищную пасть, старался нажать кнопку звонка на стене, чтобы потребовать себе завтрак. Руки его превратились в плавники, а увеличившееся тело не умещалось в постели и упиралось хвостом в стену каюты...”

Не было никакого сомнения, что за последнюю ночь он потерял все свои человеческие свойства, в частности речь. Из разинутого рта его вылетали хриплые стоны.

Чтобы скрыть ужасную тайну и не подвергать пассажиров опасности быть съеденными мистером Джорджем, я запер каюту и задвинул дверь бочонком, полным воды. Я рассчитывал, что, достигнув берега, мне удастся так или иначе выгрузить мистера Лакрана и передать его родным, хоть и в таком состоянии. Но чудовищный голод привел его в буйство. Сперва он проглотил свою одежду, потом съел постель, диваны, потом ковер, а когда остались одни голые стены, он набросился на свои чемоданы и проглотил их вместе с содержащимися в них золотыми долларами. По-видимому, именно золотые доллары насытили его, и он спокойно заснул, растянувшись на голом полу каюты.

Проследив за всеми этими событиями в замочную скважину, я подумал, что сон его будет достаточно продолжительным и мы за это время успеем войти в гавань. Однако тайфун разбудил многоуважаемого директора, и он опять начал буйствовать. Он разбил хвостом стекло иллю-

¹ Вы должны сделать это! (англ.)

минаторов, разгрыз своими страшными челюстями раму и, расширив таким образом проем, прыгнул в бурное море...

Публике известен конец этой печальной истории, и я не вижу надобности прибавлять к изложенному что бы то ни было”.

— Теперь подпишитесь, — потребовал мистер Браун, очень довольный своим творением.

Я подписал и отдал ему документ.

— Предупреждаю вас, — сказал он, пряча бумагу в карман. — Вы не имеете права прибавлять к написанному ни единого слова. А компания возьмет теперь свой иск обратно и оставит вас на службе...

Я весело смеялся этой истории, но мой товарищ оставался серьезным. Не обращая внимания на бурю, он все так же сидел верхом на стуле, размахивая своими короткими руками.

Во время его рассказа мне вдруг показалось, что кто-то стукнул входной дверью.

— Ветер, — пренебрежительно бросил капитан. — Слушай дальше. История еще не кончена. Много бед она мне наделала! — засмеялся он, все более увлекаемый вдохновением.

На другой день я вышел из больницы. Купил газеты. Во всех было помещено мое письменное объяснение. В Америке поднялся необыкновенный шум. Прежде всего разные религиозные секты и церкви подняли между собой великий спор о причинах, вызвавших превращение мистера Лакрана в акулу. В Голливуде решили снять фильм на эту тему. Множество торговых фирм стали тотчас рекламировать всякие жевательные резинки, всевозможные напитки и препараты, изготовленные специально для предотвращения подобного рода несчастий, а в суде начался бесконечный процесс между компанией и ее кредиторами. Компания заявляла, что, поскольку мистер Лакран жив, права его как акционера остаются в силе. Хоть и в виде акулы, он продолжает занимать прежнее место директора и так далее. Кредиторы оспаривали это. Они утверждали, что так как он уже не человек, то утратил и свои права акционера, а во-вторых — и это главное, — проглоченных им долларов, составляющих большую часть капитала компании, нет налицо и, следовательно, компании грозит банкротство. Но адвокаты компании настаивали на том, что золотые доллары по-прежнему существуют, хоть и в акульем желудке, и, следовательно, они наличествуют. Кроме того, говорили адвокаты компании, никто не знает, не вернется ли в один прекрасный день сам мистер Джордж, чтобы предъявить свои права, и так далее.

Каждый год я получал повестки как самый важный свидетель. Меня приглашали секты, мне приходилось устно подтверждать эту историю в церквях. Наконец рассказ мой был записан на граммофонную пластинку, а меня самого сфотографировали в натуральную величину...

Капитан Негро не выдержал и расхохотался.

Мне опять показалось, что кто-то постучал во входную дверь.

— Ты любишь читать книги, — сказал капитан. — Читал ли ты Джака Лондона?

— Конечно, я читал Джека Лондона.

— Не Джека, а Джака. Так выговаривают по-английски. Джак был моим матросом на сторожевом китобойце. Мы шли в Охотское море наблюдать за ходом китобойной кампании. И он поступил к нам простым матросом. Как-то раз дежурный сообщил мне, что Джак уклонится от своих служебных обязанностей ради чтения книг. Я подстерег его в трюме, когда он только что впился в какую-то книгу, и дал ему по шее. Да, здорово огрел. Кто мог думать, что он станет таким известным писателем...

Капитан Негро хотел продолжить свой рассказ о Джеке Лондоне, но снаружи громыхнуло как из пушки. Мы вскочили и, растерянно переглянувшись, кинулись в коридор. Буря по-прежнему свирепствовала. Снаружи не было видно ничего, кроме белой мглы и крутящегося за окнами снега.

— Наверно, дерево повалилось, — сказал капитан.

Он пошел в комнату, надел шубу и обмотал голову шерстяным шарфом.

— Пойду погляжу, что там такое.

— Это упал тот старый бук, что скрипел, — сказал я и решил выйти вместе с ним.

На стеклах входной двери налип толстый слой снега. Целый сугроб свешивался с притолоки.

Капитан взялся за ручку и дернул дверь. Сугроб обрушился, и буря швырнула снег нам в глаза. В то же мгновение что-то кинулось нам в ноги и затопотало по дощатому полу прихожей.

— Серненко! — воскликнул мой товарищ.

Мы поспешили закрыть дверь, чтобы не дать Маю вырваться обратно. Но у него не было такого намерения. Он остановился позади нас и, слегка прижав уши, удивленно глядел на нас своими черными глазами. Весь белый, густая шерсть в снегу. Он отряхнулся, и в прихожей поднялась целая туча снежинок и водяных капель. После этого он высунул свой широкий язык и облизал верхнюю губу.

— Разбойник! — промолвил капитан и бросился его ловить.

Серненко отступил к двери, ведущей в комнату, и наклонил в нашу сторону свои маленькие рожки.

— Вот как? — прикрикнул капитан. — С кем это ты бороться вздумал?

Он схватил серненка за передние ноги и поднял его так, чтоб тот не мог брыкаться. Пять минут спустя Май лежал у нас в комнате на полу и облизывался, приводя свою мокрую шерсть в порядок. А капитан Негро держал перед ним длинную речь. Кончив речь, он обратился ко мне:

— Как ты думаешь, почему серненко вернулся один? Где его мать? Не вертится ли она вокруг сторожки?

— Может быть, — ответил я. — Стоит посмотреть.

Мы вышли, но на дворе — ни следа. Буря все засыпала. Наши дрова

исчезли под снегом, и только вырванный с корнем бук лежал возле, похожий на большой длинный сугроб, из которого торчали замерзшие, поломанные ветви.

По грибы

Шоссе замерзло, заваленное огромными сугробами. Не слышалось ни роката грузовиков, возивших шпалы и уголь с шахт, ни криков возчиков. Тяжелое молчание легло на белое лесное пространство, и только наши голоса будили уснувшее эхо в снежных туннелях леса.

Олени стада собирались в северных котловинах, где ветер слабей, а туманы не так густы. Теперь животные посещали кормушки регулярней, чем когда-либо. Давным-давно было съедено все сено в яслях, засыпанные снегом корыта для овса были изгрызены острыми резцами серн и оленей.

Мы сделали несколько безуспешных попыток засыпать дичи корм. Снег все валил, сугробы росли, мы тонули в них, падали на каждом шагу со своими мешками и в конце концов бывали вынуждены вернуться, не пройдя и половины пути. Все же благодаря великому упорству и ценой многих усилий мы смогли добраться до одной оленьей тропы и привязать к соседним деревьям несколько охапок сена.

Снегопад переставал к вечеру, когда мгла сгущалась, заливая всю гору глухотой и холодной сыростью. Тогда не слышалось ни единого звука. В затуманенном, словно потонувшем мире вечерние сумерки смешивались с мглой, и можно было различить только белизну снега, и то не больше как в двух шагах.

Экономя керосин, мы зажигали лампу, только когда в комнате становилось совсем темно, а пока удовлетворялись светом от затопленной печки, стоя в молчании у окна и глядя, как сереет снег и как мимо нас ползет туман. С дверной притолоки свисал в виде свода целый сугроб. Тень от него падала в коридор. Несколько засыпанных тропинок вело в конюшню, где лошадь целый день жевала сено, а за дощатой перегородкой ютились Миссис Стейк и Май.

После пятидневного снегопада снежный покров достиг полутора метров. Нельзя было никуда ногой ступить, кроме как по двору и к источнику, куда мы добирались с огромными усилиями, протаптывая тропинку каждый день заново.

Капитан Негро начал врать еще отчаянней. Утром он готовил обед или пек хлеб; после обеда предавался сладкому сну часов до четырех-пяти, то есть дотемна; потом просыпался, мрачный, даже желчный, садился возле печки и читал какую-нибудь старую газету. Но, оживившись, не переставал работать языком до полуночи.

Однажды утром он объявил с огорчением:

— Завтра придется голодать. Нечего готовить. В шкафах хоть шаром покати: картошка кончилась, а сало мышка съела...

”Мышка” была большая серая крыса, с которой мы воевали вот уже

целый месяц. Эта крыса угрожала нам полным разорением. Днем она спала на наших постелях, спрятавшись в одеяла, а когда нам приходила пора ложиться, начинала бегать по комнате, где было много щелей, куда она могла юркнуть. После нескольких наших неудачных попыток убить ее она переселилась на кухню и занялась там разбоем. Капитан Негро надумал застрелить ее из карабина двадцать второго калибра, который был у нас под рукой. С этой целью он каждый вечер устраивал на нее засады — взбирался на кухонный стол и садился там на маленький стульчик с карабином в руках. Но крыса была осторожна. Она никогда не показывалась открыто и, пока капитан Негро терпеливо сидел на посту, преспокойно грызла сало. Потом мы пробовали отравить ее мышьиной отравой в виде купленных в городе зерен, но зерна эти оказались очень питательными для ее желудка. В конце концов мы подняли руки вверх и стали ждать счастливого случая, который позволил бы нам ее убить.

Жалкие запасы наши в самом деле подходили к концу. Снег не давал нам возможности сходить на шахты и купить там чего-нибудь в лавочке.

— Ну, что делать? — спросил капитан.

Я пожал плечами.

— Мука у нас есть, с голоду не умрем, но...

— Наберем грибов, — предложил я.

Он засмеялся.

— Ты в своем уме? Какой у нас месяц на дворе?

— В сотне шагов отсюда растут отличные грибы. Вопрос только в том, как до них добраться.

— Ты бредишь, — сказал капитан Негро, поглядывая на меня с недоумением.

— Попробуем. Иди одевайся. Прделаем хорошую гимнастику! А потом наедемся свежих грибов!

Где-то на заваленном снегом дворе у нас была тонкая длинная жердь. Я хорошо помнил, где именно, и, разрыв снег, нашел ее. Мы пошли к лесу позади сторожки, вороша сугробы и подымая тучи снежной пыли. Ни один из нас не догадался взять оружие.

Туман поредел, в снежных туннелях было видно довольно далеко. Снег охватывал громадные купы буков сверху донизу, придавая им причудливые формы и делая их еще громаднее.

— Ну где ты теперь будешь грибы искать? — засмеялся капитан, но, заметив, что я осматриваю буки, сразу понял, в чем дело.

На загнивших частях деревьев каждую осень и весну вырастают колонии грибов, которые народ называет "песьи уши", так как форма этих грибов в точности соответствует форме собачьего уха — с отвислой верхушкой, как у гончих. Весной грибы эти молочно-серые, с нежным жемчужным оттенком, а осенью они желто-коричневого цвета. Так как они растут до поздней осени, то замерзают от первого снега и первых холодов и таким образом прекрасно консервируются.

Нелегко было отыскать "песьи уши" среди засыпанных снегом буков. Но я помнил, что поблизости есть такая колония, и скоро нашел ее

на восточной стороне одного громадного дерева. После нескольких толчков жердь грибы отвалились и упали в снег. Капитан Негро стал собирать их, а я принялся осматривать соседние деревья.

Вдруг где-то под нами, на крутом косогоре, послышалось хрюканье. Капитан Негро поглядел на меня. Я поглядел на него. Хрюканье стало громче.

— Это идут дикие свиньи, — сказал капитан, подняв голову и прислушиваясь.

Мы побежали смотреть. Зрелище любопытное: в лесохозяйстве было очень мало этих животных, и мы давно мечтали, чтоб их развелось побольше.

Бросив грибы, мы двинулись к высотке, откуда начинался косогор. До высотки не было и двадцати шагов, но мы преодолевали это расстояние три-четыре минуты, пробираясь в снегу чуть не вплавь. Хрюканье слышалось уже совсем близко.

Среди утонувшего в снегу леса, между белыми стволами и сучьями мелькнула темная шкура дикой свиньи. Она утонула в снегу, но мы стояли высоко и видели спину животного. Свинья бежала, хрюкая и не останавливаясь ни на минуту. Тело ее как будто растягивалось: то казалось неестественно длинным, то сокращалось. Это удивило нас, но потом мы поняли, в чем дело. Вместе со свиньей бежали четыре-пять поросят, чьи спины мелькали рядом с ней. Это была матка: она вела поросят, стараясь как можно скорее спуститься в долину, где снег был не такой глубокий.

— Эх, что ж мы не взяли хоть одно ружье! — с сожалением промолвил капитан. — Хоть мы и не имеем права бить дичь, но когда нечего есть...

Он не успел договорить, как с другого склона, за которым темнела глубокая мрачная долина, послышалось новое хрюканье. Оно звучало как глухой взрыв — будто взорвался слабый заряд пороха — и быстро приближалось к нам.

— Еще стадо, — сказал капитан.

Через минуту в снегу показалась красно-коричневая туша громадного кабана. Злобно пыхтя, кабан шел по длинному курчавому следу, оставленному свиньей и поросятами. Огромное щетинистое тело его было осыпано снегом. Страшная голова с полуметровым рылом и желтыми клыками, искривленными, как садовые ножи, была сердито поднята и жадно нюхала воздух. Кабан рассекал толстый снежный покров удивительно легко. Под его тяжестью снег словно рассыпался на мелкие комки и хлопья, скатывавшиеся вниз по крутизне. В отличие от свиньи кабан часто останавливался, поворачивал свое громадное туловище и начинал еще страшнее ворчать.

— Видно, за самкой бежит. Потерял и теперь ищет, — шепнул мне капитан Негро и, взяв у меня из рук жердь, начал прицеливаться ею в кабана.

Животное прошло мимо. Оно исчезло внизу, в долине, куда вели следы свиньи, и только глухое ворчание указывало направление, в котором оно двигалось.

— Эх, кабы ружье! — вздохнул мой товарищ и принялся оживленно доказывать, что при нашем злосчастном положении с провиантом мы имели полное право убить если не одного из поросят, то, во всяком случае, старого кабана.

Мы уже решили вернуться к грибам, о которых на время забыли, как вдруг внимание наше привлекли две серые тени. Они бежали по следам свиней, как собаки. В двадцати шагах позади показались еще три.

Капитан толкнул меня в бок и лег в снег.

— Волки! Ложись, ложись! — сказал он, но сам не удержался — приподнялся и устремил испуганный взгляд вслед убегающей в сторону долины стае.

Оттуда все еще доносилось ворчание кабана.

— Вот для чего нам надо было взять ружья! — сказал я. — Мы дали бы волкам славное сражение!

Собрав сбитые с бука грибы, мы поспешно вернулись в сторожку, озабоченные судьбой свинячьего семейства. Что-то делается теперь в долине, где голодные хищники стараются утащить поросят? Удастся ли им это сделать или кабан расправится с кем-нибудь из них? Мы не могли ответить на этот вопрос; каждый настаивал на своем. Но было ясно, что волкам нелегко будет достигнуть цели, пока при семействе находится старый щетинистый хряк. Они не решатся напасть на него запросто. Желтые клыки его и толстая кожа довольно убедительно говорили о возможном исходе борьбы...

Засада

После первого солнечного дня снег покрылся настом.

Мы стали на лыжи, короткие и широкие, как у индейцев. Но снежная кора была слабая, необходимо было еще несколько теплых дней, чтоб она затвердела. Вопрос о провианте не терпел отлагательства. Мы не находили даже грибов. Каждый день мы надеялись, что с шахт или из сел выйдет снегоочиститель, запряженный несколькими парами волов, чтоб расчистить шоссе и восстановить движение. Но дни шли за днями, а снегоочистителя все не было.

— Придется зарезать Миссис Стейк, — сказал капитан Негро однажды вечером, после того как мы еще раз осмотрели пустые шкафы на кухне. — Хоть она и казенная, но занимает особую графу в ведомости, где скромно фигурируют и наши имена, голод не тетка.

Он был прав. Миссис Стейк была в самом деле казенной козой, предназначенной в кормилицы всем сернятам, которых мы должны были поймать весной. Но что мешало нам зарезать ее, а весной купить на свои деньги другую? Таким способом мы сэкономили бы корм, который коза съедала зимой. Я согласился с капитаном. Но прежде чем определить день казни бедного животного, я решил устроить засаду на дичь возле сторожки.

Это не разрешалось. Подобного рода преступления наказывались

очень строго и сами по себе были позорным поступком. Но в хозяйстве, где есть олени и серны, убить в такие дни какого-нибудь зайца было не так уж страшно. Крупные лесные зайцы, водившиеся на вершинах гор, все равно умирали своей смертью.

Несколько зайцев появилось около сторожки. По ночам, прыгая по наледи, они подходили к самой южной стене, играли на поляне и, войдя в большой лес, огибали скалу, расположенную на пятьдесят метров ниже сторожки. Она вздымалась среди леса наподобие носа корабля, и с верхушки ее было далеко видно.

В тот же вечер я взял ружье, обмотал голову шарфом и пошел на скалу стеречь зайцев. А капитан Негро остался в сторожке читать английскую книгу, над которой обычно засыпал.

Узкий серп декабрьского месяца, просвечивая сквозь тонкую пелену облаков, давал возможность хорошо видеть предметы на снегу. Морозная ночь одевала в эту пору кусты нежными цветочками инея. Время от времени холодное молчание вдруг нарушалось треском сука, обломившегося под тяжестью снега. Нигде не слышно шума воды. Гора похожа на громадный корабль, затертый льдами и окруженный туманом. Понурившиеся по ту сторону долины леса напоминали большие льдины.

Я терпеливо сидел на пне, положив ружье на колени, чтоб было наготове, и напряженно всматривался в предметы под горой. Так прошел час, а то и больше.

Вдруг под скалой послышался легкий шум. Заскрипел снег. Внизу промелькнула маленькая тень. Животное пробежало быстро, притаилось за деревьями, потом показалось опять — крохотное, бесшумное, словно темное пятно в белых сумерках.

Я вскинул ружье, тень замерла; я был уверен, что это заяц.

Когда черная линия ружейных стволов коснулась цели, я нажал спуск. Красное пламя выстрела блеснуло перед моими глазами, гром наполнил ложбины и широко разлился по уснувшим белым лесам. Под скалой что-то глухо стукнуло, словно какое-то тело ударилось о дерево. Тень на снегу пропала.

Немного подождав и стараясь не терять животное из виду, я спустился со скалы и, увязая по грудь в снегу, дошел до того места, где оно остановилось. Там лежал свалившийся от старости бук. Из-за него торчала пара длинных ног...

Помимо своей воли я, в уверенности, что убил зайца, застрелил серну. Ничего не поделаешь. Я взял ее за ноги, которые вздрогнули в последний раз, и потащил наверх, к сторожке. Тащил, может быть, целый час. Взвалю себе на плечи и пронесу пять-шесть метров, потом опущу на снег и сяду отдыхать. Наконец, обливаясь потом, внес-таки в сторожку. К счастью, капитан Негро еще не спал.

Мы положили ее на два стула. В свете лампы спина ее блеснула медно-красным отливом. Великолепное тело линиями своими напоминало тело красивой женщины. В прекрасных глазах еще виднелась жизненная влага, словно они еще созерцали холодную декабрьскую ночь, стоявшую на дворе. Голова серны свисала со стула, и одна передняя нога бы-

ла слегка согнута, как будто застыв в незаконченном прыжке.

— Опять коза спаслась. Опять суждено ей жить. Вот везет животному! — осклабился капитан Негро, чрезвычайно довольный результатом охоты, обеспечившей нас обоих вкусным мясным столом на целый месяц.

Держа лампу в одной руке и похлопывая по спине серны другой, капитан неожиданно вздрогнул, наклонился и осмотрел уши убитого животного. Лицо его стало мрачным, и он закричал сердито.

— Что ты наделал? Ты убил нашу Мирку! Погляди ухо... Бедняга! Все вертелась около сторожки...

Правое ухо серны в верхнем краю было рассечено. Эту метку сделал в свое время капитан Негро.

В самом деле, это была Мирка. Я тоже узнал ее. Не было другой серны, как она, — такой крупной, с такой шерстью, чей теплый и благородный цвет напоминал отражение огня на старой неполированной меди. мех был ровный и густой, как бархат, а пепельно-серое горло — светлей, чем у других серн.

В сторожке воцарилась скорбная тишина, словно в коридоре лежала не убитая серна, а мертвая красавица. Капитан Негро время от времени ходил смотреть на нее и корил меня.

В конце концов мы примирились с фактом. Голод оказался сильнее всяких сентиментальных соображений. Я долго думал об участи бедного животного. В эти тяжелые дни Мирка вернулась к нам, но не решилась, подобно Маю, искать приюта и пищи в сторожке. Наверно, она бродила вокруг, ходила даже по двору, но снег засыпал ее следы, и мы ничего не заметили. Кончилось тем, что она спасла нас от голода, невольно принеся себя в жертву.

Когда тает иней

Два дня дул сильный северо-восточный ветер. Он очистил небо от туч, сковал льдом последние ручьи и свалил весь снег с деревьев. Леса стали черные, взъерошенные. Горы гудели, а внизу, на шахтах, жаловались, что ветер вот-вот сорвет крыши.

Но на третий день мы проснулись прекрасным солнечным утром. Снег сверкал, здесь синеватый, там фиолетовый, далеко-далеко на севере были видны равнины, а леса стояли убранные в жемчуг. Ледяные кристаллики и иней блестели как алмазы на каждом сучке. На темном фоне больших лесов все эти драгоценности приобрели особенный пепельно-лиловый оттенок. Какое это было утро! Тихий и безмолвный стоял вековой лес, ни ветка не шевелилась, словно боясь разрушить свое убранство. Как сахар, лежал среди деревьев снег, а наверху сияло головокружительно чистое, прекрасное небо, с которого лилась ласковая синева. Такие декабрьские утра в горах не редкость. Тогда чувствуешь на щеках своих легкое веяние южного ветра, прилетевшего с моря в ледяные владенья зимы, и какая-то смутная надежда и радость наполняют душу, будто уже

идет весна. Обильный свет словно опьяняет тебя, разжигает в тебе безумную жажду жизни и радости...

Я взял ружье, встал на лыжи и покинул сторожку. Ну как оставаться на месте в такую погоду? Меня встретили безмолвные буковые рощи: я медленно продвигался среди них, осматривая их снизу доверху. Я шел словно в сказочном стеклянном лесу. Какими холодно-чернильными выглядели мхи, как отчетливо выделялось на белой коре каждое пятно, каждая старая рана и опухоль! Вершины буков уходили в то бездонное море, в котором теряется взгляд и от которого невозможно оторвать глаз, а крайние ветки, неподвижные и оледенелые, блестели будто посе-ребренные...

”Льются серебро и синева...”

Но куда идти по этой молчаливой красоте, из которой не хочется ничего упустить? Если пойти в тенистую сторону, где солнце озаряет только верхушки деревьев, а под ними, в голубоватом, оледеневшем снегу, лежит холодное молчание, то испытываешь угнетающее впечатление, будто зиме не будет конца. Хотя там, в этом сумраке, танцуют неуловимые тени каких-то красок, заставляющие тебя остановиться и постараться их определить, я предпочитаю смотреть вдаль, на солнце и свет, на равнины внизу, над которыми стелется тонкий и теплый туман, на этот пепельно-фиолетовый цвет инея, на противоположные вершины, блещущие своими снегами, и все сильнее испытывать распирающую грудь жажду дышать и жить.

Звучно и резко визжит снег под округлыми дугами охотничьих лыж, и шум моих шагов наполняет молчание леса. Я часто останавливаюсь, чтоб еще и еще раз послушать тишину, глазами жадно озираю все вокруг, а душа моя не может насытиться и готова изнемочь и опечалиться от этой красоты. Знаю это по опыту. В такие минуты становишься грустным и задумчивым.

Я решил спуститься в южную сторону. Там было больше солнца и кое-где под броней льда еле-еле слышалось журчание ручья. Слово теплые складки в какой-то белой пазухе, выделялись несколько долинок, в эти утренние часы озаренные солнцем и полные сладкой тишины, — любимые места отдыха серн. Снег стал тверже. Он трещал, обламываясь кругами возле моего следа, комочки его катились по чистой поверхности, спеша опередить меня. Теперь во мне проснулся охотник: я настораживаюсь и внимательно рассматриваю тихие белые складки вокруг, громадные поваленные стволы, засыпанные снегом. Чтобы обмануть дичь, стараюсь идти, как она, в неправильном ритме, и шаги мои производят такой шум, словно я иду на четырех лапах.

Останавливаюсь, стою неподвижно секунды две-три, потом иду дальше той же сбивающей с толку походкой. Наконец подхожу к одной особенно укромной ложбинке. Сердце начинает тревожно биться. Кругом глубокие следы стада серн, и предчувствие подсказывает мне, что сейчас что-то произойдет. Нервы мои напрягаются от ожидания — вот-вот я услышу шум. Я даже перестаю дышать и прислушиваюсь, как охотничья собака, почуявшая поблизости дичь. Проходит секунда, две, пять.

Ничего не видно, но напряжение мое растет. Тишина становится тяжелой, все вокруг как будто затаилось. Тогда я делаю еще несколько шагов вниз по ложбине — и молчание лопается как пузырь. С оглушительным шумом передо мной снимается с места стадо серн: несколько белых задов подскакивают один вслед другому и, мелькнув на миг меж деревьев, исчезают. Но одна из серн, убегающая последней, останавливается, поворачивает голову, глядит на меня и издает дикий рев. Потом, высоко вскидывая задом, с недовольным ворчанием догоняет стадо.

Тишина возвращается снова. Солнце озарило весь лес, снег блестит ослепительно. Солнце слегка нагревает толстое сукуно моей куртки. Пока я спускаюсь вниз, в стеклянном воздухе начинает искриться снежная пыль. Время — около половины десятого, и красивый пепельно-лиловый цвет леса переходит в серебристо-серый.

Я на скате горы над шахтами. В широкой впадине, начинающейся подо мной, среди белых лесов по обоим склонам, видны постройки, черные тропинки, рельсы с вагонетками, закопченные здания. Над всем этим еще лежит холодная тень и поднимается прямо вверх черный дым. Я пересекаю долину, карабкаюсь по противоположному склону и медленно выбираюсь на шоссе. Карабин все сильнее давит плечо, воротник куртки начинает страшно жать шею, и я расстегиваю пуговицы, стараюсь скорей войти в чуждый лес, полный солнца, где стоят огромные деревья и там и тут видны маленькие полянки со сложенными на них проленницами дров. Отовсюду доносится тихий шепот. Иней тает, и с каждого дерева падают капли, тяжелые и блестящие. Они висят теперь на всех сучьях, и в них отражаются все цвета радуги. Некоторые кажутся золотистыми, литыми, как серьги; они срываются, сверкают в воздухе и падают в снег, пробивая ямки на его гладкой поверхности. Такие следы — под каждым деревом; число их быстро растет, в то время как шепот становится все громче, а воздух наполняется блеском и искрами, словно идет редкий, крупный дождь. Шапка у меня мокрая, на ружье тоже упало несколько таких слез. А шоссе по-праздничному пусто и бело, на нем еле видны следы саней и свежие отпечатки копыт маленького оленьего стада, которое пересекло его и ушло наверх, к вековому лесу.

Наклоняюсь и внимательно рассматриваю отпечатки. Продолговатые копыта двух ланей четко оттиснулись на снегу, словно врезанные в отличный гипс, а круглые следы молодого олененка говорят о том, что животные прошли только что. По-видимому, это я их вспугнул и заставил покинуть теплые ложа где-то в тех долинах, где я поднял серн.

Я иду по следам оленей, чтобы узнать, куда они ведут. Снежный покров совсем размяк, и я снимаю лыжи.

В такую погоду по следам бегущего животного легко читать его движения. Вот тут стадо остановилось. Лани повернули свои длинные шеи, наострили уши и целую минуту прислушивались. О том, что они долго стояли, я заключил из следующего обстоятельства: возле каждого четырех следов есть еще два-три. Это говорит о том, что у животных было время изменить первоначальное положение ноги и стать удобней, каждому на своем месте. Первые прыжки их были энергичней, выдавали боль-

шой испуг. Потом животные успокоились и бежали вверх уже не особенно поспешно.

Пока я шел по следам, во мне опять проснулся охотник. Я вообразил, будто на самом деле охочусь, даже снял карабин с плеча и понес его в руке... Так я вошел в вековой лес, где на низком подросте краснели необлетевшие буковые листья. Листья эти такого чистого киноварного цвета, такого теплого и мягкого, что веселят душу. На мокрых стволах уже видны чудесные зеленые мхи, поблекшие от холодов, а на ветвях старых буков висит особенный, зеленовато-серый мох, похожий на косы, оставленные самодивой. Вокруг тихо, тепло. Воздух начинает слегка струиться, снег у подошвы деревьев тает. Как раз такие места любят олени, и я слежу еще внимательней. Мы с капитаном Негро не раз любовались их бегом. Впереди мчатся самые старые лани, за ними испуганно топчут молодые телки и бычки, а позади скачет громадный олень. Он отстает, останавливается и смотрит на нас из-за какого-нибудь древесного ствола своим желтым глазом, потом закидывает рога и несется с такой быстротой, что кажется — просто летит. Однажды мы подняли молодого рогача и красивую лань. Она бежала, уткнув морду ему в бок, как будто в страхе своем искала у него защиты. Эта пара была прекрасна. Словно мы потревожили и смертельно испугали двух влюбленных.

Такие картины незабываемы, они остаются в памяти навсегда, и сейчас мне захотелось снова увидеть оленей.

В пятидесяти метрах сбоку от тех следов, по которым я шел, вдруг появились другие. Меня заинтересовало, какому животному они принадлежат, и я пошел посмотреть.

Вот оно что: два-три часа тому назад тут прошел один наш знакомый — старый олень, живущий в этих местах над шоссе. Я никак не ожидал встретить его сегодня здесь. В это время года старик имел обыкновенные спускаться низко к долине, где кормушки, и там проводил всю зиму. Осужденный на смерть и временем и людьми, он кончал в полном одиночестве свой славный когда-то жизненный путь. Нам было приказано убить его, погрузить на телегу и отвезти в город, где мясо его и старые кости должны были быть проданы с торгов, а рога — украсить прокуренный зальчик лесничества. Приказ об этом был получен еще осенью, но ни одному из нас не удавалось его застрелить. И вот сейчас я имею возможность устроить настоящую охоту и убить старика.

След его выглядел глубокой бороздой в снегу, и я пошел по этой борозде, держа заряженный карабин на изготовку. Я старался идти тихонько, той особой походкой, которая обманывает слух дичи; избегал открытых мест и внимательно вглядывался во все подозрительные предметы. Я знал, что старик хитер, что он не даст мне за здорово живешь подкрасться к нему вплотную, но лес тут был редкий, между деревьями открывались широкие поляны и просеки, стояло много полениц, за которыми можно было укрыться, так что я надеялся, что сумею увидеть его и выстрелить.

Через несколько минут я подошел к небольшой ложбине, лежащей

как терраса над отлогим склоном. След вел к ней. Несколько громадных буков сплетали свои голые ветви над этим местом. В стороне торчала поленница, засыпанная снегом, и краснело несколько кустарников с редкой неопавшей листвой. Направо уходило дно широкого, но неглубокого оврага, все озаренное полуденным солнцем. Чтобы увидеть внутренность ложбинки, надо было пересечь овраг и подняться на другую его сторону. Я так и сделал. И сразу увидел оленя.

Он лежал возле поленницы, на самом краю террасы. Шум моих шагов заставил его встать, и теперь он стоял и прислушивался, словно колеблясь — покидать ли это прекрасное и спокойное место, где скупое солнце приятно грело его серую спину и старые плечи. Он стоял боком ко мне, во всю свою длину, в самом выгодном положении, как большая серая масса, — отличная мишень, которую я мог поразить пулей в любую точку, куда пожелаю. Длинные рога его с перламутровыми верхушками, с поредевшими от старости ветвями стояли неподвижно у него над спиной. Уши двигались взад и вперед, но вся фигура не выдавала ни страха, ни тревоги. В ней скорее была лень, нежелание бежать, какое-то равнодушие вола, ожидающего, чтобы хозяин потянул его за повод куда вздумает. Ему не хотелось нарушать своего спокойствия, и этот чудесный зимний день, словно шепот тающего инея, опьянял его, как нежная музыка.

Его спокойствие озадачило меня, но только на миг. Я притаился за ближайшим стволом и, опершись левой рукой на дерево, начал целиться в его серую лопатку. Указательный палец мой уже нащупал широкий и холодный спусковой крючок карабина, и мушка, просматриваемая в прорезь прицела, неподвижно застыла на том месте, где должно было биться сердце животного. В эту секунду я представил себе траекторию пули: удар будет превосходный, жертва останется лежать на месте. В это мгновение старик начал чесаться. Он не спеша повернул свою длинную лошадиную голову, взмахнул рогами и лениво лизнул себе бок. Потом рога оперлись ему на спину, он высоко поднял морду и принялся медленно чесать себе плечи. Из ноздрей его вырвалось целое облако пара.

Я продолжал целиться, стараясь поймать момент, когда тело его станет неподвижным, чтобы прострелить ему сердце. Палец мой уже снова нажимал спуск, я затаил дыхание и уже чувствовал, как вот сейчас преодолю сопротивление пружинок. Но олень сыграл со мной новую шутку. Он неожиданно переменял положение, повернувшись ко мне грудью и глупо уставившись прямо вперед. Теперь нужно было искать другую точку у него на теле, чтобы застрелить его на месте, так как, если его ранить, он убежит далеко от шоссе, и тогда нам придется приложить немало трудов, чтобы стащить его вниз.

Я стал снова прицеливаться — немного выше линии, где начинались его длинные стройные ноги, в точку у основания шеи. Но олень повернулся и лег, выпустив новое облако из ноздрей. Он, видимо, решил, что ему не грозит никакая опасность.

Это меня успокоило: незачем было спешить, застрелить его можно и в лежащем положении. Но меня смущало его спокойствие. Охотничий

азарт во мне поутих. Ведь жертва остается на месте, не убегает. Дыхание мое сделалось ровным и спокойным, я снова услышал шепот тающего инея, снова стал способен различать все вокруг, глядеть во все стороны и воспринимать все впечатления. И только теперь увидел, как все это невыразимо прекрасно: лежащий вон там олень, вековой лес, в котором каждое дерево сияет и дрожит какой-то радостной дрожью, разукрашенное тысячами искристых капель, отражающих в кристаллической чистоте своей ликующий свет солнца, праздничную тишину горы, синее небо и снежные вершины под ним.

Я понял, что надо поскорей уходить отсюда, зная, что, останься я еще несколько минут, прекрасное чувство пропадет и наступит такой момент, когда охотничья страсть превозможет все другие чувства и я нажму спуск. Разум заключит сделку со страстью, и они сейчас же найдут множество оправданий тому, чтоб убить старика. Ведь он все равно умрет, и лисицы пожрут его тело без всякой пользы. Ведь есть и приказ о том, чтоб убить его. Чего же еще надо? Но тогда сохраню ли я в памяти это прекрасное мгновение, эту чудную картину? Нет, она окончится страшным предсмертным ревом, кровью и судорогами. И вообще кончится, а так останется без окончания и от этого будет для меня еще прекрасней...

Стараясь, чтоб ничего не подозревающий олень меня не заметил, я тихонько спустился на дно оврага и оттуда сошел на пустое, белое шоссе, а там легко и бодро зашагал дальше.

Было уже время обеда. Иней продолжал таять, и шепот шел по всей горе. Только на дне тенистых долин ледяные кристаллики оставались нетронутыми, и там лежали холодные синеватые тени. Всюду над бесконечными холмами и возвышенностями, собранными в могучие, властные складки, сияло теплое послеполуденное солнце, и погожий солнечный день дышал праздничным спокойствием...

Он не спал. Лежал без сна и думал о том, как завтра все это произойдет: как он бросит ведром в конвоира и пустится что есть мочи по выжженному зноем лугу к спасительной нежно-зеленой полоске неубранной кукурузы, метрах в четырехстах-пятистах от чешмы. И когда эта картина отчетливо вставала у него перед глазами, все мускулы тела напрягались и дыхание перехватывало так, будто он и в самом деле уже бежал под выстрелами, чувствуя за собой смерть.

В десятый раз, быть может, представлял он себе это, лежа на нарах в узкой, как чулан, камере и глядя в потолок, на котором лампочка, затянутая паутиной, выткала нежный кружевной узор. Он уверил себя, что, чем явственнее представит себе все заранее, тем легче он это осуществит, тем больше найдет в себе сил. Самое главное — время: точно рассчитать секунды и скорость ног.

Он верил, что побег удастся, и тщательно проверял себя, чтоб убедиться в том, что ощущение это его не обманывает. Нужно было во что бы ни стало сохранить эту уверенность, и он ни разу не позволил себе подумать о том, что его могут убить (как будто это совершенно исключалось) или же ранят и схватят, что было бы хуже всего, так как в этом случае личность его непременно установят и небольшой, но ценный склад оружия будет навсегда потерян для товарищей.

Он не мог себе простить, что дал себя арестовать какому-то жалкому полицейскому агенту. Дурацкий случай. Это произошло на базаре; он стоял возле лотка, где жарили пончики, и смотрел по сторонам, как вдруг рядом вырос агент и приказал следовать за ним. Он повинился, убедившись, что удрать невозможно. Но главной причиной, побудившей его сдать без сопротивления, была уверенность в том, что его задержали просто так, на всякий случай, а документы у него надежные.

Он иронически-любезно улыбнулся и покорно последовал за агентом, продолжая по дороге в полицию доедать купленные на базаре пончики. А на душе было очень беспокойно, несмотря на поддельное удостоверение, которое уже не раз его выручало, и пропуск, в котором значилось, что студент Антон Ахтаров, уроженец Софии, эвакуированный в такое-то село Плевенской околии, направляется в этот городок по семейным обстоятельствам.

Очевидно, он недооценил провинциальную полицию, рассчитывая, что его интеллигентный вид и хорошее платье легко собьют ее с толку. Начальник местного участка оказался человеком подозрительным, недоверчивым. Молча выслушал его объяснения, пробежал глазами документы и, поглаживая пальцами свой огромный, безобразный нос, целую минуту разглядывал Антона презрительно и равнодушно. Конце этому занятию положила влетевшая муха. Начальник участка смеялся, бросил на арестованного сердитый взгляд и, не обращая внимания ни на

какие протесты, приказал задержать его.

С этой минуты в душу Антона закралось зловещее подозрение: не произошел ли еще один провал? Быть может, тот человек, для встречи с которым он прибыл, уже взят? Он кусал губы в бессильной злобе на самого себя, на свою неосторожность, на то, что так глупо позволил себя арестовать. Никогда бы не поверил, что попадет в руки полиции, не оказав сопротивления, никого не убив и не будучи сам убит. Он знал себя и боялся, что не выдержит пыток при допросе. И вдруг его взяли — так просто, так неожиданно и так недостойно! Слава богу, что в лацкане пиджака зашит яд, к которому он прибегнет, если не останется никакой надежды. Он то и дело нащупывал его рукой, чувствуя, как сжимается сердце. Он часто без всяких сантиментов думал о смерти, говоря себе, что самое тяжкое — боль, и страх перед смертью проистекает именно от страха перед болью. Но ведь боль не может длиться вечно? Угаснет сознание, и вместе с ним прекратится боль.

Внутренне он давно уже подвел свой жизненный баланс. Его жизнь безраздельно отдана партии. Если партия одержит победу в борьбе и он доживет до этого дня, то останется жить. Если же партия проиграет битву, то он будет бороться столько, сколько хватит сил, и рано или поздно сложит голову в этой борьбе. Он не успел вкусить никаких радостей жизни, хотя ему уже скоро двадцать восемь и он в расцвете молодости и сил. Он ни разу в жизни еще не любил, ни разу не поддался голосу плоти, предпочитая книги обществу девушек, борьбу — развлечениям, дело — всему остальному. Сын рабочего-металлиста, он с огромным трудом, самоучкой, получил образование и подготовил себя к тому трудному, опасному пути, который был им избран. Окружающий мир был ему враждебен, у него было мало друзей — только его товарищи, единомышленники, с которыми он виделся редко, которые жили в таком же напряжении, как и он. До поступления в партизанский отряд он был на ответственной партийной работе, выполняя труднейшие задания по организации Сопротивления.

Помимо злобы на самого себя, не давала ему покоя еще мысль о том, пошлют ли его завтра снова к чешме, за водой. Если не пошлют, тогда все потеряно, всякая возможность побега исключается.

Он знал, что его будут держать под арестом впредь до выяснения личности. Должно быть, сейчас наводят справки. Иначе чего ради стали бы они его фотографировать? Привели какого-то тщедушного венгерского еврея, который горбился за допотопным своим аппаратом, спрятав голову под кусок черной материи. И пока Антон стоял у стены, начальник участка и агент вглядывались то в него, то в карточку, которую держали в руках. Потом он заметил по выражению их лиц, что они недовольны, и с облегчением заключил из этого, что карточка не его. Агент отвел его назад в камеру, и, когда он снова приняляся негодовать на незаконный арест и даже угрожать, полицейский чин несколько смущенно сказал: "Может, вы и правы, но мы обязаны проверить, что вы за человек и что вам нужно у нас в городе". Дал ему одеяло и вообще выказывал явное расположение. Было это вчера в первой половине дня,

а после обеда, когда он потребовал, чтобы ему разрешили подышать свежим воздухом, его послали за водой.

Когда его вывели на задний двор, там уже стояла впряженная в телегу лошаденка, а рядом — арестант, молодой паренек, смуглый, кудрявый, который, слегка прихрамывая, усердно хлопотал возле бочонка для воды. При виде этого парня у него перехватило дыхание. Не связной ли это, не тот ли самый человек, который должен был передать ему шесть карабинов и патроны?

Оцепенев, смотрел он на паренька, пораженный тем, что видит его здесь, и притом не избитым до полусмерти, а бодрым и здоровым. Если это в самом деле связной, то, должно быть, он попал сюда совсем недавно и, возможно, приведен нарочно, с провокационной целью?!

Он взглянул на конвойного в надежде прочитать у того на лице что-то такое, что подтвердит его подозрения, и оглянулся вокруг, почти уверенный в том, что за ним наблюдают, но черноволосый высокий полицейский глядел на лошаденку, а больше во дворе никого не было. В смятении Антон подошел ближе, не спуская с парня глаз. Мало-помалу ему все же удалось придать лицу спокойное и вместе с тем обиженное выражение. Ведь следовало разыгрывать роль оскорбленного интеллигента — мало того, что арестовали без всяких оснований, так еще посылают воду возить!

Двор был освещен послеполуденным августовским солнцем. Длинная тень протянулась от старого, выкрашенного бледно-розовой краской ветхого здания к навесу, где стояла пролетка с облепленными грязью колесами. Несколько коек, поверх которых кучей лежали тюфяки, жарились на солнечной половине двора, отбрасывая тени на замшелые плиты пересохшей чешмы, от которой остались только цинковая труба да медный кран. Двор был обнесен каменной стеной, примыкавшей к заднему фасаду здания; со стороны улицы перед домом были разбиты рабатки с увядшими цветами.

Антон пошел рядом с лошаденкой, которая нервно жевала удила. За широкими воротами оказалась узкая крутая улочка, с обеих сторон которой тянулись каменные ограды. Оттуда выглядывали сливовые сады и сгорбившиеся домишки.

Он нес в руках ведро и воронку — с их помощью будут наполнять бочонок водой. Улочка была каменистая, и бочонок оглушительно громыхал. Под гору лошаденка прибавляла ходу, и низкорослому хромому пареньку было трудно ее сдерживать. Антон подошел и забрал у него поводья.

— Держи ведро! — сказал он и, прежде чем тот протянул за ведром руку, успел шепнуть ему на ухо пароль.

Тот вытаращил глаза, большой рот изумленно раскрылся, обнажились зубы.

— Товарищ... — охнул парень.

— Ш-ш-ш... — сказал Антон. — Бери ведро. Не останавливайся. — И тихонько добавил: — Иди слева от меня.

Они продолжали идти рядом. Конвоир шел позади. Когда на ка-

ком-то узком, крутом повороте тот чуть поотстал, Антон, не поворачивая головы, спросил:

— Тебя когда взяли? Вчера?

— Да,— печально подтвердил парень.

— У мельницы?

— Нет, дома. Я только что собрался идти...

— За что взяли?

— Обыск. Нашли запрещенные книжки.

— Винтовки?

— На месте.

— Где?— нетерпеливо спросил Антон.

— На мельнице, под полом.

Антон облегченно вздохнул.

— Били тебя?

— Не очень. Я им всегда сапоги чинил. Думаю, особенно бить не будут.

— Все отрицай.

— Ясное дело.

Конвойный поравнялся с ними, и они замолчали. Телега выехала за черту города, и на проселке бочонок громыхал уже не так оглушительно.

Через минуту они были уже возле чешмы, старой каменной чешмы, высокой и массивной, с длинным корытом, от которого тянуло затхлым запахом тины. Стояла засуха, воды было мало, и бочонок наполнялся медленно.

За чешмой тянулось ровное голое пространство—общинный выгон, а за выгоном—жнивье, в конце которого стояла несжатая кукуруза...

2

Если, допустим, на каждые сто метров нужно десять секунд, то он может преодолеть все расстояние секунд за тридцать пять—сорок, самое большее за минуту...

Антон вдруг вскочил, подошел к двери, прислушался. Слышно было, как храпят полицейские. Где-то скреблась мышь. Паренек-сапожник сидел в соседней камере, за стеной. Антон пытался с ним перестукиваться, но тот понятия не имел о морзянке.

Убедившись, что за дверью никого нет, он выпрямился, опустил руки и приподнял правую ногу. Потом резким движением отпрянул назад и вскинул руки к груди, как бы защищаясь от какого-то предмета, которым в него швырнули. Левая рука отбросила воображаемый предмет, а правая метнулась к бедру. Там она задержалась и, когда нога отсчитала еще два удара, вытянулась горизонтально.

Он стал размышлять. Резко очерченное лицо его с широким подбородком и тонким носом с легкой горбинкой стало озабоченным, недовольным. За все время, пока он проделывал эти манипуляции, нога отсчитала всего пять ударов. Выходило, что после того, как он бросит в

конвойного ведром и пустится бежать, тому, чтобы выстрелить, потребуется всего пять секунд.

Он недовольно поморщился и огорченно покачал головой. Если бы была возможность ударить полицейского по голове, то тяжелая, окованная медью воронка сослужила бы лучшую службу, чем простое ведро. Но если тот снова заберется наверх, на кладку самой чешмы? Снизу его не ударишь. Все дело случая. Может быть, на этот раз будет другой конвойный, может быть, этот не станет забираться наверх?

Он снова лег и попытался заснуть. Надо, чтобы завтра нервы были в порядке, чтобы тело было бодрым и отдохнувшим. Он укрылся одеялом и ощутил тяжелый запах пота и ружейного масла. В возбужденном воображении возник партизанский лагерь — такой, каким он был накануне вечером; сидя у потухшего костра, командир отряда Гетман, комиссар и он, Антон, втроем обсуждали предстоящую операцию: надо было доставить в отряд винтовки и патроны к ним. Эти винтовки были выделены для их недавно сформированного отряда, но в результате неожиданного провала десять членов подпольной молодежной организации городка попали в лапы полиции. Оружие найдено не было, и только хромой подмастерье-сапожник, чудом оставшийся на свободе, знал, где оно спрятано.

Потом он увидел темное поле, по которому шел прошлой ночью, поблескивающие во тьме скирды соломы, мягкую, как бархат, пыль безлюдных проселков, высокое дерево, овраг и, наконец, темный силуэт старой, заброшенной водяной мельницы, вокруг которой тоненько попискивали комары и квакали лягушки. Он подкрался поближе, лег на живот и, выставив вперед свой тяжелый маузер с прикладом, долго вглядывался в мрачный силуэт мельницы. Ни единого звука не доносилось оттуда, и, на всякий случай сказав пароль, он пополз по заросшей травой, высохшей канавке, чтоб удостовериться, действительно ли на мельнице никого нет...

Заметив прислоненную к двери палку, он успокоился. Это был условный знак: значит, встреча со связным состоится в городе. Тем не менее он тщательно осматривал все вокруг и решил, что переночует не на самой мельнице, а в сторонке. Комары кусались нещадно, целые тучи их звенели у него над головой, так что пришлось повязать носовым платком шею и как можно ниже оттянуть штанины брюк-гольф. Он пробыл там до рассвета, пока солнце не окрасило в розовый цвет скирды соломы на жнивье и верхушки деревьев. Тогда он решил зарыть револьвер в землю возле мельницы и выкупаться в речушке. В тех случаях, когда документы были надежные, он всегда поступал так: спрятав оружие, спокойно входил в село или город, где предстояла конспиративная встреча, и, если случалось, невозмутимо разговаривал с полицейским, заранее придумав убедительную причину своего появления здесь. Затем отправлялся в гостиницу и, пока кто-либо из полицейских чинов рассматривал его удостоверение личности, доставленное в участок владельцем гостиницы, спал спокойным сном.

...Он вышел на дорогу и вскоре оказался в городке. Вымощенная

булыжником бесконечно длинная улица, освещенная утренним солнцем, повела его меж старых двухэтажных строений с низко нависающими крышами, похожими на широкополые шляпы, с лавчонками и длинными низкими оградами. При каждом доме—двор с широкими, на деревенский лад, воротами, перед воротами—чисто выметенная, выложенная плитняком дорожка. Ему не случалось прежде бывать в этом городке, так что первым делом следовало разобраться в его расположении. Он догадался, что за домами протекает речка—та самая, в которой он купался; увидел, что городок тихий, захолустный, но довольно далеко растянулся в длину. Ряд тополей с высохшими верхушками, четко вырисовываясь на фоне голубого утреннего неба, обозначал течение реки. На небольшой площади стояли два грузовика со снятыми шинами, колеса подперты большими камнями. Надо бы побриться. Бессонная ночь и долгая дорога вымотали силы и придали лицу тревожное выражение. Он вошел в первую попавшуюся цирюльню, где только-только успели побрызгать пол, и, пока его брили, рассматривал себя из-под прищуренных век. Расспросы любезного и любопытного брадобрея несколько смутили его.

Потом он отправился на базар, по пути разглядывая вывески сапожных мастерских, потому что ему нужно было отыскать сапожную мастерскую "Начало" и попросить починить башмак, специально для этого разодранный.

На базарной площади жарили пончики. Голодный как зверь, он решил слегка подкрепиться, прежде чем продолжать розыски мастерской. Вот тут-то и подошел к нему агент...

Быть может, эта ночь—последняя в его жизни... Дело случая. Рока нет—есть борьба, а в ходе борьбы—тысячи случайностей...

...Через десять секунд он будет в ста метрах от конвойного. Попасть из револьвера на расстоянии в сто метров не так-то просто. Короткий ствол отклоняется в сторону, и пуля пролетает мимо. Кроме того, он ведь побежит не прямоком, а будет петлять. И еще один фактор: волнение. Рука у полицейского наверняка будет дрожать...

"Он может попасть в меня только случайно", — заключил он, отгоняя страх. Мозг, привыкший повиноваться воле, мгновенно переключился на самое главное, и Антон мысленно еще раз воспроизвел все движения конвойного, под одеялом отбивая ногой секунды. Он почти ощущал сейчас в руках тяжелую, окованную медью воронку, отчетливо видел ее.

Он укрылся с головой, поджал ноги, потом вдруг вскочил и скинул башмаки. Партизанская жизнь отучила его раздеваться перед сном. Снял пиджак, скатал, положил под голову вместо подушки. И когда снова лег, почувствовал, как ломит в висках. "Надо заснуть", — подумал он. Но, по-видимому, в таком возбужденном состоянии заснуть было невозможно. Нескончаемые вереницы образов и картин, вчерашняя дорога, неожиданный арест, обдумывание побега, сомнения и колебания—все это взвинтило нервы. На этот раз мысль его обратилась к тому ветхому зданию, где он сейчас находился.

Здание было двухэтажное. Внизу помещалась общинная управа, наверху—управление околии и полицейский участок. Это исключает возможность избиений в дневное время. Значит, допросы ведутся только по ночам. Но, может быть, внизу есть подвал? Наверно, там-то и истязали тех десятерых ремсистов...

Чтоб успокоиться, он прибегнул к старому, испытанному средству, которое выручало его всегда, когда им с товарищами по отряду случилось в дождь заночевать в лесу, на кучах мокрого хвороста: заставил себя думать о чем-нибудь хорошем—например о том, как кончится война, о победах Красной Армии. Русские уже в Бессарабии. Недели через две-три вступят, значит, в пределы Болгарии. Даже если полиция дознается, кто он и зачем явился в город, можно рассчитывать, что он дождется прихода русских...

Эта мысль привела его в еще большее возбуждение, наполнила душу ликующей радостью, но он постарался тут же подавить ее, потому что это могло ослабить волю, отвлечь от предстоящего ему дела.

“Ребячество! Так нельзя!”—осудил он сам себя и, повернувшись на другой бок, решил больше ни о чем не думать.

Вокруг стояла убийственная тишина. Казалось невероятным, чтобы в здании находилась еще хоть одна живая душа. Такая же тишина стиснула в темных своих объятиях весь город. Но вдруг раздалось грозное урчание грузовых машины, старое здание заходило ходуном, и машина промчалась дальше.

Может, это направляют куда-то карательный отряд? Ему казалось странным, что он не заметил в городе ни одного жандарма. Он знал, что они обосновались неподалеку—в большом селе, километрах в двадцати от города.

...Как-то раз он пришел в маленькую горную деревушку. Пришел за солью—соль была очень нужна в отряде, и ее всегда не хватало. Встретился со связными, узнал, что мешок спрятан за деревней, в условленном месте, откуда он и должен будет захватить его на обратном пути. Ему рассказали, что в общине сидит пойманный партизан, какой-то молодой учитель. День Антон провел в чьей-то сторожке на огородах, а когда стемнело, вскинул на спину мешок с солью и двинулся в горы. Неслышно шел он через поле, напрямиком к ближайшему лесу. Взойдя на невысокий холм, где когда-то стояла деревенская церковь, он услышал голоса и остановился. Ухо различило удары заступа и негромкое позвякивание лопаты. Охваченный любопытством, он подождал еще несколько минут. И вдруг тихую тьму ночи разорвал отчаянный крик, сопровождаемый глухими ударами и грубой бранью...

Позже он узнал, что был свидетелем смерти учителя. В тот вечер в село явились каратели...

Нет, так он никогда не уснет!

Он заставил себя думать о годах детства, вспомнил мать—высокую, худую женщину с мужскими чертами лица и высоким лбом, которую он уже давно похоронил. Ее образ подействовал на него успокаивающе, и он почувствовал, что нервы уже не так натянуты, как раньше. Мыслен-

но увидел маленький домик в Лозенце¹ — с деревенским двориком, где когда-то цвели неприхотливые цветы, а над росшей позади дома тыквой возвышалось несколько кукурузных стеблей. Так мысль обратилась к прошлому — сначала к отчужденному дому, потом к тайным сходкам на Витоше либо у кого-нибудь из товарищей, — к тому миру, где он вырос и сформировался как личность, к миру партии и борьбы. Соприкаясь с этим миром, он проникался уверенностью в победе, готовностью принести себя в жертву общему делу. В этом мире было меньше оставшихся в живых, чем павших в борьбе, к чьим теням завтра, быть может, присоединится и его тень...

Прежде чем заснуть, он с сожалением подумал о своих часах, тикавших сейчас в столе у начальника участка. Обидно, что придется расстаться с ними и с документами. Да, документы — это в самом деле огромная потеря. Их удалось раздобыть только благодаря одному товарищу — писарю общинной управы.

Он уснул, когда старые турецкие часы на башне пробили один раз.

3

В камере, если это название подходит к узкой и темной клетушке, наскоро приспособленной для содержания арестантов, было всего одно оконце, выходившее на задний двор. Годами немывтое, оно было до того грязным, что казалось, будто в нем вместо стекла — листы целлулоида. Вделанная в стену решетка еле проглядывала сквозь них. Дневной свет с трудом проникал внутрь, и, если бы не электрическая лампочка, даже собственную одежду и то нелегко было бы отыскать.

Проснувшись, он не мог сообразить, сколько сейчас времени, и стал прислушиваться, чтобы по доносящимся звукам хоть приблизительно определить, который час. В коридоре стучали сапоги полицейских, слышны были голоса, топот ног на лестнице, гулкие всхлисты кожаных ремней — во дворе умывались и, дурачась, гонялись друг за дружкой полицейские. Значит, было еще совсем рано.

Он дождался, пока шум поутих и на городских часах пробило семь. И тогда принялся колотить в дверь. Через несколько минут чей-то грубый голос осведомился, что ему надо. Его вывели во двор умываться. Полицейские разглядывали его с хмурым любопытством. Тем не менее с ним обошлись довольно любезно: полицейский, который его сопровождал, белобрысый крестьянский паренек, стал ему поливать. Это его приободрило. Он попросил, чтоб ему купили сигарет, и остался в коридоре ждать. Глядел на полицейских и думал: "Который из них будет сегодня стрелять в меня?" Вчерашнего, высокого, черноволосого, нигде не было видно, а очень хотелось получше его разглядеть. Все, кто сейчас одевался здесь, в караулке, были, судя по всему, из крестьян. Медлительные, неповоротливые, они относились к службе спустя рукава; собственное хозяйство, семья заботили их куда больше, чем безопас-

¹ Район на окраине Софии.

ность государства.

Он держался по отношению к ним хмуро — отворачивался, морщился, продолжая изображать обиженного интеллигента, несправедливо пострадавшего от произвола их начальства. И на расспросы, за что его взяли, раздраженно отвечал: "Спросите вашего начальника. Ему лучше знать".

Время приближалось к семи тридцати, когда в присутственных местах начинаются служебные часы, и его снова заперли в камеру.

— Я хочу позавтракать, — заявил он. — Купите мне чего-нибудь.

Полицейский согласился, взял у него денег и вскоре принес несколько пирожков с творогом. С жадностью проглотив их, он присел на нары и закурил. Он не был заядлым курильщиком, курил редко, но все же привык к никотину. В тяжелые минуты табак успокаивал нервы.

Очень хотелось узнать, есть ли тут, помимо него самого и паренка-подмастерья, еще и другие арестованные. Спросить об этом он не решился, однако был почти уверен, что больше арестантов здесь нет. В противном случае он бы их увидел и не сидел бы в камере один. Это было ему на руку — выходило, что больше за водой послать некого. И все-таки вопрос оставался открытым — кто знает, пошлют ли его, и в какое время дня это произойдет.

Бежать надо сегодня. Откладывать нельзя. К вечеру двое товарищей по отряду будут ждать его в семи километрах отсюда, у одной из временных партизанских стоянок. Он должен встретиться с ними, сообщить о том, что произошло, а потом вместе с ними вернуться на мельницу и забрать винтовки. Некоторые партизаны в отряде были безоружны. И каждый день прибывали все новые бойцы.

Хорошо бы повидаться сейчас с агентом. Надо снова выразить возмущение незаконным арестом и заодно кое-что выведать — например, пошлют ли его снова за водой и что думает с ним делать начальник участка. Он вслушивался, надеясь уловить голос агента, но в общем шуме хлопающих дверей, громкого говора и топота ног по лестнице трудно было различить малознакомый голос. Из комнаты, где сидел паренек-сапожник, не доносилось ни звука. Неужели ночью, пока он спал, того куда-нибудь отправили?

Он подошел к стене, постучал. Паренек ответил. Это его успокоило. Должно быть, лежит и раздумывает над своим положением, дожидаясь, когда о нем вспомнят и выпустят во двор.

"И дернула же его нелегкая держать дома нелегальную литературу!" — подумал он с досадой и раздражением.

Задвижка щелкнула, на пороге появился агент. Его густые, русые, какого-то грязноватого оттенка волосы были смочены и тщательно зачесаны вверх, подбородок лоснился — наверное, жрал пончики на базаре. Рыбое лицо было сурово, блекло-серые глаза глядели надменно и строго.

— К начальнику! — произнес он и кивком показал: выходи.

Антон вышел в коридор, оттуда пошел в небольшую приемную с обшарпанным, грязным полом, где толпилось множество крестьян, приехавших хлопотать о пропусках на выезд. Агент постучал в одну из дверей и втолкнул арестованного в кабинет начальника участка.

Вытертый, пыльный синий ковер покрывал середину комнаты и вел к старомодному письменному столу. Оттуда, из-под портретов царя и Гитлера, устремился ему навстречу холодный колючий взгляд, он увидел огромный нос, смешно утолщавшийся книзу, и под носом маленькие усики. Начальник держал в руках металлическую линейку, которую он согнул дугой. Глаза его смерили Антона с головы до ног, задержались на загорелом худом лице, на слегка порьжевших кончиках волос и, внимательно оглядев платье, снова нагло уставились в лицо.

Прежде чем полицейский успел раскрыть рот, Антон раздраженно спросил:

— Вы долго еще намерены держать меня под замком, точно карманного воришку?

Начальник наклонился вперед, пораженный его тоном. Ни "здравствуйте", ни "господин начальник"!

— Первым спрашивать буду я, а уж потом ты!—рявкнул он, стукнув линейкой по столу.

— Я буду жаловаться куда следует!—решиительно заявил Антон.

Начальник смерил его долгим взглядом и презрительно сощурился.

— Ответишь мне на несколько вопросов, тогда поглядим, кто и на кого будет жаловаться!

Антон негодуяше взглянул на него. Чтобы лучше прощупать почву, он решил любыми средствами вывести противника из себя. Какую играть роль—ему было ясно. Он много раз обдумывал это, почти перед каждым выходом на задание. Главное сейчас—получше исполнить ее.

И с достоинством произнес:

— Я сын полковника запаса и угрожать вам не собираюсь. Но тем больше у меня оснований протестовать.

Начальник приподнял бровь и снова воззрился на него, словно ища подтверждения сказанному.

— Это меня не интересует... то, что вы говорите о себе,—заметил он, однако уже совсем иным тоном и перейдя на "вы".—Кто вы такой, будет установлено позже. Меня интересует, на чем вы приехали в город.

Антон, для которого этот вопрос не был неожиданностью, коротко ответил:

— На подводе.

— Когда?

— Вчера утром.

— Как звали возницу?

— Бай Петко, что ли...

— Имя полностью?—Наклонившись над письменным столом, начальник записывал ответы.

— Не знаю. Пожилой крестьянин.

— "Не знаю"—не самый удачный ответ и ведет прямым путем в арестантскую.

— Когда он исходит из уст какого-нибудь лжеца,—возразил Антон, подчеркивая каждое слово.

— Гм... Где нашли подводу?

- На вокзале в Верхней Оряховице.
- Сами ее подрядили?
- Не подрядил, а попросил подвезти по дороге.
- Где проживает возница?
- Он называл какую-то горную деревушку, забыл какую.
- Гм... Значит, забыли? Не знаете и забываете...

Начальник участка отложил карандаш в сторону и, облокотившись на стол, насмешливо поглядел на Антона.

— Постарайтесь припомнить,— сказал он с издевкой в голосе.

— Вспомню, наверно, но не сразу. По-моему, речь шла о каком-то Мийкове...—Он прекрасно знал, что деревни под таким названием не существует.

— Вы уверены?—спросил начальник, снова берясь за карандаш.

— Не совсем... Но что-то в этом роде...

Начальник записал ответ в блокнот.

— Послушайте,— сурово сказал он,— а где вы сошли с подводы?

— У въезда в город.

— Почему же там, а не в самом городе?

Антон, в свою очередь, насмешливо улыбнулся.

— Так, захотелось...—ответил он.

— Ах, "захотелось"?.. И так, у въезда в город?

— На моем месте вы поступили бы точно так же.

— Что вы имеете в виду?

— Только то, что когда проедешь на подводе три десятка километров, то, добравшись наконец до города, с радостью соскочишь на землю. Попробуйте себе представить, каково мне было трястись всю ночь.

— Почему вы не стали дожидаться рейсового автобуса?

— Хотел дождаться. Но в гостинице, где мне отвели номер, была такая грязь, что я предпочел двинуться в дорогу пешком, чем провести там ночь. И если б не подвернулась подвода, так бы пешком и добрался до города. Я не привык ночевать где придется.

Наступило молчание. Начальник участка уставился куда-то в сторону, поглаживая себя линейкой по щеке. Потом, не поворачивая головы, глухо спросил:

— С какой целью вы приехали в город?

— У меня тут есть дело...—небрежно ответил Антон.

— Какое?

— Этого я не могу вам сказать.

— Скажете. Если хотите, чтобы я вас отпустил.

— В пропуске все указано.

— Пропуск у вас просрочен... Больше чем на месяц... Он недействителен. Объясните, с какой целью вы приехали в наш город.

Антон достал коробку сигарет и, точно у себя дома, преспокойнейшим образом закурил. Даже поступал сигаретой по крышке, перед тем как поднести спичку. Начальник участка изумленно взглянул на него, нахмурился, но ничего не сказал.

— Отвечайте, зачем вы сюда приехали?—повторил он уже сердито, начиная терять терпение.

— Не скажу. Это касается моей личной жизни.

— Тогда я буду держать вас здесь, пока вы не скажете!—вскипел полицейский.

— Нет, вы не имеете права задерживать меня больше ни на час.

Начальник вскочил.

— Что за наглость!—завопил он.—Не будете отвечать, я вас в подвал засажу! Что вы валяете дурака, где вы находитесь? Это вам не пивная!

Антон молчал.

— Зачем вы прибыли в наш город? Даю минуту сроку,—заявил начальник и, повернувшись к нему спиной, отошел к окну.

С улицы доносился негромкий монотонный шум городка. Скрипела телега, слышны были голоса прохожих, шаги. Где-то, должно быть, набивали на кадку обручи, и удары молотка гулким эхом отражались от стен домов. Вдали виднелась сине-зеленая цепь гор, залитых утренним солнцем, и чистое безоблачное небо над ними.

— Это насилие,—сдавленно проговорил Антон тоном человека, которого вынуждают открыть свою тайну. Он оглянулся, посмотрел на агента и тихо добавил:— Я приехал из-за женщины...

Начальник повернул голову и с любопытством взглянул на него. Агент весело усмехнулся и провел рукой по своим блестящим, смоченным волосам. В кабинете наступила тишина. Антон стоял потупившись—вид у него был сумрачный, сердитый. Начальник подошел к нему.

— Кто эта женщина?—спросил он.

В этот момент зазвонил телефон. Начальник нагнулся, снял трубку. Чей-то взволнованный голос о чем-то ему доложил. Лицо начальника выразило тревогу.

— Где обнаружен?—спросил он, и голос в трубке что-то произнес в ответ.—Когда? Уже выехал? Само собой разумеется... Пусть его кто-нибудь сопровождает... В одиночку ни в коем случае не посылать... погоди минуту...—Он прикрыл трубку ладонью и, не взглянув на Антона, приказал агенту: — Увести! И прикажи старшине проверить личность. Пускай позвонит в Пордим. Переведи из камеры в караульное помещение.

Он махнул рукой—неопределенный жест, который можно было истолковать и как "до свидания", и как "пошел вон", и вновь вернулся к разговору по телефону.

Агент вывел Антона в приемную.

— Я прошу оставить меня в прежнем помещении,—сказал Антон.

— Почему? Тут ведь лучше.

— Я не желаю, чтоб полицейские приставали ко мне с расспросами, кто я и откуда, и чтоб на меня пялили глаза те, кто приходит сюда по делу.

Агент подумал, потом равнодушно бросил:

— Как хотите...—и проводил его в камеру.

С этой минуты он начал отсчитывать время—по неторопливым ударам городских часов. Минуты тянулись мучительно долго—казалось, сердцу, бившемуся отрывисто и глухо, с трудом удается прогнать их прочь, одну вслед другой. Он сидел и ждал, когда ему принесут пообедать, как обещал агент; ждал, чтобы его послали за водой; ждал, что его снова вызовут к начальнику. Напряженно вслушивался в каждый звук, доносившийся из коридора. Затаив дыхание, старался ничего не упустить. Быть может, именно сейчас старшина дозванивается в Пордим, в полицейский участок, где якобы выдан его пропуск. И тамошний начальник ответит, что такое лицо у них среди эвакуированных не значитя и пропуск фальшивый.

От волнения он то ложился на нары, то вставал и принимался шагать по узкой камере. Мысль перескакивала с одного на другое. Он думал о товарищах по отряду, которые вечером будут ждать его и теперь, быть может, уже подходят к месту встречи; в страхе перед возможной гибелью возвращался назад, к прошлому, ища там утешения и поддержки; вновь вспоминал мельницу, где были спрятаны шесть винтовок. Ощущение того, что где-то совсем рядом городок живет привычной мирной жизнью, тяготило его и словно отдаляло от того мира, к которому он принадлежал,—мира, исполненного напряжения и борьбы. Мозг, не зная усталости, вырабатывал план побега. Предусмотреть все заранее было явно невозможно, но воображение подсказывало новые и новые варианты. Тщетно пытался он успокоиться, взять себя в руки.

В полдень явился агент, отворив дверь, которая, как оказалось, не была заперта. Антон ждал, с чего тот начнет.

— Я принес вам обед,—сказал агент, и в камеру вошел полицейский, осторожно и неумело держа в руках тарелку с едой.

— Нам еще не удалось дозвониться. Старшине было некогда—сейчас сюда должны доставить раненого партизана.

Антон, вздохнувший было с облегчением, похолодел, услышав о партизане. Агент же счел его вздох за выражение досады и недовольства.

— Не везет вам,—сказал он, явно желая его утешить.—Все телефонные линии заняты. Вчера вечером жандармы напали на след партизанского отряда. Произошло столкновение, и теперь их преследуют.

Полицейский принес табурет, поставил на него тарелку, положил вилку, хлеб. Чтобы скрыть волнение, Антон сел на нары и принялся за еду. Колени у него дрожали, но он постарался овладеть собой и небрежным тоном спросил:

— Где же это произошло?

— К востоку от города.

— Не может быть!—мелькнула мысль.—Наш район—на запад отсюда. Или это другой отряд?" И равнодушно, словно сообщенная агентом новость ничуть его не заинтересовала, произнес:

— Я бы хотел, чтоб меня снова послали за водой, хоть подышать свежим воздухом.

— Можете погулять по двору,— предложил агент.

— Нет, лучше за водой, чем вышагивать по двору, точно арестант. Предпочитаю общество водовозной клячи...

— Ладно,— ответил агент.— Как пригонят лошадь, так и отправитесь. Часика в три...

Антон торопливо поел, совершенно не ощущая вкуса пищи. Но есть было необходимо, чтобы набраться сил.

Спустя несколько минут отворилась дверь соседней камеры. Паренька куда-то повели. Уж не на допрос ли? Он вслушивался, не на шутку встревоженный. Оправдаются ли ожидания паренька? Отнесутся ли к нему со снисхождением? Если его передадут в руки жандармов, ему недобровольно. Антон тихо шагнул по камере, время от времени подходя к двери и прикивая к ней ухом. Если не считать обычного для присутственного места шума, ничего не было слышно. Вдруг во дворе затарахтела телега, затопали по лестнице тяжелые сапоги. Он нажал на ржавую дверную ручку и не торопясь отворил дверь. В коридоре не было ни души.

Сердце бешено заколотилось. Отчего бы не попытаться бежать прямо сейчас? Быстро спуститься вниз и выйти на улицу. Если кто-нибудь остановит, он скажет, что ему больше не вмоготу торчать в этом чулане. Раз его не заперли на ключ— значит, прониклись к нему доверием. Ведь сам начальник участка приказал перевести его из камеры в караульное помещение.

В коридоре было довольно темно. Неслышно ступая, он дошел до караулки. В распахнутую дверь лились потоки ослепительного дневного света. Он подошел ближе и заглянул внутрь. Какой-то полицейский пришивал пуговицу к форменному кителю, лежавшему перед ним на стуле. Он сидел лицом к двери.

Антон отпрянул, и доска под ним скрипнула. Полицейский встал и пошел к двери. Антон тоже, уже не таясь, шагнул вперед, так что они чуть не столкнулись.

Оба холодно поглядели друг на друга. Полицейский был невысокого роста, плотный, коренастый. На широком умном лице светились хитрые прищуренные глазки. Антон улыбнулся.

— Ты это куда?— спросил полицейский.— Кто разрешил?

— К тебе,— ответил Антон.

— То есть как ко мне?.. И как тебе удалось отпереть камеру?— Глаза полицейского выразили тревогу.

— А она не заперта,— объяснил Антон.— И мне осточертело сидеть одному в темноте.

— А ну, давай обратно!— Полицейский оглядел его тяжелым, подозрительным взглядом.

— Ваш начальник мне разрешил находиться в караульном помещении.

— Назад давай! Без разговоров!

Антон подчинился. Полицейский пошел за ним следом. Щелкнул ключ. Дежурный желал пришить свою пуговицу спокойно, без помех.

Ненависть ко всем полицейским на свете охватила его с новой силой,

а толстый этот чурбан вызывал чувство омерзения. Его надо опасаться. Антон все еще ощущал на себе тяжелый взгляд этих желтых, цвета янтаря, глаз. Стиснув зубы, он опустился на нары. Как же это он оплошал! И надо же было этой проклятой доске заскрипеть так не вовремя!

В коридоре затопали вразнобой. Это привели обратно паренька. Куда его водили? На допрос? Вряд ли допрос мог окончиться так скоро.

Он услышал щелканье замка и голос агента, говорившего: "Подумай как следует, знаешь ты его или нет, пока я тебя не передал поручику Дичевскому. Уж ему ты всю подноготную выложишь". Паренек что-то сказал в ответ, и агент, проходя мимо камеры Антона, пробормотал: "Там будет видно".

На городских часах пробило два. В коридоре снова затопали сапогами полицейские, вернулись с обеда служащие управы, и в одной из комнат застрекотала пишущая машинка. Женский голос о чем-то спросил.

— Помер,— раздалось в ответ.— Недавно, а может, еще и по дороге.

Он догадался, что речь шла о раненом партизане, которого должны были сюда доставить. Значит, скончался, бедняга... У Антона одеревенели ноги, в икрах закололо...

По улице проехала тяжело груженная машина. Ветхое здание затряслось, с потолка свалился кусок штукатурки, и от этого стука он подскочил как ужаленный. Нервы были напряжены, руки дрожали. Еще целый час предстоит ему сидеть тут, задыхаясь от волнения, думая то о погибшем неизвестном товарище, то о чешме, которая так и стояла у него перед глазами, то о старшине, которому велено навести о нем справки...

Убийственно медленно тянулось время. Оно, казалось, сдавливало мозг, кровь оглушительно стучала в ушах. Ну же, ну, еще немного... Они сейчас заняты погибшим партизаном, звонят во все концы, разузнают, выясняют... Им не до Антона.

Время от времени он с шумом переводил дух. Но вот наконец пробило три. Он сел на нары и стал ждать. Проходила минута за минутой, а никто не шел. Сердце чуть не разрывалось от напряжения. Ведь каждую секунду за ним могли прийти, чтоб отвести к начальнику участка. Что он сможет сказать, если тот заявит, что в Пордимае такой эвакуированный не значится? Что пропуска на такое имя не выдавалось? Что никакой Антон Ахтаров в привокзальной гостинице не останавливался?.. Его передадут поручику Дичевскому, и тогда он примет яд.

Он прилег, чтоб обдумать, как отвечать на эти вопросы и какой линии поведения придерживаться. И когда мозг занялся этим, сердце чуточку поутихло. Было уже около четырех, а все еще никто за ним не являлся. Он уже совсем потерял надежду, когда щелкнул ключ и на пороге появился тот самый дежурный полицейский, который заставил его вернуться в камеру.

— Выходи!— приказал он, стоя в дверях.

— Куда?— спросил Антон.

— Во двор.

Его охватило волнение, он почувствовал, что силы оставляют его. С трудом поднялся, надел пиджак, подтянул пояс на брюках и вышел из камеры, сопровождаемый полицейским. Вдвоем спустились они во двор. Лошадь была уже запряжена, но паренька-сапожника рядом с ней не было. Один из полицейских держал ее за поводья и что-то кричал людям, толпившимся возле навеса. Они стояли к нему спиной. Там, очевидно, лежал труп партизана, и писаря управы и полицейские сбежали на него поглазеть.

— Что же ты сапожника заодно не прихватил?—сердито спросил тот, кто держал поводья.

— Велено не было,—ответил полицейский, конвоировавший Антона.

— А кто поведет лошадь?

— Вот этот.

— Нужны двое. Эй, Паштрапанов, давай сюда сапожника, пускай съездит за водой!

От группы стоявших у навеса людей отделилась какая-то фигура, и Антон узнал агента.

— В чем дело?—спросил тот.

— Нельзя с одним арестантом по воду ездить. Кто эту клячу вести будет?—сердито сказал полицейский, замахиваясь кулаком на лошадедку, которая обрызгала ему рукав слюной.

— Вот сам и сходи,—сказал агент.

— Я в наряде... Начальник приказал, чтоб никто не отлучался. Может, придется выступить на подмогу жандармскому отряду.

— Климент, вот ключ, приведи сюда того парня!—обратился агент к толстому полицейскому, протягивая ему ключ.

Тот повиновался, и Антон оглядел его широкую спину, короткое плотное туловище, перетянутое ремнем, как бочка обручем. На огромной голове уродливо выдавался удлинненный затылок, и фуражка топоричилась на ней безобразно и смешно.

— Что они толпятся под навесом?—спросил Антон.

— Привезли убитого партизана. Пытаются его опознать. Он не здешний,—с досадой проговорил агент.

— Можно мне взглянуть?

— А чего ж, смотрите!

— Паштрапанов, я тут торчать возле лошади не буду,—пригрозил полицейский, но агент не удостоил его даже взглядом и направился с Антоном к навесу.

— И как это они его не перевязали на месте?—сокрушался агент.—Теперь от покойника поди дознайся чего... Поручик Дичевский даст им жару.

Антон шагал рядом с ним, бледный как мел. Ноги подкашивались, икры ломило. От волнения он тяжело дышал и почти не слышал, что говорит агент.

Вот и навес. Люди расступились, чтобы дать им подойти к покойнику поближе.

Это был плотный русоволосый человек лет тридцати пяти, с муску-

лиственными руками и большими босыми ногами. На коричневой одежде из грубого сукна ржавыми пятнами проступила кровь. Он лежал на спине, раскинув ноги, голова склонилась на плечо. На небритом лице застыло выражение глубокой задумчивости. Русые, давно не стриженные усы и полуоткрытые прозрачно-синие глаза, казавшиеся совсем живыми, еще усиливали это впечатление.

Антон поспешил отвернуться. Он не знал этого человека. Быть может, он из Шуменского отряда? Не следовало дольше смотреть на него теперь, когда впереди побег. Кто знает, может, через какие-нибудь полчаса он и сам будет лежать с ним рядом, в такой же позе, еще не остывший, растерзанный...

Его трясло. Он ощутил вдруг удивительное чувство общности с этим убитым, резко отделявшее их от мира живых. Всем своим существом он прикоснулся сейчас к чему-то таинственному и страшному, и душа наполнилась тревогой и печалью.

— Вы не знаете его? — спросил агент, удивленный его волнением.

— Откуда?

— Может, видали где... случайно... На вас просто лица нет... — добавил он, пристально в него вглядываясь.

— Я впервые вижу убитого человека, — проговорил Антон.

— Слабые же у вас нервы. А я вот могу глядеть на все что угодно... Как доктора. Идите, вас зовут.

Паренек-сапожник уже держал лошаденку под уздцы, толстый полицейский, сумрачный и злой, махал рукой, указывая Антону на ведро и воронку. Карие глаза парня потемнели от тревоги, утеряли свой жизнерадостный блеск. На лице были смятение и страх.

— Эй, Монка, — окликнул его один из полицейских, проходивший в этот момент мимо. — Видал этого, под навесом? Протянул ноги! И тебя сволочем туда же. Тебе б, дурню, сапоги латать, а ты запрещенные книжки читаешь! — Он больно дернул паренька за волосы. Тот зашатался.

— Трогай! Чего смотришь? — прикрикнул толстый полицейский.

Антон взял вожжи, и телега покатила со двора. Ведро и воронку нес паренек.

Он выехали на ту же самую узкую извилистую улочку, сразу наполнившуюся громоханием пустого бочонка. Лошадка норовила перейти на рысь, но Антон с такой силой натягивал повод, что она чуть ли не подымалась на дыбы. Он чувствовал, как напрягаются мускулы и как зреет в душе отчаянная решимость. Лицо убитого стояло перед глазами, переполняя сердце болью и гневом.

Он шел быстро, не оглядываясь, опустив голову, в каком-то странном ослеплении, не видя и не слыша ничего вокруг, точно вдруг оглохнув от грохота бочонка и стука колес.

Когда улочка осталась позади, он отпустил повод, и лошаденка затрусела быстрее. Он оглянулся на конвойного. Кобура револьвера застегнута. В левой руке — короткий прут.

”Минимум три секунды, чтобы выхватить револьвер, и еще одна, чтобы снять его с предохранителя”, — подсчитал Антон. Он ненавидел сей-

час этого человека, как саму смерть.

Подняв голову, он увидел впереди горы. Синевато-зеленые, окутанные маревом, они возвышались стеной, широко раскинувшейся в стороны. Сердце зашлось от нестерпимо жгучего желания оказаться наконец в этой похожей на море синеве. Там находились его товарищи. Он мысленно посылал им свой привет. Увидит ли он их снова, узнают ли они, о чем он думал в последние минуты жизни? Узнают ли, как дороги были они ему... как бесконечно он им верен...

Антон обернулся, чтобы встретиться глазами с паренком-подмастерьем, тоже товарищем по борьбе. Подумать только, в бессильной своей злобе он мысленно взваливал на него вину за свой арест. Вот кому суждено быть пассивным свидетелем его гибели, если побег не удастся. Они обменялись одним из тех долгих взглядов, которые не забываются до конца дней.

А вот и чешма. Лошаденка наклонилась над корытом, и полицейский приказал отпустить поводья. Руки у Антона тряслись, ноздри раздувались, какие-то огненные вспышки слепили глаза. Исподтишка следил он за тем, где станет конвойный. Тот шел сзади, шагах в пяти-шести, и, если б сейчас броситься на него, он вряд ли успел бы воспользоваться своим оружием.

Антон ступил ногой на закраину корыта, ведро поставил на каменную кладку чешмы и крепко охватил руками воронку. Паренек-сапожник так и впился в него испуганным взглядом, и он подумал со страхом, что этот взгляд может выдать его намерения. Но в ту минуту, когда он совсем уже собрался обрушить воронку на конвойного, тот вдруг полез вверх и ступил на чешму. Антон проследил исподлобья за его ногами. Конвойный словно бы ощутил этот взгляд, потому что отступил чуть в сторону и хлестнул прутом по голенищу. Антон нагнулся и подставил ведро под кран, опустил воронку в бочонок и встал к полицейскому спиной, разглядывая кукурузное поле. Все трое хранили молчание. Лошаденка громко фыркала и, отгоняя мух, била хвостом по пустому бочонку, отзывавшемуся гулким и звонким эхом; с веселым журчаньем лилась в ведро вода, и каждый раз, как лошаденка взбрыкивала, хлопая копытом по темной луже возле чешмы, телега то продвигалась, то снова откатывалась немного назад.

Ведро наполнилось, и он вылил его в бочонок. Паренек-сапожник держал в руках повод. Телега будет некоторой помехой, так как, если обезвредить конвойного не удастся, придется ее огибать.

Снова журча побежала в ведро вода. Выпрямившись, он заметил, что полицейский сел на взгорке, над самой чешмой, где из плиты выкрошился камень. На таком расстоянии он был абсолютно недосыгаем. Чтоб напасть на него, потребовалось бы вскочить на каменную кладку чешмы или же обогнуть ее, вскарабкавшись по склону холма. За это время полицейский сто раз успеет приготовиться к встрече. Оставался второй вариант. Он счел его единственным — быть может, еще и потому, что все же не хотел убивать этого человека, у которого, наверно, дома, в селе, жена и дети.

Когда ведро наполнилось, он нагнулся и в последний раз взглянул на паренька. Глаза у того были вытаращены, рот открыт. Ведро, описав короткую дугу, полетело в полицейского, и, прежде чем тот сообразил, что происходит, его окатило водой, а тяжелая воронка ударила в грудь...

Вобрав голову в плечи, Антон мчался по голому лугу. Никогда в жизни не слышал он, чтоб ветер так свистел в ушах. Тело было устремлено вперед так, что ноги, двигавшиеся с бешеной скоростью, с трудом уравнивали его тяжесть, а руки взмахивали быстрее, чем крылья летящей птицы. Он бежал по прямой, позабыв о том, что надо петлять, чтоб уберечься от пули. Все его существо напряженно ожидало, когда прозвучит выстрел.

Первые секунды показались ему вечностью, и он был удивлен, что слышит только вопли полицейского, а выстрелов нет. Он добежал уже почти до середины луга, когда слева от него взметнулось облачко пыли и раздался первый выстрел девятимиллиметрового парабеллума. Второе облачко взмыло у него чуть ли не из-под ног, и ему показалось, что он перепрыгнул через пулю. Послышался третий выстрел, четвертый, пуля просвистела высоко над головой. Потом пятый, шестой... Он считал их, насколько был способен сейчас на это его мозг, в котором мысли проскакивали стремительно, обрывками, без начала и конца... Выстрелы прекратились. Может быть, кончились патроны? Или пистолет дал осечку?

Охваченный безумной радостью, он чуть замедлил бег, поднял голову и посмотрел, далеко ли до кукурузы. Да, еще бежать и бежать. И он с новыми силами помчался по ровному лугу. Он был уже у жнивья, когда вдруг пошатнулся от сильного удара в спину. Тьма заволокла глаза, земля словно выскользнула из-под ног. Однако ему удалось сохранить равновесие, и он продолжал мчаться все так же быстро, всем своим существом тревожно вслушиваясь в себя, стараясь понять, что же произошло. Тут грянул еще один выстрел, и он увидел, как пуля взметнула пыль со стерни.

Он все ждал, что ощутит боль или приближение смерти, но боли не было — только правая половина спины как бы одеревенела. И в одной какой-то точке словно бы жгло. Он решил, что его только слегка задело, и продолжал бежать, слыша свое тяжелое дыхание и глухие удары ног о сухую землю. Но темное, зловещее предчувствие проникло в сердце.

Желтая стерня с сухим потрескиванием убегала назад, а зеленая стена кукурузы становилась все ближе. Учащенно, отрывисто колотилось сердце, из пересохших губ с шумом вырывался воздух. Он остановился и оглянулся назад. Полицейский стоял все там же, у чешмы, и яростно размахивал револьвером, в котором уже не осталось патронов. Значит, не решился броситься в погоню — из страха, что второй арестант тоже сбежит. В сознании мгновенно отпечаталась картина — вороная лошаденка, впряженная в телегу, издали похожая на большое насекомое, пологий склон холма над чешмой и белые домики городка. Мысль подсказала: погоня не заставит себя ждать, и он заторопился навстречу кукурузе. Там, где его обожгло пулей, теперь чувствовалась тяжесть. Он

провел рукой по правой стороне груди, под ребрами, и рука стала мокрой от теплой крови, которой была пропитана рубаха. Тогда он понял, что ранен навзлет. Им овладел страх, и даже не страх, а ужас, сменившийся потом жалостью к самому себе. Он всхлипнул, точно беспомощный ребенок, который не в силах толком понять, что с ним происходит. Но он поборол себя. Подавляя отчаяние, стал думать о товарищах. Живой или мертвый, он должен к ним добраться. Только там может он рассчитывать на помощь. Только там, и нигде больше! Мысль сосредоточилась на ране, он сказал себе, что надо экономить силы. Правая рука продолжала придерживать саднящее место. Он поднял ее, посмотрел. Она вся была залита алой кровью. От ее вида ему стало дурно. Он зашатался, закрыл глаза и с трудом удержался на ногах. Всего несколько шагов оставалось до зеленого кукурузного поля, которое спрячет его. Вот оно! Он вбежал в зеленые заросли, но уже в следующее мгновение перед ним раскинулась волнами холмистая голая пашня, расчерченная лишь межами и редким, низким кустарником. Кукуруза, как оказалось, росла длинной, но узкой полоской, самое большее шага три в ширину...

Он застыл, увидев, что попал в западню. Было ясно, что двигаться следовало только вперед. Любая попытка спрятаться или свернуть в сторону только сократит расстояние между ним и преследователями, но как бежать по голому полю, где его так просто заметить и пристрелить? Он повернул и бегом двинулся вдоль полосы кукурузы. В конце ее земля немного уходила под уклон — значит, там какая-то лощинка. Хорошо бы туда добраться. Добежав до лощинки, он с радостью увидел, что она ведет в настоящий овраг, поросший деревьями.

Он бежал теперь по оврагу, но тот становился все более мелким, все больше раздавался вширь, по склонам появились невысокие кусты, одинокие ивы, и вот он уже превратился в плоскую котловину, по дну которой протекала речушка. Антон перебрался на другой берег, надеясь спрятаться за деревьями, и неожиданно оказался на проселке — сыром и черном, усеянном речной галькой.

Он остановился, расстегнул рубаху, осмотрел грудь. И увидел рану, похожую на темно-красные губы, из которых струйкой сочится кровь. С содроганием почувствовал он, что живот и пах у него тоже в крови. И вновь ощутил глухое отчаяние.

— Не выжить, — сказал он себе, продолжая разглядывать устало, прерывисто вздымавшуюся грудь. Но леденящая эта мысль вновь пробудила волю. — Я должен дойти до лагеря... Только бы дойти до лагеря! — произнес он вслух, словно стараясь самого себя убедить в том, что жив.

Собственный голос показался ему голосом какого-то другого существа, жившего где-то в нем, но существо это, к которому уже подкралась смерть, все же не был он сам. Мозг вновь подсказал: "Надо экономить силы, надо быть благоразумным". Он зашагал было дальше, как вдруг почувствовал жажду. Спустился к речке, напился. Выпрямляясь, он посмотрел назад, и на том самом месте, откуда недавно спускался в лощину, на гребне холма увидел всадника. Значит, послана погоня.

Единственный шанс спастись—это спрятаться где-нибудь, притаясь, как заяц.

Речушка убежала за чей-то огород, обнесенный изгородью из терновника. Он направился туда по тропке, которая привела его к деревянной лесенке, прилаженной хозяином взамен калитки, чтоб не забредала скотина. Антон перелез через изгородь, уверенный в том, что на огороде никого нет, и вдруг за высокими кольшкками, по которым вилась фасоль, увидел какую-то женщину. Она стояла нагнувшись почти у самой изгороди и, когда он соскочил на землю, выпрямилась и негромко вскрикнула. Антон увидел прямо перед собой ее испуганные глаза. Увидел также, что это молодая крестьянка с округлым, загорелым, добрым лицом.

Задышавшись, он почти шепотом произнес:

— Ты не бойся... Это ничего... Я так... Я тебе ничего плохого не сделаю...

Она изумленно глядела на него, полураскрыв рот, готовая звать на помощь. Но тут вдруг заметила, как две слезинки выступили у него на глазах и скатились по впалым щекам. Он не отводил от нее взгляда, пытаясь всеми силами внушить ей, чтоб не кричала, не боялась его.

Женщина ничего не понимала, и тогда он выговорил чуть слышно:

— За мной гонятся...

— Кто?—спросила она.

— Полиция.

В глазах у нее мелькнула какая-то тень, и он поспешил добавить:

— Я студент.

— Боже милостивый,—сказала она.— Чего тебе от меня надо?

— Не выдавай меня!

Она продолжала все так же оторопело глядеть на него.

— Я спрячусь тут,—умоляюще сказал он.— Если меня найдут, скажу, что пробрался сюда тайком, ты меня не видела.

Женщина подняла глаза, оглядела склон овражка и молча отошла в другой конец огорода.

Он дотопал до изгороди и лег за грядкой с фасолью. Горлом пошла кровь, все тело охватила слабость. Он лежал ничком, чувствуя, как животу становится горячо от натекающей крови.

На дороге раздался топот копыт. Женщина собирала фасоль шагах в двадцати от изгороди—присев на корточки, складывала стручки в повернутый передник. Тихонько журчала в речушке вода. Где-то неподалеку пел дрозд. Влажная земля пахла гнилью.

Топот приблизился, он услышал скрип седла и лошадиный хrap. С той стороны изгороди остановился конный полицейский. Женщина выпрямилась.

Усталый голос спросил:

— Человек тут не проходил?

Затаив дыхание, Антон ждал, что скажет женщина. Ему показалось, что прошла целая минута, прежде чем та произнесла:

— Какой человек?

— Молодой. Одет по-городскому.

Она снова помедлила с ответом, и Антон замер.

— Никто не проходил,—наконец сказала она.

— Это точно?

— Никакого я человека не видела.

— А давно ты тут?

— Давно. Часа два будет.

Наступило молчание. Полицейский, должно быть, раздумывал. Потом сказал:

— Если увидишь такого... высокий, одет по-городскому, волосы длинные, без шапки... дай знать!—И прищпорил коня. Седло скрипнуло, и вскоре глухой стук конских копыт замер вдали.

Антон посмотрел на женщину. Она продолжала собирать фасоль. Загорелые ее руки срывали стручок за стручком, стебли шуршали то-ропливо и нервно, длинные кольшки покачивались. Она не смотрела в его сторону, словно забыла о его существовании. Разумней всего было бы остаться здесь, чтобы дать погоне отъехать подальше, либо дожждаться, пока стемнеет, но он боялся, что позже у него не хватит сил подняться, и потому не мог терпеливо ждать. С каждой минутой он терял все больше крови. Он зажимал рану рукой, а тяжесть в груди все нарастала. Женщина уже дважды вглядывалась в склоны овражка, где шныряли, разыскивая его, полицейские, потом послышался далекий выстрел, и он заключил, что погона двинулась дальше, в горы.

Для того чтобы подняться, ему пришлось сначала встать на колени—так кружилась голова. Ухватившись за изгородь, он все же поднялся. Огород поплыл у него перед глазами, вихрем промчались кольшки, увитые фасолью, сине-зеленые кочаны капусты слились в сплошную синеватую пелену. Зашатавшись, он привалился к изгороди, которая громко затрещала. Силы оставляли его... А ведь если он хотел увидеть своих товарищей, надо было спешить к месту встречи, даже рискуя быть схваченным или убитым. Сделав несколько шагов, он ощутил на себе сострадательный взгляд женщины.

— Спасибо тебе,—с трудом проговорил он.

Пугливо озираясь, она подошла к нему. В ее добрых глазах была жалость. Неожиданно она сняла с головы косынку и протянула ему.

— На, перевяжи рану,—сказала она, и плечи у нее дрогнули.

Антон прижал косынку к ране.

— Прощай,—сказал он.

— Храни тебя господь,—ответила она.

Он перелез через изгородь и пошел вверх по склону овражка. Прежде чем повернуть в горы—туда, куда направилась погоня,—надо было сделать небольшой крюк. Надежда на спасение и желание увидеть товарищей слились в единый порыв—добраться, идти. И этот порыв толкал его вперед, придавал силы. Антон не смотрел уже по сторонам, не озирался. Шел быстрым шагом, немного наклонившись, зажав рукой рану, и когда овражек, изогнувшись длинной пологой дугой, вывел его на равнину, это не произвело на него ровно никакого впечатления. Конечно,

если его заметят, могут подстрелить. Но он будет идти и идти, пока пуля не уложит его на месте. Зубы время от времени начинали выбивать дробь, боль в груди и спине все усиливалась, она шла теперь уже изнутри, где пробитое легкое при каждом вдохе громко хрипело. Он старался дышать не так глубоко. Старался уверить себя, что можно дышать и одним легким. Сознание все больше сосредоточивалось на нем самом: и разум и чувства, казалось, становились слепы и глухи ко всему окружающему.

Он пересек луг и пошел по направлению к горам. Впереди показались поля неубранной кукурузы, стебли которой ненадолго укрыли его, затем потянулись рожицы и вырубки, одинокие высокие дубы, небольшие полянки. Это были уже предгорья. Он видел гребень горы, гигантской стеной уходивший в небо, видел отроги, сползавшие на равнину, точно громадные гусеницы, ощутил прохладу леса. Поискав глазами конусообразную вершину, где товарищи должны были ждать его, он обнаружил, что она находится чуть правее направления, которого он держался. Значит, он немного отклонился в сторону. Пришлось на минуту остановиться, чтоб мысленно прочертить предстоящий путь. Но, войдя в лесную чащу, он тут же потерял вершину из виду и пошел дальше, наугад, повинувшись инстинкту.

Лес подействовал на него успокоительно, пробудил смутную надежду, но, когда он стал карабкаться вверх по крутому склону, дышать стало еще труднее и он был вынужден замедлить шаг, вновь охваченный страхом, что добраться до места не хватит сил. Как бы то ни было, следовало передохнуть, и он присел на пень, поросший мхом и лишайником.

Вокруг неподвижными великанами высились белые гладкие стволы огромных буков. В тихом шелесте листвы чудился шепот бесчисленных существ, предрекавших ему неминуемую гибель. Пахло прелыми листьями и сырой землей. Но все это он воспринимал сквозь какое-то оцепенение, точно вслушивался в свое безысходное одиночество. Плеск воды неподалеку вызвал у него острую жажду, обжигавшую пересохший окровавленный рот. Но он боялся повернуть назад и продолжал сидеть в нерешительности, терзаемый жадой, которая под тихое воркованье потока становилась все более нестерпимой. Потом, наконец, поднялся и медленно побрел вверх по круче. Под ногами громко шуршала прошлогодняя буковая листва. Окажись поблизости кто-нибудь из преследователей, этот шум мог его выдать, но он не думал об этом и продолжал продвигаться вперед, цепляясь за стволы деревьев. Дышать становилось все трудней. Ценой невероятных усилий он взобрался на какую-то седловину и здесь, на маленькой полянке, залитой теплым светом заходящего солнца, остановился, потому что боль усилилась и тяжесть в животе стала невыносимой. Во рту появился неприятный вкус, от запаха собственной крови тошнило, ноги подкашивались, на лбу выступили капли холодного пота. Застонав, он медленно сполз на золотисто-зеленый мох, росший у подножия бука. Сердце словно переместилось в виски — так оглушительно, так лихорадочно оно там стучало; потные руки

дрожали, из груди вырывался хрип. Он привстал на колени, и его вырвало кровью, хлынувшей изо рта алым ручьем. Он видел, как она заливает зелень мха, теплая, дымящаяся, но это его не испугало, потому что боль и тяжесть в груди разом исчезли, дышать стало легче. Зато вслед за этим вдруг наступила страшная слабость. Он попробовал выпрямиться, и вновь все поплыло перед глазами. Потребовалась вся сила воли, чтобы заставить себя встать. Он поискал глазами заветную вершину — она была уже недалеко. К счастью, через седловину проходила заброшенная лесная дорога, и, шатаясь как пьяный, он двинулся по ней дальше. Ему пришло в голову, что было бы легче идти, опираясь на палку. Он подобрал какую-то ветку, но она оказалась слишком тяжелой. К тому же одной рукой он зажимал рану, и опираться все равно было бы трудно.

Шагов через сто дорога вывела его к самому подножию той вершины, к которой он шел. Рядом уходило вниз глубокое, сырое ущелье. Он вздрогнул от озноба. Тело покрылось холодной испариной. Остановившись, он поглядел на освещенные солнцем верхушки деревьев, видневшиеся там, на гребне горы, но гора неожиданно взмыла вверх, лес зашатался, точно какое-то ужасное землетрясение раскачало гору и подбросило ее ввысь, а небо пропастью разверзлось у его ног...

Он упал навзничь и понял это, только когда пришел в себя. Он лежал на дороге, растянувшись во весь рост. Было легко, почти радостно. Над головой повисло золотистое вечернее небо, он словно плыл в волнах какого-то ласкового, безмятежного моря. Как будто снова вернулись те далекие дни детства, когда он выздоравливал после долгой болезни. На стене бедно убранной комнатки каждое утро появлялся такой же золотистый, теплый луч, приносивший с собой ощущение радости и покоя. Он пытался поймать этот луч своими маленькими ручонками, но руки касались только шероховатой штукатурки. Он был сейчас снова тем слабым ребенком, измученным на этот раз не болезнью, а тяжкими испытаниями, которые сопутствуют борьбе. Каким желанным казался сейчас отдых! Как хотелось закрыть глаза и потонуть, раствориться в этом теплом, лучезарном сиянии!

Он вспомнил о своих товарищах, даже увидел их — они лежат далеко, очень далеко от него, где-то в лесу, усталые, измученные тревогой, осунувшиеся, и вслушиваются в тишину. В ушах у него звучал тихий шепот — казалось, было слышно, как пробегает по верхушкам деревьев вечерний ветерок. Он слышал много разных голосов, и все они чего-то не договаривали, замирая в сладкой истоме, но каждое недосказанное слово было ему понятно, хоть он тоже не договаривал его до конца. И среди голосов был один, говоривший обо всем том, во что он верил и что сбудется на земле. Этот голос, точно звон колокола, постепенно заглушил все остальные. То исполненный тревоги, то пророчащий счастье, звучал он в солнечной позолоте неба, и его звуки низвергались каскадом миллионов голосов...

Он закрыл глаза и погрузился в забытие. На бледном, без кровинки лице проступила тихая улыбка.

Палые листья на дороге зашуршали. Из-за поворота показались две

осторожно двигавшиеся фигуры в мятых коричневых гимнастерках и солдатских пилотках: они крадучись стали приближаться к нему, подошли медленно, осторожно, наставив на него короткие стволы своих автоматов. Потом вдруг переглянулись и со всех ног бросились к нему.

Кто-то стащил с него пиджак, поднял рубаху. Что-то медленно опоясало и согрело грудь. Он хотел открыть глаза, но не смог и только улыбнулся. Чья-то жесткая рука нежно пожала его руку...

Он все еще видел сквозь веки золотистое море, и душа все еще нежилась в этом лучезарном сиянии. Потом он почувствовал, как чьи-то осторожные руки поднимают его. И он отдался во власть этих рук, как в детстве материнским объятиям. Он слышал тихие озабоченные голоса, наполнявшие его спокойствием и сладостным чувством безопасности.

Его несли на запад, и косые лучи солнца осветили на повороте дороги его мертвенно-бледное лицо и откинутую назад голову со взмокшими от пота черными волосами, покачивающуюся на плече товарища. В эту минуту он вспомнил о той крестьянке. Вот она рядом, загорелая, тихая, с округлым лицом и добрыми глазами... Сняла с головы белую косынку, протягивает ему...

Снизу, из ущелья, поднималась синеватая мгла. Тихо шелестели старые буки, вздыхая по уходящему дню. Свет солнца медленно догорал на горных вершинах, и где-то далеко-далеко, за плотным, колеблющимся зеленым ковром леса, где оставались города и люди, небо изливало на землю багряные потоки, словно там, в небывалом этом пламени, пылали миллионы человеческих сердец.

Лет пятьдесят-шестьдесят назад гнездо их пряталось в скалах, по ту сторону ущелья, в котором теперь проходит железная дорога. Они жили там долгие годы, не тревожимые никем. С высоты смотрели они на стада диких коз, спускавшихся на водопой к маленькому синему озеру, на куропаток, пугливых серн и неуклюжих бурых медведей, чьи берлоги поросли плющом и дикой геранью.

Никто не мог бы сказать что-либо определенное об их прошлом, ибо прошлое это охватывало огромный период — полтора века. Никто не знал, где они появились на свет, где впервые встретились и какими событиями была наполнена их долгая жизнь. В те времена по ущелью редко проходили люди — разбойники или пастухи, которых тут же поглощали темные дебри вековых лесов. А когда гудок первого паровоза огласил узкое ущелье и топор оголил оба его склона, орлы покинули это место навсегда.

Они поселились в горах на высочайшей, недоступной скале, похожей на огромный желтый зуб, торчащий среди стремнин и обрывов, по которым утром и вечером ползли туманы. Гонимые ветром облака задевали верхушку скалы, и, глядя на них, казалось, будто не облака движутся, а сама скала бежит куда-то назад вместе с горами и всей землей.

Солнце и дождь разрушали и все больше заостряли известковый утес, а подземные воды много веков тому назад пробрили внутри него настоящую пещеру. Эта пещера и стала для орлов гнездом.

Несколько жердей, облепленных пометом и ржавых от крови, защищало орлят, не давая им сорваться в пропасть. Шкурки небольших зверюшек и перья глухарей выстилали изнутри их простое и суровое убежище.

Вечером, когда они возвращались на ночлег, на скалистой вершине было еще светло. Здесь солнечные лучи появлялись раньше и угасали позже, чем где-либо. Солнечный свет медленно полз вверх по известковой скале, бледно-розовый, нежный, и незаметно догорал. В эти часы вечные снега на вершинах гор искрились и сверкали, рубиново-красные и девственно-чистые, а внизу, в ущельях, словно стада, собирались туманы и серели старые сосны. Холодное и недвижимое молчание гор становилось еще тяжелее и напряженнее, как будто сами они замирали в ожидании чего-то великого и важного. И только однообразный рев потоков слышался теперь сильнее, как единственный голос, напоминавший о неизменной и вечной сущности жизни.

Орлы возвращались порознь.

Сначала над гребнем соседнего хребта показывалась орлица. Она спускалась и начинала кружиться над скалой, словно опутывая ее невидимыми нитями. В эти минуты были отчетливо видны ее широкие раскрепленные крылья, короткое, почти квадратное туловище и даже голова,

которой она поводила из стороны в сторону.

Несколько позже, с запада, окровавленного заходом солнца, появился и орел, будто черная точка, которая росла с ужасающей быстротой. Через какое-то мгновение он уже парил над скалой, возле которой все еще кружила орлица. Птицы опускались торжественно и медленно, похожие на две темные, зловещие тени.

А потом они сидели, неподвижные и строгие, пристально глядя вперед за линию горизонта, словно каждая из них снова видела бескрайние равнины, над которыми летала целый день, реки, дороги и города, откуда доносился до них шум какой-то иной, незнакомой жизни.

Иногда орлица, которая была крупнее орла, поддвигалась к нему тяжелыми большими скачками, настороженно приподняв крылья и вытянув шею, и пристально всматривалась в его глаза, будто желая что-то ему сообщить. Дикий ее взгляд горел свирепо и гордо, а напряженность позы напоминала позу убийцы, крадущегося к жертве.

Потом они поудобней устраивались на скале и засыпали.

Случалось, что среди ночи в горах разражалась буря, хлестал дождь или мокрый снег покрывал все вокруг. Но и тогда орлы невозмутимо оставались на месте, бесчувственные к стихии.

На следующий день они пробуждались на ранней заре, когда долины были еще полны мрака, отряхивались и улетали на поиски пищи.

Орлица направлялась к равнине, на восток. Орел предпочитал холмистую возвышенность на юге. У каждого была своя область промысла, и ни один не расщипывал на другого в поисках добычи. Только когда им случалось напасть на стадо диких коз, карабкавшихся по каменистому склону вблизи какой-либо пропасти, тогда уж они действовали сообща. С шумом налетали они на свою жертву и били ее крыльями до тех пор, пока ошеломленное животное не срывалось в ущелье. Тогда они с громкими торжествующими криками набрасывались на его разможенное тело.

Иногда они подстерегали зайца или глухаря, вышедших на открытое место. Птицы часами терпеливо кружились над своей добычей, выжидая удобный для нападения момент. А если в горах им не удавалось ничем поживиться, они улетали к равнине на поиски падали.

Их обоняние улавливало запах трупа на расстоянии многих километров. Восходящие воздушные течения помогали им подняться ввысь. Они служили для них небесными дорогами. Орлиный взор окидывал огромное пространство, никакая мелочь на земле не могла от него укрыться. С высоты они каждый день видели синюю кромку моря, обширные равнины с городами и селами, над которыми они нередко кружили, привлеченные видом домашней птицы во дворах. Им была знакома каждая ложбинка, каждый холмик и каждая речушка, потому что уже два века они летали над этой землей. Перемен, которые происходили в это время внизу, орлы не замечали, ибо совершались они постепенно и медленно. Села, как, впрочем, и города, стали больше, леса, наоборот, редели, реки сужали свои русла, а дороги умножали белые свои ниточки. Шум, долетающий с земли, становился все громче и неумолчнее. И вместе с этими

переменами орлам все трудней было разыскивать себе пищу: дичь исчезала, а трупы умерших животных встречались редко.

Птицы вынуждены были улетать далеко, к берегам моря или на север, к Балканам. Там перемены ощущались не так сильно.

Очень часто по целым дням им не удавалось найти пищи, но это их не смущало. Орлы были так живучи, что голод их не истощал. Он делал их лишь более свирепыми и дерзкими.

За свою многолетнюю жизнь они помнили не одну войну, не одно бедствие и мор. Чутье ко всякому несчастью, надвигавшемуся на землю, обострилось у них в течение этих двух веков. Они научились понимать, что означают далекие раскаты орудий, которые долетали до их слуха как радостный предвестник богатой поживы. Пожарища и запахи дыма влекли их на поля сражений. Они следили сверху за колоннами людей, обозами и беженцами, слушали рев скота и шум боев, уверенные, что на этот раз им надолго хватит пищи. Тогда они покидали горы и временно переселялись туда, где кипела война. Человеческое мясо было не менее вкусно, чем мясо животных. Свою добычу они делили с воронами и другими стервятниками. И после, когда война кончалась, они еще долго кружили над этими местами.

Они были свидетелями нашествий чумы, опустошавшей села, не оставлявшей на дорогах ни живой души; они помнили страшную тишину, которая ложилась на землю в те далекие времена, когда поля стояли невспаханными и хлеба гнили на корню. Тогда они собирались в стаи и спокойно и гордо, как истинные хозяева, высоко вились над умолкнувшими поселениями.

В те давние дни возле голых холмов какого-нибудь истерзанного и бедного городка с торчащими, как очиненные карандаши, минаретами и с разрушенными старыми башнями люди оставляли им по воскресеньям пищу, так как почитали их и восхищались их силой и неуязвимостью. Тогда в горах часто случались схватки, нападения и убийства, и всегда можно было отыскать труп какого-нибудь разбойника или несчастной жертвы, зарезанной у дороги.

Однажды возле одного из таких трупов орел нашел сафьяновый кошель, набитый деньгами. Кошель был залит кровью, и орел принял его за кусок мяса. Он унес его в гнездо и бросил орлятам. Кошель так и лежал там, пока кожа не сгнила и не разорвалась. Монеты рассыпались и навсегда остались скрытыми от алчных людских глаз.

Так проходила их жизнь до сих пор. Каждую весну орлица клала одно или два яйца с синеватыми пятнышками и садилась высиживать птенцов. А когда орлята вырастали, они покидали гнезда и переселялись далеко в горы.

Никакая опасность, никакой враг не нарушали их покоя, как будто они стояли над жизнью и смертью, неподвластные даже времени и переменам, которые происходили внизу, на земле. Правда, иногда люди пытались по ним стрелять, но орлы были настороже, глаза их на огромном расстоянии улавливали самое ничтожное движение человека, и они легко отгадывали его намерения...

Как-то перед самым рассветом их разбудил легкий дождик, который только что начал моросить.

На востоке, за темным, вздыбившимся силуэтом гор тоненькая полоска цвета раскаленного железа указывала, что близка заря. Рваные края облаков покраснели. Было необычно тихо, темно и душно.

Красное пятно на востоке росло. Среди туч вспыхнула звездочка. Потом зеленая молния вонзилась в горизонт. Облака задвигались. Подул ветер. На огромную тушу гор легла тяжелая тень. Все говорило о том, что движется буря.

Орел, дремавший на уступе скалы, забеспокоился. Инстинкт подсказывал ему, что оставаться здесь не следует. Он переглянулся с орлицей. Ветер усливался и раздувал их перья. Вдруг на них пахнуло волной теплого воздуха. В следующий миг новая вспышка молнии озарила горы и гром расколосил небеса. С противоположной вершины двинулись тяжелые черные тучи, будто громадное стадо исполинских животных. Заря утонула в них, снова вернулась ночь. Потоки забурлили, и их рев слился с гулом леса.

Буря грозила сорвать орлов со скалы. Первым взмыл орел. Подобрал крылья, он пытался спуститься в пропасть. Но стихия подбросила его вверх, как черный мячик, и он исчез в темной массе одной из туч. Порыв ветра едва не ударил его о скалу. Тогда он взмахнул крыльями и ринулся навстречу ветру. Мрак мешал ему сесть. Туча снова подхватила его и понесла. Он должен был подчиниться этой могучей силе, с которой он не мог совладать. Он старался только уменьшить скорость своего полета. Сильно развитое чувство ориентации не изменяло ему и сейчас, когда вокруг был сплошной мрак. Буря несла его на север, за линию гор. Немного подальше, прямо над скалистыми их отрогами, летящая вниз воздушная струя чуть было не сбросила его в пропасть, но он вовремя сумел удержаться, растопырив хвостовые перья и отчаянно размахивая крыльями. Он знал, что буря только еще начинает бушевать, и изо всех сил старался подняться как можно выше, чтобы выбраться из области циклонов. Хлынул дождь, раскаты грома следовали один за другим, и только при холодном свете молний можно было рассмотреть косматые тучи, огромные и необъятные, как темное море, среди которого он летел.

Целых три часа продолжалась его схватка с бурей. Орел потерял всякую надежду подняться над ветром. Его унесло далеко от гор, он весь промок, измучился и обессилел. Туча, которая его несла, рассеялась, и он увидел под собой небольшую равнину, окруженную венцом невысоких гор. Широкий солнечный луч, пробившийся неизвестно как, озарил посевы вблизи маленького городка, который белел посреди равнины. Несколько раз светлело, а потом опять становилось темно, так как тучи то расходились, то собирались вновь. Скорость ветра уменьшилась.

Мокрые перья орла стали тяжелыми. Он с трудом держался в воздухе и, очутившись над городком, был вынужден спуститься совсем низко. Новые тучи, шедшие сзади, угрожали догнать его. Они наполнили с гор вместе с туманом, заполнявшим равнину, точно огромные полчища какого-то воинства.

Пролетая над крышами и узкими улочками городка, орел посмотрел себе печную трубу и опустился на нее.

Было девять часов. По главной улице шла группа крестьян, направляясь на базар, скрипели телеги, из мастерских медников доносился звон молотков. Мокрая от дождя улица пахла конским навозом, сеном и грязью. По ту сторону улицы дымила печь в какой-то пекарне, и вокруг распространялся запах только что испеченного хлеба. Дождь был здесь не такой сильный, городок лишь смочило, и от этого он казался еще более тихим и мирным.

Впервые в своей жизни орел очутился так близко к людям. Он слышал их голоса, видел лица, мельчайшие движения и не испытывал никакого страха. Он знал людей, хотя и наблюдал за ними с вышины. Его ничто не удивляло. Он так устал, что чувствовал себя больным. Крылья его повисли, перья встали дыбом, как копыя, а от мокрого тела подымался пар.

Никто из прохожих не замечал его. Люди шли по улице, не поднимая головы, и он сидел спокойно. Но в полдень, когда чиновники и дети стали расходиться по домам, его заметил булочник и показал своему соседу — шорнику. Вскоре на улице собралась целая толпа взрослых и детей. Все указывали на него и громко разговаривали.

Орел сидел на трубе неподвижно, будто спал. Кто-то бросил в него камнем, который застучал по черепицам крыши. Кто-то запустил комком грязи. Сначала все спорили, откуда он здесь взялся и как очутился на трубе, потом начали махать руками, чтобы заставить его слететь. Когда это не помогло, люди разошлись. Булочник разогнал ребятню и ушел обедать.

Улица опустела. Солнце теперь уже палило, и еще сильнее запахло конским навозом и грязью.

Тогда ученик шорника, паренек с хитрыми глазами и веснушчатым лицом, решил убить орла. Наполнив старое ружье кусочками свинцовых грузил, он взобрался на крышу соседнего сарая, присел там и стал целиться.

Птица продолжала сидеть все так же неподвижно, словно созерцая в себе самой тот величественный мир гор, из которого вырвала ее буря. Она не видела мальчика-подмастерья, который целился в нее сзади.

Раздался громкий выстрел. Старое ружье выбросило облачко белого дыма и целую горстку свинца.

Орел повис на трубе и, распластав крылья, упал на крышу...

Из соседних лавок выскочили люди, поднялась суматоха. Некоторые бранили парня, другие кричали, чтоб он спихнул орла с крыши. Через минуту теплое еще тело птицы шлепнулось на землю...

Спустя две недели чучело орла, сделанное местным учителем естествознания, украсило буфет городского казино.

Орлица ждала своего друга несколько дней. Ей удалось спастись от бури, забившись в расщелину скалы. Когда орел не вернулся и на десятый день, она покинула скалу навсегда.

Одиноко торчит теперь забуренный желтоватый утес. Только облака пролетают мимо него, и в окрестной тишине он кажется громадным гнилым зубом, дряхлым и никому не нужным.

НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА

Под вечер стая диких голубей опустилась на невысокие дубки, растущие на крутом берегу у самой речки, воды которой, истомленные жарой, тихо журчали в своем каменистом русле.

Голуби притаились среди ветвей, укравшись в листве так, что из нее виднелись только их поднятые головки. Косые лучи солнца озарили грудки тех, кто сидел ближе к вершинам, отчего шейки их переливались.

Долго сидели они так — притихшие, неподвижные, повернув головки к западу и словно удивляясь сонной тишине, разлитой над равниной. Горячая и душная волна поднималась от пышущей жаром земли. Два облака, похожие на громадные крылья, висели над посеревшим, истоптанным скотиной жнивьем, словно хотели укрыть его от закатного, но все еще жаркого солнца. И облака, и поле, и измученная жаждой кукуруза, и красная полоска пыли, вьющаяся над проселком, — все как будто замерло в ожидании чего-то большого и важного.

Две горлинки стремительно пронеслись над дубами и скрылись в вербах, растущих у околицы села. Ворон с раскрытым от жары клювом опустился к самой воде, прислушался, напился и, тяжело взмахнув крыльями, улетел.

Голуби продолжали всматриваться в ровную пожелтевшую даль. Там, где она уходила вниз, закрытая серо-зеленой стеной кукурузы, еле-еле виднелись пышные кроны нескольких буков. Стая обычно ночевала в их густой листве. Сейчас птицы дожидались темноты, не переставая внимательно вглядываться вдаль.

От реки поднялась прохладная, еле ощутимая струя воздуха. Запахло тиной. Ветерок постепенно становился все сильнее. Равнина ожила. Длинные тени кукурузы легли на жнивье, вода в речке перестала блестеть, а меланхолическое кваканье лягушек зазвучало чаще и уверенней.

Вдруг голубь, сидевший на верхушке самого высокого дерева, встрепенулся, словно собрался взлететь. Его трепет передался всей стае.

Прямо против солнца на желтоватом вечернем небе появилась маленькая темно-коричневая точка. Она то увеличивалась, то пропадала из виду, описывая над полем правильные круги, и по спирали поднималась все выше и выше. Через несколько минут она выросла, оставив далеко под собой заходящее солнце. Круги становились все шире и постепенно превратились в неправильные эллипсы, узкие края которых все больше приближались к реке. Но сама точка росла так медленно, что голуби не могли уловить никакой разницы и удивленно продолжали следить за ней.

Незаметно точка превратилась в черточку, которая посередине

вскоре как бы раздалась вширь. Теперь уже совсем ясно были видны широкие крылья сокола, который приближался к стае, готовясь, по своему обыкновению, упасть на нее с высоты.

Вдруг, словно подхваченный порывом ветра, он рванулся вон из эллипса против течения реки, как будто увидел какую-то другую добычу. Потом так же внезапно развернулся и, описав широкую дугу, неожиданно очутился над самыми дубами.

Только сейчас старый голубь, вожак стаи, заметил опасность. Но было уже поздно. Сокол повис над деревьями, и спустя миг голуби услышали свист падающего как метеор тела хищника. Сложив крылья и вытянув вперед ноги, он несся вниз быстрее брошенного с высоты камня.

Голуби мгновенно сорвались с места и попадали на землю, словно сбитые градом. Одни укрылись в нижних ветвях деревьев, другие — в прибрежном кустарнике. Не спрятался только старый голубь. Он полого устремился к реке, сокол камнем ринулся следом и у самой воды почти настиг его. Но старый вожак был сильным и опытным летуном. Когда сокол уже готов был его схватить, голубь вдруг из-под самых его когтей резко рванулся прямо вверх. Сокол чуть было не врезался в воду. Чтобы удержаться в воздухе, он широко распахнул крылья и замахал ими, как бабочка, высматривающая, куда бы ей опуститься.

В ту же секунду старый голубь, громко захлопав крыльями, заставил своих перепуганных и рассыпавшихся товарищей подняться в воздух.

Свист десятков крыльев, словно ветер, пронесся над речкой. Не теряя времени, птицы устремились к месту ночевки.

Но сокол обогнал их. Он вырвался вперед и начал кружить над самой кукурузой, время от времени взмахивая крыльями.

Стая была вынуждена вернуться и подняться ввысь. Но коричневый хищник не стал ее преследовать. Он начал кружить прямо под нею, спокойно и плавно. Все выше поднимались голуби и все быстрее вились над потемневшей равниной. Солнечные лучи, еще освещавшие глубины предвечернего неба, делали птиц похожими на сверкающие алебастровые шары.

Они видели сверху, как сокол кружит над самыми их деревьями. Почти не шевеля крыльями, он легко и без усилий парил в тихой вечерней прохладе.

Несколько раз голуби пытались его обмануть, улетаая так далеко, что почти пропадали из виду. Но, заметив, что сокол в свою очередь тоже начинает набирать высоту, стая опять возвращалась на прежнее место.

Смеркалось. Речка внизу, посреди темной долины, стала похожа на узкую блестящую ленту. Пятнами расплывались очертания деревьев. На западе постепенно остывало раскаленное небо, и красноватые отблески на соломе сжатого поля незаметно погасли.

Голуби начали устывать. Свист их крыльев становился все ровнее и тише, переходил в шепот. Сокол внимательно вслушивался.

Приближалась минута, когда голуби непременно захотят попробовать опуститься в густые ветки деревьев, где он уже не сможет на них

напасть. Время от времени хищник поворачивал голову и неравномерно покачивался на своих широких крыльях.

Вдруг старый голубь громко захлопал крыльями. Он подавал знак товарищам следовать за ним.

Словно дождь из серых стальных брусков, падали голуби с высоты на свои деревья. Они проносились мимо сокола, мелькали вокруг него, устремляясь к уже совсем потемневшей земле.

Шум и близость столь многочисленной добычи ошеломили сокола. Он опоздал. Не успел хищник наметить себе жертву, как голуби уже нырнули в густую зелень буков. Лишь один из них — молодой и неопытный — все еще летал вокруг...

Испуганные птицы с замиранием сердца долго еще слышали свист его крыльев и видели сквозь густую листву темный силуэт хищника, который его преследовал. Немного спустя раздался тревожный всплеск крыльев и тихий хрипящий звук, которым закончилась борьба...

Наступил вечер. Внизу, в приютившейся у реки деревеньке, загорелись огоньки. Прозвучал чей-то протяжный крик. Запоздавший пастух прошел со своим стадом под самыми деревьями, напевая песенку и сердито покрикивая на коз. Потом наступила тишина, в которой слышно было только, как голуби рассаживаются среди ветвей.

Вся равнина слилась в громадную черную массу. Над ней осталось только темное, усеянное звездами небо. Жалобный звон цикад, казалось, убаюкивал теплый сумрак, а неумолчные голоса лягушек зазвучали еще более страстно, все резче раздирая ночную тишь.

Один за другим засыпали голуби на ветвях старых буков, похожих на две громадные мрачные тени. Иногда какая-нибудь из птиц вздрагивала, вынимала головку из-под крыла и тревожно вслушивалась в тихий ветерок, напоминавший ей свист соколиных крыльев. Но мирные звезды, мерцавшие среди листьев, успокаивали ее, и она вновь засыпала, убаюканная шепотом летней ночи.

Утром шесть куропаток забрались в редкий колючий кустарник, росший на склонах лога.

Вокруг, словно дно гигантского сосуда, окруженного со всех сторон теряющимися в дымке зимнего дня горами, лежала равнина. Смерзшийся на большую глубину снег однообразно синел. Равнина, словно ставшая меньше, безнадежно и пустынно леденела под прозрачным, как стекло, небом.

Шесть птиц подняли головы и сквозь черную колючую сетку кустарника с удивлением смотрели на студеную белизну, покрывавшую недавнее жнивье и кукурузные поля, где они выросли. Их маленькие головки, цвет перьев на которых переливался от красноватого до светло-голубого, долго оставались неподвижными. Кроткий испуганный взгляд девичьих глаз был устремлен к далеким почерневшим лесам. Потом они тревожно обернулись назад, к противоположному склону лога, где был небольшой холмик. Посреди него торчал голый вяз. В его ветвях виднелся словно бы ворох сухих листьев.

Время от времени этот клубок вздрагивал и принимал продолговатую форму. В пространство вписывался острый ястребиный профиль. Хищная птица, потеряв терпение, начинала шевелиться.

Она ждала уже два дня.

Куропатки видели, как ястреб, точно сторож, прилетает рано утром, торопясь занять свой пост. Вонзив взгляд в терновник, он алчно следил за каждым движением птиц своими желтыми глазами. Лишь только одна из куропаток пробовала выглянуть из укрытия, он поднимался на ноги и, готовый расправить крылья, весь подавался вперед, словно боялся пропустить нужное мгновение.

Жертвы ястреба тоже следили за ним, но с ужасом. Они сторожко ходили по кустарнику, под защитой его острых колючек, а голод искал их выйти из убежища на поиски какой-нибудь пищи.

Петух — на его груди коричневое пятно было самым большим и ярким — ни на миг не спускал глаз с ястреба. Время от времени он издавал тихие звуки, предостерегая от неразумного шага какую-нибудь молодую курочку. Эти едва слышные молящие звуки приводили ястреба в волнение. Хищник напрягался, как пружина, которая вот-вот сорвется.

Дни стояли без солнца, не шел и снег. Небо было неподвижным, тихим, холодным и точно навеки собиралось остаться таким. Мертвенностью веяло от застывшей земли. Даже собачий лай не доносился из окрестных сел. Замерзшая живность не осмеливалась издать ни малейшего звука, боясь нарушить суровую тишину земли. Дни приходили не-

радостные, холодные и уходили незаметно, оставляя за собой запах ночной стужи. Лишь неумолчное журчание воды подо льдом разносилось по логу.

Вечером темнота смешивалась с туманом. Равнина синела. Ястреб поднимался с вяза, делал широкий полукруг над кустами, желая удостовериться, что его добыча на месте, и спокойно летел к далекому лесу.

Куропатки бросались к руслу потока, свободному ото льда. Здесь земля не замерзала, и можно было легко ухватить какую-нибудь улитку или травинку. Немного покопавшись в логе, птицы, дружно затрепыхав своими короткими крыльями, летели к дороге, чтобы порыться в навозе. Но досыта наестся им уже не хватало времени. Быстро темнело. Надо было думать о ночи — не менее опасной, чем день.

Ночевали они на уединенном виноградушке, возле самой сторожки, за которой лежала куча срезанных лоз. Наваленные поверх плетня, они образовывали небольшое укрытие, которое защищало от ветра. Ослабевшие от голода, птицы укладывались рядышком, согревая друг друга. Петух — бессменный сторож — устраивался чуть поодаль.

Куропатки, можно сказать, и не спали. Ночь полнила подозрительные звуки. Хруст сухого листа заставлял их встревоженно вслушиваться. Маленькая сова, жившая на чердаке сторожки, садилась на крышу и пронзительно мяукала. Ее бесстыдный крик оглашал все окрест. Со стороны непрозрачного горизонта долетал тоскливый вой волка. Низкое небо давило на окутанную туманом землю.

Едва куропатки задремывали, как скрип снега снова поднимал их на ноги. Вскинув головы, они вслушивались в кошачью поступь лисицы.

Петух подавал сигнал тревоги, и его подруги сливались с землей. Куропатки разбежались кто куда и залегали в снег. Ринувшийся навстречу лисе самец исчезал в темноте, и только по жужжащему шуму его крыльев можно было определить, в какую сторону он полетел. Петух уводил лису от своих подруг. Но лиса не поддавалась на этот обман. Шаги ее раздавались все ближе, что-то темное перемахивало через плетень... Куропатки бросались врассыпную и снова залегали, точно окаменев.

Утром они собирались и опять летели в лог, где их надежно защищал колючий кустарник.

2

В то утро ястреб показался над логом раньше обычного.

Поначалу, как это было у него заведено, он вихрем пронесся над равниной, видимо надеясь застигнуть стаю врасплох на открытом месте. Сделав несколько кругов, он вернулся в лог, увидел куропаток под кустами и, разочарованный, сел на вяз.

Раньше он подстерегал свои жертвы спокойно. Но сегодня его мучил голод, ждать больше было немогогу. Он нахохлился и издал сильный злоевающий крик. Его нетерпеливый возглас привлек внимание летящих

к селу ворон. С гневным карканьем они ринулись со свинцового неба на ястреба.

Ястреб ловко кружил в воздухе, избегая ударов ворон. Но скоро, разъярившись, сам перешел в наступление. Черные птицы преследовали его, тяжело плывя по воздуху. Они то взмывали вверх, то спускались к ястребу. Шум их крыльев напоминал скрип несмазанного колеса.

Выщипанные перья еще парили в воздухе, когда хриплый вороний гай затих где-то за мглистым горизонтом.

Одна за другой куропатки осторожно выбрались из кустов. Сунулись к логу, но тут раздался крик петуха — чир-рик!

Его неусыпное око заметило серую точку, на мгновение показавшуюся над холмом. Сложные крылья и выставленные вперед лапы ястреба нависли над стаей.

Куропатки со всех ног припустили к кустам. Только петух застыл на месте. Припав к земле и подняв голову навстречу ястребу, он храбро ждал, когда страшные когти приблизятся к его маленькому телу. Инстинкт самопожертвования и беззаветная смелость, охватившая его птичье сердце, подсказали ему ту последнюю долю секунды, когда надо отскочить в сторону. Свирепые, до отказа выпущенные когти вонзились в смерзшийся снег.

Отчаянно вереща, петух полетел в кусты. Разгневанный ястреб стрелой ринулся за ним. Но было поздно... Крылья его ударились о предательские колючки. Яростный крик хищника, словно проклятие, пронесся по логу. Серая птица, потеряв рассудок от неудачи, села над самыми головами оцепеневших от ужаса куропаток. Желтая лапа с загнутыми когтями сунулась сквозь колючки, пытаясь схватить одну из жертв. Ястреб закричал и забил крыльями. Сердца лежащих под ним куропаток колотились бешено. Шум крыльев ястреба подмывал их взлететь, но инстинкт был сильнее — он крепко прижимал их к земле.

Несколько минут продолжалась эта борьба. В конце концов ястреб поднялся с куста и полетел к своему вязу. Смерть и на этот раз отступила.

Куропатки не сразу тронулись с места, словно сердца их не выдержали страха. Потом они сгрудились вокруг петуха. Притиснувшись друг к другу, птицы молча и беспомощно озирались. В кротких, вечно озабоченных глазах была безропотная покорность. Темно-красное оперение хвоста еще стояло веером от возбуждения. Дрожь пробегала по пестрым телам. Только ощущение взаимной близости вносило успокоение.

Спустя несколько минут они улеглись под большим кустом.

3

Так прошло утро. Туман над равниной начал подниматься. Студеный ветер нагнал новые облака с севера. Неподвижная пелена на небе разорвалась, кругозор расширился.

С дороги ветер доносил скрип саней и бречание колокольчиков. Глухое молчание равнины сменилось свистом холодной воздушной волны. Все пришло в движение. Даже вода в логу забормотала громче, словно вдруг рассердилась на лед.

Ястреб качался на своем суку. Ветер загибал в сторону его длинный хвост, и хищнику пришлось повернуться к нему головой. Но ястреб уместился так, чтоб ни на секунду не спускать глаз со стаи. Наполненное движением пространство лишило его спокойствия. Волновались и его жертвы.

Куропатки суетились, вскидывали головы, жались друг к другу. Возможно, и долетавший до них скрип саней неудержимо раздражал их пустые желудки.

Внезапно снизу, где лог вливался в равнину, раздался выстрел. Звук пронесся и исчез, а потом снова повторился.

Ястреб повернулся и внимательно воззрился в ту сторону.

Куропатки, вытянув шеи, тоже вслушивались.

Прошло несколько минут, в течение которых слышался лишь свист ветра. Все с большей тревогой вглядывался ястреб вниз. Он словно бы забыл про стаю — присел и вытянул голову вперед.

Какое-то животное бежало сюда. Куропатки из кустов ясно слышали глухой скрип снега. Вдруг ястреб взмыл над долиной. Он покачал крыльями, на мгновение застыл в воздухе и камнем полетел вниз. Несколько раз он менял скорость, то опускался, то снова взмывал вверх, словно играл с ветром.

По самому дну лога бежал заяц. Ястреб навис над ним. Заяц петлял, останавливался и, сев на задние лапы, смело отражал атаки врага. Во что бы то ни стало он стремился добраться до кустов. Ястреб понимал намерение зайца и ожесточенно его преследовал. Косой делал громадные скачки и сумел-таки шмыгнуть в кустарник.

Куропатки видели, как он залег в десяти шагах от них; желтые глаза его были вытарашены, верхняя губа непрерывно двигалась, словно он нюхал воздух.

В нижней части лога затрещал лед. Ястреб описал широкий круг и поднялся высоко в небо. Заскрипел наст. Шум шагов приближался...

Над белой линией склона показалась голова человека. Два голубых глаза задержались на кусте, под которым лежали куропатки. На долгое мгновение взгляд человека встретился с шестью парами испуганных глаз, взоры которых потонули в синей лазури глаз человека. Но он ничего не заметил в птичьих глазах — ни ужаса, ни мольбы. Он их даже не видел, хотя птицам глаза человека казались огромными, словно глубокие озера, дна которых не разглядишь. Они видели, как эти озера потемнели, как лазурь их подернулась мглой и исчезла в огненном вихре и громе, ослепившем птиц.

Последний раз подав сигнал тревоги, петух подпрыгнул, подброшенный страшной силой пороха, и, перевернувшись в воздухе, весь в крови, упал на дно лога.

Из-под куста выпорхнули только две куропатки. Они кинулись, собрав все силы, за холм, где стояла одинокая сторожка с плетнем позади нее. Но не успели они пролететь и половины пути, как ястреб, взмывший под самое небо, молнией кинулся на них и схватил ту, что летела сзади..

Вечером оставшаяся в живых куропатка вернулась в лог.

Она бегала по кустам, вглядываясь в густой мрак над равниной, и тихонько попискивала. Но кроме больших и глубоких следов человека и кровавых пятен на снегу, ничего не было видно.

Лог опустел. Даже вода не журчала, замерзнув подо льдом.

СМЕРТЬ ПТИЦЫ

Я хотел рассказать тебе об этом, когда после охоты на бекасов мы сели отдохнуть у дороги, неподалеку от деревеньки, чьи саманные ограды и терновые плетни, скрытые в густых ветвях верб, исчезали в рубиновом пламени заходящего осеннего солнца.

Помнишь эти звезды, каждый вечер дрожавшие в огненном великолепии на другом краю леса? Словно какая-то гигантская бочка лила опьяняющее вино над миром. Глядя на них, мы оба испытывали желание уйти туда, где, казалось, мы найдем другой, солнечный и прекрасный мир, какой видели в своих детских сновидениях.

Я забыл рассказать тебе тогда про этот случай, так как голова моя была еще полна охотой. В памяти моей снова возникли впечатления дня—влажный лес с медно-красной листвой, тихий и нежный шепот бекасов, стойки наших собак, гром выстрелов и этот острый запах жженого пороха, который так сильно ощущается в свежем лесном воздухе.

С другой стороны, уместно ли заводить речь о чем-либо подобном теперь, когда на всем земном шаре война уносит тысячи и миллионы человеческих жизней? И разве смерть птицы, о чем я хочу тебе рассказать, может идти в какое-нибудь сравнение со смертью человеческого существа?

И все-таки мне кажется, я понял, что такое смерть, именно на примере этой птицы, которую я застрелил по ошибке.

Это произошло в конце прошлой суровой и долгой зимы, на болотистой равнине, огражденной со всех сторон венцом гор, на которой мы с тобой не раз подстерегали диких уток.

День был холодный и ветреный. Гонимые сильным северным ветром, к окраине села подлетали сотни перелетных птиц в поисках приюта от холода и голода. Стаи певчих дроздов и скворцов, ржанки с золотыми глазами, чибисы с широкими траурными крыльями, овсянки и голуби покидали равнину, относимые ветром. Весь этот птичий мир искал спокойного угла, чтоб отдохнуть, насытиться и согреться после долгого пути с юга.

Приманкой служила им речушка с поросшими ивняком высокими берегами, извивавшаяся между огородами села. Птицы перелетали с дерева на дерево и садились на берегах ее, потому что тут ветер был не такой сильный и земля не отвердела от мороза.

Идя по течению, я поднял несколько стай диких уток. Охота была легкая и добычливая. Восемь штук из тех, что мы, охотники, называем черными, повисли на моем патронташе. Обессиленные ветром и сонные после долгой холодной ночи, проведенной в скитаниях над замерзшей топью, они подпускали близко и становились легкой жертвой моих выстрелов.

К обеду с севера показались серые тучи, тяжелые, снежные. Над

равнины поднялась метель. Стая диких гусей пролетела над речкой и пропала в белой сетке крупных снежных хлопьев, падавших косо, напоминая белые ленты.

Я укрылся от метели в пастушьем шалаше, его соломенная крыша шуршала у меня над головой.

Через час ветер утих. Снег перестал. Небо поднялось выше, и равнина забелела — широкая, спокойная, чистая.

Удачная охота, снежная равнина, покрытая рыхлым мартовским снегом, по которому так приятно идти и чистота которого словно проникла в душу, вызвали во мне беспричинную радость, какую испытываешь при мысли о чем-то прекрасном и бодром. Отрадно было мне шагать среди этого короткого белого молчания равнины, слушать, как шуршит моя одежда и как ствол моего ружья постукивает о кольцо охотничьей сумки.

Через два часа должно было стемнеть, но снег наполнял спокойный воздух светом, а сквозь утончившуюся пелену туч был виден солнечный диск, похожий на горящую в густом тумане лампу.

Я повернул от речки и пошел равниной к городу. Путь мой лежал вдоль оросительного канала, наполненного снежной кашей.

Далеко впереди зеленым зеркалом на белом поле протянулась большая лужа. Вдоль нее одиноко торчали несколько низкорослых ив, и голые ветви их еле отражались в ее прозрачных водах.

И вот, приблизившись к луже на пятьдесят шагов, я вдруг заметил, что посреди нее сидит какая-то птица. Она была неподвижна, словно черный шарик.

Как только я остановился, птица обернулась, и я увидел ее настороженно поднятую голову. По всей вероятности, это была утка той же породы, что и висящие у меня на поясе. Она приготовилась взлететь. Это было видно по ее легким, почти неуловимым, полным тревожного трепета движениям.

Ты знаешь, мой друг, как замеченная внезапно дичь заставляет нас вздрогнуть и схватиться за ружье. Кровь ударит в голову, от возбуждения захватит дух, и мгновенно все внимание сосредоточится на этой птице или этом звере. Одно лишь безудержное желание завладеть дичью охватывает нас. Мы дрожим от напряжения, как бы не упустить той секунды, когда нужно выстрелить...

Сообразив, что утка может взлететь и скрыться за ветвями от моего взгляда, я решил стрелять, пока она еще не поднялась.

Я навел на нее ствол и, когда верх мушки коснулся ее темного тела, дернул спусковой крючок.

Сквозь легкий дым я увидел, как птица вздрогнула, как дробинки подняли вокруг нее водяные брызги, как на покрытом снегом берегу появились черные точки свинцовых зерен. Но странное дело: утка осталась по-прежнему в луже, спокойная, неподвижная. Она не захлопала крыльями, не попыла, не опрокинулась на спину, не нырнула в воду, ища спасения от гибели, как сделала бы каждая раненая или умирающая водяная птица. Она только не спеша слегка повернулась ко мне, так что

снова стала похожа на округленный комочек.

Удивленный и не веря самому себе, я двинулся к ней, положил палец на другой спуск, чтобы выстрелить еще раз.

Я испытывал не только удивление, но и растерянность, словно стрелял по какому-то призраку, неуязвимому, находящемуся вне законов жизни и смерти.

Подойдя, я увидел, что в луже сидит не утка, а черная лысуха. Темно-пепельное тело ее было совершенно целым и чистым. Ни единой капли крови не было видно на ее густом оперении.

Она не двигалась. Казалось, она целиком ушла в то оцепенелое и немного удивленное созерцание, которое охватывает низшие существа, когда они спокойны и чувствуют, что им не грозит никакая опасность. Мое присутствие не произвело на нее ни малейшего впечатления, как будто я для нее не существовал, хотя я стоял уже на берегу лужи и нас разделяло не больше двух шагов.

Ее маленькая головка, изящная, блестящая, черная, увенчанная белым гребешком, была выставлена вперед, как будто взгляд ее, устремленный вверх белой равнины, приковала к себе какая-то точка по ту сторону горизонта. Казалось, птица целиком поглощена чем-то бесконечно важным, властно захватившим ее внимание и неотразимо ее приковывающим. Ледяным равнодушием и полным безразличием ко всему остальному веяло от этого маленького, мирно плавающего в воде существа.

Представь себе, если бы ты вдруг увидел издали эту невероятную картину: охотник и дикая птица—так близко друг от друга; человек—удивленный, недоумевающий, дичь—совершенно равнодушная к присутствию самого страшного своего врага; и все это—на спокойной белоснежной равнине, на которой метель оставила после себя только мир и тишину. Не подумал ли бы ты, что в этот час на земле совершилось великое чудо, обещанное нам евангельскими легендами?

Еще несколько секунд, и я почувствовал, что не могу больше выдержать эту загадку. Мне хотелось крикнуть, взмахнуть рукой либо протянуть руку и схватить это крохотное черное создание, которое не боится меня и спокойствие которого кажется таким величественным.

И вот, когда я уже готов был ступить в воду, птица вздрогнула. Длинная шея ее изогнулась, голова слегка подалась назад, и все тело затрепетало в судорожном порыве, словно она хотела сохранить что-то такое, что до этой минуты с трудом удерживала в своей груди. Потом она медленно подплыла к обломку льда, который торчал перед ней, и, вытянув шею, прижала к холодной твердой поверхности свой перламутрово-белый клюв. Все отчаянней и сильнее погружала она свой клюв в лед, словно старалась таким образом заглушить свою боль. Вдруг тело ее обмякло, тонкая пленка застлала наполовину ее черные глаза, и она перевернулась на спину. Она была мертва.

Только тут я понял, какая сила преодолела страх в этом создании. Птица была ранена смертельно. И когда свинцовое зерно проникло в ее грудь и она почувствовала приближение смерти, все ее существо было

поглощено ожиданием этой важной минуты. У нее не было времени заниматься мной, потому что она готовилась встретить свой конец... В эти несколько минут душа ее, быть может, почувствовала частицу той скорби, которую испытывает каждое живое существо на пороге смерти.

Долго стоял я в раздумье над маленьким трупом, неподвижно плавающим в зеленоватой воде.

Когда взгляду моему снова предстали белый венец гор и мирное спокойствие равнины, мне показалось, что эта жизнь, которую я отнял, не исчезла бесследно, но в виде маленькой капельки перешла в океан великой и вечной силы, которая рождает жизнь... И я понял, почему мы, люди, видим в смерти известную красоту и даже возлагаем на нее какие-то надежды. В этом переходе отсюда туда и в вечном возвращении, о котором говорят философы и религии, наш ум открывает бессмертное начало жизни и черпает новые силы для духа...

Прежде чем уйти, я вынул труп птицы из воды и положил его на снег, побуждаемый желанием уберечь его от гниения и обезображивания.

Вот что я хотел рассказать тебе в тот чудный осенний день. Ты — охотник и не станешь корить меня за бесцельное убийство этой птицы. Животное нужно нам, чтобы возвыситься над ним, но когда знаешь, что такое смерть, вера в бессмертное начало жизни останавливает твою руку и переполняет душу твою просветлением и любовью.

1

Притаившийся в прибрежных кустах раkitника селезень, казалось, спал.

Темно-зеленая, с бронзовым отливом голова его, золотившаяся под теплыми лучами апрельского солнца, была наполовину заложена под крыло. Но маленький глазок, черный, как булавоочная головка, зорко следил оттуда за всем вокруг.

Селезень незаметно поворачивал голову, и взгляд его то скользил по светлому, ясному небу, залитому весенним солнцем, в лучах которого сияли легкие белые облачка, то опускался на реку, где недалеко от берега беспечно резвилась в прозрачной воде утка — над серебристой поверхностью то и дело вставал лишь ее короткий острый светло-коричневый хвост.

В мелких волнах, убежавших к берегу, дробилась нежно-алая окраска ее лапок, а когда она плыла, вода, разбиваясь на струйки, повторяла ритмичное покачивание ее длинной шеи. Утка знала, что самец охраняет ее, и как будто спокойно предавалась поискам пищи.

Но это спокойствие было лишь внешним: в сером плоском своем брюшке она чувствовала тяжесть яйца, которая напоминала ей, что пора возвращаться в гнездо.

Делая вид, что увлеченно ныряет, утка попыталась улизнуть от своего ревнивого сожителя.

Она незаметно уплывала все дальше по течению, не откликаясь на тихие, полные нежности призывы: "Кря-а! Кря-а!", и, выбрав минуту, когда селезень отвернулся, юркнула в густой прибрежный камыш. Потом боязливо оглядела заливной луг, покрытый молодой светло-зеленой травкой, по которой ей предстояло проковылять, покачивая отяжелевшим телом, и дымящееся паровое поле, где над белыми тушами волнов размахивали погонялками пахары.

Утка напрягала все свое чутье дикой птицы, охваченной жадной материнством, стремясь уберечь гнездо от гнева любовника, который побил бы все яйца, сумеет он их обнаружить.

Теперь ей нужно было пробежать по лугу, бесшумно подняться в воздух и, прижимаясь к самому раkitнику, таясь от неусыпного ока селезня, перелететь на заросший густым камышом островок.

Там находилось ее гнездо, свитое из сухих водорослей и выстеленное пухом, нащипанным из собственной грудки. Пухом же были прикрыты и четыре снесенных раньше зеленоватых яйца.

Но не успела утка достичь и середины луга, как позади нее показался селезень. Он сердито крякал, растревоженный ее долгим отсутствием, и утка поспешила притвориться, что пришла сюда пощипать молодую

гравку. Но селезень обманывали так уже не раз, и он, раскусив уловку, дал волю своему ревнивому гневу. Ухватив утку за шею, он стал яростно топтать ее и щипать так, что летели перья. А после погнал ее впереди себя, словно супруг, возвращающий жену-беглянку домой. Однако гнев его скоро прошел. Почувствовав в своем птичьем сердечке острый приступ страсти, разбуженной ревностью, он у самой воды сделал возлюбленной несколько быстрых поклонов головой, негромко покрякивая, столкнул ее в воду и, опьяненный любовью, поплыл у нее на спине. Течение несло их вниз...

Вслед за первой вспышкой страсти последовала вторая, еще более бурная — утка едва успела опрavity свои взъерошенные перья.

Они вышли на берег. Солнце обливало их теплом. Вешние воды, бегущие с гор, пахли дикой геранью и свежестью. Река плескалась о берег. С поля доносился запах разогретой земли. В синевато-зеленой воде отражались покрытые свежим пушком ветви старых верб, белое брюшко сороки, трудившейся на одной из них над устройством гнезда, и пестрые тела утиной четы.

Селезень подремывал. Утка махала крыльями, словно собиралась взлететь, и приводила в порядок растрепанные перья. После первой неудачи она терпеливо ждала удобного случая, чтобы снова попытаться бежать. Когда умиротворенный любовник лег на землю, утка приблизилась к нему и кончиком бледно-розового клюва стала легонько пощипывать его темно-зеленую голову. Она всегда прибегала к этой хитрой ласке, когда ей нужно было успокоить его и усыпить, но на этот раз он не поддавался. Его чуткий слух и острое зрение были начеку. Он вслушивался в распевные покрякивания пахарей, в далекий скрежет стального плуга, в приглушенный размеренный грохот сукновальни, над закоптевшей крышей которой вилась тонкая струйка дыма. Сквозь негромкий плеск реки его слух умел различить малейший шум, предвещавший опасность. Он узнавал отрывистое, быстрое чириканье встревоженного дрозда, предупреждавшее о чем-то недобром, улавливал шаги деревенского охотника Таке, который вот уже два дня выслеживал их по всему берегу, — это под ним так гулко прогибалась разогретая земля.

Однажды Таке удалось их подстеречь из ракитника на том берегу. Селезень первым заметил его и начал отчаянно звать подругу. "Кря-ак, кря-ак! — кричал он ей. — Улетай! Улетай скорее!"

Дуло одностволки было нацелено прямо на него, но он предпочитал умереть, чем улететь без нее. Все же утка вовремя успела взлететь — дробь дождем посыпалась в реку. В другой раз их выследил ястреб. Они нырнули в воду. Настоячивый стервятник долго кружил над рекой и пикировал на утиную пару, как только они показывались на поверхности. Лишь совсем обессилев от своих яростных нападений, ястреб прекратил охоту, но продолжал следить за ними с верхушки высокого вяза.

Ласки утки становились все нежнее и усерднее. Селезень жмурился от удовольствия и подрагивал своим коротким хвостом. Вдруг послышался резкий свист крыльев. Самец привстал, тревожно вытянул шею и поглядел на небо. Над ними вился крупный селезень. Хорошо было

слышно, как при взмахе крыльев трутся друг о друга его жесткие перья. Это был вдовец или брошенный подружкой самец, который задумал отбить у него возлюбленную.

Селезень ответил на вызов угрожающим криканьем, поднялся в воздух, сделал круг над рекою и бросился на чужака. Соперники забегались все выше в синее теплое небо, оглашая окрестности непрерывным криком. Крылья со свистом резали воздух. Каждый стремился взлететь выше своего противника. Несколько пахарей, заслонившись от солнца ладонью, наблюдали за поединком.

Высоко в поднебесье соперники сблизились, схватили друг друга за шею и начали наносить удары крыльями. Особое, приглушенное криканье сопровождало схватку, перья и пух кружились в воздухе. Бесформенным клубком они медленно падали на землю. Один из пахарей бросил в них палкой, но промахнулся. Виновник драки отделился от соперника и обратился в бегство, а вдогонку ему несло сердитое криканье победителя.

Прогнав подальше незваного гостя, исполненный гордости, селезень вернулся на старое место, но его подруги там уже не оказалось. Берег был пуст. Он страстно звал ее. Встревоженный, рыскал по кустам, забыв всякую осторожность, описывал широкие круги по воде. Затем перебрался на противоположный берег и стал обыскивать затопленные заросли тростника. Время от времени он замирал и прислушивался: не подаст ли она голос? Не плывет ли уже к быстрине? А может, она притаилась на припеке? Он еще раз переплыл реку и вернулся туда, где ее оставил. Совсем покинуть это место он не решался и, лишь набегавшись во круг, поднялся в воздух, чтобы оглядеть берег сверху. Он взлетел высоко в небо. Под ним расстилалось свежеспаханное коричневое поле с зелеными островками проросшей озими. Селезень увидел синюю цепь далеких гор, белую колокольню сельской церквушки, убегающую за горизонт дорогу, но утки не было и следа. В отчаянии он плюхнулся на воду и медленно поплыл по реке. Появилась утка неожиданно, как бы камнем свалившись сверху с обмякшими крыльями. С радостным криканьем самец набросился на нее, снова объять порывом страсти...

Под вечер, примирившиеся и счастливые, они полетели вниз по реке, чтобы провести ночь на полуразрушенной плотине старой заброшенной мельницы.

2

Дни становились все теплее. Запестрели травы. Поле дышало запахами цветов и боярышника. И небо и вода отражали зеленый наряд земли. Зашумели листвой молодые вербы, а на ветвях старых деревьев повисли мохнатые сережки. Земля перестала куриться.

По ночам поднимавшаяся над ней теплая волна разносила дурманящий аромат молодой зелени. Вовсю заливался перепел. Резвясь, гонялись друг за другом сороки. Заняли у берега свои прошлогодние места

птица-рыбарь и аист. В воде нерестилась рыба, и ночи напролет квакали лягушки.

Утка снесла седьмое яйцо. Она была все так же прожорлива, но, несмотря на это, быстро худела. Ее общипанная грудка стала совсем безобразной. А тело с каждым днем делалось горячее и горячее. Самец становился все более буйным и неистовым. Запахи трав и нагретой реки распалили его ненасытную страсть. Он преследовал свою возлюбленную на каждом шагу, объятый недобрим предчувствием, что скоро потеряет ее навсегда. Подозрения терзали его, и он часто обрушивал на утку жестокие побои, которые сменялись бурными ласками.

Вечерами они все так же улетали к старой плотине, а рано утром возвращались или паслись на нежной молодой травке заливного луга. По берегу часто проходил Таке, раздавались выстрелы, и в небе метались встревоженные утиные пары.

3

Как-то под вечер они готовились лететь к мельнице. Солнце — большое и теплое — уже трепетало над дальним концом поля. Его почти стелющиеся лучи золотили верхушки травы. Зарумянилась водная гладь, серебрились в воздухе обрывки паутины. Наступал обычный весенний вечер.

Еще днем утка снесла свое последнее яйцо и вернулась к любовнику, чтобы навсегда распрощаться с ним.

Тело ее горело. Есть почти не хотелось. Изредка она лениво ныряла и доставала со дна реки какую-нибудь улитку или несколько икринок, прилипших к водорослям. Потом словно застывала, неподвижная и отрешенная. Ласки ей опротивели. Напрасно селезень навязывал ей свою нежность. Утка была равнодушна и невозмутима. Они лежали на берегу, греясь на солнце, и молча слушали журчание реки. Селезень не спускал со своей подружки глаз, ходил за ней по пятам. Тщетно утка пыталась от неголизнуть.

Выше по реке испуганно затрещала сорока. Самец насторожился. Тяжело махая крыльями, над ними пролетел рыбарь. Приближалась какая-то опасность. Утка тихонько юркнула в ракитник. Селезень стоял на шелохнувшемся, весь обратившись в слух... Хрустнула подгнившая веточка, потом на несколько секунд все затихло. За кустами мелькнула коричневая шапка Таке, и что-то длинное и блестящее просунулось из ветвей...

Самец все настойчивей звал свою подругу. Метался по берегу, издавая тревожные крики, предупреждал ее, просил, но ее нигде не было видно... Что-то сверкнуло, и воздух дрогнул. Селезень ощутил острую боль в груди, раскинул крылья и упал в воду...

Ракаты выстрела широко прокатились над рекой. Утка с шумом вылетела из кустов. Поднявшись над вербами, она увидела белое облачко дыма и в окровавленной воде — своего умирающего друга. Не взгля-

нув на него больше, она устремилась вверх по течению, к островку, подгоняемая непреодолимым, великим зовом. Тут птица осторожно опустилась на воду и, убедившись, что никто ее не преследует, заковыляла к своему гнезду. Раскопав пух, она села на обнаженные яйца...

На небе погас последний луч солнца. Только вода реки еще поблескивала среди потемневшего поля. На землю сошел вечер, встреченный меланхолическим кваканьем лягушек.

Река тихо плескалась о берег. Утка неподвижно сидела на яйцах. Ее маленькая головка торчала над гнездом. Взгляд ее словно весь ушел в созерцание той загадочной силы, которая оглушила ее, всецело подчинила себе. Она вслушивалась в таинственный шепот весеннего вечера, точно пытаясь услышать, как растет трава, проникнуть в смысл неуловимо бурлящей вокруг нее жизни.

Прямо перед нею тужился изо всех сил запоздалый муравей, волоча к своему дому утиное перышко, а в поле, словно обезумев, кричал перепел.

Черный как смоль зверек лежал посреди узкой площадки, точно котенок, подобрав под живот лапы. В темноте его тонкое тело казалось еще более длинным, чем на самом деле, похожим на суковатую палку, которую дождевые потоки приволокли сюда вместе с палыми листьями и ветками, что виднелись кругом на скалах. Одни только глаза, светившиеся, как фосфор, выдавали его.

Глаза были обращены к ущелью, где с однообразным плеском бежала река. Зверек отвернул свою плоскую голову, словно и не подозревая, что там, на скале, впереди.

Выждав несколько минут, он вдруг встрепенулся и ударил по земле длинным хвостом.

С края скалы донеслось грозное шипение, за которым последовал короткий треск, будто щелкнул курок большого револьвера.

Зверек оскалил зубы, хвост заметался, глаза злобно впелись в огромные ярко-красные глаза филина, который сидел на выступе скалы и зорко следил за каждым его движением.

Филин сидел нахохлившись и был похож на большой темный шар, слегка покачивающийся из стороны в сторону. Зрачки его зловеще сверкали, словно в глубине глазниц горел пожар. Их неподвижный взгляд завораживал и пугал. Но куница не испытывала страха — ее синевато-зеленые глазки поблескивали холодно и колюче, впиваясь, точно стальное лезвие, в пылающие зрачки птицы. Когда она оскаливалась, ее белые зубы сверкали в темноте, а по телу пробегала хищная судорога, как будто по нему пропускали электрический ток.

Вдруг с вершины скалы, где дремал черный неподвижный лес, вспорхнула какая-то тень. Она устремилась сначала к другому берегу, к деревне, но потом внезапно повернула к площадке.

Однако куница вовремя ее заметила и молниеносно шмыгнула в расщелину скалы. Там она оставалась до тех пор, пока самка филина не улетела бесшумно в свое гнездо. Куница знала, что с наступлением утра чета филинов будет уже не столь опасна.

Вот уже несколько недель следила она за их возвращением в гнездо, терпеливо подстерегая удобную минуту, чтобы на них напасть. Внизу, в каменистом ущелье, находилась ее нора. Терпеть соседство филинов было невозможно. Они отнимали у нее добычу и ночью вели себя как полновластные хозяева всей округи. Их глаза пугали куницу и вместе с тем будили в ней жажду крови.

Выбравшись из расщелины, зверек снова занял прежнюю позицию и, теперь уже не прибегая ни к каким уловкам, стал следить за черным силуэтом филина.

Начало светать, и филин из черного постепенно становился темно-коричневым. Видны стали белые скалы. Скovanную стужей землю обволакивал легкий туман. Вода в реке не искрилась, как ночью, а все больше просвечивала холодной синевой. Тонкая пелена облаков медленно расплзалась, и мутное, как запотевшее зеркало, небо отразилось в реке. Свет зари смешивался с унылыми лучами тощего полумесяца, серебряной бровью повисшего над дальними, еще не пробудившимися лесами. На том берегу, в деревушке, заскрипели ворота, слышались людские голоса, звяканье ведер, рев скотины. Окошки гасли одно за другим.

Погасли и глаза большой неподвижной птицы. Кроваво-красный накат их исчез, и теперь они напоминали зерна янтаря. Темно-рыжее, со всеми неуловимыми оттенками ночи оперенье на груди птицы проступало все отчетливей. Круглые зрачки съеживались, птица то моргала, то медленно прикрывала веки, как человек перед тем, как вздохнуть. Яркий свет слепил ее. Но она медлила, не решаясь вернуться в гнездо, и терпеливо наблюдала за своим врагом.

Так прошло еще несколько минут.

Небо на востоке разгоралось все ярче. Альий свет залил верхушки деревьев в лесу, окрасил розовым желтые известковые скалы. Где-то рядом затрещала сорока, в кустах у реки запел дрозд. Стая скворцов со свистом пролетела над ущельем.

Куница подползла к выступу скалы, одним прыжком подскочила к филину и, оскалив зубы, попыталась вцепиться ему в горло. Но тот отпрянул, приподнялся и ударил ее своим широким крылом. В зубах у нее остался только пучок мягких перьев. Куница выплюнула их и напала снова.

Теперь филин стоял на самом краю скалы. Отступив назад, он распахнул крылья и, описав в воздухе короткую крутую дугу, стремительно обрушился на своего врага.

Куница оказалась на гребне уступа. Передними лапками она цеплялась за камень, ошеломленная ударами крыльев, которые били ее, точно метлой, и сбрасывали со скалы. Она запищала, изо всех сил стараясь отползти от края. На белой грудке заалело кровавое пятно — там, где в ее тело вонзилась когтистая лапа филина. Мягкая шерстка куницы взлохматилась, и вся она была похожа теперь на маленький пушистый клубок, прилепившийся к скале.

И вдруг клубок сорвался: филин ударил куницу клювом по голове, и она покатила вниз, в пропасть, избитая, обессиленная, но настроенная все так же воинственно.

Минутой позже она сидела у подножия скалы, зализывала раны и злобно поглядывала вверх. Потом быстро скрылась в глубине ущелья, где находилась ее нора.

Взъерошенный и ожесточенный филин по-прежнему сидел на выступе скалы, вертя своей кошачьей головой.

Два ястреба с громким пискom вылетели из-за скал. Увидев их, испуганно забил крыльями голубь. Сойки, прижав крылья, одна за другой

стали стремительно спускаться к реке. Морозный воздух звенел под напором их падающих тел.

Вдруг одна из них заметила филина и тревожно закричала. Повернув, она села неподалеку от него, издавая все более громкие и нетерпеливые крики. В лесу мгновенно поднялся страшный гомон. Испуганно свистали дрозды, торопливо слетались сороки. Над высокими тополями соседней деревушки показались черные силуэты ворон, тоже направлявшихся сюда. Их хриплое карканье звучало боевым кличем.

Тщетно пытался филин укрыться в свое гнездо. Пестрая стая растревоженных птиц кружилась над ним, и каждый раз, когда он пытался взлететь повыше, вороны долбили его своими тяжелыми клювами, а сойки забирались ему под крылья.

Он перелетал со скалы на скалу, шипя, как змея, щелкал клювом, протягивал лапу, чтобы схватить какую-нибудь особенно наглую сороку, но в это время другая сорока клевала его в спину. Под конец, взъерошенный, измученный, он забился в какое-то углубление в скале и оттуда глядел своими круглыми испуганными глазами.

Лишь к полудню голод вынудил птиц оставить его в покое. Тогда филин тяжело взлетел наверх, где в скале, в глубоком отверстии, похожем на маленькую пещеру, было его гнездо. Во тьме пещеры светились глаза его подруги.

Подлетев к ней, он положил голову на ее мягкую бархатистую спинку. Тихие, нежные звуки, похожие на голубиное воркованье, наполнили сырую холодную пещеру. Птицы смотрели друг на друга, и в их кошачьих глазах горел огонь такой жаркой, неутолимой любви, что казалось, это пылают их сердца.

2

Они проводили дни, укрывшись от света солнца. Но слух улавливал все звуки дня. Они слышали посвистывание дроздов, неумолчную болтовню соек, которые вили себе гнезда, томное, глухое, как стон, воркованье голубей. Лес звенел от птичьих голосов, будто с утра и до поздней ночи там шло какое-то празднество.

Истомленные страстью, филины дремали, прижавшись друг к другу, неподвижные, как древние божества.

В узкое отверстие пещеры была видна деревушка с белыми столбами дыма над крышами, рядом — мельничная запруда, освещенная весенним солнцем, золотисто-зеленые поля и дальние леса, которые с каждым днем становились все розовее. На дороге, проходившей у подножия скалы, часто раздавался плаксивый скрип телеги или тяжелый топот скотины. После полудня река шумела громче, набухая от талого снега, сбегавшего с гор. Из леса веяло влажным теплом, доносился запах прелых листьев и дуба, а к вечеру потемневшая земля казалась в сиянии луны серовато-зеленой и скудной.

Филин и его подруга выбрались из гнезда и бесшумно ринулись в

ночь. Сначала они летели между ветвями деревьев, будто прячась друг от друга. Самка летела впереди, время от времени издавая тихие гор-тантные звуки, похожие на человеческий смех. Потом они поднялись над лесом и устремились к круглолицей луне, словно хотели испепелиться в ее золотистом огне.

Ночь заново распалая их любовь. Хриплый хохот филина постепенно перешел в глухое, страстное воркованье. Он взлетал над самкой и, толкая ее крыльями, старался сбросить на землю, но она ловко ускользала от него. Тогда он садился на ветку и оттуда звал ее своим низким голосом, от которого лесные птицы просыпались в испуге.

Иногда они опускались низко над полем, привлеченные писком мыши или быстрой, неуловимой тенью зайчонка, выскочившего порезвиться на просторе. А после полуночи охотились на прилетевших из-за гор уток, которые возвращались на север, к Дунаю.

3

Однажды они носились над лесом, точно бумажные змеи, запущенные в ночь чьей-то рукой. Землю укрывала густая тень свежей листвы. Лес темнел, серебрились заколосившиеся нивы. Месяц, выщербленный, далекий, взошел в эту ночь поздно. Заснеженная горная вершина казалась огромным белым цветком, плывущим в потоке лунного света. В кустах у реки пел соловей.

Теперь филины летели порознь. Любовь прошла, а в гнезде среди скал лежали три беспомощных, пушистых, белых как снег птенца.

Самец повернул к полям, где белела пустынная дорога. Он несся низко над межами, вслушиваясь в тихий шепот майской ночи.

Самка летела вдоль реки, держась подалеже от воды. Но порой ее тень на мгновение мелькала над омутом, и тогда оглушительный хор лягушек разом, точно по сигналу, умолкал. Она настигала их в траве и поспешно тащила к себе в гнездо. Охота поглощала ее целиком. Несколько раз она присаживалась на ветку ивы, чтобы перевести дух и подстеречь ежа, шуршавшего где-то рядом.

Миновала полночь, и рогатый месяц коснулся темной громады леса. Тени скал протянулись за реку. Вода потемнела. Все вокруг примолкло, будто сама ночь уснула глубоким сном. Свет месяца стал болезненным и мутным, а небо затянуло дымкой.

Острый слух птицы уловил какой-то негромкий шорох, донесшийся со скал. Там посыпались мелкие комья земли, камешки.

Она замахала крыльями и что было сил помчалась к своему гнезду.

Из отверстия пещеры выскочило что-то темное. Впереди него выкатились два белых клубка и полетели вниз, в пропасть. Птица вихрем налетела на зверька, вонзилась когтями ему в спину, но куница изогнулась, как змея, и впиалась ей в горло. Обе кубарем скатились по отвесной скале. Шум схватки заглох на дне ущелья. Птица била крыльями о землю, куница пищала, пытаясь освободиться от могучих когтей, про-

извавших ее тело. Потом все стихло. Только в густых зарослях бурьяна у дороги слышалось испуганное шипенье одного из птенцов, которого куница выкинула из гнезда, не успев перегрызть ему горло.

4

С той поры филин-отец проводил дневные часы возле птенца, в придорожном бурьяне. Стаи сорок и соек целыми днями кружили над ним. Только высокие стебли бузины да крапива спасали филина от их клювов. Прятали они его и от глаз проходивших по дороге крестьян. Он удивленно провожал их своими мрачными глазами. Людей он не боялся, потому что никогда прежде не видел их так близко. Поначалу он встречал их с недоверием и готовился к бою, а потом уже спокойно следил сквозь бурьян за босыми ногами.

Птенец лежал рядом, и отец крыльями укрывал его от сырости. Обе птицы дремали, согретье майским солнцем, среди усыпанного росой бурьяна, убаюкиваемые мерным журчанием реки, и терпеливо ждали ночи. Тогда филин покидал свое убежище и беспокойно кружил поблизости, проверяя, не грозит ли маленькому какая опасность. Он все еще не смел отлучаться надолго. Каждый шорох настораживал. Он ловил у реки лягушек, охотился за майскими жуками на лугах, но, спохватившись, что улетел слишком далеко от гнезда, выпускал свою жертву и поскорей возвращался к птенцу.

Однажды вечером филин заметил на дороге человека. То был деревенский поп, возвращавшийся с косьбы. Он шел в деревню с косой на плече. Подойдя к тому месту, где лежал птенец, священник остановился закурить.

Он достал огниво и стал высекать огонь. Филин несколько раз пролетел чуть не над самой его головой, но священник ничего не замечал и продолжал бить по кремню, что-то приговаривая.

В искрах, в ударах кремня по стальному бруску птице почудилась угроза. Попу наконец удалось поджечь трут. Он положил его в свою шершавую ладонь, поднес к сигарке и с наслаждением затянулся.

Вдруг что-то коснулось его шапки и едва не сбросило ее с головы.

Священник вздрогнул, испуганно оглянулся кругом. Однако, кроме поблескивающей реки и окутанных тьмою скал, ничего видно не было. Он поправил шапку, что-то пробормотал и решил поскорее убираться отсюда, но не успел еще сделать и шага, как что-то тяжелое ударило его в спину.

Он в ужасе закричал и бросился в темноту. Филин летел за ним до тех пор, пока тот не перебрался на другой берег. Поп бежал трусцой, то и дело испуганно вздрагивая. Филин прекратил преследование и вернулся к птенцу. Утром он спрятался в бурьян и задремал.

Чьи-то шаги заставили его открыть глаза.

По дороге шел человек. Он часто останавливался, потом двигался дальше. Филин насторожился, вытянул вперед свою кошачью голову.

Солнечный свет слепил глаза, но он все же различил фигуру человека, огромной темной массой надвигавшегося на него в огненном тумане. Вот он уже совсем рядом.

Страшное бородатое лицо нависло над зарослями. Птица узнала своего ночного врага и впилась в него взглядом, но поп ее не заметил. Глаза его то шарили в бурьяне, то поглядывали в сторону скал. Потом он стал снимать с плеча косу. В это мгновение филин щелкнул клювом о самых его ног.

Поп отшатнулся и стал вглядываться в куст бузины. Оттуда, из-за неподвижных веток, на него смотрели два круглых красных глаза.

— Ай! — завопил поп. — Сатана! — И, схватив косу, обрушил ее на птицу. Та распростерла крылья и перевернулась на спину. Поп свирепо замахал косой.

— Вот тебе, злодей! Вот тебе, нечистая сила! — кричал он.

Убедившись, что филин мертв, он пинком отшвырнул труп на до-рогу. Потом заметил птенца и раздавил его ногой.

После этого закинул косу на плечо и пошел обратно, время от времени вздрагивая, будто снова видел перед собой огромные глаза филина. Отойдя подальше, он остановился и облегченно вздохнул.

Мертвый филин остался лежать на дороге, похожий на кусок дивного узорчатого бархата, брошенного на песок. Рядом валялся раздавленный птенец.

Солнце стало припекать. Роса высохла. Скалы подтянули свои короткие тени к самому подножию, и дикие голуби перестали гулить в застывшем лесу.

Большая зеленая лягушка осторожно запрыгала по траве вдоль дороги. Ее золотистые глаза уставились на мертвого филина. Она задержалась на несколько секунд, словно желая увериться в том, что птица мертва, и испуганно плюхнулась в воду.

С наступлением ночи снег, который пошел еще под вечер, когда стая диких гусей поднялась с тихой заводи большой реки, повалил гуще.

Низкое непроницаемое небо словно рассыпалось на миллиарды частиц, которые бешено кружились в воздухе и бесчисленными роями неслись к земле. Они налипали на крылья птиц и, ослепляя, били в глаза.

Молодые гуси, чьи жалобные крики раздавались в конце длинной клинообразной вереницы, теряли равновесие и, замороженные колдовским хороводом снежинок, то и дело отставали или совсем теряли строй. Вьюга тащила их вниз, в пропасть, на дне которой едва-едва различалась белая равнина. Сквозь снежные рои казалось, что она колеблется. Но тут строгий гогот четырех вожakov принуждал всю стаю замедлить лет. Подбадривающими криками старые гуси призывали отставших птиц снова занять свое место в строю. Вереница растягивалась, вбирала в себя уставших и, вслушиваясь в крики вожака, летевшего в острие клина, начинала ритмично взмахивать крыльями.

В темноте мгlistой ночи спины птиц белели, покрытые мелким зернистым снегом. Снег тяжелым грузом давил на крылья, колол, точно ледяными иглами, вытянутые шеи, стремительно рвущиеся на юг, к невидимым горам, затерявшимся где-то во мраке и тумане. Монотонное шуршание крыльев мешалось с шумом ветра, и только оно и вливалось в них надежду и отвагу. Тихие крики гусей, похожие на причитания, высоко разносились под черным небом.

Гуси старались лететь друг за другом, так, чтобы каждый из них рассекал воздух только одним крылом и таким образом облегчал полет своему товарищу. Кроме того, надо было лететь строго по горизонтали.

Однако вьюга ломала клин и разбивала строй. Гуси послабее теряли высоту и, оказавшись без поддержки товарищей, издавали отчаянные крики, словно просили их тоже снизиться.

Несколько раз вожак пытался поднять стаю повыше, где, как подсказывал ему инстинкт, скорость ветра меньше, но его уставшие сородичи не в состоянии были следовать за ним. Огоньки разбросанных по равнине сел тянули их вниз. Число отставших птиц все увеличивалось.

Когда их отчаянные крики стали слабеть, старый вожак отделился от острия клина, его место занял другой, сильный и опытный гусь, а он спустился ниже, собрал отставших птиц, выстроил их в короткую наклонную линию и встал впереди. Так позади и чуть ниже большого клина образовался другой, постоянно увеличивающийся.

Несколько минут гуси летели молча. Вожак удвоил бдительность. Стая входила в тесное ущелье. Гусак встревоженно поводил шейей. Его маленькие глазки то пристально гляделись в небо, где наталкивались на густой рой снежинок, то устремлялись вниз, где черной густой

лентой извивалась река. Время от времени он тихо, но строго гоготал, ему хором вторили старые гуси. Они уже видели заснеженный лес по сторонам ущелья и сквозь завывание вьюги слышали рев реки. Впереди смутно проступала первая цепь гор. За ними лежала небольшая равнина, где стая в случае нужды могла заночевать.

Вдруг раздался шум сильных крыльев, стремительно рассекавших воздух. Один из вожаков подал несколько предостерегающих криков.

В темноте белой ночи среди темнеющих снежных мух показались три лебедя. Вытянув длинные шеи, они летели безмолвно, похожие на три белые тени.

Стая громко загомонила, приветствуя их. Но лебеди пролетели в надменном молчании и скрылись в метели.

Долго гуси, взволнованные встречей, не могли успокоиться. Она напомнила им теплые летние вечера на большой реке, где выросли молодые гуси, зеркальную гладь ее вод, богатые зерном равнины, тихие багряные рассветы, когда они летели на жировку.

Радостно-возбужденный гогот усилился, когда стая миновала ущелье, в могучих стенах которого вьюга бесновалась с особой яростью. За ним среди равнины они увидели громадное светлое пятно, точно сияние. Оно походило на желтое утро, облагораживающее небо теплым светом; оно манило и обещало убежище.

Однако строгие крики вожаков заставили молодежь замолкнуть. Их отрывистый гогот возвестил опасность. Сквозь мглу и снег неожиданно блеснули тысячи светлых точек. Огненное тело города выглядело точно жаровня, и его тихий рокот донесся до стаи, как ворчание.

Спустя несколько минут стая уже пролетала над улицами города. Сверху были видны черные фигуры людей, пестрые рекламы, автомобили, застревающие в снежных сугробах, чувствовался тяжелый запах дыма. Зрелище это одновременно и пугало гусей и притягивало. Посреди затерявшейся во тьме равнины город казался оазисом, где зима была не такой суровой.

Привлеченные светом, усталые птицы незаметно спустились ниже. Клин распался, строя как не бывало. Тщетно старые гуси издавали тревожные крики. Птицы отставали и блуждали в светящемся тумане.

Битых два часа вожаки бороздили небо над городом, собирая своих сородичей. Лишь к полуночи стая вырвалась из предательского света и опять полетела по течению реки.

Снова крики гусей наполняло отчаяние. Они звучали тихо, точно стоны. Гуси искали место для отдыха.

Далеко от города посреди реки они заметили маленький продолговатый островок. Сделав над ним несколько кругов, чтоб получше его рассмотреть, гуси сели возле низкого ивняка и разом замолкли.

Несколько минут они оцепенело стояли в снегу — видны были только их длинные шеи. Потом один за другим стали входить в черную воду реки, прожорливо обыскивая берега островка. Утолив голод, гуси легли в снег, сунули головы под крыло и тотчас заснули. Но вожаки остались бодрствовать, устроившись на самых высоких местах островка

и вслушиваясь, безмолвно и немо, в плеск воды.

Вьюга улеглась. Кругозор расширился. Туман с полей начал подниматься вверх. Низкое тяжелое небо почернело, белая равнина на севере исчезла в желтом сиянии города, окрасившем горизонт, словно далекий пожар. Островок дважды со свистом пересекли небольшие стаи уток, они опустились на реке повыше. За ними прилетели черные лысухи, и тела их замелькали в темной воде.

Внезапно один из стражей громко закричал. Он заметил тень выдры, бесшумно плывущей к островку. Испуганно гогоча, птицы взмыли в воздух. Один гусь замешкался, и скоро все услышали его предсмертный крик.

Стая все же снова попыталась сесть, но жирные мышеловы, спавшие среди ив, вспугнули их и заставили подняться еще выше. Вожаки повели стаю к горам.

Несколько раз гуси пробовали преодолеть вершины, но в страшном темном море тумана сбивались с пути, и многие навсегда разлучились со стаей. Остальные возвращались назад, заново строились, набирали высоту и опять летели на юг.

Но вот наступило утро — серое, безнадежное и студеное, — свет, казалось, шел не с неба, а прямо от снега.

Утро застало стаю на земле, возле маленькой горной речушки, недалеко от колеса для поливки, огромные деревянные лопасти которого напоминали о людях и заставляли быть настороже. Стая наполовину уменьшилась. На груди гусей висели льдышки, усталые крылья поникли. Большинство лежало в снегу и спало.

Над ними зловещими спутниками висели болотные ястребы, терпеливо поджидали добычу крупные белые мышеловы, которых они подняли с ветвей ивняка.

Целый день гуси летели вниз и вверх по реке. Белая равнина таила в себе много опасностей. Гуси видели телеги и людей, которые снова обозначили заметные снегом дороги, паутиной сходящиеся к городу, видели заснеженные села, откуда их окликали домашние гуси, словно приглашая спуститься к людям, в теплые дворы. Иногда с земли гремел выстрел, и что-то со свистом рассекало густой холодный воздух. Напуганные птицы бросались врассыпную, а потом поднимались еще выше над негостеприимной землей. Время от времени один из гусей отрывался от искривившейся вереницы, и стая видела, как он, бессильно упав посреди поля, зовет товарищей отчаянным криком.

Только к вечеру вожаки открыли большое незамерзшее болото, где изголодавшиеся и изнемогающие от усталости птицы нашли настоящее убежище. Там они застали многих своих сородичей, а также трех лебедей, которых встретили ночью.

С радостным гоготаньем стая села на болото, встреченная громкими криками своих товарищей. Здесь, в безопасности, гуси целую ночь нависалистые зобы, ныряя и весело хлопая крыльями.

Наутро погода прояснилась. Небо стало выше, тучи разошлись, горизонт на востоке загорелся и окрасил воду болота легким багрянцем.

С радостными криками гуси готовились в далекий путь за синие горы, где их ждали теплые берега Эгейского моря и устья больших, полноводных, никогда не замерзающих рек.

Вот вперед вылетел старый вожак и ударил своими широкими крыльями звенящий от мороза воздух. За ним легко поднялся еще один, потом другой, третий, четвертый. Образовались две наклонные стороны клина — казалось, они выходили прямо из алых вод болота. Гуси ритмично взмахивали крыльями, вытянув вперед шеи. Стройно и бодро полетела стая над молочно-белой равниной.

Громадным сугробом лежала внизу равнина, затянутая дымкой. Синеватые пропасти дымились. Их студеное дыхание затягивало птиц. Но они смотрели вперед, в синюю лазурь горизонта, где уже чуть виднелась спокойная и теплая ширь моря.

Несколько лет тому назад по высоким скалистым вершинам гор, прозванных в народе "Джендем" (преисподняя), бродило стадо диких коз. Вожаком у него был большой матерый козел с темной шерстью и загнутыми крючком большими черными рогами. Заметив опасность, козел свистел носом, и дикие козы, обратившись в паническое бегство, исчезали в страшных пропастях Джендема.

Потурченец Кара Ибраим через день ходил в эти места браконьерствовать. Он выходил из своего шалаша чуть свет с мешком из козьей шерсти под мышкой, с кошками на ременных лаптях и маленькой сумкой, привязанной к поясу. В ней были кусок хлеба, головка лука и несколько патронов, ружье свое — старый турецкий маузер — Кара Ибраим прятал в расщелинах среди скал. С этим ружьем он рыскал высоко в страшных неприступных стремнинах Джендема. Сердце у Кара Ибраима было здоровое, так что у него никогда не захватывало дух, ноги носили его легко и уверенно по самым опасным тропам, а глаза у него были как у орла. Стоило ему приложить к ним ладони и, медленно поворачивая голову, обшарить взглядом далекие скалы, как он обнаруживал диких коз. Нелегко было различить их, разлегшихся на какой-нибудь площадке, но у Кара Ибраима был наметанный глаз, и он редко ошибался. Подкравшись к стаду окольными тропами, он оглашал Джендем тонкими хлопками маузера, которые повторяло и утраивало эхо. Редко случалось, что намеченная коза не подскочит и не упадет на спину. Кара Ибраим оттаскивал ее в более доступное место, разрубал на части, клал мясо и кожу в мешок и потемну относил домой. Так истребил он все стадо. Только козел остался ходить по неприступным вершинам.

На этого козла Кара Ибраим потратил много дней, а все не удалось убить его. Козел был осторожный, как дьявол, и Кара Ибраим ни разу не сумел выстрелить в него. Бывало, мелькнет где-нибудь на вершине, среди тонких, расходящихся, как туман, облаков. Мелькнет и исчезнет. А то вдруг выскочит откуда-нибудь, но пока Кара Ибраим вскинет ружье, глядишь, как сквозь землю провалился. Видел его Кара Ибраим всего-навсего раз десять, но ни разу не мог взять на мушку.

Одним октябрьским утром, часа за два до рассвета, Кара Ибраим встал и начал снаряжаться для охоты. Жена его Хатидже, спавшая с тремя ребятами на полу, открыла глаза и увидела, что он что-то ищет в чадной, пропахшей кислятиной комнате. Кара Ибраим взял с полки железные кошки, патроны и кисет, положил в сумку хлеба и пошел к двери.

— Куда ты, Ибраим? — спросила Хатидже, хотя прекрасно знала, что он идет на охоту.

— Иду убивать козла, — ответил Кара Ибраим тихо, чтоб не разбу-

дить накрытых домотканым одеялом детей. — Ночью аллах послал мне хороший сон. Мне приснилось, будто я убил старого дьявола, и нынче я наверняка убью его.

— Эх, Ибраим, из-за этой твоей охоты мы бедней всех в околотке. Плетень на дворе еще прошлый год развалился, в доме хоть шаром покати: ни муки, ни дров, а ведь зима на носу, — сказала Хатидже.

Но Кара Ибраим даже не дослушал ее; он взял поскорей свой мешок из козьей шерсти и зашагал к Джендему, мрачные зубцы которого терялись в еще темном небе.

Когда рассвело и Джендем засиял своими синеватыми пропастями и озаренными поверху белыми пиками, Кара Ибраим подошел к тому месту, где у него было спрятано ружье. Вынув его из расщелины и вытерев ствол ладонью, он двинулся по левому краю теснины. Внизу меж громадных камней пенилась река, но шума не было слышно из-за сильного ветра. Кара Ибраим шел против ветра, наклонив голову, тонкий, легкий, чуть сутулый. Один конец грязной повязки на голове его трепетал, как крыло бабочки. Под нею суровым и стеклянным блеском горели его острые светло-серые глаза.

Взобравшись на скалу, напоминавшую огромную папаху, он положил ружье возле, лег ничком и внимательно ощупал взглядом все площадки и складки в скалах за рекой. Он знал, что в такое ветреное время козел не ляжет с этой стороны, а предпочтет другую, заветренную. В том ущелье Кара Ибраим видел его чаще всего.

Противоположные скалы, утонувшие в холодной тени, казались огромными чудовищами, беспорядочно повалившимися друг на друга. Там и тут среди них зеленела горная сосна, желтели пятна лишайника, темнели глубокие трещины. Внизу билась о камни река, а высоко в синем небе плыли косматые клочья облаков.

Кара Ибраим осмотрел каждую складку, каждую впадину и площадку — козла нигде не было. Ветер гудел в теснине и, ударяя в каменную грудь горы, перелетал через хребет, над которым носился орел. Крохотный, как черточка, орел терялся в облаках.

Обычно в такое время Кара Ибраим предпочитал сидеть дома, но сейчас ему пришло в голову, что нынче легче всего будет добыть козла, оттого что сильный ветер помешает животному слышать как следует. Кара Ибраим полежал еще некоторое время на скале; потом, убедившись, что дольше оставаться здесь бесполезно, сполз с камня в подвечную сторону, чтоб покурить. Вынул сафьяновый кисет с резаным табаком, свернул толстую самокрутку и долго бил по огниву, пока не зажег трут. За скалой было тихо, солнце нагрело его латаный кафтан и сделало горячим холодный ствол прислоненного к скале ружья.

— Суший дьявол, суший дьявол, но попадетс я тебе на мушку, попадетс как пить дать... Аллах все знает, — бормотал Кара Ибраим себе под нос, посасывая самокрутку и беспокойно блуждая взглядом по противоположным скалам.

Из головы его не выходил сегодняшний сон. Ему снилось, что он

убил козла одним выстрелом под лопатку и тот, упав на спину, глядит на него своими противными желтыми глазами и что-то говорит ему человеческим голосом.

Вдруг Кара Ибраим вздрогнул, сухое лицо его, поросшее светлорусой бородой, просияло, и в глазах блеснула радость. Козел был там, в скалах напротив. И не надо было искать его взглядом по площадкам — нет, на этот раз он лежал высоко, на самом ребре одного утеса, грея спину на солнце. Кара Ибраим заметил его, когда козел шевельнулся: шерсть на его спине глянцево залоснилась и выда-ла его.

Кара Ибраим продолжал курить, пока самокрутка не обожгла его тонкие бледные губы. Взгляд его ощущивал все складки противоположной горы: он вычерчивал путь, по которому подкрадется к козлу, — шаг за шагом. Мысль Кара Ибраима работала быстро, но спокойно. Стрелять отсюда нет смысла: расстояние по меньшей мере пятьсот метров, нипочем не попасть, хоть маузер брал и дальше. Подходить с этой стороны, пока не сблизишься с козлом, — глупо: он сразу заметит. Оставался только один способ: вернуться назад, перейти на тот берег реки и, обойдя издали, подкрасться с противоположной стороны. Этот способ хорош, но есть в нем один недостаток: ветер будет дуть в спину Кара Ибраиму, и хитрый козел может его учуять. Кара Ибраим решил идти не по ветру, а против, перебравшись через скалы самым трудным, но и самым удобным для подкрадывания путем.

”Эх, помоги аллах!” — решил он и, взяв ружье, спустился к реке и перешел ее вброд, не обратив внимания на то, что промок. Потом стал медленно взбираться по скалам. Идти надо было тихо, ступать твердо и не допускать, чтоб из-под ног катились камни. Он исходил весь Джендем, но ему и в голову не приходило, что придется когда-нибудь карабкаться по этим скалам, такими они выглядели неприступными. Кара Ибраим полз на четвереньках, с кошками на ременных лаптях, а местами, там, где надо было пройти над пропастью, растопыривал руки, обхватывал холодную скалу и продвигался вперед сантиметр за сантиметром. Так преодолел он половину расстояния, отделявшего его от козла. Наконец, судя по расчетам, он подобрался к нему на выстрел. Теперь козел был близко: их разделял лишь узкий, щербатый, зазубренный гребень. Кара Ибраим ждал этого мгновения со страстью, но и со страхом. Неизвестно было, заметил ли его козел. Ни звуком не выдавая себя, Кара Ибраим прополз, как кошка, по гребню, нашел самую низкую его точку, где можно было высунуть голову, и, затаив дыхание, чувствуя, как бегают мурашки по телу, глянул. Козел по-прежнему находился на самом гребне утеса, метрах в ста отсюда. Он лежал между двумя камнями, так что видна была только середина тела да голова с загнутыми назад черными рогами.

У Кара Ибраима сердце заколотилось, как молот, кровь радостно зыграла, в глазах загорелось хищное ликование. ”Аллах не подвел”, — подумал он и, просунув тонкое дуло маузера в расщелину, начал целиться. Сперва он навел острую мушку на голову козла, но заколебал-

ся. Голова — слишком маленькая цель, того и гляди промахнешься, лучше в тело. Кара Ибраим тщательно навел мушку на отчетливо видимое между двумя камнями светло-коричневое пятно, набрал воздуха в легкие, и тяжелый маузер, толкнув его в плечо, подскочил кверху. Ветер тут же задушил звук выстрела, унеся его куда-то в ущелье. Козел подпрыгнул — короткая шерсть у него на спине взметнулась — и помчался в головокружительном беге. Кара Ибраим не верил своим глазам.

Он перемахнул через гребень и пошел к тому месту, где прежде лежал козел. На целый десяток метров дальше скала была забрызгана кровью.

— Сон не мог меня обмануть, — прошептал Кара Ибраим и хищно кинулся по кровавому следу.

Тот вел наклонно к пропасти. Место было сырое и мрачное, скалы спускались почти отвесно, и только на полпути, где образовался глубокий провал, похожий на громадный разбитый горшок, тянулась ровная узкая полоска. Внизу, под скалами, синел обрыв и там-сям зелеными пятнышками виднелась ползучая сосна. Достигнув пропасти, Кара Ибраим обнаружил, что кровавый след продолжается по ту ее сторону. Он знал, что за этой пропастью скалы, нисходя уступами, образуют глубокую, как кратер, впадину, на дне которой блестит озеро. Судя по кровавым следам, раненый козел не мог уйти дальше озера, и, так как вокруг все голо, его будет нетрудно найти. Надо только перебраться через пропасть.

Кара Ибраим укоротил ремень, плотно прикрепив ружье к спине, затянул изношенный, потончавший пояс и, чувствуя, что у него от усталости дрожат руки и ноги, а от нетерпения и злости его бросает в пот, стал подвигаться к пропасти. Он хватался руками за скалу, ловко пользуясь каждой трещиной, каждым выступом, и сумел добраться до узкой ровной полоски. Но полоска кончалась в нескольких шагах от противоположного края пропасти, выступающей вперед пожелтелой скалой. Ветер навевал под нее сухой травы. Кара Ибраим, цепляясь дрожащими руками за камень, выпрямился и, нащупывая ногой места понадежней, начал полегоныку обходить скалу. Пядь за пядь, прижимаясь грудью к скале, продвигался он вперед и, дойдя до самой трудной, гладкой ее части, вытянул шею: перед ним темнела маленькая пещера. Тогда ему пришлось в голову, что козел спрятался туда, и он вдруг почувствовал непонятный страх. Но что может ему сделать какой-то раненый козел? Ему ли, Кара Ибраиму, бояться его? И он продолжал, царапая скалу, ползти к пещере.

Козел в самом деле был там. Из простреленного брюха его текла кровь, и под ним образовалась темная лужа. В выпученных зорких глазах животного была смертельная тревога. Сев на задние ноги, он слушал, как Кара Ибраим кряхтит в полуметре от входа в пещеру. Бока у козла ходили ходуном, шерсть на загривке встала дыбом. Вот пальцы потурченца вцепились в ребристый камень у входа, и козел, охваченный ужасом, отпрянул в тесную и неглубокую пещеру. Он высунул язык,

облизался и фыркнул. Обмотанная грязным платком голова Кара Ибраима показалась перед входом в пещеру, он утвердился коленом на площадке и попробовал вползти внутрь. Но помешал ружейный ствол, зацепившийся за скалу. Тогда обезумевший от ужаса козел громко свистнул носом и со всех ног бросился к выходу. Серый ком ударил Кара Ибраима в грудь и оторвал его от скалы. Он полетел вниз и, перевортываясь и беспомощно маша руками, видел, что козел точно так же извивается в воздухе, но ему казалось, что козел не падает, а подымается к небу, словно возносясь к аллаху, а его самого послал на острые камни, в пропасть.

ЛЕСНАЯ СКАЗКА

На краю лесной поляны, поросшей редкой травой, вздымался громадный бук. Его ствол, подобный колонне серого мрамора, возносился над остальными деревьями, теряясь в величественной, пышной кроне. Могучие корни, словно толстые ужи, широко расползались вокруг ствола и, впиваясь в землю, держали и кормили это чудесное дерево, самое высокое во всем лесу. По утрам, когда всходило солнце, его лучи сначала касались верхушки бука, а потом уже скользили вниз к другим деревьям.

На теневой стороне ствола росли твердые серо-коричневые грибы и лишайник; светло-зеленый мох, нежный, точно волосы русалки, свисал с нижних ветвей, на которых вздувались узлы, похожие на рубцы от старых ран. Пониже кроны на стволе темнело маленькое дупло, и каждую весну и осень над ним вырастали гроздя жемчужно-серых грибов — след какой-то давней болезни, перенесенной деревом.

В нижних ветвях бука несколько лет подряд гнездилась пара зябликов. Они таскали со ствола высохший мох, отслоившуюся от дождей и солнца кору, сухой лишайник и свивали круглое точно шар, прочное гнездо. Оно висело на тонкой веточке, почти неразличимое среди сучьев и мха.

С раннего утра до позднего вечера самец пел восторженную и звонкую песенку. Она напоминала соловьиные трели. В легкой тени могучего дерева, словно под волшебным шатром из золотисто-зеленого шелка, в котором резвились солнечные зайчики, самец распевал, задрыв головку, и его розовый зоб трепетал и раздувался. Черные его глазки блаженно закатывались, и можно было без труда увидеть, как серо-зеленый хвостик подрагивает в такт ударам его сердца. Веселое щебетанье разносилось далеко по лесу, смешиваясь с песнями других птиц. А тем временем в гнезде, где сидела самочка, из семи бледно-голубых яиц, мелких, точно лесной орех, вылупились птенцы.

К буку часто прилетал дятел и ползал по его коре, на ветки опускался дикий голубь или ястреб, но ни одна из птиц не замечала гнезда зябликов. Даже муравьи, сновавшие по веточкам, его не обнаружили, хотя и не прочь были бы съесть живьем голых и слепых птенчиков, затаившихся на его теплом дне, покрытом перышками и мхом. Под защитой буковой листвы зяблики жили спокойно.

Однажды ночью, когда июньское небо посылало верхушкам деревьев бледный свет своих маленьких серебристых звезд, а цветы на поляне раскрывали чашечки, наполняя воздух благоуханием, по лесу пробегала куница. Бесшумный, как тень, взврек был голоден и искал добычу. Куница ловко карабкалась по стволам и, поводя вокруг своей плоской мордочкой, перепрыгивала с дерева на дерево. Свет звезд едва-едва отражался от ее лоснящейся шерстки, острые коготки оставляли на

коре чуть заметные царапины.

Добралась куница и до нашего бука, посмотрела наверх и обнюхала ствол. Вместе с запахом лесных трав и прелой прошлогодней листвы она уловила запах дупла. Куница прыгнула на ствол и полезла вверх. В дупле, однако, она не нашла ничего, кроме гниющей древесины и сухих листьев, заброшенных туда осенним ветром. Куница миновала дупло и поползла по отходившей от ствола ветви.

Ни один из зябликов не почувствовал ее приближения. Самец спал на ветке над гнездом, сунув голову под крыло, похожий на комочек мха, а самочка, прикрывая грудкой голых и слепых птенцов, растопырила крылья, защищая малышей от ночной влаги и росы. Она тоже спала, закинув головку, в такой неудобной позе, на какую способны только матери.

Куница обшаривала ветку за веткой. Она знала по опыту, что птицы предпочитают нижние ветки — они лучше защищают их от ветра. Кроме того, она слышала как-то под этим буком пение зяблика. Она ступила на ту ветвь, в конце которой среди тонких веточек висело гнездо зябликов, и медленно, стараясь ее не раскачать, поползла по ней. Самочка проснулась. Не меняя позы, она открыла глаза, и в них на мгновение отразился свет звезд. Конец большой ветви уже прогнулся под тяжестью куницы. Та пыталась, удерживаясь на ней, дотянуться до веточки, к которой было прикреплено гнездо. Глаза куницы мерцали сине-зеленым светом и казались бездонными, самочка видела их, но не пошевелилась, продолжая прикрывать собой птенцов, потому что материнская любовь сильнее смерти.

Вдруг куница прыгнула, схватила гнездо, оторвав его от ветки, и вместе с ним упала на толстый сук. Там она вонзила тонкие, как шило, зубы в тельце самочки. Та отчаянно запищала. Зверек съел самочку и голых птенцов не спеша, со вкусом, как это умеют делать кошки...

Зяблик — отец семейства — проснулся, но не двинулся с места, слепой и беспомощный. Он лишь тихо, жалобно пискнул и потом долго не мог успокоиться.

Утолив голод, куница стала ленивой и медлительной. Она забралась в дупло, поурчала и заснула. Листья бука успокоительно шелестели, словно где-то далеко журчал ручей. Маленькие звезды все так же лили свой призрачный свет на темные деревья. Зяблик снова сунул голову под крыло и снова сделался похож на комочек мха.

Когда начало рассветать и среди деревьев заиграл голубой свет утра, зяблик проснулся и стал искать свое гнездо. Веточка, к которой оно было прикреплено, сиротливо повисла. Гнездо валялось у корней бука, а за редкие травинки зацепились серо-зеленые перышки.

Зяблик долго и жалобно звал подругу, тревожно задирая головку и прислушиваясь — вдруг в ответ раздастся ее голос.

Лес просыпался — огромный, бескрайний. Пламенеющий восход окрашивал небо над горизонтом, и первые лучи солнца, как всегда, коснулись верхушки бука. Огненные и оранжевые пятна заиграли на его

серебристой коре. Громадное дерево купалось в неге, его переливчатые недра чуть колыхались. По тысячам шелковисто-нежных листочков, с жадностью вбирающих в себя солнечные лучи, сверху вниз прокатывалось трепетанье и шелест, как будто дерево смеялось счастливым смехом...

Зяблик спустился на поляну, склевал несколько червячков и семян и снова взлетел на бук. Он долго сидел на ветке, задумчивый и печальный, но, когда песни других птиц заполнили весь лес, запел и он...

Стало светать, и старый заяц забеспокоился.

Он плохо видел и потому не полагался на свои глаза. Неясные очертания окружающих предметов пугали его. С наступлением утра они словно оживали и оказывались ближе, чем он думал.

Охваченный подозрительностью, заяц покинул небольшой огород, где выкапывал из-под снега кочаны капусты.

Он сделал несколько прыжков, потом присел на задние лапы и прислушался.

Вдалеке, в небольших селениях, запрятавшихся в складках равнины, лаяли собаки и перекликались петухи. Небо, недавно еще залитое желтоватым светом полной луны, начало синеть. Звезды гасли. Потускнел и сам месяц. Настороженно застывший лес безмолвствовал. Только на дне оврага, словно всхлипывая от боли, негромко булькала скованная льдом вода.

Заяц большими скачками приближался к лесу. Мягкий снег глухо поскрипывал. Но в морозном воздухе звук усиливался, приобретая особую ясность среди окрестной тишины.

Возле молодых деревьев русак задержался, чтобы полакомиться корой. Время от времени он втягивал носом воздух и прядал ушами.

Сумерки рассеивались. Снег заметно побелел, небо поголубело. А вот выплыл и лес. Весь в инее, нарядный и торжественно недвижимый, стоял он под холодным небом, на котором еще серебрилось несколько крупных звезд. Все вокруг наполнилось утренним светом.

Заяц успокоился. Утренний свет ободрил его. Мордочку пощипывало морозцем, и, чтобы согреться, он припустил вдоль опушки леса. Делал большущие скачки, останавливался вдруг и надолго замирал, весь обращаясь в слух. Потом весело прыгал в сторону и снова возвращался на собственный след. Выдыхаемый парок оседал на мордочке серебристыми иглами. Лапки обросли комочками льда.

Вдоволь нарезвившись, заяц подумал об отдыхе. День обещал быть солнечным и теплым, стоило найти новую лежку.

Миновав вершину пригорка, с которой ветром смело снег, заяц очутился на южном склоне. Теперь прыжки его стали еще длиннее. Бросая свое упругое пружинистое тело стремительно вперед, он приземлялся на сведенные вместе лапки, и на снегу оставались четыре неглубокие впадинки, почти сливавшиеся друг с другом. След так далеко уходил от следа, что становился доступен лишь опытному глазу, к тому же заяц старался бежать по снегу, прихваченному настом. Наконец он облюбовал себе логово.

Это был громадный корень старого граба, выросший своими толсты-

ми шупальцами в крутой склон холма. Дождевые потоки размывли и унесли почву вокруг него, и теперь он торчал над склоном грудой красноватой земли. Сверху ее присыпало снегом, а внутри, под мохнатыми, заиндевевшими отростками корней, было сухо и тепло.

Русак прислушался и проворно спрыгнул на обнаженную землю. Он подлез под самый корень и, немного подкопав под собой, чтобы было теплей и удобней, лег на живот. Это место вполне его устраивало. Мех его сливался с красноватой глиной и делал своего хозяина невидимым.

Согревшись, заяц настроился подремать, но сон долго не приходил. Его отгоняли бесчисленные звуки, которых он наслушался этой ночью. Роем тревожных предчувствий они теперь снова оживали где-то внутри него, пугая и держа в напряжении.

Из укрытия он видел, как все выше подымается небо и внизу ширится синевато-молочная белизна равнины. На востоке узкой кровавой полоской обозначился горизонт, и вот уже в небольших перламутровых облачках сверкнул наступающий день. Вдали, над цепью гор, заструилась бледно-розовая дымка. Алый свет озарил крутые склоны, очертил гигантский хребет и, скользя по вершинам, обагрил их снежные шапки. Показалось солнце, и покрытый инеем лес заискрился, словно припудренный стеклянной пылью.

Прямо перед зайцем на снегу вспыхнуло большое ярко-красное пятно, и один его глаз в отблесках зари сделался похожим на крупный рубин. Мороз покрепчал, но зверек знал, что солнце скоро начнет прогревать. Устроившись поудобнее, он задремал. Уже сквозь сон слух уловил противное карканье ворон, перелетавших поближе к деревням, и колокольный звон сельских церквушек, доносившийся с равнины. Затем заяц забылся и сладко уснул.

2

Его разбудило тихое посвистывание. Спросонок заяц никак не мог сообразить, откуда оно идет, и застыл в ожидании.

Солнце стояло уже высоко. Снег блестел. С оттаявших веток срывалась капель, а от нагретого склона подымался пар.

Поблизости было тихо. Заяц уже успокоился, как вдруг из оврага, в котором он промышлял этой ночью, донесся отрывистый лай. А еще погода закрипел снег. Кто-то шел прямо на него. Зверек приподнялся и поглядел в сторону леса.

Оттуда показалась закутанная в рваный башлык голова и худое мрачное лицо с обвисшими усами. На поляну вышел небольшого роста крестьянин; он сбил приставший к ногам снег и несколько раз кашлянул.

Сердце косога разрывалось от страха.

В овраге снова затявкала собака.

— Ко мне, Лыска! — крикнул крестьянин и шмыгнул носом. Видно было, что он замерз, так как старательно прятал руки в рукава своей

потрепанной шубенки и смешно подергивался.

Потоптавшись, он повернулся к склону холма. Заяц затаил дыхание. Глаза человека внушали ему панический страх. Желтоватые, со злыми искорками, они были какими-то озабоченными и в то же время жестокими.

Внезапно взгляд человека дрогнул, и глаза осветились радостным, азартным блеском. Заяц понял, что крестьянин увидел его, и по-кошачьи выскочил из-под корня.

Вслед ему что-то щелкнуло и загремело. Ловко петляя между ямами, зверек понесся к обрыву. Позади крестьянин свистел и с угрозой в голосе звал собаку. Заяц слышал, как та радостно взвизгнула, взяв его след. Теперь ее лай стал ровным и настойчивым.

— Ах-ах-ах-ах! — громко вздыхала она, как бы жалуясь на что-то.

Изредка заяц делал остановки и прислушивался. Дважды он увидел собаку — та бежала по его следу, тыкаясь мордой в снег. Собака была старая и опытная. Надрывным, отчаянным лаем она как бы заявляла о своей решимости гнать жертву до конца.

Заяц сделал попытку ее запутать, свернув на обледеневший склон, но та не поддавалась на уловку и вскоре почти его настигла. Подгоняемый грозным, все приближающимся лаем, заяц в несколько прыжков одолел крутой обрыв. Перед ним открылась бескрайняя равнина. Лишь кое-где чернели присыпанные снегом рощицы. У шоссе возвышалась какая-то постройка, а за нею, между окутанными морозной мглой ивами, поблескивала скovaná льдом река.

Здесь снег был более рыхлым и глубоким. Заяц утопал в нем. Порой из-под снега высывались только его длинные уши. Добежав до придорожного кустарника, он спрятался в нем.

Со стороны постоянного двора показались сани. В них сидели крестьяне в тулупах. По тому, как покраснели их носы и щеки, видно было, что они подгуляли. Седоки нахлестывали лошадей, выпускающих из ноздрей клубы пара, и кричали: "Эхе-е-ей!"

Как только сани проехали, заяц выскочил на дорогу и по свежему лошадиному следу добежал до постоянного двора. Но человеческие голоса заставили его повернуть назад, к обрыву.

Лай собаки стал надрывным и резким. Выбежав на дорогу, она потяряла след и два раза сердито гавкнула. Кисловатый лошадиный запах забивал тонкий заячий дух. Да еще к тому же за час до этого по шоссе проехала машина, и пожелтевший обледенелый снег отдавал сразу бензином и лошадьё. Но собака была опытная. Высоко задрав черную морду, она побежала по обочине. И когда заячий запах ударил ей в нос, ее тощее тело в приливе возбуждения выгнулось по-змеиному. Она захлебнулась лаем, потом радостно взвизгнула и стремительно понеслась вперед.

Вернувшись к обрыву, заяц увидел свой старый след и поскакал по нему. Потом круто повернул и побежал навстречу собаке. Он очень устал. Шерсть на его лапках намокла и обледенела.

Пробежав метров сто назад, он, сжавшись в комочек, метнулся в середину большого куста терновника и там притаился.

Внизу слышалось тяжелое дыхание и усталый лай собаки. Пробегая с высунутым языком мимо куста, она схватила пастью немного снега и хрипло тьякнула. Заяц увидел ее совсем рядом. Одно ее ухо, наполовину белое, висело, другое лежало, вывернутое на затылок. Налитые кровью глаза злобно блестели. Уже пробежав куст, она вдруг резко повернула назад и, заметив зайца, завизжала: "Тю-тю-тю! Тю-тю!"

Зверек бросился к лесу. То тут, то там, попадая в солнечные блики, мелькал среди деревьев комок желтоватой шерсти.

Почувствовав под собой каменистую тропинку, заяц свернул на нее, чтобы бежать быстрее. Прижав уши к спине, он летел как стрела.

Внезапно что-то черное преградило ему дорогу. Заяц только хотел остановиться, чтобы рассмотреть препятствие, как оглушительный грохот пронзил его ужасом и что-то ударило в левый глаз. Зверек отпрыгнул в сторону и покатился в овраг.

Теперь он ничего не видел с левой стороны и, чтобы не налететь на дерево, вынужден был двигаться медленнее. Так он спустился на дно оврага, пробежал, скрывая след, по воде и вскарабкался на противоположный склон. Здесь он забрался в заросли сухого прошлогоднего папоротника и колючек и приник к земле.

Раненый глаз болел. Кровь стекала на мордочку и капельками катилась по серой шерсти. Боль все усиливалась и становилась невыносимой. Заяц понял, что это конец, и в его здоровом глазу вспыхнул ужас. Он лежал и слушал, как крестьянин науськивает собаку. Вот она снова взяла след и кинулась в овраг, а хозяин поспешил за нею.

— Ну, Лыска, ну, ату его! — кричал он, размахивая ружьем.

В ответ собака заливалась:

— Тау-тау-тау!

Сбежав на дно оврага, где тихо журчала вода, она замолкла. Крестьянин решил, что собака нашла зайца уже мертвым, и закричал диким голосом:

— Эй ты, гадина, не смей! — И словно угорелый бросился вниз.

Заяц слышал, как он с треском лезет напролом через кустарник. Потом Лыска снова залаяла, а крестьянин выругался. Он спустился к воде и стал шарить вокруг. Собака со свистом втягивала воздух. Оба искали потерянный след.

Так они еще долго кружили по оврагу...

Но вот солнце коснулось горизонта. Фиолетовые тени поползли по полю, и где-то вдали, в затерянном среди снежной равнины городке, часы пробили шесть раз. Закат медленно догорал. Равнину затянуло черным покрывалом, и все кругом смолкло.

Изнуренная погоней, собака растянулась на земле и беспомощно взглянула на хозяина. Он все еще ругался и вздыхал.

Немного погодя, убедившись, что дальнейшие поиски бесполезны, он повязал на шею собаки веревку и присел на пенек отдохнуть.

Всего в нескольких шагах от них в кустах терновника лежал заяц и смотрел, как человек, ударив огнивом о камень, выскет огонь и жадно затянулся. Дым раздражал собаку. Она чихнула. Хозяин погладил ее

по голове и сказал:

— Что, Лыска, упустили косоного? Унес-таки ноги. И ему жить охота. Не так-то это просто — с жизнью расставаться.

Лыска помахала хвостом и снова устала на хозяина. Взгляд крестьянина выражал угрюмую озабоченность, как будто он вспомнил сейчас о чем-то забытом, но очень важном.

— Что, проголодалась? — спросил он. — Эх ты, хотела пожрать, так надо было догнать его и сцапать, поняла? А теперь пошли домой.

Крестьянин закинул ружье за спину и дернул собаку. Они побрели по склону оврага. Мерзлый снег поскрипывал под ногами.

Овраг до краев наполнился мраком. Снова почернела громада леса, став безмолвной и отчужденной. Но вот небо на востоке запылало, и из-за горизонта выплыл большой круглый месяц. Он медленно покатился по пригорку, добродушно улыбаясь и словно приговаривая: "А вот и я!"

Медно-красные лучи упали на человека и обагрили его плечи.

Он ступал молча, слегка сгорбившись, а следом черной тенью тащилась собака.

Своим единственным глазом заяц проводил человека, пока тот не растворился во мраке. Тогда он поднял лапку, пригладил окровавленную шерсть на мордочке и отряхнулся.

Снова наступила ночь, снова замерцали огоньки на равнине.

”Хоть бы снег пошел, что ли, все повеселее бы стало”, — размышлял Гаржев, глядя сквозь полуспущенные шторы на сухие серые камни мостовой.

Холодный ветер подхватывал обрывки бумаги и пыль, волочил их вдоль тротуаров и, наигравшись, разбрасывал по сторонам, и мчался дальше. Длинная безлюдная улица с двумя рядами серых, притихших, точно вымерших, домов выглядела однообразно унылой.

Гаржеву хотелось, чтобы хоть трамвай прошел или автомобиль какой-нибудь пронесся — вспугнул бы это безмолвие. В комнате, жарко натопленной и затененной белыми шторами, повисшими, точно стяги, по обе стороны окон, царила такая же сонная тишина. Застеленные новыми одеялами кровати пахли свежестырированным бельем и нафталином, красные дорожки на полу, вынутые накануне из сундука, еще сохраняли свои складки. Гаржеву казалось, что от всех этих новехоньких вещей, извлеченных на свет божий по случаю праздника, веет безнадежной, напыщенной скукой, словно от официальных особ. Расхаживая в одних носках по комнате, засунув длинные руки в карманы брюк, он с досадой косился на них. Выбритое до синевы лицо было хмуро, толстая верхняя губа обиженно оттопырилась.

Почесывая спину в том месте, где жилетка была ему узковата, Гаржев то рассматривал рукава своей сорочки, то бросал взгляд в глубь комнаты. Там, поджав под себя ноги, чтобы не было видно заштопанных пяток, лежала на кушетке жена.

Он не мог понять, спит она или нет. Она лежала давно, с обеда. Гаржев знал, что жена сердится и способна от злости лежать вот так до тех пор, пока он не пойдет к ней на поклон. Но тяжелое, смутное чувство в груди, переходившее в тупую, безысходную боль, мешало ему сделать это. Высоко вскинув тонкие брови, он с печальным удивлением смотрел на жену и тихо, так чтобы она не слышала, вздыхал.

Вчера жена устала от предпраздничных хлопот по дому, а в этом состоянии она всегда бывала раздражительной и злой. Отец Гаржева, шестидесятипятилетний старик, до страсти любил вмешиваться в кухонные дела. Вечером, когда жарили присланную из провинции индюшку, старый Гаржев повздорил со снохой из-за того, как ее готовить. И поскольку старик упорно стоял на своем, жена Гаржева выбежала из кухни и заперлась у себя в спальне. Пришлось им с отцом самим хлопотать у плиты. Гаржев то мчался к жене и умолял ее вернуться, то убеждал отца не совать нос не в свое дело. После этого вспыхнул спор с женой у него самого — идти к заутрене или не идти. Отец собирался идти непременно, со всей торжественностью, и поэтому сын настаивал, что надо пойти всем — из уважения к старику — и чтобы он не тащился туда один”. Но жена хотела досадить свекру и запретила мужу идти.

Старик обиделся. Назло всем залег спозаранку спать и без пере-дышки кряхтел за стеной до полуночи. Потом с грохотом поднялся, перебудил весь дом, открыл кран, стал мыться и долго еще громыхал на кухне.

Гаржев чувствовал себя неловко оттого, что не пошел с отцом. Ночью он почти не сомкнул глаз. Лежал рядом с женой, слушал перезвон колоколов и размышлял о домашних неурядицах. Вспомнил, как проходило в доме рождество когда-то, когда он был ребёнком. Вспомнил старую церквушку в родном городке, куда они отправлялись всей семьей по узкой, заваленной снегом улочке; торжественное, радостное хваста, которое охватывало его, когда в мерцающем, золотистом свете храма седовласый священник начинал петь: "Дева днесь Пресущественного рождает..." Эти воспоминания раздирали ему душу, и казалось, жизнь его распадается на две чуждые, враждебные друг другу половины. Чувство вины перед отцом росло, а к жене он испытывал ненависть. Потом он стал думать о том, есть бог или нету. Эти думы снова вернули его к прошлому и еще больше увеличили его смятение: выходило, что коли бог есть, то Гаржев виновен вдвойне, не пойдя в церковь и не заставив жену покориться. Потом, оторвавшись от прошлого, мысли его перескочили к настоящему. Вот извольте, целый год ожидает он повышения (Гаржев служил в налоговом управлении), а повышения все нет.

"Само собой, и дальше так будет. В этом доме нет ничего святого, не боимся ни бога, ни черта", — со злостью подумал он.

Все более раздражаясь, Гаржев наконец пришел к решению изменить свою жизнь и, успокоенный, заснул.

Проснулся он поздно. Вид неприбранной спальни, нетопленная кухня раздосадовали его. Вспомнив о ночном своем решении, он побранился с женой.

Теперь он рассеянно перебирал все это в памяти.

В комнате отца послышался шум. Тихо и торжественно прозвучал голос старика:

— За то, что не страшитесь безверия своего, не вас накажу, но детей ва-а-а-ших...

Гаржев поморщился. Отец имел обыкновение по великим праздни-кам читать Библию вслух.

Старческий голос за стеной, как на грех, становился все слышней, все назойливей. По улице проехал автомобиль. Шум мотора на мгнове-ние заглушил декламацию старика, взорвал тишину комнаты и заглох вдали.

Жена Гаржева пошевелилась, вздохнула.

— Рассею род ваш и семя ваше сделаю беспло-од-ным, как пусты-ы-ня...

— Это невыносимо! — вдруг проговорила жена.

Гаржев вздрогнул.

— Поди вели ему замолчать! — закричала она. — Завел, как над по-койником. Не даст отдохнуть, ни до кого ему дела нет. У вас в роду все такие!

— Пожалуйста, Тина, — кротко сказал Гаржев, подходя к жене и садясь рядом, — не кричи так, он услышит.

— И пускай слышит!

— Легко сказать! А он возьмет и запишет все на брата. Видала, тот индюшку вот ему прислал, подольщается.

— Хватит меня этим пугать. Да и что у него есть? Дом — так в нем даже мышам жить тошно, — сказала жена, сердито надув губы.

— Не кричи так, не кричи, тише! — умолял Гаржев, обнимая своей длинной рукой ее располневшую талию. — Хорошо, сейчас пойду, скажу... Он перестанет. — И, не давая ей ответить, поднялся и торопливо вышел из комнаты.

Отец сидел у окна, поджав под себя ногу, набросив на плечи старенькое пальтецо. На коленях у него лежала раскрытая старинная Библия в черном переплете. Очки держались на кончике толстого малинового носа, усеянного оспинами и черными, как от пороховой пыли, точечками. Когда Гаржев вошел к нему, старик поднял седую голову, метнул на сына сердитый взгляд и протяжно пропел:

— А он говорил и-им: иже есть сказуемо во про-ро-о-це-е-х...

— Отец, — перебил его Гаржев, — ты не мог бы пока оставить это чтение?

Отец умолк и задумчиво, отчужденно взглянул на него поверх очков. Потом снял очки, положил их на книгу. Лицо его стало сосредоточенным, суровым.

— Кому я мешаю? — спросил он.

— Кому, кому! — обиженно насупился Гаржев. — Но почему обязательно вслух, как поп с амвона? Неужели нельзя про себя?

— Нельзя.

— Ах, нельзя?

— Мне нравится вслух и буду вслух. Я чту веру божью и святую церковь.

— Не в том дело.

— А в чем? — живо спросил старик, готовый ринуться в спор.

Сын хмуро молчал.

— Что вы за люди! — проговорил отец. — В церковь не ходите, постов не соблюдаете. Как жить будете без праздника божьего, без веры? Подобно скотине?

— Теперь все так, — примирительно заметил Гаржев.

— Так? Вот поэтому у вас все так и идет. На вот, все тебе повышения не выходит.

— Тина не может уснуть, когда ты читаешь, — смущенно сказал Гаржев, вспомнив, о чем он раздумывал ночью. — Из-за этого весь сыр-бор. Она сейчас в деликатном положении, капризничает...

— Гм... — удивленно покачал головой старик и, чему-то весело и добродушно улыбнувшись, заглянул в Библию.

— Мы выйдем немного пройтись, — несмело произнес сын, отводя глаза.

— Ну что ж, ступайте.

— А ты?

— Некуда мне ходить...

Гаржев вздохнул с облегчением.

За дверью, в полутемном коридорчике, где стоял густой запах тушеной капусты и хрена, он постоял в раздумье. Ему было не по себе, что он оставляет отца в доме одного. В душе снова поднялась та же сумятица, что минувшей ночью, и он сказал себе: "Старик прав. Так оно и есть. Без радости живем".

Когда он вернулся к жене и увидел ее заспанное, злое лицо, его охватила такая ненависть к ней, что он с трудом взял себя в руки.

— Пойдем прогуляемся, — сказал он.

Она не ответила.

За окнами слышались шаги, голоса прохожих. Людские тени скользили по светлым шторам, украдкой проникая в комнату. Город просыпался от послеобеденного сна.

— Пойдем же! — настойчиво повторил Гаржев.

Жена зевнула долгим, протяжным зевком, так что на глазах выступили слезы, и тупо уставилась куда-то в сторону.

— Куда мы пойдем?

— Там посмотрим.

— Отец разозлился?

— Не-ет.

— Не хочется мне никуда идти.

Он принес ей пальто, шляпу, боты и сам тоже стал одеваться. Ему казалось, что, как только он выйдет из дому, на душе сразу станет легче и все утрясется. Но когда они вышли, возник мучительный вопрос: куда идти? Гаржев предложил нанести визиты двум-трем семействам, с которыми они водили знакомство, но жена воспротивилась.

Взявшись под руку, они пошли просто куда глаза глядят. Широкая улица с закрытыми магазинами выглядела невесело. По тротуарам лениво гуляли, вызывая хохоча и громко переговариваясь, горничные и мастеровые. С верхнего конца улицы целыми компаниями спешили к центру жители пригородов.

Госпожа Гаржева ступала медленно, тяжело. С того времени, как она почувствовала себя беременной, она вечно дулась и капризничала. Гаржев начал бояться ее и, чем сильнее ощущал над собой ее власть, тем яростней ненавидел. Он оборачивался к ней и с отвращением смотрел на одутловатое лицо, спокойное и сердитое одновременно, на курносый, похожий на сливу нос, синий, небрежно напудренный.

Ледяной ветер немилосердно хлестал их, словно желая вернуть назад. Жена от этого еще тяжелей и величавей опиралась на его руку, пряча лицо в меховой воротник пальто.

"И чего пыжится! Вот дурища!" — думал Гаржев. Ему хотелось заставить ее идти быстрее.

— Пойдем в кино, — сказала она.

Он спросил:

— Сколько мы можем истратить?

— По шестнадцать левов, не больше.

Они повернули к ближайшему кинотеатру. Долго разглядывали рекламные фотографии, строя догадки, что из себя представляет фильм, и, решив наконец, что он им не по вкусу, пошли в другое кино. Но там все билеты были проданы еще с утра. Та же история повторилась и в других местах. Напрасно Гаржев толкался возле кассы. Билеты были, но на дорогие места.

Он возвращался к жене помятый, растерянный. Обойдя все окрестные кино и потеряв надежду купить дешевые билеты, супруги направились к Борисову саду.

Шли просто так, без всякой цели. Жена уже не опиралась на его руку и враждебно молчала, презрительно поджав толстые накрашенные губы.

Гаржев вышагивал рядом, и ему было противно даже смотреть в ее сторону. В голове проносился рой злых, сбивчивых мыслей. Он стискивал челюсти и думал то об отце, то — со злобой — о своей супруге.

”Праздники называется, черт бы их побрал! — думал он. — Лучше б их вовсе не было. Ни к чему. Предрассудки! Лучше торчать без продыху в канцелярии и жить-поживать, не помышляя о радости. Какая там радость? Нашему брату это не по карману!”

Он шел в густой толпе прохожих, наводнивших улицу, с ненавистью глядя на лица людей, слушая их смех и громкий говор.

Смеркалось. Над темной тысячеглавой толпой зажглись фонари, тревожными сигналами побежали огни реклам. А толпа все прибывала. Супруги сошли с тротуара на мостовую.

Пронзительный рев клаксона заставил их вздрогнуть. Прямо у них за спиной оглушительно завизжали тормоза большого черного автомобиля, который устался на них своими желтыми глазами и нетерпеливо подрагивал, словно громадное хищное животное.

Над шоферским местом шевельнулась шляпа-котелок. Потом выглянуло сытое красное лицо, сердито крикнуло:

— Что рот разинул? Глухой, что ли?

Человек презрительно свистнул. Сидевшая подле него дама в дорогом меховом манто расхохоталась.

Гаржев испуганно дернул жену за руку и посторонился.

Машина, зафырчав, промчалась мимо. Внутри горел свет, и супругам была видна сидевшая там компания богато одетых людей. С потолка свисала шелковая куколка-клоун. Клоун закачался, закружился и показал им язык.

— Мерзавцы! — глядя им вслед, выбранился Гаржев, бледный от злости и пережитого страха.

— Потаскухи! — добавила жена.

— Будь они прокляты! Им переехать человека — что плюнуть. Я бы их... — сказал он, сжимая свой костлявый кулак.

— Конечно, у них деньги, им все нипочем!

Он помолчал и потом процедил сквозь зубы:

— В Чамкорию едут... буржуи... развлекаются. У-у, толстобрюхие!..

Супруги погрузились в невеселые думы.

— Перепугалась? — ласково спросил он после короткого молчания.

— Чутьочку.

— Это нехорошо для малыша, — заключил Гаржев и взял жену под руку.

— Пойдем домой, Григор. Наше место дома. Не про нас все это, — горько сказала она и усмехнулась.

Он опустил голову, мучительно ощущая собственную беспомощность. Неприязнь к жене исчезла, уступив место чувству бесконечной близости. Он с нежностью посмотрел на нее и покорно повернул к дому.

— Вечно не хватает денег, — с тоской произнес он.

Она промолчала.

— Пойдем в наше кино, соседнее? — предложил Гаржев, желая хоть чем-то ее порадовать.

— А что там идет?

— Что бы ни шло.

Она согласилась.

Супруги сидели рядом в темном зале кино, и Гаржев, взяв руку жены в свою, с грустью следил за двигавшимися на экране тенями. Под деревянными сводами зала громыхал военный марш, а на белом полотне разрывались фугаски, вздымая в воздух столбы глины. У Гаржева ото всего этого росла жалость к себе, чувство обиды и чего-то еще, что трудно было определить.

Когда сеанс кончился и супруги вышли на улицу, крупными хлопьями повалил снег. Благодаря белым крышам домов, белым лентам трамвайных проводов, белым хлопьям, танцевавшим в воздухе, город выглядел теперь гораздо веселее.

Купив у торговца на углу орешков, Гаржевы пошли домой.

Старый Гаржев уже поужинал и спал у себя в комнате.

В доме было тихо и грустно.

Супруги накрыли на стол, разодрали на куски половину жирной индейки. После ужина, не вытерев выпачканных, лоснящихся губ и подбородков, принялись за орехи. Долго кололи их, грызли, жевали, мирно и лениво беседуя о разных разностях.

Потом Гаржева вынула из ящика стола потрепанную тетрадку с записями расходов и карандашиком записала: "Двадцать левов — кино, четыре лева — орехи".

Муж смотрел через ее плечо на неуклюжие, кривые цифры, расплзшиеся, точно мухи, по тетрадочному листу, и что-то напряженно прикидывал в уме.

Потом они легли. Вскоре она уже спала, раскрыв рот, а Гаржев лежал рядом и перебирал в памяти события истекшего дня. Он долго кряхтя ворочался с боку на бок, пытаясь уснуть. В мозгу теснились черный автомобиль, человек в котелке, улица, фильм. Жаркая спина жены действовала на нервы. В комнате и без того было душно, а из кухни проникал запах тушеной капусты.

"Эх, к чему это все, коль люди не хотят чтить праздники?" — рассуж-

дал Гаржев, но мысль тут же ускользала куда-то и еще долго перескакивала с одного на другое.

Неожиданно он вспомнил, что послезавтра ему снова на службу. Это его успокоило.

”Скорей бы уж и завтрашний день прошел”, — подумал он и представил себе длинную неопрятную комнату, заваленные бумагами столы, своих коллег. Перед глазами возник подъезд присутственного здания, коридор, лифт. Он ощутил знакомый запах бумаги и батарей парового отопления, у него отлегло от сердца, и он успокоенно вздохнул. Сон смежил веки... Лифт заключил его в свою клетку и начал медленно поднимать вверх... Выше... выше... выше...

На вершине холма, где одиноко торчала по-осеннему желтая груша, Босилков остановился передохнуть. Вытащил носовой платок, вытер лицо, обмотал шею. Потом уселся в тени и облегченно вздохнул.

Мысль о встрече с Лисаветой вот уже два дня — с тех пор как было назначено свидание — не давала ему покоя. Босилков все старался представить себе, как он сядет рядом с будущей невестой, как скажет ей, спокойно и просто, что полюбил ее уже давно, с тех пор как впервые увидел. Он напряженно подыскивал подходящие слова, но все приходившее в голову получалось или слишком сентиментально, или, наоборот, слишком напыщенно и сухо.

— Похоже, я совсем оступел. Да и ни к чему все это. Будто она не знает, зачем я должен прийти, — злился Босилков, разглядывая короткую тень, лежащую у его ног.

Это был полный, невысокий человек с широким благодушным лицом, слегка бугристым от прыщей, появившихся еще в гимназии. Мягкие, редкие, плохо растущие на круглой голове волосы начинали выпадать. Но лоб у него был высок и внушительен и совсем не вязался с мягким, по-детски кротким и даже ласковым выражением карих глаз. Да и во всей его плотной фигуре чувствовалась неловкость и неуверенность, словно сила этого короткого тела была чем-то подавлена и скована.

Четыре года назад он занял место судьи в родном городе, уступив настояниям отца, местного адвоката, клиентура которого с тех пор стала быстро расти. За эти годы Босилков растолстел и удивительно быстро состарился, что, однако, придало его внешности еще больше спокойствия и солидности.

Судейского места оказалось более чем достаточно, чтобы удовлетворить его самолюбие, и теперь он мечтал только о том, чтобы устроить свою жизнь как можно удобнее и приятнее.

Однообразные будни городка ничем не тревожили его ум. Все его стремления незаметно заглохли, а с ними и всякая потребность в какой-нибудь более богатой духовной жизни. Очень быстро Босилков привык мыслить практически и уже чуть ли не гордился этим.

„Почему бы мне не остаться здесь навсегда, — говорил он себе. — Разве лучше мотаться из города в город, из суда в суд и делать карьеру? Мне и тут неплохо”.

Отец советовал ему:

— Ты посудействуй тут еще немного, чтобы здешнее мужичье тебя получше узнало, а потом подавай в отставку. Дела тебе хватит, клиентура обеспечена, поднакопишь денюжат, женишься... Чего лучше?

И сын решил его послушаться.

Он начал подыскивать себе невесту. Выбор пал на Лисавету, дочь богатого мельника Спаскова. Впрочем, судья почти не имел возмож-

ности выбирать—все устроилось без его участия. Отец девушки вел свои ростовщические дела у старого Босилкова—там, в его конторе, и сладилось сватовство.

До этого Босилков видел девушку только издалека и никаких чувств к ней, разумеется, не испытывал. Лисавета никогда не производила на него ни малейшего впечатления. Два-три дня он колебался, а потом уступил отцовским советам и уговорам. Дочь мельника должна была принести ему богатое приданое. Босилков согласился и уже видел в мечтах свою будущую богатую и привольную жизнь.

С тех пор он несколько раз встречался с Лисаветой, но ни разу не оставался с ней наедине. Поняв, что девушка согласна, Босилков назначил ей это сегодняшнее свидание в виноградниках. Лисавета должна была ждать его у себя на даче.

Посидев немного на холме, Босилков успокоился и огляделся.

Городок лежал прямо под ним в низине, раскрыв ему навстречу свои узкие кривые улочки. Мимо высоких, похожих на веники тополей уныло цедила высохшая речушка. Стадо гусей бродило по базарной площади среди пустых прилавков, а под самым холмом, там, где крыши домов терялись в густых садах, визжал поросенок и вился синеватый дымок.

Повсюду было тихо и спокойно. Городок робко нежилась под невысоким сентябрьским небом. На главной улице скрипела, проезжая, телега, груженная соломой. Во дворах кудахтали куры, чирикали воробьи. С нижнего конца города доносились удары молотка лудильщика. Медь отвечала им гулко, со стоном. Звуки метались по низине, словно в поисках убежища.

Судья долго смотрел на все это. То и дело взгляд его невольно останавливался на окраине, где громоздился большой серый корпус мельницы. Ритмичное пыхтение ее мотора доносилось даже сюда.

Когда-нибудь эта мельница будет принадлежать ему. Босилков уже видел себя ее хозяином—в двуколке, запряженной крупным вороным конем; он не раз наблюдал, как мельник носится в ней по городу. В городе уже шушукались о предстоящей свадьбе. Имя судьи приобретало новый вес и авторитет. Ведь ему предстояло стать самым богатым человеком в околии.

Жизнь устраивалась приятно и удобно.

Полюбовавшись еще немного на мельницу и взглянув на отцовский дом, белевший в зелени двух ореховых деревьев, Босилков вдруг почувствовал прилив гордости и уверенности в себе.

”Ну, что мне еще нужно?”—подумал он и поднялся, чтобы продолжить свой путь. Но какая-то внезапная смутная мысль, разбудившая в нем тревожное и мучительное чувство, вдруг как будто схватила и удержала его. Снова мелькнула мысль о предстоящем свидании. О чем говорить с Лисаветой? Ведь до сих пор они не обменялись ни одним нежным словом.

”Со временем и любовь появится,—думал он.—И в конце концов, что такое любовь? Когда женщина богата и молода, в нее всегда влюбляются. И потом, так ли уж все это нужно?”

Босилков перебрал в уме несколько историй с женщинами, пережитых им в студенческие годы, как будто пытаясь убедить себя, что он никогда не испытывал особой потребности в любви.

“Пусть даже это и не так, дурак я буду, если не женюсь. Жизнь—это не только любовь...”

Он задумчиво огляделся, словно ожидая, что этот истомившийся осенний полдень может ему ответить; увидел замершее небо, освещенную солнцем кладбищенскую ограду, за которой торчали черные кресты и похожие на редкие зубы белые известняковые памятники. Тихая печаль осени поразила его.

Дорога была неровной. Идти по ней было неприятно. По обе стороны тянулось вытопанное скотиной жнивье, полосы желтой кукурузы, необработанные, поросшие выгоревшей травой поляны. Невысокая фигура судьи медленно двигалась вперед к синеющим вдали виноградникам.

Маленькая, недавно построенная отцом Босилкова дачка с зелеными ставнями и островерхой крышей тихо ожидала его, грустная в своем одиночестве. Вдоль домика тянулась длинная грядка с цветами, охваченными печальной полуденной дремотой. На низенькой терраске стояла скамейка, на ней беспомощно валялся забытый кем-то увядший подсолнук, а на полу виднелись грязные следы босых ног.

Судья открыл дверь. Изнутри пахло фруктами, известкой и глиной. На столе под чистым белым платком стоял обед, оставленный служанкой.

Босилков поел и вышел взглянуть на домик Лисаветы. Было еще рано.

Он обошел сад, набрал себе винограда и прилег вздремнуть.

Жужжала оса. Синеватые ягоды пахли ладаном. Из открытого окна падал сноп солнечных лучей и наполнял комнату мягким, ласковым светом. Незаметно Босилков заснул под однообразное жужжание осы и тонкий трепетный звук ее крыльшек, напоминающий далекое гудение колокола.

Часа через два он проснулся и сел на кровати, улыбаясь какому-то только что увиденному сну и тщетно пытаясь его вспомнить. Сладостное чувство давило грудь и будило в душе тихую скорбь, от которой очень хотелось избавиться, только никак нельзя было понять, откуда она идет. Сон держал его в своей власти, сердце замирало, а оцепеневший мозг, казалось, созерцает что-то невыразимое.

Несколько минут Босилков сидел на кровати, бессмысленно разглядывая составленные у стены мотыги, потом вышел на террасу и опустился на скамейку.

Неподалеку какой-то мальчик гонялся по жнивью за двумя козами. Его белая рубашонка вздувалась от бега, и судье показалось, что ребенок не бежит, а летит в просторе, словно большая белая птица, весело несущаяся в море солнца и света. Это впечатление было так красиво и так похоже на недавний сон, что Босилков улыбнулся и зажмурился от удовольствия.

“Может, мне это опять снится?”—мелькнуло у него в голове. Он ле-

гонько стукнул рукой по перилам, желая убедиться, что и вправду не спит. В памяти снова мелькнул сон, похожий на отзвук когда-то слышанной и уже забытой музыки. Босилкову непременно хотелось его вспомнить, но вдруг на отчетливом фоне этого впечатления возник образ его будущего тестя, каким он встретил его однажды на шоссе, — подвыпивший и злой мельник сидел в двуколке и яростно нахлестывал своего крупного вороного жеребца.

Судья отчетливо представил себе его большой нос, грузное тело, облаченное в коричневое домотканое сукно, белые шерстяные носки на ногах, втиснутых в грубые пыльные башмаки, и яростно затряс головой, пытаясь отогнать этот образ. Потом облокотился о перила и долго смотрел на широкую панораму, открывающуюся перед ним.

Кое-где среди уже посеревшего жнивья торчали кудрявые дубы и, точно люди, ожидали чего-то под опустившимся бледно-голубым небом. От села к селу тянулись пустынные извилистые дороги и как будто звали к себе, обещая увести путника в дальние неведомые земли. Воды речушки весело, словно смеясь, поблескивали на быстринках, а на горизонте подымались горы — многоверхие, синие, чудовищно громадные.

Босилкову вдруг страшно захотелось радоваться, жить, любить и быть любимым. Горячее, восторженное чувство подымалось в его душе. И странно, мысль о своей упорядоченной, размеренной жизни вызывала у него не радость, как раньше, а только досаду и желание от нее избавиться.

Близился вечер, а Босилков все сидел, облокотившись на перила и подперев голову руками. Он думал о своей жизни и все пытался найти в ней что-то забытое, очень важное, но до сих пор казавшееся ненужным. Мысль его упрямо рылась в воспоминаниях детства. Что-то там было, красивое и доброе, но настолько заглушенное и ушедшее навсегда, что воспоминания об этом будили только тоску. Босилкову казалось, что до сих пор жил не он, а кто-то другой, и он все хотел избавиться от этих мыслей, охваченный тревогой, которая в конце концов заставила его вскочить на ноги.

— Да что же это со мною творится? — спрашивал он себя. — С ума я схожу, что ли? Все это одни только чувства и ничего больше. Просто это сон на меня так подействовал... А может, в этом и есть истина жизни, сама жизнь?.. ”

Сердце Босилкова сжалось — показалось, что все вокруг ждет от него важного решения. Но он стоял немой, беспомощный, боясь самого себя и своей души, которая жадно вслушивалась в тихие осенние сумерки. И вдруг ему захотелось скорей к Лисавете.

Босилков запер дачу и бросился к виноградникам мельника, подгоняемый смутной надеждой, что дочь Спаскова окажется не такой, какой он ее знал, и что она поможет ему освободиться от непривычного волнения.

Лисавета ждала его на террасе, обшитой почерневшими досками. За столом, накрытым белой скатертью, сидел мельник без шапки и пиджака. Судья еще издали увидел его седую стриженую голову. Заметив

Босилкова, мельник вскочил и хищным движением накинул на плечи пиджак.

Его присутствие неприятно поразило Босилкова. Он было насунился, но тотчас забыл об этом, устремив все свое внимание на Лисавету. Сейчас он испытывал к ней сильный, нетерпеливый интерес, который заставлял его разглядывать девушку так, словно он никогда раньше ее не видел.

Лисавета шагнула навстречу Босилкову и в нерешительности остановилась на верхней ступеньке каменной лестницы, ведущей на террасу. По случаю важного события она оделась по-праздничному—в синее платье с красным пояском, совершенно к нему не подходящим, и белые туфли. Грязно-русые, в мелких кудряшках волосы казались мокрыми и делали ее полноватое, сильно напудренное лицо еще более простодушным и глупым.

”Вот деревенщина”, — подумал Босилков, продолжая пристально ее рассматривать, чтобы не упустить ничего от первого впечатления.

Она подошла и доверчиво протянула ему руку. Из-за ее спины раздался хриплый голос Спаскова:

— Пришли! Ну, добро пожаловать, добро пожаловать!

Босилков поздоровался с мельником, Лисавета убежала за стулом, а из дома вышла ее мать, высокая худая женщина. Пожала гостью руку и добродушно улыбнулась. Она тоже была одета по-праздничному—в черное платье, которое делало ее еще более тощей.

Босилкову понравились ее большие запавшие глаза, в которых светились кротость и доброта. Встретив этот взгляд, Босилков почувствовал, что смятение его усиливается, разжигая в душе ощущение той сладкой скорби, которая пригнала его сюда. И вдруг он понял, что здесь ему не освободиться от своей тоски. Сила его порыва разбилась об этих людей, как волна, ударившаяся о скалу.

Босилков сел на принесенный Лисаветой стул, глухой и чуждый всему окружающему. Он не смел ни с кем встретиться взглядом, сознавая, что все, что он скажет сейчас, будет ложью.

— Вы прямо из города?—спросил мельник, усевшись против будущего зятя.

— Из виноградника... Пообедал там... даже вздремнул. Я каждую субботу прихожу сюда отдохнуть,—ответил Босилков и умолк, словно испугавшись, что ему нечего будет сказать.

— И то дело,—весело одобрил Спасков.—Здесь можно и над каким-нибудь запутанным делом поразмыслить, и развеяться немного—смотришь, в голове и прояснится. На свежем-то воздухе человеку и мысли другие приходят. Я, когда мельницу строил, дома вовсе усидеть не мог. На коня—и сюда. Проедешь немного—глядишь, решение и готово. Потому что—так и ваш отец говорит—дело должно быть правильно задумано. Мы с ним и сейчас неразлучны, а как станем сватами, так уж совсем никакого обмана меж нами не будет: и я его зубки знаю, и он мои. — Спасков затрясся от громкого смеха.

Босилков приличия ради улыбнулся. Внезапно мельник перестал

смеяться. Неприятное лицо с множеством морщин в уголках глаз стало опять любезным и почтительным. Только голубые, хитро-холодные, чуть прищуренные глаза сохранили свою лукавую веселость.

Лисавета бросала на судью быстрые кокетливые взгляды, полные преданности. Ее белое лицо сияло от счастья. Босилков старался на нее не смотреть.

— Почему она не стесняется? Неужели и вправду влюбилась? — спрашивал он себя. — А может, это от гордости, что выходит за судью...

— А зачем вам друг друга обманывать? — неожиданно повернулась она к отцу, удивленно подняв серповидные брови.

— Это уж так говорится. На обмане весь мир стоит. Одно затеваешь, выходит другое, вот и получается, что тебя надули. — Он взглянул на Босилкова и добавил: — Ну кто бы мог подумать, что в зятях у меня будет сам судья, а он, видишь, здесь сидит. — И он снова засмеялся.

— Они уже считают меня своим, — вдруг понял Босилков. — Нет, не бывать этому! И богатство их мне не нужно. Не могу, не могу! И, стремясь найти в себе силу уйти от искушения, он попытался вспомнить, как стоял на террасе и смотрел на мальчика. Но эта картина, видно, уже потеряла над ним свою власть, потому что прежнего чистого и восторженного чувства у него не возникло. Чудесный образ ребенка показался ему нереальным, как отзвук какого-то смутного сна.

Напрасно он пытался оживить в душе этот образ. Все его усилия только увеличивали тоску, доводя ее до отчаяния.

Мать Лисаветы принесла тарелку с персиками. Мельник начал хвататься своим виноградником. Босилков слушал, но не понимал ни слова. На губах у него дрожала неуверенная робкая улыбка, которую Спасков объяснил себе застенчивостью.

После персиков и кофе он встал и повел судью осматривать виноградник.

— Смотри, какие здоровенные, — говорил он, указывая на лозы. — И так повсюду — войдешь, потеряешься.

Босилков покорно шел за ним следом и рассеянно смотрел по сторонам. Широкая спина будущего тестя наполняла его презрением к самому себе.

— Скажу, что не могу, — думал он. — И будь что будет! — Но все не решался и продолжал шагать по рыхлой сухой земле.

Вдруг мельник остановился и, заглянув судье в глаза, взял его за локоть.

— Все, что ты здесь видишь, можешь считать своим, — сказал он. — Есть и еще кое-что. Адвокат, отец твой, знает. Когда-нибудь все твоим станет. Вместе с мельницей около двух миллионов. Одна у меня дочка-то.

В голосе его послышались нотки отеческой нежности и гордости.

— Вы там любите друг друга, живите дружно. Ты человек умный, а характер у нее мягкий. — И он медленно провел своими толстыми пальцами по руке судьи, от локтя до кисти, словно проверяя ее крепость.

Босилков не отдернул руку, но весь сжался от прикосновения чужих пальцев.

— Так,—против воли ответил Босилков, смущенный твердым и решительным блеском его глаз.

— Ну, ты сам все знаешь. Тогда в добрый час,— сказал мельник и, отпустив его руку, двинулся назад к дому.

Босилков последовал за ним. Острроверхая крыша пылала в лучах заката между двумя темными силуэтами развесистых лип. Листья деревьев, казалось, трепетали, словно липы тянули к солнцу свои руки. И Босилков почувствовал, что воспоминание о тех, пережитых днем минутах оставляет его, гаснет в душе. Тоска стала невыносимой и вдруг исчезла. Босилков остановился и приложил ладонь к пылающему лбу.

Показалось, что все пережитое сегодня на даче случилось давным-давно и стало похоже на болезнь, от которой он уже почти оправился.

”Это был кошмар! Сон!—воскликнул он про себя.—Ложь, мечта, прекрасная мечта!”

Мельник удивленно оглянулся.

— Ты что, споткнулся?—спросил он.

Судья кивнул.

— Я сейчас уйду в город, а вы тут потолкуйте...

Через несколько минут Спасков и вправду ушел. Жена пошла его провожать. Босилков стоял на террасе рядом с Лисаветой и молчал.

— Как вы рассеяны,—сказала она.

В голосе девушки слышался укор и еще что-то, доверчивое и ласковое.

— Устал,—ответил он.

Лисавета придвинулась и доверчиво прижалась к нему плечом. Оба молчали, прислушиваясь к своему дыханию.

Тогда, зная, что он выглядит смешным, Босилков неловко и неохотно поцеловал ее в лоб. Лисавета прижалась к нему и с готовностью подставила губы. Босилков поцеловал их, потом еще, зажмурившись, чувствуя, как твердые девичьи губы ищут его рот.

Темнело. Чернели перед домом высокие кудрявые лозы. В сумерках они были похожи на привязанных к кольям зверей. Где-то совсем близко потрескивал кузнечик.

Босилков вслушался в скрежещущий звук, напоминающий что-то давно ушедшее, старое, как земля. Напряженно прислушался к самому себе. На душе было тихо и спокойно. Только где-то в самой ее глубине дрожала боль.

— Мне кажется, мы с вами знакомы давно-давно,—сказала Лисавета.

— Да, давно.—Босилков пришел в себя и, чтобы совсем заглушить память о тех минутах, начал рассказывать ей о том, как он влюбился в нее с первой же встречи. Он говорил рассеянно и быстро, а невдалеке по-прежнему звенел кузнечик.

”Все лжешь, все лжешь!”—как будто говорил он, но Босилков уже решил его не слушать.

Заросшая бурьяном дорога, по которой шли отец с сынишкой, пахла прелой зеленью. Теплые испарения наполняли раскаленный воздух. Лениво и мерно жужжали пчелы, словно ведя счет долгим часам летнего дня.

Солнце недвижно повисло на голубом небе, будто забывшись в восторженном созерцании усыпанной плодами земли.

— Это хорошо, что жарко, да, папа? Так мы побольше наловим?— спросил мальчуган.

Тумпанов не ответил.

Он не мог думать ни о чем, кроме того, что Тополов и сегодня отправился на реку вместе с судьей. Вот уже три месяца подряд Тумпанов проигрывает одно дело за другим. Если прежде он любил после обеда вздремнуть в прохладной гостиной, то теперь с этой привычкой было покончено. Даже ночью он от злости просыпался в холодном поту и строил планы, как ему сжить этого судью со света.

”И жен с собой прихватили... Уважающий себя судья не стал бы водить дружбу с подобным мерзавцем”,—размышлял он, хмуро шагая по дороге позади сына.

Тумпанов был аполлексически толст. Лицо его побагровело от жары, плешивую голову прикрывала сдвинутая назад старая соломенная шляпа-канотье. Сильно скошенный, словно стесанный топором, лоб был усеян каплями пота. Маленькие глазки прятались под густыми, нависшими бровями. Они щурились от яркого света и казались незрячими. Отвисший живот был перепоясан патронташем, а на плече висело охотничье ружье с ослепительно сверкающим стволом.

Он шел вместе со своим девятилетним сынишкой к реке купаться, а потом они собирались пострелять диких голубей. Его мучило опасение, как бы судья и Тополов не заняли облюбованное им для себя место. Он готов был скорее утопиться, чем встретиться лицом к лицу со своим коллегой.

Вражда между ними вспыхнула после одного яростного спора в околийском суде по поводу какого-то дела, в котором Тумпанов выступал защитником. Осыпав друг друга оскорблениями, они перестали здороваться при встрече. На небольшой городской площади, где по пятницам и воскресеньям перед старым, обшарпанным зданием суда бывал базар, они с порога своих адвокатских контор, на глазах у всех, бросали друг на друга уничтожающие взгляды. Прислужники их, бедные людишки, посвященные во все базарные сплетни, враждовали не меньше, чем их господа. Несколько раз их разнимали во дворе суда, где они затевали драку.

Это еще больше углубило пропасть между двумя адвокатами. А то, что они принадлежали к разным партиям, сделало эту пропасть непро-

ходимой. Козни, пересуды, сплетни, истории об обманутых, обобранных клиентах-крестьянах, приправленные провинциальным острословием и циничными шуточками, служили обеим сторонам оружием в их единоборстве. Каждый придумал своему противнику обидную кличку—на потеху всему адвокатскому сообществу. Тумпанов прозвал своего недруга "Аполлоном"—Тополов был хром, хил, тщедушен и носил очки. Тот в свою очередь называл его не иначе как "Драндулет"—за его странную, расхлябанную, подрагивающую походку.

В последнее время между Аполлоном и судьей завязалась дружба, которая встревожила всех адвокатов в городке. Недовольство росло с каждым днем. Они пытались уличить судью в пристрастии и выжить его из города.

Возглавив эту борьбу, Тумпанов усердно собирал сведения о встречах Тополова с судьей. Возбужденный сегодняшней вестью, он упорно обдумывал хитроумный план, который занимал его вот уже несколько дней. План состоял в том, чтобы умышленно проигрывать дела в околийском суде. В следующей инстанции, где он, безусловно, их выиграет, это, по его расчетам, должно быть замечено, вслед за чем непременно последует строгий выговор и недовольство местным судьей. Затем, используя создавшиеся настроения, Тумпанов намеревался направить в адвокатскую коллегия жалобу за подписью всех недовольных адвокатов городка. Таким двойным ударом судья неминуемо должен был быть повержен, а вместе с ним кончилось бы и влияние Аполлона.

О сынишке Тумпанов совершенно забыл.

Мальчик время от времени поднимал к отцу голову и робко взглядывал на него. Он то убегал вперед в погоне за какой-нибудь бабочкой, то, возбужденный мыслью о предстоящей охоте, внимательно следил за стремительным полетом дикого голубя, исчезавшего в разлитом над полем мареве. Искрящееся на солнце золотое жнивье, по которому выстроились шеренгами крестцы, неоглядные просторы полей будоражили мальчика. Упоительный запах зрелых нив и разогретой земли распаллял кровь. Голубые глаза, сиявшие радостью и любопытством, точно васильки выглядывали из-под белой панамки. Босые ноги так и рвались куда-то бежать.

Мальчика смущал сосредоточенный взгляд отца.

Адвокат шагал, не произнося ни слова, и только пыхтел от жары. Они добрались до верхушки холма, позади которого остался почерневший от старости городок. Над его кровлями дрожал раскаленный воздух. Залитые солнцем беленые домики казались погруженными в сон.

— Папа,—проговорил мальчик,—кто больше: жаворонок или перепелка?

Отец не отвечал.

— Пап, а пап, кто больше?

— Что тебе надо?— строго спросил адвокат.

— Я про жаворонка...

— Жаворонка?.. Да не беги ты так...—сказал Тумпанов, вытирая лицо концом шейного платка.

Мальчик вдруг отпрянул назад и толкнул отца локтем. Дрожащей рукой он показывал на край соседнего кукурузного поля.

Тумпанов снял ружье и стал вглядываться, вытянув шею.

— Видишь? — тихо, взволнованно шептал мальчик.

— Что... что там такое?

— Перепелка. Вон, высунулась...

Из поникших от жары листьев кукурузы выглядывала маленькая острая головка. Два черных глаза, похожих на ягодки бузины, смотрели в их сторону.

— Да это суслик! — раздраженно воскликнул отец. — Ты сегодня просто невыносим! Трещишь, трещишь, не даешь подумать о деле. Я теряю клиентуру. Люди больше не желают обращаться ко мне, — закончил он почти жалобно.

Мальчик сконфузился. Виноватым, печальным взглядом посмотрел на отца.

— Опять ты порвал штанишки, — продолжал Тумпанов, злясь на сына за то, что потерял из-за него нить размышлений. — Совсем не бережешь вещи. Мама сказала — третьего дня ты лазил на акацию ловить воробьев.

— Да они у меня старые, пап.

— Все равно. За них уплачены деньги. А у меня уже нет денег. И ничего покупать я тебе больше не стану. Ты этого не стоишь. Вот закончил год на тройки. Как не совестно!

Мальчик, потупившись, молча шагал впереди.

За холмом показалась река. Она пробиралась среди прибрежных ив, мимо огородов и острием ножа врезалась в равнину, огражденную вдалеке синеватым силуэтом гор.

Тумпанов остановился, приставил руку ко лбу и внимательно оглядел берег.

У стремнины, где он рассчитывал искупаться, виднелись два обнаженных тела, а выше по реке, за излучиной, плыли против течения две головы, издали похожие на тыквы. Узнав купающихся, Тумпанов не сдержался и громко произнес:

— Аполлон!

В доме было известно, кто это. О нем каждый вечер говорилось за столом. Младший сынишка адвоката, пятилетний мальчуган, под общий смех изображал походку хромого. Отец целовал мальчика в лобик и восхищенно восклицал:

— Из этого ребенка выйдет первоклассный артист!

— Гораздо смысленей своих сверстников, — подхватывала мать, рыхлая женщина с темной кожей и с растительностью на верхней губе. Она почитала своим долгом презирать красивую жену Тополова.

— Аполлон-то опять с судьей, — оживленно произнес отец. — Дивлюсь я, как это он плавает с хромой ногой. Но мы все равно будем купаться на нашем обычном месте, — решительно добавил он.

Они спустились по прячущейся в стерне тропинке и скоро оказались у реки.

Берег здесь был высокий, скалистый. На широких камнях, похо-

жих на громадные стальные плиты, было удобно лежать. Вода срывалась с высокого порога, образуя нечто вроде небольшого водопада.

Адвокат прислонил ружье к скале, расстегнул тяжелый патронташ и, попробовав предварительно воду, стал раздеваться. Стянув с ног серые от пыли башмаки, заботливо оглядел окованные гвоздиками подошвы и аккуратно отставил в сторонку. Потом, отдуваясь, скинул рубаху. Блеснули на солнце жирные плечи и волосатая грудь. Сзади на шее залегли две толстые складки.

Время от времени он поглядывал в ту сторону, вверх по реке, где купались женщины. Оттуда долетали голоса и смех, который словно разносился водой. Стаскивая с себя брюки, он спохватился, что не видит сына, и оглянулся.

Мальчик стоял у реки, в десяти шагах от него, пристально разглядывая лягушку, высунувшую голову из воды.

— Ты что там делаешь, Илия?—крикнул Тумпанов.—Иди сюда, раздевайся.

— Я не буду купаться,—мрачно ответил тот.

— Это почему?

— Так.

— Ну, как знаешь,—сказал адвокат.

”Видали? Обиделся”,—подумал он и не стал настаивать. Подниматься с разогретого камня было лень. Он повернулся на живот и блаженно вытянулся.

Женский смех слышался все чаще. Река несла его с собой, интимно и сладостно нашептывая что-то. Возгласы женщин, звонкие, протяжные, заставляли Тумпанова несколько раз приподыматься и взглядывать в ту сторону. Но, кроме струящейся глади реки и зарослей ракитника на повороте, разглядеть ничего было нельзя.

”Моя бы власть,—мстительно подумал он,—отправил бы я ваших мужей куда-нибудь к черту в зубы... В самом деле, черт побери, дальше терпеть такое невозможно!”

Чтобы отогнать неприятные мысли, он занялся обдумыванием своего плана. Закладывая пальцы, стал пересчитывать своих коллег, которые согласятся подписать жалобу, но неожиданно подкралась дремота, и он чуть было не уснул. Очнулся он от громкого взрыва смеха.

”Как весело смеется, негодница!”—подумал он и решил пойти искупаться.

Поднявшись на ноги, он заметил, что сын украдкой наблюдает за ним. Он взглянул на свое тучное тело с искривленными пальцами на ногах, и ему стало неловко перед мальчиком. Чтобы заглушить неприятное чувство, он строго прикрикнул на него:

— Илия, я же велел тебе раздеться! — И, не дожидаясь ответа, вошел в воду.

Вода была теплая, прозрачная.

Тумпанов стал спиной к водопаду. Плотная, яростная струя ударила его в спину, раскололась и пенными брызгами перелетела через плечи. Он вытянул свои короткие ноги и лег на спину. Живот огромным шаром

выступал из воды. Течение подхватило Тумпанова, нежные струйки, как тысячи змеек, защекотали тело. Адвокат пыхтел от наслаждения. В зеленоватой воде его туловище казалось каким-то чудовищно огромным вареным раком.

Неподалеку игриво плескалась рыбка, оставляя на поверхности воды маленькие полукружья. Зеленые лягушки с золотистыми глазами удивленно ее разглядывали. Шепот воды кружил голову. Склонившиеся к реке ивы едва шевелили своими серебристыми листочками. На другом берегу меланхолично ворковал голубь и задорно стрекотала сорока. Длинные тени деревьев протянулись по равнине. Солнце, точно пьяное, склонилось к пепельно-голубому силуэту гор. Над рекою, на жарком, голубом и мирном небе, недвижно повисли снежно-белые облака. Пронизанные веселыми лучами солнца, они казались такими торжественными, точно сам всевышний прилег отдохнуть на их пушистом ложе.

Тумпанов несколько раз намылился. Прислушиваясь к смеху женщин, отдавшись сладостному чувству, он совсем позабыл о сыне.

В освеженном купаньем мозгу неожиданно возникла мысль: "А что будет, если Аполлон утонет?" Он представил себе вытасченное на берег раздувшееся мертвое тело, потом похороны, одетую в траур молоденькую вдову, к которой он, несмотря на все, не испытывал решительно никакой неприязни.

"Вряд ли съестся охотник произносить речь над его могилой", — с удовлетворением решил он.

Мысль о смерти коллеги была столь ярка и мучительно желанна, что одурманила его и долго не оставляла. Он даже раза два приподнимался и вслушивался: ему мерещились крики утопающего...

Потом он вспомнил о сыне и поискал его взглядом. Мальчик был неподалеку и забавлялся тем, что кидал камешками в расквакавшихся лягушек.

Выкупавшись, одевшись, Тумпанов взял ружье и пошел вниз по берегу, туда, где высилось несколько старых высоких ив. Илия оживился. Предстоящая охота, о которой он мечтал весь день, заставила его позабыть об обиде.

Место для засады отец выбрал возле одной дуплистой ивы. Напротив торчало несколько сухих веток, на которые любят садиться птицы.

— А мы не запоздали, папа? — озабоченно спросил мальчик, прижимаясь к отцу.

— Нет, самое время.

— Вон одна. Сейчас взлетит, — сказал Илия.

— Стой смирно, — предупредил отец. — Сейчас они пьют. Напьются — рассядутся на ветках.

Он присел на корточки, привалился к дереву плечом и вытянул шею. Послышался металлический щелк. Он готовился к выстрелу.

Сверху, с берега, долетел громкий мужской голос:

— Мария-а! Пора идти!

— Уходят, — пробормотал отец.

— Кто, папа?

— Аполлон.

— Пап, у тебя правда больше нет клиентов?

— Ну, не совсем... Молчи, сюда летит горлинка...

Птица, чья розовая грудка отливала золотом в косых лучах солнца, действительно летела в их сторону. Она спокойно уселась на сук и, наклонив свою маленькую, изящную головку, посмотрела вниз.

Тумпанов прицелился. Мальчик весь сжался, затаил дыхание.

Глухой звук выстрела ткнулся в стеклянную гладь реки. Пороховой дым распластался над травой. Горлинка в испуге вспорхнула и исчезла между деревьями.

— Промахнулся, — печально сказал мальчик.

— Это еще неизвестно. Верно, упала подальше. — Отец нахмурился.

Его искаженное охотничьей страстью лицо застыло в уродливой гримасе.

— Черт побери, я ведь отлично прицелился! — воскликнул он, трясущимися пальцами вставляя новый патрон.

Глаза у мальчика горели. Возле рта легла жестокая складка.

После выстрела все птицы разлетелись кто куда. Над ивами слышался свист крыльев, вспарывавших спокойный теплый воздух летних сумерек.

— Не шевелись, — предупредил отец.

Сердце мальчишки бешено колотилось... Он то и дело привставал и выглядывал из-за ствола дерева.

— Не показывайся! — приказал отец. — Они хитрые, заметят.

Сквозь облупленные стволы ив была видна стая диких голубей, весело круживших над рекой. Некоторые из них садились на том берегу и, недоверчиво вертя головками, приближались к воде. Напившись, они улетали в поле. Отец и сын жадно следили за их полетом.

Неожиданно один серый голубь, описав над ивами несколько кругов, опустился на ветку неподалеку.

Тумпанов прицелился. Но тут за его спиной, на тропинке, послышались шаги и голоса.

Птица вспорхнула и улетела. Адвокат выругался.

— Кто это тут стрелял? — спросил женский голос.

— Да, в самом деле кто-то стрелял, — отозвался красивый тенор.

Тумпанов узнал голос судьи.

— Наверно, Драндулет. Я же говорил, что там, у водопада, это он и был. — В голосе говорившего звучали насмешливые нотки.

Адвокат подскочил точно ужаленный и злобно надулся.

— Кого это вы так называете? — спросила женщина.

— А вы не знаете? Нашего досточтимого коллегу Тумпанова. Этот осел...

Тут адвокат громко закашлял.

Компания молча прошла мимо. Женщины заметили притаившегося в засаде охотника и от неожиданности на мгновение замерли. Тумпанов метнул на них яростный взгляд, они ускорили шаг, но еще долго долетали до него веселые раскаты смеха.

— Испортили охоту, болваны, мерзавцы!— бранился он.

— Кто это, папа?— спросил мальчик.

— Молчи!— рявкнул отец.— Не твое дело!

Он с трудом заставил себя остаться на месте. Хорошего настроения как не бывало. Аполлон теперь непременно раззвонит о случившемся по всему городу.

Неожиданно на том берегу взлетела горлинка. Она забила в воздухе крыльями и, распутив веером хвост, грациозно опустилась на одну из сухих веток.

Тумпанов выстрелил.

Горлинка упала, перекувырнувшись в воздухе. Мальчик восторженно вскрикнул и кинулся ее подбирать. В его глазах горели радостные, страстные огоньки. Сжимая своими нежными пальцами теплое тело птицы, он чувствовал, как быстро, испуганно колотится ее крохотное сердечко.

— Ну-ка посмотрим, куда ей угодило, — сказал отец.

Он взял горлицу своими грубыми руками, перевернул на спину и распластал крылья.

Птица забила одним крылом. Второе повисло. От боли она растопырила свой белый, с черной каемкой хвост. На розовой грудке проступили липкие пятна.

— Крыло перебито,— тоном знатока произнес Тумпанов. И, ухватив пестрое, в коричневую точку крыло, стал дергать его из стороны в сторону. Горлинка глухо застонала.

Мальчик задрожал и умоляюще протянул руки к отцу.

— Не надо!— крикнул он, чуть не плача.— Не надо, ей больно!

— У птиц нет нервов,— буркнул отец.

— Почему же она стонет? Отдай ее мне, может, она поправится.

— Надо ее прикончить.

— Не надо, папа,— заплакал мальчуган.

— На, держи,— сказал адвокат, швырнув птицу на траву.

Мальчик обнял ее и с состраданием заглянул в ее красноватый, с золотистым ободком глаз, печально и покорно устремленный в мирную даль полей. Горлинка билась, пытаясь вырваться из рук ребенка, но, убедившись в тщетности своих попыток, прикрыла глаза серой пленкой, словно решила полностью отдаться на милость человека. Из клюва у нее выступила кровавая пена.

— Папа, она умрет?— спросил мальчик.

— Молчи!— цыкнул на него отец.

— Если не умрет, я ее посажу в клетку. Она ведь может жить в клетке?

— "Ах, каналья!"— мысленно чертыхнулся адвокат, думая об Аполлоне. Раздражение его все возрастало. Приставания сына действовали на нервы. В довершение всего ни одна птица не желала больше садиться на сухие ветки ивы.

Мальчик, занятый горлинкой, думал о том, какую он устроит ей клетку. Увлечшись этим, он вышел из-за дерева, так что пролетавшие

голуби видели его.

Это совсем взбесило отца.

— Дай сюда птицу!— крикнул он.

Мальчик в испуге повиновался.

Отец схватил ее и, прежде чем ребенок понял, что тот намерен сделать, опустил на голову птицы свой тяжелый каблук.

Раздался негромкий треск, а вслед за ним отчаянный детский крик.

— Молчи!— приказал отец.

Но мальчуган горько зарыдал.

Тогда Тумпанов дал ему затрещину. Ребенок упал ничком.

— Не реви!— орал отец.

Мальчик привстал на колени. Из раскрытого рта вырывались все более отчаянные вопли.

Тумпанов хотел было схватить сына за ухо, но тот увернулся.

— Замолчи! Болван!— Адвокат позеленел от злости.

Мальчик внезапно вскочил, содрогавшееся от рыданий тело напряглось, глаза с ненавистью глядели на отца. Плач на мгновение оборвался. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, поперхнулся и потом будто выплюнул:

— Зверь!

В тишине летнего вечера гневный голосок ребенка прозвучал как проклятие.

— Ты зверь! Зверь!— кричал он.

— Что-о-о?— проревел отец.— Что ты сказал?

Но мальчик повернулся и бросился от него прочь, сквозь рыдания твердя на бегу все то же слово.

— Назад! Сюда!— кричал ему вслед отец.

Но мальчик уже скрылся из виду. Слышен был только его плач.

— Илия, вернись сейчас же!— повторил отец.— Илия-а!

”А-а-а!”— доносились в ответ рыдания ребенка, и казалось, сам вечер рыдал вместе с ним.

Тумпанов огляделся вокруг. Ему стало неприятно и как-то жутковато. Прицепив горlinkу к патронташу, он двинулся по тропинке к дому.

Он шел, тяжело ступая по земле. Убитая птица колотилась о бедро.

”Какой подлый, какой проклятый день”,— повторял он про себя.

У него было такое ощущение, будто кто-то плеснул ему в лицо чем-то грязным, несмываемым, и он весь как-то опал и съежился. Он вслушивался в отдаляющийся голос сына, и чем отчетливее долетало до его ушей всхлипывание ребенка, тем острее он чувствовал свое унижение.

”Ох, и вздую же я его дома!”— злобно подумал он и, утешенный этой мыслью, свернул с тропинки и пошел напрямик через жнивье.

Позади него река тихо плескалась в своих берегах, будто вздыхала.

”Зверь, зверь”,— несло ему вслед кваканье лягушек.

Поле все больше темнело. Окутанные мглой деревья сливались с землей, точно огромные, распростертые над нею тени. В жнивье все

громче трещали кузнечики, а за рекой небосвод окрасился медно-красным светом, разлившимся затем по склонам гор.

У ног человека, понуро шагавшего по полю, выросла длинная тень. Она бежала перед ним и словно звала за собой, повторяя движения его чудовищно вытянутых конечностей.

Внезапно Тумпанов остановился.

Он нашел объяснение непонятной дружбе между своим недругом и судьей.

— Да он рогоносец! Тот ему наставил рога!— воскликнул он и, хлопнув себя по лбу, злорадно расхохотался.

Замершая в покорном ожидании тень взмахнула огромной ручищей и быстро повела его к дому.

Супруги приехали в город на огромном, белом от дорожной пыли автобусе; высоко нагруженный багажом, он полз по узкой улочке, устрашающе колыхаясь из стороны в сторону.

Когда он остановился на площади перед рестораном, обоих поразила тишина.

В темных глазах жены светилось волнение и любопытство. Пять лет прошло с тех пор, как она оставила этот тихий городок, где жила до замужества, и теперь она с жадным интересом разглядывала беленые домики, мирно дремавшие в глухой послеполуденной тишине, свежеевыкрашенное розовое здание банка, безлюдную площадь, вымощенную булыжником, поблескивающим, точно перламутр.

Проходившая невдалеке босая тщедушная женщина с корзиной травы в руке, видно, узнала ее и приветливо заулыбалась. Но красивый дорожный костюм приезжей, ее крохотная модная шляпка, весь ее богатый вид смутили женщину. Она прошла мимо, не поздоровавшись.

Муж сердито стряхивал с себя пыль. Это был смуглый человек, одетый во все светлое. На голове — бежевая каскетка, глаза защищены от солнца темными очками, в руке — небольшой кожаный портфель. Он ни разу не посмотрел по сторонам, словно приехал сюда по какому-то малоприятному делу и торопился поскорее с ним покончить.

— Коста, — сказала жена, беря его под руку, — надо нанять какого-нибудь мальчишку поднести вещи.

— Разве здесь найдешь носильщика? — удивился он. — В твоём городе люди обходятся без посторонней помощи. Во всяком случае, судя по твоим рассказам...

— Не так громко, пожалуйста, — испугалась она и дернула его за рукав. — Не стоять же нам здесь до вечера! Я попрошу кондуктора...

Он что-то проворчал и пошел в автобусное агентство за носильщиком. Она осталась стоять перед грудой тюков и чемоданов, которые шофер сгружал с крыши автобуса. В открытое окно ресторана компания молодых людей алчно разглядывала ее элегантную фигуру.

Муж вернулся в сопровождении какого-то блаженно ухмылявшегося человека с маленькой розовой головой и еще меньшей шапчонкой, сидевшей на нем, точно птичье гнездо. Стесняясь идти рядом с этим полумным оборванцем, согнувшимся под тяжестью двух чемоданов, супруги пошли впереди.

Оба молчали, смущенные тем, как гулко отдаются их шаги по камням мостовой. Муж шел насупившись и думал о прекрасной квартире, которую они покинули ради того, чтобы приехать в этот городок, где единственное развлечение — вино и карты, о своих приятелях, о прислуге, на которую вряд ли следовало оставлять дом. Жена исподтишка поглядывала по сторонам. Время от времени она замечала, как на каком-ни-

будь окошке отодвигалась занавеска и на улицу с любопытством выглядывало знакомое женское лицо. Она приветственно кивала, краснея от удовольствия. Сидевшие у дверей лавчонок разморенные жарой мужчины с тупым удивлением провожали их глазами. Кое-кто привставал и здоровался. Это поднимало жене настроение, наполняло ее гордостью. Она ощущала сладковатый запах галантерейных товаров и мануфактуры из расположенных по соседству магазинов, а на дверях одного из них увидела ту самую рекламу галош, которая висела здесь раньше. Этот запах и реклама пробудили в ней смутное, но приятное воспоминание о той поре, когда она, молоденькая девушка, проходила мимо этого магазина, вдыхала этот самый запах и видела того же самого Деда Мороза в сверкающих новых галошах. И она невольно подумала о том, как высоко поднялась она над своими земляками: теперь она уже не та бедная, скромная учительница, которая проходила тут каждое утро и в полдень в дешевом муслиновом платьице и скверной старой шляпке. И вместе с тем она дивилась тому, что дома оказались гораздо более жалкими и неказистыми, чем ей помнилось, а люди гораздо менее приветливыми, чем она ожидала. Но ей не хотелось поддаваться разочарованию, и она постаралась скрыть его от мужа.

— Где же ваш дом?—спросил он, злясь на неровный булыжник под ногами.

При слове "ваш" она вздрогнула, сердце у нее сжалось. Мелькнула мысль, что родной ее дом тоже может оказаться таким же бедным и жалким, как остальные.

Она что-то невнятно пробормотала, и в глазах появилось беспокойство.

— Раньше я легко ходил по этим камням, а теперь отвык,—заметил муж.—Идешь, спотыкаешься. Но, кажется, мы добрались...

Дом был с широкой деревянной стрехой, стены облупленные, грязные, красная краска на закрытых ставнях лавки в первом этаже потрескалась и порыхлела.

Жена дрожащими пальцами открыла сумочку, нашла ключ, отперла калитку. Старая дубовая дверца скрипнула, в лицо дохнуло знакомым запахом сырости от каменных плиток у входа.

Взволнованная, она вошла во двор, не заботясь о том, идет ли за ней муж.

Между каменными плитками пробилась трава. Кусты самшита, обрамлявшие канавки для воды, давно уже никто не стриг и не поливал, и они начали сохнуть под натиском буйно разросшегося репейника. Плетень, огораживавший садик, где мать когда-то сажала цветы, упал. Рядом валялась расколотая глиняная миска. Двор густо зарос высокой польнью, из которой выглядывали два неведомо откуда взявшихся подсолнуха. Их желтые тарелки светились, точно два маленьких солнца, и выглядели они такими одинокими и в то же время такими приветливыми, что показались ей живыми существами, выбежавшими навстречу гостье.

Нерешительным шагом прошла она мимо двух пристроек. Одна

служила когда-то кухней; другую, маленькую, всего на две комнатухи, в семье называли "старый домик". Пологие лучи солнца освещали пустые углы, затянутые трепетными, серебристыми нитями паутины. Она увидела на покрытом пылью полу чей-то старый башмак и в испуге отпрянула.

Муж окликнул ее. Она вздрогнула и обернулась. Он стоял у нижней ступени лестницы. Здесь, в этом дорогом для нее уголке, в родном ее гнезде, он в своей светлой, нарядной одежде показался ей чужим, враждебным.

— Успеешь налюбоваться,—сердито бросил он, когда носильщик ушел.— Мне надо помыться и отдохнуть.

С испуганным и каким-то удивленным лицом она поднялась по деревянной лестнице на второй этаж. Здесь находилась большая комната, некогда служившая гостиной. В этой комнате состоялась их помолвка, здесь провели они первые ночи своей супружеской жизни. Она надеялась, что эти воспоминания растрогают мужа. Но он был все так же безучастен и хмур и не давал себе труда скрывать свое неудовольствие. Пустая комната с некрашеным потолком и длинным рядом окон не пробудила в нем никаких воспоминаний, будто он впервые переступил этот порог. Он даже поморщился при виде двух старых кроватей, прикрытых от пыли куском рядна. Комната в своем сосредоточенном одиночестве, казалась, ревниво оберегала былое, и время в ее стенах как бы остановило свой бег.

Жене почудилось, что низкие окна смотрят на нее с молчаливым укором. Гольй, исцарапанный от долгой службы стол неприятно поразил ее. Желая как-то сгладить досадное впечатление, она принялась приводить в порядок постель, чтобы муж мог хотя бы прилечь. Она старалась быть веселой, довольной, но неудобства, на которые она наталкалась на каждом шагу, приводили ее в отчаяние. Она заглянула в чулан, куда мать убрала белье и одежду, какие были в доме, и все вещи, напоминавшие ей о былом и все-таки чем-то дорогие ее сердцу, теперь казались ей жалкими, провинциальными, осужденными ветшать вдали от нового, современного жилища, с которым она только что рассталась.

"Как бедно мы жили",—подумала она со стесненным сердцем. Разглядывая груды сваленного в чулане платья, она забыла, зачем пришла. Запах нафталина словно пьянил ее, дурманил голову. По телу пробежала сладостная дрожь, к глазам подступили слезы. С тайным трепетом когда-то входила она в этот чулан, где хранилось ее приданое. Ей вспомнились дождливые осенние дни перед помолвкой, лица родителей, ныне уже покойных, веселая суматоха в доме, серое, притихшее небо, морозящий дождик, мечтания и надежды той поры, и от острого чувства вины перед родным домом и тоски по минувшему на глаза навернулись слезы.

Она услышала голос мужа. Он спрашивал:

— Ты что застряла? Помочь тебе?

Она подумала о том, что теперешней своей жизнью она обязана ему одному. Прекрасная квартира в столице, деньги, туалеты—все, что теши-

ло ее тщеславие, все это дал ей он. Она не принесла ему ничего. На минутку показалось даже, что теперь он должен раскаиваться, что она ему неровня, и это чувство рабской приниженности сделало ее покорной и нежной. Вернувшись в комнату с двумя ватными одеялами в руках, она под села к мужу и, поддавшись внезапному порыву нежности и кокетства, поцеловала его.

— Ну и курорт,—проговорил он. Хотел добавить: "Видишь, как я был прав, когда отказывался сюда ехать?"—но, поймав напряженный, печальный взгляд жены, промолчал.

— Я позову тетю прибрать тут, помыть. Сегодня же. Главное, чтобы ты хорошенько отдохнул...

— Отдохнул?! Главное—не умереть со скуки,—перебил он.—Но дело не во мне. Была бы ты довольна. Однако не представляю себе, как тут можно убить время!

— А как же раньше?—Она не решилась добавить: "Когда мы были женихом и невестой?"

Он не ответил, снял пиджак и пошел в чулан за вещами, которые она просила принести. Они вдвоем стали приводить комнату в порядок. Она с беспокойством следила за каждым его движением, дрожа от страха, как бы он не принялся опять выговаривать ей за то, что она так легкомысленно притащила его в этот нежилой захудалый домишко, где нет ни одного удобного стула и все комнаты пропахли пылью и нафталином. Когда он наклонился над чехомоданом, чтобы достать свои туалетные принадлежности, и она увидела его красную, собравшуюся складками шею и широкие плечи, ее вдруг охватило чувство огромной благодарности к этому человеку, который встал между ней и ее былой жизнью.

Оставив его отдыхать, она пошла отыскивать свою единственную тетку, по пути размышляя о том, что так или иначе все должно уладиться, а ее подавленное настроение вызвано просто усталостью.

Через два часа начали подходить родственники и знакомые, главным образом женщины, соседки. Приходили поодиночке и еще издали кричали:

— Ты дома, что ль, Эленка, а?

Она угощала их дорогими конфетами, нарочно привезенными для этой цели, и читала на их лицах восхищение и зависть. Дом ожил. Бедная старуха тетка с дочерью прибрали большую комнату, дворик был подметен, полынь выполота, окна помыты. Муж пошел пройтись по городу с начальником почты, тоже родней, который явился приветствовать их и пригласить на ужин.

Она осталась занимать гостей—нескольких старух, которые болтали не закрывая рта. Хвасталась своим новым домом, своим благополучием и богатством, засыпала их вопросами и расточала улыбки. Ей хотелось показать, что она не забыла их, что они ей по-прежнему дороги и близки. Но в их глазах сквозило недоверие к ее словам. Две ее сверстницы, с которыми она дружила в юности, снова заставили ее ощутить разницу между теперешней госпожой Эленой и прежней учительницей, опасавшей-

ся, что ей никогда не выйти замуж. Обе ее подруги так и остались старыми девами. Одна из них очень располнела, другая постарела и подурнела. Они говорили о своей жизни мрачно и откровенно, с отчаянием, неприятно усмехаясь, так что, когда они ушли, ей стало мучительно больно за них.

Проводив гостей, она вернулась в комнату, потом походила по пустой галерее и долго смотрела, как садится за рекою солнце. Впервые родной город показался ей жалким и обветшалым, словно после ее отъезда он сразу постарел. Деревянные стены домов, спускавшихся к реке, стали еще более серыми, покосившийся мост напоминал скелет какого-то доисторического животного с выломанными ребрами, а берега реки заросли полынью и чертополохом. Но окрестные холмы, выглаженные теперь не такими высокими, как раньше, были все так же прекрасны своей яркой молодой зеленью, и заходящее солнце так же ласково заливало лучами колокольню, тополя, крыши домов...

Легли оба поздно. Почтмейстер угощал их жареными цыплятами и скверным, кислым вином, которое он тем не менее расхваливал. Потолковали о войне, о столице, поиграли в картишки. Потом разговор битый час вертелся вокруг местного доктора, который скопил деньги и купил автомобиль.

Когда они возвращались из гостей, над городом всходила большая круглая луна, а по улице со скрипом ползли груженые сеном подводы.

Лунная ночь, аромат сена и кваканье лягушек в реке напомнили ей о былом романе с учителем местной гимназии Кунтровым. Идя по полутемной улице, пахнувшей навозом и бензином, она увидела себя молодой девушкой, которую все считают самой хорошенькой барышней в городе, а рядом с собой не мужа, а тихого, робкого Кунтрова, чей гнусавый голос иной раз ее раздражал. Ей захотелось повидать его, чтобы он убедился, как она красива и богата и какой у нее муж. Бывшее увлечение казалось ей теперь нелепостью, а сам Кунтров человеком посредственным, недостойным ее, но тем не менее она не сердилась на него за те несколько прибауток, что когда-то ему подарила.

Дом, притаившийся в густой тени, был тих и даже страшен со своей нависшей стрехой и темными стеклами окон, тускло мерцавшими во мраке, как огромные черные зрачки. Чья-то кошка испуганно заметалась по двору, а деревянная лестница застонала у них под ногами, будто жалуясь на непосильную тяжесть.

Лампы в доме не оказалось, и пришлось укладываться спать в темной комнате, где было душно и пахло нафталином.

Оба долго лежали без сна, думая о своей удобной квартире. Муж злобно кусал губы и молчал, притворяясь спящим. В голову лез то начальник почты в форменном кителе, то пыльный автобус, то станция железной дороги.

В комнате было тихо, темно. Оба обливались потом под жарким ватным одеялом, но не решались в этом признаться и делали вид, что спят. За окном сияла луна, неподвижными тенями высились деревья,

белели в лунном свете стены соседнего дома.

На городских часах пробило два. В углу комнаты тихонько затрещал сверчок, на чердаке завозились мыши.

— Неужели нет одеял полегче?—не выдержал наконец муж.—Задохнуться можно...

— Завтра поищу,—вздрыгнув, отозвалась она.

— Курорт!—презрительно обронил он после короткого молчания.— Не могу взять в толк: зачем ты сюда рвалась? Родной очаг? Ради бога, я ничего не имею против, но когда это превращается в пытку...

Она чувствовала, что он кипит от злости, и лежала затаив дыхание, точно провинившийся ребенок.

Он встал, закурил, распахнул окна. Где-то вдали сверкнула молния. Ветер прошумел в ветвях деревьев. Лягушки расквакались еще громче, а свет луны потускнел.

— И чего ради мы приехали?—продолжал муж, снова ложась в постель.— По-моему, только для того, чтобы ты могла покрасоваться перед несколькими старушечками...

Она вся вспыхнула и чуть не расплакалась от обиды.

— Ты никогда не уважал мою прошлую жизнь... Ничего не уважал... ни маму, ни...

— Ба! "Прошлую жизнь"... Перестань, пожалуйста! Что в конце концов происходит, черт побери! Притащила меня сюда после тысячи заверений, что мы тут прелестно проведем время, а на поверку—ночуем в нежилом доме, тычемся в темноте, как слепые котята, и слушаем, как над головой скребутся мыши... Прошлое!.. Сентиментальная чушь!

Ветер за окном крепчал. Снова сверкнула молния, на этот раз озарив своим зеленым светом низкие незанавешенные окна. Комната выступила во всей своей неприглядной наготе. Гром словно обрушился прямо на город.

Открытые створки окон вдруг с треском захлопнулись. Муж кинулся их запирать. Какой-то листок бумаги вихрем взвился и шурша пролетел по комнате.

Жена лежала не шевелясь, испуганно глядя перед собой. В завывании ветра и раскатах грома ей слышались чьи-то сердитые голоса, исполненные негодования против нее и ее мужа. Далекие, грозные, эти голоса винили ее за то, что она недостаточно любит родительский дом, свое прошлое, своих покойных родителей. Она поникла, присмирела, и ей вдруг захотелось снова стать скромной учительницей младших классов, которая крутит роман с Кунтровым, ходит в скверно сшитых платьях и каждый месяц отдает свое жалованье отцу, мелкому чиновнику, любителю приложиться к рюмочке.

Она свернулась в комок и, охваченная жалостью к самой себе, смотрела, как муж закрывает окна. Высокий, плечистый, полуголый, он был похож на варвара-завоевателя, вторгшегося в ее бедный отцовский дом, чтобы его опустошить. Ей хотелось его ненавидеть, но доставало сил.

Гром опять разорвал небо с такой яростью, что зазвенели стекла.

Внезапно хлынул дождь. Она вскрикнула и бросилась к мужу. И, крепко прижимаясь к нему, затряслась в горьких рыданиях.

— В чем дело?—воскликнул он.—Отчего ты плачешь? Что с тобой, Елена? Я тебя обидел? Ну, хорошо, хорошо, останемся тут, раз ты хочешь... Я ведь не о себе забочусь... Я ради тебя...

— Нет!—проговорила она.—Я не хочу здесь оставаться.

— Но отчего ты плачешь?

— Не из-за этого.

— Из-за чего же?

Она не ответила. Прошрое казалось ей теперь давним сном. Былая учительница исчезла, как исчезла жизнь из этого пустующего дома. И как ни хотелось ей любить его—она не могла себя заставить, так же как не могла и презирать себя за это...

Несколько дней спустя начальник почты и тетка с букетами алтея и настурций проводили их до автобусной станции и долго махали рукой вслед большому пыльному автобусу.

В половине первого Ганев возвращался домой из страховой компании, где он работал.

В руках у него было два свертка—килограмм брынзы, аккуратно запакованной в белую бумагу и перевязанной шпагатом, и мясо, завернутое в только что купленную дневную газету.

На лестнице он встретил соседа по площадке и, самодовольно подмигнув, похвастался удачной покупкой. Потом, все еще возмущаясь про себя дороговизной, на которую они с соседом только что друг другу пожаловались, остановился у дверей своей квартиры и позвонил. Ключ у него был, но он любил, когда его встречали.

Где-то в квартире хлопнула дверь. Крышечка глазка приподнялась, и сквозь бронзовую решетку на него глянул знакомый голубой глаз. Дверь открылась, обдав его теплой волной обеденных запахов, на пороге стояла жена.

На ней был передник из плотной кремовой ткани, который очень шел к ее красивому полному и белому лицу. Спокойное его выражение навело скуку и тихую, ровную печаль.

— Смотри-ка, что я принес,—хвастливо сказал Ганев и, улыбаясь, поднес сверток с брынзой к ее лицу.

— Что купил?—равнодушно спросила она.

Он наклонился к ее уху, шутливо дернул его двумя пальцами и таинственно сказал:

— Брынзу.

— Отдал, наверное, бог знает сколько!

— Деньги не имеют значения. Важно, что у вас будет хороший завтрак. Где малышка?

— В комнате, играет. Знаешь,—сказала она, когда он уже снял пальто и вешал его в передней,—я сдала комнату.

Пораженный, он отступил на шаг.

Месяц назад умерла его мать. Ей было семьдесят лет, и необходимость ухаживать за старухой очень тяготила их с женой. После ее смерти комната ее никак не использовалась, и они решили ее сдать. Поставили туда кровать, шкаф, диван. На комнаты был большой спрос, так что была возможность подобрать удобного квартиранта.

Ганев, однако, все еще колебался. Не хотелось постоянно видеть в доме чужого человека. Наконец он склонился к тому, чтобы взять квартирантку—какую-нибудь студентку. Может, это и неплохо, если в нынешние времена у жены появится компаньонка, особенно если иметь в виду, что прислугу найти трудно.

Новость так поразила его, что он, не сумев сдержаться, сердито закричал:

— Кому сдала?

— Одному господину.

Ганев бросил на жену гневный взгляд.

— Кто тебе разрешил сдавать ее мужчине? Если б нам нужен был господин, я пустил бы моего сослуживца, господина Минева.

Их четырехлетняя дочь, услышав голос отца, с веселым визгом прибежала из гостиной и ухватила за его ногу.

Он рассеянно погладил ее по головке и сердито спросил:

— Что это за господин?

— Не знаю... такой представительный... похоже, порядочный. Пришел около десяти, позвонил в дверь. Говорит, прочел объявление. Я не могла ему отказать.

— Ты знаешь, что я не желаю видеть здесь никаких мужчин!— сказал Ганев, направляясь к кухне.

Неприятная новость грозила испортить ему весь обед.

Стол, накрытый белоснежной скатертью, сверкающие чистотой приборы; на стене—ряд банок из дешевого фаянса, развешанных красиво, точно в аптеке; диванчик у стены, на котором он любил отдыхать после обеда, почитывая газету,—весь привычный уют этого уголка, излучавшего специфический запах семьи, заставил его сердце сжаться так, как будто ему предстояло поделиться всем этим с незнакомым мужчиной, который въезжал в его дом.

Огорченный, он сел за стол, забыв даже переодеться, как обычно, в старый костюм.

Девочка забралась к нему на колени, но он отстранил ее:

— Погоди, Мими, я опоздаю на работу.

— Сегодня в бойлере не было воды,—сказала жена, пытаясь его отвлечь. Она поставила на стол кастрюлю с супом из шпината, из которой торчала длинная голубая ручка половника, и продолжала:—И в трубах такой треск стоял, я боялась—лопнут.

— Трак, трак, трак! Вот так трещали, папочка,—встряла Мими, весело размахивая кухонным ножом.

— Когда готовишь, не лей воду зря,—сказал он строго, чтобы покончить с вопросом о бойлере, и добавил:—Этот господин оставил задаток?

— Оставил,—сказала жена.

— Когда придет, вернешь ему!

— Но он заплатил вперед за целый месяц,—смущенно ответила она.

— Пф!—Он сделал негодующий жест.—Я же сказал тебе, что комнатой буду заниматься я... Чтобы в собственном доме не было покоя!..

— Что ж мне теперь делать?—виновато спросила жена.—Вешаться, что ли? Сама не знаю, почему я согласилась, какое-то затмение нашло. Теперь и я жалею. Переоденься, в этом костюме тебе неудобно обедать.

Привычке надевать перед обедом старый, изношенный костюм он не изменял никогда: Ганев берег свою одежду, как женщины берегут любимые платья.

Он пошел переодеваться, кряхтя и что-то бормоча про себя.

Все-таки еще была надежда найти того господина и вернуть ему деньги. Правда, тут же он вспомнил, что в таких случаях деньги полагается

возвращать в двойном размере, и неизвестный господин мог этого потребовать.

Вернувшись на кухню, он спросил, оставил ли будущий квартирант свой адрес.

— Нет,— сказала жена.

— А когда он собирался переезжать?

— На днях. Я дала ему ключ.

Ганев окинул ее изумленным взглядом.

— А если это вор?— закричал он, стукнув по столу.— Выследит, когда нас нет дома, и ограбит.

Жена испугалась. На лице ее отразилось неподдельное страдание. Девочка смотрела на них растерянно.

— Что ж нам теперь делать?— спросила жена сокрушенно, готовая на все, лишь бы искупить свою вину.

— Будешь сидеть дома, и чтоб никуда не выходить.

Семейство уселось за стол—каждый на свое, определенное место: жена спиной к плите, девочка рядом с ней, он—напротив жены.

Обед проходил в угрюмом молчании.

Вдруг Ганев спросил:

— Как этот человек выглядит?

Жена опустила ложку в тарелку, вытерла губы девочке и сказала неуверенно:

— Как-то необычно.

— Он что, чиновник? Что ты в нем увидела необычного? Опиши-ка мне его.

— Не похож на болгарина,— сказала она.—И вроде не чиновник. Скорее, врач... или... кто его знает. Сначала он внушал мне доверие, а сейчас я тоже засомневалась...

— По-болгарски хорошо говорит?— спросил Ганев, испытывая недоверие и ревность.

— Красивый мужчина, солидный такой. Видимо, воспитанный, манеры приятные...

— Значит, понравился тебе?

— Коста,— сказала она, и белое лицо ее залила краска, а глаза заблестели,—ребенок слушает, не говори глупостей.

— Ну а как же? Чем еще это можно объяснить—является незнакомый человек, ты сразу проникаешься к нему доверием, сдаешь комнату, да еще и ключ от двери вручаешь!

— Вот ты увидишь его и поймешь. Я тебе говорю, он какой-то необычный. И потом, он так заморочил мне голову...

— Как бы там ни было, ноги его здесь не будет!—заявил Ганев, несколько успокоенный последними словами жены и уже сердясь на девочку, чуть ли не силой заставившего сдать ему комнату.

Он поел, лег на диванчик и уткнулся в газету, пытаясь забыть о неприятном происшествии. Потом он перешел в холл, включил там радио, послушал сводку военных действий и рассказал жене о забавном случае с каким-то страховым векселем. Обеденный перерыв кончился,

он опять переоделся и пошел на работу. В дверях он сказал жене:

— Ана, если тот человек придет, пошли его ко мне в компанию, я посмотрю, что это за птица.

* * *

Прошло два дня, и они почти забыли о квартиранте. Только деньги, которые лежали нетронутые в ящике буфета, напоминали о неприятной истории.

Жизнь их текла по раз и навсегда заведенному порядку.

Вечерами Ганев из своей страховой компании шел прямо домой, они с женой ужинали, и, пока жена убирала на кухне и гремела посудой, он лежал в холле на кушетке, читал газету, слушал радио или занимался марками. Девочка играла рядом. По субботам они ходили в кино, возвращались оттуда в приподнятом настроении, возбужденные, обсуждали игру артистов и, довольные, ложились спать. Иногда ходили в гости или звали гостей к себе, но это случалось не так часто. Изредка их навещала теща, которую Ганев не любил, — после этого они с женой обычно ссорились.

Несколько раз в году они выбирались в горы — на Витошу или Люлин. Все трое выходили из дому аккуратно одетые, наглаженные; Ганев нес громадный рюкзак с едой и запасной одеждой, жена надевала темные очки и прихватывала палку, у девочки через плечо висела коробка для бабочек. В горах они располагались на какой-нибудь лужайке и проводили день в лени и покое.

Но больше всего они любили просто сидеть дома, в своем холле, в семейном кругу. Он так увлекался марками, что просиживал над ними целые вечера, не говоря ни слова, бережно подхватывая их пинцетом и часами разглядывая яркие прямоугольнички. Жена в это время шила или, устав от дневных хлопот, поджидала его в постели.

Случалось, что девочка заболела. Общая тревога сближала их. Ганев носился по врачам, по аптекам, искал сочувствия у сослуживцев и сам внимательно, сочувственно выслушивал их рассказы о болезнях детей. Его отцовское чувство вспыхивало тогда с особой силой. Он брал на себя все обязанности жены: приносил уголь, топил печку, подметал, даже мыл посуду. За продуктами он и без того ходил сам. Вообще он был примерным супругом, жена ни в чем не могла его упрекнуть.

Супружеская жизнь их продолжалась уже шесть лет, ничем не омрачаемая. Он получал неплохое жалованье, компания выплачивала премиальные, и денег им хватало. Кроме того, жене достался в наследство дом в провинции, который они сдавали. Правда, жили они как-то уединенно, словно бы прячась от других. Когда он позволял себе помечтать, то думал о повышении по службе, о новых марках для коллекции и еще о том, как современнее оборудовать квартиру. Он накопил множество всяких приборов и аппаратов — пылесос, электросковороду, приспособления, с помощью которых можно было делать фарш, вынимать из ягод косточки, сбивать масло, а также всевозможные хозяйственные мелочи,

многие из которых выходили из строя раньше, чем их пускали в ход. Одно время Ганев увлекался фотографией. Летом он снимал на террасе или в горах, зимой специально ходил в Борисов сад, но фотографировал всегда лишь себя, жену и дочь.

Жена его приходила в волнение, только когда шила себе новое платье или покупала шляпку. Обычное выражение умиротворенности на ее лице сменялось тогда нетерпением, тревогой и страхом: вдруг платье будет плохо сидеть, а шляпка окажется не к лицу.

Выпадали, однако же, дни, когда она вдруг начинала жаловаться на скуку и выговаривать Ганеву по пустякам. Тогда он делался еще внимательней, вел ее в театр или ужинать в ресторан. Она успокаивалась, и жизнь их входила в обычную колею.

* * *

Квартирант появился в конце недели.

В тот вечер Ганев возвращался домой, чувствуя, что застанет его в квартире. И действительно, еще в дверях он ощутил какой-то особый запах чемоданов и незнакомого мужского одеколona. На пороге валялся клочок бумаги, оброненный при переезде. Половичок, о который они вытирали ноги, сбился и съехал со своего места, а в холл словно прокрались что-то чужое и враждебное.

Жена гладила на кухне.

— Пришел, — сказала она тихо. — Сейчас у себя в комнате, вещи раскладывает.

— Почему же ты не послала его ко мне?

— Как его пошлешь? Он открыл своим ключом, и носильщики внесли чемоданы. Что я могла сделать?

— Нахал! Пойду хоть посмотрю на него, — сказал Ганев.

Жена схватила его за руку:

— Только не будь слишком груб.

Он откашлялся и двинулся к двери комнаты, за которой были слышны шаги и шорох бумаги.

У двери он остановился, одернул пиджак, поправил галстук и постучался.

— Войдите! — уверенно откликнулся низкий мужской голос.

Ганев нажал на ручку.

Светловолосый загорелый человек стоял у столика и раскладывал на нем бритвенные принадлежности и какие-то флакончики, которые он вынимал из несесера. На полу лежали два огромных раскрытых чемодана с бельем. Рядом валялись коричневые башмаки на толстой каучуковой подошве. Около башмаков лежал портрет женщины и еще кучка фотографий.

Ганев остановил недоверчивый взгляд на чемоданах, густо облепленных разноцветными наклейками гостиниц. Он разобрал часть незнакомого английского слова, поднял голову и посмотрел на квартиранта.

От его облика веяло чем-то неведомым и беспокойным, как и от его

чемоданов, будто он принес с собой тревожное дыхание бесконечного мира. Выражение лица у него было задумчивое и в то же время решительное. Слегка поджатая нижняя губа, образующая в углу рта неглубокую складку, и приподнятая правая бровь придавали его лицу выражение энергии, как будто он только что принял решение совершить что-то неожиданное и смелое.

Посмотрев на это лицо, Ганев почувствовал тревогу. Оно словно напоминало ему о чем-то, чего он не любил и боялся. Уверенность оставила его, и он проникся к незнакомцу почтением.

Поклонившись, он сказал:

— Извините за беспокойство, я ваш хозяин.

— Очень приятно,—просто ответил жилец, протягивая руку.—Панов.

Ганев любезно улыбнулся:

— Как вам понравилась комната?

— Хорошая комната. Просторная, солнечная.

Он оглянулся по сторонам и добавил с улыбкой:

— Я пригласил бы вас присесть, но вы видите, я еще не разобрал вещи. К тому же здесь всего один стул.

Ганев сконфузился:

— Жена не обратила внимания. Сейчас я вам принесу...

Он взял из передней табурет, подумал было перетащить и одно из кресел, но вдруг спохватился. "Что же я делаю?"—подумал он и пошел на кухню спросить у жены, какие стулья дать квартиранту. Он вошел так стремительно, что она испугалась.

— Ты дала ему только один стул. Какие еще ему отнести?

Оба заволновались. Оказалось, что эту проблему решить не так легко.

Кроме гарнитура в холле, у них были стулья в гостиной, но, когда приходили гости, их все равно не хватало. К тому же им было жалко их отдавать. А предлагать стулья из кухни было неудобно.

— Ну, он ведь ждет!—торопил жену Ганев.

— Что хочешь, то и бери!—сердито ответила жена.

— Ты виновата, ты и расхлебывай!—буркнул он.

Так или иначе надо было выходить из положения, и Ганев был вынужден взять два стула из гостиной.

Он поставил их в комнате квартиранта, испытывая коварную надежду, что долго они здесь не простоят.

Это вернуло ему уверенность в себе, словно, пойдя на жертву, он приобрел на квартиранта какие-то права.

— Вы чиновник?—спросил он.

Господин продолжал раскладывать свои вещи. Он усмехнулся и, вынимая из внутреннего кармана пиджака синеватую книжицу, сказал:

— Конечно, вы должны знать, кто я такой. Вот мой паспорт.

Он отвернулся и занялся своим бельем.

Ганев вышел.

Когда он вернулся на кухню, к жене, он уже вполне успокоился, хотя ему и было неприятно, что он отдал стулья.

— Не надо было давать, еще облупятся. Ну как он тебе?— сказала жена.

— Интересный тип,— ответил Ганев с усмешкой.— Не исключено, что авантюрист. Служебного удостоверения нет. Дал мне паспорт. Ну-ка посмотрим, что там.

Он открыл паспорт. Жена тоже склонилась над ним, а Мими залезла на стул. Все трое молча, с жадным любопытством разглядывали фотографию. О стекло балконной двери с жужжанием билась муха, лампа над их головами отбрасывала тени, от которых их лица словно вытягивались.

Выяснилось, что их квартирант приехал из Италии, что он инженер, холост и что ему тридцать семь лет.

Супруги стали высказывать всякие догадки относительно его жизни, потом Ганев положил паспорт в карман, и они сели ужинать.

В этот вечер они долго сидели на кухне и, только когда квартирант ушел, перебрались в холл. Супруги были недовольны и растерянны.

Переругиваясь и обвиняя друг друга в том, что навлекли на себя эту неприятность, нарушившую покой дома, они наконец легли, но, пока квартирант не вернулся, не могли заснуть. Он пришел около полуночи. Они прислушивались к его шагам и окончательно успокоились, только когда услышали, как в его комнате щелкнул выключатель.

* * *

Последующие дни прошли не менее нервно, но постепенно Ганевы свыклись с новым положением. Неизвестность, окружавшая квартиранта, уже не так тревожила их любопытство. Теперь они знали, что он выходит из дому в девять утра, к часу возвращается обедать, а потом работает у себя в комнате, чертит там какие-то схемы и планы.

Ганев попытался разузнать о нем что-нибудь еще, но никто из его сослуживцев этого господина не знал.

По вечерам квартирант возвращался домой так поздно, что они обычно его и не слышали. А по утрам Ана видела, как он выходит из своей комнаты—стройный, свежеевбранный, эlegantный. Сквозь стекло кухонной двери, выходившей в переднюю, она успевала разглядеть его широкие плечи, производившие впечатление мужественности и силы, и еще ей казалось, что, прежде чем он появляется сам, она улавливает в передней его легкую тень. После его ухода ее прорывала беспричинная внутренняя дрожь. Ана накидывалась на свою домашнюю работу— вытирала пыль, выколачивала ковры, а потом вдруг на нее накатывала такая же беспричинная грусть...

Муж в своей страховой компании жаловался сослуживцам:

— Скверно, когда в доме чужой человек.

До этого времени ему никогда не случалось ревновать жену, с тех же пор, как они пустили квартиранта, это чувство начало его мучить. С работы он старался прийти домой как можно раньше.

Ему казалось, что жена стала хмурой нервной, чем-то недовольной. Впрочем, он замечал, что то же происходит и с ним. Конторское помещение, где он работал, стало словно бы каким-то пыльным, мебель—обветшавшей, сослуживцы—надоедливыми. Даже директор, перед которым он испытывал благоговение и страх, вдруг показался ему ничем не замечательным, обыкновенным толстяком. Да и собственная его жизнь виделась ему теперь совсем по-другому: раньше он считал, что все завидуют его большому жалованью, красивой жене, спокойной жизни, теперь же он стал думать, что жил до сих пор уныло и неинтересно.

Чтобы отогнать от себя эти мысли, Ганев пытался доискаться до их источника и поначалу не мог его найти. Виноват же во всем был квартирант. Это с ним в его дом проникло что-то чуждое и враждебное его привычной жизни. Постепенно Ганев осознал это и возненавидел квартиранта, но с женой старался о нем не говорить, чтобы не выдать своей ненависти.

Квартирант же не обращал на них никакого внимания. Ни разу ничего у них не попросил, ни разу ничем не побеспокоил. Можно было подумать, что он живет не под одной с ними крышей, а где-то далеко. Иногда Ганеву чудилось, что он из хозяина квартиры превратился в квартиросъемщика, и это его оскорбляло.

Как-то воскресным вечером, когда они сидели в холле и Ганев по обыкновению возился с марками, квартирант вернулся раньше обычного. Энергичной и уверенной походкой пересек он их маленький холл и скрылся в своей комнате.

Ана вскинула на него глаза, и взгляд ее задержался на двери, за которой он исчез. Она в это время шила, а тут на минуту застыла с иглой в руке.

Ганев заметил все — и как она встрепенулась, и как смущенно посмотрела потом на него. В ее взгляде он прочел отчуждение, мысль ее блуждала сейчас далеко от него и от дочери.

На нем был старый, поношенный костюм, некрасиво обтягивавший располневшее тело. Ему стало не по себе, но он промолчал, будто ничего и не заметил. Снова занялся марками, делая вид, что ушел с головой в свою коллекцию. И нарочно, вместо того чтобы лечь пораньше, как он это делал всегда, просидел в холле до полуночи.

С этого вечера между ним и его женой установились тягостные и напряженные отношения, никак не выражавшиеся в словах. Супруги были любезны и уступчивы друг с другом, разговаривали о разных разностях, поддакивая один другому, но ни один из них не решился заговорить о том, что их мучило и о чем им следовало бы поговорить.

Он повел ее в кино, решив доставить ей удовольствие и надеясь, что старое средство, как всегда, окажется эффективным. Но кино не помогло. Жена была по-прежнему рассеянна, и мысли ее блуждали все так же далеко.

Однажды утром, когда она осталась с девочкой одна, квартирант ушел из дому раньше обычного, и она решила подмести в его комнате. До этого она заходила туда два-три раза и удивлялась тому, как изменился ее облик.

Раньше в комнате стоял тяжелый запах старушечьей одежды, и вся она выглядела серой, темной, запущенной и жалкой. Теперь она была полна жизни.

Старый стол орехового дерева, на котором старуха держала лампадку, свои гребенки, очки или оставляла внучкины чулочки, когда девочка спала у нее, теперь нельзя было узнать. Разбросанные по нему чертежи, пепельница, курительные трубки, книги, карандаши, туалетные принадлежности квартиранта придавали столу совершенно иной вид.

Ана, в голубой косынке, защищавшей волосы от пыли, остановилась со щеткой в руке и оглядела комнату. Ей показалось, что сегодня в ней особенно светло. И вдруг она поняла, что ей приятно сюда приходить. Ее тянуло к портрету этого господина, от которого веяло жизнью и силой, к его фотографиям (он среди голых негров где-то в Африке, в рабочем комбинезоне возле какой-то громадной машины), к его чемоданам, к незнакомой женщине на портрете... Ей было приятно вдыхать аромат его одеколона, такой свежий и чистый. Она чувствовала, что все эти вещи поселились здесь ненадолго, что на них лежит отпечаток многих путешествий и что они пропитаны беспокойным духом своего хозяина, как оружие воина несет на себе следы сражений и пыль далеких земель и опасностей. Чемоданы были исцарапаны, некоторые вещи потрепаны.

Она подошла к столу и взглянула на один из чертежей. Красные и синие линии переплетались, образуя выгнутую часть какой-то машины, а по углам чертежа виднелись столбики знаков и цифр, словно в них воплотились мысли того, кто работал над чертежом.

В чертежах она ничего не поняла и перевела взгляд на рубашку из красивой материи, брошенную на спинку стула. Рукав рубашки распоролся, по шву свисали нитки.

Ей стало жалко рубашку и захотелось ее зашить. Она пошла за иголкой, но, как только очутилась в холле, сама испугалась своего порыва и передумала. Покормила девочку завтраком и снова вернулась в комнату квартиранта, чтобы подмести.

В это апрельское утро воздух был пронизан светом. Даже в холле, где почти всегда бывало полутемно, сейчас было видно каждое пятнышко на стенах и каждую пылинку на буфете. За открытыми окнами зелена молодая листва уличных тополей, и зелень эта струилась в комнаты вместе со светом, отражаясь в стеклах картин. На втором этаже кто-то играл на рояле. Мелодия старой протяжной песни, которую Ана давно уже не слышала, поднималась словно из каких-то глубин и замирала в стенах дома. Скворцы, усевшись на антенны, подрагивали крыльями, их

перья блестяли на утреннем солнце, задорный их свист смешивался с гортанным воркованием горлиц, мелькавших среди тополиных ветвей.

Песня всколыхнула в душе Аны полузабытые сладостные воспоминания. Она вспомнила вот такой же апрельский день, когда она еще училась в гимназии: ее отец выходит из мануфактурного магазина на первом этаже их дома, в петлице—бутон гвоздики, и идет поглядеть, что творится наверху, откуда доносится благоухание куличей. И девичьи грезы, и мечта выйти замуж за какого-то необыкновенного человека, и смутные, неясные порывы к счастью—все всплыло в ее памяти.

Пока она подметала, перед ее мысленным взором прошел и ее короткий роман с Ганевым. Она припомнила, как познакомилась с ним в одной студенческой компании, вспомнила скромную свадьбу в старой церкви, откуда все поехали в ресторан, плоские шутки подвыпивших мужчин за столом, три свадебных автомобиля, потерявшихся в потоке машин на улице, фотоателье, в которое их повезли сниматься,—она была в белом венце, бледная, смущенно-счастливая и усталая, он—в смокинге, который теперь стал ему тесен и без толку висел в гардеробе.

Когда она вернулась на кухню, где еще чувствовалась утренняя свежесть, она подумала, что вся ее жизнь теперь заключена между этими стенами, пропитанными запахами варева, и что каждый ее новый день будет лишь повторять предыдущий.

Она пошла в спальню, отыскала несколько фотографий, оставшихся у нее со времен девичества, несколько семейных портретов, выцветших и пожелтевших, и поплакала над ними, охваченная все той же беспричинной печалью.

Ей неудержимо захотелось выйти из дома, где-нибудь побродить.

Покончив с уборкой, Ана оделась, взяла девочку, и они вышли на улицу.

Было около девяти, небо—в легкой дымке утренних испарений. Пригрело солнце. Город был необыкновенно тих. Безветренный день походил на все апрельские дни перед пасхой, когда все замирает и нежится в сладостной и теплой тишине городских улиц, где на каменные плиты тротуаров безмолвно ложатся прозрачные и редкие тени деревьев.

В памяти ее проносились картины ее прошлой жизни. Она шла по тем же улицам, по которым любила гулять девушкой, хмелея от радости, грусти и надежды, словно слушая звучащую рядом музыку. Она шла так быстро, что девочка с трудом поспевала за ней и постоянно дергала ее за руку:

— Мама, мама, зачем ты бежишь? Я устала.

Она не заметила, как очутилась в парке и пошла по глухой аллее. У нее закружилась голова, как будто жужжание пчел над клумбами с только что распустившимися цветами—нежными, еще не окрепшими—и запах молодой травы опьянили ее. Она забыла о квартире, о муже, о доме, даже о дочери, которая шла рядом, стараясь наступить на ее тень на

песке аллеи. Иногда девочка спрашивала ее о чем-нибудь, и Ана отвечала машинально, не думая.

Она села на скамейку и увидела, как над темным кружевом сосен сверкает своими снежными вершинами, точно цепь громадных острых сугробов, горная гряда. Чистота снега и простор залили ее душу тихим восторгом, словно Ана была влюблена. Это напомнило ей о романе с одним студентом—еще до того, как она встретила Ганева,—и в памяти воскрес образ того юноши. Она думала о тогдашней Ане как о какой-то другой женщине, чья судьба, однако, глубоко трогала ее и она готова была плакать над ней...

Мими, игравшая возле скамейки, незаметно отбежала довольно далеко. Ана о ней забыла. Вдруг она почувствовала, что маленькая рука тербит ее колено.

— Мама, я есть хочу.

Она вздрогнула.

Девочка удивленно смотрела на нее своими голубыми глазами, напоминавшими глаза ее отца. Нежное личико, выражавшее скорбное недоумение, вдруг вывело ее из забытья, словно ее внезапно разбудили. Сердце ее сжалось. За миг до этого она была так далека от своей дочери, от дома и мужа, что ее охватил ужас, словно она потеряла все это навеки и теперь сидит здесь одна, покинутая и одинокая.

Она огляделась. Аллея была пуста. Песок блестел под яркими лучами солнца. На соседней скамейке дремал небритый человек с желтым лицом, тень его лежала у него в ногах. Все замерло, погрузившись в печальную и ленивую отрешенность весеннего полдня. Ее вдруг обуял такой страх, что она вскочила со скамейки и чуть не закричала. И, схватив девочку, в нежном и страстном материнском порыве прижала ее к груди, как будто она не видела ее очень давно и бог весть сколько времени мечтала ее обнять.

Теперь ей хотелось как можно скорее оказаться на городских улицах. Она шла по аллее так быстро, что девочка еле-еле поспевала за ней,— она словно убегала от своих недавних грез, от мечты о другой, более счастливой жизни. Она бежала, чтобы поскорее очутиться дома, в своей квартире, которая еще недавно казалась ей надоевшей, скучной, опостылевшей. Там ее ждал муж, огорченный и удивленный тем, что не застал ее дома. И пока она шла по улицам, проталкиваясь сквозь толпу студентов и чиновников, у нее было такое ощущение, будто она ушла из дома не два часа назад, а когда-то очень давно...

Она нервно повернула ключ в замке и вошла в квартиру. На нее пахнуло прохладой.

Ганев встал на пороге кухни и смерил ее сердитым взглядом. В глазах его, немного навывкате, она прочла гнев и улыбнулась ему.

— Где ты была?—грубо спросил он.

— Гуляла с Мими в парке.—В ответе ее была кротость.

Он хотел сказать что-то еще, но не решился и с досадой захлопнул за собой дверь.

Ана переделалась и пошла к нему.

Стол был накрыт, но кухня встретила ее враждебным молчанием, все словно смотрело на нее с немым укором.

Муж топил плиту, на которую поставил разогревать кастрюлю с супом. Она ничего не сказала и молча принялась за работу.

Сели обедать. Девочка чуть не засыпала от усталости, и мать посадила ее к себе на колени. Поглядывая на Ганева, она думала: "Он ничего не знает. Дурачок, воображает бог вещь что!"

Теперь она чувствовала, что любит его, что ее влечет к нему, как будто он преобразился и уже не был прежним Ганевым — располневшим, с покатыми плечами, добродушным мужем, который топит плиту и стоит в очереди за кислым молоком.

Он морщился, жевал без всякой охоты, лицо у него было хмурое.

Неожиданно он сказал:

— Я предупредил квартиранта, чтоб он съезжал.

Ана, сама удивившись тому, что она успела забыть об этом человеке, весело сказала:

— Прекрасно сделал. Я думала, ты не отважишься.

Ганев взглянул на нее испытующе.

— Когда он уедет? — спросила она.

— Через несколько дней. Он все равно уезжает в Румынию, будет работать там на каком-то военном заводе.

И он снова посмотрел ей прямо в глаза, чтобы увидеть, какое впечатление произвели его слова.

— Верни ему часть денег, — предложила она. — И не будем больше сдавать эту комнату. Я хочу устроить в ней столовую.

Ганев просиял, но она заметила, что он пытается скрыть свою радость. Он кивнул, как будто речь шла о чем-то незначительном.

Потом он спросил совсем другим тоном:

— Где вы ходили все утро? Смотри, как малышка устала.

— Мне захотелось погулять. — И она стала рассказывать ему, как хорошо в парке.

Он согласно кивал головой.

Обед прошел приятнее, чем когда-либо. Супруги чувствовали, как скользящее их души тяжелое, напряженное молчание словно бы лопается и исчезает, как болезнь, от которой они наконец выздоравливают.

В первый раз за последние две недели они спокойно отдохнули в холле, не думая о квартиранте.

Он уехал на следующий день. Ана увидела, как исчезли за дверью его громадные чемоданы, пригибая к земле носильщиков.

Комната еще долго пустовала. Ана не заходила в нее, будто боялась ее голых стен.

Наконец Ганев позвал маляров сделать ремонт. Он решил устроить себе там кабинет. Когда он туда зашел, на полу, среди ненужных бумаг и газет, он нашел маленькую фотографию квартиранта. Поднял ее, разорвал и выбросил в окно.

Они снова зажили по-старому.

Вечером Ганев возвращался с работы прямо домой и принимался за свои марки. Или что-нибудь чинил, или помогал жене, а потом шел в кабинет и любовался своей коллекцией и сделанными в горах снимками. Был период, когда он увлекся идеей разведения грибов и несколько вечеров читал Ане специально купленную книгу по микологии. И по-прежнему он, казалось, был счастлив и доволен жизнью.

Ана жаловалась, что ей трудно без прислуги. Это было самой большой ее заботой. По утрам она рано вставала и принималась за хозяйство — спокойно, неумолимо. На лицо ее снова легло постоянное ровное выражение безразличия и скуки. Воспоминание о том странном дне постепенно выветрилось из ее памяти вместе с образом квартиранта.

Только девочка, подраставшая в их неизменяющемся мире, находила в нем тысячи удивительных и прекрасных вещей, которые волновали ее, принося то радость, то слезы.

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ



ЛЕГЕНДА О СИБИНЕ, КНЯЗЕ ПРЕСЛАВСКОМ

И я по многим землям ходил, но нигде не видел столько чудес, как в земле нашей болгарской, и самовил, и бродниц¹.

Из старинного дамаскина²

Понеже вселукавый враг наш рассеял по всей земле болгарской ересь манихейскую, смешав ее с масилианскою, тем, кои являются начинателями этой ереси, — анафема!

Тем, кои нарекают сатану творцом зримого и распорядителем всего из земли произрастающего, — анафема!

Тем, кои твердят, что сатана создал Адама и Еву, — анафема!..

Тем, кои говорят, что женщина зачинает в утробе своей благодаря сатане и что с того мгновения сатана пребывает в ней неотступно вплоть до рождения младенца, тем, кои говорят сие, — анафема!

...Твердящим же, что бог не примет человека, кающегося в своих грехах, — анафема трижды!

Из синодика царя Борила³

1

Воротившись с охоты, князь совершал омовение.

На дворе отошальные гончие глодали разрубленные хребты серн и кабанов, сокольничие бранились с псарями, потому что соколы, уже в надетых колпачках, кричали, раздраженные этим пиршеством собак, в пристройках, где находились кухни, слуги разделявали свежину, и стук топоров почти заглушал клепала городских церквей, призывавших к вечерне. На дубу возле огромного колодца была подвешена вспоротая оленья туша, сочившая кровью.

Слуга Тихик со свечой в руке ожидал, когда князь выйдет из умывальни. Он держал наготове шерстяной просоп, будничные кафтан и

¹ Самовилы — по болгарским народным поверьям, сказочные существа, девы, живущие в лесах и горах; бродницы — души усопших, которые бродят по ночам.

² Рукописный сборник назидательных рассказов.

³ Борил — болгарский царь, правивший с 1207 по 1218 г. Был возведен на престол боярами-заговорщиками, убившими царя Калояна.

чистое исподнее. Наконец из-за приоткрытой двери показалась смуглая рука, князь взял просоп и исподнее. Тихик подал ему кафтан, и князь вышел — освеженный, бодрый, с лоснящимся лицом, расчесывая свою черную курчавую бородку. Заплетенные слугой четыре косички, тяжелые и мокрые, черными змеями спадали ему на плечи. Почти бегом поднялся он по каменным ступеням наверх, так что Тихик едва поспевал за ним и чуть было не загасил свечу. Эта неутомимость князя, живость и точность его движений, равно как и черный соколиный блеск его пронизательных глаз, смущали Тихика, внушали ему страх. Даже сейчас, после того как князь пять дней кряду скакал верхом по лесам за псовой сворой, он шел по широким сеням прямой, как кизиловая ветвь. Тихик видел, как он мимоходом погладил лежавший в углу обломок каменной бабы. Легкое прикосновение к истертому временем древнему идолу — движение, полное нежности и печали, — и вот уже князь за массивной дубовой дверью, окованной медными гвоздями и покрытой переплетениями орнамента. Тихик едва успел отворить ее и первым войти со свечой.

— Задуй ее! — приказал князь.

В натопленном покое от каменной печи нежащими волнами растекался сладостный запах чистоты, смешивавшийся с благоуханием лежавших на полке плодов айвы. Под мозаичной иконой святой Параскевы горела красная лампада. Ее зыбкие отражения исполинскими ресницами трепетали на стенах и потолочных балках.

Сияние, исходившее от князя, стало еще более зримым в красном полумраке опочивальни. Слуга улыбнулся, но, заметив в глазах князя знакомую неприступность, опустил голову — он понял, что и на этот раз князь не станет задерживать его.

— Монах принес книгу, господарь. Вон она, на столе. Он просит за нее два перпера.

— Я посмотрю. Скажи, чтоб подавали ужин.

Тихик оставил на столе подсвечник с погашенной свечой и вышел.

Князь взглянул на книгу, но не притронулся к ней. Кожа на деревянном переплете была порвана, замаслена, бронзовые застежки сломаны. И эта книга в конце концов отправится на полку вслед за другими. В глазах висевшего на дубе молодого оленя, чья кровь стекала сейчас на грязный снег во дворе, князь прочел больше, чем во всех книгах. Не в этих ли глазах таится загадка мироздания? Обложенный собаками, после того как от зари и до заката бежал от них по насту вдоль Тичи¹, олень попытался найти спасение в одной из прибрежных заводей. Эрмич, самый ловкий из охотников, выгнал его снова на берег, в ивняк, и олень завяз в иле. Пришлось там его и забить, потому что уже смеркалось. Занеся над ним рогатину, Сибин поймал его взгляд. Глаза оленя были красны, полны ужаса, мольбы и злобы — глаза мученика и сатаны. Точно такими глазами смотрит поверженный воин, когда над его головой занесен неприятельский меч. Мольба и злоба, страх и ярость, благость и жесто-

¹ Старинное название реки Камчи.

кость, смешанные воедино, возжигают тот пламень души, что светится в глазах земных существ...

После каждой охоты мысль князя становилась все более ясной. Баня успокоила и расслабила его мускулы, еще влажное тело наслаждалось покоем в натопленной опочивальне. Князь лежал на низком дубовом ложе, застланном толстым шерстяным ковром, и стоило ему закрыть глаза, как он видел черные безлистные леса, слышал лай собак, победные звуки рогов, воинственный клекот соколов. Охота вышла удачной не потому, что Эрмич, перед тем как выехать из Преслава, отнес ворожею Чане кусок кабаньего мяса и свой тяжелый охотничий лук, но потому, что толстый наг, выдерживавший тяжесть собак, проваливался под копытами серн, оленей и вепрей. И молодой олень тоже стал жертвой снежного наста, сотворенного богом и сатаной в первые дни февраля перед сырной неделей на радость охотникам и волкам, ибо несправедливо это — сотворить охотников и волков и лишить их возможности насытиться до отвала несколько раз в году. Вот о чем стоило потолковать с Тихиком. Если бы не вылетело из головы, можно было пошутить с ним. Впрочем, от этого богомила¹ вряд ли услышишь что-нибудь забавное. Снежный наг, мол, сотворен сатаной, поелику весь этот мир — его творение...

Среди этих незначительных мыслей вновь подкрадывалась та, которую князь настойчиво отгонял, но она прочно засела в мозгу подобно тому, как сидит в земле камень, даже если сверху цветут цветы.

Городские клепала смолкли. Холодная тьма опустилась на Преслав; Тича, разливающаяся дчем, когда снег на припеках тает от солнца, теперь рокотала, вернувшись в свое русло. Из труб поднимался дым, разнося запах дубовых поленьев, а городские стены в свежих пятнах известки вонзали зубы в серое зимнее небо.

Услышав за дверью шаги, князь поднялся с ложа. Дверь отворилась, раскачав огонек лампы.

Княгиня сама светила себе, потому что в этой отдаленной части просторного дома, куда уединился Сибин, свечи в проходах и сенях зажигали редко. Серебряный светильник тонкой филигранной работы слыл своей восковой свет с красным светом лампы. Князь ожидал, что мать осенит себя крестом, но княгиня даже не взглянула на икону. Она села к столу, и розовые отблески легли на ее черный плат. Глаза из-за глубоких теней казались больше, чем были.

— Требуют налог на трубы еще за семнадцать домов. Кметы² божатся, что уже уплачено, — проговорила она.

Тонкие ее губы приоткрылись, стали видны белые крепкие зубы.

— Сборщик исполняет веление воеводы. Коли крестьянам не под силу, заплатим мы. Пока еще терпеть можно.

— Доколе?

¹ Богомилство — средневековое религиозное учение, отразившее народный протест против феодального ига и официальной церкви.

² Старейшины.

— Доколе волею божьей вернется брат либо узнаем мы, что он там оставил свои кости.

Княгиня перекрестилась.

Был ли смысл вновь говорить о злосчастьи, что постигло древний их род и всю страну? В княжеском доме многоречь не было в почете, разве только среди слуг, коих старая княгиня подбирала по их проворству и послушанию, всегда отдавая предпочтение исконным болгарам¹.

— Сологун очень плох. Просит, чтоб ты принес ему убитого орла, может, тогда полегчает,— сказала княгиня.

— Пусть пошлет сына.

— Малолеток он, еще не охотник.

Сибин насмешливо улыбнулся:

— Тогда Эрмича пошлю.

Княгиня рассердилась:

— Господи, неужто во зло надумала я это?

Князь теребил пальцами бородку.

— Не говорю, что во зло надумала, но зла в том не видишь. Богомилка она.

— И что же? Разве ты столь ревностен к канону? Терпишь подле себя Тихика, что непрестанно чихает и сморкается, дабы прогнать злых духов, а к красавице девушке так нетерпим!

Князь беззвучно рассмеялся. В глазах его заплясали озорные искорки, заставившие княгиню насторожиться.

— Чудная ты, матушка,— проговорил он. — Не выносишь моего мудреца Тихика, а прочишь мне в жены богомилку. Она ведь тоже будет чихать и сморкаться, еще почаше, быть может, нежели он. Не берешь в дом ни одной светловолосой служанки, а понуждаешь меня славянку взять в жены!

— В нашем роду тоже есть славянская кровь. А дед у нее болгарин.

— Только дед. Отчего забываешь ты проклятие нашего предка в семейной летописи? Похоже, давненько ты не перечитывала ее.

Княгиня вздохнула.

— Не может так продолжаться долее. Подумай о судьбе рода нашего. Коли, не приведи господь, твой брат сложит там голову, останется лишь женская ветвь, которая исчезнет в чужой крови.

— Недальновидна ты, матушка. Коли хочешь поправить наши дела, присватай мне половчанку. Племянницу Борила, например.

Старая княгиня с грустью покачала головой:

— Я к чему речь веду? У Сологуна крепкая опора в Тырнове. Ты забыл об этом?

Борил, полагала она, смягчится, ежели князь послушается матери. Борил поймет, что они не поддерживают связи с беглецом. Протосе-васт² убедит его в том, а Сологун согласен дать за дочью богатое при-

¹ То есть потомкам праболгар — племени тюркского происхождения, которое в VII в. пришло на Балканы и заключило союз со славянами, заложив основы славяно-болгарского государства.

² Болярский титул при болгарском дворе в XIII—XIV вв.

даное. Борил перестанет раздавать их земли монастырям, откажется от намерения вконец разорить их!

Князь терпеливо выслушал мать. После того как ни святые, ни мать божья, ни ктиторство — ничто не помогло ей, княгиня в одинокие свои ночи нашла иной выход, не сознавая, что он подсказан ей скорее воображением, нежели рассудком. Она вообразила, что если Сибин возьмет в жены дочь Сологуна, то прекратятся преследования, которым подвергается княжеский род. Невдомек ей, что Сологун стар и безнадежно болен, а после его кончины брат его, тырновский протосеваст, станет, ввиду малолетства сына Сологуна, опекуном всего его состояния. Бедная, не понимала она, что таким образом предает другого своего сына, вычеркивает его из списка живых, отказывается от надежды увидеть его на родине вместе с сыновьями Асена Первого¹. Гордая, она подавляла в себе гордость, желая, чтобы последние ветви старейшего княжеского рода согнулись, дабы не быть сломленными.

Следовало ли осуждать ее невольную низость? Ведь она ничего не искала для себя, поскольку была уже близка к могиле; она толкала его на этот шаг, чтобы продолжился род их и пришел конец унижениям. Щадя ее, Сибин постарался найти самые мягкие слова, чтобы вразумить и не обидеть.

— Отчего полагаешь ты, что Каломела согласится пойти за меня? Знаешь ведь, что она непокорна родителям. И потом, ты вовсе забываешь о брате. Представь, что тырновчане отступятся от Борила. Тогда и протосеваст уже не будет более протосевастом, а станет думать лишь о том, как спасти свою голову.

— Но Сологун не половец. А коли Борил будет низвергнут и твой брат вернется, так тем лучше... Нет, я не забыла о нем, как мог ты сказать такое! Но слишком мала надежда, Сибин. — Княгиня виновато взглянула на сына и заплакала. — Ах, не знаешь уже, что и делать, — добавила она, поняв, что в своих планах действительно принесла в жертву старшего сына.

Князь знал, что планы матери безнадежны и нет смысла толковать о них. Время должно бы все разрешить. Время?! Уже целых два столетия оно ничего не разрешило в их пользу. Оно подтачивало их и душило — неторопливо, но настойчиво и верно.

Он смотрел, как мечется по стенам тень матери — подобно душе, пытающейся вырваться из темницы. И его тень тоже металась, как метался он сам, ожидая, когда последний удар грома обрушится на их головы, не умея отвести надвигающиеся беды.

Его сестра, Севара, ожидала их в трапезной.

Огромный дубовый стол на львиных лапах со знаками фамильного герба — конь с головой волка и натянутый лук — напоминал о былых

¹ Асен Первый — болгарский царь, правивший с 1187 по 1196 г., основатель независимого болгарского государства, так называемого Второго болгарского царства. Его сыновья были законными наследниками престола, узурпированного Борилом.

временах, когда за ним сживало душ по двадцать хозяев и гостей. Князь знал, что теперешняя трапезная некогда служила залой для приемов и была втрое больше размерами, что здесь хранились боевые трофеи его предков — доспехи, мадьярские бунчуки, синие и красные византийские прапоры с надписью по-гречески "Спаси, господи, люди твоя" императорских гвардейских полков Михаила Первого Рангабе, Никифора, Льва Пятого, Шестого и Седьмого, Александра и Константина Багрянородных, позолоченные мечи и сарацинские копья, дорогие седла красного сафьяна, уздаца, шпоры. Некогда тут стояла и мраморная колонна, на которой были начертаны воинские обеты рода Кубиаров перед царем — письмена, высеченные золотом по узорчатому мрамору. В полуобвалившейся башне, возле ворот, которая служит ныне амбаром, и посейчас валяются обломки той колонны — княжеский дом много раз горел за минувшие два с половиной столетия. Сначала при нашествии Святослава и Цимисхия, потом при набегах печенегов, при узах и половцах, в годы византийского рабства, когда в добавление ко всему прочему эта истерзанная земля содрогалась от страшных землетрясений. Все это было записано в семейной летописи — книге необъятной величины, с пожелтевшими страницами из заячьей кожи, в массивном серебряном переплете и с серебряными застежками. При каждом бедствии, при каждом бегстве из города эту семейную реликвию берегли пуще золота, уборов и драгоценностей, пуще всего княжеского добра. Лишь в 1180 году, всего за пять лет до Тырновского восстания, отец Сибина отстроил деревянный верх на уцелевших каменных стенах, но в гораздо меньших размерах и совсем по-иному.

Князь сел напротив сестры, княгиня расположилась спиной к очагу. Любимый сокол князя, Ок, звякал прикованной к лапке цепочкой, безуспешно пытаясь сесть князю на плечо.

— Ок сердится. Ишь как нахохлился,— сказала княжна.

Сибин улыбнулся сестре. Она и сегодня надела расшитую золотом безрукавку на куньем меху. Гордая шестнадцатилетняя красавица в диадеме, доставшейся еще от прабабки. Князь любовался сестрой. Он любил смотреть на ее руки с длинными изящными пальцами, слегка утолщенными в среднем суставе, на дивную линию овала лица, на ее темные гордые глаза под слегка сдвинутыми бровями. Обычно молчаливая, задумчивая, в этот вечер княжна была весела. Неужто и она была созданием сатаны, подобно всему, что создано из праха земного, неужто и в ее сердце таятся ростки земных грехов?

Ужины еще более, чем обеды, наводили князя на мрачные мысли. В зимние вечера, когда они втроем садились за стол, он не мог отогнать неотвязное предчувствие близящейся гибели отчего дома, и сознание собственного бессилия особенно тяготило его. В пламени очага и восковых свечей все выглядело веселее, но даже этот обильный свет, поддерживавшийся по его приказу, не мог одолеть мрачности закопченных стен и смуглых замкнутых лиц слуг — княгиня как будто нарочно подбирала их под стать сумрачному тону княжеского дома.

И огромный стол, за которым сидели только они трое, и привычный

запах воска, дыма и обветшалости в пропитанной сыростью и безмолвием февральской ночи — все шептало о некогда славной, а ныне догорающей жизни. Князь, однако, не желал поддаваться черным мыслям и, дабы поддержать бодрое настроение, стал рассказывать об охоте и смешить сестру.

— Ну да, во время охоты ты обо всем забываешь. Откладываешь все, ждешь, покуда господь о нас позаботится,— обронила княгиня.

Склонившись над дымящимся супом из сушеных грибов, наполненным трапезную ароматом леса, княжна произнесла молитву, и все опять сели.

Слуги внесли жаркое из серны, посыпанное чебрецом, свежеприготовленные колбасы из дичи, маринованный виноград, вино, мед и орехи.

2

Две огромные рыбыны поддерживали спинами землю, погруженную в воды, под коими разверзлась огненная пучина. Беззвездной небесной твердью, как и землей с семью небесами над нею, где в вечном покое, свете и славе царил бог-отец, управлял старший сын божий — Сатанаил. Сатанаил спускался с божьего престола на седьмом небе в огненную бездну оттого, что был не только правителем предвечного мира, но и создателем его. Он владычествовал над всеми ангелами, коим была дарована власть над огнем, водой, воздухом и семью небесами. Огромный и сверкающий, кометоподобный Сатанаил неустанно летал вниз и вверх в этом бесстрастном царствии божьем, где не сотворялось ничего нового и слышны были лишь клокотание огненного моря, журчание вод и хвала, воздаваемая господу его ангелами. Сколь велика была его скука, пока он нес свою бессмысленную службу в бесконечности времени? И сколь глупыми казались ему нескончаемые славословия господу в предвечном мире, созданном не господом, а самим Сатанаилом? Земные цари тоже царствовали бы в покое и безмятежности, не будь на этом свете творцов и бунтарей. И в конце концов, когда вечная осанна окончательно опостылела ему, Сатанаил взбунтовался. Великий зиждитель возжелал сотворить нечто более осмысленное. Он впустил ангелам воды и воздуха отвернуться от самодовольного отца, погруженного в созерцание собственной славы. Тогда разгневанный властитель неба отнял у него лучезарное архангельское сияние, лик Сатанаила стал багровым, как раскаленное железо, и уподобился человеческому. Несмотря на это, треть служителей божьих последовала за ним. Им тоже смертельно наскучило в предвечном мире...

Сатанаил со своим мятежным воинством сошел на земную твердь. Ангел вод вознес плавающую землю над вечным океаном, часть воды обратилась в облака, другая — в моря и реки... Тогда-то и свершился великий водолей, о коем князь имел смутное и сладостное представление и о коем, как и о потоке, вспоминал при каждом ливне, когда небеса разверзались по велению обманутого бога, дабы возвратить воду к ее первоисточнику. За семь веков Сатанаил создал свой новый мир — он

сотворил солнце, месяц и звезды, повелел земле родить животных и растения и под конец из праха земного изваял Адама и Еву и, вселив в них души двух падших ангелов, оживил их. Однако жизнь Адама и Евы протекала бы в той же бессмыслице, что и в предвечном царстве бога-отца, если б великий зодчий, притаившись однажды в тростниках, не обманул Еву и не совокупился с нею посредством своего хвоста. Таким образом он вдохнул в нее свою неутолимую жажду вечного движения, сотворения все новых и новых человеческих существ. Вслед за тем он искусил Адама, побудил и того совокупиться с Евой. Так был сотворен человек — из смертной плоти и духа падших ангелов. Движение началось, и окончится оно при втором пришествии, когда бог низойдет на землю, дабы судить живых и мертвых и разрушить творение Сатанаилово...

Этот день князь провел у себя в опочивальне над книгами. Принесенная монахом книга оказалась богомилским списком, какие он уже читывал, поскольку Тихик постоянно доставлял ему эти сочинения разных монахов, ныне переписывавшиеся с превеликим рвением почти во всех монастырях. Древние книги Мани и его ученика Сиса, купленные некогда в Царьграде предками князя, приносили ему большее удовлетворение. Первый человек, вступивший на стороне бога в схватку с демоном зла, попал в плен к демону и утратил светлый дух свой. Так произошло в душе человеческой полное смещение света и тьмы, добра и зла, и кто теперь мог их разять? Князь желал жить так, как жил прежде, — не различая их. Тогда чего же искал он в книгах? Объяснения тем злосчастиям, что постигали его страну и его дом? В этой всесветной распре между богом и Сатанаилом все выглядело очень просто, и не было у человека ни силы, ни власти, чтобы изменить ход событий.

Люди были игрушкой в руках обоих, Сатанаила и бога, оружием, переходившим от одного к другому. Между тем все живое хотело жить как можно покойней и дольше: животные и люди, птицы, цветы, травы, леса. Волк раздирал серну, серна обгладывала молодые деревца, стремившиеся перерасти старые, рыбы пожирали одна другую, люди друг друга убивали. А глупый бог взирал на это зрелище со своего престола и жил своим единоборством с Сатанаилом, как смертные живут войной, охотой, междоусобицами, своими пороками и страстями. Если бы его преосвященство митрополит Доростольский проведал о том, как князь смеется над вседержителем, чья власть казалась немощнее власти Борила в Тырнове, он давно бы уже отлучил его от церкви...

День выдался солнечный. Пелена тумана над Тичей разорвалась, сосульки роняли наземь сверкающие ледяные подвески, и вновь заалели кирпичные стены Преслава. Февральское солнце проникало в опочивальню сквозь зарешеченное окно, блестел на кровлях молочно-белый лед. Князь чувствовал, как припекает спину под коричневым кафтаном с разноцветной вышивкой на груди, как пояс с золотыми пряжками, точно женские руки, обхватывает его стан. По телу, как и всегда на другой день после охоты, разлилось сладостное ощущение покоя, ногам после тяжелых сапог было легко в теплых домашних туфлях. Жить хорошо, даже когда тебя донимают тяжкие заботы. Откуда происходит

это чувство соприкосновения с вечностью, это желание слиться со вселенной? А голоса, что он время от времени слышит в себе, — Сатанаилово ли то обольщение или голоса бога и ангелов?

Царство светлого, божественного духа, в которое верует слуга Тихик, жажда справедливости, отвращение к злу и стремление к внутреннему совершенству жили в его сердце. Они ведомы были князю еще с детских лет, когда он начал молиться, и с той поры, когда он полюбил свою ныне покойную жену, скончавшуюся в родах. Во время сражений он всегда ощущал присутствие каких-то незримых заступников, но вопреки всему не желал довериться им, ибо не мог принять бога, насылавшего на его род одни лишь беды. Не меркнул ли в душе его божественный свет, не уподоблялся ли он тихому месяцу, освещающему поле брани, где поверженные стонут от ран, а победители пируют, не заботясь о том, что завтра им, быть может, суждено поменяться участью?

3

Эрмич возвратился к вечеру, усталый и злой: он потерял десять стрел. Проклятые птицы летели высоко и смотрели зорко. В доказательство, что он сделал все что мог, Эрмич показал черное маховое перо, вырванное его стрелой. Князь посмеивался. Может быть, старая княгиня отступится наконец. Сологун все равно отдаст богу душу, возложит он себе на живот мертвечину или нет. Но княгиня стояла на своем. Можно ли отказать тяжелобольному в такой услуге? И какие они охотники после этого?

На другое утро, едва занялась заря, князь и Эрмич поскакали по дороге на Мадару. Снежный наст хрустел под копытами коней. Леса, стряхнувшие с себя снежные шапки, казались жемчужно-серыми, потому что ночь украсила их инеем. За крепостными стенами дымил своими трубами Преслав, и вороньи стаи с оглушительным карканьем устремлялись туда.

Князь был в охотничьем платье. Куртка коричневого меха с красными петлицами, бобровая шапка с зеленым верхом, мягкие сапоги. Эрмич ехал позади него, зябко пряча худое лицо в воротник волчьего тулупа; пар от его дыхания и дыхания каурого жеребца вился за спиной у князя.

По дороге им встречались везшие в город дрова крестьяне с белыми, заиндевевшими бровями; углежог, чьи лохматые лошаденки были навьючены черными мешками из козьей шерсти; потом им попались сани, где визжал поросенок, сутулился хозяин в бараньем тулупе. Все молча склоняли перед князем свои заросшие бородами лица. Из селений, прячущихся в лесных чащобах, доносились звуки свадебных барабанов. Был понедельник — день, когда на дверях вывешивают сорочку новобрачной с пятнами крови, потому что без пролития крови ни пропитание человека, ни зачатие, ни рождение невозможны. Через кровь вселялся Сатанаил в женскую утробу и таким образом властвовал над людьми.

Князь тоже обильно проливал кровь на охоте и на войне, не задумываясь над тем, что есть этот алый горячий сок, коим Сатанаил наполнил всякую живую плоть...

Солнце поднялось выше, и снег стал оседать. Сотворивший солнце оказал благодеяние и людям и зверям, но не из любви к ним, а из боязни, что оскудеют, лишатся блеска его творения. Творение обязывает своего творца, размышлял князь, глядя, как искрится снег под лучами восходящего солнца, как весело блестит уздечка на его жеребце. Точно так же и земные цари пекутся о своих подданных не из любви к ним, а ради собственной славы... Люблю ближнего, ибо люблю самого себя. Вот истоки сатанинской загадки...

Был уже полдень, когда Эрмич вдруг снял шапку и перекрестился: он увидал вдали Мадарские скалы. Таинственные, могучие, они желтели среди снегов и дыблящихся лесных чащ. На фоне светлого февральского неба крепость, высившаяся на их вершине, была похожа на корону.

Лишь к вечеру добрались они до монастыря святого Михаила. Их встретил высоченный игумен, отвел им боярские покои. Забегали, засуетились отроки, растапливая печи, приготовляя ужин. Сибин рассказал игумену о том, что привело его сюда.

Игумен обманулся в своих ожиданиях. Он надеялся, что князь привез монастырю дары. Ее милость, христоролюбивая княгиня, всегда была благосклонна к святой обители, однако давно уже не удостаивала ее своим посещением. Быть может, прослышала, какая погань встречается среди монашеской братии. Ереси разрастаются точно пырей, сетовал игумен, и никому уже не ведомо, что есть откровение божье, а что — дьявольское оболщание и обман. Даже ученейшие монахи заражены богопротивным богомилством, и господь каждодневно умаляет его власть, все труднее становится спасать заблудшие души, и когда он предстанет перед всевышним, то не будет знать, что ответить ему.

Игумен осенял себя крестным знаменем, размахивая широким рукавом засаленной рясы. Прости и помилуй нас, боже, даже самые верные пастыри и чада твои стали ныне несведущими. Царю, полагал он, следует прибегнуть к суровым мерам, и есть слух, что он на пути к подобному просветлению.

Князь рассеянно слушал игумена. Сказал, что хочет убить орла, так не будет ли ему дозволено на заре пройти через скиты, что находятся выше в скалах. Надо полагать, что отшельников сейчас там нет. Кто в такую стужу станет мерзнуть в каменной норе.

— Ошибаешься, твоя милость, — ответил игумен. — Есть святые люди, кои не желают спускаться в монастырские кельи, соседствующие с пещерой, куда бог ниспосылает дивное тепло, — ибо нечестивый так и норовит поселиться среди братии. Святые отшельники отгоняют его своими молитвами и силой духа. Великие откровения являются им, твоя княжеская милость, во время ночных бдений. Каждую ночь лицезрят они сатану и слышат, как он скрежещет зубами.

— Это филины, — обронил Сибин.

— Возможно, княже. Но нечестивый принимает всякие обличья.

После ужина беседа в плохо протопленном покое потекла еще более вяло. Князю не терпелось остаться одному, отдохнуть после долгого пути. Игумен был похож на старую лису, терзаемую тайными пороками,— должно быть, тайком попивает у себя в келье подогретое, подслащенное медом вино и помышляет о женских ласках.

Сибин дал ему выговориться. Его преподобие беспокоился не о чистоте учения божьего, а о собственной власти над иноками. Сатанаил ведь не признавал никаких канонов, любил перемены, непрестанное движение, он ставит палки в колесо мироздания и вертит им по своему произволу, страшивая одних властителей и вознося других.

Наконец игумен распрощался, и Сибин кликнул Эрмича, который стянул с него сапоги и покорно выслушал распоряжения на следующий день. Подняться следовало среди ночи, со вторыми петухами. Пока все.

4

Князь лег в холодную постель и закутался в тяжелое покрывало. Полчок, спавший у него под подушкой, с писком соскочил на пол и юркнул в щель. Грызун кормился остатками от боярских трапез и монастырскими орехами, хранившимися в бесчисленных шкафах и шкафчиках, пропахших мышами, воском и оливковым маслом.

Сибину невольно пришли на память те майские утра, которые он некогда встречал тут со своей женой Котрой, когда расцветшие рожковые деревья, завезенные сюда монахами из афонских и царьградских монастырей, осыпали молодую траву розовым дождем своих лепестков. Каждое утро и вечер медоносная дымка обволакивала этот райский уголок своим таинственным дыханием, а иудино дерево, подле которого иконописцы обычно изображают нечистого с козлиными ногами, источало ядовито-терпкий аромат. Здесь все цело и зрело: плющ и дикий хмель, бузина и лаванда, калина и самшит, каштан и арахис соседствовали в благодатном тепле, укрытые от ветра могучими скалами, перенесенными, казалось, сюда Аспаруховыми¹ богатырями из неведомой азиатской страны. При виде этих скал сердце князя наполнилось горечью и тоской, отвращением и гневом против тех, кто осквернил великую болгарскую твердыню нечистыми скитами отшельников.

”Здесь достойна была жить Котра,— размышлял князь. — Котра была схожа с этими скалами, и они схожи с ней. Они и создали мою величественную Котру. Она родила мне сына и скончалась с ним вместе, ибо таково было веление судьбы. Матушка не любила ее, но восхищалась ею и побаивалась”.

В те далекие майские утра в этой самой опочивальне Котра расчесывала гребнем черный поток своих волос, сидя на низком табурете под серебряной иконой воителя божьего, чей нимб и сейчас поблескивал в киоте. Котра хранила в себе дух прадедов. Смуглая, со стройным станом и царственными бедрами, она излучала огонь, жар июньской ночи, когда

¹ Хан Аспарух — предводитель праболгар, первый правитель Болгарии.

на цветах раскрываются бутоны и змеи спят на голой земле.

Воспоминания о Котре приводили князя в исступление. Кто отнял ее у него, Сатанаил или византийский бог? У него отняли воздух, будущее его крови, его рода, единственную женщину, достойную зачать от его семени, чудо, надежду его и счастье. Отняли в дни великой победы при Одрине¹, когда ожила вера в то, что вновь возродится былая слава Болгарии... Те дни оставили в его мозгу неизгладимый след. А неотделимо от них и от Котры вставало в памяти и другое. Французские рыцари...

Впервые князь увидел их под Одрином. Вечером, накануне великой битвы, четырнадцать тысяч половцев выли у костров свои волчьи песни, носились в дробных языческих плясках, а болгары пели песни о смерти Асенова брата, царя Петра. "Орел наш Петр почивает, душа его в небеса воспаряет". Князь и теперь мог воссоздать в памяти тот теплый апрельский день, наполненный всеми звуками земли, на которой бурлила жизнь; зеленую равнину в ста саженьях от лагеря крестоносцев, по которой скакали до смешного крохотные фигурки легкой половецкой конницы, похожей на рой мошкары, преследуемой железным драконом; невысокие холмы, за которыми притаились главные силы грозного Калояна, выстроенные в форме большой скобы — в центре тяжелая болгарская пехота и конница в кольчугах, по бокам половецкие полчища с арканами наготове. Они ждали, чтобы железный дракон вполз в эту западню. Пять его батальонов были как бы позвонками спинного хребта. Синие, красные и черные плащи полыхали на ветру, дувшем с Мраморного моря, штандарты развевались точно хоругви, земля стелала под копытами огромных, закованных в панцири коней, и далеко вокруг разносился звон доспехов. Позже, когда князь со своей дружиной вступил в бой, он поразился тому, что каждый рыцарь, перед тем как сразиться со своим противником, громко выкрикивал свое имя: "Анри, Анри де Мондвиль!.. Матье де Виланкур!.. Ронсуа!.." Кто научил их этому? Они называли свои имена, чтобы показать, что ставят на карту свою честь. Один за другим падали они, но не отступали. Падали их оруженосцы, обращались в бегство наемники-туркопулы², греки, армяне, но сами рыцари, похожие на железные статуи, продолжали биться до тех пор, куда держалась в седле... И под конец Сибин увидел в великолепии солнечного заката, как синий плащ императора Балдуина и его сверкающие позолотой доспехи исчезли среди леса копий, мечей, секир и щитов, в затихающем грохоте боя, среди отсеченных рук и голов, валявшихся на земле вперемешку с телами убитых... Если тридцать тысяч этих людей взяли Царьград, каковы же были они у себя на родине?

Стоило притронуться к тоненькой корочке, затянувшей рану, как вновь хлынула кровь, заколотилось сердце, сон отлетел, грудь сдавило бессильным гневом и перехватило дыхание. Князь ворочался в постели,

¹ 14 апреля 1205 г. под Одрином (Адрианоподем) болгары под водительством царя Калояна нанесли жестокое поражение крестоносцам и взяли в плен римского императора Балдуина Фландрского.

² Туркопул — рожденный от смешанного брака гречанки и турка.

усилием воли отгоняя прочь черную стаю забот. Сатанаил проник в божью обитель, несмотря на бдения отшельников в верхних скитах, решив этой ночью истерзать его. "Коли так, отмахнусь от всех своих тревог, докажу, что не боюсь тебя,— решил князь. — Котра, царство ей небесное, давно мертва. Коль скоро она не воскреснет, к чему горевать? Клонится к гибели род мой? Пусть! Все, что есть плоть, преходяще. Но дух мой жив и не поддастся козням твоим. Что до французских рыцарей — они тоже плоть, облаченная в железо. Плоть их умрет, железо съест ржавчина..."

Князю казалось, что он говорит с самим Сатанаилом. Если хочешь сохранить спокойствие, не противоречь ему, и он оставит тебя, сраженный твоим безразличием. Всегда, когда он бывал вынужден прибегнуть к этому средству, князь горько усмеялся, ибо выходило, что безразличие — лучшее средство защитить свою шкуру и свой покой. Пружины воли расслабляются, умиротворяющая душа плывет, как ладья без весел и ветрил. Пусть господь позаботится о своем рабе, пусть смилуеться над ним или покарает, но оставит его в покое, ибо живет раб в вечном неведении, да и в конце концов... пора спать.

5

Эрмич пробудился в одно время с князем. Оба обладали даром и во сне отмерять часы, необъяснимым чувством времени, этим таинственным механизмом, продолжавшим безошибочно и бесперебойно работать и в спящем мозгу. Он покашлял за дверью, и Сибин позвал его, чтобы тот помог ему одеться и прикрепил к сапогам железные крючья.

— Дикие коты мяучат вовсю,— сказал Эрмич.

— Февраль — месяц свадеб,— отозвался князь и подумал: "Сатанаил сейчас играет своим хвостом, понуждая совокупляться людей и животных".

Он взял свой лук, колчан со стрелами.

В тусклом свежем месяце поблескивали серебром заиндевевшие перила деревянной лестницы. Покатые кровли монастыря и скитов уходили все ниже, белея коркой затвердевшего снега. Из черных труб валил дым — монахи уже вылезали из-под грязных козых шкур и дерюг, разжигали огонь в очагах. Тропинка шла прямо вверх, потом разделилась надвое. Князь двинулся по той, что вела вправо, к кельям отшельников, и обрывалась у скалистого утеса. Он прошел мимо прикрытой рогожей ниши в скале. Отшельник еще спал. В нос ударила вонь, перемешанная с дегтярным запахом дыма. Божьих угодников было тут немного — три темные ниши подряд были пусты. Перед четвертой лежали дрова, рогожа там сдвинулась, и показалась чья-то всклокоченная голова.

— Во имя отца и сына!

— Я человек,— сказал Сибин.

— Прочь, сатана! — взревел пустынный.

Князь прошел дальше, обитель кельи испуганно завыл.

На скалах синевато поблескивал лед; наверху, где вспыхивали, гото-

вьясь погаснуть, звезды, темной тенью нависали громады гор. У последней, необитаемой кельи тропинка кончалась. Князь укрылся в нише. Следовало дожидаться рассвета.

Скоро забьют к заутрене клепала. Смолкнет воркованье влюбленных филинов и мяуканье диких кошек. Филины и огромные совы, отгревавшиеся на монастырских трубах, попрячутся в гнезда, а стаи ворон взлетят над скалами, облегченно крича после беспокойной ночи, сделавшей многих из их сестер добычей филинов. Куницы и дикие кошки будут дожидаться в норах, пока теплые лучи солнца обогреют их, голодные орлы начнут отряхиваться перед тем, как вылететь на охоту. Движение, вызванное Сатанайлом, не приостанавливалось ни днем, ни ночью. Оно лишь видоизменялось на свету и во тьме: те, кто спал ночью, становились добычей тех, кто бодрствовал, и наоборот. А бог оставался лишь как утешение, уверовать в которое можно, только если счесть его великим шутником.

Перепуганный отшельник хриплым, простуженным голосом иступленно голосил тропарь. Князь терпеливо ждал рассвета, время от времени поглядывая на утес. "Пока я подстрелю орла, Сологун может уже испустить дух,— думал он. — Впрочем, я здесь не столько ради него, сколько для того, чтобы отогнать мысли о Бориле, развлечься... В самом деле, чем буду я жить, когда у меня ничего не останется? Охотой? Надеждой на брата? Ежели к его возвращению уцелеет моя голова... Да и какая это надежда? Сыновья Асена начнут резать Борилых половцев, а половцы — нас... Проклятье висит над нашей страной. Она проклята нашими прадедами — теми, коих перебил Борис, приведя из Брегалницы свои славянские полчища".

Каждый раз, когда мысль обращалась к прошлому, князь приходил в ярость, и это мешало ему воспринять бога. Тихонько потопывая в холодной нише, чтобы согреть ноги, он искал, чем бы отвлечься. Стал пристально вглядываться в скалу, уступом нависшую над кельями. Ему казалось, что он уже различает спящего орла. Глаза постепенно отделили силуэт птицы от камня, потом наконец явственно блеснула спина орла. Следовало выждать еще несколько минут и стрелять, пока еще не совсем рассвело, а то орел заметит охотника. Князь вынул из колчана длинную охотничью стрелу, натянул тетиву. Клепала в монастыре благоговестили. Залаяли внизу собаки, закукарекали петухи, заскрипел колодезный ворот. В ущелье, среди заиндевевшего леса, молчали под снегом монастырские водяные мельнички.

Перед тем как спустить стрелу, Эрмич всегда произносил шепотом: "Во имя отца и сына..." Князь же никого не призывал на помощь. Он доверял лишь собственной руке и глазу.

Первая стрела пролетела выше птицы. Звон тетивы заставил ее поднять голову, и князь уже ясно различал изогнутый клюв, вытянутую в гордом возмущении шею, твердую линию крыла. Он прицелился чуть вбок от орла. Натянул тетиву, украшенные перламутром концы лука сблизились, и стрела с глухим звуком вонзилась в птицу. Орел подпрыгнул, забил крыльями и с пронзительным криком исчез в ущелье...

Эрмич, который должен был стоять внизу, подберет его.

Князь повернул назад прежней дорогой. Когда он вступил на монастырский двор, солнце уже совсем взошло. Перед дверью, зажав коленями еще живого орла, Эрмич безжалостно выщипывал и раздавал монахам маховые перья, которыми они станут переписывать богомилские книги и жития...

6

Падал мягкий теплый снежок, небо стало выше и прозрачнее. Мутный солнечный диск то выглядывал из-за дымки облаков, то прятался вновь. Февральское утро, столь хмурое поначалу, когда сани, всадники и пешие слуги покидали Преслав и сердце князя сжималось от мрачных предчувствий, теперь было залито светом. Все незаметно переменялось уже к полудню, белые от снега кони и люди вдруг приободрились, словно лишь сейчас заметили и ощутили приветливость февральского дня. Даже колокольчики на упряжи болярских коней звенели радостью, весело скользили украшенные ликом богородицы сани, в которых ехала, тихонько покачиваясь на толстых коврах, болярщина в медвежьем тулупе. Слуги стояли на полозьях болярских саней либо бежали рядом, перебрасываясь шутками, смеялись. Похрустывал снег, в высоком небе разносились весенние призывные клики диких гусей. И когда Эрмич, скакавший впереди вместе с несколькими вооруженными слугами, истошно закричал, указывая копьем на протянувшуюся по опушке серую пасму волчьей стаи, никто не испугался. Напротив, все развеселилось еще пуще, а в душе князя и волчья стая, и звучавшее музыкой небо вызвали ту же радость, что вспыхнула в нем давеча при виде алого елека болярщины, краешек которого выглядывал из отворота тулупа. Уж таким был князь Сибин, что все могло заставить его поверить в добро, хотя он и знал, что и красота и само добро – мимолетны. Он ехал теперь верхом впереди болярских саней, весь в снегу, и не оборачивался, не глядел, как смеется со слугами болярщина, как разумянились ее щеки, как глаза льют голубой елей, а губы приоткрывают жемчужную нанизь зубов. Потому что еще в утренних сумерках необыкновенная красота ее вызвала в нем не только соблазн, но и какую-то неприязнь. Невероятно, что у Сологуна с его пеликаньей головой такая дочь. Прежде князю доводилось видеть ее лишь издали. Каломела по большей части жила в Тырнове, у дяди. Третьего дня, когда он вернулся с Эрмичем из Мадары, дома ожидал его скороход-половец. Борил приказывал явиться с малым числом людей в Тырново, и Сибин решил, что последний удар грома уже готов поразить его. Однако на следующий день дело объяснилось: царь созвал собор против богомилов. В Тырново призывали всех боляр и епископов. Епископ Преславский уже отбыл со своей свитой тому несколько дней, а накануне вечером старая княгиня сообщила весть, что вместо недужного Сологуна в Тырново отправится его дочь. Сибин должен взять ее под свое покровительство и ехать с нею, пусть поедут вместе. Видно, Сата-

наилу время от времени наскучивала спокойная гладь житейского моря и он вдруг спускал на нее вихрь. И тогда мелкие, терпимые, будничные заботы внезапно сменялись шумом, схватками, кровопролитиями, гибелью одних, счастьем и благополучием других. Веселый свет, который струился, казалось, из ангельской обители, начал пугать князя. Что предвещал он — благо или беду?

Его искушало желание рассмотреть дочь Сологуна (матушка давно уговаривала взять ее в жены!). Он привык посмеиваться над этой еретичкой и теперь, пораженный ее красотой, стремился, ради собственного спокойствия, охаять эту красу. Всего лучше, пожалуй, не смотреть на нее. Однако, когда они въехали в узкое ущелье и санные полозья заскрежатали по каменистой дороге, Каломела вздумала пересесть на своего белого коня, до тех пор трусившего на привязи позади саней. Сибин продолжал скакать на своем вороном жеребце, не сбавляя хода. Снежинки поредели, потеплело, князь распахнул тулуп, стряхнул с рукавов снег. Болярщина у него за спиной пустила коня вскачь, жеребец забеспокоился, князь помрачнел. Она нагнала его быстрее, чем он ожидал. Белый конь поравнялся с жеребцом, лицо болярщины оказалось вровень с плечом князя, голос ее слился с перезвonom колокольчиков и стуком копыт, и Сибин сперва не разобрал ее слов. Но он совладал с собой и спокойно выслушал ее.

Разве старая княгиня не рассказывала ему о том, сколь тяжко болен ее отец? Бог едва ли смилуется над ним, и — кто знает? — воротившись из Тырнова, она, возможно, уже не застанет его в живых. Не подумал ли князь худо о ней, услышав ее смех? Столь велики невольные грехи наши, что впору отчаяться, кабы не вера в силу молитвы, коя очистит нас, если исходит от сердца.

В шутку ли говорила она или искренне верила, что бог простит ей смех, столь же неуместный пред близкой кончиной отца, сколь и перед Бориловым судом над ее духовными братьями? Князь украдкой разглядывал ее. Она была невелика ростом, но хорошо сложена и казалась сотворенной из прозрачно-белой плоти и холодного серебра. Ее кожа излучала свет, одновременно отражая свет дня. Из-под выдровой шапки выбивались русые завитки, а на затылке вместе со свисающими, красиво шитыми звериными хвостами убежали за воротник тяжелого медвежьего тулупа две толстые косы. Ее голубые глаза пристально смотрели на князя, настойчивые и жесткие, убежденные в своей необоримой чистоте, и он дрогнул под их взглядом.

Слышала она, что он много читает греческих и латинских книг. В таком случае ему ведомы внушения духа святого, ибо это он дает слову силу и откровения, дабы мы могли постичь престолы и славу небесные. Но ежели князь хочет спасти душу свою, ему следует побороть в себе охотничью страсть.

— Для чего едешь ты в Тырново смотреть на муки духовных братьев своих? — спросил он.

Она сняла рукавицу, и белая ее рука порывисто натянула удила.

— Дух нуждается в помощи, покуда не покинет свою телесную обо-

лочку и не воспарит к богу,— ответила она. — Отец не мог сам исполнить царское повеление, и, помимо того, он дал мне некоторые поручения к дяде. В Тырнове произойдет чудо. Подвергнутся ли гонениям и мукам истинные христиане или же царь будет осенен духом святым — все едино: рано или поздно сатана будет повержен и мир его рухнет. Одни спасутся и как ангелы воссядут с сыном человеческим одесную отца небесного, другие же вместе с сатаною будут низвергнуты в геенну огненную.

Князь молчал. Каждое ее слово смущало и гневало его. Кому проповедовала она? Ему, чьи сердце и разум истерзаны скитаниями по горным селениям и загадками нашей многогрешной земли? И отчего не таит, что она богомилка? Не оттого ли, что Тихик уведомил ее о беседах, что вели они с князем? Вот так ересь равняет господ со слугами и расшатывает установившийся порядок. Сознает ли эта красавица, что именно устремления к господу и порождает бунт? Сатанаил всегда использует божеские посулы и божьи цели. Как сочетает она свое высокое положение племянницы севаста с богомилским смирением? Сибин негодовал, продолжая хранить молчание. Но отчего ее слова находили отзвук в его душе? Голос ее омывал его сердце, как горный ручей оmyвает холодную скалу, облачивая ее и облагораживая. Присутствие боярьшии тяготило князя и вместе с тем было желанным. "Похоже, что я жил на острие ножа,— думал князь,— если она может поколебать мое равновесие".

Он перебирал в памяти самые свои сокровенные думы, искал ответы, которые бы опровергли, отбросили ее слова. Тихик противопоставлял ему такие же доводы для спасения человека от власти Сатанаиловой — правда, менее красноречивые, но все же... Не оттого ли он выслушивал их, что хотел в них поверить?

Она сказала:

— Господь предназначил тебя для великих дел. Ты похож на архангела Михаила.

Он улыбнулся и взглянул на нее. Пушистая снежинка таяла у нее на носу. Лицо ее зарделось, и она потупила взор под черным пламенем его глаз. "Я должен выбить из ее головы эту апостольскую страсть", — мелькнуло у него в мозгу, но другая, языческая и трезвая половина его существа тут же завладела его сознанием. Он почувствовал в себе это раздвоение и помрачнел. Она тоже примолкла. Опустила голову, с виду равнодушная, но в мило приподнятых уголках рта пряталась невольная улыбка.

7

Тем, кои твердят, что дьявол
есть миродержавный владыка, — анафема
трижды!

Не были свойственны Сибину ни душевная смута, ни расстройство разума, ибо сколь ни терзала его тайна мироздания, она все же тешила

его мозг, питала азиатскую насмешливость его духа. Тем не менее после двухдневного совместного пути с молодой боярышней князь пробудился на одном из тырновских стоялых дворов с тягостным сознанием, что в душе его поселилось еще одно существо. Это существо завело с ним спор, стало направлять его мысли к тому миру, которым он прежде лишь забавлялся, не подозревая, что жаждет поверить в него.

Он понуждал себя забыть о боярышне, избегал встреч с нею и весь отдавался своим впечатлениям от Тырнова.

Город напоминал гигантский монастырь, переполненный священнослужителями и мирянами. Во всех стоялых дворах шумели бояре, после утренних служб в корчмы набивались пьяные монахи, слуги, бродяги, сбежавшиеся из ближних крепостей и монастырей поглазеть на судбище, устраиваемое Борилом в назидание всем, кто затаил в сердце ненависть к нему и святой церкви. На трех торжищах за городской стеной множество купцов предлагали свои товары. Генуэзцы, прибывшие из земель императора Генриха, привезли дорогие ткани, украшения, рис. Отроки¹ из ближних боярских сел развозили бочки с вином, зерно, фасоль. С понедельника сырной недели и до пятницы, когда был оглашен приговор над сеятелями богомильской ереси — Добри, Стефаном и Тодором — и патриарх заупокойным голосом провозгласил анафему под бешеный трезвон клепал, князь вынужден был неотлучно присутствовать на судилище.

Ослепленный светом восковых свечей, сверканием мозаики и драгоценных камней на иконных окладах, задыхаясь от запаха ладана, он терпеливо сидел в своем кресле позади духовных и светских судей, чьи шубы, мантии, рясы, камилавки и митры возвышались над креслами перед алтарем. Разноцветные стекла высокого купола расцветили свет в храме, под сводами которого гулко раздавались покаянные вопли судимых женщин, отрекавшихся от ереси. Поцеловав иконы, они падали ниц на холодные плиты пола. До пятницы перед судом прошли все прельщенные простолюдины и простолюдинки, несчастные попики, твердолобые ремесленники и горожане из Тырнова. Их вводили группами либо со двора, либо из притвора, где они ожидали своего череда — босые, в рубищах, с главой, осыпанной пеплом; иные — бледные, дрожащие, другие — примиренные, покорные. Один из дьяконов называл судимым еретиков, и на тех, кто признавал свои заблуждения, налагали епитимью, пост, взыск в пользу церкви либо присуждали к заточению. "Раба Мария, прельщенная общим супостатом нашим сатаню, да уплатит...", "Раб Кынчо... да постится и уплатит...", "Никола..." Раскаявшиеся преклоняли колена, целовали икону Спасителя и тяжелый серебряный крест. Тех, кои упорствовали, расставаясь с еретическим духом, карали легче, чем тех, чье раскаение было быстрым и, значит, притворным. Многие были приговорены к заточению и подневольной работе в монастырях. Их под стражей отводили вниз, на монастырское подворье, где им предстояло распротиститься с близкими и собраться в дорогу. Толпа мирян, священ-

¹ Крепостные крестьяне в феодальной Болгарии.

ников, иноков, среди которых были и какие-то подозрительного вида монахи в ветхих рясах, прятавшие свои мрачные отшельнические лица под черными капюшонами, осаждала северные ворота Царевца. Перед воротами, охраняемыми стражей, верные чада церкви поджидали освобожденных еретиков, чтобы заново окрестить их в водах Янтры...

Каждое утро перед началом судбища совершалась литургия во просвещение судителей и быстрее покаяние заблудших. Серебряные кадила окутывали клубами ладана пустующий царский трон, ибо Борил не всякий раз удостаивал собор своим присутствием. Сверкающий клир из епископов, протодьяконов и дьяконов наполнял храм хором голосов, блики света плясали на епископских венцах и облачениях. В притворе толпились боярские жены, монахини, знатные горожанки, и глаза князя искали среди них Каломелу.

В пятницу утром Борил пожаловал. Его прибытие было возведено фанфарами. Северные ворота дворца раскрылись, часовые на сторожевых башнях замахали царскими прапорами с изображением креста и ключей святого Петра — один ключ для отличия Добра от Зла, другой — символ власти. Разом забили клепала во всех церквях, и стаи ворон взмыли над Царевцем.

Весь клир во главе с патриархом и боярством вышел из храма навстречу государю. Царевы телохранители — половцы в полушубках, поверх которых сверкали кованые доспехи, отбитые у французских рыцарей еще в царствование Калояна, — встали с внутренней стороны ограды. Внизу, на площади, шум торжачих стих. Ратники у крепостных ворот сдерживали напор челобитчиков, пришедших из посада просить царской милости для своих близких.

Царь появился в длинном скарамангионе из дорогих мехов, из-под которого были видны края белой хламиды и пурпурные сапоги. Двое малолетних боярских сыновей придерживали полы скарамангиона, давая возможность лицезреть поддетую под него затканную золотом и осыпанную драгоценными камнями одежду, топорщающуюся, как фелонь, а также позолоченные нашивки крест-накрест, символизирующие пелены Христа во гробе. Из-под увенчанной крестом царской короны сверкающими ледяными сосульками свисали цаты, которые скреплялись под его короткой рыжеватой бородкой. Сибин был поражен поблекшим видом Борила, напряженным и мрачным выражением его лица. Былой красавец ссутулился и постарел. Глаза его беспокойно бегали по лицам бояр и епископов. Встреченный патриархом, который ввел его в храм, Борил воссел на трон, держа в руках скипетр и державу. В знак незримого присутствия Христа рядом на пустой трон положили Евангелие, оправленное в золото и усыпанное жемчугами.

Заутреня началась с псалмов Давидовых, и царь пожелал принять участие в отправлении службы. Борил имел духовный сан дьякона, и это давало ему право на священнодействие.

Тощий и длинный, похожий на борзую, протокелиот принял от Борила скипетр и державу, царь опустился перед алтарем на колени и глухо, взволнованно запел псалом "Не входи, господи, в судбище с ра-

бом твоим, ибо никому из живущих не очиститься пред тобою...". Свеча, которую один из дьяконов держал перед раскрытой Псалтырью, дрожала, как дрожал и голос Борила.

Допев псалом, царь вошел в алтарь.

Со двора донесся шум. Болярыни и богатые горожанки стали поглядывать на притвор, где бренчали цепи главных сеятелей ереси. Стража вводила их в храм. Преддверие наполнилось негромким гулом, перешедшим в шепот и вовсе затихшим, едва лишь Борил вновь опустился на свой трон.

Опершись о подлокотники узкого кресла, князь глядел на закапанный воском мозаичный подиум перед алтарем — зеленватые и синие стекла со сказочным великолепием отражали огни и золотые нимбы святых на иконах. Заутреня окончилась, завершающий возглас "аминь" заставил его очнуться. Он забыл сотворить крестное знамение.

Алая дорожка, ведшая от преддверия к алтарю, вдруг выступила из-под ног высокогородных горожанок, прибывших сюда с дочерьми и сыновьями. Двое стражей с непокрытыми головами вводили из притвора старейшего из богомильских апостолов Стефана. Босой, в черной рясе, без пепла в волосах — знак нераскаянности, — Совершенный медленно ступал, звеня своими цепями. Высокий, с маленькой головкой, поросшей редкими волосами, он был, должно быть, скопец. Ни единый палец на тощих его ногах не дрогнул, когда сам патриарх обратился к нему с положенными вопросами. Он отрицал церковные таинства и обряды, распятия и чудеса, явленные Христом, коего, по его убеждению, никогда не существовало, поелику был он лишь чистым словом, ниспосланным господом на землю во спасение человеков. Второй богомил, по имени Тодор, черный, косматый, представ перед судьями, тотчас же, нимало не смутясь, приступил к проповеди. Ни посты, ни истязания не согнули могучего его стана.

Допрос обоих был краток и сух. Патриарх и епископы избегали вступать с ними в спор, страшась ясности их мысли и остроты языка.

Лицо царя выражало радость и облегчение. Клир торжествовал — столь явной была вина этих учеников дьявола, что более и не требовалось прилагать никаких стараний.

Погруженный в раздумье, князь вздрогнул от громких криков женщин в притворе. Стража вводила последнего из апостолов. Одна из женщин воскликнула: "Пресвятая мать божья, спаси его!" Шепот и восклицания волной прокатились под куполом храма.

Среди плотной толпы женщин показался ведомый стражей высокий человек в длинной рясе. Русые кудри, ниспадая на плечи, обрамляли его бледный лик. Голубовато-серые глаза с темными точками зрачков казались страшными в своей тихой задумчивости и бездонной чистоте. Он двигался легко и плавно, будто босые ноги его ступали не по алой дорожке, а по воздуху. Воцарившаяся тишина нарушалась лишь потрескиванием свечек и глухим звоном цепей.

Сибину почудилось, что свет храма померк перед лучезарным ликом богомила. "Где я видел его — во сне, наяву ли? И кто он?" — вопрошал

себя князь. Властная голова проплыла мимо — она была подобна ангельской: высокий чистый лоб, красивые губы, прямой греческий нос. Богомил предстал перед судьями. Свет горящих свечей падал на его русые волосы, отражаясь сияющим нимбом вокруг чела. Женщины пододвинулись к середине храма.

Мягко прозвучал голос патриарха:

— Весь город знает тебя, Добри, и скорбит о твоём заблуждении. Отрекись от поганой ереси, воротись в лоно пресвятой церкви православной. Господь услышит твои и наши молитвы, простит твои заблуждения и дарует тебе сан еще более высокий, чем прежний, ибо обретенная овца господу дороже других. Государь желает приблизить тебя к себе, высоко вознести тебя.

— Для чего, твое святейшество, хочешь ты, чтобы я погасил светильник в душе своей и ясность разума? Не долженствует ли тебе печься о том, чтобы не угасло пламя его? Не обрядами и не милостью государевой обретается сан духовный, а чистотою сердца и помыслов.

Гулким эхом отдались слова богомила, продолжавшие звучать — почудилось князю — даже в наступившей вслед за тем настороженной тишине.

Белая митра патриарха осуждающе закачалась из стороны в сторону, посеребрянная борода метлой прошлошло по мантии.

— Светильник тот хранит православная наша церковь, ибо сказано господом: "Внемлющий вам — мне внемлет". Не упорствуй, не влачишься за сеятелями нечестия, не покорившимися православному собору этому. Анафеме будут преданы они, и преисподняя разверзнется, дабы принять души их. Пожалей престарелого отца своего, чтимого всеми нами.

На одном из кресел у стены притвора всхлипнул седовласый старец, спрятав в ладони лицо.

— Не искушай меня сыновней любовью, твое святейшество, ибо любовь к богу выше сыновней любви. От родителей перешел в душу мою свет учения, и, отрекшись от него, от родителя моего отрекусь. Там пребывает церковь, где пребывают истинные христиане. Сам Христос сказал: "Я там, где сходятся во имя мое". Каждый человек есть храм бога сущего и через бога сам является судьей себе. Что же до преисподней, то низвергнуты будут туда не братья мои, а слуги сатаны и царства его.

Борил стукнул скипетром об пол.

— Молод ты, окаянный, но долог богопротивный твой язык, понеже глубоко проникла ересь в кровь твою. Да не слышат уши твои того, что изрекают уста, — сказал он.

— Все живое на этом свете живет по сути своей, царь. И богом отмечены дни каждого. Агнец предстоит перед жертвенником, а ворон достигает глубокой старости. Бог в нужный час прибирает к себе тех, над чьими душами смиловившись, да не будут они судимы вместе с вероломными слугами сатаны, который есть миродержец и князь земных князей.

Епископы, архимандриты и бояре задвигались в своих креслах. Лицо Борила исказилось от ярости. Патриарх потупил голову, его толс-

тые пальцы сжали позолоченный жезл. Шепот женщин и тех, кто стоял в притворах, ветром прошелестел по храму. Сибин вдруг увидел рядом с пожилой игуменьей Каломелу. Расширенные, зоркие глаза ее горели торжеством и злорадством.

— Дерзость твоя к нам и богоносным отцам переполнила чашу нашего милосердия. Дьявол сделал из этого человека гнилой сосуд, в котором не может храниться благовонное миро пресвятой церкви,— гневно произнес Борил.

Патриарх обменялся быстрым взглядом с епископами и обратил взор к царю, жестом повелевавшему окончить допрос. Стражники схватили Добри и повели прочь. Старик в притворе громко зарыдал.

Борил поднялся с трона. За ним — боляре и церковный клир. Дьякон подал патриарху свиток и принялся гасить свечи. Его святейство двинулся к амвону. Тревожно забили клепала церкви. Одно за другим присоединились к ним клепала крепости и Трапезицы. Низко загудел колокол патриаршей церкви. В густеющих сумерках храма патриарх провозгласил с амвона анафему...

В тот же день всех трех богомильских вожаков сбросили с Лобной скалы вниз, а с десятков учеников их были отданы палачу, который отрезал им носы и языки и прижег раны каленым железом, чтобы остановить кровь.

Во время казни Борил сидел на специально воздвигнутом помосте, и придворные, ратники и прочие верные сыны церкви наслаждались жестоким зрелищем вместе со своим господарем — повелителем этого сборища сорвиголов, еретиков и иноземцев. Под конец палач собрал отрезанные носы и языки и бросил их в воды Янтры под рев толпы, точно черное стадо заполнившей оба берега...

8

Тем, кои присовокупляют
к триединому господу четвер-
того бога и нарекают его Уте-
шителем,— анафема трижды!

И зрелища также сотворены сатаню, понеже любопытны чада его. В их любопытстве таятся дух исканий и богоборчества. Они жаждут либо узреть своего бога, либо же увериться в том, что его не существует. Казнь богомилов была вызовом богу, но поелику ничто вслед за этим не последовало, вера в него ослабела и возрос страх перед Бориловой властью и святою церковью. Тем не менее православное воинство ликовало. Чуда, на которое уповали еретики и недоумки, не произошло. Значит, бог не на их стороне. Глупцы, не понимали они, что ничего не достигли: напротив, они сами подтвердили, что седьмое небо равнодушно к дольнему миру. Ничего не достиг и сам бог. Один лишь Рогатый ухмылялся, довольный, что люди сделали еще один шаг в бесконечности познания.

”Познанием человек терзает себя и других”, — размышлял князь суб-

ботней ночью, лежа в постели кирия¹ Эвтерпы, которая спала глубоким сном, утомленная его ласками и ласками своих высокопоставленных возлюбленных — дьяконов, епископов и бояр. В дни собора эти христоролюбивые мужи измучили ее буйством своей грубой плоти, но зато в кошеле у нее поприбавилось золота... Размякшая, обессиленная кирия Эвтерпа спала, прижавшись к князю и просунув колено меж его ног, чтоб помешать ему вновь совокупляться с нею.

Если б можно было уйти, Сибин ни мгновения не оставался бы тут долее, потому что жаждал чистого воздуха и простора. Пропитанная запахом мускуса, лампадного масла, лаванды и уксуса (Эвтерпа накануне мыла волосы) опочивальня угнетала князя тьмою, духотой, беспорядком, а Эвтерпа опротивела, несмотря на беспорную свою красоту. Похваляясь тем, что она незаконная дочь Исаака Ангела², она исправно платила дань женскому монастырю святой Петки и твердо верила в своего византийского бога, хотя знала, что тот отвел ей почетное место в преисподней. Три золотых и десяток кур каждую пасху и рождество были ее десятиной богу, отчисляемой от доходов лежачего ее ремесла. Пусть всевидящий господь будет справедлив — большего кирия Эвтерпа не требовала...

Князю давно следовало понять, что Сатанаил овладел им не через смертоубийства его и неверие, а через разум, уже не отличавший зла от добра, ибо лукавый высоко вознес его и оттуда показывал ему колесо мироздания, приводившееся в движение и Добром и Злом. С этой выси все казалось необходимым. Оттуда и взирал вчера князь без сострадания на муки еретиков. Через нее воспринял, как нечто совсем естественное, угрозу Борила.

Сперва он надеялся, что по окончании собора воротится в Преслав, так и не встретившись с царем, но тот еще в пятницу повелел ему явиться вечером во дворец. Борил желал завершить свое наставительное дело и для этого созвал к себе тех, о ком было ведомо, что они втайне худо помышляют о его особе. Богоносные отцы отсутствовали. Они отдыхали в теплых монастырских кельях, вкушая свежую рыбу, генуэзский рис, наслаждаясь радостью и благочестием, пока царь пышно праздновал в тронной зале дворца победу над еретиками. Либо Сибин убедит брата покинуть сыновей Асена и вернуться из Таврии, либо пусть подумает о собственной голове... Угроза была произнесена царем достаточно громко, чтобы ее услышали все двенадцать бояр, составлявших, подобно ученикам Иисусовым, царский совет, — восемь половцев и лишь четверо болгарских ласкателей, все в мантиях и сверкании, пропахшие жиром, потом и мехом. Царица Целгуба в своем тяжелом царском облачении восседала, скрестив на коленях руки, и вид у нее был глупый и надменный — должно быть, от сознания важности этого грехоочистительного дня. Женщина весьма похотливая, она блудливо поглядывала на Эсташа де Колини, посланника императора Генриха, рослого красавца с велико-

¹ Кирия — госпожа (греч.).

² Исаак Ангел — византийский император, правивший с 1185 по 1195 г.

лепными усами и золотистой бородкой, сидевшего против царского семейства, но дальше, чем посланник никейца и тощий серб, посланец Стефана Первовенчанного.

Эташ де Колини! Единственный человек здесь, к которому князь испытывал уважение. Гордость Сибина была оскорблена, положение оказалось нестерпимым. Француз наблюдал за ним, любопытствуя, как князь поведет себя. Наклонившись вперед на своем троне, Борил смотрел на князя, как ястреб на сокола.

— Я воин, и мой род всегда был предан болгарской вере, — ответил Сибин царю, более пораженный переменами в тронной зале, нежели государевой угрозой. Все, что напоминало о Калояне, было вынесено прочь, даже знамена. Кованые венецианские и фламандские доспехи и штандарты плененных рыцарей из свиты императора Балдуина были заменены половецкими бунчуками, сербскими и византийскими знаменами, оставшимися от времен Асена и Петра. Борил либо не понял ответа, либо истолковал его в том смысле, что князь исполнит его приказание, либо предпочел сделать вид, что ничего не слышит и не видит. А возможно, дерзость Сибина обрадовала его, поскольку служила еще одним доказательством вражды, что поможет ему успокоить свою царскую совесть, когда половцы принесут ему окунутую в мед голову князя... Бесчисленные узы, коими Рогатый связывает свои жертвы одну с другой!..

Сибин незамеченным покидал тронную залу, когда венценосной чете представлялся Каломела. Протосеваст смотрел грозно, и князь понял, что он успел оговорить племянницу перед Борилом.

Юная еретичка казалась скорее негодующей, чем смущенной. В ее расширившихся зрачках, точно в зеркале, трепетали огоньки свечей и отражения керамических светильников. Они выражали гордость, возмущение и готовность претерпеть любые муки ради того, чтоб обрести святость. Лишь на единый миг увидел князь ее глаза, и этого было достаточно, чтобы понять, как закончится эта встреча. Бог помрачил ей зрение и рассудок, став соучастником ее дядюшки-протосеваста.

Он откинул тяжелое, подбитое желтым шелком одеяло — от кирии Эвтерпы, чья обнаженная рука обнимала его шею, пыхало жаром, как от печи. Ее грудь упиралась ему под мышку, и при каждом вздохе князь чувствовал, как она упруга. Сон поглотил Эвтерпу, точно бездна, в которую она погрузилась самоотреченно, безоглядно, и ее дыхание будило в князе нежность и снисходительность. Почему бы нет? Эвтерпа слуга Сатаннаила, а князь тоже принадлежал ему...

Рука Сибина скользнула по ее плечу, и он опять ощутил ее теплое дыхание, дыхание женщины и ребенка. Какой беспомощной выглядела она сейчас, дитя-торгаш, уснувший у обочины житейской дороги, зажав в руке заработанную монетку, усталый и счастливый, сраженный сном. Князь прикоснулся к ее темени. Даже под густыми волосами чувствовалось, как оно горит.

Кирия Эвтерпа пошевелила растрескавшимися губами, недовольно почмокала и еще крепче прижалась к князю. Даже во сне не забывала она об отпоре!

Сибин прикрыл ее одеялом, осторожно высвободился из объятий и встал с постели.

Уже светало. Подойдя к окну, князь услышал завывание ветра. Над громадой башен, зубчатых стен и тесно громоздящихся друг на друга зданий Царевца проплывали тучи, и казалось, что не тучи, а сама крепость плывет куда-то со своими дворцами и храмами, на которые падал снежок. Вьюга налетела чуть позже, и крепость исчезла в снежной круговерти. Князь оделся и сел у окна, за которым ветер наметал сугробы. Что станет теперь с матушкой и сестрой? Не впервые ему смотреть смерти в глаза, и всегда отыскивал он путь к спасению. Ничто не может устроить его, и в сердце у него нет сожалений, только боль. Больно, когда ты не можешь уберечь от беды своих близких, хотя и не знаешь страха. Больно, когда не веришь ни в народ свой, ни в друзей. Ежели существует бессмертие, мать и сестра обретут в загробной жизни тем большее благополучие, чем больше довелось им выстрадать на земле... До весны, когда царь снова напомнит ему о своем повелении, еще два месяца. До той поры он может дышать, думать, посмеиваться и ждать — авось свергнут Борила, либо отравят, убьют... Он отыщет сотню разных выходов, только бы не лишиться стойкости, насмешливости и отваги.

Князь напряг мускулы, чтобы испытать их силу. Даже после расточительной любовной ночи он был крепок и бодр.

Разве не подавил он в себе закравшееся чувство к боярышне? Неприязнь, которая зашевелилась в нем в то сумеречное утро, когда они выезжали из Преслава, к вечеру залила, точно ядом, хрупкие побеги любви. Иступленность, написанная на лице еретички, оттолкнула его. Тогда-то и решил он (по-наущению Сатанаила!) навестить кирию Эвтерпу, дабы плоть освободилась от силы, без коей любовь к женщине невозможна, — хитроумный способ вернуть утраченное душевное равновесие...

Добри и Каломела — какая бы это была пара! Олицетворение чистого, благодатного духа света, коего он жаждал сам. Будь истина у них, он бы пошел с ними... "Мы, — сказала Каломела, — творение дьявола, но нам дарована воля к борьбе со злом и жажда спасения". Заблуждаешься, дева! Жажда спасения есть лишь желание обрести жизнь вечную, и, коли Сатанаил откроет тебе секрет бессмертия, ты станешь самой пылкой его поклонницей... Зыбко царство твое божие, и Рогатому легко расставить там свои сети и соблазны. А уж коли сам вседержитель бессилен справиться со своим могущественным сыном, то тебе ли, тленной плоти, тягаться с ним?

Князь слушал завывание вьюги, и ему чудились за окном взмахи крыл. "Это хлопья снега кружат, отбрасывая тени, а мое воображение видит в них крылья Сатанаила, — подумал он. — Выходит, что я и впрямь верую только в него, не замечая, что Рогатый возносит таких, как я, лишь затем, чтобы лишить воли; что он дарует нам великую радость любоваться делами его, наделяет весельем, насмешливостью, мнимой уверенностью в том, что мы все понимаем и знаем, тогда как мы всего лишь мертвый прах. Тем самым сей князь созидания и разрушения лишает нас силы, дабы мы не восстали против него".

С улицы донеслись голоса, и Сибин посмотрел в окно. Если это стража, то с ее дозволения он мог бы сейчас отправиться в стоялый двор. Борил в эти дни повелел зорко стеречь все городские ворота, гулянье ряженных из-за собора было отложено.

Он застегнул пояс, перекинул через плечо перевязь с мечом и, оставив на постели золотой, бесшумно выскользнул из комнаты. Старуха, ключница Эвтерпы, раздувала на кухне угли. Она молча проводила его взглядом. Узкий дворик был весь занесен снегом. Отворив ворота, князь сразу почувал, что за ними кто-то прячется. Одним прыжком перемахнул он на другую сторону улочки и выхватил меч. Их было двое. Первый половец налетел на него с копьём и тут же упал наземь с рассеченной головой. Второй оказался более вертким. Он рухнул на колени лишь после того, как меч Сибина вонзился ему в живот. Князь поспешил прикончить его, чтобы не терять времени и не поднимать лишнего шума.

”Еще два смертоубийства, но ведь это убийцы, подосланные царем. Сколь нетерпелив его царское величество! Замыслил, значит, новые грехи, поелику старые ему прощены”, — думал князь, торопясь в стоялый двор, чтобы поднять своих людей, прежде чем совсем рассветет...

9

Несколько серебряных монет, сунутых в руки стражи, раскрыли северные ворота города ранее назначенного часа, и Сибин со своей свитой поскакал в Преслав, потому что после убийства царских людей Борил имел достаточное основание отсечь ему голову. Князь не сомневался, что Сатанаил для того и заманил его к Эвтерпе, чтобы низвергнуть с воображаемых высот и вовлечь во всеобщую круговерть. Дьявол, чтобы посмеяться над ним, нарочно позволил ему постоять в стороне, потешить себя иллюзией, что он никому не подвластен, и, сковав его волю и убавив совесть, с невероятной быстротой повергнул в еще большее отчаяние, быть может оттого, что понял: князь уже отдает себе отчет в том, куда его приведут гордость, насмешливость и богоборчество.

Как поступить? Убежать подалее от царского престола, оттолкнуть Нечестивого и обратиться упования к светлому миру бога, коего всегда жаждала его душа? Но чьего бога изберет он — бога еретиков или святой церкви? И примет ли его бог, не преследуя совести его, не устрашая души? Может ли он преклониться перед богом еретиков, ополчившим брата на брата? Князь пытался понять, не стал ли он жертвой козней Сатанаиловых, коль утерял веру и в свой народ, и в несчастную свою родину. Кто привел его к краю бездны — обманщик с ангельским нимбом и блаженствами предвечного мира или великий зиждитель и враг всякого покоя? Теперь, когда разум его лишился опоры, а душа не знала, к кому пристать, князю стало страшно. Он искал спасения, и чувство к красавице еретичке, которое, как казалось ему, он в себе подавил, вдруг озарило его душу смутной надеждой. ”Борил прикажет заточить ее в монастырь, и я никогда больше не увижу ее,— думал он. —

Могу ли я возлагать на нее надежды? Приехав в Преслав, пушу слух, что уезжаю в Таврию, а сам скроюсь в лесах”.

Вьюга заметала дорогу, тулупы облепило снегом, кони встряхивали головами, леса, отяжелевшие от снежного убора, таяли в легкой дымке, и князь то и дело оглядывался, нет ли за ними погони.

К вечеру въехали в первое село. В стоялом дворе — каменном строении, полузасыпанном снегом,— было пусто, но в конюшне стучали копытами лошади, а под навесом стояли прикрытые рогожей сани. В полутьме Сибин не заметил их. Но когда замерзшие слуги разместили коней, Эрмич вошел в корчму и сообщил, что накануне вечером сюда прибыла дочь Сологуна и осталась тут из-за непогоды.

— Отроки лежат, отогреваются в конюшне, а болярщины нету,— сказал он.

После всех стараний вырваться из омута, после всех терзаний, сомнений, готовности вверить себя милосердию божью, новость эта вызвала у Сибина неудержимый хохот. Сатанаил продолжал преследовать его, Сатанаил продолжал свою игру!..

Согретый жарким огнем очага и кубком вина, князь пришел в веселое расположение духа. Любы стали ему и белые сумерки, и глубокая тишина над селом, снежные вихри, завывание ветра. Прельстительны соблазны Лукавого. Имея в душе любопытство, можно жить даже в преисподней!.. Кто знает, быть может, Сатанаил подстроил эту встречу с болярщиной, чтобы Сибин разочаровался и навсегда отворотился от нее. Не будет ли это малодушием, достойно ли будет омрачить благоразумным бегством азарт этих мгновений, столь похожих на мгновения перед битвой, когда белокрылый ангел слетает к душе, утомленной гаданиями, предчувствиями, чтобы вверить ее в руки провидения?..

Корчмарь, черный и косматый, как Иоанн Креститель, объяснил, что у них в селе помирает бывший кмет и болярщина вместе с одним святым человеком пошла к нему. В такую непогоду повсюду бродят злые духи, и душа преставившегося превратится в вампира, если не перебороть их усердной молитвой. Ее милость, похоже, из христоролюбивых, что сострадают простому люду, или же из тех божьих угодников, коим, говорят, царь в Тырнове велел отрезать языки.

Князь спросил, кто этот святой человек — монах или мирянин.

— Монах, твоя светлость. Видать, важная птица. — Корчмарь прекрестился.

Дом бывшего кмета был неподалеку. Тускло светились два окошка. Сибин подошел к одному из них. От горевшей в доме свечи по натянутому свиному пузырю разбежались розовые волоконца. Князь вынул маленький ножик и просверлил отверстие в холодной корке налипшего снега.

На низком ложе, застланном толстой овечьей шкурой, лежал большой — желтый, немывтый, обросший. Он был в чистом исподнем, и посконная рубаха резко выделялась на грязной овчине. В головах у него стояла пожилая крестьянка, рядом с нею человек с непокрытой головой и еще трое молодых парней — видимо, сыновья или зятья. Высокий ху-

дой монах держал перед собой раскрытую книгу. Взгляд князя задержался на закрытом черным покрывалом лице монаха и вдруг обнаружил Каломелу.

Разумянившаяся в жарко натопленной горенке, болярышня была похожа сейчас на богородицу, склонившуюся над младенцем. Розовые губы ее что-то шептали, лучезарные глаза источали благодать. Она светила, вся погрузившись в таинство, будто воочию видела расстающуюся с телом душу умирающего, с ангельской кротостью взирала на нее, воодушевленная мыслью о предстоящем воспарении ее к престолу божьему. Она была девой и ангелом, земною плотью и духом павшего ангела. Ангел томился в плотской оболочке, а плоть была прекрасна благодаря ангелу...

Князь очарованно смотрел на нее, дивясь тому, что эти глаза, чистота которых порой делала их жестокими, могут выражать такую прельстительную преданность. Он вспомнил, как зарделась она и опустила глаза под его взглядом, неожиданно смутившись, вспомнил улыбку, прятавшуюся в уголках ее губ. И тут Сатанаил шепнул ему, что эта проповедница может быть столь же беззаветной в земной любви, как беззаветна ее любовь к богу, что, полюбив мужчину, она будет любить его с той же страстью, с какой предала себя господу...

Монах положил книгу подле больного.

— Отцу, и сыну, и святому духу помолимся. Возьми в руки Евангелие, — сказал он. Больной попытался привстать, но силы изменили ему, и он снова откинулся на овечью шкуру. Женщина бросилась к нему, хотела опуститься на колени. В замешательстве она ненароком толкнула треножник, и тот упал к ногам Каломелы. Болярышня вздрогнула, треножник запутался в подоле ее платья, на миг приподнял его, и князь увидел стройную девичью ножку, обтянутую красным чулком...

10

На второй день пути новые нечаянности поджидали князя. Ночью он мысленно продолжал разговор с Каломелой, произнося не те слова, что говорил за ужином в стоялом дворе, а те, что намеревался сказать ей позже, потому что, когда она вернулась после таинства, разумянившаяся, вся в снегу, горя от радостного смущения, и улыбнулась ему, он понял, что любит ее и что она тоже готова полюбить его. А теперь, когда она верхом на своем белом коне ехала с ним рядом, доверившись ему, князь окончательно убедился в том, что Нечистый и ее приковал к колесу и кружит их вместе. Волею дьявола она предстала перед князем в ином обличье, и то, что прежде отталкивало его, ныне привлекало, ибо со вчерашнего дня князь отворотился от Сатанаила и искал бога.

Как верно разгадал князь намерения ее дяди! Царь хотел заточить ее в монастырь, потому что дядя оговорил ее как богомилку, и, если бы не заступничество царицы, ее в тот же вечер постригли бы. Однако ей удалось перехитрить их и на другое утро бежать из Тырнова благодаря по-

мощи братьев-богомиллов и, всего более, апостола Сильвестра, который ехал в боярских снях, храня глубокое молчание. Лишь присутствие этого человека омрачало радость князя — Сибин видел в его лице врага, для Каломелы же он был святой, наставник и учитель. Она везла его, чтобы спасти душу своего отца, убежденная в том, что в последние свои дни Сологун согласится на духовное крещение и завещает что-нибудь общине, пастырем которой был отец Сильвестр...

— Ты согласна, чтобы твой отец отдал богатство свое общине? — спросил Сибин.

— Будет хуже, коли оно достанется дяде, служителю Маммоны. — Она взмахнула рукой столь решительно, что князь улыбнулся. — Все равно, княже, я уже не могу жить ни в Преславе, ни в Тырнове. Бог пожелал отторгнуть меня от мирской жизни. — Она взглянула на него, и Сибин догадался, что она ищет в его глазах подтверждения. — Да, такова воля божья! — повторила она, раздосадованная его молчанием.

Для того чтобы слуги и в особенности отец Сильвестр не слышали их, князь прищорил своего жеребца. Каломела следовала за ним и так близко была возле него, что колени их иногда соприкасались.

”Божья воля или Сатанаилова? Пусть будет божья”, — думал Сибин.

— Да, конечно, божья, — произнес он слух. — Ведомо тебе, что моя матушка хочет, чтобы я взял тебя в жены?

Она посмотрела на него, широко раскрыв глаза.

— Богу не угодно это, княже. Я останусь девственницей, чтобы занять престол одного из падших ангелов. Отец Сильвестр готовит меня к тому...

Ее лицо осветилось незримой улыбкой, тихая радость и смирение разлились по нему, и оно засияло среди белизны снегов, прелестное, как утренняя звезда.

— Как же мне быть тогда? — шутливо спросил князь.

Она помолчала, будто колеблясь, потом проговорила:

— Разве не хочешь ты спасти душу свою?

— Более, чем ты можешь предположить.

— Будешь молиться истинно, и бог отпустит тебе грехи твои, княже...

Но не в церкви дьявола, истинная молитва — с нами, и она дает нам небесное слово для потчевания сердца и разума. О княже, какие блаженства дарует она!

Князь невольно взглянул на свою руку. Без перчатки, темная, жилистая, рука держала повод, не чувствуя холода. Признаться ли ей в том, что накануне эта рука погубила две человеческие души? Открыть ли, что он тоже намерен тайно покинуть Преслав?

— О! — воскликнула она, выслушав его. — У нас с тобой общая участь! Выходит, такова воля неба... Ах, княже, без ропота примем небесные повеления. Невозможно узреть господя, но ты услышишь глас его.

Слова ее звучали восторженно. Она была потрясена тем, что сам господь уготовил им обоим одинаковую судьбу изгнанников; и Сибин заметил, что она уже избавляется от метаний между ним, грешником, и богом.

— Ежели я отправлюсь в Таврию, половцы прикончат меня. Но Борил не станет дожидаться весны, он прикажет убить меня в Преславе,— сказал он.

Она привстала в стременах. Лицо ее посуровело, брови властно взметнулись.

— Иди к нам, княже. Спаси душу твою, как того хочет небо! У нас ты найдешь трапезу истинной веры,— говорила она, а ему казалось, что это птица запела в морозный февральский день.

Видя в происшедшем перст божий, она ничего не утаивала. Сразу после того, как отец примет духовное крещение, она удалится в общину апостола Сильвестра, где никому из родных не найти ее. Пусть князь тоже придет к истинным христианам, отец Сильвестр с превеликой радостью примет его. Верит ли он, что небесная воля внушается нам, людям, через земные наши отношения и мы исполняем ее, не ведая, что творим? Кабы ведали мы, откуда исходят эти повеления, мы принимали бы их как великие дары... Она, не таясь, открывала ему самые сокровенные свои помыслы — столь стремительно уверовала она в то, что разгадала волю божью. Ее присутствие обдавало князя светом, наполняло сладостной болью, потому что уводило из-под власти Сатанаила. И впрямь, не послана ли она ему самим господом, дабы спасти и от Нечистого, и от Борила, дабы озарить истерзанную душу его?

— Едва ли апостол Сильвестр примет меня в общину,— произнес он.

— Я склоню его, я расскажу ему о том, сколь ты учен, княже. Таким, как ты, легче возвыситься до престолов и венцов.

Она оглянулась назад, на сани, откуда монах наблюдал за ними. В боярском тулупе апостол был похож на бурого медведя. Видно было, какие презрительные взгляды бросает он на занесенную сугробами часовню с торчащим из-под снега крестом. Слуги крестились. "Такова воля неба",— звучало в ушах князя. То, что он склонен был считать делом сатаны, Каломела считала повелением божьим. Кто же в действительности приводил в движение колесо мироздания?

11

Сологун преставился прежде, чем они въехали в Преслав, и богомильский жрец уехал в общину раздосадованный. Князь заметил, что этот человек не дал ни разу заглянуть себе в глаза и все время прятал лицо под капюшоном рысы.

Спустя два дня после его отъезда Каломела исчезла из Преслава. Скорбный боярский дом был охвачен тревогой. Старая княгиня, столь много надежд возлагавшая на поездку сына в Тырново, пришла в отчаяние. Она, как и все, полагала, что Каломела бежала к своим духовным братьям, и умоляла Сибина отправиться на розыски. Князь притворялся удивленным и беспомощно пожимал плечами. Несколькими днями позже исчез и княжий слуга Тихик. В Преславе стали поговаривать, что царские люди рыщут по стране, охотясь за богомилами, и еретики целы-

ми толпами устремились на запад.

Князь ни слова не говорил по поводу этих тревожных вестей.

Он пустил слух, что намерен по приказу Борила поехать в Таврию, а сам замыслил бежать в богомильскую общину. "Никто из моих дедов и прадедов, ни отец мой, ни брат не жили в спокойствии. Все покидали этот дом, ища спасения за родными пределами, — рассуждал он. — Когда Борил узнает, что я направился за Дунай, он оставит в покое матушку и Севару. Не должно связывать судьбу близких моих с моею собственною". Однако среди всех доводов, которые он приводил своей совести, главным все же оставалось то, что лишь община укроет его от мести Борила, а Каломела — от власти Рогатого.

К концу месяца южный ветер растопил снега. Зашумела и разлилась Тича. В безлистных дубравах засверкали вешние потоки. Преслав потонул в грязи и лужах, дороги, еще не просушенные солнцем, стали непроходимыми. Леса вбирали в себя влагу, и неделю спустя весна наконец наступила. Тогда князь неожиданно заявил своим домашним, что вознамерился отправиться на розыски Каломелы. Он переоденется монахом, чтобы войти в доверие к еретикам и напасть на ее след. Старая княгиня и овдовевшая болярня возрадовались, и в одно прекрасное солнечное утро Сибин верхом на своем вороном жеребце двинулся в путь. Он знал, что община находится где-то в лесах, у подножия горы, часах в пяти езды, и, так как ему случилось охотиться в этих чащобах, он надеялся, что без труда отыщет беглянку. Под черной рясой висел меч, а лук и колчан со стрелами были прикрыты кожухом, притороченным позади седла. В руке князь держал копье и смахивал в этом обличье на спасающегося бегством еретика.

Много весен встречал он в этих краях, но такой не помнил. Небеса излучали свет, наполняя сердце жаждой жизни. Земля, по которой сновали бесчисленные букашки и козявки, что-то шептала, луковицы цветов уже пробивались сквозь твердый наст палой листвы. Усиленно трудились кроты, свистели черные дрозды, размахивали хвостами белки, в согретых солнцем дубравах серны и олени, завидев князя, лениво отходили прочь. Страх перед Сатанаилом испарился из его души, и он начал верить, что бог пребывает не только в небесах, но и здесь, незримый для тех, кто в него не верует. Разве этот ласковый свет исходил не с седьмого неба, разве не был он лучезарной славой господя? Не пребывал ли этот свет, возрождающий землю к новой жизни, и в душе князя? Либо же это прельщение, блеск Сатанаилов, дабы запутать его, обмануть его разум? Возжелал ли он души болярской дочери, чтобы через нее спастись, либо же ее белого тела, елея глаз ее, стройного стана, и все это, столь земное, простое, не смешивалось ли непостижимыми путями с его жаждой искупления? В своей мольбе о просветлении князь то страстно призывал бога, путая его имя с именем любимой, то утрачивал последнюю каплю веры и вновь соглашался, что разлитые вокруг радость и свет — не что иное, как обольщение Сатанаилово, к которому тот прибегает ради того, чтобы зачалась новая жизнь, воследовала новая смерть и новое, еще более неудержимое стремление к вечности. Мир представ-

лялся Сибину неизреченной ложью, служащей к оправданию всей прочей лжи. Когда же утомленный мозг заставил наконец князя признать свое бессилие, он уразумел, что Христос сотворил так, чтобы каждый христианин видел себя распятым и, поклоняясь ему, поклонялся собственным своим мукам, ибо, не сострадав себе, нельзя сострадать и ближнему. Князь посмотрел вокруг и поразился чудовищному виду гигантских дубов — земная сила избородила их стволы узлами и отеками, похожими на старые раны, и каждая рана была и хворью и силой, благодаря которой дерево выглядело могучим и непобедимым. Он увидел, как полноводные потоки подтачивают берега, словно желая омыть всю землю, возвратить ее к первозданности, когда Сатанаил еще не извлек ее из океана. Услыхал сладостное жужжание насекомых, токование глухарей и пожалел, что Сатанаил покинул его: ведь только ему обязан князь гордостью, воинственностью духа, язвительностью, смехом — оружием, которое помогало ему возвыситься над личными бедами и защититься от ужаса этого мира. Кто знает — не сам ли великий совокупитель и сводник через любовь к Каломеле толкает его к богу?

К полудню он оказался в тенистой котловине, куда донеслось кукареканье петухов и визг собак. Жеребец князя вдруг зафыркал и едва не взвился на дыбы: неподалеку проходил огромный медведь. От его шкуры валил пар. Князь подивился: слишком рано еще было медведям вылезать из берлоги и купаться. Он дал зверю пройти и повернул жеребца обратно по его следу. След привел к пещере, откуда тянуло теплом. Князь зажег факел. В глубине пещеры дымилась воды горячего источника. Небольшое отверстие в своде открывало доступ дневному свету, и вода, образующая тут небольшой бассейн, хранила в себе голубоватую сумеречность раннего утра. Чуть дальше родник исчезал в глубинах неведомой пропасти.

Оставив в пещере припасы, копьё и лук, князь сел на коня и поскакал к богомильскому селению, чтоб поскорей увидеть Каломелу. То, что он прочитает в ее глазах, казалось ему, будет самым большим доказательством всемогущества господина и его превосходства над переменчивым и лживым миром Сатанаила.

12

Заметив жалкие деревянные хижины, землянки и шатры беглецов, Сибин вспомнил, как враждебно держался апостол Сильвестр, и вновь задумался над тем, как далеко простирается власть этого человека над Каломелой. Примет ли он князя в общину и не возбранит ли девушке видеться с ним? А сама она — предпочтет ли его любовь небесным престолом?

Встреченный лаем собак, Сибин въехал в селение и увидел перед собой беглого своего слугу, облаченного в рясу. Тот вышел из большого бревенчатого строения с выражением независимости и холодности на лице. Это выражение и ряса неприятно удивили князя, он поразился тому, что Тихик, доставлявший ему еретические книги и смиренно

отстаивавший своих богомильских кумиров, сумел столь быстро получить духовный сан. "Быть может, он и раньше обладал им, но скрывал", — подумал князь. Как всякий истинный господин, Сибин не проявлял интереса к жизни слуг и не задумывался над тем, что представляет собой этот раб, купленный старой княгиней во время голода в царствование Алексея Комнина. Князь верил в его преданность и объяснял его бегство необходимостью спешно искать спасения от царских людей. Теперь же его осенило, что Тихик был в тайном сговоре с Каломелой и содействовал ее бегству.

— Позови боярышню, — приказал он, осадив жеребца перед беглым рабом.

Тихик не повернул головы. Он пригладил волосы, и рукав рясы приоткрыл над запястьем свежую татуировку — два пересекающихся овала.

— Дедец¹ не позволяет тебе оставаться с нами, твоя светлость. Ты не для нашей общины. Ступай себе с миром.

Князь был ошеломлен.

— Как ты смеешь, болван?.. Позвать ее!

Тихик упрямо не поднимал глаз.

— Ее здесь нет, — сказал он.

С дальнего края селения донесся плач младенца. За плетнями мелькнула высокая фигура апостола. За ним следовала женщина в длинной рясе. Князь дернул повод, но Тихик схватил коня под уздцы.

— Тебе нельзя туда! Ты не христианин!..

Сибин перегнулся с седла, схватил слугу за волосы и приподнял. Тихик повис, ухватившись за его руку. Князь смотрел в его потемневшие от злости и боли глаза. В серой их глубине прочел он, что в душе мятежного раба таится булат.

Сибин швырнул его наземь и поскакал навстречу женщине, спешившей к нему. Посреди поляны он остановил жеребца, дожидаясь, пока она подойдет.

Прекрасная, гордая Каломела превратилась в Золушку. Выгоревшая, заплатанная ряса мешком висела на ее плечах. Мерзкий венчик из сухих пшеничных колосьев уродовал ее чело. Исхудавшее, обветренное лицо выдавало усердие в посте и постоянство в молитвах. Ее небесно-голубой взгляд искал в глазах князя малейшую насмешку или жалость, и тогда оскорбленная гордость, вспыхнув, обратила бы все ее чувства к нему в ненависть. Но князь приветливо улыбался, словно не замечая ее жалкого вида. Клонящееся к закату солнце золотило его черную бороду и усы, белые зубы сверкали, красная охотничья куртка под рясой алела единственным веселым пятном среди выжженных заморозками трав в этой мрачной котловине, где ветхие шатры и похожие на кротовые норы землянки вызывали в памяти погост. Измученный вид Каломелы наполнил сердце князя жалостью и злорадством — ее чистое, надменное чело уже носило следы сожалений и тайных сомнений.

¹ Старейшина богомильской общины.

— Все переменялось, князь! — крикнула она издалека, и Сибин уловил в ее голосе неприязнь и желание поскорее отослать его прочь.

— Что переменялось? — спросил он, слезая с коня.

— Брат Тихик клянется, что ты отдал свою душу дьяволу. Что ты слуга дьявола и враг господу. Дьявол, говорит он, излил в твоего ангела яд сладострастия, дабы наплодить чад своих до светопреставления.

— Тихик плетет вздор! Я надеялся, что апостол Сильвестр послушает тебя, а не моего раба, — сказал князь, вдруг уразумев, что она спешит объявить его недостойным, чтобы подавить в сердце любовь к нему, подобно тому как это было с ним самим в Тырнове. Свидетельство Тихика доказывало правоту ее бога и оправдывало ее плачевный вид.

— Не протянувший руки раскаявшемуся грешнику не повиснет ли на железных крюках преисподней? Ты обещала мне телесное и духовное спасение, Каломела, — проговорил князь.

Она отшатнулась, взгляд ее вновь посуровел.

— Значит, ты признаешь, что принадлежишь ему?.. Я подозревала... О несчастный, ты лишился божьего благоволения.

— Бог никому не отказывает в своей милости. Даже если мной завладел дьявол, допустишь ли ты мою погибель? Ты ведь знаешь, что мне нельзя вернуться в Преслав. Ты призвала меня сюда, ты внушила, что того желает небо.

Напоминание об ее обещаниях и мольба, с которой он вручал себя в ее руки, привели Каломелу в замешательство. Вновь поддалась искушению гордыня ее, и взгляд прояснился.

— Да, богу дорога каждая душа, — сказала она, выслушав его. — Ты прав. Сердце подсказывает мне, что бог на моей стороне, иначе зачем бы он уготовил нам с тобой одну и ту же участь? Но, княже, предстоит тебе великое покаяние и усердные молитвы. — Она говорила громче, воодушевленная подвигом его спасения, который приблизит ее к ангельским престолом, и снова стала уверенной и властной.

— Я готов превозмочь в себе все супротивные силы, всю гордыню, но как поможешь ты мне, если апостол не допускает меня в вашу общину? — спросил князь.

Лицо ее выразило досаду.

— Он чрезмерно строг, милосердие его невелико. Но и покаяние твое будет долгим, пока ты станешь достоин вступить в наше братство. Где ты поселишься?

— В лесу за вашим селением есть пещера. Я поселюсь там.

Каломела посмотрела на него в изумлении.

— В пещере?! Но там обитает дьявол. И никто не смеет переступить ее порог. Ах, сколь несведущ ты, княже! — Она по-ребячески сплюнула и попыталась чихнуть.

— Но я уже входил туда. Там нет никакого дьявола, а есть чудесный теплый родник.

— Он успел уже прельстить тебя? Уходи оттуда, уходи немедленно! Он снова явится искушать тебя и погубит безвозвратно...

Князь стоял перед нею, опустив голову. Чтобы успокоить ее, приш-

лось прибегнуть ко лжи. Он пообещал соорудить себе хижину, не охотиться, не есть мяса, предаться посту и покаянию.

— Человеку свойственно любить этот мир и все мирское в нем, и трудно ему расстаться с этим, если не подкрепляет его праведник и не вдохновляет любовь к всевышнему,— сказал он. — Как переборю я похоть плоти и глаз, гордыню и силу вражью, оставленный один в лесу? Ты должна поучать меня и напутствовать, Каломела, иначе не исцелить мне души моей.

Опять запищал младенец, и она оглянулась на хижину, в которую незадолго перед тем вошел апостол. Монах появился во дворе, неся распеленатого младенца, чтобы показать его солнцу. Отец новорожденного отвешивал ребенку поклоны.

— Мы крестим младенца. Мне пора... Ступай с богом, княже. Молись и готовь себя к великому очищению. Я скоро проведу тебя.

— Не оставляй меня надолго во власти дьявола. Когда решишься навещать меня, иди лесной дорогой и стучи палкой по стволам деревьев, я услышу и выйду навстречу тебе,— сказал князь.

Он дождался, пока Каломела скроется за плетнем, вскочил в седло и поскакал к лесу, сопровождаемый целой сворой собак и неприязненными взглядами еретиков, высыпавших из своих шатров и землянок.

13

Отчего надежда на божье благоволение покинула его, едва он начал молить ее о помощи? Ведь от нее ожидал он спасения? И отчего Сатанаил воцарился в его сердце с насмешкой и злорадством над ее злосчастьем? Не для того ли нечистый толкнул его на обман, чтобы искусить ее гордость? В конце концов, не обманывал ли князь самого себя и отчего он был принужден прибегнуть к обману именно тогда, когда жаждал исповедаться?

Со дня встречи целую неделю провел он в укорах совести и сомнениях. Бог оставался по-прежнему далеким и непостижимым, а демон опутывал Сибина своими сетями и обогащал его мозг новыми разгадками мировой тайны. Голова, слава богу, еще оставалась у него на плечах. Ежели духовное спасение невозможно, то по крайней мере он спасся от топора палача и половецких сабель, потому что в этой глухомани никому его не найти.

За эти дни он съездил в одно из сел, чтобы запастись хлебом для себя и овсом для своего коня. Убил медведя, ходившего в пещеру лечить ломоту в суставах. После безуспешных попыток проникнуть в пещеру зверь с грозным ревом пошел на князя. Князь бросил тушу в ручей, где раки оставляют от нее один скелет, а очищенную от сала шкуру намеревался постелить в пещере. Решив там и поселиться, хижины он сооружать не стал. Днем он охотился, а вечером, стреножив коня, пек на костре дичину и купался в теплом роднике, по другую сторону которого зияла темная глубь пещеры.

Весна приближалась быстро. Порой лил дождь, но на следующее утро вновь светило солнышко, а вечера князь коротал у костра. Звездное небо возвращало его к дням юности, когда отец учил их с братом распознавать звезды. Астроном, как все праболгары, старый князь поддерживал в семье неустанный интерес к звездным тайнам, уводившим разум за пределы христианских воззрений и погружавшим в чертоги далекого языческого прошлого, где царил мужественный, всевидящий и справедливый Тангра. Сибин вспоминал безмятежные лета в отцовских охотничьих угодьях близ Сидера, по хребтам которого высились сторожевые башни, откуда взору представляли синеватые дали Фракии. До недавних времен византийские прапоры возвещали с этих башен смерть, рабство, голод и грабежи; там останавливались на ночлег византийские сборщики налогов и находили прибежище алчные одринские и царьградские купцы, торговавшие детьми, мехами и воском. Оскорбленная гордость обоих братьев вскипала гневом оттого, что болгары более полутора веков терпят иноземное иго, сердца их разрывались от мучительной любви к своему страждущему народу. Старый князь рассказывал им о многих событиях тех лет рабства, намеренно не вписанных в родовую летопись, поскольку они превышали всякую меру бедствий и не мирились с понятием о человеческом достоинстве. С той поры в сознании Сибина укоренилась мысль, что народа, к которому принадлежал род их, уж нету более. Он растворился среди половцев, фракийцев, славян, и теперь складывается новый народ. Византийская церковь умервила его, обратив в христианство, приобщив к православию с его теократией, и ныне лижет сапоги Борилу, продолжая вызывать народную ненависть. Уже в те первые годы сознательной жизни возненавидел Сибин церковь. Женщины из княжеского дома, порой высказывавшие желание поехать на богомолье в монастырь, обязанные ввиду своего высокого положения кти-торствовать, неизменно встречали холодное осуждение старого князя, не скрывавшего своей ненависти и презрения к византийским вертепам. Эти ненависть и презрение передались и молодым князьям.

За юностью, проведенной в скорбных размышлениях, наступили годы зрелости, когда Сибин, молодой военачальник, исполненный надежд и восторга, участвовал в победных сражениях великого и несчастного Калояна. Затем — очень скоро — пришли разочарования, одиночество и отчужденность, возраставшая вместе с числом прочитанных книг и размышлениями над семейной летописью. Пожелтевший пергамент, испещренный руками прадедов греческими и славянскими письменами, больше говорил о гибели, обреченности, смерти, нежели о жизни и будущем. И князь ныне искал ответа и у бога, и у Сатанаила. Наверно, не он первый и не он последний. Византийские вельможи, сыновья богатых, отстраненных от власти правителей, тоже читают еретические книги, равно как и французы и венецианцы, теперешние господа и власти-тели империи, такие, как Эсташ де Колини. Но и те и другие обладают секретом душевного равновесия. Для них не столь уж безотлагательно и трагично искать утешения там, где, быть может, и нет никакого утешения. Они читают халдейские и вавилонские мифы Симеона Волхва,

Карпократа, Маркиона или Пселоса ради забавы или упражнения ума. Их народы покоряли, вбирали в себя чужие племена. Одним давал оружие и силу византийский Иисус, другим — католический. Тогда как разум Сибина блуждал между небесами и землею, ища объяснения злу, а себе утешения...

Подавленный, томимый ожиданием, князь каждый день подкрадывался к селению и наблюдал за тем, что там происходило. Еретики рубили лес, чтобы строить жилье новым беженцам, женщины хлопотали возле дымных костров, дети играли на поляне перед большим бревенчатым строением. В этом капище они собирались по вечерам на молитву, и сквозь шепот леса до князя доносился нестройный хриплый хор мужских и женских голосов, произносивших слова покаяния: "Предстали мы пред богом, пред тобою, пастырь наш, и пред братьями своими... дабы исповедаться во всех прегрешениях своих... дабы отринуть всякое желание плоти и грязные помыслы души... О владыко, пресвятой и премилостивый, грехи свои пред милостью божьей слагаем..."

В богомильском селении было всего десятка два хибарок и землянок, но отныне их будет все больше и больше. Ни Сильвестра, ни Каломелы князь не увидел ни разу. Лишь черная ряса Тихика порой мелькала вдали.

14

На девятый день князь услышал удары палкой по стволам дубов. Он только что ощипал себе на ужин глухаря. Спрятав птицу, поспешно оседлал он коня и поскакал. По дороге шла Каломела, стуча палкой по деревьям. Ее русые косы тяжелыми золотыми цепями спадали на грудь.

Оттого ли, что день был напоен нежным светом, или оттого, что велика была его тоска по ней, но ее ветхая ряса уже не казалась ему столь безобразной. Грациозность, с какой покачивался ее стан, робость, с какой она озиралась по сторонам, наполнили его любовным восторгом и раскаянием за все дурное, что он думал о ней в эти дни томительного ожидания...

Каломела смущенно улыбнулась, и улыбка яснее всего сказала ему, что в этой святой, этой притязательнице на ангельский престол таится женщина. Нетерпеливо и стремительно — свидетельство долгих раздумий — осыпала она его вопросами. Являлся ли ему дьявол, каков он на вид, чем искушал его и как оборонялся князь от его искушений.

— Минувшей ночью он привиделся мне, княже, и походил на тебя. Дотоле никогда не приводилось мне видеть его во сне. Я видела ангелов, но они были совсем маленькие и беленькие, как малые дети. И досадно мне было, потому что коль ангелы так малы, каковы же престолы их? Смогу ли я воссесть на такой престол и не казаться смешной?

Она говорила без умолку, виновато оглядывалась и волочила за собой палку, забыв бросить ее. Веснушки, высыпавшие у нее на носу, умилили князя.

— Я хотела спросить о том отца Сильвестра, но подумала, что глупо обращаться к нему такие вопросы. Кто знает, ведомо ли ему самому, как велики ангелы, ибо божественное являет себя и в невообразимо большом, и в очень малом естестве. И потом, отец Сильвестр очень занят в последнее время. В духовном озарении заперся у себя и никого не впускает. — Она нахмурилась, осуждая поведение своего наставника.

“Быть может, она любит его, — размышлял князь. — Для нее он — путь к небу. Впрочем, она так любит себя и ангельские престолы, что едва ли способна полюбить мужчину”. И поскольку она ждала от него ответа, как выглядит Сатанаил, он заколебался, открыть ли ей правду о себе самом. Поймет ли она его терзания, не разочаруется ли? Потому что она желает услышать подтверждение собственным своим представлениям о Сатанаиле и едва ли постигнет его жажду искупления и то, что через земную любовь он ищет бога. С разочарованием и болью принужден был князь снова лгать. Дьявол якобы явился ему в первую же ночь и начал хулить отца Сильвестра и паству его. Называл их глупцами и безумцами за то, что они не замечают земных даров, коими он наградил их, отказываются от них, убивают силу плоти и красоту тела, лишают себя наслаждений, мнят, что тем открывают себе путь на седьмое небо. Будучи смертными, алкают бессмертия и нарекают грехом то, благодаря чему явились на свет и без чего не было бы жизни; страшатся крови, без пролития которой не рождались бы и не находили пропитания. Стремление к вечности не приносит им ничего, кроме страданий; они превратили землю в ад, при этом измыслив какую-то несусветную преисподнюю. Смешней всего, что вопреки своей вере в бессмертие души люди не хотят расставаться с жизнью. Так что, дескать, ему делать? Смеяться! Ибо что иное остается ему? И вот он, создатель земного рая, стал ненавистен людям, потому что указывает им на глупость их и заблуждения, а они, мол, не любят наставлений и видят в его лице не благодетеля, а врага...

Рассказывая, князь украдкой взглядывал на Каломелу. Он видел, как покрылось бледностью ее лицо, как расширились ее зрачки, как вспыхнули возмущением глаза. Она затаила дыхание, готовая вступить в отчаянную схватку с Сатанаилом.

— О, сколь умные речи держал он пред тобою, княже! Как хитер он и лукав! Хулителю божий, удивительно ли, что он возводит такую хулу на бога и род человеческий. От зависти это и бессилия. Но скажи мне, каков он собой? — почти выкрикнула она, сломленная, неспособная найти слова достаточно сильные, чтобы опровергнуть дьявольскую хулу.

— Он скорее весел, нежели страшен, — отвечал князь. — Все видит и во всем открывает смысл и радость. Всегда улыбается, ибо убежден, что дольний мир не может стать совершенным, что он сделал все возможное, дабы этот мир был невыразимо привлекателен и забавен. Говорит, что не существует ни добра, ни зла, так как и величайшее добро в конце концов оборачивается злом. Он уверял меня также, что сам господь с удовольствием взирает на то, что происходит на грешной земле, и радуется, когда

люди веселятся на гульбищах и гипподромах. Секрет счастья, говорит он, состоит в том, чтобы все в этом мире принимать как неизбежное и необходимое...

Она пристально смотрела на князя. Его слова породили в ней подозрение.

— Впрямь ли являлся он тебе? Впрямь ли говорил с тобой, либо ты говоришь его устами, потому что он в душе твоей?

— Клянусь тебе! Здесь он явился мне лишь единожды, но прежде, в Преславе, искушал меня много раз. Он отрицает силу божью, и я знаю, как велико и нестерпимо страдание человека, у которого нет бога. Душа его иссыхает, разум мнимо оттачивается. Нечестие и богохульные мысли убивают душу и леденят сердце, как леденит стужа землю и всякую жизнь на ней.

С затаенным ужасом смотрела она теперь на него, уловив в его голосе искренность.

— Сколь несчастен ты, княже! Услышит ли тебя господь и смиляется ли над тобой? Во время молебствий наших седмижды днем и четырежды ночью я буду молить бога за тебя. Долго следует тебе поститься, прежде чем ты окажешься достоин нашей общины... Но где он предстал пред тобой? И не походил ли на тебя видом?

Еще один шаг, и князь открыл бы ей душу, ибо ничего так сильно не желал он, как истинно исповедаться перед любимой, но ее вопрос вызвал у него улыбку, хотя он и не мог бы сказать, чему улыбнулся — вопросу или ее полусогнутому указательному пальцу, которым она трясла нетерпеливо, как дитя, желающее поскорей удовлетворить свое любопытство. Почему ей хотелось знать, каков из себя Сатанаил, и зачем уподобляла ему князя?

— Я же сказал тебе, что он весел, молод, жизнерадостен. Явился мне третьего дня, когда я сидел у костра и уже почти засыпал. Вышел неожиданно из-за дерева, — печально проговорил князь.

— Ты построил себе хижину?

— Нет. Остался в пещере. Там тепло.

Она замерла, выронив из рук палку.

— Он владеет тобой, ты нарочно поселился в его пристанище... О несчастный, ты не жаждешь спасения! — в гневе воскликнула она.

— Пойдем со мной, и ты убедишься, что нет в пещере никакого дьявола. Неужто ты, столь светлая и чистая, побоишься вступить туда? Даже коли существует он, ты прогонишь его святостью своей и молитвами. Ты божий воитель, и не должно тебе избегать единоборства с ним, не то лишишься ты божественной силы.

Она колебалась, и князь продолжал убеждать ее. Желание исповедаться исчезло, вновь пробудился в нем лжец. Усилие, которое он сделал над собой, чтобы ее обмануть, возвратило его к Сатанаилу — похоже, Сатанаил сам то отталкивал его, то привлекал к себе; отталкивал туда, где должен был находиться бог, но там никого не оказывалось, и он вновь принимался за Сибина, чтобы искусить Каломелу.

Каломела наконец согласилась взглянуть на пещеру, и они углубились в чашу.

— Погоди, — остановила она князя и опустилась на колени перед высоким дубом, под редкой сенью которого цвели крокусы, васильки и маки. Князь увидел, что она вынула из кармана маленькое Евангелие, раскрыла его, приложила к дубу и начала молиться. Она схватилась руками за тяжелые, свисавшие на грудь косы и, воздев к небу глаза, стала читать "Отче наш". После каждой молитвы она повторяла: "О владыко, суди и осуди пороки плоти нашей, не щади рожденной в грехе плоти, но смилуйся над душою..."

Она была прекрасна в своем молитвенном экстазе, хотя не вполне понимала, должно быть, слова, которые произносила с детской наивностью и восторгом. Выгоревшая ряса, обтянув спину, четко обрисовала линию плеч, округлость бедер. Потрясенный тем, как она молилась, князь казался себе окаяннным грешником, стоящим пред святой.

Сподобившись благословения господя, Каломела смело двинулась по протоптанной медведем тропинке, неся в качестве дарохранительницы Евангелие. Тепло, которое исходило из пещеры, смутило ее. Она обернулась, ожидая, что князь зажжет факел, но тот прошел вперед, и она последовала за ним. Видневшийся вдали свет приободрил ее. Они подошли к роднику. Слегка дымившаяся сапфирно-голубая прозрачная вода привела ее в восхищение, а гул низвергающегося в бездонную глубину потока ошеломил.

— Сатанаил не нуждается в убежище, весь мир принадлежит ему, — сказал Сибин. — Отчего этому источнику не быть создану господом для исцеления болящих? Разве ангел господень не возмущал воду в купальне иерусалимской, дабы исцелялся входящий в нее?..

Она, казалось, не слышала его, зачарованная родником, не в силах отвести от него глаз. Привыкшая к телесной чистоте, она давно уже не купалась, и теплая вода манила ее к себе.

В это мгновение в пещеру вошел жеребец Сибина, следовавший за своим хозяином по пятам как верный пес. Увидев, что к ней приближается кто-то черный с горящими, точно угли, глазами, Каломела испугалась, но князь поспешил успокоить ее.

— Мой конь привык ночевать здесь. Я выведу его, а ты искупайся.

Он вывел жеребца, пустил пастись. Испытание увидеть свою возлюбленную обнаженной овладело Сибином. Заплатанная ряса не выходила из головы. Каков был стан под нею? Сатанаил нашептывал сомнения. Князь смекнул, что может забраться на скалу и заглянуть в пещеру через расщелину. Бесшумно, чтобы не вспугнуть ее, вскарабкался он наверх и прильнул к отверстию.

Она была подобна духу небесному, сошедшему к теплomu роднику, дабы озарить его благодатным светом. Ее нежные, белые, как лилии, руки жадно ласкали воду. Одна коса соскользнула меж розовых грудей, другая ниспадала на спину. На усеянном капельками лице сияла улыбка. Точно луки, изогнулись линии девственных бедер, белизной фарфора сверкали под голубоватой водой колена. Тело ее среди водяных брызг

излучало сияние плоти, зримое не только для глаз, но и для души. Она плескалась в воде, как это делают дети, и князю почудилось, что он слышит стон наслаждения. Солнечный луч прокрался в пещеру, и над родником, похожим на запотевшее голубое зеркало, в котором отражалось ее тело, задрожала маленькая радуга, увенчавшая ее русую головку...

Князь едва сдержал возглас восхищения. Ее красота ошеломила его, сбросила со скалы. Упоенный, он преклонил колена и впервые за много лет восславил в молитве господя, оттого что лишь в этот миг истинно познал свою душу...

15

Душа подобна кроткому, покорному судьбе агнцу. Падший ангел — праотец ее. Она и страждет в телесной своей оболочке, и страшится расстаться с нею оттого, что будет судима судом божьим за наследственный грех — измену. Она борется с плотью и ее потребностями, ибо жаждет искупления. Родина ее — подзвездные селения и седьмое небо, и она пребывает всюду, где излучается свет. Вместе со светом носится душа по вселенной, то страждущая, то счастливая. Она бессмертна. Она знает все, но не может изречь божественные слова истины иначе, чем через любовь, и любовь для нее — единственное пристанище, где, вечно смятенная и непокойная, находит она покой и утешение...

Средь мятежных ангелов один горько раскаивался в своем падении. Он был ангелом второго неба. Сатанаил решил вселить его в Еву и тем одухотворить ее, ибо великий совокупитель противоположных естеств желал вложить в свое творение как можно более божественной сущности. Первой создал он женщину, ибо меж растений и животных, рыб и птиц началось буйство взаимного истребления. Смерть косила их, и они могли исчезнуть вове.

Сатанаил замесил белейшую глину чистой родниковой водой, слепил живую, трепещущую плоть и валянием придал ей формы, отличные от форм других животных. Он заимствовал овал у красивейших из плодов, плавность линий — у самых гибких деревьев и рыб и изваял женщину. Затем вселил в нее ангела и остался доволен. В глазах нового его творения был свет звезд, зеленый убор земли и вся красота неба. Восхищенный Сатанаил обернулся к Еве и сказал:

— Пусть взор твой, взор милосердия и любви, укрощает всякого беса и да рождается от него новая жизнь!

Так обрела жизнь Ева и, будто пробужденная ото сна, озарила взглядом все вокруг. Одним своим появлением меж живых тварей и приветностью взора превратила она беса истребления в пол и противополог. В женский пол обращалось все, что Ева приласкала взглядом или прикосновением руки, а в мужской — то, чего она не удостоила своей милостью. И мир Сатанаилов, где прежде слышался лишь бесовский рев, стал прекрасен. Раскрылись чаши цветов, рождая семена новой жизни, защебетали птицы, заблеяли стада, даже листья дерев зашептали, радуясь тому, что существуют на свете.

Красками и звуками наполнился мир от трепетаний этой всеобъемлющей радости. По утрам солнце приветствовало всех тварей земных, а закаты сулили им новые пиршества, погружавшие их в невыразимые наслаждения и грезы.

Ева блаженствовала в этом раю, живя радостями животных, птиц и цветов. Но недолго длилось это. Когда солнце клонилось к закату и ночью, когда загоралась в небе первая звезда, все чаще завладевала ею тоска, ибо радости плоти, доступные всем живым существам, оставались для нее недоступны. Она осознала свое одиночество и предалась грусти, плачу и бездействию.

Тогда Сатанаил, никогда заранее не обдумывающий деяния свои, а ожидающий, во что они обернутся сами, и, как истинный творец, наслаждающийся их неожиданными проявлениями, потер от удовольствия руки. Вечность, коей похвалялся господь, была для тварей земных обеспечена. Оставалось обеспечить ее и роду людскому.

И Лукавый отправился в непроходимые горные пущи, где все еще обитали охваченные бесом истребления звери, подстерег их во время сна и взял от них различные члены тела. Собрав все члены воедино, он придал им форму, подобную Евиной. Составленное таким образом тело Сатанаила оставил среди спящих зверей, а те, пробудившись утром и увидев его, стали его обнюхивать. От их дыхания тело ожило, воспряло, и от его хищного взгляда все твари обратились в бегство. Так от сочетания беса и бесовского дыхания был создан мужчина, нареченный Адамом...

Адам спустился с горы в равнину, и ни одна живая тварь не посмела приблизиться к нему. Он достиг той долины, где томилась Ева. Увидев его, она впервые испытала стыд. Ей было неизвестно это животное, столь похожее на нее, но ее влекло к нему, и она прикрылась своими длинными, до пят волосами. Адам с остервенением смотрел на нее. Он издал столь страшный вопль, что Ева кинулась бежать к соседнему озеру, чтобы укрыться среди рыб. Тело ее обнажилось, пробудив в душе Адама нового беса. Он бросился за ней в погоню и, заметив, где она скрылась, притаился в тростнике. Ева же видела, как в глазах его отражается то скорбь, то темный пламень. Устрашенная его грозной силой, она попыталась юркнуть в глубину озера, но Адам настиг ее, заключил в объятия и, не зная, что делать с нею, готов был растерзать ее. Тогда Сатанаил, в облике змея подглядывавший за ним, совокупился с Евой и научил этому Адама. Залитая кровью Ева рыдала, Адам же, чье неистовство миновало, молил ее о прощении...

С того и пошла история рода людского, это и есть начало трагедии человеческой — создание на земле племен и народов, господ и рабов, вплоть до появления Бояна Мага и попа Богомила, величайших вдохновителей человеческих и земных учителей, раскрывших козни дьявола и указавших путь к спасению...

Сидя на пне, похожая на святую отшельницу, Каломела пересказала князю эту догму, сочиненную отцом Сильвестром в обогащение и пояснение несколько неясного места в Тайной книге. Богом озарены эти

страницы, написанные его рукою. Трудилась над ними и сама Каломела, и даже брат Тихик — главный поставщик чернил, красок и заячьих кож. Отец Сильвестр провозгласил эту догму в молельной после исповедальной молитвы. Святой дух продолжает осенять его, и теперь он готовится к новым словесным трапезам. Мужчины, рассказывала Каломела, ропщут, женщины торжествуют. И она торжествовала тоже, гордая тем, что создана женщиной. О том свидетельствовала ее улыбка.

Князь внимал рассказу, преклонив колена у ее ног, готовый уверовать в новую догму, ибо как иначе могла быть создана его любимая?

Ничто пока не омрачало его счастья. В течение истекших дней он через нее созерцал себя. Чувства его обострились, глаза воспринимали свет дня как поток благодатных трепетаний. Аромат молодой листвы и лесных трав проникал в самые глубины сердца. Непроходимые чащи уже не настораживали его, не будили жажды борьбы. Князь перестал охотиться, питался лишь грибами и рыбой, бесцельно бродил с мечтательным взором по лесу, и ему казалось, что вновь вернулись к нему прекраснейшие дни юности. Он был чист и желал очиститься еще более, стать таким же лучезарным, как Добри, сброшенный в Тырнове с Лобной скалы. Ныне, когда он верил, что познал бога, он часто думал о Добри и признавал себя виновным в тягчайших преступлениях. О, каким тупым и нечистым сделал его Лукавый! Монах был прав — душа есть энтелехия¹ падшего ангела. Хотя и виновная, она наслаждается — молится, когда любит, стенает, когда восхищается. Мир для князя простерся за пределы зримого мира и слился с мирами, заключенными в нем самом. Над хрустальным небосводом действительно существовало седьмое небо...

Князь вступил в неистовое единоборство с Сатанаилом. Он отрекся от книг, которые читал прежде, отрекся от мыслей, некогда наполнявших его гордостью и насмешливостью. И удивления достойно: Лукавый не противился тому. Он безмолствовал. Чувственности, главного оружия его, не существовало более: князь не воцарился белой плоти девы. Он жаждал души ее.

Всякий раз, когда его одолевали сомнения, он шел молиться к тому дубу, перед которым однажды молилась Каломела. В такие минуты он отказывался верить глазам, являвшим ему мир таким, каким он знал его, ибо внутренним взором он видел мир совсем иным. От этого рождалось ужасающее раздвоение. Вместо образа божьего князь видел то себя самого, то обнаженную деву в пещере, и эта путаница, которую разум был бессилён преодолеть, рождала новые сомнения. В отчаянии он обращался к Сатанаилу, но Лукавый не вступался, и князь уходил смятенный, не закончив своей молитвы.

И вот теперь, выслушав догму Сильвестра, он ощутил, что в сердце закралась ревность. Уж не влюблен ли монах в Каломелу? И каков он — скопец ли, молод ли, стар?

— У святых нет возраста, — ответила Каломела.

¹ По Аристотелю, деятельное нематериальное начало, которое якобы определяет развитие материи.

Князь вглядывался в нее, видя ее глазами сердца. Слушая ее, он останавливал взгляд на редких травинках в дубраве, овеваемых легким ветерком. Дыхание девы и ветерок, сливаясь, создавали образ чего-то божественного. Он любовался ее полусогнутым указательным пальцем — смешным и милым пальцем ребенка и женщины. Потом поймал себя на том, что смотрит на ее колени, и тут же перевел взгляд на лицо. Она говорила: "Как помыслишь, сколько лжи кроется в этом раю сатаны..." — и Сибин вдруг заметил в ее улыбке долгожданное вожелание, потому что в это мгновение она думала о судьбе Евы. Не пробудилось ли в ней неосознанное желание испытать то, что испытала Ева? "Но зачем ей желать этого, ведь она знает, каков будет конец?" — спросил себя князь, и разум его замер, пораженный: она не только верила в догму монаха, она воспринимала ее как непреложную судьбу каждой женщины. Быть может, ее искушал мученический образ прапрабабки, нечистивое любопытство, желание испытать те же страдания? Она желала грехопадения ради счастья искупления. Душа князя была оскорблена оттого, что та, пред которой он млеет как пред божеством, таила в себе ростки нечестивости.

— Этот рай существует здесь, на земле, сейчас, — сказал князь.

— Оттого, что земля принадлежит дьяволу и все мы, княже, искупим неизбежные свои грехи ожидающими нас перерождениями.

— Для совершенных — таких, как ты, — не будет перерождений. Ты лишь освободишься от плоти и облачишься в одежды Христовы.

— Да, — несколько смущенно отозвалась она.

— Не пожалеешь ли ты о том, что не познала грехопадения?

Она пристально посмотрела на него.

— Его можно постигнуть и мысленно. Тебе не ведомо, что мы исповедуемся открыто перед всеми. Наша исповедь — не тайна, как в церкви дьявола.

— Вы признаетесь во всех грешных помыслах, во всех мысленных грехах?

— Да... О, как трудно это, княже, не каждой душе под силу. Но кто на сколько решается.

— Тогда тебе следует исповедаться перед всеми в том, что ты возжелала грехопадения с дьяволом и жаждала узнать, каков он собой, — сказал князь.

Она посмотрела ему прямо в глаза, а глаза Сибины снова стали веселыми и насмешливыми, как некогда, потому что за спиной у него вновь был Лукавый, но уже не как обманщик, а как обвинитель.

— Ради тебя я, княже, спрашивала о дьяволе! Ради твоего спасения! — вспыхнув от возмущения, горестно воскликнула она.

Князь смутился. Ведь она приходит сюда ради него, и одному богу известно, как удастся ей ускользнуть от зорких глаз монаха. Ведь он сам умолял ее спасти его! В это мгновение понял он, что Каломела воистину любит его и что оба они отныне изгнаны из мира господина, как некогда изгнаны были из рая Адам и Ева. Бог покидал их, проклиная ее тяготение к греху, а его — к познанию.

Но именно в этой внезапной покинутости сознание своей вины, обреченности и жалость друг к другу связали их воедино оковами любви.

Потрясенные свершившимся чудом, они взглянули друг на друга. Чистота, придававшая взору Каломелы жестокость, ныне была подернута пеленой боли и смущения... Она вдруг закрыла лицо руками и прежде, чем Сибин успел опомниться, кинулась бежать к селению. Князь оглянулся. Могучие дубы нежились на апрельском солнце, и молодые листочки их трепетали, колеблемые ветерком. Земля украшала себя травами, и в страшной нетленной плоти ее бурлили соки, чтоб рождать жизнь во все новых и новых формах...

16

В дни сопричастности с богом глаза Каломелы были кладезями небесными, в которые князь не смел заглянуть. Ныне же он увидел в них нечто дерзкое, серое, как шерсть Нечистого, сладостно кружившее голову. Взгляд ее вызвал у него в душе образ новый и тревожный, воспламенивший его подавленную чувственность. Князь вопрошал себя, не сладострастие ли то Сатанаилово, излитое некогда в Еву? Либо же сам падший ангел, став слугою дьявола, вызывал это плотское влечение, ибо единственно через смерть и новые рождения мог он вернуться к своему былому господину...

И вновь увидал себя Сибин меж дьяволом и богом, но в отличие от давешнего он не чувствовал себя одиноким — его любимая была тут, хотя и незримо, и мысли были заняты ею. Исповедуется ли она монаху и духовным братьям в том, что происходит в лесу? Коль исповедуется, то стремление к святости сделается в ней еще неутолимей, любовь обратится в ненависть и нескончаемое внутреннее бореение, а князь — в Сатанаила. Она станет распалять тем боголюбие свое и веру, ибо вера в господя невозможна без представлений о дьяволе. И еще неизвестно, кто будет раздувать костер, над которым предстоит корчиться душе ее. Но дело тем не окончится. Чтобы как-то утолить земным свои небесные устремления, она будет искать опоры у кого-нибудь из еретиков, а кто может обильней напоить ее росой пророческого слова, нежели апостол Сильвестр?..

Князь уже не желал знать, где пролегает граница меж божеским и дьявольским. Ревность и любовная жажда повергли его в ярость. Он бродил по лесу, и ему хотелось кричать: "Каломела-а!", хотелось реветь, как режут олени, когда ищут самку. Он не заботился ни о Сатанаиле, ни о господе и проводил свои дни, подглядывая, что происходит в богомилском селении. Бросая собакам куски дичины, он постепенно свел с ними дружбу, и те радостно визжали, издали почуяв его.

"Куда девались мои высокие устремления, отчего превратились в грех и обман? — вопрошал он себя, созная, сколь унизительно ему прятаться, точно лесному разбойнику.— Неужто все, что волновало мой разум и душу, пришло ко мне лишь затем, чтобы низвести меня до этой доли? Обретя было свободу и от Сатанаила и от господя, я нынче снова

ввергнут в муки и унижения”. Разум, некогда упорно искавший разгадки всех тайн, теперь беспомощно молчал.

Однажды, теплым апрельским вечером, когда над необъятными кудрявыми лесами всходил месяц и из их зловещих глубин вместе с трелями соловьев доносились унылые стоны филинов и тьяканье волчат, князь тайком приник к окну молельни и стал наблюдать богомилское таинство, о котором вскользь говорила ему Каломела. На бревенчатых стенах были развешаны символы еретического таро¹: меч, вонзенный в раскрытую книгу, рядом хлеб, чаша с вином, две амфоры, свиток и отрезанная женская рука. Далее — молния, рушащая башню, а на башне — человек с тремя рогами. Наконец, храм с весами на куполе и виноградными лозами у врат, рука с пятью ранами на ладони, из которых выползают змеи, печать, белый полог и новобрачные в венцах. По другую сторону нарисована охраняемая змеем закрытая дверь с кипарисами по бокам. Под дверью начертано: ”Тайна”. Сбоку — изображение Сатанаила, держащего в руке три зерна и чашу, из которой вылетает молния. Женщина в белой тунике олицетворяла смерть. В руках у нее серп и свиток, на котором сепией начертаны имена. У алтаря, рядом с апостолом Сильвестром, стояли двое избранных, лица их были закрыты покрывалами. Перед ними разместились человек десять. То были верные. Все остальное помещение заполняли оглашенные. Среди верных князь заметил человека, у которого рот и нос были разорваны железным крюком. Подле него стоял Тихик, а по левую его руку — Каломела. Лицо у нее было озабоченное. ”Нет, не исповедовалась”, — с облегчением подумал князь. Опустив голову, внимала она проповеди апостола. ”Мы верные псы божьи, раздирающие волков. И понеже цари и патриархи грабят стадо, они суть волки. Царю и священнослужителю должно быть в одном лице...” Богомилский жрец говорил тихо, но стены строения усиливали каждый звук, и князь отчетливо слышал каждое слово. ”Лев божий вышел из логовища небесной мудрости, ища добычи. Блажен тот, кого он изберет в пищу себе. О братья мои, не любите мира дольного, ни радостей мирских. Не отвращайте уст своих от жала, уха от молнии, ока от стрелы. Не поклоняйтесь морю иль бездне. Не отстраняйте руки от ножа, ни ног от тисков, ни главы от секиры, ибо божье начало уже снизошло в вещественный мир и сам Сатанаил принял образ бога, коего мы денно и ночью оскверняем словом, делом и помыслами, волею нашей, злыми духами, вогнанными в нашу плоть...”

— Благословите и пощадите нас! — ответил хор оглашенных, и на отчаянную эту мольбу отозвались из лесу крики филинов, кваканье лягушек, лай лисиц и хохот совы. Месяц и вечерняя звезда взирали с затуманенного неба на ощетинившиеся леса, и князь вдруг почувствовал страшную свою отверженность. Рядом не было никого, кроме ластившихся собак, и он понял, что отринут миром. Глаза его были прикованы к Каломеле, потому что в толпе этих несчастных она была единственным близким ему существом. Порою взглядывал он на высокого монаха,

¹ Символическое изображение оккультного характера.

пытаясь угадать, какой лик прячется за черным покрывалом. А когда еретики начали целовать друг друга и кланяться книге, которую апостол держал в руках, князь кинулся прочь из селения и одинокой тенью скрылся в лесу. Он думал о том, что еретики так же, как и он сам, ищут истину — одну на вечные времена — в страшном и переменчивом Сатанаиловом мире, где враг божий принял образ самого господя, ибо бессмертен он и носит в себе божественное начало — творчество. Поэтому великий обманщик оставался неизобличенным, и князю слышалось в шуме леса прощение человеческому бессилию. Лишь мысль о Каломеле избавляла его от этого ужаса, но ужас был в крови его и через кровь напоминал о себе...

17

Угнетенный своей беспомощностью, Сибин кружил возле селения в надежде повстречать Каломелу. Всякий раз, когда он смотрел на нее в окно молельни, он убеждался в том, что она решилась похоронить свою любовь, искупить вину усердными молитвами. Коли так, не было причины оставаться здесь долее, схватка с Сатанаилом лишалась смысла. Дьявол низвергал его из одной бездны в другую, обольщая все новыми и тщетными надеждами на спасение. Князь проклинал то весеннее утро, когда он покинул свой дом. Он тосковал по матери и Севаре и завидовал брату — изгнаннику в далекой Таврии. День за днем искал он забвения в каком-нибудь занятии — охотился, ловил рыбу, бродил возле богомильского селения. Поскольку приближалась середина июня, он соорудил себе хижину и зажил в ожидании чего-то, ему самому неизвестного.

Как-то вечером он услышал в селении у еретиков необычный шум; наутро по лесному проселку прогремело несколько телег с домашним скарбом и детьми. Князь не понял, куда они направлялись.

На следующий день он полдневал на медвежьей шкуре у своей хижины. Миродержец в этот знойный июньский день отдыхал, облачившись в зеленый убор, и Сибину он виделся в зеленом шатре каждого дерева, увенчанный полевыми цветами. Покоясь среди бурлящего жизнью леса, слушающая славословия творений своих, Сатанаил уподоблял себя богу. Дубы изливали избыток силы в кислотоватом соке, смачивавшем их кору и созывавшем жуков и букашек на шумные пиршества. Опыленные этим соком, белки кричали и, как безумные, прыгали с ветки на ветку. Иволги дули в свои золотые флейты, дятлы били в барабаны, ошалевшие от любви олени хрипели, роняя наземь семя. А сама земля, влажная и благоухающая, обливалась соками, и аромат их смешивался с ароматом цветущих лип, всевозможных трав и бурьяна. Лани рожали в безмолвии, орошая кровью гнилую листву, сплетенные в клубок гадюки корчилились в спазмах сладострастия, спарившиеся стрекозы, хмельные от любви, вились над ручьями, а орлы, распластав крылья, парили в воздухе и заглядывали в глубь леса, чтобы увидеть своего создателя. В атласно-изумрудном свете все жужжало, пело и стрекотало вместе с ци-

кадами и лягушками-древесницами, и песни, рев, жужжание, клики сливались в общую хвалу Сатанаилу и его могуществу. Сам воздух участвовал в этих вакханалиях — он трепетал от зноя и ласкал тварей земных. Разметавшись, как мальчишка, Сатанаил нечестиво смеялся и наслаждался любодействием, бурлившим и бушевавшим вокруг него.

Князь упорней, чем всегда, думал о Каломеле. Оттого ли, что он сытно пообедал печеной форелью и лесными ягодами, или оттого, что всеобщее пиршество погрузило его в любовные грезы, но воображение отчетливо воссоздавало образ обнаженной девы в пещере. Однако теперь она виделась ему не духом света, а женщиной, ее прелести таили соблазн неуступности, особенно распалаявшей в нем страсть. Князь и желал ее и проклинал, поносил чистоту ее и боголюбие и строил дерзкие планы, как он заманит ее в лес и будет жить жизнью лесного разбойника. Однако действительность обращала его грезы в ярость против бога, вставшего между ним и Каломелой, отнимавшего ее во имя вечной жизни. Бог, от которого он прежде ожидал спасения, отринул его, обрек на муки. И главным тому виновником был проклятый монах. Сибин мечтал убить его при первой же возможности, и мысль его поползла ядовитыми и петляющими тропами ненависти. Тут он вздрогнул, неожиданно услышав удары палкой о стволы деревьев. Мигом вскочил и кинулся на дорогу.

Средь солнечных бликов навстречу ему шла Каломела. Лицо у нее было заплаканное.

— О княже! — издали крикнула она. — Как я боялась, что не найду тебя! — Она отшвырнула палку, кинулась к нему, и Сибин увидел у своего лица ее подернутые влагой, исполненные тревоги глаза.

Ошеломленный радостью, он приник к ее руке, и все существо его возликовало.

— Я в отчаянии, княже! Отец Сильвестр лишил меня благодати божьей. Убил во мне веру... Ах, что сделал он! Сколь страшно это! Как подумаешь, княже...

— Что, что сделал этот поп? — вскричал князь, охваченный ужасными подозрениями. Она отвечала несвязно, только смотрела на него, и сладость ее взора более пьянила его, нежели будила жалость.

Сибин повел ее в свою хижину, и там, опустившись на медвежью шкуру, Каломела поведала о том, что произошло в общине в эти дни.

Грехоспаситель Сильвестр — носитель неизреченного света, даритель вечной жизни, второй поп Богомил, носивший пояс с медными бляшками и возлагавший на головы молящихся гностическое Евангелие, — заперся в своем покое и предался раздумьям. Так создал он догму о Еве и другие догмы, смутившие истинных христиан. Ведение дел в общине взял на себя брат Тихик, коему апостол Сильвестр предоставил все заботы о порядке, о пропитании, о совместных работах в поле и прочих службах. Совершенные и кое-кто из верных отправились в дальние богомильские общины сеять слово правды вместе с новыми догмами, объединяли и стеречь стадо верующих и распространять книги, которые они оставляли и на перекрестках дорог — у крестов, в часовнях. Апостол Сильвестр появлялся теперь лишь на исповедальных молитвах, похоро-

нах и духовных крещениях, но, занятый писанием, часто пренебрегал и ими. Братья и сестры пришли в беспокойство, потому что Тихик заболел больше о делах земных, нежели божественных. Так как у беженцев, прибывших в общину недавно, не было ни провизии, ни достаточно одежды и домашней утвари, он понуждал других делиться с ними, так что вскоре обеднели все. Он ввел строгий порядок, установил крайне суровые наказания и стал начальствовать. Сперва никто не роптал, зная, что обретет за это жизнь вечную. Но строгие веления, кары и в особенности исповеди, на которых Тихик требовал, чтобы каждый не только винился перед всеми в греховных помыслах и сомнениях, но и признавался, где припрятал пшеницу и рожь, вызвали злобу и несогласие. Тех, кто осмеливался возражать ему либо усомниться в истинности его проповедей и велений, он сажал под замок на хлеб и воду, пока не раскаются. Многие были вовсе изгнаны из общины. Брат Тихик объявил, что все человеческие поселения, где есть господа и слуги, и все не верящие учению богомильскому суть враги господа и истинным христианам дозволено истреблять их, дабы заложить навечно основы всеземной христианской общины.

Изменения в вероучении и крепнущая день ото дня власть Тихика привела людей к двоедущию. Одни тайно возносили недозволенные молитвы, другие распространяли пагубные слухи, будто дьяволу удалось уговорить господа передать ему власть над родом людским и господь даже выдал в том заемную грамоту. Но самое ужасное случилось позапрошлым вечером. Отец Сильвестр возвестил о новом учении. Он торжественно заявил, что нет ни бога, ни дьявола, а есть лишь сила сотворения и сила разрушения, что никакого седьмого неба и предвечного мира не существует. Среди гробового молчания присутствующих апостол изложил новое учение о том, как была сотворена вселенная, земля, животные, растения, люди, а также в чем состоит христианский долг. Потрясенные люди разошлись в безмолвии, но вскоре в землянках и хижинах раздались рыдания, крики, проклятия. Женщины лили слезы, ибо остались без утешения, мужчины бранились, ибо утратили представления и о себе и о мире. Земная жизнь обрела иной смысл: коль скоро нет ни бога, ни бессмертия, то чего ради делиться пшеницей и рожью со своим ближним? Некоторые говорили, что лучше вернуться в лоно сатанинской церкви, которая по крайней мере признавала господа; другие, наисмирненные, печалились; третьи, наигрешные, злорадствовали. В ту ночь несколько женщин затеяли в лесу бесовские игрища и многих вовлекли в ночные оргии, так что наутро никто на работы не вышел.

Задыхаясь от волнения, Каломела сбивчиво поведала обо всем этом князю и под конец, обливаясь слезами, положила ему руки на плечи и воскликнула:

— Небо я потеряла, княже! Один ты остался у меня! Зачем мне посвящать свою жизнь этому нищему сброду? Зачем? Ежели я не получу венца ангельского и престола! Я могла бы возлюбить их, лишь если б мне суждено было стать ангелом. Коль скоро я смертна и нет ни бога, ни

предвечного мира, то тело мое и земная жизнь — единственное мое достояние. Успокой, княже, душу мою!

Князь торжествовал, в душе благословляя Сатанаила за то, что тот столь неожиданно вернул ему возлюбленную. И поскольку он много дней и ночей силился отгадать, что происходит в душе ее, то сейчас отчетливо представил себе, как, раздираемая любовью и святостью, двоясь между ним и апостолом, она пыталась собственным умом найти какой-то выход. Союзник Сатанаила, земной ее ангел, нашептывал ей, что ежели хочет она, чтобы молитвы ее были страстны, чтобы бич раскаяния сладко терзал сердце и очистительные слезы пролились из глаз, то лучше отдаться любви. Иначе ее жизнь среди еретиков уподобится равнинной реке, которая не шумит, а плавно течет в берегах, всегда одна и та же. Монах разрушил все ее понятия и сам толкнул в объятия князя.

— Ах, как страдала я, княже, и как страдаю сейчас. Буде есть бог, не предписывает ли сам он плотское, если предоставил плоть нашу дьяволу и уготовил нам преображения? А буде нет его и вместо него — некая сила сотворения, то, значит, сама эта сила и создала наше тело, ибо оно есть бытие наше, а сила разрушения, говорит апостол Сильвестр, против бытия. Что же проистекает из всего этого? Что бог и есть то самое, против чего я восставала.

В беспомощности своей, в страстном порыве к просветлению Каломела, ослабев от горя и отчаяния, незаметно для себя самой обняла Сибина, и князь мгновенно понял, что не в силах помочь ей спасти душу, ибо сам смущен и не менее ее приведен в отчаяние поединком между дьяволом и богом. В таком же горячем порыве, но не просветления, а самозабвения, заключил он ее в объятия. И когда почувствовал под собой ее крепкое девственное тело, упругую округлость груди, гибкие бедра, медленно раздвинувшиеся, чтобы принять его, и услышал, как крик ее слился с голосами птиц, со всем хором восхвалений Сатанаилу, тяжкий груз сомнений, терзаний и уныния скатился с его плеч, и князь мысленно воскликнул: "О, какое утешение таится в ее сладостной и белой плоти!"

18

Итак, любовь не вела к богу, и бог оказался не тем, кем князь воображал его. Любовь была скорее делом дьявола. Посредством любви, когда плотское брало в человеке верх, Сатанаил обретал власть над душой, и ангел души покорялся ему. Тут и заключалась вся тайна, тут смерть и держала в костлявой своей руке спасение, а тело было сосудом, где ангел выжидал то мгновение, когда следует вступить на предопределенный путь к очищению. Страдания людские не прекратятся, куда вина не будет искуплена, и все рожденное женщиной осуждено на смерть. Выходило, что любовь — это ложь, коей человек хочет обмануть бога. Князь искал бога в любви, и бог оттолкнул его, а Каломела потеряла бога в тот миг, когда полюбила князя. Теперь оба они оказались изгнаны из его мира на неизведанный и страшный путь искупления.

Опьяненные красотами земли, отображением бога в мире дьявола, князь и Каломела предавались любовным утехам и наслаждениям. Каломела погружалась в них с тем же страстным порывом, с каким прежде стремилась к ангельским престолом седьмого неба. Ей открывались все новые, доселе неведомые тайны собственного тела, и эти тайны целиком поглотили ее. Стоя в пещере перед родником, она точно в зеркале с любопытством рассматривала свои налитые груди, гладила их, чтоб ощутить тугую их упругость, гладила свой белый, круглый, как щит, живот, посредине которого пуп, точно чаша, вобрал в себя при купании капли воды; восхищалась линией чресел, имевшей изгиб ангельских крыл, обрамляющей таз, где кроется тайна рождения, и бедрами, столпами сладострастия, охраняющими врата новой жизни. Ее взор скользил ниже, к коленям, вплоть до пальцев ног с розовыми ногтями, отливавшими после купанья коралловым блеском. Иногда она поворачивалась так, чтобы увидеть в роднике отражение тех ямочек под коленями, которые Сибин так любил целовать, и в восторге от красоты своего тела старалась увидеть в воде свои глаза, сулившие князю новые блаженства.

Каждое воспоминание о богомильском апостоле и мечтах о святости вызывало в ней прилив ненависти. Этот монах пытался лишить ее радостей, более притягательных и сильных, чем небесные. Он одел ее в рваную рясу и осквернил ее красоту безумием. Он обрекал ее на духовные и телесные страдания, суля вечную жизнь и ангельскую красоту, оказавшиеся обманом. Ложью питало ее пророческое его слово, и под конец он был принужден сам раскрыть перед всеми эту ложь. Каломела ненавидела его, как ненавидит обманутой обманщика, и в страстном ожесточении против него безоглядно отдавалась любви, чтобы новыми и новыми доказательствами, новыми и новыми сладостными ощущениями опровергать его измышления. Нагая на застланном медвежьей шкурой ложе, с набухшими губами и атласной благоухающей кожей, сверкая лебединой чистотой и свежестью, она тонула в помрачающем разум блаженстве любви среди жужжания насекомых и пения птиц. Она истаивала под сильным телом своего князя, и душа ее горела в черном его пламени. Стоны ее были похожи то на воркованье, то на короткие восторженные возгласы, и в эти мгновения чудилось ей, что свет солнца сменяется черной, слепящей тьмой, из которой, омытая новым радостным блеском, предстанет необъятная тайна мироздания. Вместо призрачного царства бога, где ее воображению вечно не хватало пищи, ныне взор ее наслаждался зримой красотой плоти, тело и душа были утолены, и Каломела чувствовала себя счастливой. Ее восхищала сила князя, его ловкость, находчивость, умение поймать самую вкусную рыбу и дичь, приготовить самое удобное ложе, и она не замечала того, что это восхищение полностью подчиняло ее Сибину. Все существо ее стремилось к телесному совершенству, ибо Сатанаил пользуется любовью, чтобы сделать прекраснее тело, а заботу о душе предоставляет богу. Слепленная обольстительностью своей и самолюбованием, она не видела, что князь обладает уже не ею, а лишь телом ее — первый признак близкого пресыщения. Не замечала, что ушло то время, когда Сибин не задумывался ни о мироздании,

ни о божестве, ни о дьяволе, ибо для него существовали лишь она и он. Однако бывали минуты, когда его взгляд пугал ее, и Каломела молила не смотреть на нее так. Князь улыбался и молчал.

19

Всегда неудовлетворенный в творческом своем устремлении, Сатанаил был жесток. Употребив что-либо, он отбрасывал это прочь, не заботясь о дальнейшей его судьбе. Влюбленный в свои творения, он любил их до той поры, пока они не восходили на новую ступень совершенства. Посему Сатанаил ничего не желал знать о страданиях тех душ, в которых томился ангел, ибо они алкали вечности с ее божественным покоем в предвечном мире, смысл которого он отрицал.

По ночам, когда Каломела засыпала, склонив голову князю на плечо, убаюканная его ласками и стрекотаньем цикад, Сибин оказывался перед миром один. Вперив взор в бездонность звездного неба, он пытался вникнуть в собственную душу и через нее развязать загадочный узел бытия. Небеса безмолствовали, поскольку князь не ведал, что таится в них, как не ведал он и того, что таится в его собственной душе, существование которой он, однако, всего сильнее ощущал в эти часы. Тогда вспоминал он взгляды, которыми обменивался с Каломелой. Каждый видел в глазах другого нечто не имевшее названия, но пугавшее, ибо не могло или не рашалось выдать свою тайну и разделяло их, обрекая на вечное одиночество. То был ангел души, униженный и страждущий, по принуждению ставший сводником плоти. Его грехопадение и придавало глазам выражение виноватости. Князь смотрел на спящую Каломелу, пораженный тем, как безоглядно она отдалась ему. Как легко и быстро отказалась она от своих былых устремлений! "Сама помогает мне уничтожить в ней духовное,— размышлял он. — Она стала не средством спасения, а новым разочарованием. Я отвращаюсь от истины ради нашей любви и ненавижу и себя и ее из-за этого самообмана. Но Сатанаил и тут прикладывает свою руку, чтобы стереть границу между любовью и ненавистью, поелику обе нужны ему. Впредь моя любовь будет прощением, ибо и я и Каломела несовершенны. Но кто совершен? Даже сам господь удовольствовался семью небесами, где не происходит ничего — ни осмысленного, ни бессмысленного, а Сатанаил в своих усилиях создать мир более совершенный постоянно изменяет его посредством смертей и рождений... Меж тем с чего я начал и к чему пришел? Притеснения Борила и бедствия, обрушившиеся на дом мой, толкнули меня к иным притеснителям — богу и дьяволу. Один сулил мне истину и спасение, а вместо того опутал ложью и низвергнул в ад, другой насмехается надо мной. Разум мой кружит в этом замкнутом кольце, и только на него одного должен я опереться, чтобы обрести свободу от притеснителей. Однако и он не вечен и не может дать мне ключ к познанию..."

Стремясь разрешить эту безысходность, Сибин вспоминал дни, когда чаша весов находилась в равновесии и он жил, не вдумываясь в свои деяния. Между тем именно это равновесие и напугало его равнодушием,

отсутствием долга перед собой и людьми. Той ночью, у кирии Эвтерпы, ужаснувшись власти Сатанаиловой, князь пожелал скинуть с себя его оковы и возжаждал бога. И тогда бог и Сатанаил — оба одновременно — подхватили его, ибо суждено человеческому "я" существовать в вечном противостоянии дьявола и бога, а пламени ума его и души — питаться враждою их!

После таких раздумий мысль князя устремлялась к иным, таинственным мирам, образ которых сохранился в нем с детских лет, унаследованный от язычников-традедов. В душе воцарялась ясность, взор вновь воспарял к звездному миру, и князь вновь казался себе переходящим, хотя подле него лежала Каломела, уже носившая, быть может, в чреве его сына или дочь. Он делал все нужное для того, чтобы Каломела была сыта и довольна, и не отвечал на вопросы, коими она хотела оправдать новую свою жизнь. Она полагала, что он на верном пути, и он поддерживал в ней это заблуждение, не мешал ей тешиться своей красотой. Тело ее наливалось, точно зреющий плод, пышущая здоровьем Каломела смеялась, как горный ручей, излучая веселье, беззаботность и веру в то, что нет в мире ничего более важного, чем любовь и размножение.

Однажды ночью князь пробрался в Преслав и с помощью Эрмича раздобыл для нее дорогие одежды, благовонные масла, серебряное зеркало и египетский гребень. Все более опьяняя ее хмелем земной жизни, скрывая пустоту, зияющую в его собственной душе, он не давал раскаянию проникнуть в ее душу. От Эрмича узнал он, что весной Борил избежал решительной битвы с императором Генрихом, а в Видине вспыхнуло восстание против его власти. Упования и надежды князя устремились к Тырнову, потому что лишь после того, как Борил будет свергнут с престола, сможет он возвратиться с Каломелой в Преслав.

20

Беглый раб веровал в своего еретического бога и ненавидел князя, оттого что у князя не было своего бога и он постоянно искал его. Сибин воображал некогда, что Тихик любит его, не понимая, что восхищение, испытываемое слугой перед силой и красотой князя, относится более к внешней его красоте, нежели к сущности. Сибин пошучивал с ним, и господская слепота мешала ему заметить, что Тихик видит в этих шутках неуважение к себе и не терпит их. Уважение к князю давно исчезло, ибо невозможно уважать слуг дьявола, — у него остался лишь страх, злоба и презрение, питаемые уверенностью в неотвратимости возмездия в тот час, когда число праведников достигнет числа павших ангелов. Тогда сатана прогневется и объявит войну праведникам, а те возопиют к господу. Господь прикажет архангелу затрубить в трубу, и трубный глас этот будет слышен от неба до преисподней. Солнце померкнет, луна уже не будет излучать свет, звезды попадают, земля, море и горы сотрясуются от четырех ветров. Сын человеческий препроводит ангелов своих собрать избранников его со всех концов земли, а нечистым бесам повелит при-

вести к нему все народы и скажет он: "Приидите вы, говорившие: будем есть и пить и получим должную награду на этом свете". И будут раскрыты книги жизни, и обнаружится в них всякое нечестие. Праведники удостоятся похвал и наследуют царство, уготованное им с сотворения мира, а слуги дьяволы будут низвергнуты в огонь вечный. Останется в мире одно стадо и один пастырь. Сын божий воссядет одесную отца небесного, сопричислит праведников к сонму ангелов, облачит их в одежды нетленные, возложит венцы неувыдаемые, и не будет более ни глада, ни жажды во веки веков...

Князь даже не подозревал, как иступленно верил Тихик в неизбежность божьего суда, обещанного в Тайной книге. Все было ясно Тихику на этом свете, потому что он ничего не получил от жизни, и то, что отягачало князя, для Тихика было вождеденной мечтой. Он познавал мир через господ, но не через себя, и служил бы в княжеском доме до обетованного суда божьего, примирившись с мыслью, что князь не примет богомильского учения, к которому он настойчиво его толкал, если бы преследования Борила и побег боярьшши не вынудили и его бежать в общину. Боярьшшия, в приобщение которой к богомилству и он внес немалую лепту, его гордость, живой источник непреходящего восхищения и заветных мечтаний, красавица, которую старая княгиня мечтала сделать женою своего сына, бежала, и Тихик последовал за нею, убежденный, что князь никогда больше не увидит ее. Но Сибин неожиданно явился, и Тихик сделал все, чтобы тот не был принят в общину. Он еще по своем прибытии представил своего господина апостолу Сильвестру и братии как слугу дьявола и антихриста.

Каломела быстро завоевала всеобщую любовь и доверие, апостол Сильвестр причислил ее к верным, и Тихик взревновал боярьшшию к нему. Однако ревность исчезла, когда Каломела надела заплатанную рясу и зажила жизнью возвышенной. Занятый делами общины, умелый, обладающий опытом эконома, полученным в княжеском доме, Тихик забывался в повседневных трудах и сокровенные мечты о Каломеле относил к грядущему, к жизни на седьмом небе, когда она и он, обращенные в ангелов, будут наслаждаться совершенной, божественной любовью. Эти мечты придавали ему силы, побуждали без усталости печься о том, чтобы в общине все шло, как должно. Он верил, что князь возвратился в Преслав, и не подозревал о связях между ним и Каломелой. Но однажды один из братьев — тот, чей нос и рот были разорваны железным крюком, страстный пчеловод, — сказал ему, что, скитаясь по лесу в поисках диких роев, видел охотника в красном платье и боярьской шапке. Тогда Тихик стал доглядывать за Каломелой, и ему удалось выследить вторую ее встречу с князем и подслушать их разговор. Он видел, как она убежала, закрыв от стыда лицо. Ее падение поразило его и повергло в отчаяние, ибо он увидел себя на седьмом небе без Каломелы — она вознесется туда лишь после многих преобразений либо не вознесется вовсе. Сколько чихал он, сморкался и отплевывался, прогоняя злых духов и всевозможные искушения, преграждавшие путь к райским блаженствам! Чтоб обрести их, он был готов даже оскотить себя. И все это не ради себя одного, но и

ради нее! Сокрушенный, ждал он, чтобы Каломела исповедалась в своем прегрешении, но она молчала, молилась, и на лице ее читалось раскаяние. Это несколько успокоило его, и он решил, что, если давать ей работу потяжелее, она скорее искупит свой грех. И он находил для нее такую работу — заставлял ходить за больными, помогать женщинам, нянчить детей. Он не спускал с нее глаз и, когда убедился в том, что она не ищет больше встреч с князем, успокоился окончательно. Не раз искушало его желание открыть ей, что ее тайна ему известна, не раз хотелось проверить, обитает ли князь поблизости или вернулся в Преслав. Но, поразмыслив, он отказался от своего намерения, по собственному опыту зная, что лучше не напоминать грешнику о его прегрешении, коли сам грешник борется с ним. Кроме того, много забот доставлял ему апостол новыми своими догмами. Вначале Тихик принял их с удивлением и восторгом пред божественным озарением, снизошедшим на Совершенного, но затем, убедившись в пагубности их последствий, возроптал. Да и сами поступки апостола озадачивали его и повергали в тревогу. Святой отец заперся в своем покое, заявив, что намерен очистить учение от всех противоречий и опровергнуть среднецкого¹ дедца Петра, исповедовавшего скорее манихейство, нежели богомилство. Он-де напишет новое гностическое Евангелие. Для переплета предназначалась шкура молодого бычка, надзираемого особым пастухом, и Тихик, помимо прочих дел, заболтался о том, чтобы шкура этого бычка содержалась в чистоте.

Окружив себя свитками, еретическими книгами, запасшись красками, чернилами и дублеными кожами, апостол Сильвестр разослал по стране верных и двух избранных, все дела в общине переложил на Тихика и погрузился в писание. Тихик, предчувствуя недоброе, был точно на иголках — время ли менять учение и вступать в спор со среднецким дедцом, когда в общине голод, нищета, неустройство, когда в стране — царские гонения? Зачем непременно доискиваться, что в точности представляет собой седьмое небо, как сотворена земля, женщина, звезды и вселенная, если главная цель — сделать так, чтобы люди спасли души свои и были сыты, счастливы, любили и почитали друг друга? Разве такое или иное представление о предвечном мире может иметь хоть какое-то значение для добродетелей? Каким бы ни было царство божье, следует сперва установить его здесь, на земле, а уж потом будет видно, что оно представляет собой и как устроено.

Так рассуждал Тихик, когда слышал споры между теми из братьев, у которых были железные перстни и татуировка на запястьях; когда видел, что апостол Сильвестр сидит над свитками, а между тем клочки земли, ценой стольких трудов и мук отвоєванные у леса, не сулят общине вдосталь хлеба; когда умирали один за другим новорожденные младенцы и царские люди жестоко терзали истинных христиан по всей земле болгарской в союзе с французскими и венецйскими католиками. Ибо хоть был он верующий, хоть и считал, что мирские заботы суть проклятие божие, посредством коего люди отданы во власть сатаны, все же

¹ Средец — средневековое название Софии.

знал он, что не может человек молиться, если он голоден, дрожит от холода или корчится от боли. Ему выпал жребий услуживать другим, и, чтобы уважать себя и труд свой, он должен был уважать и земные дела. Мало-помалу эти мысли все более завладевали им, и он не расставался с ними даже вечером, когда засыпал в своей сырой землянке, полной пауков и прочей нечисти.

Несмотря на то что за свое трудолюбие, преданность и знание богомильских догм он был удостоен сана верного, Тихик в глубине души чувствовал себя ближе к оглашенным, чем к верным, поскольку сама работа связывала его с ними и еще потому, что, будучи прежде рабом, он всю жизнь провел меж париков¹ и отроков.

Каждый раз, когда выдавалась свободная минута, он позволял себе потолковать о божественных вещах с простыми оглашенными, делился с ними кое-какими из тайных своих мыслей. Отроки, бежавшие от своих боляр и из монастырей, видели в нем наставника, без которого не могли надеяться на благоденствие, и Тихик приобретал над их волею и мыслями все большую власть. Между тем он тоже, слушая их рассказы, шутки, апокрифические легенды о том, как господь и дьявол водили дружбу и состязались в хитрости, как дева Мария зачала от букетика базилики, посланного ей богом-отцом через одного ангела, проникался представлениями этих обыкновенных еретиков, понимавших богомильское учение неверно, примешивавших к нему суеверия и языческие представления, потому что иначе оно было для них неприемлемо.

Ошеломляющее новое учение апостола Тихик встретил стиснув зубы, затаив дыхание. С бесстрастным, побелевшим от изумления лицом, полуопустив веки, за которыми мерно тлел серый пламень зрачков, богообразный, как праведник, только что сошедший с небес, он выслушал апостола, не шелохнувшись. Но глаза его все видели. Он заметил смятение братии, и когда Совершенный среди гробового молчания удалился к себе, отирая обильно струившийся со лба пот, Тихик последовал за ним. Перед дверью апостольского покоя он помедлил, давая тому время перевести дух и закрыть покрывалом лицо...

21

В то утро Тихик, выйдя из землянки, никого на работу не повел, потому что все попрятались в своих жилищах. Голодные псы скулили в ожидании хозяев, дети забыли о своих забавах. В некоторых землянках и шатрах громко плакали женщины, избитые мужьями за то, что участвовали в ночных оргиях.

Тихик сел на пень и стал припоминать, о чем он вчера думал перед сном. "Совершенный не ведает, как добывается хлеб насыщенный, ибо все обязаны кормить его; не ведает, каким искушениям подвергает Лукавый бедных людей в скудости их... Твердит, будто труд — от дьявола и

¹ Экономически независимые крестьяне в феодальной Болгарии.

посему не следует пачкать себя работой... Он беседовал с богом, а теперь, по словам его, выходит, что бога нет... То он посвящал свои занятия богу, ныне посвятит этим своим силам, и опять все пойдет по-старому... Он ведь тоже из господ! Господа вечно ищут бога... Нету, говорит, ни седьмого неба, ни предвечного мира, а лишь некая мертвая точка, и будто от нее все пошло..."

Убеждения, которыми он жил, и без того пошатнувшиеся, теперь готовы были превратить в развалины его духовное пребывалище, давили на мозг, сковывали волю, и он не знал, куда кинуться. Рушилось все — надежды на спасение, любовь к Каломеле, вечная жизнь, божья справедливость и возмездие, утешения рабьей жизни его. Рушилась сама община, теряла смысл его деятельность, борьба с дьяволом, лишения, воздержание, посты. Исчезла, наконец, и вера в Совершенного, чья святость и ученость оказались сомнительны.

Христовы братья начали вылезать из землянок, собираться кучками. Заметив Тихика, они приблизились к нему, чтобы послушать его суждение. Некоторые говорили, что апостол утерял благоволение божье, что им завладел дьявол; другие — что он лишился рассудка, что надо снять с него пояс с бляшками и предать огню новое Евангелие, внушенное сатаной; третьи, довольные, что бога нет, смотрели гордо, весело и зло. Иные из женщин с громким хохотом задирали юбки и хлопали себя по бедрам, чтобы показать, что Рогатый вселился не только в Совершенного, но и в них, и что никому теперь не спастись.

Тихик сидел, уставившись в землю, и мысль его искала выхода. "Быть может, апостол сам отречется от нового своего учения. Вчера вечером он был очень утомлен и не пожелал говорить со мной, но я надеюсь, что сегодня он примет меня. Надо подождать возвращения теотоков, и, ежели он не отречется, мы изберем себе другого пастыря", — подумал он.

Но многие уже запрягли телеги, намереваясь покинуть селение. По-видимому, дьявол и впрямь пробрался в общину. Тихик был уже готов поверить тому. Он попытался проникнуть к Совершенному, но тот не отпер двери.

Так прошел этот день отчаяния, тревоги, праздности, запечатлевшийся в памяти всех как тяжкий недуг. К вечеру Тихик углубился в лес и, поразмыслив, окончательно уверовал, что сатана завладел душой апостола. "Даже если и обнаружил он, что мира предвечного нет, — рассуждал Тихик, — не следовало произносить этого вслух, ибо, ежели нет справедливого суда над всеми нами, люди не будут видеть смысла в существовании своем на этом свете, не смогут бороться против господ. Во-вторых, он смущает братию и подвергает сомнению необходимость добродетелей, лишая нас наград на небе и утверждая, что жизнь кончается здесь, на земле, так что нечего ждать иной награды, как только от себе подобных. Никого теперь не испугать и не удовлетворять земными карами и благами, ибо сказано: "Не хлебом единым жив человек", и если нету ни неба, ни бога, то отвернет он взгляд от ближнего своего и будет желать лишь есть, пить и властвовать... Совершенный уверяет нас, что, поскольку нет ни бога, ни дьявола, человек сам станет богом, но забывает о том,

что человек станет и сатаню. Даже если дьявол и не вселился в апостола, новое учение вредоносно, и следует объявить его антихристом...”

В последующие дни разброд в общине быстро ширился. По ночам совершались кражи из общего амбара, многие затевали драки, вспыхивали свары, откуда-то появилась ракия, так что были пьяные, которые, впад в бесовское исступление, пели непристойные песни о Сатанаиле и его могуществе. Один еретик объявил себя пророком, стал проповедовать безумства, другой повесился. Неведомо откуда прибыл в селение странник с деревянной дощечкой, на которой было начертано: ”Покайтесь, ибо близится царствие божие!” Одетый в чудовищные лохмотья, обутый в ноговицы из козьей шкуры, он расположился на мусорной куче и оттуда целыми днями пел тропари дьявольской церкви и призывал богомилов вернуться в лоно ее. И у этих пророков нашлись слушатели, поскольку каждый кроет за разумом безумие, коим наслаждается, и злонамеренность, от коей ожидает для себя блага... Мужчины и женщины испуганно внимали зловещим угрозам. По их лицам было видно, что они уже не доверяют своим глазам и ушам, что взору их предстает другой, таинственный мир, полный страхов, чудовищ и смерти. Некоторые, позабыв о своем богомильстве, осеняли себя крестным знамением. Многолюдное – в сотню человек – шествие обходило селение, распевая какую-то новую песнь:

В день Страшного суда скажу я господу:
Боже, творец небесный, отчего приуготовил ты пекло мне?
Не довольно ль с меня земных мучений и тягот?
Весь в смраде я и унижении,
Нечист и невоздержан, как Исаак,
Ибо позволил ты дьяволу взять власть надо мною.
Напрасно из пекла в пекло бросаешь меня!
Отвори врата райские, Иисусе,
Впусти души пречищенные и страждущие!
Либо верни нам бесплотие, либо прости нас,
Ибо, не будь мы рождены, не стали бы и грешить!

Сбитый с толку, растерянный, Тихик вдруг обнаружил, что беснующиеся братья-богомилы оставили его. Никто его не искал, к нему не обращался. Он забарабанил кулаками в дверь покоя, куда уединился Совершенный, словно не видевший и не слышавший того, что творилось в селении. За дверью раздался голос: ”Погоди!”, деревянный засов отодвинулся, и Тихик вошел.

Апостол стоял спиной к нему. Покрывало он с себя снял, но Тихик все же не мог видеть его лица.

– Владыко, все точно обезумели. Община рушится. Дьявол завладел душами христианскими. Откажись от нового учения своего, дабы успокоить людей и водворить порядок! – произнес Тихик.

Совершенный молчал, и Тихик продолжал смотреть ему в спину. Длинные заплетенные волосы, точно хвост, ниспадали на его рясу.

– Неужто не слышишь ты, что происходит за этими стенами?

– Знаю и вижу. Сила разрушения бушует, дабы побудить силу сотво-

рения создать среди людей новое совершенство. Ступай, не разумеешь ты! — сказал апостол.

Тихик вышел, охваченный смутным страхом, точно соприкоснулся с чем-то неясным, могущественным и страшным. Не постигнув сказанного апостолом, он устремился к Каломеле, которую уже давно не видел.

22

Он воображал, что возвышенная и чистая дева заперлась у бабки Кали, дабы укрыться от беснований братии. Старуха принимала младенцев, вправляла вывихнутые и сломанные кости, обмывала покойников и прибирала в молеельне. Каломела жила у нее. Но бабка Каля сказала, что Каломела ушла от нее на другой же день после того, как Совершенный объявил новое свое учение. Сам апостол искал ее, спрашивал, куда она делась.

Новость не поразила Тихика оттого, что уже ничто не в силах было его поразить. Она лишь ожесточила его. Он догадался, что князь поблизости и Каломела бежала к нему. Тихик немедленно направился туда, где однажды видел их вместе.

Он ненавидел сейчас дьявола такой лютой ненавистью, какой не испытывал еще ни к кому и никогда. А мысль о дьяволе вызывала образы князя и Совершенного — Сибин был прельстителем, антихристом и слугой сатаны, Каломела же — сухой господской породы, оттого и льнувшей к господам... Вся порча, раскол и беснования проистекают от господ. Дьявол — в них, во храмах их, крепостях и замках, там приют его, там пестуют его и почитают... Господа воздают ему почести оттого, что он самодержец и князь князей... Он — в гербах и прапорах их; он восседает за их трапезой, пряча хвост под красными мантиями, поповскими рясами и епископскими облачениями... Он нашептывает господам безумные мысли, пробуждает демонов в их головах, внушает им сомнения и безверие...

Испытываемое им ожесточение возвысило Тихика в собственных глазах. Лишь немногие в общине не поддались бесовским чарам, остальные братья и сестры, видимо, и прежде тайно желали скинуть ярмо законов божьих, обманывали господа и братьев своих, алкали своеволия и свободы. И лукавство их должно разоблачать непрестанно, дабы держать их в смирении и покорстве. Объявив, что нет ни бога, ни дьявола, Совершенный вольно или невольно раскрыл двуличие их... Но скоро они ощущают голод, запасы продовольствия иссякнут, а дьявол разобщает их, отчуждает друг от друга. Каждый обнаружит свое одиночество, затоскует по спокойствию и вере, застраждет от разлуки с себе подобными...

Тихик вступил в лес и неожиданно оказался на тропинке, ведущей к пещере. Ему доводилось слышать, что в этой пещере обитает сатана и что тепло, которым веет от нее, — это его дыхание. В другом состоянии он, быть может, не посмел бы приблизиться, но сейчас мысль подсказала, что тропинка проложена его бывшим господарем. Подойдя к пещере, он

оробел и повернул назад, ища других следов князя. Когда он вышел на дорогу, стволы деревьев уже окрасились огненными пятнами заката. Тихик хотел было возвратиться в селение, как вдруг услышал голоса и спрятался за дубом. На дороге показались Каломела и князь. Князь нес на плече убитую серну. У нее в лопатке еще торчала стрела. Каломела прижималась к князю, ведя за повод вороного жеребца.

Расстегнутая синяя безрукавка очерчивала под темно-вишневым платнем грудь, русые волосы ниспадали на плечи. Рядом с темноволосым и смуглым Сибином она светилась, как заря. Не раз наблюдал Тихик это недостижимое господское счастье, которое почитал дьявольским. Но теперь, когда он увидел, как прижимается к князю, смеется и ластится та, на которую он возлагал сокровеннейшие надежды, веря, что она отреклась от мира господ и навсегда перешла в мир рабов божьих, та, которая дала обет стать Совершенной, но обманула бога, его и братьев, — сука, чья красота стала еще неотразимей потому, что на ней было уже не рубище, и еще потому, что она обрела умиротворенное, изобильное и сладостное сияние обладаемой женщины; когда он увидел, как скользят по ней солнечные блики, ненависть с неудержимой силой отшвырнула его назад в тот рабий мир, где ведома лишь красота добродетелей.

Он дал им пройти, прокрался следом и обнаружил их хижину. Тогда возопил в нем голос крови и плоти, земной силы, которую он подавлял в себе, отгонял мыслью о том, что она греховна...

Тихик вернулся в селение, куда уже смеркалось. Проходя мимо свалки, он увидел странника, грызущего черствую просяную корку. Подкрался к нему, выхватил у него дощечку и колотил его до тех пор, пока тот не убежал в лес. Так впервые совершил он насилие, запрещенное законами божьими.

23

Сатанаил растлеивает господарей дерзновенными мыслями и безверием, и когда они, отчаявшись понять смысл его игры, отказываются служить ему, он стремится из слуг их и рабов сделать наидейтельнейших себе помощников. Обрекая тех на всевозможные страдания и унижения, он дает им познание, вселяет надежды и новые идеи, дабы мог его мир кружиться беспрестанно и никогда не исчезла бы в нем вера в спасение.

Робкий, богобоязненный Тихик в короткое время стал великим мудрецом. Мудрость его была непровержима, ибо исходила из земных потребностей человека. Он решил выждать и, когда придет час, прибегнуть к насилию, так как другого средства спасти общину не оставалось, а час этот наступит тогда, когда все припасы иссякнут и люди ужаснутся своему безумию.

За несколько истекших недель ум его четко размежевал земные и божественные нужды человека. Первые были ясны и очевидны, вторые — выше его разума, но их следовало признавать и соблюдать, ибо они способствовали всеобщему благоденствию. Что касается вечной жизни,

пусть господь сам позаботится рассудить, какие души достойны воспарить к нему, а каким быть низвергнутым в геенну огненную. Это его дело. Тихик не стал ломать себе над этим голову, тем более что Каломеле никогда не удостоиться седьмого неба.

Ждать пришлось недолго. Спустя несколько дней покинувшие общину братья стали возвращаться, преследуемые царскими людьми, занявшими перекрестки дорог, села и крепости. Многие, двинувшиеся в путь с двумя волами, возвращались обратно без волов и телег, волоча на себе пожитки и голодных детей своих. У других были тощие лошаденки или мулы, некоторые прибыли в одиночку, без жен. Царь повелел отбирать у богомилов землю и имущество, общины их разгонять. Беженцы были в кровоподтеках и рубцах от ударов плетью, иные — раненные стрелою, битые железными прутьями. Те из них, кто, пытаясь пробраться в Боснию, дошли до владений севастократора Стреза, рассказывали, что Стрез построил в Просеке, над Вардаром, лобное место, откуда сбрасывают богомилов в реку. Не менее его свирепствует и сербский король.

Селение огласилось плачем и проклятиями. Поляна перед моленной заполнялась все новыми беженцами. Именем господа молили они о милосердии и пище, показывали раны свои и рассказывали о пережитых злоключениях.

Тогда Тихик вынес просяной муки из общего амбара, накормил их, перевязал им раны и, приказав созвать всех членов общины, отворил дверь моленной и ввел их внутрь. Там, перед символами святых тайн, бесновавшиеся укротились, а кроткие склонили головы еще ниже.

— Братья и сестры, — сказал Тихик, — не достойны вы исповедального молебствия, ибо лишь немногие из вас устояли пред дьявольским чародейством и Лукавый еще пребывает в умах и сердцах ваших. И совершим мы молебствие лишь после того, как каждый поразмыслит над своими прегрешениями. А ныне открою я вам, как проник сатана в общину нашу. Он пробрался сюда в обличье бывшего моего господаря, преславского князя Сибина. В марте князь явился в общину, разыскивая болярскую дочь, бежавшую затем к нему и ставшую ему женой. Через эту окаянницу распространил Лукавый свою скверну среди нас. Посланец Сатанаилов и сожигательница его обитают в лесу подле пещеры. Я видел обиталище их. Сказано было: "Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в царствие небесное". Мы сделали ошибку, приняв к себе дочь болярскую, и ошибкою будет принимать к нам господарей, верить клятвам их и боголюбию. Они подобны мотыге, подрывающей корни наши. Господари всегда и неизменно слуги дьяволовы. Они полагают, что служат богу тем, что ищут его, и утверждают, будто ищут истину, а не видят, что это ведет к безверию, разрушению и смерти. Через них властвует бес над миром, но, когда с помощью божьей мы уничтожим их, бес примется за нас, ибо и мы подвержены соблазну господского высокомерия и господских пороков. Посему следует нам денно и ночью быть начеку, не допускать Лукавого ни в помыслы наши, ни в желания. И не токмо нам, но и детям нашим, внукам и правнукам — вплоть до дня Страшного суда...

Совершенный первый поддался искушению — опять же через дочь боярскую. Он приблизил ее и поспешно удостоил звания верной, ибо он и сам породы бояр и волхвов Сатанаиловых и уже долее не может быть нашим владыкой. Слушайте, что говорю я вам! Коль хотите вы иметь пропитание, коль не хотите быть битыми, обманутыми и преследуемыми, ако псы, слушайте впредь меня одного и да не скажет ни один из вас: "Брат Тихик деспот и тиран!" Сам господь с силой ополчается на дьявола и не позволяет смуте и расколу погубить души человеческие. Война с дьяволом не пресечется, доколе не будет умерщвлен князь смерти, о чем свидетельствует и блаженный Исая, удостоившийся вознесения к богу-отцу... Вооружитесь, кто чем может, и соберитесь на поляне. Прежде всего должно нам схватить посланца дьявола и богоотступницу. Она дала обет остаться девой, а очутилась на ложе Сатанаиловом. Ежели мы не уничтожим их, ожидают нас глад и новые бедствия. А после того, как схватим их и осудим по закону общины нашей, мы пойдем к Совершенному, чтобы снять с него пояс познания, и я определю для него кару.

Тут Тихик, вызвав в себе сострадание к парикам и отрокам, заговорил о муках их: о том, как дьявол терзает и грязнит их души, как отчуждает их друг от друга и вселяет взаимную ненависть, как горько рыдает земной их ангел, но они не слышат рыданий его... И столь красноречиво говорил он, что люди, еще вчера бесновавшиеся, теперь были готовы раздрать на себе платье и пасть на колени, склонны были даже покаяться в еще не совершенных грехах. Смиренные гордились тем, что остались чисты, ожидали награды и, глядя на грешников, старались подавить в себе злорадство. Раненые, больные, ограбленные — они протягивали руки к Тихику, называя его "владыкой" и "спасителем". Ужаснувшись близости одержимого дьяволом князя и в особенности известию, что Каломела прелюбодействует с ним, женщины истошно кричали, рвали на себе волосы и сыпали проклятиями. И все — и раскаявшиеся богохульники, и праведники — сошлись на том, что в их страданиях повинен князь. И чем долее каялись они и рыдали, тем яростней разгоралась в них ненависть к князю и богоотступнице. Они требовали, чтобы те кровью своею смыли грехи их, очистили, сблизили, снова связали их друг с другом.

24

В этот летний вечер князь играл на кавале¹ старинный праболгарский танец, посвященный коням, праздник которых его прадеды праздновали в начале каждого лунного года. Привалившись к стволу дуба, он вспоминал, как танцевала этот танец покойная Котра. В ее движениях было и буйное конское скакание во время сечи, и вихреподобный бег жеребят по весеннему пастбищу. "Котра понимала и любила коней", — думал князь и, чтобы заглушить воспоминания, играл все громче. Вечер

¹ Народный духовой инструмент типа свирели.

был душен, ни один листок не шелохнется. В сгущающихся сумерках лес, будто покрывшись испариной, пахнул гнилью, дубом и, казалось, ждал, чтобы вечерний ветер остудил его.

Поглощенный музыкой и воспоминаниями, князь не слышал крадущихся шагов. Лишь когда толпа еретиков хлынула к нему со всех сторон, он вскочил на ноги, но было поздно. Бородатый человек с разверстой ревушей пастью кинулся на него. Сибин ударом кулака сшиб его и хотел было схватить свой меч, но тот висел на ветке, и князь не успел до него дотянуться. Донесшийся из хижины пронзительный вскрик Каломелы привел его в замешательство, и в тот же миг он был повержен наземь. Толпа с дикими воплями придавила его, князь почувствовал, что ему связывают руки. Тут услышал он голос своего раба, приказывавшего вязать и Каломелу, а хижину сжечь.

Князя подняли, и он увидел перед собой возбужденную, торжествующую толпу, вооруженную топорами, косами и дубинами, босую, оборванную, смердящую, увидел глаза, горевшие ненавистью и любопытством, услышал крики сгрудившихся у хижины женщин и стоны Каломелы. Женщины дергали ее за волосы, а кто-то тем временем закалывал жеребца, и несчастное животное мучительно ржало.

Тихик распорядился, чтобы женщины вели Каломелу, а мужчины — князя. Их потащили по лесу, держа за концы веревок, коими они были опутаны. Кто-то крикнул, чтобы не прикасались к дьявольской плоти, и все зашептали "Отче наш".

Окровавленный, связанный, толкаемый в разные стороны, князь не сопротивлялся. Толпа валила через лес напрямик, топча кусты, осыпая Сибина бранью. Его хлестали по спине, некоторые смельчаки пытались проверить, нет ли у него под волосами рогов, иные требовали бросить его в хижину и сжечь живьем. Хижина пылала, громко трещал хворост и папоротник, отблески огня плясали на лицах, одеждах и деревьях. Тихик велел мужчинам остановиться возле одного дуба. Тут князю развязали руки и раздели догола. Когда с него снимали пояс, что-то упало в молодую поросль, окружавшую ствол, и Сибин догадался, что это нож, которым он пользовался во время еды.

— Глядите, сколь черна дьявольская плоть!— восклицали еретики.

Князь напрягал мускулы и молчал, поняв, за кого они его принимают. Его привязали к стволу, и Тихик приказал всем читать про себя "Благодать".

— Не дозволено нам убивать безоружных врагов, но ты, слуга Нечестивого, отвергнут законом и велениями божьими. Дьявол потешил господарское твое славолюбие, пробудил беса его, и бес этот вовеки не даст тебе помириться ни с царями, ни с рабами, и не узнает душа твоя сладости смирения и благодати веры. Сатана избрал тебя, язычника и нечестивца, для того, чтобы сеять средь нас безверие и раздор и соблазнять ядом ума твоего и надменностью сердца. По закону общины нашей мы осуждаем тебя на голодную смерть, и чтоб тело твое пожрали дикие звери, дабы не было погребения ни тебе, ни богоотступнице, с коей венчал тебя сатана...

Пока Тихик говорил, князь вслушивался в отдаляющиеся голоса женщин. Шум постепенно затихал. Хижина догорала, вокруг разносился запах дыма.

По знаку, поданному Тихиком, толпа отпрянула. Пчеловод, предложивший обмазать князя медом, чтобы наутро его облепили осы и шершни, побежал сказать женщинам, что велено возвращаться в селение. Выйдя на дорогу, они повернули в обратный путь и громко запели "Да пребудет с нами благодать господа нашего Иисуса Христа..."

Из селения донесся лай голодных собак, и, как всегда при наступлении ночи, гора перерезала небо могучим своим хребтом, в вековых лесах завывали шакалы и молодые волки, дружно заквакали лягушки и закричала выпь...

25

В селении оставались лишь дети да немощные старцы. Собаки встретили своих хозяев радостным лаем, плакавшие дети смолкали, скотина мычала. Возле молельни Тихик велел блюсти тишину и в покои к Совершенному никому не входить. Там было темно, и он решил, что апостол уже лег. Он постучался и, поскольку ответа не последовало, толкнул дверь. Она распахнулась. За нею никого не было. На грубо сколоченном столе среди чернил, красок и орлиных перьев стояла свеча. Тихик высек огонь и зажег ее. Когда помещение осветилось, он понял, что Совершенный покинул общину. На столе лежали пояс с медными бляшками, покрывало и железный перстень. Рядом был разостлан свежееписанный пергамент из заячьей кожи. Тихик наклонился к нему и прочел: "Братьям совершенным и верным..." Тогда он вышел к толпе и приказал разойтись по домам и не выходить за порог, а страже всю ночь ходить вокруг села.

— Завтра соберемся снова, дабы решить, как поступить с Совершенным. А теперь ступайте, исполняйте то, что долженствует христианину, и изгоните из душ ваших тень Рогатого.

Толпа разошлась, все еще возбужденная, думая о том, что происходит с ее пленниками в лесу. Некоторые смеялись, другие были задумчивы и сосредоточенны, третьи говорили без умолку. Женщины утешали себя тем, что красота обнаженной Каломелы есть дело дьявола, что истинной христианке она не присуща и не желанна. Однако зависть их и ненависть понемногу улеглись при мысли, что не пройдет и двух дней, как эта красавица станет добычей диких зверей, и они расспрашивали мужчин, каков из себя князь. Воротившись в свои землянки и лачуги, они добросовестно исполнили свой молитвенный долг, и даже ночью пробуждались для молитвы. Не будучи вполне уверены в том, что совершили благое дело, они молились искренне и гнали от себя неотступно преследовавший их образ обнаженного князя и обнаженной красавицы.

Когда поляна опустела, Тихик сел за стол Совершенного и склонился над черной вязью писмен на пергаменте. Вода своим толстым,

загрубелым пальцем по строкам и шевеля губами, он стал по слогам разбирать письмо апостола. Вот что написал тот.

”К вам, Богдан и Драгия,— совершенным, и к вам, Илия, Драган, Спас и Радул,—верным, сеющим спасительное слово во всех концах болгарской, греческой, латинской и французской земли, обращаюсь я, дабы известить, отчего снял с себя пояс познания и оставляю общину.

Много дней и ночей провел я в раздумьях и духовных борениях, когда на весах брала верх то чаша господа, то чаша дьявола, и это терзало привыкший к равновесию разум мой. Совесть упрекала меня в том, что, не зная истины, я поучал других, и тут дух мой заговорил в согласии с голосом плоти, и разум, возропав, отринул обоих — сатану и бога,— дабы наступило в мире и в человеке единство, дабы пересеклась мука раздвоения. Человек сам есть мера поступков своих, толкователь законов своих и установлений. Я верил, что, когда освобожу людей от бога и сатаны, по неведению сотворенных людским воображением, люди уразумеют, что они сами человекобоги... И я заменил оба эти измышления силами, кои всякий знает и ощущает,— силой сотворения и силой разрушения, изложив все в книге, над коей трудился втайне. Оставляю вам список ее. Поразмыслите, братья, над словами ее без гнева на меня и без боязни соблазниться неверием. Да осенит вас новая правда, мучительная для сердца, но укрепляющая разум для грядущих прозрений, дабы стали вы достойными продолжателями великих мужей — Бояна Мага и Богомила, первыми открывших, что сила разрушения (сиречь дьявол) побуждает людей измышлять различные божества и именем их истреблять друг друга. Это она внушила человеку желание господствовать над себе подобными угрозой смерти, отчего произошел человеческий хаос с восстаниями рабов — голодных против сытых. Сия угроза миру нашему была предугадана и узнана раньше всех болгарами, жившими в те времена общинами, и они первыми восстали против разделения людей на господ и рабов. Они желали вернуть братство и равенство, коими наслаждались до крещения, дабы восторжествовали они по всей земле...

А подтолкнула к этим мыслям меня, Совершенного, посвятившего себя гонимым и преследуемым немилостью царской, девица, облаченная по приказу моему в уродливую рясу, какую носят верные. Я сделал это в надежде помрачить предивную красоту ее и невинность, дабы спасти себя и других от соблазна, ибо, братья мои, не существует большего искушения, чем красота вкупе с невинностью. Я полюбил ее любовью тайной и возвышенной, и любовь эта помогла мне новыми глазами взглянуть на мир.

Человек, живущий лишь собой и для себя, идет к смерти, а тот, кто живет другими и для других, идет к вечности. И, зная эту истину, я не позволял своей любви к сестре Каломеле взять верх над любовью ко всем людям, ибо страшился, что эта любовь отдалит меня от христиан в общине и от божественного, изъясляющего себя, по разумению моему, лишь как правда о мире и человеке. Я осквернил красоту ее ради спокойствия своей души и верил, что это принесет общине мир и благодать. Но вместе с тем сомневался в постоянстве и твердости ее боголюбия, ибо

она была девственницей, не искушенной еще собственной плотью и жившей в неведении о силе ее. Опыт исповедника научил меня, что истинно святыми бывают не наивные, не невинные, а грешники, познавшие силу греха и превозмогшие ее, а невинность, не будучи грехом, есть ложь, ибо она — незнание. Дева бредет по мелководью, у самого берега, а воображает, будто борется с пучиной морской. Великое искушение испытывал я показать ей единство мира, являющего собой переплетение добра и зла, но затем понял, что желание мое есть не что иное, как желание вступить с ней в плотскую связь. И я бы сделал это, так как она каждодневно посещала мою келью — помогала переписывать и украшать новое гностическое Евангелие и с усердием и послушанием прислуживала мне. В бдениях и размышлениях моих терзало меня сомнение: уничтожая уродством красоту ее, не уничтожаю ли я чего-то и в собственной моей душе? Ибо красота, братья, есть отражение силы сотворения в природе и в человеке, обещание доброго и вечного, так что, уничтожая красоту моей возлюбленной, не уничтожал ли я и доброе в ней? Дабы прославить ее, как подобает влюбленному и как поступают по весне птицы и всякая живая тварь, что любит и радуется и славит мироздание, я создал догму о сотворении женщины — обвинил, выставил зверем мужчину, себя. И много других догм измыслил и создал я — о бесах идолопоклонства, о вере в загробную жизнь, о суевериях, человековдохновителях, о скорби человеческой, о собственности, самолюбии и о человеке как о сосуде бессмертия; вы найдете их в книгах моих. Сделалось все это неприметно, от внутренней потребности оправдать свою любовь к деве и восхвалить в ее лице женщину, а стало стройным и разумным, и возрадовало меня, и удовольствовало разум мой. Ибо с давнего времени искал я истину о человеке, искал страстно. Терниями исколол сердце свое, подавлял зов плоти и вопли души, оковами поста сковал тело, в иступленных молитвах молил бога открыть мне ее. Но бог молчал, а был он во мне, в совести, в духе и мысли. Не думайте, братья, что, коль создал я новое учение благодаря любви своей к деве, я должен отречься от него, объявить нечестивым и ложным, внушением дьявольским, как сказали бы несведущие. Напротив, я славлю деву и возношу ей благодарения за то, что красота ее воздействовала на меня, славлю любовь — творца мира и всего сущего и считаю былые проповеди свои об отречении от всего земного заблуждением от неведения своего и душевной слабости, страхом перед смертью и себялюбием. Ибо ничего нет на свете внеличного, будь оно ложным или истинным, и все, что человек создает, он создает благодаря мечте своей и благим намерениям, равно как и благодаря заблуждениям и порокам. Это подобно чаше, переполненной сладостью и горечью. Сильные духом вкушают из нее с радостью, черпая любомудрие и силы для будущего...

Возлюбленная не отдалила меня от божественного — напротив, приблизила меня к нему и вдохновила дух мой на поиски его, а сердце — на то, чтобы с радостью переносить горечь истины и мысль о вечности, так что стал я и более славлюбив, и более снисходителен к братьям моим во Христе. Ибо после того, как скинул я путы с разума своего, небо и земля

уже не противостояли друг другу, и мир показался мне единым во всем и ангелогласным. И показалось мне, что я проник в тайну его и сподобился великой радости, дух мой как бы прорвал запруды и воспарил, точно орел. И возликовал я, братья, и возлюбил, но закралась в сердце мое и печаль от преходящести всего этого, оттого что я смертен, ибо увидел я, что истина, точно мельничный жернов, перемальвывает людей и время, дабы приготовить из них хлеба грядущих времен... Не унывайте, братья, да не смущает вас эта печаль! Она человеческая, великая и чистая, понеже глаголет о самопожертвовании и тлении, но поит сердце любовью, а душу — просветлением...

В те долгие месяцы, когда писал я труд свой и тьма отступала предо мною, дух мой замирал при мысли, что мне предопределено освободить человека от тиранов и возвестить смерть их. Сладкогласная любовь к жизни вызывала слезы умиления на глаза мои. Я верил, что день, когда объявлю я новое учение свое, будет великим днем для мира сего, у человека прибудет сил и возлюбит брат брата, поелику поймет, что сам ответствен за добро и за зло. Я жаждал этого дня, как прежде жаждал удостоиться лицезреть бога-отца, и посему, переполненный новой правдой, редко показывался среди братьев моих и сестер. Этот день наступил — то была среда, середина недели, и я нарочно избрал ее как рубеж, делящий неделю надвое, дабы стала она днем отлучения от бога и дьявола и днем рождения нового человека. Увы, она стала днем отлучения моего от братьев-христиан, днем моего развенчания!..

Я изложил, братья, новое учение свое и, пока говорил и читал, видел, как на лицах проступает страх, недоумение, даже ужас, какой бывает на лицах брошенных отцами детей, привыкших к тому, что их водят за руку. Они не понимали меня и не желали понять, а сами были несчастны, измучены трудом, смиренные, но наводящие страх, ибо не подозревали даже, что кроется в душах их и на что способны они в своем невежестве и черной доле. Они выслушали меня молча, но в молчании этом мне слышался рев. Меня бросало в жар, и капли пота падали на страницы книги, ибо понял я, что новая истина оборачивается против меня и не буду я для них более ни владыкой, ни учителем, а, сам того не желая, искусителем. Я не ошибся.

Сила разрушения разбушевалась той же ночью, ибо она была лишь подавлена силой сотворения, но не уничтожена. Женщины затеяли ночные оргии и пели хвалу сатане, мужчины проклинали бога, опивались ракией, воровали друг у друга. Оргии растянулись на недели. Мне стало ясно, что члены общины дотеле пребывали в постоянной борьбе с силой сотворения, воображая, будто борются с дьяволом, и ныне набросились на запретные радости, к которым издавна стремились и телом и духом. А те, кто не поддались чародействам бесовским, восстали против меня и против нового учения. Не понимая происхождения, они устрашили беспорядка, поверили, что через меня и деву дьявол вселился в них, и возжелали возврата к былым заблуждениям... Трудно, братья, любить этот мир и человека, какие они есть, ежели представляешь себе иной, совершенный мир и совершенного человека! Я хотел освободить их от власт-

вующих над разумом их, но они не могут без властителей. Бог нужен им, чтобы было кому прощать их, а дьявол — чтобы служить им оправданием. Демон разногласия сидит в них, и, что ни сотвори им на благо, они не примут того, не извратив, ибо каждый из них сам измыслил себя и вступил в собственные расчеты с богом и дьяволом и поему не уверует в твою истину. Я же в поисках этой истины ощутил, что любовь моя к ним превращается в жалость, а жалость близка презрению. И если следует сделать выбор, я выберу истину, какой бы она ни была и какое бы зло ни принесла им, поелику знаю, что в конце концов и они придут к ней... Всякая власть кончается неурядицами и произволом, но они не разумеют того, не видят, что уже сделали первый шаг к высвобождению от своих тиранов...

Ныне, братья, остался я в одиночества, понеже и дева покинула меня. Она бежала в лес к преславскому князю Сибину, любодею, язычнику и изгнаннику, к коему я ревновал ее. До сей поры она жила мечтой о небе и ныне кинулась в объятия Сибина, дабы в плоти обрести утешение.

Коль хотите, забудьте, братья, своего Совершенного апостола Сильвестра, крещенного мирским именем Искрю, — раба самого себя, рожденного в Каменце, снявшего пояс заблуждений, дабы опоясаться другим, невидимым поясом истины, и не проклинайте его человеческой гордыни...

Пока я дописываю сии завершающие строки, безумцы по призыву брата Тихика, не ведающего, что для того чтобы стать Совершенным, потребны не только добродетели, но и мудрость, направились в лес, дабы схватить князя и деву, ибо в заблуждении своем считают их Сатанайловыми посланцами, виновниками их погрешений, внушителями нового учения..."

26

Долго водил Тихик пальцем по строчкам, не слыша лая псов и воя шакалов. Тонкие восковые свечи догорали одна за другой. Слова апостола точно молотом били по неверчивому житейскому уму раба — помрачая его здравый смысл, уводя мысль за земные пределы. Будучи в грамоте самоучкой, он с превеликим трудом разбирал слова и вникал в написанное. Но Тихик упорно стремился понять до конца господарскую тайну. Добравшись в конце концов до последней строчки, вспотевший от усилий и жары, он облегченно вздохнул и свернул пергамент. "Ложь это и дьявольское наущение, вздор, ибо смешивает добро и зло воедино. Подобной истины быть не может... Желал, видишь ли, освободить человека от бога и дьявола, дабы стали они богочеловеками! А какой мерой будем мерить мы дела свои? Всяк станет сам измышлять, что есть добро и что зло, как и случилось в общине. Как обеспечить порядок и хлеб насущный?.. Сам признает, что не терпелось ему вступить в плотскую связь с нею, а толкует о пташках божьих и проливает над

человеком слезы!.. Захотелось тебе, апостол, освободить себя от долга, дабы блудствовать без угрызений совести, и не узрел Рогатого”, — рассуждал Тихик, опровергая одну за другой мысли из послания Сильвестра и радуясь тому, что так легко разбивает их в пух и прах. ”Похваляется, что возликовал и возлюбил, а между тем признается, что, познав истину, предпочел ее благу христиан и что любовь его к ним превратилась в презрение... Нет, не обмануть меня ни совершенным миром, ни совершенным человеком! Лишь бог совершенен, ему одному ведомо совершенство, а ты прекрасно знаешь, что не будет тебе прощения, хоть ты и украсил свой грех всякими словесами и обольщаешь нас, суля свободу от зла и добра. Бог против тебя — тот, кто не признает в дьяволе подстрекателя ко злу, не имеет нужды и в божестве. Что касается ослепившей тебя красоты, она принадлежит блуднице. С помощью ее Лукавый побудил тебя смешать добро и зло в мерзкое и грязное питье... Не ищешь ты истины для человека, а стремишься перехитрить господина и низвергнуть его, дабы возвыситься самому... Так Рогатый обманывает вас, господа! Вы ищете спасения от всевышнего, но, понеже он против вас, отрицаете его и провозглашаете богами себя, дабы властвовать над нами во веки веков!..”

Быть может, Тихик продолжал бы и дальше разбирать послание апостола, пока не отверг бы все до последней строчки, ибо нет выше наслаждения, чем отвергать чей-либо ум и тем возвышать себя, но его охватило вдруг подозрение, что Совершенный отправился в лес, чтобы развязать Каломелу и бежать с нею. Он задул свечу, запер дверь и, сказав страже, что обходит селение, проверяя дозоры, направился в лес. Над горою сверкнула молния, гулко прокатился гром. Торопливо шагая к лесной дороге, Тихик подумал, что следовало взять с собой кого-нибудь из стражи — иначе как он задержит апостола, если застанет его! По закону общины развязавший осужденного должен понести такое же наказание. Неужто оставить Совершенного на свободе? ”Воистину, что вознамеряюсь я сделать?” — спросил себя Тихик и тут же понял, что Рогатый вошел в него: ненависть и ревность превратили былую любовь к ангельской весте в нечистое любопытство, в смутный умысел против нагой и беспомощной грешницы... ”Господи, помилуй!” — простонал Тихик, но не умерил шага, продолжая уверять себя, что идет исполнить закон общины.

Пока он отыскивал дорогу, новые раскаты грома сотрясли небеса, обрушив их ему на голову. Но Тихик не испугался, ибо рассудил, что это дьявол, создатель зримого мира, пытается помешать ему. Сатана предостерегает его, чтобы он повернул вспять. Лукавый проник в кровь его, но, поскольку он разгадал это, тот поднял бурю и наверняка остановит ее, если Тихик откажется от бога, развяжет грешницу либо согласится с пагубным учением Совершенного. ”Благослови и пощади, владыка!” — пересохшими губами шептал Тихик. Ноги несли его против воли, взор блуждал. При каждом ударе грома ему казалось, что он видит белую плоть грешницы. Он с удвоенным усердием стал читать ”Отче наш”, и молитва, оберегающая от опасностей в пути, вдохнула в него силу и

волю. Нет, он шел не для того, чтобы увидеть обнаженную Каломелу, насладиться муками ее и неминуемой смертью, — он шел, дабы прогнать нечестивца-апостола, Сатанаилова раба, чьего языка он опасался, отчего и не хотел судить его в присутствии братьев. Полный ожесточения, он вооружился палкой и вскоре вышел на то место, где они пели "Благодарь". Где-то неподалеку находилось дерево, к которому была привязана Каломела. Тихик прислушался, не донесется ли стон или другой какой звук. Стояла непроглядная тьма, бесновался ветер, а когда проносились молнии, казалось, лес шатается. И деревья выглядели нечистыми духами. В довершение всего хлынул дождь, и Тихик начал терять надежду, что найдет осужденную. Перебегая от дерева к дереву, он наконец достиг небольшой поляны. Тут ему послышался человеческий голос, и вслед за тем в ядовито-зеленом свете молнии он увидел высокую фигуру Совершенного, склонившегося над чем-то белым. Не вполне уверенный, что это ему не почудилось, он подождал. Громовые раскаты следовали один за другим, и теперь Тихик явственно увидал, что апостол поднял с земли Каломелу. Он, должно быть, только что развязал ее, и она лежала на его руках без чувств, а может, была уже бездыханна. Совершенный шел прямо на Тихика. Тот ощутил, что ревность душит его, превращается в физическое страдание. Он замахнулся палкой, готовясь обрушить ее на голову апостола. Тут новый раскат грома разорвал небо, молния залила все вокруг ослепительным светом, и в этот миг из чащи выскочил нагой князь и ринулся с ножом в руке на апостола. Апостол закричал, выпустил Каломелу и упал навзничь. Глаза у Тихика стали по-кошачьи зоркими — до того ясно видел он, как князь стаскивает одежду с убитого. Он снял с него рясу, потом, ставив подрясник, надел его на себя, завернул Каломелу в рясу, взял ее на руки и исчез за деревьями...

Гроза усилилась, дождь лил как из ведра. "Свят господь, свят и пресвят", — шептал Тихик, отбивая поклоны, убежденный в том, что это вмешательство господя. Слуги дьяволовы истребляют друг друга, и Совершенного постигла кара. Он дождался, пока стихнет гроза, и, когда над лесом выплыл серп луны, подошел взглянуть на убитого. Апостол лежал нагой. Белое тело его было изящным, худощавым — тело святого и аскета. Тихик заглянул в глаза, которых никогда не видел прежде, и в ужасе отпрянул. Под высоким красивым челом глаза Совершенного были большими, глубокими и страшными, как глаза сатаны...

Потрясенный, но исполненный уверенности, что находится под защитой божьей, Тихик возвратился в селение и, едва рассвело, повел еретиков к пещере, зная, что князь, не имея ни коня, ни оружия, только там мог найти приют.

27

Медвежья шкура, к счастью, была в пещере, и князь положил Каломелу на нее. Надо было зажечь факел. Не имея огня, он принялся тереть один о другой сухие прутья, оставшиеся от костра, который он когда-то здесь разжигал. В конце концов сено вспыхнуло, и факел осве-

тил завернутую в рясу Каломелу. У нее был разбит нос, один глаз вздулся чудовищным синим грибом, лоб рассечен кровоточащей раной, губы разорваны. Мокрые волосы, спутавшиеся, выдранные, обмотались вокруг шеи. Женщины кололи и рвали ее вилами, синие следы от веревок переплелись с кровавыми ссадинами и ранами.

Огонь ярости опалил князя. Укрепив факел на стене пещеры, он отнес Каломелу к источнику, чтобы обмыть ее раны. От теплой воды она вздрогнула, руки ее конвульсивно дернулись. Неповрежденный глаз открылся и посмотрел на него — ее немой вопрос придавил князя тяжелой, чем камень. Видно было, что она пытается что-то сказать. Потом вдруг всхлипнула и отчетливо произнесла: "Сжался, сжался, владыко!" Ее обезображенные губы зашептали молитву. Князь понял, что она порывает с ним и возвращается к своему богу. Он слышал, как она говорила: "Где небо, отчего я не вижу его?.. Ты сатана, княже, ты отдал меня змею..." Потом она опять потеряла сознание... Сквозь рокот воды в пропасти Сибин различил ее хрип, увидел, как изо рта выбежала струйка крови. Он вынул Каломелу из воды, отнес опять на медвежью шкуру и, сняв с себя подрясник, надел на нее, а сверху прикрыл ее рысой.

Дымящийся факел бросал свет на его смуглое нагое тело. Сидя на выступе скалы, князь размышлял о том, что предстоит ему. Надо ждать тут, пока Каломела оправится либо умрет. Тогда он наденет рясу, пойдет в ближайшее село, украдет коня и верхом тайно проберется в Преслав. Там он раздобудет все необходимое, возьмет Эрмича и других верных людей, чтобы перебить еретиков и сжечь их селение... Его скованное яростью сердце стало железным, мысль — безоглядная и жестокая — пыталась рассечь нелепую петлю, захлестнувшую его. Несчастная Каломела, воистину ли раскаивалась она, воистину ли считала, что еретики вправе поступить так с нею и с ним?.. Какой слабой тростинкой сотворил ее создатель... Страдания повергают ее в покорность и страх... Мечется между дьяволом и богом, ища спасения и отрицания то одного, то другого... Готова признать уродство благом, охаять, предать поруганию, растоптать красоту оттого, что красота обесценивает добродетели...

Израженный, полумертвый от усталости, князь дрожал от холода. Неимоверными усилиями высвободился он из пут: перегрыз веревки зубами, а руки освободил благодаря ножу, упавшему к подножию дуба. Когда его привязывали, он нарочно напряг мускулы и выпятил широкую свою грудь, а когда толпа отдалилась, налег на старые, гнилые веревки, составленные из многих обрывков, и ослабил их.

В ногах у него сейчас блеснул нож, обогранный кровью Совершенного. Сибин смотрел на него невидящим взглядом. Вот он и убил наконец ненавистного монаха, святого обманщика, теперь оставалось убить раба... Каломела назвала его сатаной и змеем — значит, всегда считала его таковым... Да, таков он и есть, ибо не поверил ни в византийского Иисуса, ни в бога еретиков... Следовало бы верить только в Тангру, мужественного, благородного и справедливого Тангру, не терзающего ума и души, дозволяющего убивать все, что ненавидишь, что не покоряется тебе и грозит тебе гибелью... Нет иного бога, кроме бога твоих прадедов,

а ты давно, давно порвал с ними... Между тем без них ты ничто! Призрак, чужак, непонятный и далекий...

— Она умрет, — думал князь. — И лучше ей умереть, потому что, выздоровев, она вернется к еретикам либо же пострижется в монахини и будет ненавидеть меня за те беды, которые якобы я навлек на нее. Тогда она превратится в настоящую святошу...”

Факел потрескивал, пламя его лизало камень. Сибин смотрел на обезображенное, еще вчера прекрасное лицо, на поруганную любовь свою... “Любовь? Любовь была к Котре. Здесь же было обладание, нелепая жажда некоего искупления, обман для обоих...”

Светало, а князь по-прежнему сидел, погружившись в думы, и слушал, как хрипит раздавленная грудь его невенчанной жены. Он встал, приложил руку к ее лбу. Лоб горел.

Снаружи стукнул камешек, в утренних сумерках у входа в пещеру мелькнула чья-то серая тень. Князь схватил нож, затаился в узком проходе и стал ждать. Немного погодя послышался голос его бывшего раба:

— Выходи, слуга дьяволов! Все равно не уйдешь от нас, ни ты, ни сука твоя!

Еретики плотно сгрудились в нескольких шагах от пещеры, угрожающе воздев колья, топоры и дубины. В руках у Тихика было копье князя, пчеловод натягивал тетиву лука, еретик, стоявший возле, размахивал мечом.

Сибин не отзывался.

— Может, нет их тут, — произнес кто-то.

— Дьявол увел.

— А ежели сам дьявол таится внутри? Спаси нас, господи, и помилуй!

— В пещеру не входить! Подносите камни и бревна! — приказал Тихик.

Еретики затаили свои молитвы, и с вершины скалы покатались камни. Некоторые принялись рубить соседние деревья, заваливая вход в пещеру.

— Проклятье тебе и роду твоему языческому, семя Сатанаилово! — восклицал каждый, прежде чем подкатить камень или бревно. — Проклятье!

Женщины тоже пришли и помогали бросать камни; все глуше доносились до князя удары топоров и стук камней. В пещере стало темно, лишь через верхнее отверстие струился свет, и кусочек неба отражался в голубоватой воде родника.

Заваливали пещеру весь день. Еретики не знали устали. Они пели свою “Благодать”, осыпали узников проклятьями и зловещими предсказаниями из своих тайных книг. К вечеру, замуравав пещеру, они, довольные, ушли.

Каломела не приходила в себя, и князь долго сидел над нею, догадавшись об ожидающей его участи. Вылезть в верхнее отверстие было невозможно: скала была высокой и гладкой. Оставался лишь один выход — ввериться подземной реке в надежде, что она вынесет его на поверхность.

Близился час, когда он либо "услышит шум вечных вод" и навсегда останется под болгарской землей, прячущей в недрах своих тысячи своих и чужих духов, либо вновь увидит свет солнца. Тем не менее он решил не торопиться и, покуда еще есть силы, попробовать расчистить вход в пещеру. Однако камням не было конца, и, сколько ни отгребал он внутрь, они напоздали все такой же плотной стеной. Еретика, по-видимому, насыпали целый холм...

На другой день, когда силы оставили его и он убедился, что старания его беспредельны, он решил ввернуть себя воде. Снова была ночь, и снова были в лесу молодые волки. Сибин поднял на руки умирающую Каломелу и направился к пропасти, где рокотала и дымилась подземная река. С устрашающим ревом поглотила темная бездна Калоянова воина, сраженного византийским Иисусом, против которого народ воздвигал своего, еретического бога, равно неприемлемого для князя преславского.

Тихик привел общинников к телу Совершенного, дабы они сами убедились, что дьявол вошел в него. Он показал мертвые глаза его, и все увидели, что они серые, в темных прожилках, огромные и страшные, ибо из их глубин еще пристально смотрел демон мысли.

— Бог осудил его. Я был прав, — говорил Тихик. — Теперь пойдем в молельню и помолимся.

Покорные и смиренные, еретики усердно возносили молитвы, и каждый исповедался в своих грехах. Прежде чем определить наказания, Тихик вошел в покой Совершенного, взял пояс познания и покрывало и, став перед символами тайн, сказал:

— Кто из вас будет отрицать, что господь мне определил быть спасителем вашим? Кто будет отрицать, что это я раскрыл, как проник сюда дьявол? Кто иной может объяснить вам страдания ваши и показать, откуда простекли они? Вы сами видели, каков был Совершенный, как обманывал он вас, а благодаря мне вы погребли слуг Сатанаиловых. Здесь присутствуют братья, удостоенные звания верных. Пусть скажут они, что сделали для вашего спасения. Они стояли в стороне, меж ними и сейчас есть готовые поверить в новое Евангелие и поддаться сомнению. Братья и сестры, веруйте в царствие небесное и никогда не пытайтесь узнать, как выглядит оно вблизи, ибо сатана поймает в свои сети умы и души ваши. Предопределено человеку бороться с дьяволом до дня Страшного суда, а не судить, ропща, о помыслах божьих. И коли сам бог избрал меня для спасения вашего и вразумил меня, не означает ли это, что он дал мне познание и я должен опоясать себя этим поясом?

— Истинно говоришь ты! Стань владыкой нашим, посредником между нами и богом! — отвечали еретики.

— Тогда пусть братья верные рукоположат меня в Совершенные, — сказал Тихик и сам опоясавшись поясом познания.

— Веди нас, пастырь и наставник, и храни нас от чародейств бесовских. Веди нас, карай за грехи наши и очищай от них. Стереги души наши

от искушения, а тело от злых духов! Веди нас к царствию небесному!— взметнулся нестройный хор голосов, и верные выступили вперед, чтобы совершить таинство рукоположения.

Так брат Тихик сподобился власти во имя разума и благополучия общины и спрятал за покрывалом лицо, хотя все знали, какое оно. Но с того дня он жил в постоянном страхе, что сатана помог князю выбраться из пещеры, так как долгое время ходила молва, что видели преславского князя — он бродит по всей болгарской земле то как страшный разбойник, то как несчастный, одинокий странник, неустанно ищущий своего бога...

И если сатана сатану изгоняет,
то он разделился сам с собою:
как же устоит царство его?

Евангелие от Матфея, глава 12

1

Препоясавшись поясом познания, Тихик приказал закрасить в модельне таро и написать там Страшный суд. "Ибо,— говорил бывший раб, набравшись мудрости в той же мере, что и недоверия к человеку,— меч, вонзенный в раскрытую книгу, хлеб, чаша с вином, человек о трех рогах и прочее — это Сатанаиловы знаки, измышленные слугою дьявола Сильвестром, и я диву даюсь, как могли мы столь долго терпеть их. Они рождают смуту от неведения и устремляют мысль к Рогатому и царству его. Все уже сказано в Тайной книге, нет надобности ни изымать что-либо, ни добавлять, ни толковать иначе, чем общепринято, ибо всякое новое толкование рушит понятия и грозит добродетелям. А добродетели тем истинней, чем они неизменной и долговечнее, чем более подобны злату".

Многие настаивали, чтобы деревянные стены были побелены, ибо белизна способствует благочестивым помыслам и вызывает в воображении одежды ангельские, но Тихик не согласился с этим, заключив, что вместо белой стены человеку лучше иметь перед глазами и перед мысленным взором некий образ, дабы посредством его соединиться с себе подобными, ибо свойственно всем нам через образы, звуки и краски тешить себя загадкой мироздания и собственной нашей души. Однако не следует забывать, что земля есть творение дьявола, посему пусть каждый зрит Страшный суд и стремится спасти свою душу.

Но не только по этой причине следовало заменить таро. Прежние понятия еретиков были поколеблены и запутаны учением апостола Сильвестра, а земная сладость беснований, равно как и муки, испытанные беженцами, рождала в умах новые искушения и склонность к бунту. Тихик страшился тайной этой заразы, которую его паства вряд ли осознавала. Нужно было вернуть людей к добрым старым понятиям о том и этом свете, изложенным в Тайной книге, чтобы навсегда забыли они о князе Сибине, Каломеле и, главное, о мудрствованиях Сильвестра. А дабы свершилось сие, нужно, чтобы владел ими страх, ибо страх есть преграда греху.

Поразмыслив, Тихик пришел к убеждению, что, помимо Страшного суда и кары божьей, не меньший страх должен внушать людям и он сам. Для этого требовалось, чтобы все позабыли, каким он был прежде, до той поры, когда препоясался поясом познания. Ему следует изменить походку свою и речь, приобрести господскую осанку, пусть не такую, как у князя Сибина, но все же владычeskую. Долго предавался он таким раздумьям, а под конец поразился тому, что осанка образуется как бы сама собой, ибо за короткие, считанные дни владычества у него и походка изменилась. Хоть и был он убежден, что прогнал сатану и по праву надел на себя пояс познания, в недоверчивом его уме неожиданно возникли сомнения, страхи и тревога. Помимо боязни, что князю удалось выбраться из пещеры, терзала его мысль об опасности, которая грозила ему от приближенных и верных, посланных апостолом Сильвестром сеять семена нового учения. Если те праведники вернутся в общину целы и невредимы, вновь в умах может начаться брожение. Тихик надеялся, что царские люди переловят их на дорогах и перебьют, тем избавив его от нового раскола и борьбы. "Неужто я должен желать смерти заблудших братьев моих, господи?— вопрошал он бога, мысленно творя при этом молитвы.— Но ведь зло, которое причинят они, будет злом и для тебя, и для всей общины. Да падет грех на голову того, кто сбил их с пути истинного". Так отстранял он от себя злонамеренный помысел и предавал прежнего Совершенного суду божьему, полагая себя слугой, который умывает руки и предоставляет господину карать виновного, ибо сказано: "Мне отмщение, и аз воздам". С другой стороны, земля полнится ересями, заблуждениями, всяческими соблазнами, и те, кто скитается по ней, разносят плевелы греха, как зачумленные разносят болезнь. Добродетели, подобно цветам, цветут лишь на родной почве и вянут, будучи сорванными. Вот отчего не следует христианам покидать общину, дабы не соблазниться мирскими кознями, и ко всякому, вновь прибывающему к нам, надлежит пристально приглядываться.

Так рассуждал Тихик в первые дни своего властвования, еще не распознав опасностей, какие проистекают отсюда, и не успев еще свыкнуться с черным покрывалом. Однако наибольшей его заботой оставалось пропавшее Сильвестрово Евангелие. Трбовалось отыскать его и как можно скорее предать огню, дабы не смущало оно умы паствы.

В напряженные те дни, поглощенный событиями, он совсем упустил из виду послание Совершенного, где тот писал, что оставляет братьям список Евангелия. Из этого следовало, что существуют две книги. Теперь, перечитав послание, Тихик встревожился. Он обшарил пропахшие целебными травами и восковыми свечами шкафы, где хранились орлиные перья и чернила из бузины, но нигде не обнаружил опасных книг. Взмокнув от волнения, он облизал все уголки и укромные места, заглянул под половицы, даже глиняную посуду в кухне не оставил без внимания. Еще более встревоженный, он сел и стал думать, где же еще могут быть проклятые Евангелия. Не унес ли окаянный Сильвестр их с собой? Быть может, они где-то в лесу? Или из любви к Каломеле он отдал их ей,

чтобы она восхитилась глубиной его разума?.. Ломать над этим голову не имело смысла, и Тихик, привыкший за свою жизнь действовать не откладывая дела в долгий ящик, опустил на лицо покрывало и крадучись вышел из селения.

Тишина леса оскорбила его. Творение дьявола безмолствовало, словно и не было свидетелем тех страшных событий, что разыгрались здесь тому несколько дней. Неужто вовсе безразлично Рогатому, что трое его сподвижников нашли здесь смерть? Ни единого следа не осталось на той поляне, где князь убил Совершенного. Ветерок снова трепал мягкую травку, будто ласкал ее; как и всегда, жужжали букашки, и это жужжание говорило об упоении жизнью; не жились на солнце дубы. Дьявол, мерзостный создатель всего этого, молчал, будто погруженный в сон с самого сотворения мира, притворно-кроткий, равнодушный ко злу, искушая покоем и суля блаженство и благоденствие. И был этот лживый мир столь прельстителен, что и сам Тихик наслаждался, вдыхая ароматы дубовой рощи, хотя, будь то в его власти, он уничтожил бы эти ароматы, эти травы, зверей и птиц — дьяволы творения. Возле дерева, к которому была тогда привязана обнаженная Каломела, он увидел обрывки веревок и ощутил у себя в крови жало похоти. Чтобы вытеснить из памяти сладостную белизну девичьего тела, в ярости против Нечистого, который и тут вмешался, желая унижить достоинство пастыря божья, Тихик стал вслух читать "Смилуйся, владыка..." и, присовокупив к молитве проклятья сатане, поспешил убраться из леса. Он шагал, пугаясь в полах рясы, и отогнал от себя образ Каломелы. Отчего неотступно пребывала она в его мыслях, оттого ли, что он испытывал к ней жалость? "Спаси и помилуй, господи, избавь от образа ее!" — шептал Тихик, негодуя на себя, но утешаясь тем, что никто не видит недостойного его смятения.

В таком состоянии духа вошел он в свой покой, с силой ударил кулаком по столу, сколоченному из нестроганных досок липы, надеясь этим прогнать из головы Каломелу, и вновь предался раздумью. Он уверил себя, что если князь и впрямь отыскал те вредоносные книги и спрятал в пещере, то они погибли вместе со слугами Сатанаиловыми, и тревожиться не о чем. Но поскольку он все еще чувствовал похоть и хотел найти оправдание своей беспомощности перед ней, то стал корить господа, что не лишил он человека воображения, которое и влечет к дьяволу. "Отнял бы язык у нас или хоть иные словеса, дабы недоступны были мы искушению. Отчего не сделал ты так?" — вопрошал он, а под конец, убедившись, что разум бессилен дать ответ, вспомнил, что, когда Каломела бежала из селения, Сильвестр призвал одного из братьев по имени Назарий, чтобы тот украсил его сочинения. Ныне Назарий писал в молельне новое таро.

Тихик имел свое суждение об этом брате — считал его чудным и никчемным, коему не уготован престол ангельский. Назарий был светловолос и худощав, с редкой бородкой и рыжеватыми усами. Был он нездешний, пришел в селение вскоре вслед за беженцами, поселился в самой убогой землянке, но, несмотря на окружающую грязь, казался

необычно опрятным, словно никакая нечистота не могла пристать ни к его одежде, ни к нежной его белой коже. Он не участвовал ни в беснованиях, охвативших общину, ни в расправе над князем, держался всегда в стороне, и Тихик не считал его истинным христианином, но, поскольку тот оказался богомазом, принял в общину.

Тихик послал мальчика сказать брату Никифору по прозвищу Быкоглавый, который был ныне экономом вместо него и на ком лежала забота о хлебе, чтобы тот велел Назарию прийти. "Он мог утащить ту скверность к себе, дорожа тем, что намалевал на ее страницах. Вот так вместе с художеством приемлет человек и змея", — подумал Тихик, садясь за стол.

Несколько минут спустя Назарий постучался в дверь покоя, поклонился и смиренно встал на пороге. Сквозь отверстия в покрывале Тихик всмотрелся в него, как всматривался во всех братьев, оценивая их с высоты своего нового положения.

Волосы у богомаза ниспадали на плечи шелковыми прядями, концы их завивались и блестили. Глаза под высоким, выпуклым лбом излучали лазурный свет. Казалось, этот свет струился из самой его души, прозрачной и лучезарной. Взгляд у Назария был кроткий, но зоркий, и Тихик еще пристальнее вгляделся в этого человека. У него мелькнула мысль, что эта лучезарность словно стеклянный щит, за которым скрывается либо скудоумие, либо какое-то особое помешательство.

— Ты украсил богомерзкие сочинения того грешника, брат, — сказал Тихик. — Это великий грех, за который нам надобно молить небесного отца о прощении. Раскаиваешься ли ты в сердце своем?

— Отчего же? В чем мне раскаиваться, владыка? Он повелел мне украсить книги, и я сделал это с тем тщанием и любовью, с какими сейчас пишу новое таро, — спокойно отвечал Назарий.

— Разве безразлично тебе, что ты пишешь — внушено ли оно духом святым или то враг человеческий ослепляет тебя?

— Я изобразил то, чего желал он, изобразил так, как виделось мне сердцем, владыка. Не есть ли художество сила божья, дарованная нам для того, чтобы вести к истине?

— Замолчи! Ко греху ведет оно, ибо искушает подобием истины. Принеси мне эти твои рисунки. Я должен посмотреть их, прежде чем определить меру твоего прегрешения, — сказал Тихик.

Назарий ушел, и Тихик подумал, что он вернется с одной из тех вредоносных книг. Однако вместо книги Назарий протянул ему выделанную заячью кожу с узором, перенесенным потом на страницы Сильвестрова Евангелия. Как Тихик ни расспрашивал, он так и не выведал, где же находятся книги. Художник уверял, что не видел их с того самого дня, когда передал их прежнему Совершенному, и Тихик не мог понять, ложь это или нет.

— Гляжу я, брат, как сверкают твои глаза, и спрашиваю себя: божественный ли то свет или отражение дьявольской силы, что сидит в тебе? Глаза христианина должны смотреть смиренно, а у тебя глаза расширены, словно видят они не то, что рядом, а глубоко сокрытое в твоей

душе, и невдомек мне, что же это. Поразмысли, ибо никому не должно отличаться от прочих, дабы не рождалось ни зависти, ни соблазнов. А теперь ступай и моли господа даровать тебе разум и смирение,— сказал Тихик и, оставшись один, развернул на столе заячью кожу. Он размышлял, что за человек этот Назарий, и тщетно силился впустить его в свое сердце. Художник был ему чужд во всем, зоркость Назария внушала страх, и Тихику вспомнилось, что точно так же был ему чужд и Сильвестр. "Вот она, самая великая пакость сатаны — не схож человек с человеком, оттого-то так трудно править людьми. О господи, разноязыко стадо твое и различинно! Назарий и тот волхв Сильвестр схожи между собой. У Назария в глазах тот же пламень и та же зоркость. Надобно быть с этим чужаком настороже, мало ли что у него в голове... Но если тех книг он не брал, значит, унес их князь..." Успокоившись, Тихик стал размышлять о том, как поправить в общине пошатнувшиеся дела и ввести повседневную жизнь паствы в прежнее русло.

2

Если б он мог поглубже вникнуть в суть своей власти, то убедился бы, что всякая власть есть борение с господом, ибо человек носит в себе дух богоборчества.

Но Тихик не понимал того, да и не согласился бы принять за истину, потому что бог был до крайности необходим ему, чтобы править паствой. Хотя и смутно, он сознавал, что никакая власть не может существовать, если не опираться на нечто более возвышенное, чем она сама.

Вечером, после разговора с Назарием, он заперся у себя в покое, но, сидя в темноте и прислушиваясь к возне мышей на чердаке, так и не сумел сосредоточиться — ему все время чудилось, что из угла устремил на него свой страшный взгляд отец Сильвестр и, посмеиваясь, читает его мысли. Тихик понял, что тут он не сможет обдумать, как быть дальше, вышел из покоя и направился к землянке, где жил прежде. Там, под толстой балкой, что поддерживала кровлю, с которой клоками свисала солома, среди запаха папоротника и гнили, к которому примешивался запах и собственного его тела, он лег на топчан и вздохнул с облегчением. Теперь, наедине с собой и своим прошлым, он мог без помехи размышлять, не смущаемый сатанинскими очами того, кто помутил людской разум. Здесь он чувствовал себя отъединенным от других обитателей спящего селения не только потому, что был их владыкой и носил пояс познания, но и потому, что здесь Тихик был Тихиком и нынешним, и прежним — княжеским рабом, преданным и добрым экономом, спасителем, а под конец владыкой, накопившим житейской мудрости и недоверия. Лежа на спине, он вверил себя своему земному, трезвому рассудку. Мысль его блуждала от хижинки к хижине, от лица к лицу и силилась проникнуть в душу каждого из его паствы. С какими думами, с какими надеждами отошли эти люди ко сну после изнурительных днев-

ных трудов? Молились ли они с усердием этой непроглядной ночью, когда даже собаки примолкли и слышатся лишь стенания ночных птиц? Либо завтра в молельне будут лгать, что исполнили свой долг перед господом? Чем помогла им молитва? Побуждала ли чувствовать себя слабыми и виновными, покорными и смиренными? Не поверяли ли они друг другу нечестивые помыслы, которые овладевают ими во время бунта и беснований? Не сохранились ли в их сердцах корни дьявольских искушений, а те, у кого были жены, не предавались ли плотским утехам? Как вознамерились поступить те, кто лишился волов и жалкого скарба, — не готовились ли похитить у соседей недостающее? Сколь многосложно царство дьявола, какая тьма окутывает его и что за существо есть человек?

Такие мысли заставляли его вглядываться и в себя — выходило, что все известное ему о человеке он знает через самого себя. Тихик почувствовал, что его бросает в жар, и воскликнул: "Нет, нет, не я это! Это дьявол! Изыди, сатана!" И, отогнав сомнения и недоверие к человеку, обратив их против дьявола, Тихик испытал облегчение, подобно страннику, преодолевшему препятствия долгого пути. Он отдувался, сопел, закидывал ногу на ногу, ворочался на лежанке и, ожесточив свою волю для борьбы со злом, пришел к заключению: надо переписать всех христиан — и прежних, и тех, что прибыли в общину недавно, вместе с беженцами, отделить от них верных, приблизить к себе и велеть им доносить обо всем, что происходит в селинии. Он рассудил: чтобы управлять людьми, надобно знать не только их дела, но и сокровенные помыслы, их тайны, даже сновидения, ведь человек подобен подземным ключам — никто не ведает заранее, когда и где они забьют.

Он решил завести строгий учет зерна и плодов, следить, кто исправно посещает моления и все ли молятся семижды в сутки, решил самолично изучить пороки каждого брата и сестры и безжалостно изгонять из общины неисправимых. Имея привычку всякую работу делать усердно, Тихик вслед за каждым принятым решением загибал свои толстые пальцы и под конец заключил, что покамест это меры наиболее разумные, а затем незаметно погрузился в мечтанья, как бывает с хозяином уже засеянной нивы.

Ему представилась благоденствующая, мирная община, с новыми жилищами, новыми нивами, отвоеванными у леса, он видел себя меж братьев и сестер, из благоговейного страха перед черным его облачением они уступают ему дорогу и следуют за ним, счастливые, в ожидании чистой радости от общей молитвы. "Братья, — шептал Тихик, упоенный и растроганный будущими своими деяниями, — как отраднo, что меж нами царит любовь и каждый из нас на пути к престолу ангельскому! Мы с вами — твердыня божья, и дьявол противу нас бессилен... О, не благодарите меня, благодарите всепобеждающего господа, что дарует нам просветление и блага, я лишь слуга его..." Столь трогательным предстало перед ним будущее, что слезы умиления навернулись на его глаза, а грудь распирало от любви к пастве. Он поклонялся перед богом, что будет радеть людям не щадя себя, и любовь боролась в нем с ожесточением

против грехов их и несовершенства, а мысль о грядущих трудах возвеличивала его в собственных глазах как страстотерпца. Под конец, успокоенный, убежденный в верности своих заключений и стойкости собственной воли, он покинул землянку, решив приходить сюда всякий раз, когда понадобится принять важные решения.

Он не хотел быть замеченным и точно тень проскользнул между лагунами, откуда доносился храп спящих людей. Голодные псы погнались за ним, летучие мыши ткали свои незримые сети, ночная птица пролетела, как нечистый дух, над самой его головой. Страшно было творение сатаны, но Тихик был крепок в вере. Ноги сами несли его к покою Совершенного, мысль о предстоящей схватке с дьяволом наполняла сердце мужеством, и ему казалось, что он шагает в самую преисподнюю, неколебимый и недоступный злему духу.

Он уже видел впереди неясные очертания своего обиталища, как вдруг раздался шум шагов. Тихик поспешно опустил на лицо покрывало. Из темноты вынырнул какой-то человек, поравнялся с ним и слабым голосом стал читать молитву. Был он огромным, оборванным и страшным. Опирался на длинную палку, торчавшую у него над плечом. Сбоку что-то топырилось, и Тихик догадался, что это торба. Совершенный ответил на молитву незнакомого, дважды прочитав "Отче наш". Оба отбивали поклоны и повторили молитву еще несколько раз.

— Кто ты, брат? Зачем бродишь во тьме, точно призрак? Чего ищешь?— спросил Тихик.

— Тебя ли я вижу, владыка? Я Радул,— хриплым голосом произнес тот в ответ.

Он задышался, Тихик слышал тяжелое его дыхание.

— Радул?.. Откуда идешь?

— Издалека, из-за Искыра, владыка. Искал тебя, стучался в дверь твоего покоя... Ноги, ноги больше не держат...

— Отчего ты один, где остальные?

— Души — у отца небесного, а тела погребены неведомо где людьми Сатанаилова царя Борила.

— Слава всевышнему!— воскликнул Тихик, невольно возблагодарив Бориловых слуг.— Ступай за мной!

Они вошли в покой Совершенного.

— Зажги свечу, владыка... Душа жаждет хоть искорки света... Совсе ослаб, говорить — и то нет мочи...

Тихик высек огнем искру, поднес пучок соломы и засветил свечу.

Теперь он мог рассмотреть верного. Тот был без башлыка. Из-под рваной шапки выбивались грязные пряди волос. Ветхая заплатанная ряса висела на тощем теле, как на пугале. Несчастное, отупелое от перенесенных страданий лицо заросло густой черной бородой, глаза алчно блеснули, как у человека, которого давно терзает голод.

— Садись и рассказывай, что приключилось,— приказал Тихик.

— Дай поесть, владыка... Душа с телом расстается, слово произнести невмочь.— Верный прислонил посох к стене и тяжело рухнул на пол.

— Сказано: "Не хлебом единым жив человек!" Какой же ты верный, коли не можешь голод вытерпеть?

Заметив, что Радул всматривается в него, Тихик добавил:

— За кого принимаешь меня?

— Ты стал ниже ростом, владыка, и вроде бы раздался вширь. Отец Сильвестр ты или предо мной его подобие?

— Не поминай имя врага сего! Я брат Тихик, коего просветил господь, дабы спасти общину от сатаны. Что у тебя в мешке?

— Новое Евангелие, владыка. Едва удалось спасти... Значит, ты удостоен теперь, ты новый наш...

— Дай сюда эту скверность!— закричал Тихик и нетерпеливо стянул мешок с плеч Радула.— А теперь слушай про то, что здесь случилось.— И он поведал о том, как при посредстве князя, Каломелы и прежнего Совершенного дьявол завладел христианами.

Он говорил степенно, как и подобаёт владыке, препоясанному поясом познания, но вскоре заметил, что Радул, потрясенный сначала, теперь равнодушно внимает ему. Голова его клонилась на грудь, веки смыкались, и, если бы не муки голода, он бы уснул.

— Веруешь ли в сие Евангелие?— произнес Тихик с отвращением.— Отвечай, веруешь ли еще в него?

— Владыка, дай поесть мне, попить...

— О несчастная плоть, сотворенная для греха и страданий, враг духа светлого! Веруешь ли, что он существует?

— Кто?

— Рогатый!

— Как же не существует! Существует, еще как существует...

— Он — в тебе и в этой книге, что в своем ослеплении ты таскал с собой и проповедовал заключенную в ней ложь. Как не уразумел ты лживости ее?

— Не мучай, владыка. Разумом сомневался я в ней, но душа, проклятая, склоняется...

— Сомнение подобно незакрепленным чашам весов. Таков же и сам сатана. Ты заражен ложью, и я прогоню тебя из общины.

— Смилуйся, владыка. Страдания помutilи мой разум, голод оттеснил все мысли. Я сейчас подобен голодному зверю...

— Если завтра во время общей молитвы отречешься при всех братьях и сестрах от Сильвестровых заблуждений, оставлю тебя в общине. Пообещаешь сие — тогда накормлю досыта и напою, потому что господь запрещает мне кормить врагов его.

— Как повелишь, владыка, только накорми. С великой радостью отрекусь, отрину все сомнения, поскольку у тебя теперь пояс познания...

Тихик вынул из шкафа хлеб, преломил его, семь раз вместе с Радулом прочли они "Отче наш", и лишь тогда он подал хлеб Радулу и позволил есть.

— Вот тебе кувшин с водой. Спать ляжешь в сених,— сказал Тихик.

Оставшись один, он зашвырнул измятое, грязное Евангелие в угол

и лег на топчан, возблагодарив господа за то, что отдал ему одну из двух опасных книг. Уже засыпая, он вдруг подумал, не скверно ли поступил с братом Радулом. Не убеждением, а голодом и жаждой подчинил он его воле своей. "Но как быть уверенным в том, что, накорми я его заранее, он все равно отрекся бы от лжеучения? Мне нужны послушливые, иначе не будет в общине благочестия, порядка и веры. Непокорный отстаивает свое непокорство свободомыслием и тем, что искушает других. Завтра увидим, исполнит ли он свое обещание. Подл человек, от слабости своей подл! А коли так, насилуй его ради его же блага и ради всеобщего... Моя ли вина, господи, коли ты создал его таким?.."

С этими мыслями Тихик уснул, не приметив того, что с первого же дня своего владычества сам впустил в общину ложь и насилие...

3

Тот, кто правит людьми, должен
решить, что есть для человека
добро и как сделать людей добрыми.

В это октябрьское утро, когда клепало еще не возвестило новый день трудов, Тихик опять погрузился в чтение Сильвестрова Евангелия, но кто-то постучал в дверь, и Тихик спрятал книгу в шкаф. Косматый, в огромной бараньей шапке, в ноговицах и постолах, вошел Быкоглавый, и в покое разнесся запах хлева.

— Владыка,— сказал он с порога,— худо с корчевкой. Топоров и заступов всего восемь штук, а волов только пять.

— Что ты хочешь сказать этим?— спросил Тихик, потому что заметил в выпученных глазах Быкоглавого злонамеренную мысль, та же мысль была написана и на его бычьем лбу.

— За советом пришел. Волы надобны, волы и орудия. А где их взять? Новые беженцы понашли с пустыми руками да голодным брюхом.

— Не кричи, ты не в лесу. Я поставил тебя, брат, на прежнее мое место, взяв на себя заботу о душах. Господь вразумит тебя, как поступить.

Быкоглавый наследил на полу, и теперь его огромные, обутые в постолы ноги размазывали грязь. Он потупился, его толстая шея налилась кровью. Не подымая косматой головы — густые волнистые волосы придавали ему сходство с лесным зверем,— он сказал:

— К греху дело идет, владыка!

Совершенный промолчал, догадываясь, что надумал его преемник.

— Положись на господя, говорю тебе!— в сердцах произнес он.— Перед ним будешь держать ответ за свои деяния.

— Вот оно как? Разве не отпустишь грехи мои, если я сотворю их, чтобы люди не околели с голоду?

— Не всякий грех может проститься, брат,— проговорил Тихик.— Пораскинь умом, ответ держать будешь там,— он указал на потолок.

— Ты вот что... Освобождай меня от должности... Коль не берешь грех на себя...

— Не передо мною одним, перед братьями рукоположил я тебя именем отца небесного. Освободить тебя не могу. Ступай и поразмысли над тем, как надлежит тебе действовать.

— Ах, не можешь? Ну, коль не можешь, буду сам держать ответ, да только и ты в ответе. Ладно, будь по-твоему, но ты меня еще вспомнишь!— Быкоглавый исподлобья взглянул на него и ушел, хлопнув дверью.

— Вот бестолочь! Какое счастье, что я сейчас не на его месте!— И Тихик с облегчением вздохнул.

Но чуть только он задумался и представил себе последствия грабежа — а у него не оставалось сомнений, что Быкоглавый надумал украсть волов и орудия в соседних селах,— Тихик испугался. Согласно святому учению, воровство есть грех, а разве отдаст кто по доброй воле свой топор или вола? Не прольется ли кровь, не будут ли загублены души? "Этот болван, считай, ничего мне не сказал, и мое дело сторона,— рассуждал Тихик.— О господи, зачем не сотворил ты меня глупцом, чтобы я мог лгать и себе, и тебе! Если прольется кровь, слух о том дойдет до царских людей и я лишусь престола ангельского и надежды увидеть Каломелу в вечном огне, изблечить ее, позлорадствовать... Но сказано: нужда и закон ломает. Если я запрещаю ему красть, может распасться община, ведь когда христианам нечего есть, голод побудит их предаться дьяволу. Тогда и смысл моей жизни, и мои небесные упования, и ты сам, господи, оставите меня..."

Тихик вышел, чтобы послать кого-нибудь за Быкоглавым, но в селении не было ни души. Настойчиво било деревянное клепало, люди столпились на опушке леса, и Тихику было видно — Быкоглавый им что-то говорит.

Опустив на лицо покрывало, он медленно зашагал к лесу. Он шел, склонив голову так, что покрывало свисало до земли и приходилось придерживать его рукой. Он перенял у князя эту грозно-неторопливую поступь, которая повергала людей в недоумение. Ничто так не смущает нижестоящих, как молчание господина и неизвестность относительно его намерений. При виде Тихика люди испытывали подавленность и страх, но это входило в его расчеты, поскольку уважение, к которому примешан страх, равносильно благоговению. Женщины смущенно скрестили руки на животе, мужчины выпрямились. Все расступились, впуская его в свой круг, но Совершенный, не проронив ни единого слова, дал Быкоглавому знак приблизиться, отвел его в сторону и шепнул, что, если тот вздумает воровать, гореть ему в вечном огне. Быкоглавый пробормотал что-то, а Тихик повернул к молельне, посмотреть, что там нарисовал Назарий. Пройдя десяток шагов, он вздрогнул, вспомнив, что припугнул своего преемника не изгнанием из общины, а вечным огнем, и завтра Быкоглавый вправе заявить, что пожертвовал собственной душой ради спасения христиан...

— Ты смотри, что получается!— со стоном проговорил Тихик.— Этот

болван из грабителя может превратиться в святого. Кто знает, как посмотрят на это там, в небесах. Глядишь, еще возведут его на золотой престол... Научи меня, господи, понимать промысел твой...— И он принялся читать молитвы.

Сердито стуча деревянными подошвами, он ступил в молельню как раз в ту минуту, когда художник завершал образ грешницы — ввергнутая по грудь в алые языки пламени, она молитвенно вздымала белые руки. Страдальческие глаза на дивно прекрасном лице, залитом слезами раскаяния, искали бога, нежные губы были полуоткрыты, и виделось, что адская пытка огнем вызвала в ее душе страстный порыв к небу и глубочайшее раскаянье.

Тихик взгляделся в грешницу и узнал Каломелу.

— Несчастный, что ты нарисовал?!— вскричал он.

Назарий обернулся, посмотрел на него вдохновенным взглядом.

— Грешницу, владыка. В чем винишь меня?

— Да ведь это Каломела, невеста дьяволова!.. И ты изобразил ее красавицей, нагою, во искушение христианам и в поминание!.. Ты и князя нарисовал там!— И Тихик указал на человека, как дьявол черного, но прекрасного. Человек горел в пекле, однако лицо его выражало надменность и презрение, словно пламя бессильно было причинить ему малейшую боль.

— Как ты посмел, злосчастный!— вне себя от гнева возопил Тихик.

Назарий по-прежнему спокойно смотрел на него, нежные черты даже не дрогнули.

— Они ведь меж грешников, владыка. А разве нет меж грешников наделенных телесною красотой? Господь не даровал мне способности рисовать душу без тела, ибо не дозволил глазам нашим зреть бесплотное. И, глядя на тела и лица, я пытаюсь распознать души.

— Кто ты есть, чтобы распознавать человека, безумец? Разве владыка ты, разве тебе отвечать перед господом за человеческие души, разве ты, а не я препоясан поясом познания? Или не понимаешь, что если нечестивые красотой своей будят сострадание, то тем самым искушают верующих, умаляя их любовь к господу? Изобразив грешников столь прекрасными и страждущими, не побуждаешь ли подражать им, ибо человек гордится и мукой своей, облакает ее в красоту и любит ее, как любит себя самого. Подобная красота есть враг красоты небесной, заблудшая ты душа, она не ведет к истине. Грешникам назначено мучиться, страдать... Кого любишь ты более — грешника или господя?

— Но ведь и господь любит нас, владыка, сынов своих...

— А ты разве господь, что ставишь себя на его место? Искушаешь людей обманчивой красотой и полагаешь, будто творишь это с любовью к богу, а на деле ослеплен ты сатаной, говорящим посредством руки твоей! Уничтожь слуг дьяволовых или изобрази их мерзкими и уродливыми!— закричал Тихик, и голос его колокольным гулом прокатился меж деревянных стен.

Художник сокрушенно уронил руки. Он стоял, потупив глаза в земляной пол.

— Быть может, твоя правда, владыка,— негромко, задумчиво проговорил он.— Но если нет у меня в сердце любви и сострадания, кисть моя бессильна. Ненависть сковывает руку и отнимает зрение. Ненависть уродлива, и с ней я не смогу быть художником.

— Значит, твое художество не научит человека добру, а будет лишь искушать его и развращать, ибо ты изображаешь то, чего не познал!

— Я обдумаю твои слова, владыка, издавна уже ломаю себе голову над пользой художества. Но коль угодно тебе, чтобы уничтожил я эти образы, я их замажу красной краской, и тогда будет казаться, что они потонули в геенне огненной, лишь кое-где из пламени будут торчать руки.

— Значит, ты разумнее, чем я предполагал,— сказал Тихик, удивленный рассудительностью Назария.— Подумай, брат, о том, что на пользу христианам, что есть для них добро.

Назарий ничего не ответил, но бледное лицо его стало еще бескровней и печальней. Рука, задрожав, выронила кисть. Он смежил веки и, казалось, погрузился в сон.

”Несчастный,— подумалось Тихику,— дьявол посредством художества вселился в него и сделал его опасным. Чем малевать, пусть лучше корчует деревья, коль скоро его художество не поспешествует христианскому делу”.

Из молельни Тихик вышел до крайности довольный собой. Сколь он умен стал и прозорлив! Пояс познания ли просветил его разум или же опытность, приобретенная в ту пору, когда он был княжеским слугой и экономом, придала ему мудрость? Он сам дивился тем словам, которыми принудил этого странноватого человека смириться. Чьи то были слова — его ли собственные или внушены ему небесным отцом?

— Благодарю тебя, господи!— прошептал Тихик и, возгордясь, тяжело, степенно ступая, вернулся к себе, чтобы вновь заглянуть в опасное Евангелие, прежде чем предать его огню.

4

Силен верующий, который не сомневается в том, что ему ведома истина.

Три дня читал он и перечитывал Сильвестрово Евангелие в своем полутемном покое, пропахшем горелым воском и постной пищей, непрестанно отирая пот со лба. Дверь он запер на засов и отрывался от чтения, лишь когда бабушка Каля приносила ему миску чечевичной похлебки. Каждая строка смущала его сердце, вливая в него презрение и гнев. Новое учение было ему известно, он слышал его от самого Сильвестра, но теперь, когда он глубже вникал в него, оно казалось ему и наивным, и лживым.

Книга изобиловала смутными и противоречивыми мыслями. К примеру, коль не существует ни бога, ни дьявола, кому же подвластны тог-

да сила разрушения и сила сотворения? Не подменялись ли здесь одни слова другими во погубление душ и заблуждение умов? Конечно, если отринуть бога, тогда люди суть богочеловеки и должны стать совершенными, но как — про то не говорилось. И неба уже не было, оно лишалось всякого смысла, и антихрист этот Сильвестр ничего не говорил о небе, он желал, чтобы человек сам был мерилом своих деяний, свободный в выборе добра и зла... Воистину Христос сказал: "Будьте совершенны", но добавил, однако: "Как отец наш небесный!" Ему ли, Тихику, прослужившему всю жизнь в княжеском доме, где непонятно было, какому господу молятся, рабу, чьи глаза навидались всякого, чья шкура испытала плеть, палку и насилие и чья утроба никогда не знала сытости, ему ли внушать подобную ложь! Мыслимо ли совершенство без бога и как его достичь, коли человека не ждет впереди седьмое небо и коли бог не есть возмездие? Как ему без этого терпеть муку, как жить на сатанинской земле? Отчаётся человек, измыслит всякую дикость о себе и о мироздании, посчитает себя ничтожеством, а жизнь бессмыслицей и станет уповать на смерть как на избавление... О неразумный, неужто не понял ты, что, если предоставить человеку выбирать меж добром и злом, он запутается, плюнет на твое совершенство и заживет жизнью скотской. Каждый пожелает возвыситься — и блудник, и убийца, и богохульник, — и, лишившись веры в Отца, уверует человек лишь в свою силу... И чем обольщаешь ты его? Обещаньем свободы... Бунт творишь, а обещаешь освобождение...

К исходу третьего дня, припомнив также все те опровергательные доводы, что пришли ему в голову, когда он впервые прочел Сильвестрово послание, Тихик развел в закопченном очаге огонь и принялся жечь Евангелие. Страницу за страницей вырывал он, с наслаждением бросал в огонь и наблюдал, как они корчатся в языках пламени, подобно грешникам в преисподней, а на стенах покоя так же корчились желтые и красные злые духи. Он воображал, что сжигает самого дьявола, и был убежден, что тем просветляет свой разум. "Сатана обольщает и любовью. Так обольщает он и несчастного Назария. Берегись, Тихик, такой любви и оберегай свою паству", — говорил он себе, шагая из угла в угол и вслушиваясь в стук топоров, треск деревьев и торжествующие людские крики, когда дерево валилось наземь.

Клепало положило конец дневным трудам. Еретики возвращались в свои убогие лачуги. Селение затянуло сетью дыма, и вскоре наступил тихий и печальный богомильский вечер. Из бездонных, задумчивых лесов прихлынула тьма, и Тихик, дождавшись, пока все сойдутся для общей молитвы, вошел в молельню.

Народ сгрудился перед высоким таро, дивясь красоте образов и богатству красок. В ослепительно сияющем свете Назарий представил седьмое небо, где восседал на золотом троне Саваоф, спокойный и грозный в своем величии. Сонм ангелов окружал его и пел ему хвалу. Вкруг него витали шестикрылые серафимы, а перед ним толпились огненное воинство из великих архангелов, священнослужителей, власть предержавших, херувимов и светлостоящих, размещенных по десяти степеням,

и у Тихика невольно возник вопрос, к какой же из степеней принадлежит он сам, и это усилило его уважение к себе как владыке.

Внизу, под семью небесами, косматый и могучий сатана, серовато-зеленый, с серебряными рогами, властно указывал на потонувшую в пучине Землю, повелевая ангелу воды извлечь ее. Ниже трубящих архангелов восседали праведники в блистающих одеждах и с золотыми нимбами вокруг головы. Они пели, восхваляя господя. Рогатые чертенята колотили трезубцами грешников, в чьих душах копошились черепахи, змеи, свиньи и козлы.

Плененные благолепием красок и образов, еретики обращали восхищенные взоры то к седьмому небу, то к Страшному суду, и Тихик не мог разгадать, что же сильнее всего привлекает их, однако заметил, что женщины больше поглядывают на змей и козлов. Оборванные, жалкие — рядом с великолепием нового таро, — эти люди вызвали у Совершенного жалость, но немой восторг в их глазах насторожил его. "Вот так и прельщается человек. Отчего, господи, внушил ты ему эту слабость? Не след ему прельщаться красками и всяческими образами, ибо тогда каждый пожелает облачиться в дорогие и яркие одежды, каждый будет тщиться блеснуть внешней красотой", — подумал Тихик.

— Братья и сестры, — начал он, когда еретики, заметив его, отошли от таро, — да не соблазнит вас искусность, с коей брат Назарий написал эти картины. Опасайтесь художественности, если чувствуете влечение к внешней красоте или же владеет вами стремление к господству. Всякое зло начинается с желания возвыситься над себе подобными. К такому обольщению вели и дьявольские проповеди Сильвестра, желавшего посредством красоты возвыситься над дьяволом и богом и отрицавшего существование их. Под конец лишился он разума, как лишается его каждый, кого пьянит красота, и обрел позорную смерть от руки черного князя Сибина. Пусть брат Радул расскажет вам, что претерпел он из-за злоторного учения богоотрицателя. Сатана погубил его сотоварищей, но господь уберег его и вернул к нам, дабы отрекся он ото лжи. Говори, брат Радул! — приказал Тихик.

Кто-то внес зажженную лучину, и в зловеще мерцающем свете собравшиеся увидели, как выступил вперед брат Радул. Высокий, отощальный, с устрашающей улыбкой, обнажившей его крупные зубы, он поведал о своих злоключениях, о мытарствах своих несчастных сотоварищей, проклял новое Евангелие и под конец при гробовом молчании слушателей воскликнул:

— Не променяю я своей ветхой рясы на царское облачение, а голодное брюхо свое на царский ужин! — И, бия себя в грудь, поклонился в ноги Совершенному.

Женщины зарыдали, мужчины запели "Пощади нас, владыка", и от их голосов, как от звериного рыка, заколебались деревянные стены. Все испуленно пели и молились, возгордаясь тем, что они бедны и голодны, потому что у нищих зависть обращается в гордость, а бедность в благочестие. Один только Назарий не пел. Задумчивый и печальный, стоял он в глубине молельни, куда не достигал свет лучины.

В тот вечер молитва была задушевной и жаркой, однако в уме Совершенного проносились тревожные мысли. Задерживая взгляд на лицах молящихся, он спрашивал себя, не потому ли столь усердно молятся эти люди, что в их сердцах живет грех. Праведникам надлежит молиться смиренно, без исступления и рыданий, поклоны быть низкие, но не колотиться лбом об пол. А может, эта страстная молитва вдохновлена картинами седьмого неба, где они надеялись занять престолы праведников?

Так терзал себя Тихик, потому что жаждал от своей паствы кротости, веры в учение и, главное, в него самого, Тихика. При этом он невольно поглядывал на сестер Ивсулу и Благуно — обе они были девственницами. Благуна, крепкая, дородная, молилась лениво и равнодушно. Видно, что простая душа — либо вовсе безгрешна, либо не сознает, что и в ней дремлет дьявол. Тонкая, стройная Ивсула, освещенная лучиной, повторяла слова общей молитвы страстно, настойчиво, словно повелевала самому господу. "С Каломелой схожа, и как складно произносит всякое слово, только чересчур громко иной раз, и все на меня посматривает", — думал Тихик, прислушиваясь к ее молитве. Он вспомнил о своем намерении приблизить к себе одну из сестер — так же, как прежний Совершенный приблизил Каломелу, — провозгласить ее верной, чтобы помогала ему и стряпала.

"Та не сильна разумом и будет покорна, делай с ней что хочешь, но вот эта мне больше по душе", — думал Тихик, вглядываясь в нежное лицо Ивсулы — красивое лицо с резкими чертами, длинноватым, прямым носом и чуть заостренным подбородком. Ему почудилось, что ее пестрые, как у козочки, глаза ищут его взгляд. Он был совершенно убежден, что им движет лишь желание снять с себя мирские заботы, потому что бабушка Каля неряшлива и нерасторопна, однако в памяти неожиданно возникли белые точеные щиколотки Ивсулы. Он увидел их однажды, когда она стирала, склонившись над корытом. Это так живо всплыло сейчас в его воображении, что у него забилося сердце и по ногам поползли мурашки. "Может, не только потому, что схожа она с Каломелой, но также из-за ее белых точеных ног я предпочитаю ее другой сестре? Не лицо ее, не глаза, а ноги могут погубить меня", — мелькнуло у него в голове, и он принялся усердно творить молитву, испугавшись недостойных мыслей.

Преломив хлеб и благословив трапезу, Тихик удалился в свой покой, чтобы поужинать в одиночестве, как того требовал заведенный порядок. Тут его одолели новые сомнения, так что кусок не шел в горло и постная похлебка долго оставалась нетронутой вместе с ломтем просяного хлеба и деревянной ложкой. Он поразился, что не познал самого себя. Правда, и прежде — до того, как он препоясался поясом познания, — ему случалось ощутить дьявола и в уме, и в сердце своем, но только лишь на мгновение, поскольку весь день он сновал туда-сюда и работал наравне с прочими, а вечером от усталости вмиг забывался сном. Кроме того, возвышенные мечтанья, в которых ему и Каломеле предстояло наслаждаться вечной любовью на небесах, несовместны с плотскими желаниями. Да и некому было тогда взять на себя заботу о

спасении душ. Ныне же он в ответе за их спасение, а коль скоро он взял это на себя, значит, он должен бдеть и над собственной душой. И поскольку он более не изнуряет свое тело трудом, а оно молодо и полно сил, вот дьявол и обольщает его.

”Пост надобен, строжайший пост!— говорил он себе, облокотясь о стол и обхватив ладонями взлохмаченную голову.— Однако поможет ли пост?.. Господи, только в проклятии твоём все спасение, но ведь Совершенный я ныне, не подобает мне трудиться в поле. И еще спасение — в неведении, но для меня уже поздно, поздно! Не просвещен я обучением, еле-еле разбираю по слогам, но благодаря службе моей и тяготам, испытанным подле князя, благодаря прежним обязанностям в общине и природному недоверию и хитрости многое я успел узнать о человеке, и есть опасность, что знание и собьет меня с панталыку...”

Чувствуя, что в этот вечер он столкнулся с чем-то неодолимым, угнетавшим его разум, Тихик попробовал взглянуть на себя со стороны, глазами своей паствы, но тщетно. Он видел себя то рабом князя, то верным, служащим другом, а едва обращался он к новому своему обличью, как его вытеснял образ князя. Отчего же проклятый Сибин не выходит из головы? Оттого ли, что в сердце затаилась похоть, а образ черного князя вызывает мысль о дьяволе? Или же представление о Совершенном и владыке неминуемо связывается с бывшим его господином, которого он ненавидел, но страшится еще и теперь?

”Спаси и помилуй мя, господи!”— воскликнул Тихик и преклонил колена для молитвы, но разверстые уста не издали ни единого звука. В памяти вновь всплыла Ивсула. Она смотрела на него своими козыми глазами, на губах играла манящая улыбка, и он опять ощутил прикосновение ее тонких пальцев, как это было во время моления, когда все бралось за руки. Ее образ и это ощущение слились в нечто сладостно-нежное, ангельское, так что уже и не разобрать было, где тут дьявол и где ангел.

”Сгинь, сатана!”— простонал Тихик, но сатана не исчезал. Он заменил образ Ивсулы образом Благуны, а затем перед Тихиком возник отец Сильвестр. Покойный владыка с презрением смотрел на него и смеялся. У Тихика мелькнула мысль, что следует оскорбить себя. С давних пор помышлял он об этом средстве побороть дьявола, но, по слухам, многие после оскопления впадают в слабоумие. И разве господь вознаградит такого скопца наравне с неоскопленным христианином, который устоял перед искушением? Быть может, вместо престола уготован скопцам обычный стул или осуждены они только на перерождения, всегда бесплодные...

Впервые за тридцать лет жизни Тихик уразумел, что существуют запутаннейшие вопросы и что дьявол могуществен. Он долго молился, прочел вслух все молитвы одну за другой (если кто пройдет мимо покая, пусть слышит, чем занят Совершенный) и лишь на рассвете, истощив последние силы, отринул всякий помысел об оскоплении, отложил на другой раз заботу о спасении своей души, взял палку, поставил перед собой и, начав с самого низу, стал перехватывать ее то левой, то правой рукой, каждый раз произнося имя то Благуны, то Ивсулы. Отождествив

палку с волей божией, он ей передоверил решение — кого из сестер приблизить к себе. И хотя остался еще свободный кончик, который можно было перехватить, Тихик не стал этого делать, сочтя, что места недостаточно, но еще и потому, что в таком случае ему бы вышло приблизить Благуну...

5

Тому, кто созерцает красоту, кто неустанно ищет ее, невозможно избежать опасностей, из нее проистекающих.

Из письма патриарха Фотия царю Борису

Выдавались у Назария счастливые часы, когда земля представлялась ему дивной картиной, а небо — исполненным великих чудес, непостижных разуму. Тогда ему казалось, что глаза его различают в природе богоосиянные зори, душа ощущает присутствие бога, а мысль объемлет все мироздание. Обостренным слухом Назарий улавливал тайну и в реве диких зверей, и в песне птиц, и во всем проникал он глубоко скрытый смысл.

Вечерами, лежа в своей убогой землянке, прислушиваясь к голосам и смеху, которые разносились по селению, или же к шепоту ветра, Назарий предавался мечтаньям, бледные губы его улыбались, рука тянулась за кистью, и он в темноте мысленно писал что-то, зримое только ему самому.

Вселенная была океаном красок и звуков, и Назарий словно бы плыл в этом океане, всегда настороже, чтобы не пропустить ни одно из тех чудес, которые совершались вокруг. Голубой простор и снежные шапки горных вершин, тени, менявшиеся от движения солнца, вселяли в его сердце нежную радость и побуждали молитвенно склонять голову. За смещением страстей, недовольства, пороков и злобы, что читал он на лицах, Назарий видел живой трепет души, измученной и жаждущей любви. И тот, на ком останавливался его взор, уносил в себе улыбку художника и долго не мог забыть его глаз. Худой и бледный, Назарий излучал кроткий свет, он сопутствовал ему подобно тени, и кое-кто смутно догадывался, что художник наделен скрытой внутренней силой, которой нет названия. И злыдари, и страдальцы рады были повстречать его, увидеть его ласковую улыбку, потому что она вливалась в душу радость и всепрощение. Даже Быкоглавый, всегда суровый и насупленный, не мог устоять перед искушением повидать Назария, услышать его приветствие, а еретик с рваной губой не опасался, что Назария отвлечет безобразная усмешка на его изуродованном лице.

Назария любили, как любят незлобивое дитя, и никто не сознавал, сколько силы в такой любви. Подобно Тихику, все полагали, что Назарий лишен той грубой силы, которой они привычно противостояли изо

дня в день, чтобы в борении с ней победить или покориться.

На взгляд женщин, Назарию недоставало мужественности, нежная его красота не привлекала их, и они улыбались ему, не вкладывая в улыбку любовных желаний и не испытывая стыдливости. Только старухи прислушивались к его словам и озабоченно качали седыми головами, потому что женщины задумываются о душе и смерти лишь после того, как увянет тело.

Всякий день, пока он писал таро, мужчины и женщины приходили смотреть, как возникают на стене дивные образы архангелов, серафимов и грешников, седьмое небо, Страшный суд – все, что они смутно представляли себе по еретическим книгам и проповедям. Под завораживающим действием красок и Красоты с ее тайнами в их представлениях стерлось различие меж седьмым небом и адом. Озаренное славой Саваофовой, седьмое небо было не более притягательно, чем огненные краски Страшного суда и зеленовато-серые отсветы на могучей фигуре Сатанаила. Седьмое небо внушало страх образом бородатого величественного Саваофа, на чей суд человеку предстояло явиться, а преисподняя ужасала рогатыми чертями, змеями, свиньями, козлами и черепахами в душах грешников. Поразмыслив над этими изображениями, человек чувствовал, что ум у него раздваивается, и бог уже представлялся таким же насильником и тираном, что и дьявол. Сердце мучительно сжималось, потому что каждый ощущал и сладость греха, и влечение к добродетельному покою души. Так не погибло, а дало росток семя сомнения, богоборчества и бунта, ибо всякое раздвоение в человеке есть боль...

Желая проверить действие своего искусства, Назарий зорко всматривался в еретиков, и такие же, как у них, мысли и чувства мучили и его...

Многие просили Назария написать образ богородицы, и он изображал ее прекрасной и юной, похожей на Ивсулу. И когда еретик уносил образ к себе в лачугу и сравнивал с ним свою некрасивую, измученную жену, то предавался дурным помышлениям. Другие хотели иметь изображение Ёвноха, где он говорит с господом, а один малорослый, тщедушный еретик попросил даже нарисовать самого дьявола. После, когда Назарий пас волов, он видел, что этот еретик прислонил доску с изображением дьявола к дереву и яростно хулит его. Он угрожал ему, ругал самыми скверными словами, тем самым хуля дьявола в себе, испытывая при этом радость и усладу, потому что всякая молитва есть искупление и радостное облегчение. Так благодаря своему искусству Назарий, как и всякий художник, носивший в своей душе образ мироздания, стал чаще и чаще задумываться о пользе искусства вообще.

Все думали, что знают прошлую его жизнь, он сам охотно рассказывал, что делал до того, как пришел к ним в богомильское селение. Сын парика, он юношей поступил в учение к богомазу. Когда он изучил ремесло, болярин поручил ему расписать церковь в крепости. Назарий расписал, но болярин, по наущению местного священника, повелел выдрать его плетью за то, что он изобразил Иисуса и святых обыкновенными людьми, несообразно канону. Однако больше всего прогневили болярина портреты ктиторов: Назарий написал болярина и его семейство такими,

какими видел, в надежде, что, взглянув на себя его глазами, они станут лучше и справедливее. О своем учителе-иконописце Назарий ничего не рассказывал. Был тот безбожником, гулякой и пьяницей, потрошил живьем лягушек, крыс и прочих животных, чтобы проникнуть в тайны живой плоти и, как он выражался, "поглядеть, кто ее терзает и мучит". Человек этот, хотя и хороший художник, был богохульником и бесстыдником, не признавал ни причастия, ни просфоры, под своды церкви входил единственно, когда расписывал ее; он глумился над святыми, над господом и с самых ранних лет влил в душу Назария этот яд. Был он с козлиной бородкой, красноносый, как всякий опетый пьяница. Он внушал Назарию сомнения в смысле искусства, насилував неокрепший юный разум мучительными раздумьями. "Эх, малый,— восклицал он,— обманываем мы людей нашими иконами, пугаем ликами святых, бога и дьявола! Проклятая ложь, а без нее чадо Христово и вовсе обезумеет". Назарий не хотел вспоминать об учителе, размышлять над его внушениями, однако они крепко засели у него в голове, и никто не подозревал, какие мрачные мысли частенько терзают его, потому что ничем не выдавал он себя, будучи кроток и видом, и обращением.

Из-за телесной слабости Назария Быкоглавый отрядил его пасти волов, и, завершив таро, Назарий с охотой приступил к своим новым обязанностям. Дни были теплые, осенние. Скинув свое заштопанное верхнее платье, босой, он часами недвижно стоял, опершись на кизиловую палку, устремив взор на голубой простор и на гору, купавшуюся в этом обилии воздуха, любовался лесными цветами, и каждый цветок будил в душе музыку и пьянил ее тихим восторгом. Он забывал все свои горестные думы, блаженно улыбался и, переступая стройными, мокрыми от росы ногами, брел к ручью, где неумолчно журчала вода. Волы подходили к нему, смотрели своими большими, кроткими глазами, дышали влажными ноздрями ему в лицо. Теплое дыхание животных, в котором Назарий угадывал чистоту их души, умиляло его. В голове роились дивные мысли, и они уносили его, как уносит ручей упавшие в воду осенние листья. Душа угадывала присутствие чего-то, властно объяввшего землю от края до края, и было в этом Зло и Добро, Красота и Уродство, и ему казалось, что он ощущает, как все это исчезает в бесконечности времени и рождается снова и снова, обещая вечную жизнь. Радость и скорбь чередовались у Назария, он всем своим существом отдавался мирозданию, и его дыхание сливалось с дыханием всего живого вокруг.

Однако Назарий едва ли сознавал, что это ведет также и к смерти, ибо постигающий вечность приемлет и смерть. Зато он отлично помнил те дни, когда, униженный, избитый по велению боярина, он задумал повеситься. С той поры запало в него сомнение, благо ли для человека художество, и мысль эта терзала его денно и нощно. "Ведь посредством художества,— говорил он себе,— раскрываются тайны, но они суетны, ибо неведома мне суть изображаемого. Художество опьяняет человеческую душу, побуждая устремляться и к небесам, и к пеклу. Бескрайна его дорога, и напрасно тщится оно изречь то, чего не в силах изречь. Оно обожествляет Красоту, верит, будто в ней — истина и благо, а видит ее

и в основе греха и порока, потому что для Красоты нет различия между наслаждением и радостью”.

Так размышление приводило его к отрицанию пользы искусства, ибо совершенство изображения оказывается ложью, за которой кроется то, что выразить невозможно. В этом самообмане дьявол и бог перевоплощаются один в другого, а любовь — без которой немислимо никакое искусство — от слияния с воображаемым миром превращается в утеху и умиротворение. ”Становятся ли люди лучше благодаря искусству?” — спрашивал себя Назарий. ”Человек не терпит истины, тем паче истины о себе самом, но вечно домогается ее, и это одна из его странностей, — рассуждал он. — Болярин приказал избить меня за то, что я изобразил злыми и его, и все семейства, а они таковы и есть. Каждому в глубине души хочется быть красивым, благородным и добрым, даже разбойнику... Надо ли искать другую истину, как искал ее отец Сильвестр, кроме той, какую знает душа благодаря вере в бога, истины, не выразимой словом, но умиротворяющей дух? Чем соблазняться суетными образами и лживыми внушениями, в которые ты и сам не веришь, не лучше ли светиться чистой любовью и примером собственной жизни укреплять человека на страшном его пути меж Добром и Злом?..”

Еще более мучительные сомнения овладели Назарием после раздумий над новым учением и в особенности когда, завершив новое таро, он воочию увидел, как воздействует его искусство на простых, истрадавшихся людей. Однако он не сознавал, что стремится скинуть с себя ношу, которая бременит художника, стоящего перед загадкой мироздания, что он попросту жаждет душевного покоя и избавления от сомнений, помрачающих его разум. К этому толкала его и любовь, переполнявшая сердце наряду с благочестием и жалостью ко всему живому. Ибо, проникая в глубину того, что он хотел запечатлеть, Назарий страдал, поскольку выступала наружу обратная сторона явлений, притаившийся дьявол высовывал свою хитрую морду и, пытаясь опорочить божий промысел, отрицал и смысл самой Красоты.

Назарий не остался бы в богомильском селении, не будь оно единственным его приютом и если бы он не увидал Ивсулу. Не верил он в небесные престолы и не ждал для себя никакой награды. Много раз писал он Ивсулу по памяти, разглядев в этой пригожей девушке демона гордыни и тщеславия. Он часто проходил мимо землянки ее отца в сопровождении собак, которые следовали за ним по пятам и лизали ему ноги. Каждый раз, когда он встречался глазами с Ивсулой, она отвечала ему враждебным взглядом и быстро скрывалась в землянке, потому что страшилась его пронизательности и ненавидела его, думая, что он прознал ее тайну. ”Как мне хотелось бы помочь ей освободиться от демонов! — мысленно восклицал Назарий. — Бедная, как она боится, что я затрону ее душу. Она точно дитя, которое не дает вытащить из пятки колыбку”. И он продолжал путь, улыбаясь своей тонкой, всепонимающей улыбкой, в которой Ивсуле чудилась насмешка.

Всю осень она упорно избегала бесед с Назарием, а на вечерней молитве никогда не брала его за руку. Так сложились меж ними отноше-

ния, исполненные глубокого молчания, но, подобно жару, сокрытом под пеллом, за этим таилась любовь. И ангел их стоял опечаленный измученный сомнениями, придет ли для них когда-нибудь день любви...

6

Созерцать грех – опасно...

Быкоглавый сумел угнать из дальних сел волов и унести топоры, стадо умножилось, и Назария обременили заботы. Однажды, когда уже выпал снег и селение примолкло, он узнал, что Ивсула стала приближенной Совершенного и что Тихик готовится провозгласить ее верной. Тогда Назарий понял, что демоны одержали верх прежде, чем он и она вступили с ними в борьбу, и всякая надежда на спасение Ивсулы исчезла.

Всю долгую снежную зиму он был в селении самым одиноким – не потому, что сторонился людей, а потому, что и душой и мыслями был иной, чем они, и чужд еретикам. Он запасся красками, липовыми досками и утром, накормив скотину, садился писать в своей землянке, где только от снега и было светло. Он писал еретиков – полуголодных, озябших, но терпеливо переносящих все невзгоды. В бородатых лицах мужчин, в злом блеске их глаз, в твердом, строгом, постоянно озаряемом взглядом женщин, чьи закопченные дымом лица редко озарялись скупой улыбкой, Назарий угадывал то могущество заблуждений, без которого человек не перенес бы земную свою долю. Эти мрачные, фанатичные люди были несчастны. Они сохли от ненависти к "творению дьяволу", и если все же была в них какая-то любовь, это была эгоистическая любовь озлобленных бедняков. Бог нужен им был для того, чтобы ненавидеть и судить других людей. Ненависть сопутствовала всякому возвышенному представлению об истине и справедливости, и коварный дьявол, которого они особенно яростно ненавидели, вливал в них злобу к каждому, кто не признавал их учения, а равно к тем, кто наслаждается земными утехами и благами. Дьявол распалал огонь их гордыни, уверенность в том, что только они одни – на верном пути и как истинные христиане терпят муки ради отца небесного и пособляют ему в борьбе с сатаной. Они находили утешение в своем мученичестве, веруя, что унаследуют блаженства вечной жизни и удостоятся лицезреть господя. Назарий убеждался в том, что людей соединяет не только общность представлений о мире и смысле существования, но и ненависть ко всем, кто не разделяет их воззрений, и что человек пребывает в вечном разладе с собой и богом.

Каждый вечер Назарий наблюдал в молельне, как проясняются суровые лица еретиков. Когда они пели общую молитву, когда кланялись друг другу и брались за руки, в уголках рта у них появлялась улыбка. И они еще больше утверждались в истинности учения, поскольку в толпе человек теряет способность рассуждать. Со страстью и увлечением внимали они проповеди Совершенного, преклоняли перед ним колена, чтобы

он возложил руки на их взлохмаченные головы, очистил от каждодневных грехов, плотского вожделения и вражьих наущений.

— Бог ниспослал нам волов и орудия труда,— внушал им Тихик, и, хотя все знали о кражах, совершенных Быкоглавым, они верили словам владыки, ибо существовал бог, дававший им право присваивать чужое.

— Ваши богатства в сердцах ваших,— говорил Тихик, и они верили, что под их лохмотьями, под их фанатизмом сокрыто истинное богатство.

— Не поддавайтесь словам искушения, что нашептывает вам Лукавый, предатели души они.— И еретики воображали, будто и впрямь отвратятся от дьявола.

— Молите отца своего небесного о пощаде!— восклицал Тихик, и они хором восклицали: "Пощади нас, владыка!"— уверенные в том, что их посредник в силах испросить милосердие у самого господина, потому что нет более удобного способа просить господина, как прибегая к посреднику.

Многим таким молитвам бывал свидетелем Назарий, когда по памяти писал лики еретиков. Сырые стены землянки постепенно украсились портретами, со всех сторон смотрели на него измученные лица мужчин и женщин, в них были запечатлены различные состояния души — боль, угнетенность, надежда, злоба, тоска, но главным, общим для всех были страх и скорбь...

Назарий размышлял о душах этих людей, пытался разгадать их и обнаруживал в себе самом корни таких же чувств и склонностей. "Коли я понимаю, что они прячут в душе своей, и способен изобразить это, значит, во мне самом — те же пороки, хоть я и творю с любовью и состраданием. Чем более я причастен к ним, тем больше сокрушаюсь над собой. Мое искусство сжигает меня огнем самопознания".

В такие мучительные дни Назарий молился о том, чтобы не иссяк в его сердце родник любви, придающий крылья духу, и чтобы разум его не переступил за те пределы, за которыми творение божье теряет смысл. "О двойственность природы человеческой!— восклицал он.— Воспринимаемая чувственно мир и различая в нем вещественное и неведественное, откуда же знаешь ты о неведественном? Не свыше ли дано тебе это знание?"

Так терзался Назарий, видя, что с каждым днем ложь свивает в общине все больше новых гнезд и Совершенный в своем стремлении дать всем счастье и благоденствие вступает в союз с дьяволом.

Однажды, когда он сидел у себя в землянке, созерцая лики на стенах, на пороге вырос Тихик. Назарий ощутил его тень — она заслонила в землянке свет — и, обернувшись, увидел, что владыка стоит у него за спиной, похожий на ствол черного дерева. Крепкий, располневший, в длинной черной рясе, Тихик сквозь отверстия в покрывале смотрел на него, и Назарий представил себе его недоверчивые глаза, треугольный лоб и пышущее здоровьем лицо.

— Да пребудет во всех нас благодать господина нашего!— сказал Совершенный.

Назарий поклонился и произнес:

— Аминь.

Совершенный рассматривал развешанные по стенам картины и, теребя полы рясы, бормотал что-то.

— Что изобразил ты, брат?— сдерживая гнев, спросил он.— Это ли мои христиане? Неужто они столь неприглядны и греховны? Чьими очами смотрел ты на них?

— Очами души моей, владыка,— кротко отвечал Назарий.

— Настолько нечестива она?

— Через их души познал я и свою собственную, владыка.

Совершенный тяжело дышал, по-прежнему теребя рясу.

— В их ликах изобразил ты себя, несчастный! Неужто забыл, что обещал поразмыслить над искусством, служит ли оно спасению человека и будет ли благом такое познание? Вместо того чтобы направить умы к господу и предоставить ему исправление человек, ты обращаешь их к отчаянию и мраку!

— Но как я стану бороться с грехом, владыка, если он мне неведом?

Тихик сердито замахал руками.

— Разве ты не уразумел, что опасно созерцать грех, ибо начнешь боготворить и его, и самого сатану? Показывал ли ты кому эти образы?

— Никому, владыка. Я пишу по памяти.

— Разведи огонь в очаге и брось в него это глумление над господом и человеком! И помни: не на тебе, а на мне лежит забота о душах христианских!

— Но как мне забыть те знания, что я приобрел?— смиренно спросил Назарий.

— Знания твои ложны, ибо они преходящи, как преходяще царство дьявола. Истина воссияет после Страшного суда, когда предстанет человек в истинном своем обличье, очищенный от праха земного,— сказал Тихик и перешагнул порог землянки.

В это мгновение солнце разорвало плену облаков, россыпью алмазов заблестал снег, заснеженная вершина вдали окуталась голубоватыми тенями и, казалось, трепетала в небесной лазури. Лицо Назария просияло, он наслаждался открывшейся взору картиной.

— Чем ты любишься, брат?— спросил Тихик.— Разведи-ка огонь!

— Светом, владыка, его играю...

Совершенный обернулся и тоже взглянул на горную вершину.

— Да-а, свет...— проговорил он.— Гм, уверен ли ты, что не есть он такое заблуждение, что не обманывает он разум, представляя нам дьявольский этот мир прекрасным? Он прельщает взор и мешает нам различать бога и дьявола.

Назарий молчал, и Тихик принялся срывать со стен липовые доски и швырять в очаг, но вдруг увидел портрет Иисуса. Он взял его и вышел за порог, чтобы получше рассмотреть.

— Я унесу этот лик. Прежде чем провозгласить ее верной, поразмысли над тем, что углядел ты в нашей сестре,— произнес он, а когда Назарий развел в очаге огонь и липовые доски вспыхнули, тотчас же удалился.

Назарий был убежден, что Совершенный тайком улыбается под

своим покрывалом и что в улыбке его скрыто довольство. Поймет ли Тихик, что Ивсула по воле демонов пришла к нему? И неужели он никогда не догадается, что и еретиками он правит через сокрытых в них демонов? Праведники, те не нуждаются ни в правителях, ни во владыках... И если свет есть заблуждение, тогда человек — лишь несчастная тень на сей земле...

Липовые доски трещали, языки пламени лизали сырые стены, в землянке стало теплее. Назарий опять пребывал в одиночестве, охваченный новыми думами.

”У каждого свой бог, и это разъединяет людей не в меньшей мере, чем дьявол. У меня был свой бог. Тоже художник, как и я. Но может ли мой бог быть истинным богом или всего ближе стоять к нему? — размышлял он. — Как знать... Если я излишне усердствую, чтобы художеством глубже проникнуть в суть истинного бога, он покарает меня безумием. Но кто остановит меня, если я сам не могу себя остановить?... Жаль ему было своих творений, но, подумав, он сказал себе: — Я сжигаю свои прегрешения. Пусть они навсегда умрут в моей душе, испепеленные живущей во мне любовью”.

7

Сколь хитро поступил всевышний,
лишив нас возможности познать самих
себя.

При каждой встрече с Назарием Тихик заглядывал в иной, мерзкий мир, где обитал дьявол. Правда, Тихик ощущал его и в себе самом, но противоборствовал ему, а Назарий, хотя и признавал свои заблуждения и обещал отказаться от художества, продолжал писать. Ему даже и на ум не приходило изменить свое художество так, чтобы оно служило поощрению христиан и спасению души их. Можно ли ожидать от человека, ищущего красоту даже и в самой преисподней, что он станет истинным христианином? ”Делает вид, будто соглашается со мной, а людей изобразил скотоподобными”, — размышлял Тихик по дороге в свой покой. Липовая доска, спрятанная под рясой, смягчала его негодование. Тихик горел желанием поскорее взглядеться в девичий образ; еще в землянке, едва только взглянув на него, он уловил в этом лице нечто новое и тревожащее. Всякий раз, когда он видел хлопотающую у него в покое Ивсулу, сердце его сжималось, и Тихик говорил себе, что ее пребывание здесь рано или поздно окончится грехопадением. Словно сам дьявол засел в его душе для того, чтобы жечь ее пламенем сладострастия. Опасность была явной, Совершенный видел ее, сознавал, что ему следует отослать Ивсулу, но медлил с этим, потому что она не подавала к тому повода. Ивсула усердно заботилась о пропитании Тихика, подметала и мыла полы, следовала за ним повсюду, гордясь тем, что удостоена такого доверия и чести, исполненная величайшего почтения к его особе.

По утрам, прежде чем взяться за дела, она опускалась перед ним на колени, чтобы он благословил ее и очистил от ночных помыслов. Тихик возлагал на девичью голову руки, ощущал пушистые, мягкие как шелк волосы, умилявший его круглый, как у ребенка, затылок, и его пальцы с трепетом гладили ее волосы, воровски сбегали к щекам и ласково касались их. Ивсула наклоняла голову, благоговей перед этим священнодействием, и, когда руки Совершенного прикоснулись к ее нежной шее, терпеливо ждала ниспослания благодати. Тихик намеренно читал молитвы не торопясь, чтобы продлить очищение, напряженно вслушиваясь в исповедь своей приближенной, с жадностью ожидая ее греховных признаний.

Он брал ее за руки, помогал подняться, и ее озаренное счастьем лицо было так близко от его лица, что он чувствовал ее дыхание. Но когда она видела сквозь отверстия в покрывале горящий пламень его глаз, на щеках у нее выступал румянец — то была стыдливость женщины, оставшейся наедине с мужчиной, и Тихик укреплялся в мысли, что неминуем день, когда Ивсула, отделив в своем сознании Совершенного от мужчины, будет его...

Он сел за стол, и пока его приближенная гремела горшками и мисками в тесной пристройке, отведенной длястряпни, он вынул из-под рясы портрет, и при первом же взгляде сердце у него оборвалось, дыхание замерло. Ивсула на портрете была не такой, какою он знал ее и ежедневно видел. Назарий изобразил ее с широко открытыми глазами, тревожно устремленными в глубь себя самой. В их зеленовато-сером сиянии витала незримая тень, придавая им выражение страдальческое и непреклонное. Из-под темных бровей посверкивали жестокие искорки, женственный рот плотно сомкнут, в уголках затаилась гордыня.

”Этот богомаз видит в человеке одну лишь греховность. Ивсулу тоже не пощадил, сын дьяволов,— подумал Тихик, столь же возмущенный, сколь и обрадованный, ибо, если Ивсула и впрямь такова, она не устоит перед соблазном.— Не она это, незнакома мне эта женщина. Но отчего она так настаивает, чтобы каждое утро я ее исповедовал? Будь она непорочна, она бы не жаждала исповедей и очищения. Или, возможно, не поверяет мне всего, притворяется благочестивой, мечтая стать Совершенной, подобно Каломеле...”

Ему вспомнилось, что с того дня, как он приблизил Ивсулу, у нее изменилась походка — она ступала горделиво, поводя плечами так, что русые косы скользили по плечам. Однако это свойственно любой пригожей девушке. ”Прельстился Назарий ею и переусердствовал”, — продолжал лукавить Тихик, разглядывая портрет и борясь с сомнениями. Неужели дьявол снова устремляет к такой женщине его мужскую страсть? ”Не допусти падения моего, господи, изгладь из памяти окаянную Каломелу, мою безрассудную любовь, вразуми слугу своего. Не подобает мне любить таких. Лучше полюбить ту толстуху, она из числа простых рабынь твоих. Изгони из меня дьявола, не то проклятый художник окажется прав”, — молился Тихик, прислушиваясь к тому, что происходит на кухне.

Ивсула развела огонь, собираясь печь хлеб и варить похлебку. В отворенную дверь доносились запахи лука и поднявшегося теста, огненными мечами поблескивали языки пламени. Побеленная печка излучала сладостное тепло. Солнце укрылось за тяжелыми снеговыми тучами. С неба повалили крупные белые хлопья, смеркалось, и сонная зимняя глушь погасила свет дня. Совершенный почувствовал, как по телу пробежала радостная дрожь, сердце наполнилось сладкой надеждой, ему припомнилось то ощущение чужого семейного счастья, которое некогда в княжеском доме вызывало в нем муки зависти. Он встал, бесшумно подошел к раскрытой двери и заглянул в кухню.

Ивсула скинула линальную рясу и осталась лишь в длинной холщовой рубахе. Раскрасневшаяся от жары, она вытирала печь мокрой тряпкой, намотанной на шест, ее тонкий девичий стан при этом изгибался. На лбу у нее выступили капельки пота. В свете пламени догоравших головешек и угольев видно было сквозь рубаху ее тело. Оно казалось розовым, при каждом движении колеблющийся свет обрисовывал стройные ноги, тонкую талию, девичьи бедра и нежную спину. Совершенному казалось, что юную деву омывают зори летнего утра. Он поискал глазами белые точечные щиколотки, смутные контуры подрагивающей груди, ноздри его расширились, жадно втягивая воздух, и какая-то сила пыталась оторвать его от земли.

”Это дьявол”, — подумал он, впервые усомнившись в том, что дьявол и впрямь существует, шагнул к двери и распахнул ее. Ивсула обратила к нему испуганный взгляд, выронила тяжелый шест и метнулась к брошенной на пол рясе. Оттуда выскочил огромный полчок, быстрый, как молния, и ткнулся ей в ноги. Ивсула взвизгнула, пошатнулась, и Тихик сам не понял, как она очутилась в его объятиях...

Так зверек, подосланный сатаной, уничтожил расстояние между Совершенным и его приближенной, — расстояние, которое прежде казалось непреодолимым. Бросив полунагое девичье тело в его объятия, проклятый демон тем самым ввергнул девицу в огненную печь алчного и неутоленного сладострастия, что долгие годы зрело в душе бывшего раба. Дурманящее благоухание этого тела сулило блаженство, превосходящее все блаженства, обещанные Тайной книгой...

Черное покрывало сползло на пол, усаый рот впился в крепкие девичьи губы. Успокаивая свою приближенную, обещая провозгласить ее Совершенной, Тихик понес ее к лежанке и, невзирая на сопротивление, силой повалил ее. Она увидела, что ей ничто не поможет. Крик ее одиноко замер в тиши зимнего дня... А когда все было кончено и Совершенный погрузился в сладостную истому, с ужасом ожидая последствий содеянного, то не услышал ни проклятий, ни плача; в полуоткрытых ее глазах виделось удивление тем, что содеянное с нею было вовсе не так мучительно, как она ожидала. Ее глаза украдкой следили за ним отчужденно и холодно, и Тихик прочел в зеленовато-серых зрачках хитрую смелливость. Обнаженные руки, еще недавно отстранявшие его, медленно обвили его толстую шею, и он услышал ее голос:

— Ты и вправду провозгласишь меня Совершенной?

Тихик вдруг вспомнил о портрете, поразившись пронизательности художника, потрясенный тем, как внезапно, быстро и легко все свершилось...

8

О грехи мои, сокрытые от чужих глаз,
вы понуждаете меня творить добро!

”Проклинаю тебя, сатана, проклинаю убогостворение, радость и мужское тщеславие, испытываемые мною. Теперь и я, полагавший себя недосыгаемым для твоего внушения, оказался в лапах твоих. Кто возложит руки на мою голову, дабы снять с меня грех? Я даю отпущение людям, а кто даст отпущение мне?.. О низкая и смехотворная гордость тем, что ты мужчина!.. Где же всевышний? Зачем наслал он проклятого полчка, зачем она сняла рясу, зачем не кричит, не кусает, не пинает меня ногами, а глядит таким подлым глазом?.. Предстоит мне отныне жить в смущении и в страхе, как бы не дознались люди о моем падении...”

Наихудшим было не то, что недостойн он зваться владыкой и Совершенным, хуже всего было то, что, сколько ни винил он себя, не мог смирить эту подлую радость и смехотворную мужскую гордость, фарисейскими были его раскаяние и все самообвинения.

Напрасно метался Тихик на жестком своем ложе. Бог не внимал его молитвам. Дьявол, принявший образ отца Сильвестра, с ухмылкой указывал на Ивсулу как на жертву: ”Вот что ты сотворил”. А Ивсула, лицемерно склонив голову, собиралась лить слезы. ”Не плачь, мое падение побуждает меня любить тебя так, как я любил Каломелу. Любовь та была небесным блаженством, радостью и упованием, теперешняя же есть грех, сластолюбие и страх... Ныне я — страждущий и измученный — люблю тебя еще и оттого, что страшусь, не поведает ли ты моей пастве, сколь я грешен”. Однако всего позорнее было то, что чем яростнее корил он себя и бил себя в грудь, тем сильнее оказывались воспоминания о сладости ее тела, и радость оттого, что она принадлежит ему, и желание опять испытать это...

В полночь, когда в углы покоя задувала вьюга, Тихик уже спал, бормоча во сне и причмокивая губами, а проснувшись белым зимним утром, он ощутил в себе как бы два существа. Одно — ныне омраченное и сникшее — было прежним Тихиком, с чистой душой, для которого все было ясно. То существо обладало волей, потому что его представления о мире вливали в него уверенность и силу. Оно верило в чистоту своих помыслов и не ведало противоречий и сомнений. Второе же — беспокойное и опасное — теперь заявляло о себе самым ощутимым образом, отрицало прежнего Тихика и боролось с ним. Оно советовало Тихику умалить значение случившегося и с нетерпением ожидало прихода Ивсулы.

Этим утром она замешкалась, а когда вошла, вся в снегу, разрумянившаяся от холода и воспоминаний о вчерашнем, он не посмел по-

смотреть ей в глаза, хмурился и глядел в сторону. После взгляды их встретились, она застенчиво улыбнулась ему, и эта улыбка его успокоила, он прочитал в ней преданность и соучастие, а сладостный свет в девичьих глазах, от свежей белизны снега казавшихся такими чистыми и покорными, наполнил его ликованием. Прежде чем взяться за домашние хлопоты, Ивсула, как всегда, опустилась на колени, чтобы он благословил ее. Тихик смутился, не зная, должно ли ему сделать это, но она настояла. Он возложил руки на ее влажные от снега волосы и, ощущая в крови могущество дьявола, заключил молитву поцелуем, готовый снова отнестись Ивсулу на свое ложе.

— Ведь тебе достаточно возложить руки мне на голову, чтобы очистилась я от всякого греха и удостоилась быть Совершенной! Когда же ты объявишь меня Совершенной?— ласково проговорила она, и он увидел в ее глазах затаенную мечту.

”Не от искренней любви ко мне, а ради того, чтобы провозгласил я ее Совершенной, чтобы власть обрести”,— заключил он, и эта мысль оскорбила его. Вечером, вновь овладев ею, Тихик понял, что под тягостным сознанием собственного падения в душе его прячется гордыня обреченного, вступившего в спор и единоборство с господом. Он изумился этой гордыне, покаянно ударил себя в грудь и горестно прошептал: ”Прибери меня поскорее в царство твое небесное, чтобы не впадал я более в грех, либо избавь сей мир от его сотворителя!”

Лежавшая подле Ивсула, полунагая, с обнаженной розовой грудью и влажными ногами, спросила:

— Что ты бормочешь, владыка?

— Не называй меня сейчас владыкой. Я говорю с небесным отцом. Через плотскую нашу связь соединяет он наши души в грядущей жизни. Там...— И Тихик указал на потолок.

Поймет ли его Ивсула, если он откроет ей свои душевные муки? А вдруг ей станет ясно, что он не менее грешен, чем все, и что он лжец? Страх перед этим и заставил Тихика полюбить ее — так любит свою жертву преступник. Он ревновал ее, хотел, чтобы она неотлучно была рядом и страстно молилась. Если ее отстранить и вернуть бабушку Калю, Ивсула озлобится и разгласит их отношения. Поздно! Да и какое имеет значение, совершается ли грех дважды или сотни раз? И Тихик перебирал в уме прегрешения, содеянные им с той минуты, когда он надел на себя пояс познания: насилие над Радулом, молчаливое одобрение грабительских действий Быкоглавого, сомнения в разумности господа и затаившееся в сердце богоборчество. Совесть укоряла его за смерть Каломелы, князя и отца Сильвестра, ведь если он отрицает бога, то, значит, он — их убийца. Так видел он себя опутанным грехами, которым нет прощения, и его молитвы уже не имели ни смысла, ни силы. Как полагалось по обряду, Тихик по-прежнему преломлял хлеб и благословлял общую трапезу, но не вкладывал души в эти святые действия. Он похудел, стал еще старательнее прятать лицо под покрывалом, был хмур и необщителен.

Утешал он себя единственно тем, что страдает ради блага ближних своих, несет крест грешника ради их достатка, ради того благоденствия,

коим человек тешит свою плоть, дабы затем предаться богу и своей душе. С подобными мыслями и упованиями Тихик, сам того не заметив, вновь сделался тем Тихиком, которого занимали вопросы хлеба насущного, потому что они просты и доступны разуму, не терзают человека — в отличие от божьих тайн о потустороннем мире, о добре, об истине и справедливости...

Судя по всему, община близилась к такому благоденствию. Осенью в амбары засыпали много пшеницы и проса, через год отвоюют у леса новую пашню, многие уже тесали бревна для новых домов, люди выглядели довольными, по вечерам молельня бывала переполнена. Однако зима затянулась, к началу апреля запасы пшеницы и проса иссякли. Наступил голод. Селение затихло, лишь детский плач оглашал его, лица еретиков исхудали, неспокойно блуждали мрачно сверкавшие глаза, все меньше мужчин приходило по вечерам на общую молитву, и Совершенный делал вид, будто не замечает, что Быкоглавый под покровом темноты отправляется с целой дружиной в отдаленные села и пропадает по нескольку дней подряд. Люди Быкоглавого прятали под тулупами ножи и топоры, кое-кто смастерил себе копыя, другие вооружались дубинами, а сам он — луком, мечом и копьем князя Сибина. Дружина пригоняла чужую скотину, притаскивала мешки с просом и рожью. Обозленные, преследуемые крестьянами, точно стая волков, люди Быкоглавого и слышать не хотели о запретах на мясо и огрызались на укору Совершенного. Быкоглавый стал видной особой, все уповали на то, что он избавит их от голода, и смиренно сносили его своеволие, потому что одни святые не склоняются перед голодом и грубой силой.

— Братья и сестры, не оскверняйте божие в вас непокорством и скоромной пищей. Спасение ваше требует от вас послушания. Тот, кто служит двум господам, осужден на вечные муки,— проповедовал Тихик, вздыхая под покрывалом, потому что и сам он теперь служил двум господам.

Его выслушивали молча, понурив головы, а Быкоглавый, окруженный своей дружиной, стоял как столб и смотрел исподлобья.

Тихик утешался надеждой, что, когда кончится голод, придет конец и власти Быкоглавого, и заблаговременно приказал продолжать рубку леса. День и ночь пылали огромные костры, и вместе с дымом в селение наплывали горячие волны. Вечерами костры освещали землянки, и народ усаживался вокруг огня. Женщины стирали, дети с визгом и воплями гонялись друг за дружкой, мужчины обсуждали предстоящие дела.

Из покоя Совершенного было видно, как лес мало-помалу уступает людям обгоревшую землю. Торчали почернелые стволы, похожие на монахов, пораженных божьим гневом и проклятьем, но зато под пеплом был жирный чернозем. В этот год больше посеют и больше сожнут, только вот семян для сева не было. Пришлось опять прибегнуть к грабежу, и Тихик принудил себя молчать, покуда община не отсееется, покуда не минуют голодные дни.

К его страхам, терзаниям и надеждам добавлялись еще и другие опасения: проклятый художник своими картинами поколебал веру в

учение. Они искушали людей, направляя их помыслы не к грядущей жизни, а к жизни на дьявольской сей земле, их красота соблазняла так же, как Сильвестрово Евангелие, и пробуждала смутные мечтания и представления, противные богомильскому учению. И не только за это ненавидел Тихик художника, он опасался, что, будучи наделен даром проникать в души человеческие, Назарий сумел разгадать и его связь с Ивсулой, его ложь и преступления. Назарий очень исхудал, целыми днями не выходил из землянки, но, когда наступила весна и проглянула молодая крапива, он быстро поздоровел. Опрятная золотистая борода отросла, только вот глаза смотрели невесело, когда он шел по голодному и грязному селению. "Может, ополоумеет и уберется отсюда", — думал Тихик. Он внушил себе, что Назарий написал его портрет, но потом спрятал. Несколько раз он обшаривал землянку художника, но там ничего не было, кроме рваных овчин, служивших постелью.

Совершенный замкнулся в себе. В его сердце все длилась жестокая, мучительная борьба. И чем недостойнее он себе казался, тем сильнее разгоралось желание сделать свою паству счастливой. Будучи сам грешен, он стал снисходительней к чужим прегрешениям и уже не был прежним, непримиримым Тихиком, ревностным хранителем догмата. Тем не менее он твердой рукой подгонял корчевку леса, чтобы поскорее наступило довольство, ибо в этом видел единственное спасение — неоспоримое благо для человека, без чего не достичь счастья и благоденствия...

9

Ох, не выразить словами того, что
ведомо умному...

Крапива, рыба и награбленное спасли еретиков от голода, а там подошло лето и созрели первые плоды. На засеянных полях буйно взошли хлеба, колосья сгибались под тяжестью зерен, дикие фруктовые деревья — под тяжестью плодов, река кишела рыбой, даже и малые ребята могли ловить ее, а грибов народилось такое множество, что их набирали большие корзины и сушили на зиму. В изумрудном великолепии лета с благодатным дождем и теплыми солнечными днями все рождалось и цвело, и даже в песнях птиц, в жужжании пчел и букашек слышались радость и наслаждение.

Обмолоченный хлеб не влез в общий амбар, и каждый еретик унес к себе долю пшеницы и проса. Тихик уверовал, что изобилие положит конец кражам и Быкоглавый укротится, ведь люди уже довольны, и теперь их помыслы устремятся к богу. Он радовался этому, однако вскоре заметил, что его паства с алчностью собирает блага земли, а не помышляет о молитве. По вечерам в молитвенный дом сходились неохотно, многие и вовсе не показывались, некоторые своевольничали и спешили укрыть в тайниках зерно и плоды. Все поправились, повеселели. Вместо прежних мрачных и постных лиц Тихик видел загорелых, крепких мужчин и краснощеких женщин, в чьих плотных телах вили гнездо

похоть и соблазн. В селении часто раздавались смех и песни, дети резвились в буйных играх. Тихику доносили, что молодые женщины и девушки водят в лесу хороводы и многие мужчины впали в соблазн. Однажды в селении раздались отчаянные крики — несколько семейств подрались из-за украденной пшеницы; некоторые напивались допьяна медовой, которую варил из меда диких пчел еретик с распоротой губой. Непокорство ширилось день ото дня, и в душу Совершенного запало подозрение, что плодородие послано дьяволом, чтобы разобщить паству. Нищета связала этих людей, изобилие, а не голод отчуждало их друг от друга. Каждый хотел избавиться от обязанностей к своему ближнему, потому что блага, которыми он обладал, придавали ему чувство независимости. Все чаще обращались они к Назарию, чтобы он написал для них картины, где было бы изобилие плодов, различных яств, земных утех, и от Тихика этих картин не прятали.

Но не одна лишь эта напасть потрясла Совершенного. Грабительские набеги Быкоглавого и его дружины не только не прекратились, но стали еще чаще. Дружина выросла числом, каждый гарцевал на угнанной лошади, держались они как хозяева и не признавали никого, кроме своего предводителя. Стремление к богатству породило зависть. Люди Быкоглавого были подпоясаны крепкими шерстяными кушаками, носили яркую одежду, в хижинах у них появились домотканые ковры и покрывала, красивые ткани, невиданная утварь. Женщины слали им обещающие улыбки, дети вертелись вокруг них, слушались охотнее, чем родных отцов, и смотрели на них с восхищением, потому что сила — это одновременно и красота. Вооружены они были не деревянными кольями и дубинами, как прежде, а настоящими копьями, луками, мечами и палицами. У пояса носили колчаны со стрелами, а на Быкоглавом была плетеная кольчуга, снятая с царского воина. Они пропадали где-то по многу дней подряд, иные возвращались раненые, а трое из них однажды не вернулись вовсе; они заставляли других заготавливать им тес для будущих жилищ, а расплачивались краденым. Все реже приходили они на вечернюю молитву, и однажды Тихику стало известно, что они вознамерились построить себе дома в стороне от селения, а Быкоглавый надумал возвести там башню. Совершенный испугался и призвал Быкоглавого к себе.

Быкоглавый толкнул дверь плечом, не потрудился закрыть ее за собой, не снял с головы боярскую шапку, украденную где-то, встал, заложив руки за кожаный солдатский пояс. Он был в пунцовой безрукавке, расшитой на груди серебряными нитями и белым шнуром, обут в добротные сапоги. Голову он держал надменно, чуть набок, и Тихику показалось, что Быкоглавый в новой этой одежде стал стройным и погосподски внушительным. "Сознает свою силу", — со страхом подумал Тихик.

— Брат, я все знаю и вижу и читаю мысли твои, — начал он настоятельно, как и подобает владыке. — Довольно молчал я и молился, замаливая твои грехи. Ты первым принялся за воровство, прогневил отца небесного, и он, в наказание, наслал на нас голод. Я ожидал, что ныне, когда бог дарит нам изобилие, ты распустишь свою дружину, а что я

слышу? Вы вознамерились отделиться, построить башню, основать новое селение. Отчего позабыл ты о Страшном суде и жизни вечной? Вот, обрядился в Сатанаилово платье, возгордился и забыл о господе.

Толстые губы Быкоглавого расплылись в наглой ухмылке, и Тихика поразило хитрое выражение его глаз.

— Ты для того призвал меня, чтобы выставить дураком? Кабы я не накормил людей, все бы с голоду перемерли, и какая уж там была бы община, какой ты был бы владыка и над кем? Чем укорять, лучше бы похвалил меня,— сказал он.— Разве воровство — грех? Я ворую боярское, царское, поповское. А что до платья, так я тебе скажу: ты устрашаешь людей черной рясой и поясом познания. Я тоже должен чем-то страшить их, чтобы они мне покорялись.

”Лукавым подучен он. Как припугнуть его?”— спрашивал себя Тихик, покрываясь испариной.

— Не лукавь, брат, и не мешайся в божьи деяния. Господь наслал на нас голод, дабы искупили мы твое воровство и спасли свои души!

Быкоглавый усмехнулся:

— Ты сам говорил, что волов и топоры послал нам господь. Или забыл? И сам разве не ел краденого? Кто дал нам хлеб — господь или дьявол? Не дьявол ли заставил землю рождать животных и растения? Я ли должен напоминать тебе слова нашего учения?

— Брат,— внушительно произнес Тихик, вспомнив при этом, что и его самого преследовали подобные мысли,— не подобает разуму человеческому рассуждать о деяниях божьих. Ты на пути в преисподнюю и туда же ведешь людей. Опомнись!

Быкоглавый вынул руку из-за пояса.

— Пусть меня судит кто угодно! Я делаю людям добро, я накормил их и одел. Однако и ты в ответе, потому — ты владыка, ведь ты надел на себя пояс познания.

”Возгордился он, подобно мне, грехами своими. И об этом подумал тоже...” — горестно отметил Тихик.

— Слушай, что я скажу тебе, брат. Не избежишь ты божьего суда. Оставь разбойничество, распусти дружину и вели подчиняться мне. Коль послушаетесь меня — сниму с вас грехи ваши.

Быкоглавый грозно поднял бровь.

— А-а, да уж друг другу-то врать не надо! И скинь ты с себя это покрывало, чего от самого себя прячешься! Мы с тобой знаем друг дружку, да и все знают, кто ты есть и кем был, пока не удрал от князя. Как может простолюдин прощать грехи?— сказал он, и его толстые губы растянулись в насмешливой улыбке.

Тихику почудилось, что перед ним стоит сам сатана.

— Святость, она в душе и в долге, не в теле и не в роду человека. Ты слушал и почитал того волхва, Сильвестра!— закричал Тихик в изумлении.

— Отец Сильвестр был совсем другой человек, а ты такой, как и все мы, только похитрее. Вмешался в небесные дела, чтобы завладеть его поясом. Пояс-то у тебя, а вот ума недостает.

— Я выгоню тебя из общины! Сатана внушил тебе эти мысли!

— Кто хлопочет о земном, имеет дело с дьяволом. И ты имел с ним дело, покуда не спихнул отца Сильвестра. И сейчас на него же уповаешь, чтобы люди стали добродетельными. И знаешь что? Не стращай меня. Я ведь могу тебя одолеть, как ты одолел его, стоит мне только шепнуть людям, что ты желаешь им смерти и потому запрещаешь мне воровать...

— Замолчи, брат, замолчи!— со стоном проговорил Тихик и схватился за голову.— Да падут все прегрешения на нас с тобой! Коли есть в тебе разум, молчи, и да рассудит нас господь.

— А вот это другой разговор,— засмеялся Быкоглавый.— Пускай стадо идет за нами, а уж мы с тобой будем знать, что и как. Я ведь еще тогда говорил тебе: буду держать ответ, но вместе с тобой, так что не миновать тебе встречи с дьяволом...

— Вижу я, умен ты, брат. А умный тем и отличается от глупого, что знает. Про что он знает, не должно говорить вслух, да и невозможно даже. — В голосе Совершенного звучали слезы.— Поклянись, что будешь молчать, что сохранишь тайну.

— А зачем клясться? Что есть — то есть. Моя сила — в хлебе насущном, твоя — в мире небесном. Небось и мне, и моим людям охота блаженствовать на седьмом небе, хоть мы и недостойны его.

— Тогда молчи и заставь их участвовать в общей молитве. Скажи, что я отпущу им грехи. Надо, чтобы они смирились, это и тебе на пользу, чтобы не бунтовали. Тогда придет к ним сознание своей греховности, и они покорятся нам обоим. Потому что, брат, двойственно устроен человек. Помести его в рай, он отправится в ад — разнообразия ради. И коль не верует он в небесного отца, то не захочет покоряться никакой власти. Власть же есть тайна, а человек без тайны не может...

— Тайна? Какая еще тайна? Одно вранье, вранье да страх!— Быкоглавый громко захохотал и ушел, не отвесив поклона.

”Ох, зачем я поставил его моим преемником! Он построит башню и будет властвовать, обладая земными благами и силой! И волей-неволей придется мне разделить власть с этим диким человеком, коего я считал глупцом... Он способен поступить со мной так, как я с князем, Каломелой и Сильвестром. Господи, отчего повторяется все на этом свете?” Тихик стиснул ладонями голову и зашагал по своему покою, не заметив того, что Ивсула притаилась за дверью кухни...

10

Ты будешь ложью, как и я...

Он услышал, что кто-то яростно застучал ногами, потом раздался стон, и прежде чем он сообразил, кто находится в кухне, дверь распахнулась и на пороге встала Ивсула. Глаза ее, расширенные от возмущения и гнева, напоминали кусочки льда. Смущенный Тихик опустил покрывало. Этот бессмысленный жест только усугубил его растерянность.

— Значит, вот ты кто! Недостойный обманщик! Ты убил отца Сильвестра, чтобы отнять у него пояс, и сам себя провозгласил Совершенным! Вы с этим разбойником обманываете всех... Негодяй, не можешь ты сделать меня Совершенной!— крикнула она и, схватив глиняный горшок, грохнула им об пол.— Как я мучилась! Ядовитые травы ела, чтобы выкинуть, а ты, подлец, заставлял меня совокупляться с тобой, чтобы, мол, души наши соединились на небе... Обманщик, грязный козел! Как могла я поверить, что ты Совершенный, когда своими глазами видела, как князь тогда ухватил тебя за волосы и поднял, как собаку!— Ивула повалилась на пол и стала срывать с себя рясю.

Тихик оторопел, но лишь на мгновение. Привыкший к душевным потрясениям, он тут же опомнился. Лютая ненависть брызнула из его глаз, но он овладел собою. Жизнь в княжеском доме приучила его к хладнокровному и расчетливому притворству. Он закрыл дверь покоя, подхватил Ивулу под руки, поднял с пола и, зажав ей рот, изрыгавший вопли и проклятия, впился в нее пылающим взглядом.

— Молчи!— властно прошипел он.— Молчи и слушай, что я скажу тебе! Послушаешься меня — и все образуется, а если не послушаешься, то нынче же вечером объявлю, что ты колдунья и ведешь беседы с демонами! Хочешь ли, чтобы я провозгласил тебя Совершенной, или хочешь сложить голову? Отдам тебя Быкоглавому и его дружине, будешь при них блудницей.

Ивула не понимала, что он говорит ей. Взгляд у нее был оцепенелый, и Тихику вспомнилось, что вот так же смотрела она, когда он впервые овладел ею.

— Объявлю, что ты ведьма, и тогда, сколько ни клянись, никто тебе не поверит. Скажу людям, что ты колдунья, они возрадуются и поверят, что это ты накликала на общину голод! Понимаешь ли, что я говорю тебе?

Она опять затряслась от рыданий.

— Кто тогда защитит тебя, несчастная?— продолжал Тихик.— А если будешь послушна, если умолчишь, завтра же станешь Совершенной. Тебя будут почитать, будут служить тебе, ты будешь властвовать над ними.— Он отпустил ее, и она сползла на пол, растрепанная, похожая на безумную.

— Какой же Совершенной я буду?— со стоном произнесла она.

— Ты будешь ложью, как и я! Слушай, отныне нас будет трое — да, ничего не поделаешь,— я, ты и Быкоглавый. Я засвидетельствую, что ты беседуешь с ангелами, что ты пророчица и святая. Тебе построят отдельный покой, у тебя будет прислужница или прислужник, и ничей чужой глаз не заглянет более в твою душу. Наденешь покрывало, будешь облечена тайной и тем обретешь свободу.

— А как же бог?— спросила она, отирая слезы грязным рукавом рясы.

— Бог?.. Бог простит нам наши грехи, потому что они — во благо христианам. Я приму на себя твои прегрешения. Встань и помолимся вместе — так, будто ты уже провозглашена Совершенной,— благостно

произнес он, помог ей подняться и отвел в свой покой. Страх и ненависть уступили место состраданию и нежности, которые он равно испытывал и к ней и к себе. В эти минуты он верил, что любит Ивсулу, потому, что любил свои страдания, и еще потому, что презирал ее...

Глядя ее волосы, ощущая нежное тепло ее тела, Тихик утешал ее и обольщал своими сомнениями.

— Как я несчастен, Ивсула! Дьявол во мне изрекает двойственные мысли, денно и ночью терзает меня, потому что проклятая земля — дело его рук и человек уязвлен им... Богу ведомо это, но и он не в силах одолеть своего врага... Ах, отчего низшее всегда побеждает высшее?..

Он открывал сокровенные свои помыслы, своей исповедью делал ее соучастницей своих прегрешений и в то же время любования ее нежной белой шейей, линией бедер под рясой. Он и сам не мог бы сказать, притворяется он или искренне страдает. Со стоном опустил лохматую голову ей на колени и обнял ее тонкий стан.

— Как я страдаю! — шептал Тихик. — Как я мучился, с каких пор желал довериться тебе, потому что кто мне ближе тебя? Я был одинок и опасался, что ты не поймешь меня.

Он не лгал, Ивсула и вправду была ему ближе всех, поскольку их связывали общие грехи...

Тогда-то дьявол, невидимый обоим, решил, что пора утешить их, и заставил позабыть о муках и ненависти. Чтобы умолкли души, он подсказал телесную утеху — гораздо более сладостную, чем прежде, ибо она была смешением любви, страдания и жадности искупления...

11

Но что есть благо для человека?

Быкоглавый возводил свою башню, а его люди строили подле нее селение. Многие еретики уходили теперь из общины, а кое-кто подрядился работать на людей Быкоглавого, получая в уплату краденое. Из нового селения доносились песни, смех, запахи жирной пищи, на закате бил барабан и играли волынки. Эхо откликалось на эти звуки, лес словно бы спешил оттолкнуть их от себя, по вечерам свет костров озарял каменные стены башни и свежие ямы для новых домов.

Тихик держал яростные речи, грозил Страшным судом, но тщетно. Он сажал провинившихся под замок, на хлеб и воду, отлучал от общины, но проку от наказаний не было — наказанные бежали к Быкоглавому, унося с собой свой скарб. Женщины сбрасывали рясы, надевали расшитые сукманы¹, повязывались алыми платками.

В разбойничьем селении принялись ткать узорчатые рядна и ткани, возникли мастерские, лавки с невиданными товарами. Назарий был нужен всем. У него просили совета, как украсить жилье, наперегонки за-

¹ Женское платье без рукавов из тяжелой домотканой шерсти.

казывали ему портреты, потому что, обретя гордость и себялюбие, люди пожелали увековечить себя. Землянка художника была забита разными вещами и припасами. Жизнь в разбойничьем селении была ключом, тогда как в старом селении она с каждым днем замирала. Даже кое-кто из верных — те, на кого Тихик полагался, — переселился к Быкоглавому.

Неведомо откуда распространилось среди разбойников Сильвестрово Евангелие, а поскольку оно освобождало их от тяжести десницы божьей, все приняли его с великой радостью. Тихик узнал, что Быкоглавый приблизил к себе Радула, провозгласил его мудрецом, и теперь Радул читал проповеди, ел и пил с разбойниками и потешал их. Он убеждал воздвигнуть храм Красоты и Свободы, ибо невозможно человеку не поклоняться чему бы то ни было.

Участились случаи хищений из общего амбара — каждый, кто убегал из селения, что-то уносил с собой. В брошенных землянках селились изгнанные Быкоглавым, увечные и убогие, раскаявшиеся лукавцы и ослабленные души, над которыми поиздевались разбойники. Они зывали к справедливости, братской любви и правде и убеждали Тихика вмещаться. Добрые христиане, сохранившие верность своему владыке, не желали соседствовать с отступниками, и в общине вспыхнули новые крамолы. Женщины вспомнили догмат об Адаме и Еве и, возгордясь, перестали покоряться мужьям. Уже нельзя было понять, что происходит; бесполезны стали проповеди, никого не устрашили наказания. Вера в богомилское учение сгинула, к нему примешалось искаженное Евангелие отца Сильвестра, и это совсем сбilo с толку людей...

“Чем это кончится? — горестно спрашивал себя Тихик. — Никто ни во что не верует, никто никого не почитает, каждый предается наслаждению земными благами, а земля не только не перестает кормить их, а в изобилии рождает плоды. И христиане устремляются искать свободы у того разбойника, именуя его благодетелем и спасителем... Бессилен я, господи! Дьявол соткал игру умнее, чем ткал ее я лукавством и мнимой прозорливостью, и моя власть обратилась в паутину... Хоть в петлю лезь, но и для этого нужна вера. Без веры как явлюсь я к престолу твоему, чтобы ты дал мне ответ и чтобы я держал ответ перед тобой? Жизнь моя оказалась собачьей, и собачьей будет смерть... Но как знать, не было ли так извечно? Может, я просто вымыслил себе человека в согласии с учением, а человек, он всегда одинаков — и когда покорен, и когда мятежен и подл...”

Совершенный задыхался от ненависти к роду человеческому. Прежде зло казалось ему преходящим, коль скоро есть утешение, что ты жертвуешь собой ради блага ближнего, теперь же все представлялось нелепым и безнадежным. “Чья в том вина? — думал он. — Не проистекает ли зло из стремления ко всеобщему благу? Но что же тогда есть благо для человека?..”

Все чаще приходил Тихику на память князь. Ведь и сам он, подобно князю Сибину, искал такого бога, который спас бы его от противоречий и оправдал его поступки. Он желал, чтобы бог возвратил ему пастырскую власть как своему наместнику на земле, а для оправдания своих

грехов приходилось отрицать бога... С презрением к самому себе Тихик вспоминал те недели беснований, когда он провел резкую черту между земными нуждами человека и божественными. Вспоминал те проповеди, в которых он изобличал господарей: верят, будто служат богу тем, что ищут его, говорят, будто ищут истину, а того не видят, что дьявол кружит их на своем колесе и это ведет к разрухе и смерти... "Через господарей властвует бес над миром, но когда уничтожаем мы их, он берется за нас... Все мы подвержены соблазну господарского высокомерия и господарских пороков!" И он вопрошал себя, посредством чего управлял паствой прежний Совершенный. Не тешил ли он людей соблазняющими душу словами и не обманывал ли себя сам? Человек, обольщенный возвышенностью своих чувствований, неминуемо тринет то, что накануне почитал истиной...

Но если бог существует, для чего он — раз он не есть возмездие, раз возмездие не карает тотчас же грех? Когда-то Тихик был убежден, что ему ведома истина, теперь он доискивался ее, подобно князю преславскому. Он усомнился в существовании бога, а без бога он не мог быть пастырем и не хотел веровать в престолы небесные, ибо, если они существуют, он недостоин их...

Сокрушенный и павший духом, Тихик избегал ходить по обезлюдившему селению, опасался встречи с Назарием. Он узнал о том, что художник куда-то исчез после того, как написал портрет Быкоглавого во весь рост, одетого в кольчугу и увешанного оружием. Разбойники уже называли Быкоглавого светлостью и готовились провозгласить его деспотом.

Отношения с Ивсулой стали тягостными — ложь стояла меж ними, рождая неприязнь. Ивсула не хотела носить покрывало. "Никто тогда не увидит моего лица,— говорила она,— оно красиво, а люди слушаются меня и покорствуют только ради моей красоты. Не умею я лгать, как ты, и притворяться чистой. Ты влил в мою душу грех, я стыжусь и мучаюсь..." Тихик понимал, что с самого начала она любила не его, а свою мечту стать Совершенной и, став ею, сделалась равнодушной, а теперь исполнилась уже ненависти и презрения.

Однажды утром он встал с постели мрачный и злой. Когда Ивсула вошла к нему, он прочел в ее взгляде неприкрытую враждебность. На этот раз она не преклонила колен, чтобы получить благословение, а, взяв метлу, скрылась в кухне. Тихик видел в дверную щель, что она стоит у открытого окна. Уронив руки, Ивсула с тоской и грустью смотрела в сторону разбойничьего селения, откуда доносились перестук ткацких станков и веселый гомон детворы.

Совершенный в гневе распахнул дверь.

— Я вижу, тебе хочется туда,— произнес он.

Ивсула ответила, не повернув головы:

— Да, хочется! Здесь остались одни нищие. Не желаю я быть Совершенной над нищим сбродом. Да и какая я Совершенная? Не лучше тебя.

— Дьявол давно уже оседлал тебя!

— Это ты — дьявол! Врал людям, что, как наполнится общий амбар, все станут добрыми и покорными. И меня принуждал врать...

— Задумала погубить себя?

Ивсула рассмеялась злым, сухим смехом.

— Ты погубил меня! Завтра же уйду из твоей мерзкой общины. Отец с матерью тоже решили переселиться туда. Люди там словно заново родились...

— Не уйдешь!— закричал Тихик, подступив к ней.— Если уйдешь туда, к тому...— Он не договорил, вдруг представив себе, что будет, если она исполнит свое намерение.— Они сделают тебя блудницей, Ивсула!— Он попытался обнять ее, но она вырвалась, ударила его метлой и убежала.

Измученный, растерянный, он не посмел пуститься вдогонку. В дверь покоя было видно, как она бежит к родительской землянке, а на пороге ее ожидает отец, ладонью заслонив глаза от утреннего солнца...

12

Многие меня обманывали, но никто не обманывал меня так, как я сам...

На другой день перед покоем Совершенного собралась толпа. Предводительствовала Юрдана, жена Быкоглавого. Дебелая, чернявая, она привела с собой из разбойничьего селения двух плачущих детей — Быкоглавый выгнал ее. Ему нравилась убежавшая из общины Ивсула, и он вознамерился взять ее в жены. Юрдана осыпала их страшными проклятиями.

— Владыка,— вопила она,— как это твоя Совершенная превратилась в суку и отняла у меня мужа? Кто послал ее — ты или дьявол? Забирай свою мерзавку и возврати мне хозяина!

Толпа сочувствовала ей и требовала, чтобы Тихик вступился, разогнал разбойников и вернул беглецов в общину. Даже верные роптали и винули его в том, что он стал затворником и отъединился от них.

— Может, господь оставил тебя и теперь ты оставил нас, владыка?— спрашивали они, толпясь у двери покоя.

В Тихике всколыхнулись презрение, злоба. Глядя на этих взбунтовавшихся людей, в которых зависть и греховные помыслы крылись под завесой учения и словами о справедливости божьей, он вспомнил отца Сильвестра и увидел себя на его месте. Они не испытали тех душевных терзаний, что испытывал он, Тихик, не поняли и не простили бы его, вздумай он раскрыть им душу. Покойный Сильвестр написал в своем послании, что трудно возлюбить человека, если в тебе живет мечта о человеке без изъяна.

— Уходите!— крикнул он.— Многие из вас бежали к Быкоглавому, соблазнившись свободой, а ныне хотят, чтобы я уничтожил то, чего домогались сами. И ты, женщина, отчего просишь у меня помощи? Взгляни — разве одежда на тебе не краденая? Разве не делила ты с нечестивым своим супругом его прегрешения?.. Проклинаешь его, смерти ему желаешь, а сама вожделеешь его! Лицемеры, взоры ваши устремлены к

разбойникам, а уста проклинают их! Демон разноязычия овладел вами, и, что бы ни делалось ради вашего блага, вы, насытившись, следуете за сатаной!

Хлопнув дверь, Тихик скрылся в своем покое.

— Боже!— со стоном воскликнул он.— Они тоже ищут справедливости и возмездия, тоже взывают к тебе, как взываю я. Вправе ли я судить их и напугать, когда нечестивей я, чем они. Владыка, а оказался рабом этих несчастных, скован одною с ними цепью. Ох, многие меня обманывали, но никто не обманывал меня так, как я сам...

Следовало что-то предпринять или покинуть общину, объявив, что отец Сильвестр был прав, перейти к разбойникам и стать разбойником самому. Но поступи он так, ему пришлось бы признаться в убийстве князя, Каломелы и в подстрекательстве других к этим преступлениям...

К прежним терзаниям прибавился и ужас перед грядущим. Воздев руки горе, он закричал: "Сатана ты или бог, ответь мне, отчего мои дела, устремленные к всеобщему благу, обернулись против меня? Кто ты, отчего ты терзаешь души и искушаешь плоть?"

Когда смерклось, Тихик пришел к заключению, что ничего иного не остается, как идти к Быкоглавому и, напомнив о былом уговоре, поделить с ним власть, обо всем столковаться. Мысль о том, что Ивсула успела все рассказать, его не тревожила больше, поскольку и Быкоглавый — соучастник их общей лжи. Тихик нарочно надел пояс познания поверх ряс — пусть все видят медные бляшки — и пошел через селение, чтобы все поняли, куда он держит путь. Опираясь на деревянный посох, он ступал с достоинством, как и подобает владыке,— плотный, тяжелый, как сама земля, черный, как сам грех, и с душой темной, как темна бескрайная лесная чаща...

Возле недостроенной башни горели костры, паслись лошади, дружно пели женщины. Лягушачье кваканье прорезало июльский вечер и, подобно исо¹, вторило пенью женщин. Тихик прошел мимо поющих, те смолкли, дивясь тому, что он не благословил их. В свете костров белели свежееотесанные камни недостроенной башни, толстую дубовую дверь не успели навесить на петли, она была прислонена к стене у входа, и Тихик в проем увидал Быкоглавого с дружиной. Разбойники пировали, Быкоглавый сидел во главе стола, разгоряченный медовухой и вином. Одной рукой он обнимал за плечи Ивсулу. Тихик с трудом узнал ее — вчерашняя Совершенная была разодета в красное боярское платье с ожерельем. Ивсула хохотала и льнула к Быкоглавому, одесную от него сидел Радул, тоже красный, потный и блудливый. Он смешил сотрапезников, все глядели на него. Под столом собаки грызли кости. Пахло жареным мясом, вился голубоватый дымок, но Тихик сквозь него разглядел на непросохшей стене огромный портрет Быкоглавого. Назарий изобразил его во весь рост, тот стоял с гордым и властным видом, опираясь на рукоять длинного меча. Голову венчал шлем, из-под которого выбивались буйные кудри.

¹ Музыкальное сопровождение в церковном пении.

Этих некогда кротких и покорных людей теперь было не узнать. Они громко и бесстыдно смеялись, довольные собой и делами своими, напоминающая перевоплощенных демонов. Ноги у Тихика подкосились, хотелось уйти прочь, но он пересилил себя и решительно вступил под каменный свод.

Первым его заметил разбойник по имени Желю. Пораженные внезапным появлением того, над кем они так часто насмеялись, но коего все же побавались, памятуя о своих грехах, все разом смолкли. Однако смущение их было недолгим. Ивсула коротко вскрикнула — с удивлением и торжеством. Быкоглавый пробормотал что-то, и вокруг стола, залитого медовухой и вином, поднялся гомон.

— Э, гляди — наш владыка, тот самый, что хотел нас голодом уморить!.. Эй ты, чернокнижник, скинь свое покрывало, покажи рога!

— Бросил, знать, тех остолопов...

— А теперь пришел нас учить уму-разуму...

— Отче, иди сюда, оскоромься! Попостился — и будет!

Тихик молча стоял у порога.

Быкоглавый взмахнул рукой, и разбойники смолкли.

— Зачем пожаловал?— спросил он.— Если проповедовать думаешь, так ступай к бабам. А может, ты из-за нее? А?— Быкоглавый тряхнул Ивсулу за плечо.

— Я пришел напомнить тебе о нашем уговоре,— проговорил Тихик.

— Каком еще уговоре? Может ли ложь о чем уговариваться с ложью? Братцы, он пришел пугать нас господом, чтобы ослабли наши руки, когда мы пускаем в ход меч или опрокидываем молодух!— Быкоглавый захохотал, вслед за ним покатила со смеху вся дружина.— Но если уж ты проповедовать пришел, валяй!.. Приятно послушать проповедь на сытое брюхо, даже если она — сущее вранье.

— Братья, посредством рук наших и познаний дьявол создает в мире многосложность вещей и богатство и тем самым делает нас рабами наших же творений. Откажитесь от воровства, оно уводит вас к собственности! Откажитесь — и станете свободны и чисты духом. Разбойничаете, а того не видите, что всякая вещь поработает вас. Отступники и неверующие, служите сатане, а для счастья надобна бедность, бедность!— кричал Тихик с порога.

Громовой, наглый смех был ответом на его наставление.

— Каков обманщик!— визжала Ивсула.— Я слышала из-за двери, как твоя светлость изобличил его. Уж и врал он нам, врал, сулил престолы небесные...

— Молчи!— цыкнул на нее Быкоглавый.— Как знать, может, ты и от меня сбежишь. Смотри, полетит с плеч твоя красивая головушка!

— Человек, твоя светлость, словно конь на привязи: как выщиплет траву, рвет повод и в другое место идет пастись,— мудро рассудил Радул.— А хитрец этот сперва меня мучил, чтобы я отрекся от истинной веры, а теперь вот от нас покаяния требует, подчинения, значит. Покойный отец Сильвестр понял, что нету ни бога, ни дьявола, а этот осел знай старую погудку твердит. Убил высшего человека, чтобы отнять у него пояс

познания, князя убил и красавицу Каломелу, подговорил вас уморить их голодом в пещере. Поглядите на него, он и есть сам дьявол, а выдает себя за святого и владыку. А ну, тащите сюда рядом, я вам скажу, что мы сделаем...

Тихик кинулся бежать, но было поздно. Двое людей Быкоглавого настигли его на поляне и привели назад, в башню. Его завернули в ро-гожу и принялись подбрасывать кверху.

— Вознесись, вознесись на седьмое небо, к престолу ангельскому!— орали разбойники, хлопая в ладоши.

Ошеломленный, изнемогший Тихик и не помнил, как с него сорвали покрывало, пояс познания и вытолкали из башни. Очувствовался он, лишь когда толпа преследователей осталась далеко позади. Боль унижения раздирала его сердце, и, пав ничком на землю, он истошно закричал:

— Боже, спаси человека, отведи от него погибель! Да поразит меня твоя карающая десница, но спаси человека! Ох!— простонал он.— Но как ты спасешь его, чем? Он отречется от тебя, коль муки его остаются безответными, и не укротится, покуда не постигнет твои тайны. Презрит он и тебя, и себя!..

На его страдальческий крик из лесу тоненько, как дети, заскулили волчата, женским смехом визгливо отозвались шакалы, словно и звери обращали к богу те же вопросы, и только филин уныло заухал: угу, угу...

13

Итак, смотри: свет, который в тебе, не есть ли тьма?

Евангелие от Луки, глава 11

Ни среди отчаяния и нищеты богомильской общины, ни среди богохульств, побоищ и разврата в разбойничьем селении Назарий писать не мог. Пресытись всем и ото всего отвратясь, понял он, что своим художеством тоже способствовал разрушению общины, прельщая людей иным, обманчивым миром, вольной и гордой жизнью. Он пребывал в угнетенном состоянии духа, размышления все чаще склоняли его к отрицанию искусства, в котором бог и дьявол перевоплощались один в другого. Чем упорнее пытался он проникнуть в эту загадку, тем более владал в отчаяние. Любовь к человеку привела прежнего Совершенного к отступничеству от бога, а Назария — к отрицанию самой любви. Мир перестал быть океаном красок, звуков и чудес, которые делали Назария веселым и любящим. Он казался себе ничтожнее самого жалкого еретика. Низменные порывы, презрение и ненависть теснились в его душе, точно теперь это в нем самом обрели жизнь все страсти, пороки и страдания, кои он ранее изображал. Осунувшийся и подурневший, Назарий прятал глаза от сторонних взглядов, зная, что он уже не прежний, не лучезарный.

Все чаще помышлял он об Ивсуле и каждый вечер отправлялся в разбойничье селение, надеясь повидать ее хотя бы издали. Любовь к этой

женщине, некогда "напиток медовый для души", возродилась любовью плотской, он желал ее, быть может, единственно потому, что Быкоглавый, как он прослышал, отказался взять ее в жены и теперь Ивсула блудедействует с его приближенными...

В один из вечеров, когда закат обагрил каменные стены башни, Назарий повстречал ее. Расцветшая и наглая, с распущенными волосами, в красном боярском платье и в ожерелье из жемчугов, она была еще прельстительнее и, подобно всем блудницам, загадочна. Ивсула с презрением взглянула на него и не ответила на его приветствие. Назарий возвратился в богомильское селение и ночь провел без сна. Если красота есть добро и совершенство, тогда отчего же Ивсула-блудница красивее прежней девственницы и отчего подавляемая любовь к ней превратилась в сладострастие?..

Как-то бессонной ночью, когда отчаяние и отвращение опять навели Назария на мысль о петле, вдруг послышался голос, зывавший к нему в убогой землянке: "Встань, юноша, час пробил!" Чей был тот голос, он не знал, но, поразмыслив в темноте, уверовал, что это в нем заговорил его собственный голос, который только ждал срока, как ожидает весны посеянное зерно. Он соскочил с лежанки и, окрыленный надеждой, порываясь к спасению, воскликнул: "Иду! Иду!"

Весь остаток ночи Назарий не сомкнул глаз, а наутро отправился к Быкоглавому. Он потребовал в уплату за портрет кожух, постолы, топор и ком соли. Получив это, Назарий тронулся в путь, в горы. Неведомый голос все звучал в душе, и Назарий уже готов был поверить, что теперь развяжется узел его мучительных раздумий. "Потому что,— говорил он себе,— если мой разум не в силах отделить ложь от истины, а глаза и уши не показывают мне подлинной сущности мира, я должен довериться чему-то иному во мне, тому, чей голос ночью возвестил, что пробил час моего спасения. Я не ведаю, в чем оно, но ощущаю его в своем сердце и должен вникнуть, не есть ли это новое самообольщение".

Он поднялся высоко, до голых полян под самой вершиной, где уплывающие облака расчлняются на прозрачные пряди, и поразился покою и безмолвию сверкающих снежных вершин. Они говорили ему о подвиге и вместе с тем показывали, как он мал и ничтожен. Их могущество угнетало, и, когда наступил снежный полдень, Назарий спросил себя, ради чего он забрел в это безлюдье и глушь. Куда бы он ни пошел, разве он не останется одиноким в своей немощи и бесплодных раздумьях? Разве мир не враждебен человеку, разве должно человеку враждовать с тем, что его сотворило?..

Печальный и понурый, он скитался без всякой цели, смотрел, как в пенящихся потоках тенью мелькают форели, видел черных гадюк, что выползали из-под камней, обросших бархатным мхом, видел рослые травы на горных лугах, колдовские хороводы ядовитых грибов, желтокоричневые вешенки, подобные бусам, на стволах поваленных буков, плоды диких яблок и слив. Все замерло в созерцании под нависшим полуденным солнцем. Одинокое старые сосны с обломанными бурей ветвями и леса, укрывшие зверей в синеватой своей тиши, терпеливо

ждали, когда нечто неведомое сорвет покрывало с их тайны. Утомленный этим многообразием, которое дурманило голову, Назарий, поев хлеба, прилег на поляне и вскоре забылся сном... И приснилось ему, будто некто подошел к нему и сказал: "Если хочешь опять стать светлым, не пытайся уравнивать светлое с темным, зло с добром, уродливое с прекрасным. Истина расколота на множество истин, и никогда твой разум не соединит их в одну..."

Невидимый тот исчез, как исчезает горный ветерок — неслышно, но осязаемо. Назарий пробудился и увидел, как орлы опоясывают незримыми путами скалистую вершину вдаль, услышал, как в однообразном реве вод уходит в бездонность столетий время, и припомнилось ему счастливые часы, когда он пас волов, когда ощущал в себе присутствие этой силы, властно объяввшей землю от края до края. Не лживы ли те слова, подобные нежному шепоту, которые он только что слышал? Кто же хотел обмануть его — тот, кто привел его сюда, или его ночные раздумья и смутные надежды, отринутые им и забытые? Мог ли он быть добрым и прекрасным, когда из-под прекрасного выглядывала ложь?

Новая волна отчаяния придавила Назария и наполнила его сердце злобой.

Он сплел себе шалаш из ветвей и папоротника и проводил там теплые августовские ночи. Вспоминал богомаза, у которого учился когда-то, являлся ему и покойный отец — псаломщик, и набожная, всегда суровая мать, болярин со всем семейством, распутная Ивсула, ставшая еще красивее, несчастные еретики, разбойники, истомленный княжеский раб, что во имя блага общины завладел поясом познания и совершил убийство князя, Каломелы и апостола Сильвестра... И эти воспоминания представляли как бы вневременными, словно они не имели касательства к нынешнему Назарию. Разве не было ложью и самообманом духа те часы, когда он с колотящимся сердцем брал в руки кисть или кусок угля, чтобы изобразить чудеса, окружавшие его, либо демона, проглянувшего в чьем-то лице? Когда он упивался музыкой красок, каждым лесным цветком, оперением птиц и самими птицами, коих он щедро наделял ласковыми именами, исполненный восторга и радости оттого, что их видят? Холодными горными ночами, под небом, отягощенным звездами, готовым осыпать звездной пылью страшную, загадочную землю, рыдания теснились в измученной душе Назария.

За те дни, что провел он в отшельничестве, лицо у него округлилось, волосы отросли, борода закурчавилась, он возмужал и окреп. Глаза, жестокие, как у языческого божества, уподобились озерам, в глубине которых зло сражалось с добром. Даже походка стала иной — тяжелой, грозной, неуступчивой. Птицы, которые прежде доверчиво ждали, когда он подойдет ближе, теперь улетали от него прочь, как от ястреба. Гадюки шипели и пытались ужалить его босые ступни, цветы незаметно отклоняли чашечки, полные росы, орлы посылали ему проклятия. Однажды ночью к шалашу подошел громадный медведь и долго рассматривал Назария свирепыми глазами, потом взревел и убежал в испуге. Другой раз повстречалась Назарию рысь. Она стояла на тропинке, по ко-

торой он ходил за водой. "Отчего ты тоже красива? Прочь с моей дороги!" — вскричал Назарий. Рысь убежала, а Назарий продолжал путь, возгордясь, что внушает страх всему живому. "Не сейчас ли, когда зло и добро утеряли свои границы и мир обрел единство, стал я самим собой? Мне дарована власть над животными и птицами, и я подобен сотворившему меня, я добр и зол. Разум мой успокаивается, меня не терзает ни моя собственная тайна, ни загадка мироздания. Богу — богово, дьяволу — дьяволово. Оба они во мне, ибо я человек..."

Он не верил внушениям невидимого — счел их пустыми сновидениями и не желал о них думать. Но самонадеянность обрекала его на одиночество, и, как только ему вспоминался прежний Назарий, томила тоска и мучительно сжималось сердце. Когда у него кончился хлеб, он спустился с гор, ибо не находил уже смысла в своем отшельничестве. "Мироздание находится вне меня, и то, что рядом со мною, отделяется от чего-то во мне самом. Я ощущаю это в себе, но назвать не могу, — думал он. — Оно жаждало Красоты, и я самообольщался, будто мне открыта возвышенная тайна творения божьего. А начав изображать несчастье, стал и сам несчастен. Каждый губит себя делами своими, и все страдают от них. Страдает Тихик от владыческой своей власти, апостол Сильвестр погубил себя новым своим учением, Ивсула — демонами тщеславия и гордыни, Быкоглавый погубит себя разбоем, а я — своим художеством..."

Назарий не хотел возвращаться ни в жалкую богомильскую общину, ни в разбойничье селение. Он вспомнил о князе, и ему пришло на ум построить хижину и поселиться подле пещеры. Минувшей весной он побывал там, видел огромные камни, завалившие вход. Он решил наведаться в свою прежнюю землянку и взять овчины, служившие ему постелью. Богомильская община пришла в запустение, молитвенный дом разорили, балки и кирпичи унесли в разбойничье селение. Возле башни стояла стража, наверху развевался флаг. Неподалеку возводили новый дом для Быкоглавого. Назарий пришел в ту минуту, когда Быкоглавый, богато разодетый, верхом на белом коне, отправлялся со своей дружиной на очередной грабеж.

— Ты где пропадал? — спросил он Назария. — Мои люди с каких пор тебя разыскивают. Хочу я, чтобы ты нарисовал мне на флаге герб и расписал мой новый дом. Ты знаешь, как выглядят боярские хоромы и как все надо разукрасить. Неси сюда свои кисти и краски, поселишься здесь. Получишь самый хороший дом и все, что надобно.

И, не дожидаясь ответа, Быкоглавый поскакал во главе дружины устраивать на дорогах засады и грабить купцов и бояр. Огромная толпа провожала его радостными криками.

Назарий ко всему приглядывался, желая понять, что тут произошло за время его отсутствия. К нему подошел еретик с распоротой губой, подошли и другие, рассказали, что тому два дня Радул повел народ к покоем Совершенного, размахивая поясом познания, и после краткой речи потребовал, чтобы Тихик был предан суду за то, что сулил небесные престолы и блаженство, а сам заставлял их страдать, ходить нищими, оборванными. Радул убедил и остальных приверженцев учения отказаться от

богомильства, и они кинулись, чтобы схватить Тихика. Тот, однако, успел вовремя скрыться, и неизвестно, где он теперь — быть может, подался в Преслав либо его разорвали лесные звери.

Назарий забрел на торжище. Там шла бойкая торговля, многие открыли лавки и корчмы. Посреди торжища, стоя на камне, Радул проповедовал новое учение о власти, в коем мир уравнивался с богом.

Назарий хотел было пройти к пещере, думая поселиться в ней, но тут кто-то потянул его за рукав. Он обернулся и увидел Ивсулу.

— Как ты переменялся, Назарий,— сказала она, когда их глаза встретились.— О, да ты теперь настоящий мужчина. Но не гляди на меня так, как все они!

— Да, я уже не тот,— проговорил он, чувствуя, как заколотилось сердце.— Но и ты переменялась тоже. Истерзали тебя твои демоны, Ивсула?

— Про каких ты демонов говоришь? Демонов нету, наш учитель Радул тебе растолкует это, я не сумею. Знаешь, я вот к тебе зачем, хочу, чтобы ты нарисовал меня. Очень мне хочется, чтобы нарисовал,— томно сказала она.— В самых лучших моих уборах. Я надену их, когда ты велишь.

— Нет надобности надевать красивые уборы, я и так нарисую тебя красивой. Но ты заплатишь мне тем, что отдашься мне. Я хочу тебя, Ивсула...

— Ого, ты тоже стал как все.— Она засмеялась, и Назарий заметил в ее глазах сладострастные огоньки.— Столкнемся!— Она ласково провела рукой по его бороде и убежала, а ее смех еще долго звучал у него в ушах.

”Вот это и есть истина, и сколь же она проста! Сколь земна и отвратительна! Двойственна она и погубляет всякого, чей ум потонет в ней, а между тем человек непрестанно и вечно домогается чего-то, пока живет на земле. Я тоже погубил себя, когда понял, что истина раздроблена на множество противоречивых истин и что над миром властвует неведомая сила. Мой бог умер, а с ним умерла и вера в мое искусство”. При этой мысли Назарий почувствовал, что дьявол завладел им и влил в него свою желчную мудрость. Засмеявшись, он потащил овчины к пещере.

В лесу он выбрал место для своей будущей хижины, перенес туда краски, кисти, нашлась в землянке и чистая липовая доска, и тогда он попробовал написать Ивсулу по памяти — такой, какой он увидел ее в то утро. Однако рука изменила ему. Страсть бушевала в его груди, сокровенная тайна красок, их песни не пробуждали отзвука в его сердце, и Назарий отшвырнул доску. Отчаявшись, он решил раскидать камни, что преграждали вход в пещеру, и омыть себя в роднике. Подойдя ближе, он заметил, что вход наполовину свободен — кто-то сдвинул камни в сторону. Назарий проник в пещеру и увидел рясу апостола, на которой засохшая кровь Каломелы казалась пятнами ржавчины. Каменные недра земли представились Назарию сжатыми с его собственной душой: свет и тьма боролись там, как и у него в душе. Однако чудесный родник, голубовато-прозрачный, дымящийся, и широкий поток света,

низвергавшийся сверху неземным сиянием, говорили о том неведомом, что Назарий считал ныне ложью...

Он стал раздеваться, но вдруг услышал стон и, обернувшись, увидел в темном углу устремленные на него глаза — похоже, звериные. Вглядевшись пристальнее, Назарий узнал Тихика. Совершенный держал в руке нож и что-то сжимал под мышкой.

— Не выдавай меня, брат,— шепотом проговорил Тихик.— Они убьют меня.

— Почему ты здесь?— спросил Назарий.

— Укрылся от них, уже два дня прячусь, не знаю, куда идти... О, они злые, брат, в точности такие, какими ты изобразил их. Злые и неблагодарные. Ради их блага я обманывал самого себя, а теперь сатана ополчился против деяний, кои мне сам внушил.

Тихик вышел из угла на свет, падавший сверху. Он исхудал, его била дрожь, беспокойными глазами он оглядел Назария.

— Что с тобой случилось? Ты не такой, как прежде,— произнес он, пораженный происшедшей в Назарии переменной.

Назарий улыбнулся беглой, усталой улыбкой.

— Ты не вини меня, Назарий, не знаешь ты моих мук. Человек пашет и сеет беды — себе и другим. Меня разыскивают, чтобы убить. Быкоглавый, изменник, взбунтовал их. Подай мне совет, ты знаешь их лучше, чем я. Как быть мне, куда бежать? Хлеб у меня на исходе. Остался один ломоть.

Назарий молчал, глядя на воду.

— Хорошо,— проговорил он после долгого молчания.— Коль думаешь, что я знаю их лучше, чем ты, я дам тебе совет. Стань святым, тогда победишь их и сам спасешься.— По лицу у него вновь скользнула улыбка, но теперь в ней была злая насмешка над самим собой, потому что ему вспомнилась былая его мечта.

Тихик смотрел на него в изумлении:

— Мне, погрязшему в грехах, стать святым?

— Ты же верил, что ты служитель божий, владыка, что обладаешь истинной мудростью, дабы вести людей к счастью и благоденствию. Ты измыслил и самого себя и человека, вообразив, будто знаешь его. Сказано же: дьявол назначил слуг своих по порядку, установленному всевышним. Неужто забыл?— Назарий хохотнул, и Тихик увидел, что глаза у него жестокие, совсем как у мертвого Сильвестра.

— Послушай, кто ты и зачем шутишь так? Ты, верно, не Назарий, ты другой! Но кто бы ты ни был, скажи, отчего все, что я делал во их благо, обернулось злом? Скажи, как быть мне дальше?

— Иного совета я тебе дать не могу. Скрывайся в лесу, чтобы люди поверили, будто ты страдал и страдаешь ради их блага. Тогда они сами придут поклониться тебе и молить о прощении. Но это станет позднее, когда Быкоглавый измучит их своей властью, как измучил их ты. Он их прельщает свободой, как ты — небесными престолами, и свободой поработит их...— сказал Назарий.

— Откуда ты знаешь, кто внушил тебе это? Ты лукав, а был иным...

Как это возможно?— с возрастающим страхом смотрел на него Тихик, отступая к стене.

— Ты же сам признал, что я их лучше знаю, чем ты. Когда разнесется молва о том, что ты святой, они взбунтуются и против Быкоглавого, и он придет к тебе просить помощи. Хоть вы и враги, вы будете властвовать вдвоем, он — именем кесаря, ты — божьим именем, пусть даже ты и не веруешь в бога.— Назарий громко рассмеялся, и смех его коротким эхом прокатился под мрачными сводами пещеры.— Послушай,— продолжал он,— неужели не понял ты, что всякое братство кончается господством одних над другими? И еще один совет на будущее: когда они успокоятся и вы с Быкоглавым станете править ими — повесьте трех невинных, потому что повинны все...

— Как?— воскликнул в ужасе Тихик, сжимая в руке нож.— Ты даешь мне такой совет, ты?! Нет, ты не Назарий. Он был глуповат... Ты — тот, кто обитает здесь. Он принял твой образ и научает мучить меня и смеяться надо мной!

— Он во мне, как и в тебе. Он — в каждом, чтобы продолжилось царство его. И ради той цели он ополчается против себя самого.

Назарий повернулся, вознамерясь уйти.

— Постой!— вскричал Тихик.— Если ты — он, я не устращусь! Я был твоим слугою, и ты должен ответить мне, отчего все так случилось. Я верил, что правлю по божьему соизволению, а оказалось — по твоему. Неужели только ты и существуешь, неужели нет над тобой господина, чтобы судить тебя и карать? Я хочу получить ответ — за муки мои, за осмеянные тобой надежды и мечтания, за страдания тех несчастных, что хотят судить меня вместо того, чтобы судить тебя. Стой!— закричал Тихик в испуге и устремился к Назарию.

— Я Назарий, художник, которого ты называл глуповатым оттого, что не знал меня. Теперь мы с тобой сблизились. Коль ты веришь, что я — дьявол, ты должен верить и в бога,— не оборачиваясь, сказал Назарий.

— Не лукавь! Ты сатана! Ты вселился в безумца художника и через искусство взбунтовал всех! Ты и меня погубил!— неистово взревел Тихик и вонзил нож в спину Назария.

Художник упал навзничь и долго бился в корчах, пока не наступила смерть. Обезумевший Тихик неподвижным взглядом смотрел на него. Потом оглянулся и увидел призрак князя. Князь Сибин подступал к нему ближе и ближе. Черные соколиные глаза не отрывались от Тихика, они чудовищно ширились, была в них та самая жестокость, что и в глазах Назария, и Тихик стал пятиться к бездне, где ревел и дымился подземный поток.

ЛАЗАРЬ И ИИСУС

(Апокриф)

1

Все обитавшие в Вифании знали Лазаря, ибо безобидный этот юноша бродил по городу даже тогда, когда солнце изливало на плоские кровли убийственный зной, а тени пальм медленно, как солнечные часы, описывали полукруг на покрытой пылью земле.

Прежде чем завидеть, как он бредет по узким извилистым улочкам, жители города слышали гулкий топот его деревянных сандалий. В выцветшем голубом хитоне, с медно-красными в мелких завитках волосами и такой же медно-красной реденькой бородкой, Лазарь шел без определенной цели, держась тенистых местечек возле домов, и серые его глаза своим стеклянным блеском напоминали глаза эпилептика. Этот холодный блеск, противоречивший сосредоточенной улыбке, разлитой по его лицу, нагонял страх на тех, кто заглядывал ему в глаза, и часто отталкивал от него жителей Вифании, хотя они любили Лазаря, как любят человека беззлобного, слабого разумом и несчастного. Никто не называл его помешанным, все видели в нем двадцатипятилетнего младенца, существо мечтательное, беспомощное и никчемное, нахлебника своих сестер, добывавших себе пропитание тканьем поясов, хитонов и плащаниц.

Гончары, чьи мастерские распространяли вокруг запах сырой глины, шорники, мелкие торговцы — разносчики, обессиленные зноем, продавцы хурмы и те, что продавали возле синагоги благовония, воробьев и голубей, — когда Лазарь проходил мимо, обращали к нему благодушные слова, жены их улыбались ему смущенно и озабоченно, угадывая в нем нечто, чему не сыщешь названия; ребятишки же смеялись над ним, однако никогда не швыряли в него камнями и, сами того не сознавая, любили его.

— Что прячешь под одеждой? — кричали они ему вслед.

— Хлеб и закваску для бедных, — хриплым своим голосом отвечал Лазарь, придерживая под хитоном каравай.

— А правда, что Марфа колотит тебя? — спрашивал какой-нибудь озорник.

— Она хорошая, добрая, — не оборачиваясь, отвечал Лазарь, и все знали, что он несет хлеб детям Саломии, вдовы погонщика верблюдов, погибшего в пустыне, чей дом стоял на окраине города.

Сквозь низкую дверь входил Лазарь в полутемное жилище, где слышалось блеянье козы, и, ступая по намазанному верблюжьим навозом и глиной полу, опускал хлеб на большой камень, заменявший здесь стол. Затем наблюдал с веселой улыбкой, как трое сироток с жадностью едят, пыхтя и отгоняя от себя козу. Тощая сердитая вдова молча вперяла в Лазаря пылающие огромные глаза.

Лазарь уходил, но она знала, что он кружит у колодца в ожидании, пока спустится вечерняя прохлада и вытянутся тени, и станет помогать женщинам и девушкам доставать воду с глубокого дна. И она дивилась тому, как терпеливо сносит он нещадный зной. Потом Лазарь ложился под смоковницами на опушке рощи, поднимал взгляд к звездам и слушал стрекот больших белых кузнечиков. Опершись на локти, он смотрел то в небо, то на голую невысокую гору, сливающуюся с горизонтом и тающую в ночной мгле подобно тому, как тает порой неуловимая мысль в человеческой памяти.

Если бы кто-нибудь видел в эти мгновения его лицо, то заметил бы, что оно озарено счастьем, словно бездонные небеса изливали на него благодать, от которой душа ликovala, а сердце наполнилось радостью. Некто нашепывал ему оттуда смутные обещания, и Лазарь улыбался ему, не задумываясь над тем, кто он. В эти сладостные минуты все его тело, как от щекотки, содрогалось от беззвучного смеха, а пальцы шарили по хитону там, где стучало возрадовавшееся сердце. Но не только по вечерам, хотя чаще всего именно по вечерам, сносился Лазарь с этой благодатной силой, а затем, воспрянувший духом и благорасположенный, готов был смеяться и даже плясать на грязных улицах Вифании.

— Опять нажевался маку в долине. Надобно известить его сестер, не то опиум умертвит и без того слабый его разум! — толковали жители города и укоризненно качали головами, убежденные, что бедняга пристрастился к зрелому маку. Однако, когда сестры спрашивали его, верно ли это, Лазарь отрицал.

— Маки? — говорил он, улыбаясь своей младенческой улыбкой. — Для чего мне жевать их? Я и не ведаю даже, какие они на вкус.

— Отчего же ты так весел? — допытывалась Марфа; она вела дом, и ей, как старшей, все подчинялись.

— О, совсем от другого! Это оно дарит мне радость.

— А что это такое?

— Оно большое и веселое, очень веселое. Я знаю, что это, но не могу выразить словами.

— Оставь его! Он сам не знает, что городит, — примирительно говорила Мария.

Много раз, когда они садились за ужин и зажигали глиняный светильник, сестры испуганно взглядывали друг на друга: свет отражался в глазах Лазаря холодным блеском, они казались незрячими. Радужной оболочки видно не было, и сквозь отливающий жемчугом холод проглядывало что-то потустороннее. В такие минуты сестрам казалось, что рядом не единокровный брат их, а призрак — опасный и чужой их дому. С тайным ужасом глядели они на его медно-красные волосы, редкую бородку, худое улыбающееся лицо с острым подбородком и выступающими вперед скулами, — лицо слабоумного, на котором дрожали отблески свечей, и им виделся в Лазаре дух, о коем они ничего не ведали.

Однажды, когда над Вифанией светила полная луна и кузнечики старательно убаюкивали светлую ночь, а шакалы жалобно рыдали на добела залитых светом холмах, Мария увидела, что Лазарь прошел мимо ее

кровати и направился на улицу. Она застала его на пороге, он сидел и напевал себе под нос псалом, слышанный им в синагоге.

— Ты что делаешь тут? Увидят соседи — подумают, что мы выгнали тебя из дому, — сердито проговорила она.

— О, пускай... Оно не дает мне уснуть.

— А что оно? Ты всегда говоришь о нем, точно это сон.

— Что оно? Оно везде, — отвечал он, приложив руку к груди. —

И мне странно, что вы не знаете о нем.

— Ты говоришь об Иегове?

— Не знаю. Возможно...

— Завтра сведу тебя к раввину, пусть прочтет над тобой молитву.

В тебя вселился злой дух, из-за него ты не слушаешь наших советов, будто оглох и ослеп! — И она потянула брата за рукав, заставляя подняться.

— Оставь меня, Мария! — кротко произнес Лазарь. — Если б ты знала, что я делаю, ты очень бы удивилась и не трогала бы меня.

Мария отпустила рукав. Она жалела брата и размышляла не раз над его чудачествами. "Возможно, — думала она, — он знает и чувствует нечто неведомое нам. Живет, погруженный глубоко в себя, и не меняется в отличие от нас, меняющихся чуть ли не день ото дня, отступающих перед слышанным и виденным, перед чужими суждениями, уговорами, да и голосом собственного сердца, потому что не смеем выказать несогласие, дабы не рассердить соседей или торговцев, что покупают наше ткань". И поскольку была Мария щедра, милосердна и боголюбива и сердце ее было чутко к откровениям, то взирала она на брата не только со страхом и недоверием, но и с зыбкой верой, что есть в нем некая святость.

Она решила остаться, понаблюдать за ним и вскоре увидела, как он вдруг откинул голову к освещенной луною стене и смежил веки. Мария испугалась, хотела разбудить сестру, но тут Лазарь вздрогнул, словно пробуждаясь ото сна.

— Тебе стало худо? — умеряя голос, воскликнула она в испуге.

Лицо Лазаря было окружено нежным сиянием, волосы и борода казались черными с медным отливом и словно парили в воздухе отдаленно от лица, губы зашевелились прежде, чем он произнес вслух первые слова.

— Идет, — тихо проговорил он, словно самому себе. — Он приближается, и вокруг него толпятся многие... Но я не хочу его, не хочу!..

— Что ты сказал? Ты бредишь, Лазарь! О, не пугай меня, пойдем в дом! — Она схватила его за руку, которой он прикрыл глаза, и принудила подняться.

Лазарь последовал за ней, и Мария подивилась тому, что на сей раз он не проявил обычного своего ребячьего упрямства. Она заметила, что его бьет дрожь, а вернувшись в свою комнату, услышала, что он говорит что-то. "Быть может, на него нисходят откровения. Он обладает даром ясновидца, потому что иной раз угадывает заранее, кто из торговцев обманет нас", — подумала она, засыпая.

Два дня спустя достиг Вифании слух, что появился в Иерусалиме новый пророк по имени Иисус, и он вершит чудеса — исцеляет слепых, изгоняет бесов; хромые бросают костыли, а прокаженные очищаются от струпьев. Проповедует он в притворе Соломоновом, и одни иудеи говорят, что в него вселился бес и посредством него терзает он души человеческие, а другие готовы верить, что он мессия, и потому в народе волнение. Бедные, обремененные и все те в Вифании, в ком таились недуги и пороки, исполнились надежды и страха, а фарисеи, саддукеи, богатые торговцы и раввин утверждали, что он — назарянин, сын некоего Иосифа из Назарета, что лжепророк он и следует побить его камнями.

Услыхав об идущих в городе толках, Мария рассказала сестре о видении Лазаря. Обе пришли в смущение, не знали, кому и верить. Уверяли они Лазаря не ходить по городу, никому не говорить о своем видении. Но он был спокоен, ему не сиделось дома: по-прежнему отправлялся на торжище, относил хлеб вдове, доставал из колодцев воду, но теперь уже прислушивался, о чем говорят люди. Улыбка исчезла с его лица, уступив место тревоге.

Когда подошла пасха и иудеи вернулись из Иерусалима, куда ходили, чтоб очиститься, Иисус пришел со своими учениками в Вифанию и остановился в доме Симона-прокаженного. Город взволновался, к дому прокаженного сошлась толпа.

Тогда Мария, не в силах больше сидеть за ткацким станом, охваченная неудержимым желанием узреть Иисуса и поведать ему о видении Лазаря, вышла из дому, не сказавшись, куда идет, пробралась сквозь толпу и проникла в полутемное помещение, где бывший торговец коврами хранил свои товары. Там стоял накрытый к трапезе стол. Мария увидела нового пророка раньше, чем глаза ее заметили его учеников и хозяина дома, ибо Иисус источал свет, подобно тому как светится в темноте алмаз.

Мария бросилась к нему и преклонила колена у его ног, подчиняясь будто не своей, а чьей-то чужой воле.

— Равви, мой брат предрек, что ты придешь в наш город! Он увидел тебя в полнолуние, стоя у нас на пороге, видел таким, каким я сейчас вижу тебя. Равви, он дома и очень испуган, сам не ведая чем. Пойдем, пусть он увидит тебя и обретет покой. — Когда Мария произносила эти слова, ей чудилось, что все вокруг сливаются в серую мглу и в помещении никого, только она и Иисус в розовой хламиде, сидящий за трапезой в центре стола.

— Ступай, Мария, и скажи Лазарю, что не должно ему страшиться того, что открылось ему, хоть и не ведает он, что это. Я приду к вам, когда наступит срок, — молвил Иисус, и всепроникающий его голос влил в сердце Марии любовь и веру.

Потрясенная тем, что Иисус знает ее имя и имя брата, она поднялась, увидела лучезарную улыбку Иисуса и кинулась к двери, чтоб унести и навечно сохранить в душе его образ. Она мчалась по улицам, точно вор,

уносящий похищенное сокровище, ничего не видя и не слыша вокруг. Вбежала в дом и с восторгом пересказала Марфе, что она видела и что изрек Иисус.

— Ах, какой беды ты чуть было не натворила! — воскликнула Марфа. — Хорошо, что он не принял твоего приглашения! Чем бы мы угостили его, когда в доме нет даже голубя? Не лучше ли отвести Лазаря к нему, чтобы он исцелил его и успокоил?

Заслышав, что сестры вознамерились отвести его к Иисусу, Лазарь лег на сотканые ими плащаницы, укрылся с головой, как это делают испуганные дети, и стал похож на покойника, ожидающего, когда музыканты проведут его на кладбище. Тщетно убеждала его Мария встать, допытывалась, чего он страшится, и описывала, сколь добр Иисус.

— Ты же сам в полнолуние видел его, отчего ж страшиться теперь? Если в тебя вселился злой дух, он изгонит его, и ты станешь разумным, как все, — говорила она брату.

— Не хочу я идти к нему! Боюсь, что он совершит что-то со мною. А я хочу жить тем, чем жил. О, как хорошо было мне прежде!

И как ни увещевала она его, он отвечал все теми же бессвязными речами.

Под вечер Иисус покинул Вифанию, потому что иудеи, подстрекаемые раввином, замыслили убить его. В городе стали известны слова первосвященника Каиафы: "Если оставим его живым, то все уверуют в него, и придут римляне и разорят страну нашу и народ". Так сказал он, не растолковав, откуда эта опасность, но Каиафа знал, что народ взбунтуется, ибо любая новая вера опасна для первосвященников и каждый, кто отведал вина в Кане Галилейской и поверил в Христа, не убоится смерти. А когда исчезает страх перед смертью, исчезает страх и перед властителями...

В тот день Лазарь захворал. Мария застала его в жару. Из потрескавшихся побелевших уст вырывались только слова: "Не хочу, не хочу..." Ночью он испустил дух.

В ту самую ночь Иисус был возле реки Иордан, где некогда совершал Иоанн Креститель обряд крещения, и на другой день там нашли его родные Марии и Марфы, посланные известить его о том, что Лазарь опасно болен. Сестры считали причиной болезни приход Иисуса в Вифанию и надеялись, что он исцелит их брата. Иисус, однако, не двинулся тотчас в путь, а оставался на месте еще два дня. На третий он сказал ученикам, что возвращается в Вифанию.

Фома, по прозвищу Близнец, потому что имел брата-близнеца, сказал:

— Учитель, разве забыл ты, что они вознамерились убить тебя? Зачем настаиваешь, чтобы вернулись мы в Вифанию?

— Лазарь, доводящийся нам братом, уснул, и я иду разбудить его.

— Коли уснул, то сам и проснется, — возразил на это Фома. — Говоришь, что он брат нам, хотя ни разу не видел его и не говорил с ним. А я узнал, что он слабоумный.

— Так говорят те, кто не знают человека. Младенец и взрослый

живут в нем совместно до глубокой старости, и дух его — в младенце, коему ведомо царствие небесное...

3

Когда посланцы вернулись и сообщили Марфе и Марии, что Иисус будет ожидать их за городом возле пещеры, в которой погребен Лазарь, в доме их было много гостей, собравшихся на третины. Мария поспешно отправилась навстречу Иисусу, а увидав, что уходит и Марфа, все пошла за сестрами, полагая, что они идут поплакать над гробом брата.

Мария первая пришла к тому месту, где Иисус ожидал со своими учениками, а было то место прикрыто лимоновой рощей и кустарником, и она пала ему в ноги и поцеловала край его хитона.

— Господи, — произнесла она, — если бы ты пришел к нам тогда, не умер бы брат мой.

Иисус прослезился, а иудеи зашептались меж собой: "Смотрите, он любил его больше, чем нас, хотя никогда не видел! Как понять это?" Другие же говорили: "Для чего не пошел он исцелить его, что пользы приходить сейчас?" И, глядя на лицо Иисуса, дивились тому, что он так скорбит о мертвом.

Иисус пошел к пещере и, подойдя, велел отвалить камень, что загромождал вход в нее. Отирая рукавом слезы, Марфа сказала ему: "Господи, четвертый день он во гробе и уже смердит". Но Иисус пренебрег ее словами и вторично приказал сдвинуть камень.

И все тогда увидали в пещере покойника, обвитого погребальными пеленами, с лицом, обвязанным платком, недвижно распластанного на тонкой подстилке, и подивились тому, что не чувствуют иного запаха, кроме благоухающего мира.

Иисус оглянулся на толпившихся у него за спиною и остановил свой взгляд на Иуде. Тот стоял всех ближе к нему и пристально рассматривал умершего. Ведомо было Иисусу, что Иуда не верит в чудеса, ибо человек он недоверчивый, с крепким на земные дела разумением, хитрый и расчетливый — недаром ему были поручены заботы об общей кассе. Теперь Иуда нетерпеливо ожидал, как поступит Иисус.

Иисус возвел очи к небу, и все уверовали его слова: "Отче, пусть и сие произойдет ради людей, дабы поверили они в воскресение духа и укрепился человек надеждой на новую жизнь! — И, изрекши эти слова, снял платок с лица Лазаря и воскликнул: — Выйди, Лазарь!"

Лицо мертвого исказилось, словно от боли, губы зашевелились, из груди вырвался вздох, и глаза открылись, точно он пробудился от глубокого сна. Он попытался встать, но погребальные пелены помешали ему. Никто не решался снять их с него, ибо всех сковал страх. Иисус сдвинул пелены, и Лазарь сел. Несколько мгновений оставался он неподвижен и невидящим взглядом смотрел перед собой. Когда же появился он перед входом в пещеру, иудеи попятились, а сестры поразились блуждающим

его глазам, из которых исчез стеклянный блеск, и теперь они казались мертвыми.

Одни кинулись в Вифанию, чтобы известить город о сотворенном чуде, другие — к фарисеям, сообщить о виденном. И поскольку Лазарь был обнажен, Иисус, сняв с себя верхнюю одежду, накинул ему на плечи. Он всматривался в поблекшее и хмурое лицо Лазаря и не замечал лукавой улыбки Иуды.

По дороге к дому Лазаря все безмолвствовали, ибо нет у человека слов о том, что ему неизвестно, кроме тех догадок, коими он обольщает себя. Так в знойный день шли они за восставшим из гроба, что шел сейчас к новой своей жизни, и видели, как нетвердо он ступает, а сестры не смеют поддержать его. Только у Иуды достало храбрости подхватить его под руки. Он пытался поймать его взгляд, но Лазарь низко опустил голову к дороге, покрытой ослепительно белой пылью.

— Видел ты Иегову и ангелов его? — шепотом спросил Иуда. — Скажи, чтобы поверил я, что ты и впрямь возвратился оттуда.

Лазарь молчал и не поворачивал к нему головы.

В городе их встретила толпа мужчин, женщин и детей. Со страхом и удивлением взирали они на воскресшего и на Иисуса, сопровождаемого своими учениками.

Когда все сели за стол, по-прежнему стоявший накрытым для трапезы, Лазарь возлег в соседней комнате, ибо был крайне изнурен. Иуда, ничего не упускавший из виду, сказал:

— Равви, спросим Лазаря, видел ли он господу и царствие его?

— И правда, есть ли доказательство больше этого? — настаивал и Фома.

Все примолкли, ожидая, что ответит Иисус, выглядевший озабоченным.

— Никому не дано лицеизреть Отца нашего, ибо никто не узнает его. Но каждый зрит мир, им созданный, и сердце каждого носит его в себе вместе со светом, без коего не были бы зрячими глаза наши. Светильник в нашей душе — это его светильник, и неужто мало вам этого, чтобы поверить? И тот, кто видел меня, видел и Отца моего.

— Но зачем глаза его похожи на глаза слепца? — спросил Петр.

— Он устал, пусть поспит... А пробудившись, он уже не будет прежним... — Сказав это, Иисус поднялся из-за стола и вошел в комнату к Лазарю. Склонился над ним, коснулся рукою лба. Лазарь проснулся, и они глядели друг на друга, не произнося ни слова. В глазах Лазаря еще стояло тупое равнодушие смерти. Иисус ждал ответа на нечто, что Лазарю должно было бы знать, но Лазарь продолжал взирать на него безразлично, даже с неприязнью, как человек, насильно разбуженный. Потом медленно отвел взгляд, отвернул голову к стене и снова погрузился в сон...

Иисус вернулся к трапезе со смятенной душой, но никто не осмелился спросить, что смутило его.

Прежде чем на Вифанию спустилась ночь, он покинул город, ибо молва о воскрешении Лазаря привела народ в волнение, обеспокоенные фарисеи

сошлись решать, как поскорей избавиться от Иисуса, а заодно и от Лазаря, опасаясь, не станет ли он свидетельствовать, что Иисус есть Христос.

Сестры подарили Иисусу целиком сотканный хитон, где ярко сверкали шелковые нити утка, — самый красивый из когда-либо сотканных ими хитонов.

Когда вышли они из Вифании по дороге к Иерусалиму, Иуда поравнялся с Иисусом и спросил, отчего он так озабочен.

— Сегодня наш брат Лазарь лишился царствия небесного, — громко, чтобы все слышали, отвечал Иисус.

— Как мог лишиться его тот, кто видел его? — возразил Иуда.

— Царство небесное есть в каждом, но не каждый видит его в себе, оттого что оно подобно кладу, зарытому в поле, которое вспахивает хозяин его. Оно для живых, а не для мертвых. Но тот, кто вернется из смерти, может потерять его, ибо не отыщет его там.

— Равви, если знал ты, что Лазарь потеряет царствие небесное, для чего же воскресил ты его?

— Живые нужны своим близким, а мертвые никому!

Иисус умолк и, погруженный в раздумье, до самого Иерусалима не проорил ни слова.

4

Когда остались они дома втроем, без чужих, и лошадиный топот римской стражи затих в направлении торжища, Марфа разбудила Лазаря ужинать. Он поднялся с постели, и при свете подсвечника обе сестры радостно вскрикнули, увидев изменившееся его лицо. Остекленевший взгляд, от которого глаза казались неприятными и отсутствующими, исчез; хотя и мрачный, взгляд был теперь осмыслен, как у каждого человека в здравом рассудке; былую улыбку сменила недовольная гримаса, губы были поджаты, брови нахмурены.

Сестры всплеснули руками, а Марфа вскричала:

— Лазарь, теперь и ты стал, как все! Учитель изгнал из тебя беса!

Брат обводил комнату взглядом, словно видел ее впервые.

— Отчего ты озираешь наш дом, будто гость? И не поведаешь нам разве, видел ли ты царствие небесное, о коем вещает Учитель? Что бы ты ни узнал, нам всем суждено узнать это в час, когда предстанем перед господом. Говори же и не омрачай нашей радости! — сказала Мария.

— Я голоден. — Лазарь сел за стол и хмуро потупился.

Марфа принесла хлеба, маслин, хурму и вино, и Лазарь жадно набросился на еду. Щеки его раздувались, а когда он отпил из кувшина, на них выступил румянец. Глаза его скаречно озирали стол, словно он опасался, как бы у него чего не отняли.

Сестры обменивались встревоженными взглядами, и обе отгоняли от себя мысль о том, что брат стал им еще более чужим, чем прежде. Со страхом наблюдали они за суровым, тяжелым выражением его изменившегося лица.

Терзаясь возникшей меж ними отчужденностью, Марфа настойчиво повторила вопрос, заданный младшей сестрой.

— Ничего я не видел. Я спал! — отвечал Лазарь, не переставая жевать. А когда насытился в гнетущем молчании, неожиданно спросил: — Где он сейчас? Все ли еще в Вифании?

— Ты про Учителя? Он ушел на закате солнца, — сказала Мария.

— Он совершил надо мной сие, он!

— Он отнял тебя у смерти и изгнал из тебя злого духа. Он Христос, и народ пойдет за ним.

Лазарь ничего не ответил. Встал из-за стола и выглянул в окно. Выщербленный месяц рисовал золотистые узоры по краям плоских крыш. С яхонтового неба серебряным дождем низвергался стрекот тысяч кузнечиков. Город затаился, примолк.

— Поскорей бы рассвело, мне хочется посмотреть на город, — промолвил Лазарь словно себе самому.

— Разве не видел ты его, Лазарь? Ты, кроме него, нигде и не был.

— Я хочу взглянуть на него заново.

— Понесешь вдове хлеб и посмотришь. Но что нового увидишь ты? Завтра придет торговец покупать наше тканье. Тебе следует быть дома, чтобы предостеречь нас, если он вздумает нас надуть.

— Мы еще поразмыслим, станем продавать ему или нет. Торговцы всегда надувают вас.

Марфа с Марией переглянулись, удивленные тем, что брат проявил интерес к предстоящей сделке. В их сердцах затеплилась надежда, что отныне он станет им заступником и советчиком, как мужчина, наделенный разумом.

— А у тебя, оказывается, уйма веснушек, Мария, — вдруг сказал он, вглядываясь в сестру. — А у Марфы нос кривоват. Как я раньше не замечал? — И он по-братски насмешливо улыбнулся. А затем вошел в комнату, где стояли ткацкие станы и лежало тканье, осмотрел их, как бы оценивая их достоинства.

Удивленные сестры следовали за ним, и он осведомился, сколько торговцы платят им за хитоны, пояса и плащаницы и по каким ценам продают потом на торжище.

В ту ночь Марфа и Мария уснули столь же обрадованные, сколь и смущенные неотступной мыслью о том, что за стеной, отделяющей их комнату от комнаты Лазаря, спит не единоутробный брат их, а незнакомый путник, неведомо откуда пришедший в их дом...

5

Утром, когда выглянуло солнце и над смоковницами и лимонными деревьями, что купами росли под Вифанией, залился хор иволг и розовых скворцов, Лазарь был уже на ногах. Мучимый кошмарами, истерзанный тем новым существом, что обнаружилось в нем, он спал мало. Но когда в комнату проникла утренняя лазурь, он отвлекся от дум и от

воспоминаний об Иисусе, чей образ уходил от него все дальше.

Лазарь оделся и пошел осматривать город, будто никогда прежде не видел его.

Едва он появился на улице, как из окон и дверей стали выглядывать мужчины и женщины, а ребятишки сбежались гурьбой и молча издали следовали за ним. Встречные прохожие жались к стенам, освобождая ему дорогу, и он слышал у себя за спиной шепот: "Воскресший... Воскресший... Он стал совсем другим!"

На базарной площади торговцы высыпали из лавок, множество народу собралось там, ожидая, чтобы Лазарь раскрыл им тайну смерти и подтвердил, что Иисус воистину сын божий.

Толпа осыпала его вопросами, но он молчал, покуда не пришла стража и не повела его в синагогу. Народ повалил следом и остался стоять перед воротами храма.

В полутемном притворе, в глубине которого горели подсвечники и золотое кадило, ожидали фарисеи, саддукеи и раввин. Они впились в Лазаря взглядом и пришли в изумление от изменившегося его лица. Он прочел страх в их глазах и понял, что они боятся Иисуса и призвали его затем, чтобы принудить свидетельствовать против него.

— Лазарь, — сказал раввин, — в тебе сидело безумие, хотя и безвредное, не то, что в Назаряине, в коем оно есть бес, побуждающий его называть себя сыном божьим. Скажи, вправду ли умер ты и он воскресил тебя?

— Не знаю, — отвечал Лазарь.

— Верить ли, что он Христос, как сам нарекает себя?

— Не знаю, — отвечал Лазарь.

Старейший из фарисеев спросил, видел ли он Иегову и Авраама.

— Я спал и ничего не видел, — отвечал Лазарь.

— В таком случае ты был не мертвым, а всего лишь уснувшим!

— Он сотворил сие со мною.

— Он усыпил тебя с помощью сатаны! — вскричал раввин. — Народ ждет, чтобы ты открыл ему истину: что был ты не мертвым, а спящим. Выйди и скажи людям об этом! Скажи, что лжепророк он, одержим бесом и мучает им легковерных. Если сделаешь это, мы вознаградим тебя, ибо ты спасешь иудеев от беса его, а страну от римлян.

— Какую награду вы дадите мне? — спросил Лазарь.

— Скажи, чего ты хочешь, и мы ответим тебе.

— Мои сестры и я беднее всех в Вифании. Они ткнут пояса, хитоны и плащаницы, и торговцы платят им два сребреника за хитон, а сами продают за пять. Ночью я размышлял над тем, как избавиться от этой несправедливости, дабы никто не присваивал себе труда моих сестер. Дайте мне одну из лавочек рядом с синагогой, и я буду свидетельствовать против Назарянина.

Все улыбнулись с облегчением, и один из саддукеев произнес:

— Каков хитрец стал! А был слабоумен...

— Назарянин влил в него сатанинскую мудрость, — заметил другой, но раввин оборвал его:

— Разве вы, владеющие караванами и складами, полными товаров, дабы вести торговлю, служите сатане? Божьим соизволением глубокий сон во гробе вернул этому человеку рассудок, дабы свидетельствовал он против лжепророка и спас наш народ от беса его. — И, обернувшись к Лазарю, добавил: — Ты получишь лавку, она свободна, ибо арендатор не вносит плату в положенный срок. Выйди к народу и возвести ему истину. Добавь также, что никто не может быть воскрешен, покуда не настанет день Страшного суда, и каждый утверждающий обратное есть лжепророк и обманщик. Если спросят тебя, кто вернул тебе разум, скажешь то же самое, что только что сказал я. Мы пойдем с тобой, дабы услышать твои слова и помочь тебе успокоить народ.

И они вывели Лазаря на ступени храма, и Лазарь сказал собравшемуся народу все, что было ему велено. Он видел, как помрачнели лица иудеев, как потупились головы, и услышал в наступившей тишине чьи-то всхлипывания. Толпа разбрелась, и небывалая тишина опустилась на торжище...

6

В тот же день лавку отдали Лазарю, он перетащил в нее сотканые сестрами хитоны, пояса и плащаницы и украсил лавку внутри и снаружи. И, уплатив аренду, стал продавать свой товар по цене более низкой, чем у прочих торговцев. А те прониклись к нему враждой оттого, что по его милости уменьшались их доходы.

Вечером он принес домой столько денег, сколько сестры сроду не выручали, и с того дня стал с ними немногословен и строг. Требовал, чтобы они сидели за станом с утра до вечера, ведь ткань их распродалось быстро и лавка грозила опустеть. Марфа с Марией теперь не имели минутки ни для чего иного, а были и у них свои маленькие утехы: они любили и помолиться, и поболтать с соседями.

В канун пасхи, в жаркое утро, предвещавшее, что и день будет жарким и разразится грозой, по Вифании разнесся слух, что Иисус предан Иудой и будет нынче же распят близ Иерусалима.

Лазарь собрался отправиться в лавку, желая пораньше открыть ее, потому что множество народу пришло в Вифанию из окрестных селений за пасхальными покупками, когда Мария, ходившая в город за пасхальным барашком и елеем для светильника, вернулась домой в слезах и сообщила ужасную весть. Потрясенные сестры заявили брату, что не следует открывать лавку и что три дня они не станут ткать.

Услышав о том, что Иисус будет распят, Лазарь воздел руки к небу и закричал иступленно:

— И поделом ему! Чтоб никто не уверовал в его царствие небесное, ибо не для живых оно и не для мертвых и мучает человека! — И дернул себя за воротник, желая порвать на себе одежды.

Марфа и Мария лишились речи, испуганные тем, что братом овладело иное, куда худшее безумие.

— Он хочет помрачить наш рассудок! — вопил Лазарь и, сняв с себя

верхнюю одежду, от которой он оторвал воротник, зашвырнул ее в угол.

Тщетно пытались сестры понять, что с ним. Лазарь заявил, что откроет лавку и не позволит им пойти в Иерусалим, но они не покорились ему и пошли вместе с многими иудеями, желавшими увидеть это зрелище, ибо от Вифании до Иерусалима всего пятнадцать стадий.

Дорбгой Марии вспомнились слова Иисуса, услышанные ею в доме Симона-прокаженного, что иной раз врагами человека становятся его близкие, и она пересказала эти слова сестре. "Так случилось и с нашим братом", — добавила она, потому что особенно мучилась отчужденностью Лазаря и боялась его.

— Разве прежнее его слабоумие не лучше рассудка, возвращенного ему Учителем? Наш брат был сердечен и добр, теперь же суров и злобен. Быть может, томится, вспоминая о том, каким был раньше! — проговорила Марфа, и Мария не знала, что сказать в ответ.

В шестом часу пополудни небо со стороны Иерусалима потемнело, заходила ходуном земля, хлынул ливень, и вместе с ливнем ветер принес пески пустыни.

Красными стали городские крыши, торжище перед синагогой потонуло в потоках мутной воды. А ураган улетел прочь, гроза отгремела, и из-за низких голых холмов солнце залило Вифанию и окрестности зловещим светом, в котором было что-то сверхъестественное. Стали возвращаться те, кто ходил в Иерусалим, и были они мокрые, забрызганные грязью и испуганные. Некоторые, проходя по пути домой через торжище, били себя в грудь и с ужасом рассказывали о происшедшем на Голгофе. Однако Лазарь был так поглощен вымокшими поясами, хитонами и плащаницами, что не удостоил эти рассказы вниманием. Он запер лавку, недовольный нынешней выручкой, поскольку гроза отпугнула и без того немногочисленных покупателей, пошел домой и застал там Марфу и Марию — плачущих, в траурных одеяниях, в которых недавно они хоронили его.

Раздраженный и злой, переступил он порог, и, завидев его, сестры зарыдали еще пуще. Мария порывисто обняла брата и, рыдая, воскликнула:

— Что ты наделал, брат? Видел ты, как небо излило свой гнев? Распяли сына божья Христа, в коего ты не поверил. Что теперь будет с нами? — И, давась от слез, обессиленно повисла на его плечах.

Но Лазарь отстранил ее и все так же недовольно произнес:

— Гроза ожидалась еще с утра, и нет ничего дивного в том, что случилось землетрясение. Вы лишились рассудка! О чем вы толкуете, когда вымок товар и надо сушить его и гладить? Снимите с себя эти одежды, не то соседи подумают, что я умер!

Тогда Марфа вскричала вне себя:

— Сатана вселился в душу твою, и лучше, чтобы ты оставил наш дом. Ты свидетельствовал перед народом против бога и утаил это от нас, но люди рассказали нам, как досталась тебе твоя лавка!

— Меня спросили о царствии небесном, и я ответил правду. Разве обманул я народ? И сотворил ли зло, получив лавку? Но если вы более

не считаете меня братом, то я покину этот дом, раз слабый разумом брат предпочтительней вам разумного. Отныне я буду для вас лишь торговцем, кому вы будете продавать свое тканье, как продавали прежде!

Лазарь удалился в свою комнату, и сестры слышали звон монет, что были у него там спрятаны. Забрав мешок со сребрениками и динарами, он соорудил себе в лавке ложе и поселился там.

В последующие дни он закупил багряные ткани, шелк, египетский хлопок и стал торговать также и этим товаром. А когда лавка оказалась тесной, то упросил отцов города дать ему денег под проценты и большую лавку. Те исполнили его просьбы, ибо он был для них главным свидетелем того, что Иисус не Христос и что не было воскрешения, о котором шли в городе толки.

Меж тем в народе было волнение, и все больше иудеев шло за учениками Иисусовыми. Среди них и сестры Лазаря. Верующие каждый день собирались в разных домах слушать проповеди, садились за общую трапезу, продавали свое имущество, а деньги отдавали апостолам. Лазарь по дешевке скупал их добро, потому что те не стремились выручить побольше денег, познав ту радость, какую дарует любовь, и у всех у них было одно сердце и одна душа...

Лазарь богател. Он стал толст, ходил тяжелой и важной поступью, нанял слуг и взял наложницу; как равный с равными, водил дружбу с саддукеями, фарисеями и первыми богачами Вифании; участвовал в советах, созывавшихся равнином из-за того, что число поверивших в Распятого росло и следовало обсудить меры против "ереси", как называли они меж собой его учение. Но часто, оставшись один, в особенности по ночам, Лазарь беспокойно шагал из угла в угол и вздыхал, ибо томили его воспоминания о тех блаженных днях, когда бродил он по городу свободный и беззаботный. Неразрешимая мысль терзала его, он боролся с нею, пытался отогнать, забыть, но она неотступно мучила его разум.

Однажды утром перед его лавкой остановился худой человек с измученным, но хитрым лицом и нависшими ястребиными бровями. Из-под них глядели колючие серые глаза, и невозможно было понять, пришел этот человек перекинуться с ним шуткой или же он во власти жестоких и мрачных перемыслов. В руках он держал кошель, а на руке висел дивный хитон, мгновенно узнанный Лазарем.

Переступив порог, незнакомец остановился в дверях и сказал:

— Я Иуда Искариот, который предал Иисуса, поцеловав его, потому что жалел его так же, как жалели и любили тебя, когда ты был слабоумен. Я пришел взглянуть на тебя и кое-что купить. Ты мой единомышленник, ибо знаешь, что тот несчастный обманывался сам и вводил в обман других. Я был при твоём пробуждении и поддержал тебя, когда ты пошатнулся. И спросил, видел ли ты царствие небесное, но ты промолчал... Это хитон Распятого. Я купил его у стражников на Голгофе. Он соткан целиком, и поэтому они не могли поделить его иначе, как продав, чтобы поделить меж собой деньги... Оцени его и скажи, сколько добавить сребреников, чтобы ты отдал мне поле самаритянина, купленное тобою на днях. Оно невелико и родит не больше одного хомера пшеницы...

– Не по душе мне иметь дело с тобой, Иуда Искариот, но коль пришел ты ради торговой сделки... Давай сюда хитон и добавь к нему тридцать сребреников, и поле будет твоим... И советую поскорее убраться из города, потому что если последователи Христовы узнают тебя, то убьют, – сказал Лазарь.

– Слушай, – молвил Иуда, – я пришел к тебе потому, что ты единственный, кто может понять меня... Помнишь ли, каким выглядел этот мир, когда был ты недоразвит и слабоумен? Ты видел его таким, каким его видит младенец, и сердце твое было вольным и беззаботным. Я знаю это по своему детству и знаю, что ты и сам размышлял об этом. А когда он соблазнил меня царством небесным и я пошел за ним, то перестал быть веселым и вольным. Душа моя заметалась, ибо он отнял у нее свободу, обманув и связав великим своим безумием, которым будет тиранствовать над человеком. Тебя он усыпил, но не сумел усыпить мой разум. Однако он поранил душу мою и смутил мой здравый рассудок... Узнал я, что ты свидетельствовал против него и лавку приобрел благодаря этому... Потому берегись и ты тоже! Деньги эти я получил от Каиафы, Анны и Александра, иерусалимских первосвященников, за кровь его, и должно им перейти в твои руки, ибо у нас общая с тобой судьба... На вид ты здоров, но не точит ли червь твое сердце?

– Я сказал перед народом истину! – возразил ему Лазарь. – Совесть моя чиста, и никакой червь не точит мне сердце...

– Истину? Какую истину и что есть истина? Уж не в твоей ли торговле она и в этих сребрениках? – сказал Иуда и швырнул ему кошель. – Меня ты обмануть не в силах!

Засмеялся Иуда и ушел, а на другой день, когда им предстояло письменно подтвердить заключенную сделку, узнал Лазарь, что тот повесился на единственном дереве, что стояло в поле самаритянина. Осталось поле за Лазарем, и это радовало его, однако участь Иуды и последние его слова смущали и побудили снова усомниться в своем рассудке...

Под вечер он закрыл лавку и зашагал к тем купам смоковниц, под которыми он некогда любил слушать кузничиков и смотреть в небо. Виногато приплелся туда, опустился на прежнее место и попытался воспринять благодатную былую радость, но сердце молчало так же, как молчало небо. Лазарь испытывал гнетущую пустоту – такую же, какая теперь нависала над ним с небесной выси, и тщетно силился сбросить ее с себя. Он вернулся в лавку, но на этот раз не ощутил той гордости и удовлетворения, какое обычно ощущал, обводя взглядом свою богатую, набитую товаром лавку. Встречные отворачивались от него, делали вид, будто не замечают, голоса у колодца смолкали, когда, мрачный и злой, он проходил мимо, раздумывая об Иуде и его судьбе, дети при его приближении разбегались. И чем больше убеждался он в том, что следует верить лишь в собственный разум и что Иисус есть ложь, тем сильнее ненавидел его последователей и своих сестер, ибо все, что терзает разум, гнетет человека и человек спешит отречься от этого и возненавидеть.

Число людей, поверивших, что Иисус есть Христос, росло с каждым

днем, и нависла угроза, что вся Вифания уверует в это. Хозяева города положили созвать народ, и трубачи с серебряными трубами вышли возвестить гражданам, чтобы собирались на торжище. Было это в шесть часов пополудни, в тот самый час, когда Иисус умер на кресте. Лестница перед синагогой была устлана голубым ковром, и там встали фарисеи, саддукеи и раввин, а впереди них встал Лазарь. Ему первому дали выступить перед народом. Но когда он сделал рукой знак, что будет говорить, из толпы донесся чей-то голос:

— Ты ли станешь разубеждать нас? Ты, скупающий за бесценок наше имущество? Смотри, как ты раздобрел и опух от блудодействия с наложницей! Зачем нам слушать тебя и тех, кто стоит на лестнице, перед лицом бога, распятого вами?

Другие же, размахивая над головой своими одеждами, кричали:

— Он был лжепророк и обманщик! — Но их было немного, и голоса поверивших заглушали их.

— Глупцы! — кричал Лазарь. — Распродаете дома свои и имущество, чтобы обрести небесную благодать, подобно тому, как я, когда был слабоумен, воображал, будто оттуда осеняет меня благодать. А вы разве тоже слабоумны? Иуда повесился оттого, что ваш бог помрачил его разум. Вот и саддукеи скажут вам, что воскресения нет!..

Враждебные возгласы слились в рев и заглушили его слова. Лазарь видел перед собой разгневанные лица, глаза, полные возмущения и гнева. Увидел он в толпе и Саломию. С камнем в руке она протолкалась ближе и крикнула:

— Будь проклят за то, что ты против бога! Он возвратил тебе разум, но сердца не оживил, так что больше ты ни разу не пришел в мой нищий дом накормить моих сирот! Зачем, Иуда, хочешь надругаться над надеждой души нашей? — И она швырнула камнем Лазарю в голову.

Лазарь пошатнулся, другие камни повалили его наземь. Перепуганные старейшины и властители попрятались в синагоге, и, когда толпа прошла по телу Лазаря, топча его, кто-то вскричал:

— Братья, этому ли учил нас Иисус Христос?

Другой голос, возвысаясь надо всеми, воскликнул горестно:

— Через сколько мук и скорбей должно пройти, чтобы вступить в царствие божие?! Ибо если не произойдет это добром и смирением, то произойдет кровью!

А третий, неуверенный и слабый, спросил:

— Братья, а если вовсе нету его?

Марфа и Мария унесли обезображенное тело Лазаря, теперь и вправду мертвого, но не опустили его в прежнюю могилу, а в другую, и не было уже ни музыкантов, ни плакальщиц, чтобы оплакать его..

Такова история воскресшего Лазаря, о которой Евангелие умалчивает...

Старик еще разок глянул в окно автобуса — хотел убедиться, что старуха его устроилась удобно. Та сидела, придерживая одной рукой на коленях корзину с зайцем, а другой сжимая букетик подснежников. Старик подумал: "Едет внуков тетешкать, у ихнего тепла греться. Я бы тоже не прочь, да только городская жизнь — не про меня..."

Замызганный, с налипцим на бока снегом автобус взял с места и вскоре скрылся за поворотом. Старик вернулся в придорожную закусокную, чтобы заплатить за сливовицу, которую они выпили на посошок. Расплатился и вышел, вскинув на плечо двустволку. Поднимался он по той же тропинке, какой они со старухой спускались к автобусу. На обмякшем снегу еще видны были их следы — отпечатки его резиновых постолов и маленькие старухины, с вмятинками от каблуков. Пока они шли со своего хутора, старуха наставляла его, как ему жить одному, а он возьми да и скажи ей: "Не вернешься до великого поста — найду себе молодую. Женюсь на Христовице из Синджирлии. Такие дела теперь быстро делаются, и попа не надо. А я еще хоть куда". "Упырь ты, — сказала она. — И весь род у тебя такой — упыри да разбойники. Мне батя когда еще про вас говорил: лешие они, с волками живут..."

Старик улыбался, вспоминая шутовую перебранку. Где они, те волки? И все же, как снег осядет, надо будет починить плетень. На хуторе ни живой души, руби прутья сколько хошь. Да, но то, что он остался один-одинешенек, все-таки угнетало его. В это утро он встал рано, чтоб подстрелить зайца — послать сыновьям да снохам гостинец. На солнечном пригорке, близ хутора, набрел на цветущие подснежники. Вытащил из-за широкого пояса черную табакерку, в которой держал волчью дробь, и положил в нее подснежники — будто в черную гробницу опустил. Старуха перевязала стебельки красной ниткой. Теперь табакерка мирно покоилась на своем месте за поясом, а подснежники и подстреленный заяц все не выходили из головы — видать, самому захотелось зайчатины. Он решил пройтись по осыпям вдоль опушки.

Уже задувал теплый ветер с Эгея, но в лесу ветки еще были опушены снегом. Выше по склону мохнатой шапкой навис туман, хутора не было видно. Старик держал в руках ружье с взведенными курками и оглядывал снежные козырьки на сыпучем склоне. От ходьбы он раскраснелся, и белые кудри, выбившиеся из-под старенькой меховой шапчонки, делали его похожим на святого. Он обошел овражки вдоль леса, но зайцев нигде не увидел и свернул по зарастающей колючим кустарником тропе к хутору. Он шел по склону и думал о том, что надо напоить корову и выгрести из хлева навоз. Следы какого-то крупного зверя пересекали тропу, и, когда старик подошел к ним ближе, он ахнул: следы были волчьи. Старик не верил своим глазам. Он прищелкнул языком и весь просиял. Стоял, всматриваясь в следы, не в силах оторвать от них взгляда.

— Ну и ну! Как же это я раньше его не видел? Во-он, припустил через ложбину, — громко сказал старик.

Он был взволнован, возбужден. Присев на корточки, внимательно осмотрел следы и обнаружил, что местами задние лапы зверя оставляли не два следа, а один. Тогда он вспомнил о единственном волке, который с прошлого года оставался в здешних краях. Как-то раз старик стрелял в него и ранил, он думал, что волк потом где-то сдох, но вот поди-ка — зверь, оказывается, только охромел. "Со всех сторон зажали его дороги, электричество, машины... Котловина внизу вся перепахана, выскоблена, точно половицы, — рассуждал старик. — Куда ни подайся — везде смерть. И он, как я, и ему некуда идти".

В позапрошлом году у этого волка была подруга. Однажды, майским днем, старик вышел на ее след. Накануне пролился хороший дождь, и след был ясно виден. В орешнике старик нашел ее помет — двенадцать слепых волчат. Он положил их в мешок и принес домой. Пехливан рвался их загрызть, и его пришлось привязать в сарае. Ночью волчица выла возле хутора, и на рассвете старик ее убил. Когда он отвез ее вместе с волчатами в город, во дворе лесничества волчат уложили рядком на полено, подтащили к ним мать, и старший лесничий сфотографировал их. Карточка и теперь висела в горнице на печи...

На хутор старик вернулся веселый и все твердил про себя: "И для меня нашлось занятие, старуха. Видать, на счастье пошел я тебя провожать. Теперь у тебя внучата, а у меня — волк. И он здесь один, как я, и ему некуда податься". Он насыпал корму курам, отнес воды корове и весь день вспоминал свои охотничьи подвиги. Во всей округе не было волчатника, равного ему. Без волков ему и жизнь была не в жизнь. Эта страсть досталась ему от отца и деда, вошла в кровь. Старик вытащил железный ошейник, надел на Пехливана. Потом принялся начищать ствол ружья. Туман спустился ниже, потемнело. Он загнал кур в сарай, нарубил хворосту для очага. Покончив с домашними хлопотами, зажег лампу, встряхнул ее — чтоб керосин пошел вверх по фитилю. В кухоньке стало светло, хворост трещал в очаге, и старик поставил несколько поленьев торчком, чтоб дольше горели. Потом он принес коробку с охотничьими принадлежностями. Вынул из нее пять новых гильз. Внимательно оглядел капсули и стал набивать гильзы крупной дробью, по девять драмов¹ на патрон, затыкая их вместо пыжей ветошью. Закрутил их машинкой, долго ими любовался, потом еще раз вышел, накормил кукурузной кашей своего громадного кудлатого пса — помесь местной охотничьей породы с пастушьей — и вернулся на кухню. Там он сел на трехногую табуретку и отдался мечтам о завтрашней охоте. Он думал о том, где может быть волк, и воображение вело его по тропкам и раздолам. Замычала корова, напомнив ему, что он забыл ее накормить. Он вынес корове пойло и запер хлев, пропустив палку через кольца на воротах.

Печка в горнице была еще теплая. Старик разделся и лег на деревян-

¹ Драм — старая мера веса, равная 3,1г.

ную кровать. На столе поблескивал транзистор — подарок сыновей. Старуха включала его каждый вечер, слушала музыку и последние известия, но старик редко вспоминал о нем. Сейчас у транзистора отказали батарейки. Старик представил себе, как его старуха сидит в новой квартире их старшего сына, окруженная внуками. Квартира отличная, новая, и вода проведена, ванна своя, всякой мебели полно. Старуха пыжится, дает молодым советы, а те смеются, и когда старуха вернется, конца не будет жалобам на молодых — все-то они норвят по-своему...

Он сам не заметил, как заснул, и проснулся, только когда громко закукарекал петух. Ополоснувшись у всячего рукомойника, отрезал большой кус окорока, зажарил на огне и поел впрок — на весь день сразу. Накормил собаку, подоил корову и все твердил про себя: "Тебе, старуха, в городе хорошо. У тебя внучата, а у меня — волк. Мне тоже хорошо". Он запер дом и положил ключ под черепицу. Собаку он вел на цепи. Волкодав шел спокойно, поматывая большой кудлатой головой.

Опустевший хутор тянулся рядами засыпанных снегом бугров и ям. На бывших улочках лежали аккуратные штабельки черепицы, дубовых балок, оконных рам и дверей, которые хозяева все собирались перевезти в те города и кооперативные хозяйства, куда они перебрались и где нашли работу. Попадались и неразобранные дома, с зияющими проемами окон и дверей, с покосившимися крышами, поваленными плетнями. Старик шел словно по кладбищу, на котором было похоронено и его прошлое. Он едва уговорил сыновей не сносить их дом. Сыновья настаивали, чтоб отец переехал в город, а город тем временем разросся, его запрудили машины, разные тархтелки, и дворов там не осталось, всю землю расхватили по клочкам под строительство. И чадно, дымно — вон из хутора видать, как подымается над заводом хвост дыма и стелется над городом. "Да я там помру, мне там дышать нечем. И где это вы, сукины дети, столько денег взяли, дворцов себе понастроили? А сюда — ни ногой, на дедовских могилах свечу некому зажечь! Хватит кондрашка, и на мою могилу не придете..." Старик, разговаривая сам с собой, перевалил голый взгорок над хутором и стал спускаться по склону, усеянному белыми камнями. Ложбины еще полны были ночной мглы, туман сполз к реке, и ни придорожной закускойной, ни дороги не было видно. Деревья в лесу сбросили с ветвей куржак, буки в вышине гудели на ветру.

Старик спустился по склону и вошел в лес. Его встретили молчаливые полянки, запрятавшие в своей тишине ночные тайны. Дятел постукивал по коре, кричала сойка, посвистывал снегирь. Хорошо! Снова на плече у него ружье, снова на душе легко и светло, и волк притаился где-то в этом лесу, что вздымается посреди котловины, словно лохматая папаха, и все вокруг такое, какое он знает и помнит, или даже еще лучше, потому что лес теперь не рубят — не частный теперь лес, и коз нет — обглаживать некому, и нигде ни живой души.

В логу снег синел, снизу его подъедала земля. Буковые деревья пахли весной, соки двинулись по стволам, от прошлогодней листвы тяну-

ло терпкой прелью. Старик шел вверх, пока не выбрался на лесную дорогу. Снег здесь сочился влагой, тут-то он и увидел следы волка. Следы были свежие, четко пропечатанные на подтаявшем снегу — глубокие, синеватые. Пехливан понюхал их, и шерсть у него на загривке стала дыбом. Старик вытер пот со лба, спустил собаку и обвязал цепь вокруг пояса.

В сторону от дороги начинались вырубки — черные, ощетилившиеся. Пехливан без звука кинулся туда, и старик видел, как он бежит по волчьему следу — вот он уже маленький, точно мышь, попавшая в черную сеть. Охотиться в этих вырубках — одно мученье. Старик знал, что туда лучше не соваться, и теперь не мог придумать, что же ему делать. Решил подождать, пока собака поднимет волка, и посмотреть, куда она его погонит.

Через минуту Пехливан гавкнул, лог отозвался эхом. Потом послышался злобный лай, в который вплетались высокие, сварливые нотки, и эхо понесло его из лога в лог. Все чаще лай доносился из одного и того же места, а это означало, что волк не боится, огрызается и не намерен покидать вырубки. Старик потерял терпение и двинулся на лай, надеясь выгнать волка в большой лес. Он шел медленно, раздвигая ветки руками, словно плыл. Попал на тропу, проложенную зверьем. Она вывела его в длинную ложбину, по которой раньше спускали срубленный лес. Надо было подбодрить собаку, и он закричал: "Ату, Пехливан, ату!" Лай стал удаляться. Через полчаса старик вышел в редколесье, над глубоким раздолом, по ту сторону которого начинался настоящий лес, и увидел сверху молочно-белый лед, а на нем — грязные следы собаки и волка. За противоположным скатом, метрах в пятидесяти от раздоло, хрипло лаял Пехливан, захлебываясь злобой, и было слышно, как он шуршит листвой и наскакивает на волка. Старик оглядел заледеневший омут, прикидывая, где бы ему перебраться на ту сторону. В ту же минуту собака вцепилась в волка, послышался лягз челюстей. Потом собака отчаянно взвыла и умолкла. Старик кинулся с обрыва прямо на лед, лед под ним затрещал, и он по грудь ушел в воду. Подняв ружье над головой, он пытался выбраться, но два раза чуть не упал, поскользнувшись на камнях. Он слышал, как волк грызет собаку, и изо всех сил рвался к берегу. Чтобы испугать волка, он пальнул из одного ствола, выбрался наконец на мелкое место, вскарабкался на обрывистый берег и побежал по лесу.

Собака волочила зад, брюхо у нее было вспорото, и старик увидел, как трепыхается ее печень. Его обдало жаром, захотелось зареветь в голос. Мелькнула мысль, что брюхо можно зашить, но тут же он сообразил, что у Пехливана перебит позвоночник. Тогда он выстрелил собаке в затылок и кинулся в сторону дома. Он бежал, чтобы согреться, с одежды стекала вода, в постолах хлюпало, и мысль о том, что он простынет, пугала его.

До хутора он добрался к полудню, когда южный ветер бушевал всюду. Леса гудели, ложбины заполнялись тальными водами. На кухне старик раздул уголья, подбросил сушняка. Переодевшись и разложив около огня мокрую одежду, он выпил половину той сливовицы, что

была в бутылки, есть же ничего не стал. Болела голова, немного познабливало...

По-настоящему затрясло его незадолго до полуночи. Днем он хорошо протопил, и печка, выходявшая одной стеной в горницу, была еще теплая. Старик лежал под ватным одеялом, поверх него накрылся старым, вытертым ковром, и несмотря на это его бил озноб, зубы стучали. Временами губы его шевелились: "Оклемаюсь. Не помру, пока не убью его... И чего тебя в город понесло, Дуна? Приглядеть за мной некому..." После полуночи он заснул, спал без просыпу до рассвета и проснулся весь в поту. Чувствовал он себя хорошо и подумал, что выздоровел. Не вставая, размышлял, как же ему быть с волком теперь, когда у него нет собаки. Тревожила его и корова – надо ее подоить, напоить у колодца, замешать отруби...

Когда совсем рассвело, он надел новую поддевку и новые штаны, пахнувшие нафталином. От запаха нафталина замутило, но он решил не обращать на него внимания, затопил и принялся за хозяйство. Обиходил корову, покормил кур и выпустил их во двор, почистил ружье, разрезал ножом три намокших патрона и вытащил из них дробь. А Пехливан не было – остался Пехливан в лесу, на съедение волку, если тот уже не сожрал его ночью. Как же он ненавидел этого волка! Ни одного волка до сих пор не ненавидел он так люто. А может, к другим он и вообще не испытывал ненависти... То ярость, то боль захлестывали его при мысли о Пехливане, он становился рассеянным, нервным, неловким. Взялся рубить хворост и чуть не поранил себя топором. Видно, ослаб, да и усталость после вчерашнего давала себя знать...

Ночью ему снова стало худо, все тело горело, он метался в кровати. Постепенно забылся сном, а когда проснулся, вокруг была кромешная тьма и бушевал южный ветер, едва не срывая черепицу с крыши. Старик казалось, что кто-то укачивает его до одури. Во рту пересохло. Он встал, нащупал глиняный кувшин, напился. Трясучка свалила его с ног, бросила в постель, он снова забылся. И тогда он увидел, как на низком, закопченном потолке один за другим поспешно возникают святые. Первым появился святой Иван с воловьей головой, потом святой Никола с большим карпом в руках. За ним – святой Димитр, святой Трифон, святой Стефан. Выкатил на колеснице и святой Илия, остановился в сторонке, а с середины потолка свесился архангел Михаил – подстерегал его душу. Старик смотрел на них не отрываясь, и они тоже на него смотрели; они молчали, и он подумал, что они не знают, как с ним поступить, вроде того как порой и доктора не знают, что им делать. Он шевельнул запекшимися губами и сказал святому Ивану, что окрестил его именем старшего сына – пусть святой теперь смилуется над ним. Святой кивнул, и старик обрадовался. "Попроси бога, святой Иван, чтоб я выздоровел и убил волка". На этот раз святой не ответил кивком, только смотрел на него в упор и прижимал к себе воловью голову. Старик дал обет, что пойдет на его престольный праздник и позовет священника окропить дом. И в церковь в его день пойдет, хотя в церковь он не заглядывал с

незапамятных времен. Не дождавшись ответа, старик заговорил со святым Николой: "В твою честь я своего младшего назвал, а сколько карпов довелось мне съесть? И десяти не наберется. Откуда им взяться в этих местах? В городе я покупал соленую рыбу, и Дуна готовила ее с луком. Помолись за меня богу, чтоб я убил волка". Ответа он не услышал, потому что святой Илия закричал: "Дими-итр!" Загрохотала колесница, напомнив ему, как однажды в июне гром повалил его на лесной дороге. Так же вот окликнул его тогда пророк и помчался дальше крушить небеса. "Ты никогда меня не жаловал, — сказал ему старик и взглянул на святого Димитра. — Твоим именем меня нарекли, тезки мы. Заступишься за меня перед господом, чтоб я пожил еще, убил волка?" Тот мрачно молчал, хмурия брови. "Зловредный же ты, не хуже моего! — сказал старик. — Знать тебя не хочу, коли так! Зря, выходит, я каждый год на твой престольный праздник в город таскался". Он рассердился, от обиды потемнело в глазах. Когда тьма рассеялась, черед был святого Трифона. С ним старик надеялся легче поладить. Святой с козьей бородкой имел вид веселый и добродушный. Старик сказал ему: "На тебя вся надежда, святой Трифон¹. Как и ты, я немало винишка вылакал — и стопками, и стаканами, и баклагами. Помнишь, когда Ивана женили, как я напился и все к невестинной мамаше лез? Она тогда еще молодая была, а муженек ее у порога упал, на ногах не держался. Молись за меня. Виноград я, правда, не выращивал, сколько было землицы в горах, хлебушко саял, а теперь и того нет, теперь сыновья нас кормят, дай им бог здорovia. Обещаю тебе в Трифонов день на будущий год, потому как нынешний я уже пропустил, спуститься в долину, в кооператив, и там уж я тебя уважу. Там у них виноградники, что твой лес, заблудиться можно..." Святой Трифон улыбнулся и ничего не сказал. Старик опять рассердился и закрыл глаза, ему захотелось послать всех святых к чертовой матери. Оставался еще святой Стефан, но к нему он не смел обратиться, потому что, когда еще они гуляли парнями, Стефаном звали его соперника и они однажды подрались из-за Дуны. Стефан крутил с Дуной любовь еще раньше него и бил его в тот раз смертным боем... А того, в середине, что подстерегает его душу, и вовсе нет смысла просить...

Он отвел глаза от потолка, и ему почудилось, что святые вышли из дома и теперь смотрят сверху на дно котловины. А там, на полях, все залито электричеством, и хоть на дворе ночь, работают тракторы, пашут, и машины урчат на дорогах, и старуха трясется в автобусе, не поймешь только, в город ли едет или уже возвращается. Святые о чем-то заспорили, схватили друг друга за бороды. "Что, видали? — сказал им старик. — Постарели вы, братцы, вроде меня, не смеете вниз спуститься, и я не смею. И волк не смеет... Поглядим, что вы теперь будете делать!" Он выругался вслух, и святые исчезли...

Рассвело. Он не помнил, вставал ли, доил ли корову. Может, он напоил ее, но когда и как? Из ведра, наверное. Он внушил себе, что если согреет воды, нальет ее в кадку и попарится, то выздоровеет. Но откуда

¹ Покровитель виноградарей.

взять столько воды? Да вон — снег на улице тает, водосточная труба аж захлебывается. И он снова спрашивал себя, выходил ли во двор с чугуном, ставил ли его на огонь? Потом он увидел часы на столе, услышал, что они не тикают, и подумал, как бы это известить Христа из закуской у дороги, чтоб он дал знать его старухе. Тут он вспомнил о святых и посмотрел на потолок — многое еще хотелось им сказать. И снова увидел, как трепыхается собачья печень и как рвет ее волк...

Святые появились ближе к вечеру, лики их расплывались, им, верно, было не по себе — они ждали его смерти. "Катитесь отсюда! — сказал им старик. — Валите вниз! Там и поглядим, на что вы еще годны. Что вы круг меня толчетесь? Старые вы стали, как я, немощные, никакого от вас проку, зря я вас почитал. Хотя, по правде сказать, почитал я вас не больше, чем волков, и свечей не много я вам поставил, зато моя Дуна на все ваши праздники ставила, и на светлое христово воскресенье тоже". Святые обиженно подались назад, и старик увидел себя молодым, в новых шароварах с кантом, в новом тулупчике, в новой высоченной папахе. Идет он по булыжной мостовой в торговых рядах, в городе, крутит усы, поглядывает на молодок, а Дуна толкает его локтем в бок, чтоб не забывался, бранит его вполголоса и обзывает бабником и старым греховодником. И вот откуда ни возьмись — сыновья, и тоже его бранят. Старший — в штормовке, из тех, что застегиваются без пуговиц, а младший в этом... как его... кителе — оба статные, крепкие, чисто выбритые. "Видишь, отец, не послушал нас, пропадай теперь один на хуторе. Подолом тебе!" — "Что ж мне делать, сынки, здесь мой пупок резан, здесь мое место... Глубоко корни в землю ушли, не выдерешь... Здесь мне и помирать..." Он вынес сливовицы — угостить их. С этой самой бутылку в руках он бросился летом вдогонку за какими-то молодыми людьми, проходившими через хутор. И зазывал их к себе: "Пошли, ребята, выпьем. Тоска меня заела, словом не с кем перемолвиться. И старуха меня бросила, поехала в город к сыновьям да к внукам..." И он угощал их, и радовался, на них глядя, рассказывал им старые байки и сокрушался, что не может угостить их как следует...

Он не знал, наступил ли новый день, или это все то же утро. Губы у него потрескались, но не было сил встать и попить из кувшина. Окна с узкими рамами и потемневшими стеклами смотрели на него зловеще, зловеще глядел и закопченный потолок, и стол под цветной скатертью, и швейная машина в углу, и беленая печь, нахально выпятившая пузо. И только по тому, что за окном светило яркое солнце, старик сообразил, что это другой день, но какой по счету — непонятно. Он вспомнил про корову и испугался, что забыл продеть палку в воротца хлева. Потом он снова забылся и заснул. В легких у него свистело и хрипело, вся спина болела, как сплошная рана. Он уже не помнил, когда он слег и какой нынче день на дворе, не различал ни ночи, ни дня. Иногда сознание его прояснялось, иногда угасало, одолеваемое видениями. Однажды ему послышалось, что на хуторе воеет волк, а ночью корова словно бы бегала по двору и жалобно мычала, но и это было похоже на сон. Когда он снова очнулся и вспомнил про этот сон, его ожгла мысль, что волк зарезал и

корову. Мысль эта так напугала и потрясла его, что он сполз с кровати, со стенами, тоже ползком, добрался до кухни и в кухонное окно увидел распахнутые ворота хлева. Ухватившись за железный переплет окна, он приподнялся и увидел, что корова лежит возле плетня со вспоротым брюхом. Кошка ела ее внутренности. Его охватил ужас – как бы волк не сожрал и его. Не переставая стонать, он ползком дотащился до своего ружья. Зарядил его, хотя потом никак не мог вспомнить, действительно ли он его заряжал, и приволок в горницу. Подтащил к кровати стул, пристроил на сиденье стволы и навел их на дверь. Весь он горел словно в огне.

На улице ласково светило солнце, и ему казалось, что уже пришла весна: жужжат пчелы, над цветущими сливами стоит белое сияние, и с ним должно случиться что-то хорошее. Только бы волк не явился. А волк забрался в самую его душу, и он тщетно пытался прогнать его оттуда. Он жаловался сыновьям: "Сожрет он меня, сынки. Возьмите меня к себе, сынки, а могилы пусть остаются здесь. Ничего, что некому на них свечку затеплить. Я помираю, а зверь не хочет из меня вылезти. Сам внутри сидит, сам снаружи подстерегает – ждет, когда помру".

Старик все шептал что-то потрескавшимися, побелевшими губами, просил сыновей забрать его, потом снова впал в забытие. На другой день, к полудню, очнулся, тяжело дыша, и вспомнил про волка. Повернул голову к двери и увидел его. В белом, мягком, весеннем свете волк стоял за порогом кухни, тоже весь белый, легкий, словно сотканный из воздуха. Только глаза были зеленые и горели. Старик обрадовался, потянулся к ружью на стуле, навел его на волчью голову и нажал на спусковой крючок...

В хрупкий полусон назойливо лезет синева—отражение синего-синего моря, синеющей балконной занавеси, близкого рассвета. Это ощущение раздражает нервы, и сознание хочет его прогнать, чтобы снова погрузиться в сладостные рассуждения с кем-то о какой-то истине, разумеется призрачной и лживой—обман, сотворенный опьяняющим сном, сладость, проистекающая из игры жизненных сил в организме, иллюзорный мир, утешитель и врачеватель души... Ну а "кто-то"... это опостылевший знакомец, тот, кто, несмотря на старания забыть про него хоть на время, продолжает напоминать о себе в утренние часы пробуждения и, как неуступчивый оппонент, противоречит, упрекает, язвит... Он, блестящий, уважаемый Скотт Рейнолдс, известный всему миру ученый... Он должен умереть, исчезнуть совсем, и он умирает со временем, с годами и старостью. Он возомнил себя аристократом, владеющим вместе с горсткой избранных сокровищницей истины. Ха-ха, пускай попробует ее изречь. Ага, синева уже под веками, неудержимо надвигается день, восход солнца, представление о времени и о будущем... "И день сверкнет, рассыпав жар золотой, и засияет синь морская!.." Но тот не унимается: "Неужто только это тебе осталось, только такая детская радость?" Да, только такая! И не надейся, что я позволю тебе увлечь меня в прошлое и затоскую по тебе! Пошли ко всем чертям эти фантастические рассуждения, Скотт Рейнолдс! Вскочи с постели, не пропусти торжественного безмолвия утра, пустынности пляжа, самых плодотворных, самых прелестных часов твоего одиночества!..

Скотт Рейнолдс пошел в ванную нагишом. В зеркале отразилось хмурое, даже мрачное, еще не одрябшее старческое лицо, узкое, с чуть длинноватым прямым носом и слегка приподнятыми бровями. Под лампой блестел высокий благородный лоб ученого, поэта или пророка—эти три категории переходят одна в другую, и только глупцы этого не замечают, так же как серьезные мысли перемещиваются сейчас с напускной беспечностью под этим лбом. Холодный душ приводит нервы в порядок, в такой, который мы называем нормальным состоянием...

Старый дедушка Коль
 Был веселый король,
 Громко крикнул он свите своей:
 — Эй, налейте нам кубки,
 Да набейте нам трубки,
 Да зовите моих скрипачей, трубачей,
 Да зовите моих трубачей!¹

¹ Перевод С. Маршака.

За стеной еще спят. Да если бы и проснулись, не протестовали бы из уважения к мистеру Рейнолдсу, ученому с мировым именем (провались он к черту!); и потом, приятно, выбросив из головы все серьезные мысли, слушать свой хриловатый старческий баритон в этой тесной ванной.

Пока "Ремингтон", жужжа, снимал отросшую за ночь щетину, Скотт Рейнолдс, все еще с горьким осадком в душе, допел свою песенку, то и дело прерывая ее, до конца. В комнате он влез в купальные трусы, надел соломенную шляпу, накинул махровый халат и пошел босиком по притихшему коридору. Он быстро спустился по лестнице, чтобы поскорей оставить за спиной отель и свой номер со всеми его кошмарами. Оранжевый халат развеялся, как царственная мантия, утренний холодок ласкал его поджарое жилистое тело, забирался под мышки. Белые шершавые плиты двора приятно охладили загубевшие от горячего песка ступни.

Чашечки цветов в эти утренние часы закрыты. Они оживают ночью, распускаются, раскрывают лепестки теплему ветру, который образует стотысячемильное клубящееся облако в ночной тени земли. В этом вихре, возможно, носятся души мертвецов, все духи, поглощенные вселенной с глубочайшей древности до наших дней. Утешайся этой мечтой о запредельном мире... и как бы твоя тайная психология не превратилась в религиозный культ!..

Скотту Рейнолдсу хочется сбросить с себя кожу. Ах, если бы человек мог, подобно бабочке, оставляющей за собой кокон, оставить позади все, что он накопил за свою мерзостную жизнь — честолюбие, самообман, манию величия, — и родиться снова, как рождается день! Увы! Подобное очищение послужило бы чистой основой для новой дряни. О человек, перестань умствовать, перестань, если хочешь наслаждаться!.. Вон молодая смоковница широко раскинула ветви над асфальтом шоссе, там, где начинается песок. Каждое утро около девяти часов, когда он возвращается с пляжа, эта смоковница напоминает ему жену Мэри (в дни ее молодости!) и заставляет отдать себе отчет в том, как далеко он от нее. Между ними десять тысяч миль... Еще одна иллюзия — пространство! Хе-хе, как знать, не навеяна ли эта ассоциация идей женственности вселенной, например... Перестань думать о доме, внуши себе, что Мэри давно мертва и что не существует ничего, кроме того, что ты видишь вокруг, говорит он себе, пробираясь между свернутыми солнечными тентами, от которых еще нет теней.

Песок прохладен, усеян следами ног и тел. За ночь море выбросило новые водоросли, пахнет йодом.

Скотт Рейнолдс сбросил халат, который сложился на песке в громадную орхидею, швырнул туда же соломенную шляпу и, оставшись в одних трусах, начал утреннюю гимнастику. Длинные ноги понесли его размашистыми и ритмичными шагами, оставляя на песке глубокие вмятины, которые кружевной язык моря спешил зализать и сгладить. Сто ярдов вперед и назад, потом отдых по колено в теплой синей воде, по которой скользит заря, обещая ликующий блистательный день с ликующей блистательной ложью, и ты прекрасно это знаешь, Скотт Рейнолдс, и

тебе хочется упасть на колени и зарыдать от умиления и восторга перед ее вечно обольщающей тайной... хотя и она начала тебе приедаться! Когда ты вчера засыпал, стараясь, как всегда, чем-нибудь утешиться, ты мечтал заказать стеклянную лодку (жалко, что в этой социалистической стране вряд ли кто-нибудь ее тебе сделает), впрочем, не лодку, а саркофаг с герметической крышкой, и в какую-нибудь синюю ночь полплыть к Геллеспонту, к отравительнице Теофано. И когда ты рассчитаешь, что пора, ты примешь определенную дозу, ляжешь под крышку, закроешь ее и тихо-тихо опустишься на песчаное дно посреди зеленых водорослей, чувствуя себя наверху блаженства,—редкостная находка для ученых будующего человечества.

Огромный рубин поднимается из моря, а море будто дымится, подобно застывающему чугуну, и тонкое облако, рассекающее красную мишень, кажется дымным. Через час море станет синим щитом, кованым синим щитом, отражающим солнце. Когда идет дождь, оно—громадный заплаканный глаз, сладостный мираж, гигантское одеяние из шумящей парчи, и тогда хочется спать, видеть во сне тени древних, слушать византийские литургии или путешествовать на маленьком суденышке вдоль побережья из городка в городок, по старым рыбацким селениям, где рыбаки плетут сети на улице. Так ты лежишь свой усталый дух, Скотт Рейнолдс, ищешь покоя в мирных, обезвреженных временах образах и событиях...

Желание влезть в воду пришло внезапно, и Скотт Рейнолдс замурлыкал "Прощайте, берега". Холодная вода пробрала и зашекотала его тело, резанула по сонным сосудам. Почему, в самом деле, мы не хороним мертвых в море? Мы сэкономили бы столько ценной земли и средств: близкие и родственники молились бы за своих покойников, устремив взгляд в синюю бесконечность, имея перед глазами сравнительно достоверное представление о вечности... Скотт Рейнолдс плыл медленно, наслаждаясь. За волнами, накатывающими одна на другую, близко от горизонта появилась мачта парусника, потом и сам парусник возник над зеленым стеклом, мгновение продержался на нем, потонул и снова показался—гордый, прекрасный со своим старым корпусом, как древняя ладья,—и он ощутил гордость оттого, что так увидел парусник. День принес маленькую радость, а ведь радости... это пустячки, успокоительные божественные напитки, поднесенные нашими чувствами, и, если бы бог поместил планеты близко к земле и мы видели бы их ужасающее величие, мы бы сами себя истребили с отчаяния... Но какое ненасытное животное человек! Он хочет все новых и новых впечатлений, удовольствий, наслаждений, а на нашей планете есть и такие пустячки, как, например, зарывшийся в песок рачок, чайка, цветок,—радость, счастье их созерцать... Ну, любуйся же морем! Ах, что за море—варварски-черное, стальное, завораживающее, горьковатое на вкус, с йодистыми испарениями, не такое соленое, как южные моря...

Все-таки пора было выходить на берег и дать утреннему бризу (этот бриз когда-то надувал паруса греческих и византийских корабликов, возивших амфоры с маслом, дорогие ткани и сосуды с Крита и Ионийских островов) обсушить тело и закрепить загар на коже. Стоя на

пустом пляже, Скотт Рейнолдс спросил себя: а нет ли у него еще чего-нибудь заманчивого на сегодня? Да, есть, есть. Дерзкая мечта, однако таящая в себе возможность превратиться в действительность. Нет, в самом деле, какое же ненасытное животное человек! Ему хочется действий—пускай они будут позорны, даже ужасны,—только бы удовлетворить свои желания.

Скотт Рейнолдс рассмеялся и ударил ногой по белому языку моря, который пенился и лизал песок. Господи, опять вылезает наружу эта неизбежная обратная сторона: горечь познания своих близких через самопознание, угадывания их пороков через свои собственные, мытарство и фарисейство, вечные спутники души, диалектика познания, о которой мало кто решается говорить откровенно. Почему, стоит ему улечься под тентом, как его мысль выходит из повиновения воле, словно собака, сорвавшаяся с цепи, и стремительно несется домой, в Чикаго, чтобы заняться Мэри, дочерью и сыном? Почему так назойливо встает перед глазами их гостиная со светло-зелеными шторами на окнах, выходящих в сад, где красиво подстриженная живая изгородь вздымается зеленой стеной перед соседним домом? Библиотека и кабинет—это нечто мрачное, зловещее, и туда, слава богу, его воображение еще не заглядывает. В гостиной Мэри, миссис Хоппер и миссис Кристин Максвелл пьют кофе. Все три пятидесятилетние дамы находятся в особом физиологическом состоянии. Они взахлеб сплетничают, болтают разную чепуху, рассказывают пикантные анекдоты, а ноги их нервно ерзают туда-сюда; когда же они остаются одни, то рожусь в сексуальных воспоминаниях, неудовлетворенные, озлобленные, жаждущие неизведанных наслаждений, потрепанные, полные зависти к молодым женщинам. Дочь заучила кокетливые фразы, модные острооты, которые кажутся ей верхом утонченности и остроумия. Сын отпустил голландскую бороду и слоняется без толку, в разладе с собой и со всем миром... Скотт Рейнолдс делает усилие, чтобы не думать ни о своей семье, ни о своей стране, и в это время ощущает боль в сердце. Тот, другой, только того и ждал, чтобы начать сызнова. Ему нужно отчаяние, чтобы стать единственным утешением. Он—один из двух миров, они словно близнецы, сросшиеся позвоночниками, а Скотт Рейнолдс хочет, чтобы его сознание закрепилось только на одном, на сегодняшнем, и отвергнуть другой. От бессилия его охватывает ярость, и вот он уже незаметно вовлечен в ссору с женой и со всеми их общими знакомыми.

”Глупеешь, Скотт, стал совсем дурачком!” (Это говорит Мэри.)

”Чтобы быть нормальным и счастливым человеком, моя прелесть. Нынче счастливы только такие идиоты, как некоторые герои мистера Стейнбека...”

”Эгоист! Старый безумец”.

”Да, ум мой расстроен, но это нравственное безумие, ибо у меня сохранилась еще капля совести...”

”Как знать”. (А это вставляет прежний Скотт, потерявший стыд от тщеславия. О господи, может быть, он прав...)

”Ты выдохся, закис, жалкий характер, впал в старческое слабоумие

и т. д. и т. п. Мистер Рей, представьте, он хочет уехать на красный Восток и там жить примитивными чувствами, как ребенок...”

“Ага, вот в чем суть! Мир, который я знаю лучше вас, губит меня, как существо нравственное. В нем нельзя найти ничего утешительного, кроме необозримой бесконечности, потому что... Господи, как они этого не понимают? Потому что дело не в том, что у нее нет границ в пространстве, а в том, что у законов бытия нет границ, то есть что мы находимся в вечной тюрьме! В ней наша жизнь и жизнь миллионов существ равна нулю... Кажущийся мир чувств—единственно возможный климат для человека! Разве наши чувства безнравственны и лживы? Те самые чувства, которые дарят нам иллюзии красоты и добра? Что вы понимаете в этом возвращении к восприятию мира через них? В этом богатстве, которому радуются дети и без которого мы бы не жили? К черту, мне надоело вам растолковывать и т. д. и т. п.”

Скотт Рейнолдс почувствовал, что его душит гнев, и с ожесточением плюнул на песок. Бесплезно убеждать... Боже, какое одиночество! Нет единения с миром, напрасно надеешься! А дьявол не отступает, преследует. Он никому не подвластен, и он шепчет: “Отвернись от них и слейся со мной, если хочешь стать самим собой. С моей помощью ты заставишь их упасть перед тобой на колени, с моей помощью ты избавишься от своих терзаний, от морального бессилия... С моей помощью ты опять превратишься в ребенка, который играет в страшную, захватывающую игру. Ты никогда не принадлежал по-настоящему ни своему государству и народу, ни кругу друзей и родных, ни даже семье! Именно эти связи были тебе в тягость и вызывали стремление уединиться...”

Скотт Рейнолдс пошевелил большим пальцем ноги, покопал им в песке, и ему пришло в голову, что он похож на обиженного ребенка. Мама и папа отругали его, и он примолк, бросив веселые проказы. Надо бороться в этом зловещим, огромным, потому что оно не умирает, а зовет и искушает, шепчет, что там свобода, там счастье, радость... А сам-то он кто такой? Он словно Маленький принц Экзюпери, упрямый и грустный ребенок... Оно огромное, а ребенок крошечный...

Когда он поднял голову, его взгляд, обжевав белые курортные комплексы, залитые утренним солнцем, задержался на меловой полоске мыса за ними, врезавшейся в синюю ширь моря, и чистая белизна этого видения наполнила его душу нежностью и грустью, ибо всемирный океан полон чувств...

— Доброе утро, мсье Рейнолдс!

Это идет француз со своей миниатюрной женой. Когда он говорит, в уголках его губ появляются пузырьки пены.

Скотт Рейнолдс видит, как вязнут в песке его ноги, он машет им рукой вместо приветствия и спешит расстелить махровую простыню под своим тентом с обвисшими краями, тень от которых напоминает крылья дохлой вороны.

— Чудесный день!

— Великолепный!

В двадцати ярдах за четой французов отрешенно шагает финка—

она и в эту ночь блаженствовала в объятиях смуглого болгарина, с которым каждый вечер транжирит в баре свои доллары.

— Морнинг, мистер Рейнолдс!

Скотт Рейнолдс отвечает с улыбкой, но тут же отворачивается и ложится на спину.

Потянулись со своими надувными матрасами, махровыми полотенцами, купальными шапочками и черными очками и те, которые лягут под своими тентами подальше от него и будут только поглядывать оттуда. Еще рано, пляж полупуст, моторки и гребные лодки ждут у берега, морские сани блестят красными лопастями, бакен покачивается на волнах, чайки пролетают над пляжем, и тени их скользят по песку.

Скотт Рейнолдс любезно отвечает на приветствия, а сам с тревогой следит за приближающейся костлявой фигурой поляка-шизофреника. Как всегда, поляк садится за его спиной, достает закатанный в махровое полотенце большой финский нож, забивает его в песок и вешает на рукоятку часы. В этом есть своя магия — нож и часы находятся в особом соотношении — действие и время, нечто таящее в себе апокалипсический смысл...

Скотт Рейнолдс жмурится под солнцем в своих черных очках, страдая от присутствия поляка. А тот упорно, неотрывно смотрит на соломенную шляпу, которую Скотт Рейнолдс поспешил надвинуть на лицо, подслушивает его мысли, внушает ему свои... Он уверен, что только они двое причастны сладостному, кроткому, вечному запредельному миру, подобному белому летнему облаку (а может быть, он черный, зловеще-черный, как космическое пространство, ад, в котором придется расплачиваться за свои грехи, в тысячу раз страшнее христианского). Скотт Рейнолдс нервничает и пытается выбросить из головы назойливую мысль, что его что-то связывает с шизофреником. Черт знает, как этот бедняга сюда попал и почему никому из врачей не приходит в голову отправить его в психиатрическую больницу. Солнце его убьет, он плохо кончит. Два дня назад поляк во второй раз постучался к нему в номер, чтобы сказать:

— И вы один из двух. Я не чувствую к вам ненависти, но он решительно вас ненавидит и желает вашей смерти. Скажите хоть мне откровенно, какой мир настоящий?

— Идите к дьяволу! — ответил Скотт Рейнолдс.

Он бесцеремонно захлопнул дверь у поляка под носом, тот успел поклониться и ответить:

— Благодарю вас. Я тоже так думаю.

Скотт Рейнолдс чувствует его присутствие как давящую невыносимую тяжесть. А тот поднимается и идет к нему. Скотт Рейнолдс зажмуривает глаза, он не хочет видеть круглое славянское лицо с выпирающими татарскими скулами — тусклое лицо, напоминающее исчербленную стену, запавшие, страшно серьезные водянистые глаза с неподвижным, вымученно-властным взглядом, но поляк осторожно сдвигает шляпу с его лица и медленно говорит на своем ломаном английском:

— Чего мы ждем, господин, чего мы ждем? Есть ли смысл оставаться здесь, когда там прекрасная вечность, господин...

Скотт Рейнолдс сердито шипит сквозь зубы, поворачивается на живот и с облегчением видит удаляющиеся толстые икры поляка, его широкий зад и спину, поросшую золотистой шерстью. Теперь поляк уляжется под своим тентом и будет оттуда на него смотреть. Красный от злости, Скотт Рейнолдс садится на свой халат и поворачивается к поляку спиной.

На лицах у многих он читает сочувствие. Все, заметившие эту сцену, ему сочувствуют, потому что знают, что представляет собой бедняга, но все держатся на почтительном расстоянии от знаменитого ученого, никто не решается его беспокоить. Впрочем, их удерживает и страх скомпрометировать себя перед ним какой-нибудь глупостью. Так их уважение защищает его от неприятных ухаживаний. Скотт Рейнолдс убежден, что все его любят за его дурачества в баре и за простое свободное обращение. Им льстит, что он не так уж важен и недоступен, и они уверены, что и он их любит... Для них он "веселый старикан".

Надо успокоиться, отдаться ласкам солнца, погрузиться в равнодушие. Шум усиливается от смешения славянской, немецкой и французской речи, усиливается и плеск волн, и запах крема для кожи, ревет сирена торгового судна, гудит пассажирский самолет. Скотт Рейнолдс опять поворачивается на спину и притворяется, что дремлет. Как ему, черт побери, освободить сознание от этого проклятого поляка, от мыслей о семье, от присутствия этих голых праздных людей, съехавшихся сюда со всей Европы, как ему изгнать из себя демона, который тоже притворяется, что дремлет, а сам точит его ум и сердце и постоянно напоминает о прошлом? Каким образом может он отдаться кажушемуся миру чувств? Краешком глаза Скотт Рейнолдс наблюдает за женщинами — разглядывает их одну за другой глазами опытного шестидесятилетнего мужчины, который прекрасно разбирается в женских фигурах и характерах... О да, как он мог забыть про Зиту Кетнер, молодую немочку, студентку-физичку, его коллегу, славного дедушкиного гусенка? Она — сладость жизни, брызжет энергией, запускает мотор желаний. Позавчера она ушла рано с пляжа, и он догнал ее возле отеля. Круглые бедра, как стволы молодых черешен, ложбинка между лопатками, плечи... Тело ее ударило, как электрический ток, по его старым нервам, он чуть не потерял сознание и едва удержался, чтобы ее не обнять...

Скотт Рейнолдс думает о Зите, изобретает разные соблазнительные планы, лукавит: его ум, привыкший к оценкам с позиций нравственности, издевается над его достоинством и возрастом — дурные предубеждения, самозапреты, противоречащие человеческому естеству. В эти минуты он смотрит на себя, как на ребенка, и это понятие "естество" (ибо ведь только мир чувств единственный нравствен?) освобождает его от любых моральных пут... Почему бы нет? Именно стареющий мужчина испытывает влечение к молодым девушкам... Но, боже мой, неужели ты хочешь жить такими ничтожными мыслями, Скотт Рейнолдс? Неужели это и есть воспринимать мир пятью чувствами?..

Опять всколыхнулся горький осадок в душе, с которым он проснулся этим утром, потому что никак невозможно достичь единства между

чувственным представлением о мире и мыслью; нет спокойствия в уме и сердце, несмотря на все мучительные усилия отдалиться божественному наслаждению...

Скотт Рейнолдс с разбега бросился в воду. Когда-то, в бытность студентом, он был хорошим спортсменом, а теперь хоть плавает неплохо, спасибо и на том! Дальше, дальше! Скотт Рейнолдс держит голову высоко над водой, он знает, что с берега на него смотрят и восхищаются его вольным стилем. Море — синий шелк, небо и пена, воздух и солнце... Какой же ты эгоист, старик! Ты, как ядовитый раствор, перенасыщен знаниями, сомнениями, ошибками, ты ветошь, неспособная жить! Ты годишься только для Теофано, ты прекрасно понимаешь, что тебе осталась только отравительница и стеклянный саркофаг... Сладостная Теофано, твой дух витает над этими волнами, напоенными твоим ядом, весь мир пропитан ядом! Сын солнца, Скотт Рейнолдс, лучезарный, рожденный, как и все живое, великим таинственным потоком, берущим начало во вселенной, сознает, что он — ядовитая роса, и ему хочется плакать над своей человеческой участью...

С берега на него смотрели. Там, под разноцветными тентами, поднялись голые тела — коричневые, желтые, цвета золотистого песка, и множество глаз следило за его движениями. Он в этом убедился, повернувшись на спину, и тотчас представил себя сидящим в глубине ресторана за своим столиком перед американским флажком, который кельнер никогда не забывал поставить. Он улыбается, кивает в ответ на приветствия, соломенная шляпа висит на вешалке, на нем неизменные узкие неглаженные брюки, рубашка... Славный старикан! Смотрите, это он... Да ведь он делал с Оппенгеймером первые атомные бомбы... О! Зачем он сюда приехал? Просто не верится, он такой весельчак. Он милый, добродушный и такой скромник — гонит прочь всех журналистов и слышать не хочет об интервью... Говорят, он избегает всяких встреч с коллегами... Чудак! Все великие ученые... Смотрите, как он уплетает ужин, а сейчас пойдет танцевать в бар...

Скотт Рейнолдс, расслабившись, лежит на поверхности, где солнечные лучи затеяли вакхические игры с морской водой. Это покой. Настоящего покоя не может быть в пустом пространстве, он всего слаще именно в самом сильном движении...

— Великолепная вода, мистер Рейнолдс!

Перед Скоттом Рейнолдсом всплывает голубая резиновая шапочка, под нею загорелое толстошее лицо, смеются голубые глаза. Финка плещется в соленой воде, фыркает, отдувается, все в ней колыхается, как само море.

Скотт Рейнолдс любит ее. Черный купальник впился в ее цветущие формы, сильные ноги бьют по воде, волна то поднимает ее, то опускает. Эта женщина не просто смакует жизнь — она пожирает ее ненасытно, высасывая все соки до конца. Студент Скотт Рейнолдс в Геттингене питался идеями и восторгами, как голуби питаются кислородом, когда кружат высоко в небе, — радостно, со светлой надеждой на будущее человечества, а теперь он стал похож на одинокого тюленя, которого видел

позавчера под мысом-видением. Его подвез туда пыльный автобус. Сверху открылся вид на старую разрушенную крепость. Под нею море образовало закрытый залив, напоминающий лагуну. Дул ветер, и чайки, распластав крылья, носились над скалами. Каменная местность, похожая на плато, напомнила ему Аламогордо в тот день, когда огненный вихрь первой термоядерной бомбы смел все и стеною сгустил тьму на пятьдесят миль вокруг... Тюлень плавал в тихой лагуне, осужденный на одиночество до самой смерти. Он с грустью наблюдал за ним, воображая отдельные минуты его жизни где-то там, под этими скалами, в полных морской водой пещерах, в которых, говорят, спрятаны сокровища древних...

Скотт Рейнолдс очнулся, внезапно поняв, что в это утро гораздо больше, чем всегда, поддался старым воспоминаниям и опасным мыслям. Он быстро перевернулся и поплыл к берегу...

* * *

Покой, покой и тишина. Махни рукой на весь мир, оставь тех людишек за порогом твоего номера! Забудь взгляды, которыми тебя провозжали, когда ты шел через пляж, забудь это утро, прогони чертей, чтобы они от тебя отстали!.. Завтрак на столе. Здешняя прислуга знает свое дело, вот только бы пылесосы не подымали такой рев по всему отелю...

Скотт Рейнолдс предвкушает свой маленький душевный пир, сладостное забытьё. Он смывает песок с ног, прополаскивает нейлоновые плавки, но оставляет морскую соль на теле. Он выходит из ванны, ступая беззвучно по ковру, ощущая босыми ступнями его ласкающую пушистость, душа его жаждет покоя и тишины. Вокруг полный порядок, прислуга строго выполняет его указания и приходит сюда в девять часов. За синей занавесью шумит море и смутно гудит пляж. Да, вокруг полный порядок. Но почему же, пока он поедает завтрак, он опять начинает чего-то бояться и кто-то словно колет шипом его сердце? Скотт Рейнолдс перестает жевать, в его воображении опять всплывает та формула, и ему кажется, что она висит на стене, как паутина. У него перехватывает дыхание, сердце стучит, как молот, внезапный порыв толкает его к маленькому письменному столику из мореного бука, возбуждающая дрожь мурашками пробегает по вискам... Еще мгновение, и тот завладеет всем его существом... Скотт Рейнолдс отворачивается и усилием воли заставляет себя думать о побережье, о тех городках, где рыбаки плетут сети на улице, где ощутимей возбуждающее горько-соленое дыхание моря, где царят мир, спокойствие и кроткая синева. Он трясет головой, крепко зажмуривает глаза, отгоняет видение и слышит в себе "нет! нет!", подобное воплю. Он защищается и шепчет, словно молитву: "Только на берегу моря человек полностью забывает прошлое, свою семью, свои страдания, нигде больше". Он шепчет это, словно заклинание, жует свой завтрак и бросает нетерпеливые взгляды на два тома истории Византии, лежащие на тумбочке возле кровати. Там Теофано, дочь Кратероса... Там Никифор, черный, неистовый, большеголовый армянин, постник, монах, он спит в углу на шкуре пантеры, надев власяницу свое-

го дяди, святого Михаила, успокоенный благочестивыми мыслями, с которыми отошел ко сну... Спи, раскаявшийся в своих грехах полководца, императора и судьи, назначенного богом вершить дела, которые суть часть неисповедимого божьего промысла... Каждый настоящий муж есть божия рука... Но вот они входят. Служанка показывает на него... Меч рассекает его череп...

Скотт Рейнолдс в отчаянии бросается на постель и берет книгу. Он читает медленно, пусть воображение унесет его назад, назад! Пусть сон, предобеденный сон смежит его веки, пусть он уснет, как император Фока, упоенный сладостной и безопасной отдаленностью времени, и пусть он услышит во сне не "эйс тин полин", а "экс тис полеос"¹!

Хитроумно ускользнуть от самого себя, погрузиться в созерцание и махнуть рукой на все—это значит замкнуться в своем старческом эгоизме, ты, шестидесятилетний, всеми уважаемый, известный всему миру ученый! Ты плохой отец и супруг, самодур и лицемер!..

Почему обвинения, которыми он осыпает себя так щедро, не вызывают никакого нравственного отклика у него в душе? Почему там словно кто-то ему подмигивает? Да ведь он уже не принимает всерьез даже себя самого... Старые мысли, Скотт Рейнолдс! Пускай себе шелестят, ты же усни под те звонкие вскрики, что долетают с пляжа вместе с плеском волн...

* * *

Тот самый Скотт Рейнолдс, которого называли "веселый старикан", в тот же день после прогулки по берегу моря надсмеялся над "божественными напитками" и "единственно возможным для человека климатом", прозрел "сладостную отдаленность времени" и снова стал физиком Скоттом Рейнолдсом, который при всем своем блестящем уме никогда не постигнет тайных путей противоречий в самом себе, но навсегда запомнит те минуты, когда тот, другой дух, который был у него под запретом, сграбастал его и покончил с игрой.

Его швырнуло с кушетки, босого, лохматого, к письменному столу, где он держал чистую бумагу для писем. Он схватил ручку, и целых пять часов бумагу унизывали формулы и вычисления, похожие на магические знаки, все лампы и теперь еще горели (видимо, он их зажег, потому что в тот торжественный миг сознание требовало света), внешний мир исчез в гипотетических построениях, которые все еще витали у него в уме, море не шумело, и время остановилось. Радость боролась со страхом—так бывает, когда идея только что столкнулась с действительностью, а воображение еще не может освободиться от той физической реальности, перед которой эта действительность кажется мнимой.

Невероятным и смешным казалось, что в этих разбросанных по столу листочках заключена одна из тайн вселенной, что взломана еще одна запертая дверь, а сомнения продолжают, продолжают и вызывают растущее беспокойство, а воспоминания о прошедших днях его усиливаются... Прежний Скотт возмущается и спрашивает, зачем были все эти скандалы с Мэри и с друзьями, зачем он приехал в эту маленькую социа-

¹ "В город", "из города" (греч.).

листическую страну, еще здоровую, с незараженной землей, без наркоманов, без гангстеров и бизнесменов, без вьетнамской войны—настоящую тихую провинцию, управляемую красными... Твои чудачества и детские выходки были притворством, лживым смирением и передышкой. Эти утренние праздники души, это упоение маленькими радостями и сладкой печалью, твои наивные мечты, твое напускное легкомыслие, твоя отчужденность—все это было тщетными попытками спастись от дьявола. И ты в самом деле верил, что ты такой и есть? ”То была твоя душа”,—говорит прежний Скотт. ”То было счастье жить на планете пустычками... Откажись от своей идеи. Все равно ведь это только идея. Разве ты не знаешь, что там на нее наложат лапу и что тебя опять заточат с другими, такими же, как ты, в какой-нибудь пустыне на краю света? Результатом будет новое Аламогордо, новые обманы, лицемерные расчеты и объяснения. Однако на этот раз будет триста миллионов мертвых и пятьдесят миллионов потерявших рассудок! Отвернись от этого ада, удовлетворишься гордым сознанием, что ты мог, но не пожелал! Что тебе мешает поступить так величественно и так человечно?..”

Скотт Рейнолдс представил себе свою могилу—могилу одряхлевшего старца, мирно дождавшегося конца своих дней, скрывшего страшную тайну. Над этой могилой царит ангельское молчание... Тайну ее знает только господь бог... Говорят, есть такие неизвестные могилы великих людей. Но разве их тайны остались неизвестными? Примирится ли твой ум с этими сомнениями? Не пожалеешь ли ты, что одел его в нищенское рубище смирения? Но почему, когда ты убедился, что твоя идея осуществима, тебе захотелось молиться? Зачем и кому? От страха, что ты ошибся, или просто перед жестоким устройством бытия?..

Скотт Рейнолдс мечется по номеру, словно хочет растоптать твою тень, которая то появляется, то исчезает на ковре, и вдруг останавливается перед зеркалом, потрясенный выражением своего лица. Его ли эти серые жесткие глаза с огоньками безумия, это вытянутое лицо, застывшее в каком-то оцепенении, вдохновенное и измученное? Побледневшие губы шепчут: ”Ты воюешь с самим божеством, и эта война, как любая другая, освобождает тебя от сострадания к себе подобным, делает тебя жестоким, зато настоящим, не поддающимся никаким иллюзиям. Она требует, чтобы ты отрекся от своих личных чувств и пристрастий, и только на таком условии предоставляет тебе надличную свободу думать и действовать. Это та самая свобода, которой ты достигаешь в ”сладостной отдаленности времени”, свобода, отъединенная от крови, слез и страданий,—свобода художника, который тоже ищет истину вне времени! Много ли стоит человек без нее? Твоя участь—узнать эту тайну, даже если придется заплатить за нее собственной смертью и сжечь своих братьев... Не перед каким-то божеством, а перед этой человеческой участью тебе захотелось упасть на колени, как утром захотелось сделать это на пляже перед загадкой мира... Ты есть божия рука, ибо всякий настоящий муж есть божия рука. Так ли уж ты тревожишься о человечестве и многого ли стоит совесть перед одной из тайн вселенной? Человек не есть ли продукт этого бытия, которое страстно хочет узнать, и

смерть миллионов не равна ли здесь нулю?..”

Скотту Рейнолдсу кажется, будто он разделен на два враждебных друг другу существа. В то время как одно шепчет, что не бывает героев с чистой совестью, другое смотрит на него со стороны и пытается терроризировать его морально, убеждает, что его идея бессмысленна, и запугивает. ”Эта надличная свобода губит тебя как существо нравственное. Она превращается в презрение к человеку и в тайную мечту о Теофано и о стеклянном саркофаге!.. Вспомни счастливые минуты, озарявшие твою душу до этого проклятого вечера, отвращение к познанию, ночи и дни после Хиросимы, моральное бессилие перед теми, там... Не меркнет ли мир после каждой вновь раскрытой его тайны, не рассыпается ли его прелестная целостность, не исчезает ли его смысл и очарование? Господи, существует ли моральный комплекс или это инстинктивная самозащита от ни перед чем не останавливающейся, алчной и страшной свободы мысли, бегство в покой? Или здесь таится кто-то недоступный, здесь есть Апокалипсис, героика и аллилуйя!.. Но чего ты хочешь, человек? Смирения и покоя, а вместо рассудка—веры и любви? Судьба над тобой не сжалится. Если разум не в состоянии остановить тебя и спасти, тебе остается безумие...”

Время действительно остановилось, потому что сознание его не отмечает, уже больше одиннадцати, шуршание автомобильных шин не прекратилось, красные огни скользят по асфальту... О, это не совесть пробудила в нем желание вернуться к тем игрушкам и не страх перед необозримой бесконечностью. Разве он не жаждал гармоничного слияния с этой бесконечностью и разве не ее образ отдалил его от близких и от настоящего?..

Внезапно его неудержимо потянуло к морскому простору, словно зрелище моря могло снять тяжесть с его души. Он бросился к балкону, отдернул занавесь и... оказался лицом к лицу с шизофреником. Водянистые запавшие глаза смотрели на него в упор и, как всегда, пытались навязать ему какую-то дикую мысль. Скотту Рейнолдсу захотелось ударить кулаком по торчащим татарским скулам, на которые падал свет из номера.

— Что вы здесь делаете?— заорал он вне себя.

Тот по-прежнему смотрел на него неподвижным взглядом маньяка. Наконец, сглотнув слюну, он отчетливо произнес:

— Я охраняю вас, господин. Я вас охраняю, потому что он хочет вашей смерти. Он за любовь, господин.

— Что за чушь? Кого вы имеете в виду?

— Распятого, господин, вы не догадываетесь? Он есть истинное познание, и он открыл закон любви...

— Вы сумасшедший!

Поляк посмотрел на него умоляюще. Поверх рубашки блеснул висевший на шее металлический крест.

— Здесь нет никого, господин. Мы одни. Скажите мне, в какой мир вы верите?

В следующее мгновение Скотт Рейнолдс увидел себя на пляже этим

утром, когда ему казалось, что он на грани между счастьем и скорбью, и он снова увидел парусник, белую меловую полоску мыса и вспомнил, что всемирный океан полон чувств. Он вздрогнул, словно под ледяным душем, услышал свой крик: "Убирайтесь! Убирайтесь сейчас же!"—и, схватившись за обе створки двери, захлопнул их и задернул занавесь со своей стороны. Но безумец стал стучать по стеклу, и Скотт Рейнолдс слышал его скрипучий голос:

— Откройте, господин! Я хочу знать, в какой мир вы верите. Вы должны мне это сказать, чтобы я мог жить! Слышите, чтобы я мог жить!..

* * *

Оглушительно били барабаны, выли фаготы и саксофон, и дансинг в маленьком баре под отелом был переполнен. В сизом полумраке финка размахивала голыми руками, ее колени бесстыдно раздвигались. Зубы ее болгарина блестили по-звериному. Пожилая фрау (кто же она такая?) топала, как лошадь, покачиваясь на своих тевтонских окороках, руки ее были сжаты в могучие кулаки. Англичанин, экономивший пенсы, чтобы сюда приехать, напоминал тощую борзую, вставшую на задние лапы... И тогда он подумал, что все эти люди стараются превратить в эстетическое наслаждение грохот города, вой машин и всевозможные шумы, порожденные физической реальностью, ставшей ежедневным бытием, осмыслить их с помощью негритянских ритмов, чтобы только освободиться от их гнета... И если б они знали, что таят в себе листки, спрятанные в ящике его письменного стола, они растерзали бы его тут же, на месте. Но, едва успев об этом подумать, он рассмеялся, ибо эта мысль, несмотря на всю ее логичность, была неверной—напротив, они будут восхищаться его гением... Именно так. Они оплачивают издержки науки и технического прогресса, каждую войну и свою собственную смерть—рождают себе подобных, критикуют, протестуют и надеются на завтрашний день... Удивительно, что еще никому не пришло в голову воздвигнуть им памятник, как Неизвестному солдату. Подумать только: в каждой стране есть памятник Неизвестному солдату!.. Но какую же харю придется вылепить для этого бессмертного налогоплательщика? Говорят, они—общественное мнение и совесть, а кто приводит к власти диктаторов, кто ревет на площадях в поддержку войны, кто читает про убийства и смотрит сексуальные фильмы и зверства по телевидению и в кино? Да ведь это вечный плебс, вылезший из Колизея с новыми идеалами, которого вечно обманывают и вечно забавляют...

Его раздражал сизый полумрак, топот ног, эта мерзкая красная обивка, такая мрачная (его всегда раздражала эта идиотская обивка), увядшая певица... Время от времени он поглядывал на дверь бара—вдруг войдет он, предтеча пятидесяти миллионов невыдержавших, тот, кто уповает на Христа и говорит, что распятый открыл закон любви... Открыл новую красоту в страдании, в поругании невинности!.. Вот что открыл этот бог... А кто сказал, что красота спасет мир? Пустые бредни! И в какой мир он верил!.. Вот так всегда, когда окажешься среди них,—тебя охватывают презрение и злость, появляется такое чувство, будто

они тебя обворовывают и опошляют твою мысль...

Пауза. Опять ярко осветилась металлическая стойка и полки с напитками. Танцующие расходятся и здороваются с ним недоуменно. Даже те, кто расселись на табуретах перед стойкой, поворачивают головы, потому что лицо у него злое, враждебное, он непохож на себя, он ворвался в бар, словно за ним гнались (спасался от того бедняги), а теперь смотрит поверх их голов, притворяясь, что не замечает приветствий...

Потом, когда он встал из-за своего столика в глубине бара, чтобы взять еще стакан с двойным виски и пачку сигарет, они почтительно расступились, но так, как если бы мимо них проходил калека или убийца... Человек, кто ты такой, чтобы их ненавидеть? Кто дал тебе это право? Возлюбил несчастное человеческое существо, обманутое судьбой! И они и ты созданы неизвестно зачем на этой планете, подумай о том, что существует время и будущее! Вспомни о непостижимом, вечно ускользающем, о том, что разум не одобряет действия, что сильны те, кто верит и обманывается вместе со всеми... Хотя ты ненавидишь и отрицаешь общество, к которому принадлежишь, ты не можешь от него отколоться. Но молодые разрушат устаревшую общественную систему и снесут ее прогнившие нравственные барьеры...

Кто-то поставил перед ним виски... Да, ведь он сам его заказал, и услужливый официант с легким поклоном отошел от его стола... Но о чем шла речь? А о том, что мечтать осталось единственно о стеклянном саркофаге, а человеку может быть хорошо только тогда, когда ему есть о чем мечтать...

Надо встать, выпить воды... наверное, сейчас около двух часов ночи... Это красное болгарское солнце расстроило его нервы, а спокойствие и уверенность в этой стране перемешали и спутали все его понятия... И опять ненавистные мысли, опостылевшие представления: подготовка к ядерной войне и вооружение, вооружение — весь мир вооружается, Восток и Запад, загрязненные моря, реки, озера, мощные очистительные сооружения и эксплуатация в невообразимых масштабах... И не только на Земле, но и на других планетах, бешеное состязание, контроль международных институтов, и все равно все делается безоглядно и безрассудно... Вмешательство в биологическую и духовную жизнь всех, конец иллюзиям о какой-либо свободе, роботы и живые люди сосуществуют, враждебные друг другу, селекция, контроль над рождаемостью и т. д. и т. п. до тех пор, пока катаклизм или катастрофа не положат конец тому, чей смысл останется неизвестным...

Как только он подумал о будущем, он почувствовал горечь во рту... Потом виски вернуло его в его американский мир и мгновенно перенесло в огромный комплекс лабораторий, цехов, научно-исследовательских и атомных центров Ар-Си-Эй, где будет осуществлена эта... Он выпил много, черт его знает, сколько там было стаканов, и пошел к стойке за последним... Все видели, что он шатается и говорит сам с собой, что лицо его все мрачнеет, и думали, с ним случилось какое-то несчастье... Итак, он уезжает... Мэри, когда узнает, воскликнет: "Как я тебя люблю, дорогой!" Коллеги скажут: "Он не может без чудачеств..." А разве за это он заслу-

живает любви?.. И снова он в своем громадном кабинете с тяжелой старинной мебелью, а там—дьявол... Все терзания, все колебания исчезнут, истины нравственного характера и совесть будут беречь его душу только по ночам, да и то редко, когда проснутся их жалкие остатки...

Он вспомнил, что один стакан опрокинулся и упал на пол; он не наклонился его поднять, но, словно очнувшись, увидел, как все на него смотрят. И тогда она подошла к его столу. Ее зеленые глаза блестели стеклянным блеском под искусственными ресницами, светлые волосы, зачесанные на одну сторону, падали волной на плечо. Он узнал ее не сразу, потому что она была похожа на оживший манекен. Все они сейчас напоминали ожившие манекены...

— Мистер Рейнолдс, вы разрешите мне сесть с вами?

Он показал крупной загорелой рукой на стул.

— Что случилось, уважаемый профессор?

— Я зол, фрейлейн. Я ищу добрую, отзывчивую душу.

Он ответил по-немецки, чтобы не слушать ее заученный английский с немецким акцентом... Ему нравился ее глухой альт, а золотистая кожа ее красивой крепкой шеи тут же вызвала в нем волнение. Она спросила, не может ли она стать этой доброй отзывчивой душой. а он молчал и криво улыбался, потому что ему очень хотелось сказать ей: "Милая фрейлейн Кетнер, утешьте меня своей молодой плотью, пойдемте спать со мной ко мне в номер", то есть мелькнула мечта из "божественного мира чувств", но благоразумие одержало верх, и он сказал:

— Я перехватил, коллега. Возьмите меня под руку, я хочу глотнуть свежего воздуха!

Они вышли из бара, провожаемые взглядами, и она повела его по выложенной плитками дорожке, откуда было видно темное, с синеватыми отливами море и большой августовский месяц над ним. И как только до его сознания дошло прикосновение молодого женского тела, он забыл все свои муки, колебания, ужас, притаившийся в ящике письменного стола, его последствия...

— Вам плохо, мистер Рейнолдс?

— "...Быстро несется "Аргон", подгоняемый равномерными ударами весел. Солнце скрывается за морем, пробегают вечерние тени, и высоко над "Аргон" машут могучие крылья. Это громадный орел, который летит от скалы, где прикован Прометей. Он и сегодня клевал печень титана, и аргонавты слышат жалобные, тяжкие стоны прикованного. Эти стоны слышны еще издалека, и удары весел время от времени их заглушают..." Вы помните эту чудесную легенду, фрейлейн Кетнер?

— Смутно.

Она ее читала когда-то. Тогда он спросил, любит ли она стихи.

— О да. Умные...

— Когда я был студентом в Геттингене, фрейлейн, я зачитывался поэзией и сам писал стихи. Этот город был самым веселым студенческим городом в вашей Германии. Но никто не подозревал, что в нем живет дьявол или, как в свое время выразился один мой сотрудник, что оттуда начнется атака на человечество — с наших чертежных досок, коллега...

И, увидев лунную дорожку, он сказал, что никто уже не будет воспевать месяц, что с этим покончено, и принялся декламировать стихи своей молодости:

На лунной дорожке от медно-красной луны
Носятся тысячи душ, сплетаясь, борясь и ликуя,
Там пир, там веселье, там тайны счастливые...

— И именно счастливые тайны, фрейлейн, если на человека снизошло вдохновение, если он поэт!..

— Я вас не понимаю, мистер Рейнолдс.

Не имело смысла объяснять, она не блещет воображением, из нее не выйдет ученого... Неужто он доверит свою тайну этой незнакомой студентке? Кроме занятных глупостей и стихов, что еще он может ей наговорить?.. Старина Скотт, ты жаждешь сочувствия и тепла! Если бы ты доверился ей и рассказал, что ты делал сегодня и что тебя угнетает, она бы поняла... Это было бы для нее хорошим уроком, усвоенным опытом... Но ты ее не уважаешь, ты решил, что она посредственность и что из нее никогда не выйдет ученого... Эх, милая фрейлейн Кетнер, если вы, женщины, хотите, чтобы мы вас уважали, не демонстрируйте свои бедра!.. Он размяк, его обволокла сладость воспоминаний молодости: молодой Скотт Рейнолдс, восторженный студент, говорил в эту теплую августовскую ночь — все равно, понимали его или нет, — и декламировал стихи о льве, которого черный стрелок ранил отравленной стрелой...

Пылала ярость, гнев пламенел,
И рана пылала льва...
В траву стрельнул серебряный луч,
Утешился лев, с лунным лучом заиграл...

Скотт Рейнолдс почувствовал после виски сильную жажду, но не встает с постели и читает стихи вслух в темноте... Боже мой, как не задался этот вечер, какая смесь великого и ничтожного!.. Милая фрейлейн, так уж устроен человек, чтобы в конце концов утешиться лунным лучом, какой-нибудь фикцией. Каждый носит в себе скрытый неотраженный свет, иначе слепые от рождения не могли бы жить. Этот свет — огонь, украденный у богов, а они нам не доверяют, фрейлейн, они нас ненавидят, как Зевс ненавидел Прометея... О фрейлейн, возможно, как это сказано в прекрасной легенде, будущее родит героя, который освободит сегодняшнего Прометея от оков... Ты расчувствовался и стал похож на хнычущего ребенка — так сильно тебя разволновала пришедшая на память старая легенда. В эти минуты ты любил человека, видел величие в его неведомой героической участи... Ты говорил ей, как прекрасно и совершенно человеческое тело, имея в виду ее тело, потому что именно оно навело тебя на эту мысль, так же как твои собственные страдания подняли тебя до любви к человеку... Ты говорил ей о непостижимом и его красоте, и ты сам отрекся от своих мефистофельских мыслей в баре... Ты был пьян, Скотт Рейнолдс, следовательно, неизвестно, был ли ты искренен или все это было попыткой поверить в свои старые юношеские мечтания, жаж-

дой опровергнуть самого себя, вернуться к тому состоянию, которое ты сам назвал "гранью между счастьем и скорбью", в мир чувств, в единственный подходящий для человека климат, к тому, что сегодня ты назвал детскими выходками... Как истеричная женщина, которая напрасно старается освободиться от чуждого ей нравственного императива, ты страдал. Наконец она повела тебя к отелю, недоумевающая, разочарованная, и тут ты окончательно упал в собственных глазах, когда на лестнице, где тебя шатало из стороны в сторону, а она тебя поддерживала, ты вдруг раскричался, что останешься у красных, что купишь себе домик в каком-нибудь прибрежном городке и плюнешь на все... Господи, какая унижительная сцена! Внизу все смеялись — и возвращавшиеся из бара, и прислуга, и черноглазый директор отеля вместе с администраторшей и дежурной, — смеялись, по правде сказать, добродушно, как смеются над подвыпившим, но ты ли дошел до этого, Скотт Рейнолдс?.. О, фрейлейн крепко его держала — она настоящая спортсменка... А тут, в номере, новое падение — ему захотелось орать, вопить, ибо кто они такие, кто они, чтобы он им служил, кто дал им эту власть... кроме глупости или дьявола? И ей пришлось его успокаивать: "Возьмите себя в руки, мистер Рейнолдс. Вам не подобает... Я закажу вам крепкого кофе". От этого крепкого кофе он теперь не может уснуть, и не только от кофе, но от чрезмерного умственного напряжения и душевной усталости; от бессилия он едва удерживается, чтобы не начать колотить ногами, кусать подушку... Подумать только, что те возьмут его и прикрутят к скале...

Скотт Рейнолдс поднялся, все еще пошатываясь, зажег ночник и пошел в ванную выпить воды. Когда он увидел в зеркале свое измученное, осунувшееся лицо, его охватил новый приступ отчаяния, потому что он вспомнил, что просил фрейлейн сообщить в отеле, что завтра он уезжает и чтобы ему приготовили счет и заказали такси до аэродрома...

Он прикрутил кран, и в наступившей тишине в горле его сгустился тихий ужас, как будто его свело, сердце сжалось, Рейнолдса охватило безумное желание одним прыжком очутиться по ту сторону океана, словно здесь он больше не мог дышать. И хотя он знал, что ждет его там, хотя представление об этом знакомом мире вызывало тревогу и какое-то щемящее чувство, он его жаждал. Он вернулся в теплую постель и тут вспомнил, что, когда фрейлейн помогала ему раздеваться, он кинулся ее целовать, жадно, в каком-то трепетном упоении, а она морщилась и терпеливо выносила его поцелуи... Наверное, от него разлило алкоголем и табаком, а коренной зуб, из которого выпала пломба, издавал неприятный запах... И когда он вспомнил это с отвращением к самому себе, в его памяти всплыл ее широкий выпуклый лоб, лоб бюргерши, точь-в-точь такой, как лоб его прежней хозяйки в Геттингене — холодный, расчетливый, — и он сказал себе, что эта "коллега" его презирала... А он ругал молодых, которые, не смущаясь ни угрызениями совести, ни любовью к человеку, становились слугами генералов ради денег, ради славы, и внушал фрейлейн, чтобы она запомнила эти позорные часы, и если однажды она узнает о чем-то ужасном, пускай припомнит, как он выглядел... Но она явно торопилась поскорей уйти, может быть, в बारे

ждал ее шалопай с белым "мерседесом"... Это молодое поколение, отравленное дезинформацией, испорченное газетами и журналами, его погубят чернила и бумага...

Скотт Рейнолдс начинает трезветь, и, как бывает с ним всегда после таких часов усиленной работы мысли и реакции, бог знает откуда прибывают все новые и новые силы, сон бежит, ум продолжает рыться в воспоминаниях, пока нервы не расслабятся и не наступит успокоение.

Он встал, зажег лампы, достал листочки и проверил последние уравнения. Потом бросился к балкону, открыл дверь. Слава богу, поляк спал. Море зашумело под восточным ветром, и он увидел его пенистую гриву. Месяц скрылся за облаком, похожим на громадного кита. Соленое дыхание моря хлынуло в номер, и ветер подхватил края занавеси. Тогда он с облегчением вспомнил, что завтра уезжает, вернулся, принял две таблетки снотворного и снова лег. Его ум, примирившийся с позором, углубился в математические выводы, проверяя по памяти их правильность, нервное возбуждение улеглось, и он опять стал ученым-физиком, Скоттом Рейнолдсом из Чикагского университета, уважающим себя не меньше, чем его уважали другие; фрейлейн была уже не "его славным гусенком", а просто "глупым гусенком", а вечернее падение было хитростью, катарсисом и не заслуживало внимания... Все равно, что о нем думают эти праздные люди, все равно... И успокоившийся таким образом, вернувший себе чувство собственного достоинства, Скотт Рейнолдс не заметил, как заснул...

* * *

Громадный "боинг" отрывается от земли и, как улетающий лебедь, набирает высоту. Но отчего он видит его как бы со стороны и зачем его покрасили в грязно-зеленую краску? Чтобы, если он упадет в океан, его не было заметно... Океан, оказывается, полон чувств! Глупая мысль... Удрал из отеля, избавился от красных... Ты и дома одинок, говорит кто-то, и Скотт Рейнолдс видит, что он сидит за крылом рядом с фрейлейн Кетнер... Это не Кетнер, а финка в платье из морской воды... "Оставьте меня в покое", — говорит он. Здесь и француз со своей супругой, массивная фрау, шалопай — владелиц белого "мерседеса", подданный английской королевы, какая-то девица Мари и два американца с идиотски вытянутыми лицами, дезертиры из Вьетнама... Скотт Рейнолдс оборачивается назад и видит, что за его спиной сидит поляк и держит финский нож. "Часы я повешу позже, еще не пришло время", — говорит поляк и показывает вперед. Скотт Рейнолдс видит крупный, коротко подстриженный затылок белобрысого широкоплечего человека, маленькие уши, плотно прижатые к черепу. Затылок могуч, чист по-военному, он источает непреклонность. Это генерал из Пентагона, в ведение которого отданы ученые, новый Гровс. Скотт Рейнолдс забывает про поляка, вся его ненависть нацеливается на генерала. Пронюхали, взяли под наблюдение, чтобы он не передал своего открытия красным. А потом, в Лос-Аламосе, в засекреченных городках, где применяется система изоляции, — полицейские расследования, проверки, перекрестные допросы... "Кто дал вам

право использовать мое открытие для новой войны? Триста миллионов, вы слышите? Триста!" Генерал не оборачивается, но Скотт Рейнолдс слышит его слова: "Вы можете ненавидеть меня сколько вам угодно, сэр. Вы, ученые, — сущие дети. Я вас спрашиваю в свою очередь — а вам кто дал право рыться в тайнах вселенной? Откажитесь, уважаемый профессор, ложитесь в ту самую могилку, над которой царит ангельское молчание. Ведь вы верите в некое божество? Мы-то знаем, какие глупости у вас в голове. Нам все известно, сэр! Мы знаем человека лучше, чем вы, ученые, и нас не разжалобишь психологией мыслящего существа. Мы отделяем одно от другого, как это делаете и вы. Так, например, в отеле вы поставили себя в смешное и непристойное положение — написались столько же с отчаяния, сколько и на радостях, разыграли трагикомедию перед фрейлейн, а вам просто хотелось переспать с ней! Признайтесь, сэр. Она вас презирает. Но и это вас не бог весть как расстроило — вы утешились тем, что вы гений, а она "глупый гусенок"... Ведь вы даже в бар пришли нарочно, чтобы попрезирать простых смертных... Видите, что представляет собой ваше психическое устройство, сэр? Выходит, что вы способны на тысячи глупостей, как обыкновенный человек..." — "Замолчите! Вы шпион и тиран!" Скотт Рейнолдс не знает, как остановить генерала, который компрометирует его перед спутниками, а тот продолжает: "Ничего не поделаешь, мы все такие, человек — существо психологическое, и тут-то и кроется трудность управления им. Мы делаем исключительно точный расчет на психологию, насколько здесь вообще можно говорить о точности, и именно на нее полагаемся. Там мир чувств или, как вы изволили выразиться, сэр, единственно возможный климат, предрассудки, капризы, тайные стремления души... Нам годятся и марихуана, и ЛСД, и псилоцигин, и прирожденные убийцы, но дрессированные, вроде кривого Джо, гангстера, который бреется в том же салоне, где подстригаетесь и вы, сэр. Джо шокирует вас тем, что, усевшись на стул, кладет ноги перед зеркалом и наслаждается созерцанием своей обезьяньей физиономии, а вас и знать не хочет. Когда его обслуживают, он достает из кармана монету и, крикнув: "Хэлло, Гетри!" — швыряет ее парикмахеру, а парикмахер, Гетри Ричардсон, ловит ее на лету и проветывает его восхищенным взглядом. Обоих негодяев мы мобилизовали и отправили во Вьетнам. Там они толково работают — расстреливают из автоматов, словно бьют не по живым людям, а по мишеням... Главное, чтобы они не убивали наших граждан без разбору, ради удовольствия или ради денег. Марихуану и особенно ЛСД, к сожалению, потребляют и подростки. Это плохо. К наркотикам надо прибегать в джунглях, в кошмарные часы, чтобы не больно много рассуждать... Они, сэр, тоже уводят в сладчайшую отдаленность времени, в обезвреженную..."

"Вы — чудовище!" — говорит Скотт Рейнолдс. "По необходимости, — отвечает генерал. — Вот если бы вы могли нам помочь, придумав что-нибудь более эффективное в этом направлении..." Скотт Рейнолдс хочет возразить, что красные не стремятся к сладчайшей отдаленности времени, но генерал прочитывает его мысли и не дает ему раскрыть рта: "И вы допускаете, что однажды они сметут нас с лица земли? Именно эта

опасность нас и подталкивает, сэр. Дело усложняется, и это на пользу красным, ибо мы с вами принадлежим к типу господ, однако к типу старому, в нас развит инстинкт самоуничтожения. Эти тенденции сказываются в социальных, идеологических взглядах и грозят уничтожить нашу доминантную систему... Несмотря на технические средства, несмотря на усилия специалистов, психологов, биологов, химиков, физиков, социологов, медиков, специальные службы шпионажа, подслушивания, дезинформации? У вас голова пошла бы кругом, если бы вы могли обозреть всю эту махину и услышать, что происходит в эфире... И все это для того, чтобы бороться с красными вне и внутри страны. Вы думаете о лохматых, грязных мальчишках и девчонках, о молодежи, употребляющей наркотики? Эти нам не доставят хлопот, сэр. Одни из них вернуться к бизнесу, другие сойдут с ума, третьи по глупости пойдут по стопам Диогена, который одного себя признавал человеком, четвертых постигнет преждевременная смерть, но ведь, согласно подсчетам наших социологов и статистиков, в Штатах пятьдесят миллионов лишних человеческих существ, а в Африке и Азии — целый миллиард... Вы, сэр, прекрасно это знаете. Вспомните-ка ваши мечты — не такие уж давнишние, вы не раз с ними засыпали — о том, как исцелить обезумевшее человечество. Вспомните, как, несмотря на неслыханные возможности, которыми вы располагали, большие, чем имел сам бог, вы пришли к неутешительному выводу, что никто не может его исцелить. Тогда вы вообразили, что владеете такими техническими средствами, что можете узнать все, что говорится и замышляется в Белом доме, на Даунинг-стрит, на Кэ д'Орсе, в Кремле, в Пекине и во всем мире. Вы обладали неограниченными возможностями вызывать взрывы в ядерных складах, убивать любого простого человека или какого угодно государственного деятеля, уничтожать быстро и бесшумно целые города и народы. Прежде чем приступить к этим ужасным действиям, вы, сэр, обращались к человечеству с вразумляющими речами, предупреждали его, запугивали, и, так как оно не послушалось ваших советов и предупреждений, вы истребили целых полтора миллиарда от Японии до наших штатов. Вы воображали, что, поредев, человечество вернется к более нравственной жизни и прочее. Но, изнурая свой ум в течение нескольких ночей подобной чепухой, вы в конце концов убедились, что и из этого ничего не выйдет — человек опять размножится и опять пойдет по тому же самому пути, который вы, сэр, прервете только на одно столетие..." — "Вы — неслыханный циник и иезуит!" Скотт Рейнолдс хочет доказать, что все не так, но генерал читает его мысли и тут же находит аргументы, чтобы их опровергнуть. "Прошу вас, сэр, выслушайте меня спокойно, если хотите, чтоб у вас перестала болеть голова. Кто говорил, что смерть миллионов равна нулю и что совесть не стоит и цента перед одной из тайн вселенной?" — "Ради власти вы стали извергом... Все вы изверги... И вы чудовищно извращаете меня, чудовищно!..." Скотт Рейнолдс напрасно кричит, чтобы заглушить голос генерала, голова у него раскалывается, он теряется и чувствует свое бессилие. А тот беспощаден: "Говорите, ради власти? А вы, сэр, ради чего изнуряете свой ум? Разве не для того, чтобы властвовать над божеством?"

И подумайте, прошу вас, может ли человек обойтись без власти? Это немислимо, сэр... А раз так, нужны средства, чтобы властвовать, необходимы вы, ученые. Мы не оставим ваши открытия в руках у красных, чтобы они их уничтожили... Обернитесь, посмотрите, что делает поляк!"

Скотт Рейнолдс оборачивается и видит, что несчастный долбит стену самолета большим финским ножом. "Он против всех,— говорит генерал.— Он тоже изъявляет свою волю, и никто не может его остановить, ибо он один из пятидесяти миллионов невыдержавших и уповает на Христа".—"Но он пробьет стену, и мы погибнем!" Скотт Рейнолдс кричит и с ужасом видит, что нож уже продолбил маленькую дырку и что острие, словно сверло, уходит все глубже, и не может понять, почему никто не обращает на это внимания. Он пытается встать, позвать на помощь спутников, ищет стюардессу, но что-то держит его прикованным к креслу, и на экране появляется: *"Не курить, пристегнуть ремни"*. "Бесполезно волноваться, сэр,— говорит генерал.— Это неизбежно. И разве вы сами не хотели смерти в стеклянном саркофаге? Вместо того чтобы суетиться и кричать, посмотрите лучше на облака. Они отражают то, что всегда было и всегда будет на этой земле". Скотт Рейнолдс с трудом отрывает глаза от ножа и в окно видит белые клубящиеся облака под самолетом, озаренные солнцем, похожие на мечты. "Всмотритесь, сэр, в эти белые тени. Это живые духи, которые меняются, принимая облик некогда живших на земле. Вон, видите, Зевс. Здесь и Прометей, вон он, на скале, и орел здесь, он клюет его печень. Вот и олимпийские боги со всеми их законнорожденными и внебрачными детьми — нимфы, цари, герои, гарпии, данаиды. Здесь и Горгона, и Тантал, и кони Диомеда, и фурии, и Цербер... Видите вон там, направо, как Геркулес, объятый безумием, убивает своих детей? Над ним Клото со своей прялкой. Она прядет нить судьбы, которая постоянно путается и обрывается. О сэр, как все это прекрасно и безумно, как величественно и мимолетно, сэр, да, мимолетно!.. Смотрите, там, где только что был Геркулес, появляется Афродита, она выходит нагая из морской пены. Следом за нею идет Нарцисс с хромым Гефестом, другом вашего Прометея, которому дружба не помешала приковать титана к скале, ибо такова была воля Зевса... О, как мимолетно, сердце разрывается, сэр! Но как прекрасна эта сладостная отдаленность времени..." Генерал заливается самодовольным смехом, и Скотт Рейнолдс слышит, как он захлебывается и взвизгивает: "Мы тоже уйдем туда, сэр, в это прекрасное облачное царство, и в этой сладостной отдаленности времени станем такими же прекрасными белыми тенями для тех, кто полетит на гораздо более совершенных самолетах после нас и будет восхищаться нами, сэр! Да, нами будут восхищаться... в истории!.."

Скотт Рейнолдс готов примириться со своим моральным бессилием, но в этот миг раздается свист воздушной струи. Он сливается с воем мотора, становится неистовым ревом, самолет переламывается пополам, хвост и передняя часть вздымаются, словно крылья, под ногами разверзается белая бездна. Воздушная струя смывает людей и чемоданы, все сыплется в толкотне, воплях и реве вниз, а там земля, которая алчно и

неумолимо тянет к себе, и транзисторы падают, играя твист. Скотт Рейнолдс знает, что это продлится две минуты, поскольку они находятся на высоте семь тысяч метров, и что ноги его выкопают полуметровую яму, прежде чем тело сплющится в студень. Он кричит, и все кричат. Генерал вцепился в финку, а на ней платье из морской воды, и она непременно спасется... Уже видны картофельные поля, снизу смотрят немецкие крестьяне, они тоже кричат и размахивают руками, земля приближается с ужасающей быстротой и словно вздувается, как огромный живот... Но странно — вместо того чтобы лететь вниз, Скотт Рейнолдс летит вверх, и нет больше белых облаков, его поглощает серая пелена. Там тишина, немая пустота, и в ней он должен остаться навсегда. Он поднимается все выше, чувствует холод и делает нечеловеческие усилия, чтобы спуститься вниз. Но серая пелена уже под его ногами — бесконечная, волнообразная, подобная земле в первые дни творения. Видны реки, озера, потоки, горы и леса. Вода разлилась вширь, из нее торчат острова, бесчисленные рукава рек и речушки поблескивают тускло, потому что земля еще сырая и света недостаточно — его приглушают синеватые испарения... И вот из одной речушки выползает громадное чудовище. Оно ползет и растет, растет, а он падает на его спину, покрытую страшной чешуйчатой броней...

* * *

В девять часов утра служащий отеля постучал в дверь номера и, не получив ответа, забарабанил громко и продолжительно. Скотт Рейнолдс очнулся и понял, что проспал. Рассчитывая время по минутам, он принял душ и побрился, собрал чемоданы, наскоро позавтракал парой яиц всмятку и, вполне готовый к отъезду, серьезный, полный достоинства и самоуверенности, в последний раз спустился по лестнице отеля, чтобы расплатиться. Он проделал все это деловито и без лишних слов, приказал отнести чемоданы в такси, дожидавшееся перед отелем, и, поправив соломенную шляпу, небрежно сдвинутую на затылок, отбыл, не взглянув на двух мужчин, которые в эту минуту ворвались в вестибюль. Один был спасатель с пляжа, другой — милиционер, который нес чей-то паспорт. Если бы Скотт Рейнолдс мог заглянуть в мокрый, набухший паспорт, выданный в Соединенных Штатах эмигранту Малаховскому, он бы увидел круглое славянское лицо поляка. Но он не проявил никакого любопытства ни к этим людям, так взволнованно вбежавшим в отель, ни к небольшой толпе, собравшейся на пляже вокруг утопленника. Он просто спешил, спешил за океан, не столько в Чикаго, где были его жена и коллеги, сколько в Принстон, в Ар-Си-Эй, в громадный комплекс научно-исследовательских центров и лабораторий...

Моей жене

Лучше бы вовек не возникал он, этот раскаленный день, когда наклонился я к ручью устало за глотком воды. И вдруг вода зыбкий облик мой околдовала, в глубь ручья упал он навсегда, и волна тотчас его умчала, унесла невесть куда...¹

Атанас Далчев

1

Мне бы следовало сказать себе "Опять он уехал", а не "Опять то же самое", но "то же самое" означало также, что я опять просыпаюсь одна, что и сегодня нечего рассчитывать на что-либо необычное. Второй моей мыслью было: хорошо хоть, что тишина, не слышно гула самолетов и тархтенья машин за окном, а тишина — это пляж и теплое море, которое к вечеру становится опаловым, и томительные обеды в гостиничном ресторане, и предобеденные часы на пляже с игрой в карты, холодным виски в термосе, с мелкими пересудами и бесплодными ухаживаниями, ведь среди этих владельцев гаражей и магазинчиков, учителей и двух провинциальных докторишек не было ни одного достойного внимания. И наконец, "то же самое" означало, что хоть я и порвала связь с миром, к которому принадлежу, моя жизнь протекает все так же уныло. Тишина, море и покой не только не успокаивали меня, наоборот, с каждым днем утомляли и раздражали все больше. Я опять проснулась, лежа ногами к пустой кровати Луи, во рту — горьковатый привкус от выкуренных с вечера сигарет, голова гудит от коньяка и этого дурацкого бриджа. Вспомнилось, как в первые дни на море остальные члены нашей группы сочили нас чванливыми — по милости Луи, который не желал поддерживать никаких знакомств, со всеми был холоден и думал только о фракийских памятниках этой страны. И передо мной сразу предстал болгарский профессор-археолог, будто вытесанный топором где-то в азиатских степях, архаичный с виду, а в остальном симпатичный, любезный и слегка нелепый. Я не испытывала к нему неприязни — напротив, была ему благодарна за то, что он увез Луи. Мой муж томился бы тут еще больше, чем я, — солнце и песок не привлекали его. Я пробовала разделить его увлечение фракийскими находками, но этот порыв быстро схлынул — я была рада, что Луи нет рядом, что он не досаждал мне...

Лежа с сигаретой в кровати, я попробовала привести в порядок свои впечатления от этой страны, но это мне быстро наскучило. Надо будет

¹ Перевод М. Петровых.

потом поразмыслить над тем, что я стану рассказывать своим подружкам в Париже. Эта страна была мне неинтересна. Главная моя черта — вечно гложащая меня неудовлетворенность, этот не имеющий названия недуг, о котором я уже не в силах больше говорить. Я нерешительна, я всегда во власти необъяснимого страха и вместе с тем готова всему и всем бросить вызов, при этом я сама слышу свой холодный, презрительный смешок, смешок дерзкой девчонки, переступившей порог всякой благопристойности.

Выйдя из ванной, я сбросила халат прямо на ковер и принялась рассматривать в зеркале свое тело — так рассматривают начавшую терять свой блеск драгоценность, обследованную уже тысячу раз, из-за чего невозможно установить ущерб, нанесенный ей временем, и теряется представление о том, какой она была когда-то. Я пополнела, приобрела ту округлость форм, что приходит вместе с приближающейся старостью, и именно поэтому так вожеленна для мужчин. Грудь у меня еще крепкая, линия бедер плавная, мягкая, живот по-девичьи подобран, плечи прямые, широкие. Меня вдруг пронзила мучительная тоска, из груди вырвались короткие, подавленные рыдания. Я не могла понять, о чем они — об увядающем теле или о чем-то неизведанном и жутком именно своей неясностью.

Я обругала себя истеричкой и попыталась окинуть взглядом свою жизнь, но из этого ничего не вышло. Подобные попытки всегда оказываются у меня напрасными, я только раздражаюсь и прихожу в отчаяние. Мои воспоминания лишены связности, они исчезают, как подземная река, как эпизоды из прочитанных романов. Сейчас их почему-то вытеснила наша квартира на улице Дебозар, в которой мы с Луи обитаем уже двадцать лет. Через один дом он нас жил Жерар де Нерваль, в доме десять — Проспер Мериме, в тридцатом умер Оскар Уайльд, но что из того? Имеет ли какое-нибудь значение тот факт, что на этой же улице проживает некая Ева Моран?

Я поспешила одеться, мысленно миновала галерею, свернула на улицу Висконти и тут вспомнила, что где-то прочла: "Тот, кто не воспринимает свою жизнь как непрерывный поток, не блещет особым интеллектом". Меня взяла досада на Луи — значит, он тоже считает меня тупицей, если предоставляет мне жить как живется и томиться в безысходном одиночестве... Но почему я помню до мельчайших подробностей все, что случилось в тот день?

Приведя себя в порядок, я отдернула занавеску на балконе, словно надеясь, что свет выведет меня из этого отупляющего состояния. Занавеска собралась складками на металлическом карнизе, и, точно голубая улыбка, сверкнуло спокойное утреннее море, залитое косыми лучами солнца, светлой полосой отделяя небо от земли, а там, за голубой ширью, как мираж, как мечта, таяли очертания гор, суля покой и счастье... Горы казались далекими и чуждыми желтому песку пляжа, одиноким зонтам, вонзившимся в него, точно стрелы, вызывая представление о человеческой плоти...

Первые дни меня приводило в восторг прикосновение горячего песка к моему обнаженному телу. Мне было приятно ощущать прилип-

шие к коже мелкие заостренные зернышки, я наслаждалась тем, как они обжигают мне ступни. А потом наскучило и это — горы навевали печаль, склоняли к романтическим грезам, от ленивых мыслей наступала какая-то расслабленность.

Еще раз оглядев в зеркало прическу, я спустилась в ресторан. Наша группа кончала завтракать. Супруга доктора Боливье приветливо мне кивнула, учитель Феррар поклонился учтиво, но не подошел. Владелец гаража в Руане обнажил свои крепкие зубы под черными усами. Я села у окна спиной к морю. За всеми тремя столиками толковали о вчерашней партии в карты, о телепатии, гороскопах, старинной мебели, о какой-то новоявленной мусульманской секте, об этих оккультных эфемерностях, которых Луи и я не признаем вовсе. Учитель держал в руке талоны на питание и с нетерпением ожидал, когда официантка подойдет к нему — он жаждал поскорее вооружиться гарпуном и ластами, лежавшими рядом на стуле. Картье, хозяин мебельного магазина, препирался с женой. Солнце пекло сквозь оконные стекла, кто-то опять включил музыкальный автомат. Как всегда в этот час, напротив, под платаном, рыбаки плели сети, резвились ребятишки.

Дверь широко распахнулась, и в проеме показалась вульгарная фигура толстяка Шампольона, входившего в ресторан вслед за своей тщедушной супругой.

— Хайль Гитлер!

Этот пьянчуга, хозяин монтажной мастерской в Сен-Дени, каждое утро здоровался, вскидывая руку в фашистском приветствии, и при этом хитро подмигивал, вкладывая в свой жест циничный смысл и насмешку. Мне хотелось крикнуть ему в ответ какое-нибудь ругательство. "Хайль Гитлер!" возвращало меня на три десятилетия назад в родительский дом на улице Дантона, когда к нам ворвались гестаповцы и арестовали моего отца и кузена Клода. Шампольон действовал мне на нервы, как аккумулятор,— возобновлял тот нервный шок, который я испытала в семилетнем возрасте. Я тогда несколько месяцев проплакала, просыпаясь среди ночи от страшных снов. Детское сознание не могло освободиться от зеленых мундиров, холодных тевтонских глаз, револьверов, автоматов и топота подкованных сапог на лестнице. Каждый звонок в дверь повергал меня в трепет и страх, на каждый крик у соседей я отзывалась воплем. Ночью я держалась за мамину руку — иначе я не могла заснуть. Клод погиб в лагере, а отец после войны вернулся, и я долго не могла свыкнуться с тем, что этот истощенный человек с отсутствующим взглядом, весь в морщинах, некрасивый, да к тому же еще таскающий из буфета печенье, будто он не хозяин в собственном доме, и есть мой отец. Мне казалось, что это лишь его подобие, призрак из страшного мира моих ночных кошмаров...

Учитель спросил Шампольона, уж не расист ли он.

— Милосердный господь создал разные расы для того, чтобы они, как и животные, поедали друг дружку,— ответил тот. — Доведись вам постоянно ощущать запах негра, вы возненавидите негров, как собаки ненавидят цыган.

— В таком случае вы фашист, — сказал учитель.

— Ничего подобного, мсье. Ответьте мне положила руку на сердце: хотите вы иметь в обществе крепкие устои и порядок? Если да, то вы согласитесь и на диктатуру, лишь бы она оградила вас от пороков и дурных наклонностей, обеспечила порядок.

Жена, двигавшаяся за ним как манекен, тупо улыбнулась. Раздался смех. Шампольон подсел за столик к супругам Картье.

Шутка этого пьяницы задела меня — нельзя было не признать, что в известном смысле он прав. Я тоже ощущаю необходимость в диктате, и, если б нашелся человек, который бы его установил, я, во имя собственного спокойствия, пошла бы на это. Но фашизм?.. Я чувствовала, что сбита с толку и что я чужая среди этих людей, в обществе которых еще вчера развлекалась. Зачем мы присоединились к этой группе, когда Луи вполне мог рассчитывать, что его болгарский коллега снимет нам номер в гостинице? Нездоровые люди не могут завязывать дружеских отношений, каждый из них неприятен остальным. Я сама принадлежу к их числу и знаю, с чего это началось... Я имею в виду тот давний день на улице Дантона, концлагеря, печи крематориев, детские туфельки, волосы — все увиденное по телевизору и в журналах, прочитанное в газетах, услышанное от родных и знакомых, детективные и порнографические фильмы, убийства в фильмах о войне. Чего мне еще не хватало, чтобы ко всему притерпеться, чтобы испытывать не ужас, а только отчаяние? "Цинизм — это следствие девальвации всех ценностей", — сказал мне как-то Луи.

День был изнуряюще банален, один из тех дней, которые тянутся как бы за пределами моей жизни. Мне захотелось, чтобы Луи был рядом — все же он единственный человек, с кем можно поделиться какими-то сокровенными мыслями.

Я допила свой кофе, расплатилась и встала. Было около девяти, пора на пляж. Оставалось переодеться, захватить темные очки, надувной матрас, шапочку, надеть сандалии.

— Вы идете, мадам Моран?

— Да, да, — ответила я доктору, проходя мимо столика, где меня стоя поджидала мадам Боливье.

— Господин профессор еще не вернулся из поездки?

— Я жду его дня через три, не раньше.

На лестнице меня нагнал сотрудник гостиничного бюро информации. Он держал в руке большой конверт из грубой коричневой бумаги.

— Это вам, мадам Моран, — сказал он.

Я взяла конверт — в нем было что-то твердое, похоже, картон. Отправитель обозначен не был, и я спросила, от кого это.

— Понятия не имею, мадам. Оставлено вчера вечером. Я спрошу у моего коллеги, вчера было его дежурство, и потом вам сообщу. — И он с легким поклоном отошел.

— Возможно, какая-то ошибка, — сказал доктор Боливье.

— Адресовано мне, а от кого — не указано.

Я небрежно помахивала этим безобразным конвертом, уверенная,

что внутри – снимок какой-нибудь фракийской гробницы и письмо от Луи.

У двери своего номера я сказала чете Боливье, что мы встретимся на пляже. Этот плебейский конверт, смахивающий на те пакеты, в которых тут продают фрукты, был как-никак некоторым сюрпризом. Он заинтриговал меня тем, что почерк был незнакомый, не мужа. Вскрыв конверт, я увидела лист белого картона, на котором кирпично-красным карандашом в византийском стиле была нарисована я. В первую минуту я не сообразила, как держать рисунок, и, только повернув его, поняла, что я нарисована лежа. Моя фигура, волшебным образом возникшая из белой глубины, словно купалась в волнах воздуха, и, хотя там не было ничего, кроме изящных линий, которыми художник очерчивал мои волосы и шею, я увидела, что лежу ласковым апрельским днем среди цветущих плодовых деревьев, откинув назад голову, блаженно смежив веки... Лучезарная улыбка разливалась по моему лицу, словно само Счастье несло на своих крыльях неведомую мне самой, неразгаданную Еву, которая существовала когда-то или могла существовать...

Потрясенная, очарованная, я прижала рисунок к груди, словно возвращая себе что-то самое дорогое во мне самой. От сладостного волнения на глаза навернулись слезы, память коснулась смутных ощущений той поры, когда я была счастлива, когда я верила и любила. Надежда, жгучее желание избавиться от подавленности накатили на меня, точно морская волна, меня охватило раскаяние, словно отчаявшаяся, скупающая Ева была виновата перед Евой любящей и счастливой. Я спросила себя: неужто я и впрямь была когда-то такой и больше уж никогда не буду? Изображение на картоне вытесняло ту Еву, которая с младенческих лет узнала, что такое насилие, ужас и смерть, чей смех был холоден и презрителен, а представления о смысле жизни путаны и циничны... Я готова была разрыдаться, слезы обжигали глаза, но трезвый разум отрицал истинность того прелестного образа, который возрождал во мне иное, забытое существо...

Я пыталась угадать, кто этот дивный художник. Симон Картье, доктор Боливье, учитель Феррар или пьяница Шампольон? Или кто-нибудь из их жен? Дешевый конверт и неуверенные латинские буквы подсказывали мне, что художник – кто-то из местных. Но кто из жителей этого захолустного городка, только-только становящегося морским курортом, может быть художником? Мне не терпелось это узнать, и я позвонила в бюро информации.

– Мой коллега еще не пришел, мадам. Через полчаса я, вероятно, буду знать, кто принес пакет, – ответил голос снизу.

Я решила никому не показывать рисунка. Мне казалось, что я унижу себя, если предстану перед кем-то в своей самой сокровенной сущности. Возможно, он посмеется надо мной: "О да, прелестный набросок..." А может быть, я просто стеснялась... Положив картон на туалетный столик, я отправилась на пляж. А когда возвратилась оттуда, сотрудник бюро информации сказал, что пакет принес какой-то солдат с погран-заставы...

Я внушила себе, что художник — офицер, хотя до сих пор ни одного офицера тут не встречала, погранзастава находилась довольно далеко от городка.

Я всматривалась в мужчин, сидевших под навесами из вьющегося винограда, в рыбаков, в матросов с рыбацких суденышек, официантов, швейцаров и прочих служащих гостиницы. За обедом я волновалась, каждую минуту ожидая его появления. Поднявшись потом к себе, я посмотрела на рисунок уже другими глазами. Не идеализировал ли он меня, не была ли я там красивее, моложе и одухотворенней, чем в действительности? Каждый из нас склонен видеть в себе невыразимые внутренние богатства, смутно представляет себе истинную сущность своей души, тоскует по духовной красоте, и тщеславие побуждало меня принять созданный художником образ за истинный. Я пыталась отвергнуть рисунок, не придавать ему значения, но сердце хотело верить ему...

Я принялась за детективный роман, а в голове мелькали лица людей, которых я встречала здесь. Несколько дней назад, когда я шла с пляжа, какой-то моряк или рыбак сидел у песчаной дорожки между пожелтевшими кустами репейника, поджидая кого-то или делая вид, что поджидает. На нем были штаны из выгоревшей синей бумажной материи и такая же блуза. Волосатый, жилистый, с энергичным лицом и буйной, выгоревшей на солнце шевелюрой, он посмотрел на меня своими неприятными глазами — в первую минуту они показались мне фиолетовыми, — и в память врезались густые сросшиеся брови. В его взгляде было холодное любопытство, словно мимо двигался неодушевленный предмет, а не привлекательная полуобнаженная женщина. Этот взгляд меня оскорбил и именно поэтому запомнился.

Отложив книгу, я предалась глупым мечтаньям. Вообразила, что я во Франции, на каком-то приеме, что художник — французский офицер, элегантный, красивый, герой Сопротивления, соратник де Голля. Я пыталась представить себе лицо этого офицера, но человек у дорожки заслонял его, и мое воображение было не в силах от него избавиться... Я становилась смешной, злилась на себя и поняла, что глупые мечты вызваны неприязнью к тому субъекту. У меня расходились нервы, я вышла на балкон, посмотрела на опустевший пляж. У берега стояла на приколе старая моторная лодка, а по пляжу твердой поступью, словно не по песку, а по мостовой, вышагивал тот неприятный человек; в руках у него была насаженная на прут рыба. Следом волочилась его вытянутая тень. Он показался мне высоким, гибким и стройным. Рыбаки в трактирчике за пляжем, сидевшие за столом под широким навесом вьющегося винограда, шумно приветствовали его, и я слышала их радостные возгласы, в которых часто повторялось слово: "Тасо! Тасо!"

Избавившись от грез, я оделась и пошла погулять у моря.

Под вечер, когда стало темнеть, я вернулась к себе. Посмотрела на рисунок, лежавший на туалетном столике. Прекрасная Ева Моран на белом картоне казалась мертвой. Сумерки густели, сквозь открытую

балконную дверь доносились тихие и размеренные вздохи моря. Не хватало только зажженных свечей... Ave, Maria, ora pro nobis! ¹

3

К кому были обращены слова молитвы? Ко мне самой, к мертвой Еве, к матери божьей? Или же я прощалась навсегда с той, неразгаданной Евой?..

Я вдруг ощутила себя опустошенной и еще более одинокой, чем прежде. Хотя мадам Боливье трижды стучалась ко мне в тот вечер, приглашая на партию бриджа, я не пошла. Провела мучительную ночь, кусая подушку и проклиная Луи за то, что он оставил меня одну. Пустые надежды, глупые бессмыслицы воображения, возбужденного каким-то рисунком, — вот и вся суть дела. Еще более бессмысленно и смешно, что эти глупости меня расстроили, задели.

Я пыталась придумать, чем мне заняться, чтобы спастись от уныния и скуки, и в голове опять возник тот человек. Я представляла себе, как он шагает по пляжу, и ненавидела его. Неужели я допускала, что между мной и человеком, с которым мне и говорить-то не о чем, возможна какая-то связь? Все мои любовники принадлежали к нашему кругу — ассистент Луи, потом один молодой юрист, потом актер. Это были почти случайные, короткие связи, но никогда в жизни я не опускалась до рабочего или портового грузчика. И тем не менее сознаюсь, меня соблазняла мысль отдаться такому вот здоровяку-простолюдину. У всех бездетных женщин склонность к рискованным эскападам такого рода. И я помышляла об этом, примешивая неприязнь к желанию и женскому мазохизму... Эта была омерзительная ночь!

Утром я проспала и завтракала в одиночестве — вся группа была уже на пляже. В глубине ресторана за длинным столом, заставленным помидорами, стручками перца, брынзой и колбасой, кончали трапезу чехи.

Я сидела у открытого окна, чтобы дышать соленым морским воздухом. Смотрела на белую от пыли, залитую палящим солнцем улицу, на обшарпанный городишко с домиками, отвернувшимися от моря, на жалкую пристань византийских времен, где высились руины древней городской стены. Чайки с криком опускались на крыши под мерный плеск волн и гомон пляжа. Я была в прескверном настроении, злилась на весь мир. Вынула из сумки зеркальце — бог знает, как я выгляжу после бессонной ночи. По тротуару кто-то шел — на меня упала тень. Я подняла голову. Под самым окном стоял тот человек, который занимал этой ночью мои мысли. Возмущенная, растерянная, я чувствовала, что заливаюсь краской. А он смотрел на меня и улыбался так, как взрослый улыбается нашалившему ребенку. Я была не в силах отвести взгляд от его глаз какого-то синеватого цвета, скорее темно-серого, чем синего, переличатых глаз варвара, чьи зрачки постоянно меняли цвет, странно кон-

¹ Ave, Мария, помолись за нас! (лат.)

трастируя со смуглым лицом и пышными, волнистыми волосами и придавая ему особое, мужественное обаяние. А потом он ушел, но перед этим улыбка в уголках его рта погасла, верхняя губа шевельнулась, словно он хотел этой еле заметной гримасой показать, что видит и понимает мое жалкое состояние...

Я сидела с раскрытой сумочкой на коленях и зеркальцем в руке, оскорбленная, негодующая, возмущенная его наглостью. Уверенность в том, что он-то и есть художник, дрожью пробежала у меня по телу. Я вспомнила свои вчерашние мечты, готовая поверить, что между ними и тем, что только что произошло, существует необъяснимая связь. Мне захотелось отомстить ему, но вместе с тем я испытывала восторг и радость, в душу закралась надежда, а под ее прикрытием вновь пытались всплыть былая боль и воспоминание о минувшей ночи...

Поднявшись наверх, я долго рассматривала лежавший на столике рисунок и чем дальше, тем больше убеждалась в том, что этот человек хотел посмеяться надо мной, изобразив меня такой, какой мне хотелось быть, но какой я никогда не была. Я пыталась угадать, когда же и где он рисовал меня. Ни в ресторане, ни на пляже я ни разу его не замечала. Откуда он знает меня, где встречал? Я поймала себя на том, что начинаю думать о нем, как о близком человеке, потрясенная тем, что незнакомый болгарин оказывается необъяснимым образом связанным со мной, словно давно ожидал моего приезда в этот городок, словно и я давно ношу его в своем сердце.

Мне не терпелось побольше узнать о нем, и я отправилась на пляж в надежде застать там моторную лодку. Потом обедала — рассеянная, поглощенная мыслями и ожиданием. И около трех часов, захватив с собой рисунок, вернулась на пляж. В эти послеобеденные часы там не было ни души, море лизало своим кружевным языком края длинного, изогнувшегося дугою пляжа, красные бакены покачивались, море плескалось — спокойное, гладкое, перенявшее пепельно-серый цвет неба. Красными и голубыми пятнами ярко вырисовывались вытянутые на берег водные велосипеды.

Я накинула поверх купальника махровый халат и делала вид, будто хочу позагорать на солнце. Меня не оставляла мысль, что незнакомец приплывет откуда-нибудь на своей уродливой моторной лодке.

Впервые со дня приезда сюда я почувствовала, что не совсем безразлична к этой стране. Незнакомец пробудил во мне интерес к здешним людям, совершенно вытеснив из головы моих соотечественников. Как они, вероятно, злословили на мой счет, видя из окон гостиницы, что я сижу на пляже одна! Должно быть, говорили, что я такая же гордячка, как мой супруг, что я надменная снобка, воображающая о себе бог знает что. Но если бы они могли угадать правду, то женщины позавидовали бы мне. Я была готова пуститься на настоящую авантюру, только бы избавиться от скуки, только бы отомстить наглецу-варвару, заставить его взглянуть на меня иными глазами — неразумное желание, которое часто оборачивается для нас, женщин, западней.

Я раскрывала книгу, прочитывала по несколько строчек, охвачен-

ная грустью этих послеполуденных часов, когда хочется, чтобы солнце поскорее закатилось и наступил вечер, мгновенно забывала прочитанное, с досадой оглядывала безлюдный пляж и провожала взглядом какой-нибудь парусник, медленно проплывавший на горизонте.

Часов около пяти я услышала шум моторной лодки и увидела, что она приближается к берегу справа от меня. Я притворилась, будто поглощена книгой, но украдкой следила за каждым его движением. Заметит ли он меня, подойдет ли? Нас разделяло расстояние метров в сто.

Он бросил якорь, ловко вытянул корму на песок и спрыгнул на берег. Я вообразила, что это пират, приплывший похитить меня. На сей раз рыбы у него в руках не было, одет он был так же, как тогда, без шапки, в поношенных бумажных штанах и блузе, юношески ловкий, подвижный. Видимо, он заметил меня еще из лодки, но не был уверен, что это я, и, заслонив глаза рукой, несколько секунд всматривался. Потом направился ко мне.

Я продолжала делать вид, что поглощена чтением. Предчувствие, что нас связывает с ним роковая близость, не оставляло меня. Могу ли я позволить себе знаться с этим оборванцем, который наверняка не знает ни одного языка, кроме родного? Я убедила себя, что испытываю к нему интерес только как к художнику, а не мужчине, что несурезицы минувшей ночи — не больше чем несурезицы и, если выяснится, что он вовсе не художник, я дам ему понять, что у нас не может быть с ним ничего общего.

Он подошел ближе, его тень коснулась моих колен. Пришлось оторваться от книги.

Он, небрежно кивнув, поздоровался и чуть скованно произнес по-французски:

— Прошу прощения, мадам. Разрешите вам представиться. Я автор этого рисунка. Предполагаю, что он вам понравился?

Я окинула его взглядом снизу доверху — с ног, обутых в старые парусиновые туфли, до обгоревшего на солнце лица. В тоне, которым были произнесены эти слова, мне почудилась ирония.

— Да, мсье. Рисунок прекрасный. Благодарю вас. Вы художник, не правда ли?

— Любитель. Вы позволите мне сесть рядом?

— Но я никогда вас не видела! Я хочу сказать, что не позировала вам. Как вам удалось?

— Я рисую по памяти, — ответил он, опускаясь на мягкий песок по другую сторону зонта. — Я видел вас на дорожке, когда вы возвращались с пляжа. — Его большие руки были сплетены на коленях, глаза устремлены на море.

— В таком случае у вас потрясающее воображение. Однако я уже не такая, какой вы меня изобразили.

— Почему вы так думаете? Истинная сущность человека не исчезает с годами. Только люди по большей части этого не сознают.

— Значит, вы умеете ее распознавать?.. Тогда вы очень счастливый человек, мсье.

– Иногда. А иногда скорее несчастный... По-всякому.
– На рисунке я моложе, образ идеализирован...
– Это не идеализация, мадам, а стилизация... Так мне захотелось. — Он взглянул на рисунок, который я положила возле себя, в тоне его слышалась досада специалиста, разговаривающего с профаном.
– Вы, должно быть, известный художник. Приехали сюда поработать?
– Нет, я совершенно неизвестен. Живу тут постоянно — зимой в городе, сейчас — в летнем домишке.
– Но чем вы живете? У вас, вероятно, есть другая профессия?
– Как видите, живу. Изредка продаю картину-другую. Был моряком. В словах, которые он с трудом подбирал, я ощущала грусть, замкнутость, граничащую с враждебностью, некую отчужденность, которая тронула меня. Он выглядел гордым, ироничным и беспомощным.
– Мне бы хотелось увидеть ваши картины, мсье. Есть они в городе?
– В городе нет. Если они интересуют вас, вам придется посетить мою хижину. Это в нескольких километрах отсюда, в устье реки.
Я испытующе посмотрела на него. Поехать одной? Лицо его было спокойно и безразлично, словно он был не слишком заинтересован в моем внимании. Он даже не оборачивался в мою сторону, сидел на песке, обхватив руками колени, и смотрел в море.
– Почему бы и нет? С удовольствием, — сказала я.
– Я отвезу вас на лодке. Иначе вы не найдете. Когда вам было бы удобно?
– Можно я возьму с собой кого-нибудь из моих соотечественников?
– Не надо. Я показываю свои работы не всем. — Он обернулся, искоса взглянул на меня, видимо угадав мои опасения. Потом посмотрел на свои облезлые ручные часы и поднялся.
– Мне нужно в город. До свиданья, мадам. В котором часу вас завтра ждать?
– Лучше всего около четырех. Я буду на пляже.
Он поклонился, не протянув мне руки.
Его поведение немного задело меня. Он даже не считал нужным себя назвать. Мое имя он знал, об этом говорил адрес на конверте. Я проводила его взглядом, пока он не исчез в лабиринте извилистых улочек между каменными оградами...

4

Я была довольна, более того — очарована простотой, с какой он рассказал о себе, его интеллигентностью, так отличавшей его от окружающих, его затаенной гордостью, за которой угадывалось страдание. Чтобы такой художник не имел известности! Быть может, он сам не сознавал, как талантлив!.. Надо во что бы то ни стало увидеть его картины, и, если они такие же, как мой портрет, я заинтересую им Луи...

Он нравился мне и как мужчина. Я представляла его себе иначе одетым, в иной обстановке — высокий, сухощавый, в манере держаться —

холодная сдержанность и обаяние. Из головы не выходили его слова: "Истинная сущность человека не исчезает. Это не идеализация, а стилизация". Я радостно повторяла про себя эти слова, уверовав в их справедливость. И говорила себе: "Да, я такая, какой он меня увидел. Я это знала, но не верила. Если бы верила, чувствовала бы себя счастливой, независимо от того, есть у меня Луи или нет никого. Я убереглась бы от царящего в мире ужаса, была бы способна любить, радоваться жизни..."

Возвращаться в гостиницу не хотелось. Я сидела на пляже, думала и мечтала. Под мерные вздохи моря так хорошо мечталось, морская ширь, вобрав в себя золотые отблески неба, ласкала меня, уносила в другую, чарующий мир, где обитала счастливая Ева с рисунка...

Я вернулась в гостиницу, никого из группы не встретив, когда солнце уже садилось. В эти часы все были на прогулке за городом. Переодевшись, я спустилась в ресторан ужинать. Настроение было приподнятое, я веселилась и любезничала с моими соотечественниками, и в то же время была от них дальше, чем когда-либо, хоть и сыграла одну партию в бридж, чтобы не огорчать чету Боливье.

Мне не терпелось остаться одной, порыться в приятных воспоминаниях, в тех чувствах, которые подтвердили бы, что изображенная на портрете Ева еще существует в действительности. Вспомнилось первое причастие — как я вышла из церкви Сен-Сюльпис в белом платье, с венком на голове, сконфуженная и растерянная оттого, что не в силах поверить в бога, хотя моя с детства удрученная душа жаждала веры и утешения; как моя мать, ревностная католичка, обняла меня у входа в церковь, откуда доносились торжественные звуки органа. Затем — ранние утра в детской, где я просыпалась с ощущением радости, счастья и пыталась поймать оранжевое пятно на стене, которое напоминало мне об ивоггах возле загородного дома моего дядюшки; огромный старинный шкаф с металлическими ручками, которые волшебю серебрились в раннем свете утра; мою первую влюбленность в сына дядюшкиного соседа, летний дождик, поцелуи, которыми мы обменялись в рощице за домом, — воспоминания детских лет, хранившиеся в моем сердце, точно сновидения, чтобы удержать надежду на счастье. Наконец, дни, которые мы провели вдвоем с Луи в деревушке под Парижем, речка, где мы удили рыбу, и я тихонько запела: "В пору вишен, в пору любви..." И чем больше таких воспоминаний обнаруживала я в своей памяти, тем сильнее проникалась верой, что наш мир — это мир счастья, правды и бессмертной души, что я всегда знала это, но пренебрегла своим знанием, забыла. Я поминутно вскакивала с кровати, рассматривала себя в зеркало, выходила на балкон и смотрела на море. Близилось утро, а я все не могла уснуть из-за неодолимого желания поскорее освободиться от накопившегося яда, очиститься, возродиться. И то любовалась рисунком, то снова выходила на балкон. Мне казалось, что этой ночью ко мне возвращается молодость, дни девичества, что я смотрю на мир другими, ликующими глазами. Все в гостинице спали, море нежилось в сумеречном свете луны, данаиды лили воду в свои бездонные кувшины, фосфоресцирующая полоса отделяла море от неба, а я ходила босиком из комнаты на

балкон и обратно, возбужденная, замороженная... Я была влюблена в себя, как девчонка, не сознавая, что я готова влюбиться в художника и что главная причина всему — именно он... Под конец, утомленная этим очищающим взлетом души, позабыв о Луи и нашей совместной с ним жизни, я уснула.

Утром, спустившись к завтраку, я спросила служащего гостиницы, не знает ли он в городе одного художника-любителя.

— Да, есть тут такой. Чудак, Тасо его зовут, вечно слоняется по городу. Его все знают, потому что он частенько выпивает с матросами и рыбаками.

Так я узнала его имя, которое, впрочем, уже слышала, когда его приветствовали посетители приморской корчмы.

Уже в три часа я была готова — надела серые габардиновые брюки, темно-красную блузку — и в четыре отправилась на пляж. Мне было стыдно, вернее, страшно, как бы из гостиницы не заметили, что я сажусь в лодку.

На том месте, где я думала его найти, никого не было. Я огляделась по сторонам. Он ждал меня в маленьком заливишке за скалами. Я оценила его предусмотрительность, но в то же время немного обиделась, потому что он не удосужился изменить свой вид — на нем были те же поношенные блуза и брюки, те же ужасные парусиновые туфли, тогда как я так тщательно продумала свой туалет. Я вспыхнула, когда он подал мне свою жилистую руку и просто-напросто швырнул меня в свою безобразную лодку с оглушительно ревевшим мотором. На сиденье лежала подушка — об этом он все же позаботился.

Я приготовила уйму вопросов, которые собиралась ему задать, но суровое, сосредоточенное выражение его лица смутило меня. Мое смущение от него не укрылось, он дважды улыбнулся мне весьма любезно, заботливо усадил и, заняв место за рулем, сказал:

— Моя хибарка вам не понравится, мадам, но зато, надеюсь, вам понравятся картины. Я везу вас, чтобы вы посмотрели их, а не чтобы купили. У меня нет ни одной для продажи.

Я спросила, кому он их продает. Он усмехнулся.

— Приезжает сюда один софийский художник. Ему...

— Но позвольте... А он потом их продает как свои? Как же так?

— Смешная история. Я вам потом расскажу. — И он замолчал.

О, как он разочаровывал меня! То представление, какое у меня вчера сложилось о нем, не имело, казалось, ничего общего с тем человеком, которого я видела сегодня. Он был сух и замкнут, даже мрачен. Я жалела, что согласилась поехать — бог весть, что там у него за берлога. Человек он необщительный, возможно, самовлюбленный маньяк, и картины, должно быть, никуда не годятся. Ему случайно удался мой портрет, и это польстило моему дурацкому самолюбию, соблазнило мыслью о какой-то истинной моей сущности. Теперь все окончится полным разочарованием. Буду потом раскаиваться, опять погружусь в тоску и уныние...

Лодка уносила нас в открытое море, старый мотор оглушительно

хрипел и задыхался, сама лодка пропахла рыбой, дно было грязное, чер- ный ее нос отвратительно и нахально вздымался. Мы проплыли мимо заставы, часовой с берега приветственно помахал нам рукой.

— Меня здесь зовут просто по имени, Тасо,— сказал он. — Если хоте- те, можете называть меня так же.

— А знаете, что означает "тассо" по-итальянски?

Он улыбнулся.

— Кажется, знаю. Барсук.

Его улыбка приободрила меня, обрадовала. Это была добрая улыбка юноши, сосредоточенного на каком-то деле. Я украдкой рассматривала его лицо. Под загаром, который грубил его, оно странным образом меня- лось, принимало самые разные выражения. За тот час, что мы провели в пути, этот человек становился для меня все большей загадкой. Он казал- ся то постаревшим и нездоровым, то злым и насмешливым, то юноше- ски жизнерадостным и светлым. Мы говорили о городке и его обитате- лях.

— Люди тут славные,— сказал он, не глядя в мою сторону, хотя я чувствовала, что он за мной наблюдает, отчего его общество почти тяго- тило меня. — Но они уходят в прошлое, как и сам городок. У нас очень быстро все меняется, не задерживается надолго.

— Вы сказали, что были моряком. Тогда-то, наверно, и выучились по-французски?

— Я учил французский еще в гимназии, а уж потом в плавании. Я и английский немного знаю.

— Вы не женаты?

Он улыбнулся тонкой, насмешливой улыбкой.

— Когда-то, в молодости, был. А теперь живу так, по-холостяцки...

После каждого его ответа словно оставался горький осадок, мешав- ший мне расспрашивать дальше.

Показалось устье какой-то реки. Ее воды нанесли в море песчаную отмель. Лодка повернула к реке, и я увидела на берегу домик. Казалось, он был выброшен сюда кораблекрушением. Это было нечто вроде шатра кочевника, на макушке торчал толстый шест, почерневший, уродливый, стены представляли собой жалкую мешанину из досок, брезента и листов толя, таких же безобразных и черных. Перед дверью лежал огромный пес — белый с черными пятнами, уши торчком. Он поднялся, замахал лохматым хвостом.

— Это мой Сидер. Не бойтесь,— сказал Тасо, подавая мне руку, чтобы помочь вылезти из лодки. — Моя халупа выглядит цыганской, но внутри она может показаться вам небезынтересной. — Он оглянулся на горы, где темнела большая туча, и добавил: — Через полчаса хлынет дождь. Но он летний, скоро кончится.

Я боялась войти в дом, боялась свирепого пса, который следил за мной круглыми глазами и помахивал страшным хвостом, словно спра- шивая своего господина, не укусить ли меня. Но когда я переступила порог, шатер оказался просторным, опрятным, пол застлан вьетнамскими циновками, стены из толстых, аккуратно оструганных досок. Три табу-

ретки с сиденьями из ткани местной выработки и четвертая, покрытая леопардовой шкурой, стояли вдоль стен. В закопченном очаге под большим треножником лежала горка золы. Однако мне некогда было разглядывать обстановку, потому что моим вниманием завладели две картины маслом, висевшие одна против другой.

На одной был изображен рыбак, держащий в обеих руках удочки, на лесках которых много-много рыб, и эти рыбы тянут его вместе с его лодчонкой, а вокруг — фосфоресцирующее сияние рыбьей стаи, смешивающееся с бликами луны на пенистых гребнях волн. В нездешнем, запредельном свете разыгрывалась мистерия ночного лова, и рыбак выглядел голубым призраком, влекомым стихией рыб и моря, одиноким духом, пленником тех самых рыб, что тащили его, опрокидываясь белым брюхом кверху в тщетных попытках высвободиться из жестоких крючков. Я тоже помчалась по этим залитым луною водам, вслед за рыбьей стаей, я чувствовала, как морская стихия уносит, кружит, завораживает меня. Все это было реальностью в той же мере, что и мечтой или сном, как будто на холсте были не краски, а синевато-лунный свет, в котором сражались духи рыб и человека. У меня от волнения перехватило горло, я задыхалась, глядя на этот волшебный, пленительный мир.

Восторг перед шедевром может быть таким сильным, что хочется сесть, отдышаться, вернуться к повседневности. Я оглянулась в поисках стула, но тут мой взгляд упал на вторую картину, и сердце болезненно сжалось при виде человеческого лица, страдальчески вглядывающегося в круглую луну, которая была похожа на смеющегося паяца. Паяц смеялся над измученным, напряженно о чем-то размышляющим человеком, в мольбе поднявшим голову к небесному светилу. Фигура терялась в темноте, ярко вырисовывалось лишь широкое, освещенное луною, такое же круглое, как она, и желтое, как айва, лицо, страдальческие глаза, чуть приоткрытый рот, большой и тоже страдальческий. Этот человек казался безумцем, обратившим к луне-паяцу вопрос, на который нет ответа, надеющимся вымолить для себя прощение...

Я опустилась на первый попавшийся стул, не в силах справиться со своими впечатлениями. Тасо молчал, я тоже... Не помню, с чего я начала, волнение мешало мне говорить связно. Этот человек был гениальным художником, у меня не оставалось сомнений на этот счет. Я чувствовала себя виноватой за прежние сомнения и особенно за те мысли, которые унижали меня самое, я смотрела на него с благоговением и казалась себе ничтожной и никчемной.

Он тем временем, стоя перед шкафчиком, из которого вынул бутылку спирта, наливал из глиняного кувшина воду, собираясь варить на спиртовке кофе.

Я спросила, нет ли у него еще картин.

— Нет, — сказал он. — Все продал еще в марте. Тот человек увез их.

— Вы их ему продаете, а он выставляет под своим именем? Неужели вы не дорожите ими? Как это понять?

— Так получилось. И теперь он — это я, а я — то, что вы перед собою видите.

Занятый приготовлением кофе, он не смотрел в мою сторону, словно кофе для него был важнее всего.

— И он знаменит, богат? Вы продали себя,— сказала я.

— Он знаменит и, конечно, богат. Только, пожалуйста, не спрашивайте его имени. Вы говорите, что я продал себя. Нет, я продал ему того демона, что сидел во мне...

— Вы продали свой гений,— настаивала я.

— Гений, талант, если я им обладаю, продать нельзя. Просто мне взбрело в голову сыграть шутку. Несколько лет назад он проводил здесь лето с семьей, увидел мои работы и принялся меня обхаживать. Вертелся возле меня, как собачонка возле хозяина, который держит в руках кусок колбасы, просто ходил на задних лапках. И мне вздумалось предложить ему... Он только этого и ждал...

— И вы не жалеете?

— С какой стати? Вышла забавная история. Еще раз прошу вас, не пытайтесь узнать, кто этот человек. Я надеюсь, вы не совершите бестактности.

Он вдруг оживился, захохотал, как мальчишка.

— Знаете, какой он теперь несчастный? Живет в вечном страхе, как бы обман не раскрылся. Недавно приезжал сюда, умолял продать ему несколько эскизов, все равно каких, самых никудышных, лишь бы были мои... Я отдал их даром — к нему в мастерскую приходят люди, так вот, он хочет, чтоб они видели его наброски. Он с трудом пускает к себе, знает ведь, что гля, и дрожит... Разве это не забавно, мадам Моран?

Я слушала его в изумлении. Кто же он — ребенок, наслаждающийся жестокой шуткой, человек, лишенный честолюбия, играющий высшими проявлениями духа, пересмешник, отвернувшийся от себя самого, или тут что-то иное, недоступное моему женскому уму?

Меня охватил мистический ужас перед этим человеком — ведь я не только не могла понять его, он возмущал меня и отталкивал, словно передо мною был душевнобольной. В нем таилось какое-то безумие, что-то чуждое мне, европейке. Я спрашивала себя, чем он будет жить — отчужденностью, презрением к собственному гению — в этом захолустном городишке, в этой первобытной лачуге, наедине с собакой, — или своей безжалостной шуткой над тем беднягой? Или же он до такой степени неразвит, что искусство не имеет для него никакой ценности?

— Скоро пойдет дождь,— проговорил он, прислушавшись. — Гроза. Разве вас это не радует? Я имею в виду ожидание, приближение этой вакханалии, после которой все живое на земле ликует...

Он улыбался, словно предаваясь наслаждению благодаря невидимым антеннам своих органов чувств. Он даже потер руки, лицо его снова прояснилось.

— Сию минутку,— проговорил он, подавая мне чашку крепкого кофе по-турецки.

К чему относилось это "сию минутку"— к кофе или к грозе,— я не поняла.

В конце концов я оторвалась от картин, чтобы внимательней рас-

смотреть обстановку. На стене возле очага висело ружье и рога молодого оленя. Кровать под клетчатым покрывалом была продавленная, провисшая. Рядом висела книжная полка, в углу стоял мольберт, на нем — засохшая палитра и коробка с тюбиками масляных красок. Было видно, что он давно не прикасался к ним. В этой лачуге ощущался тот дух старины, какой мне доводилось ощущать в Стамбуле, в султанских покоях, каким веет от старинных ковров.

Смерклось, грянул ливень, гром, молния ужалила море, а оно посерело, нахмурилось. Серебряные сети дождя за дверью протянулись к морю.

Я спросила, много ли он странствовал моряком.

— Порядочно, — сухо, с явной неохотой ответил он.

Я угостила его французскими сигаретами. И пока мы пили кофе, ни он, ни я не произнесли ни слова.

Я не знала, что и думать. В душу закралось подозрение, что картины написаны вовсе не им, а история с софийским художником — выдумка. Я чувствовала, что он наблюдает за мной, даже когда не смотрит в мою сторону. Он сидел напротив на неудобной табуретке, курил и смотрел на дождь.

— Нет ли у вас еще картин или набросков? — снова спросила я.

Ах, как он улыбнулся! Я могла поклясться, что он ожидал этого вопроса, и залилась краской.

Он подошел к кровати и вытащил из-за нее прелестный пейзаж, набросанный несколькими мазками, еще не законченный.

— Других доказательств у меня нет, — сказал он. — Я не каждый день берусь за кисти... Бывает, не прикасаюсь месяцами... И не думайте, что я хочу похвастать перед вами. Мне все равно... Но поскольку вы обязательно спросите, отчего я открыл вам мою тайну, я отвечу вам и на это.

Он взглянул на меня с грустью и сожалением.

— Да, я, естественно, хотела вас об этом спросить.

— Я скажу... Но гроза уже стихает... Я не догадался накрыть лодку, и ее залило. Надо выгрести воду... — Он взял стоявшее у двери ведро и вышел.

Я проводила взглядом его фигуру в сетке последних, сверкающих капель дождя. Смотрела, как он вычерпывает из лодки воду. Он запустил мотор, чтобы проверить его.

Я и раньше подозревала, что он читает мои мысли. Это угнетало меня. Никакого намерения поухаживать за мной он не проявлял, и это задевало мое женское самолюбие. Я вспомнила, как он рассматривал меня, когда я шла по песчаной дорожке с пляжа. И картины на стенах, которыми я полчаса назад восхищалась, показались мне враждебными, словно они разъединяли нас.

За дверью засияло солнце, громовые раскаты утонули в море, отозвавшись в небе глубоким, звучным эхом. Рядом пробегал, журча, ручеек и терялся в песке. Собака кружила возле лодки, ее хозяин по-прежнему вычерпывал воду. Я посмотрела в окошко у меня за спиной — море

местами приобрело фиолетовый оттенок промытого неба. Меня охватила тоска по моему привычному миру, по мужу, по себе самой, и захотелось поскорее уйти отсюда.

Он вернулся, попросил прощения за то, что оставил меня одну.

— В лодке мокро, вам будет неприятно. Но я постелю на сиденье что-нибудь сухое,— сказал он, стряхивая с рукавов дождевые капли.

Я хотела задать ему тот же вопрос — отчего он доверился мне, но тут пес затыкал, кто-то приближался к дому с моей стороны, где было окно. Женский голос позвал "Тасо!" и что-то добавил по-болгарски.

Он встал и быстро вышел.

Я осторожно посмотрела в окно. Там стояла молодая женщина, накрытая с головой полиэтиленовой пленкой. Это была светловолосая, стройная крестьянка. Освещенная солнцем, она выглядела чистой, словно бы выстиранной. Когда она сняла пленку, я увидела голые, округлые икры и широкий вырез ситцевого платья. Тасо что-то говорил, убеждал ее, она была недовольна и поглядывала на окно, где я пряталась за занавеской. Женщина протянула ему что-то завернутое в салфетку и ушла раздосадованная, волоча за собой полиэтиленовый мешок. Над морем протянулась огромная радуга, волшеббно засияв яркими, отчетливыми полосами. Меня обожгла ревность и зависть к тихому счастью этого человека. Я примиренно замкнулась в себе, с грустью думая о том, что я тут лишняя, чужая.

— Вот, жена лесника принесла мне лепешку,— сказал он, показывая тонкую пшеничную лепешку под белой салфеткой. — Еще горячая. Хотите попробовать?

Я согласилась. Следовало делать вид, что я равнодушна и спокойна.

— Намалевал ей один пейзаж, и она теперь со мной расплачивается.— Его глаза под густыми бровями спрашивали меня: "Неужто вас это так задело?"

— Ваши картины очаровали меня, но мне пора возвращаться в гостиницу.

Я думала, что он станет меня удерживать. Неужели эти несколько слов, произнесенных мною крайне сухо, сквозь зубы, удовлетворят его тщеславие, самолюбие большого художника? Но он словно и не слышал их, захватил леопардовую шкуру и пошел исполнять мое желание. Я молча шла за ним. Отламывала куски от лепешки и жевала, чтобы быть чем-то занятой в мокрой лодке. Мотор заглох, пришлось долго дергать за веревку. Мы поплыли.

— Там мелкая рыбешка. Видите, сколько налетело чаек. После грозы все пришло в движение. А вот и бакланы,— он показал на черных уток, полого пронесившихся над водой. — И букашки вылезли... После дождя появилась новая пища... Вы ждете ответа на ваш вопрос.

Он смотрел на меня укоризненно и чуть насмешливо, словно все, что оскорбило и оттолкнуло меня, было ничтожно и мелко по сравнению с тем, что он собирался мне сказать.

— Я суверен, мадам, я верю в сны и призраки. Зачем я послал вам тот рисунок и открыл свою тайну? Впервые я увидел вас в ресторане,

когда вы обедали, а потом подстерег на тропинке, потому что вы явились мне во сне... Мне снилось, что я лежу в своей лачуге, а ее заполняют разные чудища... Должно быть, я стонал во сне от сознания своей беспомощности. Вы наклонились надо мной, и чудища бросились врассыпную. Вы мне что-то сказали, не помню что. Как бывает во сне, запомнилось только чувство облегчения... Проснувшись, я перекрестился, хоть я и не бог вещь как религиозен... Тогда я нарисовал ваш образ, каким увидел его во сне.

Сидя спиной к рулю, он управлял лодкой одной рукой. Море окрасилось золотисто-зеленым светом, радуга таяла в чисто вымытом небе, мокрый песок у кромки берега стал светло-коричневым.

— Чего вы ждете от меня? Зачем рассказали мне это? — спросила я.

— Просто так, чтобы вы поняли, отчего я нарисовал ваш портрет, — ответил он, слегка наклонив голову.

Я была поражена и взволнована. Значит, не только я мечтала о нем, мысленно отдаваясь ему в ту мерзкую ночь, но и он видел меня во сне! Уверенность в том, что я какими-то таинственными узами связана с ним, и чувства, испытанные мною за эти два дня, — все это принадлежало какому-то иному миру, не тому, что был у меня перед глазами.

Я сидела, точно меня загипнотизировали, испуганная, как будто приближалась решающая минута моей жизни. Женская интуиция подсказывала мне, что этот человек истерзан, что он растоптал себя самого. Я смотрела на него со страхом и вместе с тем торжествовала. Он склонил голову, как делают мужчины, когда отдают себя нам во власть.

— Вам снились кошмары. Это бывает с каждым. Вы мучитесь оттого, что продали свои картины. Вы сами осудили себя на безвестность и теперь раскаиваетесь в этом, — сказала я.

— Было время, раскаивался. Теперь меня это не трогает, да и поздно уже.

Я спросила, отчего он смирился, что мешает ему разоблачить обман.

— Это невозможно. Просто бесчестно с моей стороны, раз уж я дал согласие. Неблагодарно и жестоко по отношению к тому человеку. Он будет опозорен, уничтожен. Нет, это невозможно, не будем больше говорить об этом... — Он спрятался в себя, как мидия прячется в свою раковину, и выглядел в эти минуты постаревшим и бесконечно несчастным.

Мне не удавалось отогнать от себя навязчивую мысль, что лодка несет меня навстречу чему-то неведомому, что не существует на свете ни гостиницы, ни курортного городка, ни Луи, ни моих соотечественников — нет ничего, только он и я. Куда влечет нас, что общего у привычного мне мира с тем миром, в котором сейчас блуждает мой разум, с теми кошмарами, что мучают этого человека? Я мысленно твердила себе: "Молчи, молчи, ни единого слова, подумай прежде, чем сделать решительный шаг". И тут же мелькнула мысль, что если в Болгарии он связан с тем бесталанным художником обещанием молчать, то в Париже он может исправить свой промах, выставив свои картины под собственным именем. Скандал будет не таким громким и легче забудется. Я не высказала этой идеи вслух, решив предложить ему свою помощь позже, хорошенько

подумав... О боже, разве я не сознавала, что увлеклась им, что уже стала его пленницей?..

Я молчала, иногда, быть может, улыбалась. Через несколько минут на его лицо опять вернулось безразличное, чуть презрительное выражение, словно он ничего не сказал мне и ничего от меня не ждал.

— То, что я продал свои картины, не самое главное. Я продал тягостное надо мной проклятье. — Он повернулся ко мне спиной и засмеялся. — Вы забываете про мой сон, — добавил он, по-прежнему отвернувшись. — Кошмары, как вы изволили выразиться, ничего более...

Видимо, ему была свойственна быстрая смена настроений и беспечность ребенка, который живет в собственном мире и безразличен к оценкам взрослых. Может быть, он все же сожалел о том, что посвятил меня в свою тайну? Я вдруг подумала, что он избрал этот непритязательный образ жизни потому, что сам отделил себя от той среды, к которой принадлежит, и ему не остается ничего иного, как напустить на себя суровость, ожесточиться против себя самого за унижительный, нелепый сговор с софийским художником...

Вплоть до самого пляжа, где он должен был меня высадить, мы оба хранили молчание. Но, сойдя на берег, я взглянула на него обещающими, влюбленными глазами и улыбнулась, чтобы показать, что мы расстаемся не навсегда. Протянула ему руку, он мне свою, и я дружески, более чем дружески, пожалала ее...

5

Не успела я отойти от берега, как мне захотелось вернуться, сказать ему что-то ласковое, но было уже поздно. Если он понял, то найдет способ опять увидеться со мной. Я ругала себя за то, что оттолкнула его и сама буду жалеть об этом. Меня смущал его непрístupный характер и нарисованный им мой портрет... Разве не унижительно для красавицы Евы отдаться этому человеку, как она отдавалась своим прежним любовникам, без глубокого чувства, без благоговения перед его талантом? Но подобное увлечение может перерасти в сложную душевную драму. Я инстинктивно ощущала эту угрозу моему спокойствию. Бог весть, что ожидает меня, если я капитулирую, если свяжу себя с человеком, которого не знаю, с кочевником и безумцем, несмотря на весь его талант? С одной стороны, это искушало меня, с другой — отпугивало. Получалось, что я ничтожная эгоистка, сама не знающая, чего хочет. Какой смысл вкладывал он в свой сон? Разумеется — любовь, женское тепло, сострадание... Не от простой крестьянки вроде жены лесника, а от меня, парижанки... Быть может, он ожидал, что я помогу ему вырваться из этого прозябания, или ему просто-напросто понравилась иностранка? Его картины не выходили у меня из головы, в сердце запечатлелся его образ, и я воображала, что в Париже открылась его выставка, что газеты, радио, телевидение поют ему дифирамбы. Ко мне приходят репортеры, просят интервью... А потом? Потом он становится крупной фигурой, желанным

гостем в верхах общества, баловнем молодых красивых женщин и забывает и меня, и Луи, которые помогли ему...

У себя в номере я вытряхнула из туфель песок и присела, чтобы спокойно обо всем подумать, но тут мой взгляд упал на портрет и на фотографию Луи, стоявшие на туалетном столике. Боже, как отчетливо ощутила я разницу между Евой на рисунке и собою! И, мысленно сравнив Тасо с моим располневшим, благодушным мужем, педантично отдающим свою жизнь археологии, я почувствовала себя уязвленной. Луи выглядел олицетворением нашей супружеской жизни с ее буржуазной рутинной и беспросветной скукой. Перед глазами стоял Тасо с его мужественно очерченным подбородком, его проницательные глаза, такие глубокие и опасные, презрительное выражение лица тогда, в лодке, когда он, засмеявшись, повернулся ко мне спиной, потом — крестьянка, без всякого сомнения, его возлюбленная, и я возмущалась тем, что у него роман с женой лесника. И снова почувствовала уверенность, что он хочет завлечь меня в мир, где меня ожидает страдание...

Ночью я сказала себя, что я негодяйка, что меня влечет к нему как к мужчине — и только. И опять тщетно пыталась освободить свое сознание от этого рокового человека, вселившегося в меня как инородное тело. Потом неожиданно пришла к подлому решению — воспользоваться случаем, завязать легкую интрижку и на том все кончить. Зачем ломать себе голову? Я желаю его, но нет никакой надобности заражаться тревогами какого-то иллюзорного мира — пусть он остается в своем мире, я — в своем. Этой злосчастной ночью я вытравляла в себе ту Еву, что просуществовала всего два дня, называла ее романтической дурой, слезливой истеричкой и ненавидела себя, сознавая, что я падшая тварь...

Утром я получила от Луи письмо — он сообщал, что задерживается. Тем лучше — сейчас, как никогда, ему незачем быть рядом.

Как обычно, я пошла на пляж, купалась, загорала вместе с остальными и, поскольку принятое мною решение не выходило у меня из головы, выпила довольно много виски, курила и по рассеянности проиграла две партии в бридж с учителем, который прилепился к нам, чтобы поволочиться за мной. Потом лежала на надувном матрасе — песок был еще влажный, голова у меня кружилась от виски, от гомона голосов, гула реактивного самолета и плеска волн. Я раздумывала над тем, как поступить, если он не покажется больше. Гордец, досадует, верно, что открылся мне, он ведь истинный дикарь в этой своей хижине. Ты потому и желаешь его, что хочешь отомстить, презреть его духовное превосходство, сбросить его с пьедестала. Помнишь ведь, как он покорно склонил перед тобой голову в лодке. Хочешь над ним посмеяться и, когда подойдет время уезжать, сказать ему: "Прощай, я увожу с собой незабываемое воспоминание, о нет, не о твоих картинах, а о любовных утехах. Ты хотел меня завлечь, ввести в какой-то несуществующий мир и тем соблазнить. Какой иной целью может задаться туземец, кроме близости с красивой иностранкой, но имей в виду, что иностранка тоже мечтает о мимолетной интрижке с тебе подобными. Единственно, что в нашей жизни реально, — это наслаждение и скука. Любая безрассудная вера в некий сверхреальный

мир, который живет в твоих картинах, есть всего лишь иллюзия. В нее не верит ни одна современная девочка". Так ожесточала я свое сердце, но за этим ожесточением бушевало желание, за намерением унизить его — стремление навек распротиться с той Евой, которая ввергала меня в раскаяние и внушала напрасные надежды. Каждую секунду я ожидала, что он подшлывет к пляжу. Как я поступлю тогда? Попрошу покатаь меня в лодке, вызову на любовное объяснение и сама признаюсь в любви...

Какой пошлой была я в эти минуты! Я презирала себя и в то же время напряженно вслушивалась — сквозь плеск водных велосипедов, гомон голосов, в окружении обнаженных мужчин и женщин, чья обнаженность еще усиливала мои бесстыдные помыслы.

Я взглянула на часы. Было около одиннадцати. И тут заметила приближающуюся к берегу лодку. Я вскочила, точно меня подбросило пружиной, схватила свой купальный халат, надела соломенную шляпу, очки и попросила мадам Боливье присмотреть за моими вещами под зонтом. Сказала ей, что, если лодочник согласится, я покатаюсь по морю, и на глазах у всех направилась к нему. Он увидел меня сразу. Не вышел из лодки, сидел, улыбался, и я ответно улыбнулась ему.

— Вы не хотите меня покатаь? — Я нарочно произнесла это громко, чтобы слышали все купальщики, а подойдя ближе, добавила: — Я знала, что вы приедете.

— Я приехал в город за бензином. — Он показал на канистру, выключил мотор и выпрыгнул на берег.

Меня отвергали, надо было возвращаться под зонт.

— Я сейчас сбегаю, это несколько минут, — заметив мое замешательство, сказал он. — Садитесь в лодку и подождите меня.

Я села спиной к пляжу, зная, что взгляды соотечественников прикованы к моей голой спине. При мысли о предстоящем меня бросало в жар и холод. Но я терпеливо ждала, пока он вернется с полной канистрой.

— Куда вас повезти? Может, на Чертов остров? — сказал он, сев за руль, и повернул лодку в открытое море.

Я спросила, действительно ли существует такой остров.

— Действительно. Голые скалы и немного травы. И уйма змей.

Солнце пекло неизменно, и я накинула на плечи халат. Он сидел спиной ко мне, но я заметила, что он успел окинуть меня взглядом.

— Мне кажется, что вчера мы поняли друг друга, — проговорила я. — Вы большой художник. Я не такой уж знаток живописи, но то, что я увидела...

— Вы решили, что я сентиментальный чудака, который видит во сне разных чудищ и ждет, чтобы кто-то его от них спас.

— Нет, но вам тяжело оттого, что вы сами осудили себя на такую жизнь.

— Вы хотите сказать, что она плоха?.. Но при иной жизни я вряд ли создал бы что-либо путное. Я пишу не ради куска хлеба, не ради выгоды. Возможно, для других я не существую, но именно поэтому мои картины лучше картин профессиональных художников. Для меня искусство не является гражданским долгом, и я абсолютно ни от кого не завишу.

— Вы отказываетесь от славы...

— Слава — это искаженное восприятие личности. И все равно придет день, когда выяснится, что именно я автор тех картин, которые он продает и вам, иностранцам, тоже. Он признается в этом на смертном одре. — И, засмеявшись, добавил: — Но даже если и не признается, все равно станет ясно, что не он написал их.

— Тогда зачем вы пишете картины?

— А что же мне делать, если я во власти неуправляемых порывов?

— Вы когда-нибудь слышали о Пикассо?

— Я видел его работы в Лондоне и Париже.

Он снова удивил меня. Выходило, что он образован, быть может, даже больше, чем я себе представляла. Тогда почему он живет отшельником?

— Вы сказали, что были женаты. А детей у вас нет?

— Сын. — Он было замолчал, но потом с внезапной решимостью продолжал: — Я давно не видел его, теперь это взрослый юноша, я знаю, где он работает, живется ему хорошо... Моя бывшая супруга не разрешала нам видеться, хотя по решению суда я имел право два раза в месяц на несколько дней забирать мальчика к себе. Она живет в Бургасе. Однажды, когда ему было шесть лет, я повел его на охоту, вот на эти холмы за городом. Там росла белесая колючая трава. Подметки у него были скользкие, он падал и плакал. Как все дети, он представлял себе природу такой, какой ее изображают в книжках. Добрые труженики-муравьи, земля — как пол в комнате, море — большое и синее, в нем плавают рыбки и корабли... Все его представления в один день рухнули. Море смыло то, что он построил из песка, а когда мы пошли купаться, волна ударила его и опрокинула. Он расплакался, назвал море злым и больше не решался подойти к воде. Потом, когда он увидал, как муравьи обглодали раненую перепелку, которую мы не сразу нашли, он возненавидел и муравьев. И мою охотничью собаку, и меня самого тоже. При каждом выстреле он трясся от страха. Он молил меня: "Папа, пойдем домой!" Вечером налетели дождь, гроза. Мы укрылись в заброшенной кошаре, и там он заснул у меня на руках, обессиленный ходьбой и слезами, измученный, запуганный окружающим миром... Гроза утихла только ночью. Море успокоилось, по небу плыли клочья облаков. Здесь у нас есть такие крупные кузнечики, с белесыми, как трава, крылышками. Они застрекотали — казалось, крохотные звоночки хлынули дождем на землю. Мальчик спал, я нес его в город, любовался им и думал: "Сегодня мой маленький Геркулес совершил свой первый подвиг..." Его мать снова вышла замуж. Сын моей особой не интересуется... Я оставил их в покое...

— А вы не эгоист?

— Вероятно. Такие люди, как я, не слишком приятны... Куда вас везти — на Чертов остров или ко мне? Я наловил сегодня чудесной рыбы — не знаю, водится ли она в Средиземном море. Когда ее изжаришь, она становится золотисто-красной, потому что в ней много йода. Разрешите пригласить вас на скромную трапезу, поджарим ее и съедим...

Все было совсем не так, как я себе нафантазировала. Когда мы приехали к нему, он занялся рыбой. Разложил во дворе костер, вынул из шкафчика пластмассовые стаканы, принес круглый столик на низких ножках.

— Схожу за свежей водой, — сказал он и, взяв кувшин, ушел.

Я надела халат — в домике было прохладно. Оставшись одна, потрогала рукой ветроупорный фонарь и олени рога, висевшие на стене возле очага, посмотрела на кровать и тут вспомнила, что Тасо вынул тогда из-за нее неоконченный пейзаж. В углу за кроватью стояла большая, очевидно, самодельная папка из толстого черного картона, набитая рисунками, завязанная сбоку и наверху тесемками. Я не решилась ее развязать — ведь он мог с минуты на минуту вернуться. Села, закурила и стала ждать. Обстановка лачуги начинала мне нравиться, воображение предвкусывало те радости, которые мне принесет принятое ночью решение.

Он вскоре вернулся, оставил кувшин и пошел жарить рыбу. Я вышла вслед за ним. Сковорода стояла на двух закопченных камнях, а он сидел рядом на круглом чурбачке.

— Вы не покажете мне другие ваши рисунки? Я видела папку, — сказала я.

— Они вам не понравятся. Да и ваши соотечественники, наверно, волнуются, уж не похитил ли я вас. Вам разве безразлично, что они подумают?

— Мне все равно.

— Мой рисунок ничего не сказал вам или вы считаете его художественным вымыслом?

— Вы увидели меня такой во сне. Вы верите в существование другого, метафизического мира?

— Когда-нибудь человечество будет жить в нем, — сказал он, обваливая рыбу в муке и опуская в кипящее масло. — Не так уж далек час, когда над миром воцарится великая тишина... Тогда человечество увидит отверстые врата иного бытия... Значит, мой рисунок вам ничего не сказал?

Отчего я не призналась ему, в какое волнение поверг меня этот рисунок, какую сладостную муку испытывала я на протяжении этих дней? Зачем ответила отрицательно, что помешало мне? Может быть, я разучилась быть искренней или же меня остановил страх перед душевным лабиринтом, в который я не хотела попасть, и принятое ночью решение? А может, причина — в цинизме и скепсисе, издавна отравивших мою душу и мозг? О, зачем наше самолюбие так фальшиво и слепо?

— Видимо, так. — Он произнес это сухо, но было видно, что он огорчен.

— Мне бы хотелось, чтобы вы нарисовали меня такой, какой видите сейчас, — сказала я.

— Очень возможно, что я это сделаю, но вам не понравится.

— Но зато я буду там настоящей?

— Как знать... Возможно... Если вам хочется быть такой... — Он пере-

ворачивал вилкой золотисто-красных рыбешек и не смотрел на меня. — Настоящим каждый из нас считает тот свой облик, какой видится ему самому.

— Ваша папка набита рисунками. Неужели вы мне ничего не покажете?

— Они — другие... Я их никому не показываю...

Я чувствовала, что он замкнулся в себе, и вспыхнула, потому что поняла, что ему отлично известно, зачем я явилась сюда полуголая, прямо с пляжа.

— Надо съесть рыбу, пока горячая. — Он взял сковороду и отнес в дом.

Мы сели за столик — он не напротив, а сбоку, очевидно для того, чтобы не смотреть на меня.

От того, что я побывала у костра, и от знойного августовского солнца мне стало жарко в халате. Я презирала себя, но, видно, в меня вселился дьявол. Я думала: "Он уже смеется над тобой, он читает твои мысли. Ему хотелось увидеть в тебе что-то, отличающее тебя от тех женщин, с которыми он знался прежде, что-то более возвышенное, более интеллектуальное. Поэтому он и открыл тебе свою одинокую душу. Зачем ты уклоняешься от духовной близости, а хочешь соблазнить его своим телом, пренебречь сложностью его души, сломить его неприступность, а потом показать ему спину? Хоть ты и ценишь в нем художника и действительно хочешь забыть его от этой нищенской жизни, подумай, прежде чем изложить ему твое предложение. Не слишком ли большая ноша свалится на тебя, если он вдруг зайвится в Париж со своими картинами? Не увлечешься ли ты, не пошатнешь ли свое буржуазное благополучие и свою семейную жизнь? Хорошенько подумай, прежде чем сделать решительный шаг!" И все же я сказала ему:

— У меня есть сбережения, я помогу вам. У нас с мужем есть друзья среди журналистов, мы знакомы кое с кем из художников. Мы снимем вам салон — этого достаточно, все остальное придет само собой. Напишите новые картины и готовьтесь к выставке во Франции. Вы согласны?

Он продолжал молча есть.

— Что мешало вам принять мое предложение? — спросила я.

— Помимо того человека, как я вам уже говорил, моя теперешняя жизнь. Лишь немногие могут жить обывательской жизнью и творить искусство. Наиболее талантливые живут своей фантазией, мучительными поисками формы, цвета, тона, фактуры, темы. Я еще не до конца переборол в себе обычное отношение человека к житейской прозе, но, возможно, я всего на один шаг ушел от остальных.

— Не понимаю вас, — сказала я.

— Море поглощает все мелкое, будничное... погружает в вечное, в Ничто... Но, с другой стороны, тем самым оно все обесценивает, все человечески незначительное, и остается лишь Мысль, чистое созерцание, Идея, без которой нет искусства. Пока я здесь, мне слышны голоса многих племен и народов, населявших эту землю, я ощущаю в своей крови их кровь. Они противоречивы и враждебны, они таят великие возможности

для духа, но и великие опасности, потому что, будучи голосами мертвых, они неясны и разнородны. Для меня они — тайна, которая удерживает меня здесь, призраки, с которыми я общаюсь и борюсь... Бывает, в море появляется крестоносец, участник похода Фридриха Барбароссы, и мы ведем с ним долгие беседы. Да, в особенности при свете луны...

— Неужели вы верите в призраков? Это шутка?

— Он утонул здесь во время крестового похода. Рыцарь в доспехах, очень заносчивый. В последнее время он часто призывает меня к себе.

— О чем же вы беседуете?

— О многом. Например, о том, жив ли еще Барбаросса, наступит ли день, когда он выйдет из скалы в Саксонии, пойдет ли вновь походом по земле, или же он почил навеки. О духах, что витают вокруг, и о многих тайнах, неразличимых обычным человеческим глазом. Он сам призрак и знает с призраками, но одинок среди них...

— Отчего вы не хотите говорить со мной серьезно?

— Мне при крещении дали имя Анастас, сокращенно Тасо. А по-итальянски я барсук. Знаете, что делает барсук, когда собаки нападают на его нору? Воздвигает между собаками и собой стену...

Он засмеялся, вынес столик с остатками еды во двор и вернулся в комнату.

— Нет аппетита или рыба не понравилась? Угощение у меня скудное. Я всегда ем так, на ходу. Стаканчик белого вина не хотите? Забыл вам предложить. Отличное вино.

Он извлек из-за двери оплетенную бутылку, наполнил пластмассовые стаканы. Мы чокнулись, он взглянул на меня засиявшими глазами, в которых было и немало иронии, и положил руку мне на плечо.

— Снимите вы свой халат, вам ведь жарко...

7

Я все глубже погружалась в сладостную бездну, а под конец разрыдалась. Разрыдалась потому, что сознавала: я отдалась ему, как уличная женщина. Он держался со мной, как с любой другой на моем месте — был шутлив и далек. Я пробовала расспросить его о прошлом, надеясь постичь тайны его души, его чудачества, я жаждала искренности, хотела вызвать в нем настоящую влюбленность. А получала на свои вопросы ироничные и гуманные ответы: дескать, странствовал он как из любопытства, так и по должности; объяснить, когда и как проявились его склонности к живописи, не может; картины свои скрывал в ожидании, когда достигнет определенного мастерства; женился, развелся, плывал матросом на рыболовном судне, а под конец облюбовал этот городок...

Нежась в его сильных объятиях, я слышала, как отдается каждое слово в его волосатой груди. Охваченная словесным буйством, я приговаривалась беззаботной, легкомысленной, чтобы показать ему, что все случившееся — эпизод, который ни к чему меня не обязывает. Манера держаться, глупости, которые я нагородила о живописи и искусстве,

были вполне в духе принятого мною ночью решения. Должно быть, и этим, и не только этим я выставила себя в смешном свете. Когда говоришь лишь для того, чтобы заглушить свои истинные мысли и чувства, запоминаешь главным образом досаду на самого себя... Он снисходительно улыбался, утвердительно кивал: "Да, вероятно... Видите ли, я как-то не задумывался над этим... Не могу вам объяснить... Я же говорил вам, отчего предпочитаю такую жизнь... Рыцарь? Конечно, существует, коль скоро мы с ним беседуем..."

Я дурачилась, как девчонка, чтобы выглядеть милой, забавной болтушкой, чтобы скрыть свое поражение... Ни разу не спросил он меня о Луи, о моей жизни в Париже, моих соотечественниках, словно всего этого и не существовало на свете...

Когда подошло время возвращаться, я — хоть и считала, что больше не увижу его, — спросила, когда мы снова встретимся, и он показал на тропинку за холмом.

— Она выводит к дороге позади виноградников, а дорога — прямоком в город. Сюда можно добраться по суше, ориентируясь по берегу, — сказал он.

Я вернулась в гостиницу около шести и бросилась ничком на кровать, чтобы опомниться, осознать то, что произошло. В голове вертелось: "Ничего особенного, что ты волнуешься, ведь ты сама этого хотела. Скоро уезжать, больше ты его не увидишь". Но моя гордость бунтовала, мое дурацкое поведение было унизительным. "Но чего же ты хочешь? — спрашивала я себя. — Искренней, настоящей любви? Ты же бежишь от нее, от того мира, в котором живет этот человек, от его дьявольского рисунка, считая его заблуждением и соблазном, хочешь забыть о нем. Тем самым ты отрекаешься от художника, от его картин и от собственной своей души... Зачем тогда ты хочешь, чтобы он в тебя влюбился? Чтобы потешить свое оскорбленное самолюбие? Ты считаешь себя трезвомыслящей, страшишься любого глубокого чувства, чтобы сохранить спокойствие, а спокойствие предлагает тебе лишь уныние и скуку. Ничтожество! Убегая от его мира, ты убегаешь и от своего, того самого мира, который побуждал тебя прижимать рисунок к груди, как самое для тебя дорогое, и показывал тебе жизнь совсем в ином свете. Ты тень человека, его подобие. Тебе остается только выброситься с балкона на мостовую. Чего ты ждешь от будущего? Вернетесь с Луи в Париж, и опять те же будничные, мелкие, до смерти надоевшие развлечения — вечера в кино, в ресторанчике, у телевизора... Луи у себя в кабинете, ты в гостинной листаешь иллюстрированный журнал или читаешь Агату Кристи... пока не наступит день, когда тебя бездыханную, безобразную вынесут ногами вперед..."

Я соскочила с кровати и как безумная металась по комнате, не находя себе места. Увидела рисунок и, не владея собой, порвала... У меня полились слезы, я рухнула на колени, чтобы исповедаться перед собой, чтобы умолить providение спасти меня от самой себя, от того мира, из которого мне надо бежать... Потом приняла ванну и, когда подошло время ужинать, спустилась в ресторан. Меня встретили насмешливые

улыбки учителя, Картье и холодок со стороны мадам Боливье. Один лишь пьяница Шампольон приветствовал меня, как обычно. Все делали вид, будто не заметили, что я укатила в лодке. Будут хранить молчание, злословие начнется за моей спиной. Я сидела за столиком с доктором и его женой и нарочно, желая вызвать зависть, рассказывала о том, какой интересной и приятной была прогулка. Якобы мы побывали на каком-то диком острове, который кишел змеями, потом пообедали жареной рыбой в ресторанчике у реки. Я смеялась, врала напропалую, беззащитно глядя им в глаза, а после ужина заявила, что устала и не приму участия в прогулке и обычной партии в карты.

Я вернулась в номер с ощущением немой, подавленной боли и растущего, мучительного одиночества. Как будто очутилась вдруг в пустыне, и единственный близкий человек рядом — Тасо. Тяжелое воспоминание и порванный рисунок разбудили во мне те чувства, которые я гнала от себя. Мне захотелось немедленно кинуться к этому роковому болгарину, подарить ему всю свою нежность и вымолить прощение за мое притворство. Я представляла себе, как он сейчас лежит на своей продавленной кровати, одинокий, всем чужой, во всем разочаровавшийся. Пыталась угадать, о чем он думает. Интуиция влюбленной женщины подсказывала мне, что его неразгаданная, замкнутая, ни перед кем не раскрывающаяся душа погружена во мрак. Я мысленно перенеслась в его лачугу, ласкала его буйные волосы, суровое, мужественное лицо. Я проникала в его душу и дарила ему свою — настоящую, ту, которую он изобразил на белом листе картона, вспоминала его слова о море, о будничной жизни и о призраке в образе рыцаря, смысл которого был мне недоступен. И папку с рисунками я тоже не могла забыть. Отчего он прятал их, отчего не захотел показать? Я подозревала, что в этой черной папке и хранится его тайна... О, как согревало меня это глубокое, всеобъемлющее чувство любви и сострадания, сознание того, что я избавилась от всех условностей, словно вырвалась из темницы на волю... Я знала, что завтра ничто не остановит меня, я пойду по той тропинке, которую он мне показал, — только бы найти, не заблудиться... В конце концов мне пришлось принять снотворное...

На другой день я надеялась увидеть его на пляже. Все утро высматривала его, но он не появился. И после обеда, когда все в гостинице легли отдыхать, я оделась и пошла через виноградники по каменистой глинистой дороге, со страхом думая о псе — если хозяина нет дома, пес не впустит меня. Я прошла над скалистым, крутым обрывом, откуда выпорхнула стайка диких голубей, через рощу низкорослых дубов, истерзанную зноем, поросшую той самой белесой травой, о которой он говорил мне. Море сверкало внизу, похожее на огромный щит, отражающий солнце. Я долго шла по августовской жаре, среди застывшей природы и без труда обнаружила нужную мне тропинку на крутом склоне холма. Но прежде чем спуститься к его дому, в нерешительности постояла на вершине. Лодки не было видно, пса тоже. Если Тасо поехал в город, я услышу шум мотора и увижу в море лодку. Оглядевшись вокруг, я

решилась перешагнуть через порог. Было не заперто. Повеяло прохладой, и мне сразу стало спокойнее.

На мольберте стоял рисунок. Чтобы получше рассмотреть его, я широко распахнула дверь.

Нарисованная гуашью обнаженная женщина бежала откуда-то из глубины, где всходило огромное солнце, разливая ослепительный свет. Женщина бежала, спиной к преследующему ее свету, прикрывая согнутой в локте рукой лицо, размахивая другой рукой. Волосы ее развевались. Я была уверена, что вижу себя, и мысленно повторяла: "Это я. Он все понимает". Потом вынула из-за кровати папку, развязала тесемки, и один за другим показались странные рисунки сангиной, маслом, акварелью и тушью, гравюры на дереве. Все они приглушенно говорили о чем-то неразгаданном, глубоко сокрытом в мозгу и сердце, пробуждая смутные и затаенный страх. Перед моими глазами словно проходила жизнь океана и суши во всем бесконечном многообразии ее форм, далекие таинственные эпохи, исчезнувшие племена и народы, все, что сверкало и сверкает всеми оттенками цвета: кровь, великолепие экзотических животных и растений, манящее к себе и одновременно отталкивающее. Гниение и смерть, любовь, надежда, вера — все звучало зловещей музыкой и оставляло в сердце ядовитый след. Эта черная папка заключала в себе человеческую душу с ее отчаянием, безысходностью и страстной жадной уверовать в иное, новое будущее. Каждый рисунок действовал как удар, напоминал о чем-то, чего я раньше не сознавала и над чем должна была задуматься. Никогда еще не испытывала я такой тревоги, настороженности, растерянности. И чем дольше я рассматривала их, тем больше укреплялась в мысли, что они таят смертельную опасность для своего создателя. А когда я увидела и автопортреты тушью и цветным карандашом, мне показалось, я поняла, куда завел этого человека его гений. Все явления имели здесь равную нравственную ценность, словно созданы они были не человеком, а демоном. Даже необычайная гармония цвета выглядела коварной, обольстительной ложью...

Я стояла, склонившись над раскиданными по кровати рисунками, как над покойником, пыталась привести их в какую-то систему. Феноменальная сила таланта отъединила этого человека, воздвигла стену между ним и миром остальных людей, подобно тому, как барсук воздвигает стену между собаками и собой.

Я заметила его тень раньше, чем он перешагнул порог. Он остановился, слегка озадаченный, улыбнулся. Ему хотелось понять, каковы мои впечатления, а мне — очень ли он рассержен.

— Заглядывать в чужие секреты — неприлично, — сказал он, собрав рисунки.

— Вы сумасшедший! — проговорила я сквозь слезы.

— Почему? Эти рисунки — для вас сомнительная истина. Вы ведь не воспринимаете их всерьез? Вам хотелось понять, что я за человек, и я дал вам возможность заглянуть в них. Ну как, поняли?

Я смотрела на него, не в силах подобрать ответ.

— Тем не менее я действительно сумасшедший, а вы были моей

последней иллюзией. — Он стоял рядом со мной, его глаза были похожи на узорный мрамор. — Вы, наверно, задаетесь вопросом, какой из миров истинен — тот, что внутри, или тот, что вне нас. Искусство объединяет оба этих мира, в этом его суть, человеку необходимо найти какую-то их связь и гармонию, чтобы обрести душевный покой. Смещение этих миров и дает наслаждение.

— Тут нет наслаждения, — заметила я. — От ваших рисунков веет смертью.

— Смертью — для тех, кто уходит и кто не может выразить ее иначе, чем умозрительно, абстрактно... Все, что уже осознано, ушло вместе со временем и принадлежит прошлому. А неосознанное находится в будущем, и мы знаем о нем только из смутных предчувствий, а также из видений умирающих. Я много странствовал, видел современный мир, многое узнал, много размышлял и под конец поселился здесь, чтобы обрести спасение в море и обыденной жизни. Но это вещи взаимоисключающие. — Он рассмеялся звонким детским смехом. — Мы, болгары, никогда не верили в дух, мы отворачиваемся от него, хотя нам очень хочется в него поверить. Сегодня вы отрелись от него, и это для вас страшно опасно.

Он присел на кровать и обнял меня.

— Почему меня так влекут к себе ваши, я бы сказал, цивилизованные глаза? В их глубине я вижу завершенность, которая мне знакома, дорога и близка. Но им недостает душевного комфорта, что и мешает вам уединиться в собственной душе, поверить в ее божественность, почитать ее...

— Вы иронизируете. Презираете меня, — проговорила я.

— Мои рисунки достаточно сказали вам, если вы их поняли... Презираю? Это сильно сказано.

Я отстранилась, высвобождаясь из его объятий. Минувшей ночью я дарила ему свою душу, а теперь меня леденит страх, граничивший с ненавистью. Я видела его как бы в перевернутый бинокль.

— Зачем вы послали мне мой портрет? Чего вы хотели? — спросила я.

— Хотел проверить, отыщется ли в вашем обществе хоть одна женщина, которая поверит, что ее духовная сущность именно такова, какой она видится мне. Это было бы для меня огромным утешением...

— А кроме того?

— А кроме того, мне была необходима еще одна иллюзия, надежда на исцеление. — Он засмеялся и встал с кровати. — Тем не менее я любил вас, пусть всего два дня, но любил, так же, как вы меня, пока не отдались мне. Меня толкнуло к вам страдание. Даже если бы я не уступил свои картины другому, я все равно пришел бы к тому, к чему пришел, раз красота перестала быть сущностью людей, вещей и мира — ведь и для вас внутренняя ваша, духовная сущность всего лишь красивая картинка. Не сердитесь, я поставил жестокий эксперимент, хотя и не очень рассчитывал на иной результат. А теперь нам надо поскорее расстаться, пока ваша ненависть ко мне не превратилась снова в жалость и сочувствие... Тогда вы начнете раскаиваться...

Я ошеломленно смотрела на него. Он был прав. К чувству обиды

примешивались невыносимая жалость и боль, к глазам подступали слезы. Он проводил меня до обрыва, и я побежала, не оборачиваясь...

Луи уже вернулся. Он ждал меня, сидя за письменным столом и рассматривая груды фотографий и своих заметок. Мой Луи, мой бедный Луи со своей французской физиономией, ставшей от солнца еще багровей, лысеющий, с поседевшими висками.

— Дорогая моя, где ты бродишь в такую жару? Я беспокоился. Вот уже час, как приехал, а тебя нет и нет. — Он обнял меня, поцеловал. — У тебя взволнованный вид. Что случилось?

— Я познакомилась с замечательным художником, — сказала я.

— О, тут разве есть такие? Замечательно тут другое! — Он показал на фотографии на столе. — Что за народ! Вместо того чтобы собрать воедино все сокровища, которыми полна эта земля, они раскидали их по всяким провинциальным музейчикам, знакомиться с ними можно лишь фрагментарно, в разрозненном виде, выслушивая при этом полуграмотные объяснения. Но зато какие я видел чудеса! Конечно, для будущей моей книги...

Он зашагал по комнате, как охотник, вернувшийся с богатыми трофеями, — благодушный здоровяк, слегка похудевший. Он уже успел принять ванну и был, как всегда, свеж и спокоен.

Я смотрела на него, а видела того, другого.

Был это реальный человек или призрак, смутивший мою жизнь, горестная мечта, выпадающая из действительности? Вправду ли есть во мне что-то лучшее, божественное, помимо того, что разжигает мои чувства, мою неудовлетворенность и непрестанно мучит меня? Быть может, это лишь страх, сомнения, беспомощность и отчаяние?

Проклятый мой рассудок, ты действительно мой или же это гипноз чужих мыслей, соображений и предостережений, тюрьма, в которую я заключена? По твоей вине мир обесцвечивается, и химерой кажется моя душа и все то, во что я верила всего два дня... Оно рассеялось точно мираж, весна моей души увяла, все, что вспыхнуло во мне, померкло, онемело, обернулось ложью, и я снова очутилась там, где была...

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Стоян</i> КАРОЛЕВ . Движение, движение, непрестанное движение... <i>Перевод М. Михелевич</i>	5
ПОХИТИТЕЛЬ ПЕРСИКОВ.	
<i>Перевод М. Михелевич</i>	13
КОГДА ТАЕТ ИНЕЙ И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ	
Когда тает иней. <i>Перевод Д. Горбова</i>	55
Тихим вечером. <i>Перевод М. Михелевич</i>	128
Орлы. <i>Перевод Т. Поповой</i>	153
На закате солнца. <i>Перевод Л. Лихачевой</i>	158
Зимю. <i>Перевод О. Кутасовой</i>	161
Смерть птицы. <i>Перевод Д. Горбова</i>	166
Весенние страсти. <i>Перевод А. Полякова</i>	170
Одни. <i>Перевод М. Михелевич</i>	175
В далекий путь. <i>Перевод О. Кутасовой</i>	181
Козел. <i>Перевод Д. Горбова</i>	185
Лесная сказка. <i>Перевод Н. Глен</i>	190
Неудача. <i>Перевод А. Полякова</i>	193
В праздники. <i>Перевод М. Михелевич</i>	198
Помолвка. <i>Перевод Л. Лихачевой</i>	205
Прогулка. <i>Перевод М. Михелевич</i>	212
Прошлое. <i>Перевод М. Михелевич</i>	221
Чужой. <i>Перевод Н. Глен</i>	228
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ	
Легенда о Сибине, князе Преславском. <i>Перевод М. Михелевич</i>	243
Тихик и Назарий. <i>Перевод М. Михелевич</i>	317
Лазарь и Иисус. <i>Перевод М. Михелевич</i>	364
Волк. <i>Перевод Н. Глен</i>	379
Скотт Рейнолдс и непостижимое. <i>Перевод Т. Ружской</i>	387
Барсук. <i>Перевод М. Михелевич</i>	409

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОГРЕСС"

Редакция современной зарубежной художественной литературы

СЕРИЯ "МАСТЕРА СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ"

ВЫШЛИ В СВЕТ избранные произведения:

К. Х. Селы *(Испания)*
М. Варгаса Льосы *(Перу)*
Ф. Мориака *(Франция)*
Я. Кавабаты *(Япония)*
С. Дыгата *(Польша)*
М. Лаури *(Канада)*
В. Кёппена *(ФРГ)*
В. Элсхота *(Бельгия)*
К. Чандара *(Индия)*
С. Вестдейка *(Голландия)*
У. Фолкнера *(США)*
Ч. Павезе *(Италия)*
Э. Коша *(Югославия)*
В. Хайнесена *(Дания)*
И. Во *(Англия)*
К. Фуэнтеса *(Мексика)*
А. Зегерс *(ГДР)*
Р. К. Нарайана *(Индия)*
М. Делибеса *(Испания)*
О. Кемаля *(Турция)*
М. Фриша *(Швейцария)*

То Хоая *(СРВ)*
Х. Кортасара *(Аргентина)*
Т. Уайлдера *(США)*
Нгути Ва Тхионго *(Кения)*
П. Уайта *(Австралия)*
А. Маршалла *(Австралия)*
Х. Лакснесса *(Исландия)*
М. А. Астуриаса *(Гватемала)*
Р. Вайяна *(Франция)*
А. Моравия *(Италия)*
Р. Райта *(США)*
К. Оэ *(Япония)*
Д. Ийеша *(Венгрия)*
Й. Радичкова *(Болгария)*
Ч. Ачебе *(Нигерия)*
Ю. Боргена *(Норвегия)*
Г. Г. Маркеса *(Колумбия)*
Дж. Кэри *(Англия)*
М. Лалича *(Югославия)*
П. Лагерквиста *(Швеция)*
Лао Шэ *(Китай)*

ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ избранные произведения:

Т. Парницкого *(Польша)*
Х. фон Додерера *(Австрия)*

Эмилиян Станев
Избранное

Составитель
Надежда Станева

ИБ № 9473